

КАЗИМИР ВАЛИШЕВСКИЙ



Казимир Феликсович Валишевский

Роман императрицы.

Екатерина II

Богданов Дмитрий

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=122968

Роман императрицы. Екатерина II: СП «Квадрат»; Москва; 1994

Аннотация

«В предлагаемом вниманию читателей романе вымысел совершенно отсутствует. Даже легендарный элемент занимает в нем лишь строго отмежеванное место, в котором нельзя ему отказать, при желании вызвать к жизни точную картину прошлого. Мы полагаем, однако, как любопытство читателя, так и его любовь к приключениям будут удовлетворены.

Она царствовала, сосредоточив вокруг себя все величие, все счастье и все торжество, а со всех концов Европы поднимался гул удивления и восторга, смешивавшийся с раскатами разразившейся вскоре бури.

Поэты воспевали «северную Семирамиду», философы утверждали, что «свет идет с севера», а изумленная толпа восторженно рукоплескала.

Победоносная за границами своей империи, Екатерина внушала и внутри ее сперва уважение, затем и любовь к себе. В ней воплощались неосознанные еще гений и сила народа;

славянская раса неожиданно пышно в ней расцвела и внезапно устремилась гигантскими шагами по пути к величавому своему уделу...» – из предисловия к роману.

Содержание

Предисловие	6
Часть первая	10
Книга первая	10
Глава первая	10
Глава вторая	25
Глава третья	78
Книга вторая	129
Глава первая	129
Глава вторая	182
Глава третья	232
Часть вторая	262
Книга первая	262
Глава первая	262
Глава вторая	325
Глава третья	343
Книга вторая	397
Глава первая	397
Глава вторая	445
Глава третья	507
Книга третья	595
Глава первая	595
Глава вторая	637
Глава третья	669

Книга четвертая	686
Глава первая	686
Глава вторая	717
Глава третья	751
Заключение	800

Казимир Валишевский

«Роман императрицы. Екатерина II»

Предисловие

В предлагаемом вниманию читателей романе вымысел совершенно отсутствует. Даже легендарный элемент занимает в нем лишь строго отмежеванное место, в котором нельзя ему отказать, при желании вызвать к жизни точную картину прошлого. Мы полагаем, однако, как любопытство читателя, так и его любовь к приключениям будут удовлетворены.

Вторая половина восемнадцатого века, мрачная и бурная, как вечер, насыщенный грозой, была озарена ослепительным видением. Далеко в снегах таинственного Севера занимался свет, подобно восходящей звезде. Над повергнутыми в прах старинными европейскими монархиями возносился трон с византийскими очертаниями, окруженный небывалым величием, и по ступеням его восходила женщина в красном сиянии, цвета пурпура или цвета крови. Она царствовала, сосредоточив вокруг себя все величие, все счастье и все торжество, а со всех концов Европы поднимался гул удивления и восторга, смешивавшийся с раскатами разразившейся

вскоре бури. Поэты воспевали «северную Семирамиду», философы утверждали, что «свет идет с севера», а изумленная толпа восторженно рукоплескала. Победоносная за границами своей империи, Екатерина внушала и внутри ее сперва уважение, затем и любовь к себе. В ней воплощались неосознанные еще гений и сила народа; славянская раса неожиданно пышно в ней расцвела и внезапно устремилась гигантскими шагами по пути к величавому своему уделу.

Однако история нам указывает, что эта обаятельная государыня, эта женщина, пред которой преклонялись все державы цивилизованного мира, эта «матушка-царица» коленопреклонно, как икона, чтимая миллионами крестьян, была маленькой немецкой принцессой, попавшей в Россию благодаря случайности. Горсть смелых молодых людей возвела ее на место, откуда она, казалось, диктовала законы всему миру.

Это необычайное происшествие не раз уже рассказано, и не одна рука пыталась начертать образ необыкновенной женщины, игравшей в нем главную роль. Этим попыткам недоставало лишь одного – того, что не в силах заменить собою и талант писателя: твердой документальной основы. За неимением этой опорной точки, дело воссоздания, двадцать раз начатое, двадцать же раз обрушивалось в пустоту и граничило с басней. Час истории в то время еще не настал. Он пробил только теперь. В России и отчасти в Германии историческое прошлое великой славянской империи стало

предметом изучения; под эгидой более либерального режима было в первый раз дозволено исследователям подняться до первоисточников. Государственные архивы распахнули свои двери, и частные лица, следуя примеру, данному сверху, поддержали усилия науки, предав гласности тайны своих хранилищ. Таким образом увидели свет столь драгоценные архивы князей Воронцовых. Вследствие естественного порыва, помянутые исследования коснулись главным образом личности Екатерины и великой эпохи, отмеченной ее именем. Результаты почти не оставляют желать ничего лучшего. Более пятидесяти томов сборника, издаваемого Императорским Русским Историческим Обществом, имеют к ней прямое отношение. В различных других коллективных изданиях Екатерина все же занимает первенствующее место.

Все эти элементы научного анализа, отныне столь обильные, требуют синтеза. Он и был уже предпринят в России. Тонкий писатель В.А. Бильбасов издал первый том труда, который, к сожалению, ему пришлось прервать. Екатерина, может быть, еще долго будет ожидать своего историка в стране, обязанной ей самыми славными с границами своей истории. Приступив к предлагаемому труду, появившемуся сначала во Франции, мы не намереваемся предвосхитить задачу, которая, мы надеемся, когда-нибудь будет решена в России. Мы попытались отразить на этих страницах некоторые общие черты, которые в лице, подобном Екатерине, несомненно, заинтересуют образованное общество всех стран.

Женщина, принимавшая участие во всех великих событиях своей эпохи, имевшая сношения со всеми выдающимися людьми своего времени, долго переписывавшаяся с Вольтером и бывшая в дружеском общении с Дидро, прожившая наконец, с точки зрения умственной, нравственной и даже чувственной, жизнь, редкую по полноте, разнообразию и богатству ощущений, подобная женщина не может нигде встретить равнодушною к себе отношения.

Это еще не все. Эта женщина – русская государыня, с которой современная Россия, столь жадно изучаемая, находится в прямой непосредственной связи. Действительно, Екатерина по приезде в свое новое отечество сумела с изумительной гибкостью приспособиться к новой среде, в которой ей пришлось отныне жить; но, в свою очередь и Екатерина на среду эту имела воздействие; она во многих отношениях вылепила ее по своему образцу и наложила на нее неизгладимую печать своей могучей личности. Чтобы проникнуть в тайну великой политической и социальной организации, огромную тяжесть уже начинает чувствовать Европа, следует прежде всего обратиться к Екатерине: современная Россия в большей своей части является лишь наследием великой государыни; к ней же следует обращаться для проникновения в тайны некоторых русских душ: в каждой из них кроется нечто, свойственное Екатерине Великой.

Часть первая «ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ»

Книга первая «От Штеттина до Москвы»

Глава первая Немецкая колыбель. – Детство

1. Место рождения. – Штеттин или Дорнбург? – Спорный вопрос об отце. – Фридрих Великий или Бецкий? – Дом принцев Ангальт-Цербстских.

Лет пятнадцать тому назад маленький уголок старинного немецкого городка был охвачен волнением: предполагалось выстроить в этой местности железную дорогу, которая по обыкновению нарушала укоренившиеся привычки, разрушала старые дома и уничтожала сады, где гуляло несколько поколений подряд. Среди предметов, которым угрожало бессердечие инженеров, возбуждавшее отчаяние местных

жителей, была липа весьма почтенного вида: она, казалось, была предметом специального культа и особенно жгучих сожалений. Все-таки железная дорога была проведена. Липу не срубили, но ее вырыли из уголка земли, где она пустила корни, и пересадили в другое место. С целью оказания ей большого почета ее посадили против нового вокзала. Она оказалась равнодушной к подобной чести и засохла. Из нее сделали два стола: один из них преподнесли королеве прусской Елизавете, а другой – русской императрице Александре Федоровне. Жители Штеттина называли эту липу «императорской» (Kaiserlinde); если верить их словам, она была посажена немецкой принцессой, называвшейся тогда Софией Ангальт-Цербстской, а в просторечии Фигхен (Figchen). Принцесса охотно играла на большой городской площади с резвившимися здесь детьми, впоследствии же, – они хорошенько и не знали, как это случилось, – она превратилась в императрицу всероссийскую под именем Екатерины Великой.

Екатерина действительно провела часть своего детства в этом старом померанском городке. Увидела ли она в нем также свет? Редко случалось, чтобы место рождения великих людей современной истории вызывало те же споры, что возникли в прежние времена вокруг колыбели Гомера. Следовательно, происшедшее в этой области относительно Екатерины является одной из особенностей ее судьбы. Ни в одной приходской книге в Штеттине не сохранилось и следа ее имени. Тот же акт повторился и с принцессой Вюртемб-

ергской, супругой Павла I, но ему можно подыскать объяснение: ребенка, вероятно, окрестил священнослужитель лютеранской церкви, ректор или президент не причисленный к приходу. Однако нашлась одна заметка, казавшаяся подлинной и основательной и указывавшая на Дорнбург, как на место рождения и крещения Екатерины. и весьма серьезные историки приводили эти данные в связи с самыми странными предположениями. Дорнбург был родовой резиденцией дома Ангальт-Цербст-Дорнбург – именно семьи Екатерины. Не жила ли там ее мать некоторое время около 1729 г. и не приходилось ли ей часто встречаться с молодым принцем, которому едва исполнилось 16 лет и который недалеко отсюда вел угрюмую жизнь в обществе своего о мрачного отца? Немецкий историк Зугенгейм не побоялся указать на этого молодого принца, известного впоследствии под именем Фридриха Великого, как на «отца инкогнито Екатерины».

Письмо принца Христиана-Августа Ангальт-Цербстского, официального отца Екатерины, по-видимому, лишает это смелое предположение всякого правдоподобия. Оно помечено 2 мая 1729 г., написано в Штеттине, и принц объявляет в нем, что в тот же день, в два с половиной часа ночи у нею родилась дочь в этом городе. Эта дочь не может быть иная, чем та, о которой идет речь. Христиан-Август не мог не знать, где рождаются ею дети, хотя, может быть, он и не был достаточно осведомлен о том, каким образом они появлялись на свете. Существуют еще и другие доводы. Ничем не доказа-

но, что Дорнбург принимал в своих стенах мать Екатерины незадолго до рождения последней; скорее даже вполне достоверно доказано обратное. Принцесса Цербстская, оказывается, провела часть 1728 года очень далеко и от Дорнбурга и от Штеттина, а именно в Париже. Как известно, Фридрих никогда не был в Париже. Он даже чуть не поплатился головой за одно желание его посетить, как недавно рассказал историк Лависс со свойственным ему тонким талантом.

По воображение историков, даже немецких, неиссякаемо. За отсутствием Фридриха, в 1728 г. в русском посольстве в Париже находился молодой человек, незаконный сын знатной семьи, несомненно посещавший принцессу Ангальг-Цербстскую. Следовательно, мы опять попали на след другого романа и другого предполагаемого отца. Этот молодой человек именовался Бецким и стал впоследствии знатным вельможей. Он умер в Петербурге в очень преклонном возрасте; говорят, что, посещая этого старца, которого она окружала заботами и нежным попечением, Екатерина наклонялась над его креслами и целовала его руку. Этого оказалось достаточно для того, чтобы немецкий переводчик «Воспоминаний» Массона пришел к убеждению, которое мы, однако, не можем разделить. Таким образом, пожалуй, не окажется во всей истории восемнадцатого века ни одного знатного рождения, которое не давало бы пищи аналогичным предположениям.

Мы не станем их дальше оспаривать. Женщина, носившая

впоследствии имя Екатерины Великой, по-видимому, родилась в Штеттине, и ее родители по закону и, поскольку нам известно, по природе были: принц Христиан-Август Цербст-Дорнбург и принцесса Иоанна-Елизавета Голштинская, его законная супруга. Наступило время, как мы увидим, когда малейшее деяние этого ребенка, столь скромно вступившего в жизнь, было отмечено самыми достоверными числами, и жизнь его прослежена день за днем, почти час за часом. Это послужило ей отмщением и вместе с тем мерилom пути, пройденного ее лучезарной судьбой.

Но что представляло в 1729 г. рождение маленькой принцессы Цербстской? Княжеская семья этого имени – одна из тех, которыми Германия кишела в то время, – являлась ветвью Ангальтского дома, насчитывавшего их восемь. До того времени, как неожиданное счастье озарило его небывалым сиянием, ни одно из разветвлений этого корня не потревожило эхо славы. Вскоре окончательное пресечение всего рода подрезало эти зачатки известности. Не имев истории до 1729 г., Ангальт-Цербстский дом перестал существовать в 1793 г.

II. Рождение Фигхен (Figchen). – Воспитание немецкой принцессы в восемнадцатом столетии. – Мадемуазель Кардель. – Путешествия и впечатления. – Эйтин и Берлин. – Предсказание.

Родители Екатерины не жили в Дорнбурге. Заботы направили их в другое место. Отец ее должен был зарабатывать свой хлеб (он родился в 1690 г.) и принужден был поступить на службу в прусскую армию. Он воевал с Нидерландами, с Италией, с Померанией, со Швецией и Францией. Тридцати одного года он заслужил эполеты генерал-майора; тридцати семи лет он женился на принцессе Иоанне-Елизавете Гольштейн-Готторпской, младшей сестре того самого принца Карла, который чуть было не сел на российский престол рядом с Елизаветой и в лице которого она вечно оплакивала обожаемого жениха. В этом заключалось какое-то предопределение. Христиан-Август, назначенный командиром пехотного Ангальт-Цербстского полка, должен был отправиться в Штеттин, чтобы принять над ним командование. То была настоящая гарнизонная жизнь.

Христиан-Август был образцовым супругом и отцом. Он очень любил своих детей. Но, ожидая сына, он был сильно разочарован, когда родилась Екатерина. Первые годы детства Екатерины были этим омрачены. Когда принялись заниматься этим периодом ее жизни. – а заинтересовались им впоследствии страстно, – воспоминания свидетелей его значительно потускнели. Сама она неохотно их освежала, отвечая с непривычной ей скрытностью на предлагаемые ей по этому поводу вопросы. «Я не вижу тут ничего интересного», писала она Гримму, самому смелому ее вопрошате-

лю. Впрочем, и ее воспоминания не отличались точностью. «Я родилась, – говорила она, – в доме Грейфенгейма, на Mariekirchenhof». Однако в Штеттине нет и никогда не было дома этого имени. Командир 8-го пехотного полка жил на Dom-Strasse, в доме № 791, принадлежавшем председателю коммерческого суда в Штеттине, фон-Ашерлебену. Квартал, где находилась эта улица, назывался Грейфенгаген (Greifenhagen). Дом переменял и номер и владельца. Он принадлежит теперь советнику Девицу и помечен № 1. На одной выбеленной стене замечается черное пятно, являющееся единственным следом, оставленным пребыванием великой императрицы, – то следы дыма от жаровни, зажженной 2 мая 1729 г. около колыбели Екатерины. Сама колыбель исчезла. Она находится в Веймаре.

Названная при крещении Софией-Августой-Фредерикой, в честь трех ее теток, Екатерина для всех была просто Fighen или Fichchen, как писала ее мать, – по-видимому, уменьшительное от слова Sophiechen. Вскоре после ее рождения родители ее переселились в штеттинский замок, заняв левое его крыло, находившееся возле церкви. Фигхен были отведены три комнаты; из них одна – ее спальня – была рядом с колокольней. Таким образом ей представилась возможность подготовить свой слух к оглушительному трезвону православных церквей. Может быть, само Провидение это устроило! Там она росла и воспитывалась, весьма просто. Штеттинские улицы, действительно, были свидетельницами ее игр с

детьми местной буржуазии, и ни один из них, несомненно, и не думал величать ее по титулу. Когда матери этих детей посещали замок, Фигхен выходила им навстречу и почтительно целовала полу их платья. Таково было желание ее матери, имевшей иногда мудрые мысли. Это, впрочем, случалось с ней не часто.

Однако у Фигхен было много учителей, кроме особой приставленной к ней гувернантки, – конечно, француженки. В то время в каждом более или менее значительном немецком доме были французские гувернеры и гувернантки. Это явление было одним из косвенных следствий отмены Нантского эдикта. Они преподавали французский язык, французские изысканные манеры и любезность. Они учили тому, что сами знали, а большинство, кроме этого, ничего и не знало. Таким образом и у Фигхен появилась мадемуазель Кардель. Кроме того, у нее были французский капеллан Перо (Peraud) и учитель чистописания, тоже француз, Лоран (Laurent). Несколько местных учителей дополняли собой этот довольно обильный педагогический персонал. Некий Вагнер обучал Фигхен родному языку. Музыкой занимался с ней также немец, Религ (Roellig). Впоследствии Екатерина вспоминала первых воспитателей своей юности с чувством умиленной благодарности, но с примесью некоторого шаловливого юмора. Она, однако же, отводила особое место мадемуазель Кардель, – «знавшей почти все, хотя сама она никогда не училась, почти как и ее ученица», –

говорившей ей, что у нее «неповоротливый ум», и каждый день напоминавшей ей, чтобы она опускала свой подбородок. «Она находила, что он необыкновенно длинен, – рассказывала Екатерина, – и думала, что, вытягивая его вперед, я рискую толкнуть им встречных людей». Добрая мадемуазель Кардель, вероятно, не подозревала, какие встречи выпадут на долю ее ученицы! Однако она не только выправляла ее ум и заставляла ее опускать подбородок: она давала ей читать Расина, Корнеля и Мольера и отвоевывала ее от немца Вагнера, его немецкой педантичности, его померанской неповоротливости и от нелепости его «Prufingen», оставивших по себе ужасное впечатление в душе Екатерины. Несомненно, она сообщила ей и долю своего ума – ума парижанки, сказали бы мы сегодня, живого, острого и непосредственно-го. Сказать ли? Она, по-видимому, оказала ей еще большую услугу, спасая ее от ее матери и не только от пощечин, расточаемых ею будущей императрице по каждому самому пустячному поводу, повинуюсь «не разуму, а настроению», а главным образом от духа, присущего супруге Христиана-Августа, которым она заражала всех окружающих и с которым мы познакомимся впоследствии: духа интриги, лжи, низких инстинктов, мелкого честолюбия, отражавшего в себе целиком душу нескольких поколений германских мелких князьков. В общем мадемуазель Кардель вполне заслужила меха, присланные ей ее ученицей по приезду ее в Петербург.

Важным дополнением к обставленному таким образом

воспитанию служили частые путешествия Фигхен и ее родителей. Жизнь в Штеттине не представляла ничего привлекательного для молодой женщины, жаждавшей веселья, и молодого полкового командира, изъездившего пол-Европы. Поэтому предлоги к путешествиям всегда принимались с радостью, а их было не мало при наличии большой семьи. Ездили в Цербст, в Гамбург, в Брауншвейг, в Эйтин, встречая всюду родных и не роскошное в общем, но радушное гостеприимство. Доезжали и до Берлина. В 1739 г. принцесса София впервые увидела в Эйтине того, у кого ей суждено было вырвать полученный ею престол. Петру-Ульриху Голштинскому, сыну двоюродного брата ее матери, было тогда одиннадцать лет, а ей десять.

Эта первая встреча, прошедшая тогда незаметно, не произвела на Фигхен благоприятного впечатления. По крайней мере она утверждала это впоследствии в своих воспоминаниях. Он показался ей тщедушным. Ей сказали, что у него был скверный характер и – что кажется почти невероятным – что он имел уже пристрастие к спиртным напиткам. Другое путешествие как будто оставило более глубокий след в ее молодом воображении. В 1742 и 1743 гг. в Брауншвейге, у вдовствующей герцогини, воспитавшей ее мать, католический каноник, занимавшийся хиромантией, рассмотрел на ее руке три короны и не увидел ни одной на руке хорошенькой принцессы Бевернской, которую в то время старались выдать хорошо замуж. В поисках мужа наткнуться на коро-

ну – вот в чем состояла мечта, общая всем этим немецким принцессам!

В Берлине Фигхен увидела Фридриха, но он не обратил на нее внимания; а она, в свою очередь, им не занималась. Он был великим королем и стоял на пороге великолепной карьеры, она была лишь девочкой, по-видимому, предназначенной украшать собой микроскопический двор, затерянный в каком-нибудь уголке империи.

В общем таковы были воспитание и вступление в жизнь всех немецких принцесс того времени. Впоследствии Екатерина не без некоторой рисовки подчеркивала пробелы и недостатки этого воспитания. «Что ж? – говаривала она: – меня воспитывали с тем, чтобы я вышла замуж за какую-нибудь мелкого соседнего принца, и соответственно этому меня и учили всему, что тогда требовалось. Ни я, ни мадемуазель Кардель ничего этого не ожидали». Баронесса Принтен, статс-дама принцессы Цербстской, говорила, не обинуясь, что, пристально следя за ходом учения и успехами будущей императрицы, она не обнаружила в ней никаких особенных качеств и дарований. Она предполагала, что Екатерина будет «заурядной женщиной». Мадемуазель Кардель также не подозревала, по-видимому, что, поправляя тетради своей ученицы, она является, как однажды выразился восторженный Дидеро, «подсвечником,носящим свет ее эпохи».

III. Русско-немецкое свойство. — Русское влияние в Германии; соперничество немцев в России. — Потомство царя Алексея, привитое к двум германским стволам. — Голштиния или Брауншвейг. — Торжество Елизаветы; Петр Ульрих становится ее наследником. — Русский курьер в Цербсте.

Однако в этой скромной жизни было нечто, что приближало принцессу Софию к ее будущей судьбе. Она была лишь маленькой немецкой принцессой, воспитывавшейся в маленьком немецком городке, окруженном жалким, печальным, песчаным горизонтом. Но близкое соседство бросало на нею гигантскую тень, принимавшую вид привидения или чарующею миража. В этой провинции еще незадолго до того по городу расхаживали солдаты, показывая странные мундиры и нарождающийся престиж державы, недавно появившейся в Европе и внушавшей уже удивление и ужас, возбуждавшей беспредельные опасения или надежды. В самом Штеттине подробности осады, которую недавно пришлось выдержать от великого Белого царя, оставались у всех в памяти. В семье Фигхен Россия, огромная и таинственная Россия, ее бесчисленное войско, неисчерпаемые богатства, самодержавные ее государи служили беспрестанной темой интимных разговоров, к которым присоединялась, может быть, и некоторая доля вождлений и даже смутное предчувствие. Почему же нет? Вследствие браков, соединивших дочь Петра I с принцем Голштинским, внучку Иоанна, брата Петра,

с герцогом Брауншвейгским, целая сеть взаимных нитей и притяжений образовалась между великой северной державой и многочисленным племенем хилых немецких княжеств. Семья Фигхен оказалась особенно втянутой в эту сеть. Когда в 1739 г., в Эйтине, Фигхен встретила своего двоюродного брата Петра-Ульриха, она узнала, что мать его была прусской царевной, дочерью Петра Великого. Она узнала и историю другой дочери Петра Великого, Елизаветы, едва не ставшей невесткой ее матери.

Вдруг разнеслась весть о восшествии на престол этой самой принцессы, печальной невесты принца Карла-Августа Голштинского. 9 декабря 1741 г. Елизавета посредством одного из переворотов, становившихся частыми в истории северной дворцовой жизни, положила конец царствованию маленького Иоанна Брауншвейгского и регентству его матери. Каков же должен был быть отклик этого события в семейном кругу, где росла Екатерина! Разлученная жестокою судьбой с избранным ею супругом, новая императрица сохранила не только о молодом принце, но и о всей его семье трогательное воспоминание. Незадолго еще до того, она просила прислать портреты братьев покойного принца. В то время мать Фигхен несомненно припомнила предсказание каноника-хироманта. Как бы то ни было, она не замедлила написать своей двоюродной сестре и принести ей свои поздравления. Ответ на них способен был поощрить нарождающиеся надежды. Елизавета ответила не только любезно, но и нежно, объявляя

себя очень тронутой вниманием, и просила прислать портрет своей сестры, принцессы Голштинской, матери принца Петра-Ульриха. Она, по-видимому, собирала коллекцию портретов; не крылось ли в этом какое-то таинственное указание?

Тайна вдруг разоблачилась. В январе 1742 г. принц Петр-Ульрих, «чортушка», как обыкновенно звала его императрица Анна Иоанновна, которую беспокоило его слишком близкое родство с русским царствующим домом, маленький троюродный брат, мельком виденный Фигхен, исчез из Киля и появился через несколько недель в Петербурге: Елизавета вызвала его с тем, чтобы объявить его своим наследником.

Это событие не оставляло места сомнениям. В России, бесспорно, взяла верх голштинская кровь, кровь матери Фигхен, и восторжествовала она над брауншвейгской кровью. Голштиния или Брауншвейг, потомство Петра Великого или потомство его старшего брата Иоанна, умерших без прямых наследников мужского пола, – вся история русскою царствующего дома с 1725 г. заключалась в этой дилемме. По-видимому, торжествовала Голштиния, и тотчас же счастье нового императорского принца, едва установившись, начало уже отражаться на его скромных родственниках в Германии. Лучи его достигли и Штеттина. В июле 1742 г. отец Фигхен был возведен Фридрихом в чин фельдмаршала – это была любезность, по-видимому, по адресу Елизаветы и ее племянника. В сентябре секретарь русского посольства в Берлине привез самой принцессе Цербстской портрет государыни,

обрамленный великолепными брильянтами. В конце того же года Фигхен отправилась с матерью в Берлин, где знаменитый французский художник Пэн написал ее портрет. Фигхен знала, что этот портрет должен быть отправлен в Петербург, где любоваться им будет не одна императрица.

Однако прошел целый год, не принеся с собой более решительных событий. В конце 1743 г. вся семья оказалась в сборе в Цербсте. Вследствие пресечения старшей ветви, незадолго перед тем цербстский престол перешел во владение родного брата Христиана-Августа. Весело отпраздновали Рождество среди небывалого комфорта и веселых предположений насчет будущего, не говоря уже о более смелых мечтаниях. Не менее весело начали и новый год, когда эстафета, прискакавшая во весь опор из Берлина, заставила вскочить со своих стульев не только порывистую Иоанну-Елизавету, но и ее более положительного супруга. На этот раз оракулы были правы, и хиромантия торжествовала блестящую победу: эстафета привезла письмо от Брюммера, гофмейстера великого князя Петра, бывшего Петра-Ульриха Голштинского, и письмо это, адресованное на имя Иоанны-Елизаветы, приглашало ее немедленно пуститься в дорогу вместе со своей дочерью с тем, чтобы посетить императорский двор либо в Петербурге, либо в Москве.

Глава вторая

Прибытие в Россию. – Свадьба

1. Выбор будущей императрицы. – Соперничество и интриги. – Роль Фридриха II.

Брюммер был старинный знакомый принцессы Иоанны-Елизаветы. Он был гувернером великого князя и, по всей вероятности, сопровождал своего воспитанника и в Эйтин. Письмо его было пространно и исполнено подробными указаниями. Принцессе следовало собраться возможно скорее, и свита ее, сокращенная до минимума, должна была состоять из одной статс-дамы, двух горничных, одного офицера, повара и двух или трех лакеев. В Риге ее будет ожидать приличная свита, которая и проводит ее до места пребывания двора. Ее мужу было строго воспрещено ее сопровождать. Ей надлежало хранить цель своего путешествия в глубокой тайне. На расспросы ей следовало отвечать, что она едет к императрице с тем, чтобы поблагодарить ее за оказанные ей милости. Ей разрешалось, однако, открыться Фридриху II, которому все было известно. К письму был приложен чек на одного берлинского банкира, предназначенный на покрытие путевых расходов. Сумма была скромная: 10.000 р., но, по словам Брюммера, важно было не возбуждать подозрений

присылкой более значительного куша. Переступив границу России, принцесса ни в чем нуждаться не будет.

Само собой разумеется, что Брюммер посылал это приглашение, похожее на приказание, и властные инструкции от имени императрицы. Впрочем, он не пояснял намерений государыни. Другой человек взял на себя этот труд. Через два часа после приезда первого курьера прискакал второй и привез письмо от прусского короля. Фридрих все объяснял. Он, впрочем, приписывал себе решение, принятое Елизаветой, остановившей свой взор на молодой принцессе Цербстской. Он в это дело, действительно, вмешался, и вот каким образом.

Матримониальные вожеления, конечно, не замедлили возгореться вокруг «чортушки», ставшего наследником лучезарной короны. Вскоре, начиная с бывшего гувернера великого князя, немца Брюммера, и кончая лейб-медиком императрицы, французом Лестоком, каждое лицо, игравшее роль при дворе, превосходившем по интригам все дворы Европы, имело свою кандидатку и партию, поддерживавшую ее. Заходила поочередно речь о французской принцессе, о саксонской принцессе, дочери польского короля, о сестре короля прусского. Саксонский проект, поддерживаемый всемогущим канцлером Бестужевым, имел одно время наибольшие шансы на успех.

«Саксонский двор, – писал впоследствии Фридрих, – будучи раболепным слугой России, намеревался пристроить

принцессу Марианну, вторую дочь польского короля, с целью усилить свое влияние... Русские министры, настолько алчные, что они, кажется, способны были бы торговать самой императрицей, продали преждевременно свадебный контракт: они получили щедрые дары, а король польский лишь слова...»

Принцесса Саксонская была шестнадцати лет от роду; она была тщательно воспитана и представляла подходящую партию; к тому же этот брак должен был служить основанием обширной комбинации, имевшей целью, согласно замыслам Бестужева, соединить Россию, Саксонию, Австрию, Голландию и Англию, т.е. три четверти Европы, против Пруссии и Франции. Эта комбинация не удалась, и неудаче ее всеми силами способствовал Фридрих. Однако он отказался расстроить эти планы кандидатурой своей сестры, принцессы Ульрики, которая пришлась бы по вкусу Елизавете. «Было бы жестоко, – говорил он, – принести в жертву эту принцессу». На некоторое время он предоставил своего посланника, Мардефельда, его собственным, довольно ограниченными силами и силам его французского коллеги, де-ла-Шетарди, также не особенно значительным в то время. Мардефельд находился в немилости с некоторыми пор, и Елизавета подумывала даже о том, чтобы заставить его отозвать. Что касается де-ла-Шетарди, то, сыграв значительную роль при восшествии на престол новой императрицы, он сделал ошибку и не сохранил за собой завоеванного им положения. Он оста-

вил свой пост и, вернувшись на него, не нашел уже прежних привилегий. Впрочем, его правительство его не поддерживало и заставляло его поминутно требовать инструкций. Он даже спрашивал себя: «может быть, король все так же настроен против намеков на возможность брака великого князя с одной из сестер короля, сделанных после восшествия на престол императрицы?»»

Однако Фридрих не дремал. Мысль об отправке в Петербург портрета, написанного Пэном в Берлине, исходила от него. Одному из братьев матери Фигхен, принцу Августу Голштинскому, было поручено преподнести его царице. Портрет был неважен, по-видимому. Пэн уже состарился. Однако он понравился императрице и ее племяннику. В решительную минуту, в ноябре 1743 г., Мардефельд получил приказание решительно выдвинуть принцессу Цербстскую или, если она не понравится, одну из принцесс Тессен-Дармштадтских. Не пользуясь личным влиянием, прусский агент и его французский коллега решили заручиться помощью двух упомянутых нами лиц, Брюммера и Лестока, и, по свидетельству де-ла-Шетарди, результатом этого союза была победа. «Они представили государыне, что принцесса из влиятельного дома не окажется достаточно покладистой... Они также ловко воспользовались некоторыми духовными лицами, чтобы внушить ее величеству, что, вследствие незначительного различия между обеими религиями, католическая принцесса будет опаснее и в этом смысле».

Может быть, орудя дальше в этом направлении, они подчеркнули и наличие сговорчивого отца в лице принца Цербстского, который, по словам Шетарди, «был славным малым сам по себе, хотя и необыкновенно ограниченным». Словом, в первых числах декабря Елизавета поручила Брюммеру написать письмо, взволновавшее несколько недель спустя мирный двор, где Екатерина росла под строгим надзором мадемуазель Кардель.

II. Отъезд в Россию. – Путешествие. – От Берлина до Риги. – Россия обрисовывается. – Поезд родственницы императрицы. – Императорские сани. – Приезд в Петербург.

Сборы принцессы Елизаветы и ее дочери своею поспешностью удовлетворили бы Брюммера. Никто и не думал о составлении приданого для Фигхен. «Два или три платья, дюжина сорочек, столько же чулок и носовых платков» – вот все, что она взяла из родительского дома. Раз обещано было, что в России ни в чем недостатка не будет, к чему было тратиться? Впрочем, и времени на то не было. Фридрих и Брюммер слали письмо за письмом, настаивая на скором отъезде. Между тем торопить принцессу Иоанну-Елизавету было нечего. «Ей недостает только крыльев, чтобы скорее лететь», писал Брюммер Елизавете. Впрочем, по-видимому, принцесса и не намеревалась окружить особенным блеском

первое появление своей дочери в России. Перечитывая ее переписку с Фридрихом в ту минуту, удивляешься, как мало попечений она уделяла будущей великой княгине. Возникает вопрос, действительно ли речь идет о свадьбе Фигхен, и предпринимаемое путешествие в Россию имеет ли в самом деле эту цель? В этом можно усомниться. Иоанна-Елизавета едва даже намекает на это. Она главным образом думает о себе, о великих планах, возникающих в ее голове, которые она намеревается развернуть на достойной ее умения арене, об услугах, которые она собирается оказать своему державному покровителю и за которые она, как будто загодя, требует достойного вознаграждения. В этом смысле она думала и действовать в Петербурге и в Москве.

Знала ли Фигхен, о чем шла речь и в каких целях, добрых или дурных, ей приказывали укладываться? Этот пункт спорный. Она, несомненно, догадывалась, что дело было не в простой экскурсии, подобной предпринятым раньше, в Гамбург или Эйтин. Продолжительность и горячность споров между ее отцом и матерью перед отъездом, необычайная торжественность проводов и прощания ее дяди, принца Иоанна-Людвига, даже небывалая роскошь подарка – великолепная голубая материя, затканная серебром, – которым он сопровождал последние свои излияния, все это предвещало необыкновенные события.

Отъезд состоялся 10 или 12 января 1744 г., причем не произошло никаких инцидентов. В ратуше в Цербсте до сих

пор еще показывают чашу, из которой будто бы принцесса Иоаина-Елизавета пила за здоровье именитых граждан, торжественно собравшихся, чтобы пожелать ей счастливого пути. Вероятно, это лишь легенда. Однако в минуту отъезда случилось одно происшествие. Нежно поцеловав свою дочь, принц Христиан-Август вручил ей толстую книгу, прося ее тщательно ее беречь и добавив с таинственным видом, что ей вскоре придется к ней прибегнуть. Одновременно он передал и жене рукопись с тем, чтобы она отдала ее дочери, после того, как сама прочтет и тщательно обдумает содержание. Книга эта была трактатом Гейнекция о греческой религии. Рукопись являлась плодом ночных размышлений Христиана-Августа и была озаглавлена: «Pro memoria»; он пытался выяснить в ней вопрос: может ли Фигхен каким-нибудь образом стать великой княгиней, не меняя религии? Это являлось главной заботой Христиана-Августа и предметом супружеских споров, привлечших внимание Фигхен и сопровождавших приготовления к отъезду. Христиан-Август оказался непоколебимым в этом вопросе, между тем как Иоанна-Елизавета была гораздо более склонна признать необходимость, нераздельную с новой судьбой ее дочери. Почему-то отец Фигхен пожелал лично дать своей дочери оружие против покушений, оскорблявших его. Труд Гейнекция долженствовал служить этой цели. То была тяжелая крепостная артиллерия. «Pro memoria» заключала в себе соображения и советы другого порядка, в которых отражались практиче-

ский ум, свойственный самым возвышенным немецким душам, и мелочные привычки двора, подобного Цербстскому или Штеттинскому. Он советовал будущей великой княгине оказывать крайнее уважение и беспрекословное повиновение тем, от кого зависела отныне ее судьба; выше всего ей подлежало ставить желания ее супруга; ей следовало избегать слишком интимного сближения с кем бы то ни было из окружающих ее лиц. В приемных залах ей надлежало не разговаривать ни с кем в отдельности. Ей надо было беречь свои карманные деньги, дабы не подпасть под власть гофмейстерины. Наконец она в особенности не должна была вмешиваться в дела управления. Все это было изложено на жаргоне, представляющем любопытный образчик обычного языка той эпохи, того немецкого языка, который Фридрих презирал не без причины, судя по следующему отрывку: «*Nich in familiarite oder badinage zu entriren, sondern allezeit einigen egard sich conserviren. In keine Regierungssachen zu entriren, um den Senat nicht aigriren*». И так далее.

Два месяца спустя Фигхен горячо благодарила отца за эти «милостивые советы». Увидим дальше, как она ими воспользовалась.

В Берлине, где обе принцессы остановились на несколько дней, будущая императрица последний раз в жизни увидела Фридриха Великого. В Шведте на Одере она распрощалась навеки с отцом, сопровождавшим их до этого города. Он вернулся в Штеттин, а Иоанна-Елизавета, направилась

через Штаргарт и Мемель в Ригу. Это путешествие, в особенности в то время года, не представляло ничего приятного. Снега не было, но острый холод заставлял обеих женщин закрывать лицо маской. Не было комфортабельных пристанищ, где можно было бы отдохнуть. Приказания Фридриха, отрекомендовавшего графиню Рейнбек – принцесса путешествовала под этим именем – прусским почтмейстерам и бургомистрам, не могли ничего изменить к лучшему. «Так как комнаты в почтовых домах не отапливались, то приходилось ютиться в комнате самого почтмейстера, ничем не отличавшейся от свиного хлева: муж, жена, сторожевой пес, куры, дети спали вповалку в колыбелях, в кроватях, за печами, на матрацах». После Мемеля было еще хуже. Не было даже почтовых дворов. Приходилось обращаться к крестьянам с тем, чтобы достать лошадей, а их надо было двадцать четыре для четырех тяжелых дорожных карет, везших принцесс и их свиту. К каретам в предвидении снега, который мог бы встретиться по мере движения на север, были привязаны сани. Внешний вид поезда получал таким образом живописный оттенок, но зато затруднялось его движение. Двигались медленно. Фигхен успела даже расстроить себе желудок местным пивом.

В Митаву приехали 5 февраля в совершенном изнеможении. Там их встретили лучше, и гордость Иоанны-Елизаветы, тайно уязвленная вынужденною близостью к почтмейстерам, получила впервые удовлетворение. В Митаве был рус-

ский гарнизон, и командир, полковник Воейков, постарался принять как можно лучше столь близкую родственницу своей государыни. На следующий день уже приехали в Ригу.

Сцена внезапно переменялась будто в феерии. Письма принцессы к своему мужу дают восторженные описания этого неожиданного превращения: гражданские и военные власти, с вице-губернатором князем Долгоруким во главе, встретили ее у въезда в город; другой вельможа, Семен Кириллович Нарышкин, бывший послом в Лондоне, привез парадную карету; по дороге во дворец гремели пушки и т.д. И в самом замке, уготованном для приема дальних гостей, какая роскошь! Великолепно меблированные комнаты, часовые у всех дверей, курьеры на всех лестницах, барабанный бой во дворе. Яркие освещенные залы полны народа; придворный этикет, целование рук и низкие реверансы; обилие великолепных мундиров, чудных нарядов, ослепительных брильянтов; бархат, шелк, золото, невероятная, невиданная дотоле роскошь кругом... Иоанна-Елизавета чувствует, что голова ее кружится, ей все это кажется сном.

«Когда я иду обедать, – пишет она, – раздаются звуки трубы; барабаны, флейты, гобои наружной стражи оглашают воздух своими звуками. Мне все кажется, что я нахожусь в свите ее императорского величества или какой-нибудь великой государыни; я не могу освоиться с мыслью, что это для меня, для которой в иных местах едва бьют в барабаны, а в иных местах и этого не делают». Однако она охотно все при-

нимает и всей душой наслаждается. Что касается Фигхен, нам неизвестно, какое впечатление произвела на нее картина могущества и роскоши, внезапно раскинувшаяся перед ней. Но, несомненно, оно было глубоко. То была Россия, великая, таинственная Россия, являющаяся ей и заставляющая ее предвкушать будущее великолепие.

9 февраля снова пустились в путь. Поехали в Петербург, где по желанию государыни им следовало остановиться на несколько дней, а затем уже ехать к ней в Москву. Принцессы должны были воспользоваться своим пребыванием в столице, чтобы применить свой туалет к общепринятой моде. Со стороны Елизаветы это был деликатный способ исправить угаданные или сообщенные заранее неисправности и нехватки в гардеробе Фигхен. Несомненно, со своими тремя платьями и дюжиной сорочек будущая великая княгиня играла бы плачевную роль при дворе, являвшемся средоточием всякой роскоши. Сама государыня имела пятнадцать тысяч шелковых платьев и пять тысяч пар башмаков! Екатерина безбоязненно вспоминала впоследствии о бедности, сопровождавшей ее в ее новое отечество. В то время она полагала, что уплатила уже свой долг.

Само собою разумеется, что в Митаве остались тяжелые немецкие дорожные кареты. Другой поезд должен был везти обеих путешественниц по дороге к новому счастью. Принцесса Цербстская описывает его следующим образом: «1 – отряд лейб-кирасир его императорского высочества, имену-

емый голштинскими полками, под командой поручика; 2 – камергер князь Нарышкин; 3 – шталмейстер; 4 – офицер лейб-гвардии Измайловского полка; 5 – метрдотель; 6 – кондитер; 7 – не знаю уже, сколько поваров и их помощников; 8 – ключник и его помощники; 9 – человек для кофе; 10 – восемь лакеев; 11 – два гренадера лейб-гвардии Измайловского полка; 12 – два фурьера; 13 – не знаю сколько саней и конюхов... Среди саней есть сани, которыми пользуется ее императорское величество, так называемые „les linges (sic!)“. Они ярко-красные, украшенные серебром, опушенные внутри куньим мехом. Устланы они шелковыми матрасами и такими же одеялами, поверх них лежит одеяло, присланное мне вместе с шубами, – подарок императрицы, привезенный Нарышкиным. Я буду лежать в этих санях во весь рост вместе с дочерью. У мадам Кайн (статс-дама принцессы) менее красивые сани, она едет совсем одна“. Далее Иоанна-Елизавета еще более восторгается совершенствами чудесных императорских саней: „Они по форме очень длинны; верх напоминает верх наших немецких экипажей. Они обиты красным сукном с серебряными галунами. Низ устлан мехом; на него положены матрасы, перины и шелковые подушки; а сверх всего этого разостлано очень чистое атласное одеяло, на которое и ложишься. Под голову кладут еще другие подушки, а покрываются подбитым мехом одеялом; таким образом оказываешься совсем как в постели. Кроме того, длинное расстояние между кучером и задком служит еще и для других

целей и полезно в том отношении, что по каким бы ухабам мы ни ехали, не чувствуется вовсе толчков; дно саней представляет ряд сундуков, куда кладешь, что угодно. Днем на них сидят лица свиты, а ночью люди могут лечь на них во весь рост. Они запряжены шестью лошадьми парами, опрокинуться они не могут... все это придумано Петром Великим“.

Елизаветы не было в Петербурге с 21 января. Все же в столице находилось еще много лиц, принадлежавших ко двору, и часть дипломатического корпуса. В то время путешествие в Москву являлось целым событием. Приходилось брать с собой не только людей, но и часть мебели. Отъезд государыни перемещал до ста тысяч человек и целый квартал города. Впрочем, французский и прусский посланники не позволили никому предупредить их у обеих принцесс. Оба поспешно отправились к ним. Таким образом принцесса Цербстская оказалась окруженной атмосферой искательства, почтения, чрезмерной лести, в которой уже проглядывали интриги и страстное соперничество. Она очутилась в своей стихии и сладострастно погрузилась в нее, делая приемы, давая аудиенции с утра до вечера, приглашая на «партию» выдающихся знатных людей и приучаясь к более сложной игре в политику. Через неделю она сильно утомилась. Ее дочь оказалась выносливее. «Figchen southenirt di Fatige besser, als ich», писала принцесса своему мужу. Она добавляла и следующую черточку, где проглядывает уже характер будущей Се-

мирамиды: «Величие всего окружающего поддерживает мужество Фигхен».

Величие! Действительно, эта черта как будто сильнее всего занимает ум этой пятнадцатилетней девочки в эту минуту, когда раскрывалась перед ней тайна ожидавшей ее судьбы. Позднее, находясь на вершине своей удивительной карьеры, она сохранила как бы следы ослепления и опьянения горизонтами, развернувшимися перед нею в то время. Вместе с тем она узнает, из чего соткано это величие и как оно достигается. Ей показывают казармы, из которых Елизавета отправилась завоевывать престол; она видит и суровых grenадер Преображенского полка, сопровождавших государыню в ночь 5 декабря 1741 г. Эти беспримерные наглядные уроки запечатлеваются в ее пытливом уме.

В уме ее матери, однако, иногда к упоению настоящей минуты примешивается и некоторая тревога. Сквозь расточаемые ей комплименты и похвалы, к ее уху прокрадываются некоторые сдержанные предупреждения и скрытые угрозы. Всемогущий Бестужев все еще противится предполагаемому браку и не складывает оружия. Он рассчитывает на епископа новгородского, Амвросия Юшкевича, оскорбленного слишком близким родством между великим князем и принцессой Софией и, по слухам, подкупленного саксонским двором тысячу рублей.

Влияние его значительное. Но Иоанна-Елизавета мужественна. Две причины, стоящие аргументов всех ее против-

ников, поддерживают ее самоуверенность и веру в успех: во-первых, необыкновенное легкомыслие ее характера, вследствие чего она сама называет себя «игривым духом», и ее мнение о себе, о своих способностях к интриге и уменье преодолевать самые большие препятствия. В чем собственно было дело? В победе над оппозицией недоброжелательного министра. К тому было средство, о котором было говорено ею с Фридрихом при проезде ее через Берлин; оно состояло в том, чтобы устранить оппозицию, устранив самого министра, «свергнуть Бестужева». Фридрих давно уже подумывал об этом. Что ж? Она свергнет Бестужева, как только приедет в Москву! Брюммер и Лесток ей в этом помогут.

III. От Петербурга до Москвы. – Прием Елизаветы. – Уверенность в успехе. – Политические предприятия принцессы Цербстской. – Борьба с Бестужевым.

Это путешествие ничем не походило на путешествие из Берлина в Ригу. Почтовые дворы по дороге напоминают скорее дворцы. Сани летят по твердому снегу. Едут день и ночь, чтобы приехать в Москву 9 февраля, ко дню рождения великого князя. На последней заставе, в семидесяти верстах от Москвы, в знаменитые сани, придуманные Петром Великим, впрягают шестнадцать лошадей и в три часа сжигают это пространство. Этот головокружительный бег, однако, чуть не был прерван несчастным случаем. Проезжая од-

ну деревню во весь дух, тяжелые сани, везомые шестнадцатью конями и еще раз везущие счастье России. ударяются об угол избы. От толчка два толстых железных бруса отрываются от покато́й крыши и, скатившись с нее, чуть не убивают обеих принцесс. Один из них ударяет Иоанну-Елизавету по груди, но шуба, в которую она закутана, ослабляет удар, дочь ее даже не проснулась. Два гренадера Преображенского полка, сидевших на козлах, лежат в снегу с окровавленными головами и поломанными членами. Жителям села предоставляют их поднять, стегают лошадей и в восемь часов вечера останавливаются у деревянного «Головинского дворца», обитаемого государыней.

Елизавета, снедаемая нетерпением, стала за двойными шпалерами придворных, выстроившихся для встречи приезжих гостей. Ее племянник, еще более нетерпеливый, нарушает этикет и спешит в их апартаменты, где, не дав им даже снять шубы, приветствует их самым нежным образом (*auf tendreste*). Вскоре они являются императрице, свидание сходит самым лучшим образом. Оно даже оттенено ноткой умиления, являющейся счастливым предзнаменованием. Внимательно взглядевшись в мать будущей великой княгини, императрица поворачивается и поспешно выходит. Оказывается, она хочет скрыть свои слезы, так как черты лица принцессы напомнили ей ее неутешную скорбь. Впрочем, принцесса, следуя совету Брюммера, не преминула поцеловать руку императрицы, а Елизавета чувствительна к знакам чрезы-

чайного почтения.

На следующий день Фигхен и ее мать одновременно производятся в кавалерственные дамы ордена св. Екатерины – по просьбе великого князя, как уверяет их Елизавета. «Моя дочь и я живем, как королевы», пишет принцесса Цербстская своему мужу. Что касается всемогущего Бестужева, судьба его решена. Принцессе не приходится даже организовывать заговора для его свержения, так как он уже готов: перемена в судьбе Петра-Ульриха привлекла в Россию партию Франции и партию Пруссии, поддерживаемую юлштинцами. По-видимому, всеми ими управляет Лесток, выдвигая вперед, в виде оппозиции Бестужеву, графа Михаила Воронцова, принимавшего участие в восшествии на престол Елизаветы. Здесь не место для характеристики министра, одного из самых замечательных дипломатических кондотьеров той эпохи, служившего многим лицам перед тем, как предложить окончательно свои услуги России. Сознает ли мать Фигхен значение затеянной ею борьбы и могущество своего соперника? Вряд ли. Она твердо помнит, что Фридрих обещал дать ее младшей сестре Кведлинбургское аббатство в случае успеха ее затеи, и она намерена получить свое аббатство. Падение Бестужева, согласно планам Фридриха, являлось бы сигналом к перемещению фигур на политической шахматной доске, следствием которого было бы сближение между Россией, Пруссией и Швецией. Как прославилась бы принцесса Цербстская, если бы ей удалось пристегнуть свое имя

к подобному событию! Она чувствует, что это ей по плечу. Она – женщина, и приехала из Цербста: в этом заключается ее оправдание. Ей все кажется, что она имеет дело с маленькими интригами и жидкими политическими комбинациями, с которыми она была знакома в Цербсте; в этом и состояла ее великая ошибка вплоть до того дня, когда перед ее прозревшими глазами предстала необъятность бездны, на край которой она бессознательно ступила. О браке своей дочери она более и не заботится. «Это дело сделано», пишет она своему мужу. Фигхен всем понравилась. «Государыня ее ласкает, наследник любит ее». Что же, между тем, говорит сердце невесты? Воспоминание о первой встрече в Эйтине с щедушным «кильским ребенком» уступило ли теперь место более благоприятным впечатлениям? Мать Фигхен и не заботится об этом. Петр – великий князь, он будет когда-нибудь императором. Сердце ее дочери было бы сделано из другого теста, чем сердца всех немецких настоящих и прежних принцесс, если бы оно не удовлетворилось обещаниями счастья, данными в такой форме. Посмотрим, однако, что стало с хилым ребенком после неожиданной перемены, внесенной в его судьбу!

IV. Великий князь. – Воспитание кандидата на престолы России и Швеции. – Два немецких преподавателя. – Брюммер и Штелин. – Дебют Фигхен. – Она учится русскому языку. –

Болезнь и выздоровление. – Религиозный вопрос. – Пастор или русский священник?

Петр родился в Киле 10 февраля 1728 г. В этот день голштинский министр Бассевиц писал в Петербург, что царевна Анна Петровна родила здорового и крепкого мальчика. Под его пером то была лишь придворная лесть. Ребенок не был крепким и никогда им не стал. Мать его умерла от чахотки три месяца спустя. Его слабое здоровье и было причиной, почему воспитание его было неудовлетворительно. До семи лет он оставался на руках у нянек – как в Штеттине, так и в Киле они были француженки. У него был и учитель французского языка, Милле. В семь лет его резко заставили перейти под дисциплину офицеров голштинской гвардии. Не став еще мужчиной, он уже делается солдатом – солдатом казарменным, кордегардии и плац-парада. Вследствие этого он приобретает пристрастие к ремеслу, но к наиболее низкой его стороне, к его грубости, мелочности и вульгарности. Он участвует в ученьях, несет караульную службу. В 1737 г., девяти лет, он уже сержант и по обязанностям службы стоит с обнаженным оружием у двери залы, где отец его роскошно пирует с офицерами. По мере того, как перед его глазами проносят вкусные блюда, слезы ручьями текут по щекам ребенка. Вступив на престол, Петр называл это происшествие самым лучшим воспоминанием своей жизни.

В 1739 г., по смерти отца, наступает другой режим: по-

является главный воспитатель, руководящий несколькими другими: этот главный воспитатель знакомый уже нам голштинец Брюммер. Рюльер восхваляет этого человека, «обладающего редкими достоинствами», и находит, что единственная его ошибка заключается в том, что он «воспитал молодого принца по самым высоким образцам, соображаясь скорей с его судьбой, чем с его умом». Другие показания касательно этого лица не столь для него благоприятны. Француз Милле утверждал, что он «годен был воспитывать лошадей, а не принцев». Он грубо обращался со своим воспитанником, подвергая его неразумным наказаниям, не соответствовавшим его хрупкому телосложению; например, он оставлял его без пищи или подвергал мукам долгого стояния на коленях на сухом горохе, рассыпанном по полу. Вследствие того, что маленький принц, «чортушка», упорно продолжавший жить наперекор императрице Анне, был одновременно кандидатом и на шведский и на русский престолы, его попеременно обучали то русскому, то шведскому языку, сообразно планам данного момента. В результате он не знал ни того, ни другого языка. Когда он приехал в Петербург в 1742 г., Елизавета удивилась его отсталости. Она поручила его Штелину. Он был саксонец, переселившийся в Россию в 1735 г., профессор элоквенции, поэзии, философии Готтшедта, логики Вольфа и еще многих других предметов. Кроме своей профессорской учености, он обладал еще и множеством талантов: писал стихи по поводу придворных тор-

жеств, переводил итальянские оперы для театра ее величества, составлял рисунки для медалей в память побед, одержанных над татарами, управлял хорами императорской капеллы, сочинял эмблемы для фейерверков и т.п.

Легко себе представить, каково было воспитание Петра среди выше упомянутых обстоятельств! Брюммер остался при нем в качестве гофмаршала и, по свидетельству Штелина, стал еще грубее. Однажды потребовалось его вмешательство для того, чтобы предотвратить насилие над великим князем, так как голштинiec бросился на него с поднятыми кулаками, а Петр, полумертвый от страха, стал звать на помощь гренадер гвардии, стоявших на часах.

Под влиянием подобного режима характер будущего супруга Екатерины приобрел уродливые и порочные свойства: он стал одновременно несдержан и хитер, труслив и хвастлив. Он удивлял чистосердечную Фигхен своею ложью, как удивлял впоследствии весь мир своею трусостью. Однажды он захотел было повергнуть в изумление Фигхен рассказами о своих подвигах во время войны с датчанами. Она наивно спросила, когда это было. – «За три или четыре года до смерти моего отца». – «Значит, вам не было еще и семи лет!» Он очень рассердился.

Вместе с тем он оставался тщедушным, непривлекательным как в физическом, так и в нравственном отношении и обладал странной, беспокойной душой, заключенной в узком, малокровном и преждевременно истощенном теле. Фи-

гхен, несомненно, ошиблась бы, если бы рассчитывала на его привязанность для упрочения своего положения в России, как эта привязанность ни казалась искренней Иоанне-Елизавете. Был ли он вообще способен любить, этот молодой человек столь печального образа?

К счастью для себя, Екатерина могла с самого начала полагаться, помимо всякой другой поддержки, на свои собственные силы. Ее рассказы про эту эпоху ее жизни показались бы невероятными, если бы мы не имели возможности проверить искренность ее повествования. Ей едва исполнилось пятнадцать лет, но уже мы замечаем в ней верный и проницательный взгляд, меткость суждений, изумительную способность схватывать положение и необыкновенно здравый смысл, составлявшие впоследствии часть ее гения, может быть, даже весь ее гений. Прежде всего она поняла, что для того, чтобы остаться в России, иметь в ней значение и – как знать? – играть в ней роль, следует сделаться русской. Ее троюродный брат Петр, без сомнения, и не помышлял об этом. Но она быстро отдает себе отчет в неловкости и тайном недовольстве, возбуждаемом его голштинским жаргоном и немецкими манерами.

Она встает ночью, чтобы повторять уроки учителя русского языка Ададунова. Она не дает себе труда одеться, и ходит босиком по комнате, чтобы не заснуть, и простужается. Вскоре жизнь ее находится в опасности.

«Молодая принцесса Цербстская, – пишет Шетарди 26

марта 1744 г., – заболела воспалением легких». Саксонская партия поднимает голову. Согласно свидетельству французского дипломата, она жестоко ошибается, так как Елизавета не намерена, что бы ни случилось, дать ей воспользоваться событиями. «Она говорила третьего дня Брюммеру и Лестоку, что они тем ничего не выиграют, а ежели б она такое дражайшее дитя потерять несчастье имела, то она дьяволом клялася, что саксонской принцессы, однакож, никогда не возьмет». Впрочем, Шетарди пишет: «Брюммер мне в конфиденции открыл, что в случае бедственной крайности, которой опасаться и предусматривать надлежит, он пути приутоговал и что молодая принцесса д'Армштадтская (sic), прекрасная собою и которую король Прусский представлял, в случае когда б принцесса Цербстская успеха не получила, – всем другим принцессам предпочтена была б. Однакож прибежище к такому способу не малым несчастьем быть имело б, и мы в том много б потеряли, в рассуждении того мнения и удостоверения, которые принцессы Цербстские, мать и дочь, обо мне имеют, что я вспомоствовал».

В то время, как вокруг нее пробуждается честолюбивое соперничество, принцесса София борется со смертью. Доктора предписывают кровопускание. Ее мать этому противится. Дело передается на обсуждение императрицы; но она находится в Троицкой лавре, погруженная в молитвы, которым она предается страстно, хотя и порывами, влагая страсть во все свои поступки. Проходит пять дней; больная все ждет.

Наконец Елизавета приезжает в сопровождении Лестока и приказывает пустить кровь. Бедная Фигхен теряет сознание. Придя в себя, она видит себя в объятиях императрицы. Чтобы вознаградить ее за то, что она дала уколоть себя ланцетом, императрица дарит ей брильянтовое ожерелье и серьги ценою в двадцать тысяч рублей, по оценке принцессы Иоанны-Елизаветы. Сам Петр обнаруживает щедрость и преподносит ей часы, осыпанные брильянтами и рубинами. Однако, ни брильянты, ни рубины не властны над лихорадкой. В течение двадцати семи дней больной пускают кровь шестнадцать раз, иногда по четыре раза в сутки. Наконец, молодой и крепкий организм Фигхен одерживает верх и над болезнью и над лечением. Оказалось даже, что этот долгий и болезненный кризис имел на ее судьбу решительное и особенно счастливое влияние. Во-первых, насколько мать ее умудрилась опротиветь всем, вечно препираясь с докторами, ссорясь с окружающими и со своей дочерью, которую мучила, невзирая на ее страдания, настолько Екатерина сумела, несмотря на свое положение, завоевать все сердца и привлечь все симпатии. В это время разыгралась история с материей – со знаменитой голубой материей, подаренной ей ее дядей Людвигом. Иоанна-Елизавета почему-то вздумала отнять ее у бедной Фигхен. Можно себе представить, какой шум поднялся вокруг больной по случаю этого пустого инцидента: хор упреков по адресу бесчувственной, жестокосердой матери, – хор симпатий в пользу дочери, жертвы столь недостой-

ного обращения. Фигхен уступила материю и ничего от этого не потеряла. Она торжествовала, впрочем, и другие победы. Ее болезнь сама по себе делала ее привлекательной в глазах русских. Все знали, каким образом она ее схватила. Образ молодой девушки, босиком изучающей по ночам созвучия славянского языка, невзирая на суровую зиму, пленял воображение и становился легендарным. Вскоре стало известно, что, когда она была очень плоха, мать ее хотела позвать протестантского пастора. «Это зачем? – сказала она. – Позовите лучше Симеона Тодорского». Симеон Тодорский был православный священник, которому поручили религиозное воспитание великого князя и который должен был приняться и за религиозное воспитание великой княгини.

Каковы были в данную минуту чувства принцессы Софии относительно этого щекотливого вопроса? Трудно произнести о них правильное суждение. Некоторые признаки указывают на то, что труд Гейнекция и советы, изложенные в «Pro memoria» Христиана-Августа произвели на нее довольно глубокое впечатление. «Я молю Бога, – писала она отцу еще из Кенигсберга: – чтобы он даровал моей душе силы, необходимые для того, чтобы выдержать искушения, которым я, по-видимому, буду подвергнута. Он дарует мне эту милость молитвами вашего высочества и дорогой мамы». Со своей стороны Мардефельд был озабочен. «Меня сильно смущает лишь одно обстоятельство, пишет он: – а именно: мать думает или делает вид, что думает, что молодой краса-

вице нельзя будет перейти в православную веру».

Он рассказывает еще, что как-то раз пришлось призвать протестантского пастора с тем, чтобы он успокоил ее сердце, встревоженное уроками православного священника. Вот, однако, какое представление составила себе впоследствии Екатерина, опираясь на личный опыт, о трудностях, с которыми сопряжен переход в лоно православной церкви немецкой принцессы, воспитанной в лютеранстве, о количестве времени, требуемом для одоления их, и о ходе разрешенной подобным образом нравственной задачи. В письме к Гримму от 18 августа 1776 г. она выражается следующим образом о принцессе Вюртембергской, выбранной ею для своего сына Павла: «Как только мы ее получим, мы приступим к ее обращению. На это потребуются, пожалуй, дней пятнадцать... Чтобы ускорить дело, Пастухов отправился в Мемель, где выучит ее азбуке и исповеданию веры по-русски: убеждение придет после».

...Как бы то ни было, но отказ от лютеранского пастора – отречение от верований детства, исходящее из уст умирающей будущей великой княгини и призыв Тодорского, т.е. исповедание православной веры, – нашли сочувственный отклик в России. С этого времени положение Фигхен было обеспечено. Что бы ни случилось, она отныне могла быть уверена в том, что найдет приют в сердце наивного и глубоко религиозного народа, желающего доказать ей свою благодарность. Узы, связавшие маленькую немецкую принцессу с

великим славянским народом, на языке которого она только что начинала лепетать, договор, в продолжение почти столетия соединявший их в одной славной судьбе и расторгнутый лишь смертью, – эти узы, этот договор образовались с этой минуты.

20 апреля 1744 г. принцесса София впервые после болезни появляется публично. Она еще так бледна, что императрица посылает ей банку румян, но она все-таки привлекает все взоры и чувствует, что взоры эти большею частью благожелательны. Она уже нравится и привлекает к себе. Она сияет и согревает ледяную атмосферу двора, которому она сумеет впоследствии придать столько блеска. Даже Петр становится любезнее и доверчивее. Увы! его любезность и доверчивость совершенно особого свойства: он рассказывает своей будущей супруге историю своей любви к одной из фрейлин императрицы, Лопухиной, мать которой была недавно сослана в Сибирь. Фрейлине пришлось одновременно покинуть двор. Петр хотел было на ней жениться, но подчинился воле императрицы. Фигхен краснеет и, не теряя самообладания, благодарит великого князя за честь, оказываемую ей тем, что делает ее поверенной своих тайн. Таким образом уже выясняется, какая будущность ожидает эти два, столь различные существа.

V. Мать Фигхен намеревается управлять Россией. –

Неподозреваемая опасность. – В Троице-Сергиевой лавре. – Катастрофа. – Отозвание Шетарди. – Торжество Бестужева. – Портрет Елизаветы.

Тем временем принцесса Иоанна-Елизавета вполне погрузилась в свои политические предприятия. Она сошлась с семьей Трубецких и даже с Бецким, проявлявшим уже свой беспокойный характер. В ее салоне собираются все противники настоящей политической «системы», все враги Бестужева: Лесток, Шетарди, Мардефельд, Брюммер. Она интригует, замышляет, шепчет. Она смело идет вперед со свойственной нервным женщинам страстностью и присущим ей легкомыслием; ей кажется, что в ее руках успех и Кведлинбургское аббатство. Она в воображении уже принимает поздравления Фридриха и входит в роль посланника при великом северном дворе, ставшем его лучшим и драгоценнейшим союзником. Она не видит разверзающейся у ее ног пропасти.

1 июня 1744 г. Елизавета снова отправляется в Троицкую лавру. Путешествие совершается со всей пышностью торжественного богомолья; императрицу сопровождает половина двора, а сама она идет пешком. Вступая на престол, она дала обет возобновлять это богомолье каждый раз, как будет приезжать в Москву, в память того, что Петр I нашел в древней обители убежище во время стрелецкого бунта. Принцесса София, будучи еще слишком слабой, не могла сопровож-

дать императрицу, и мать ее осталась с ней. Однако через три дня является курьер с письмами от Елизаветы, повелевающей обоим принцессам присоединиться к императорскому шествию, дабы присутствовать при торжественном въезде императрицы в Троицкую лавру. Не успели они расположиться в келье, куда пришел и великий князь, как является императрица в сопровождении Лестока. Она, в большом волнении, приказывает принцессе Иоанне-Елизавете следовать за ней в соседнюю комнату. За ними идет и Лесток. Свидание длится долго, но Фигхен не тревожится этим, так как она поглощена вздорной по обыкновению болтовней Петра. Мало-помалу молодость и живость ее ума одерживают верх над чувством неловкости, внушаемым ей обыкновенно присутствием великого князя, и они весело разговаривают и смеются. Вдруг возвращается Лесток. «Ваша радость скоро кончится!» сказал он резко; затем, обращаясь к принцессе Софии, он прибавил: «Вам остается только укладываться». Фигхен немеет от изумления, а великий князь спрашивает, что это значит. «Сами скоро увидите», отвечает Лесток.

«Я ясно видела, – пишет Екатерина в своих „Записках“: что он (великий князь) расстался бы со мной без сожаления. Ввиду его отношения ко мне я была к нему почти совсем равнодушна, но я не была равнодушна к российской короне». Могла ли, действительно, эта пятнадцатилетняя девочка думать уже о короне? Почему же нет? Она писала свой записки через сорок лет, – если предположить, что она их писала

в том виде, в каком они до нас дошли, – неизбежно преувеличивала свои детские впечатления. «Сердце мое, – говорит она дальше, вспоминая ту же эпоху своей жизни, – не предвещало мне ничего доброго; меня поддерживало лишь честолюбие. В глубине моего сердца всегда таилось нечто, что не позволяло мне сомневаться в том, что мне удастся сделаться императрицей всероссийской по собственному своему почину». Здесь преувеличение очевидно и добавление а posteriori бросается в глаза. Но престол, разделенный с Петром, мог, пожалуй, казаться заманчивым ее детскому воображению; случилось ведь, что и более отдаленные «надежды» фигурировали в брачном приданом, и даже в настоящее время пятнадцатилетние невесты прекрасно умеют их учить.

Вслед за Лестоком появляется императрица, очень красная, а за нею принцесса Иоанна-Елизавета, очень взволнованная и с заплаканными глазами. При виде государыни молодые люди, сидевшие на подоконнике с болтающимися ногами, поспешно соскакивают на пол. Эта картина как будто обезоруживает императрицу. Она улыбается, подходит к ним, целует их и выходит, не вымолвив ни слова. Тут тайна разоблачается. Уже больше месяца принцесса Цербстская, не подозревая того, ходила по mine, вырытой под ее ногами врагом, которого она думала одолеть без труда. И вот мина взорвалась.

Маркиз де-ла-Шетарди вернулся в Россию с репутацией

самого блестящего дипломата того времени, опиравшейся на роль, сыгранную им в России. Ему было двадцать шесть лет. Он был высокого роста, строен, красивой, аристократической наружности и, казалось, предназначен был занять высокое положение при дворе, где все решения зависели от фавора, где прежде всего и главным образом надо было нравиться и где, как говорят, он раньше уже успел понравиться. Он составил себе очень ловкий план, пожалуй, даже слишком ловкий план; ему не без труда удалось заставить Версальский двор принять его. Он заключался в том, чтобы поставить падение Бестужева, т.е. отречение от австрийской политики, защищаемой им, условием уступки, давно уже обсуждаемой обоими дворами, чрезвычайно желаемой Елизаветой и упорно отвергаемой Францией. Дело шло о титуле императорского величества, молчаливо признаваемом за преемниками Петра Великого, но еще не зарегистрированном и потому отсутствовавшем в официальных бумагах, исходивших из канцелярии наихристианнейшего короля.

Шетарди добился того, что в его верительные грамоты был внесен желанный титул. Он оставил их у себя с тем, чтобы отдать их лишь преемнику Бестужева, после падения последнего. Это стало известно Елизавете, а вскоре и всему двору. До тех пор французский дипломат, опираясь на личное влияние, имел дело непосредственно с императрицей, помимо ее канцлера. Однако он слишком понадеялся на свои силы и обманывался насчет характера Елизаветы. Портрет дочери

Петра I был не раз обрисован, и мы имеем, по всей вероятности, верное понятие о характере этой странной государыни, одновременно беспокойной и ленивой, любящей веселиться и интересующейся делами; проводящей целые часы за своим туалетом, но заставляющей ожидать неделями и даже месяцами подписи или приказа. В ней уживались самые противоречивые свойства. Это была женщина властная, чувственная, набожная, неверующая и суеверная, поминутно переходившая от излишеств, разрушавших ее здоровье, к религиозной экзальтации, поражавшей ее разум: в наше время мы бы назвали ее истеричной. Барон де-Бретейль рассказывает в одной из своих депеш, что в 1760 г. ей следовало подписать возобновленный договор, заключенный в 1746 г. с Венским кабинетом; она уже написала Ели..., когда на ее перо села оса. Она остановилась, и лишь через шесть месяцев докончила свою подпись! Принцесса Цербстская оставила недурное описание ее внешности:

«Императрица Елизавета очень высокого роста; она была отлично сложена. В мое время она уже стала полнеть и мне всегда казалось, что ее касались слова Сент-Эвремона в описании знаменитой герцогини Мазарини, Гортензии Манчини: „Талия ее тонкая в той мере, в какой у другой она была бы красивой“. В то время это к ней относилось в буквальном смысле. Голова безукоризненна; правда, нос менее безупречен, но он на месте. Рот бесподобен; другого такого не сыскать: он полон грации, улыбки и кокетства. Он не умеет гри-

масничать и слагается только в грациозные складки; и брань из этих уст казалась бы прелестной, если бы они умели ее выговорить. Два ряда жемчужин виднеются меж красных губ, совершенство которых нельзя себе представить, не видев их. Глаза трогательны; да, они на меня производят именно это впечатление! Они кажутся черными, в действительности они голубые. Они внушают кротость, которою проникнуты... Лоб чрезвычайно приятен. Волосы ее растут так правильно, что от одного взмаха гребня они искусно и красиво ложатся. У императрицы черные брови и волосы естественного пепельного оттенка. Все ее лицо благородно, походка красива; она грациозна, говорит хорошо, приятным голосом, движения ее решительны. Словом, нет лица, подобного ей! Цвет лица, грудь и руки – невиданные по красоте. Поверьте мне, я знаток, и говорю без предубеждения!»

В отношении нравственном желчное перо маркиза Шетарди в то же время противопоставляло этому грациозному видению совершенно иную характеристику. Всем известна история перехваченной переписки неосторожного дипломата, в которой негодующая государыня прочла самые возмутительные обвинения. (См. Архив кн. Воронцовых 1, 472, 473, 482, 484, 504, 505, 535, 536, 560, 564, 569.) В своих мемуарах, являющихся, по всей вероятности, апокрифическими, д'Эон (1, 121—128) приписывает, кроме того, графу Воронцову следующие суждения:

«Под личиной добродушия, она (Елизавета) обладает тон-

ким, острым умом. Если заранее не застегнуться и не надеть панциря, защищающего от ее взгляда, он проникает под ваше одеяние, раскрывает его, раздевает вас, открывает вашу грудь и, когда вы это заметите, то уже слишком поздно: вы обнажены, эта женщина все прочла внутри вас и обыскала вашу душу... Ее чистосердечие и доброта не что иное, как маска! Во Франции, например, и во всей Европе она пользуется репутацией милостивой. Действительно, при восшествии на престол она поклялась св. Николаю Чудотворцу, что в ее царствование никто не будет казнен. Она сдержала свое слово в буквальном его смысле: ни одна голова не была еще отрублена; но зато отрублены две тысячи языков и две тысячи пар ушей... Вы, вероятно, знаете историю бедной и интересной Евдокии Лопухиной? Она, может быть, и была виновата перед ее величеством, но главная ее вина заключалась в том, что она была ее соперница и красивее ее. Елизавета велела проколоть ей язык раскаленным железом и дать ей двадцать ударов кнута рукой палача; несчастная была беременна и должна была родить... Вся ее частная жизнь полна таких же противоречий. То безбожная, то набожная, неверующая до атеизма, ханжа и суеверная, она проводит целые часы на коленях перед иконой Богородицы, разговаривая с ней и страстно вопрошая ее, в какой гвардейской роте ей надлежит взять любовника... Я забыл еще одно обстоятельство... Ее величество питает сильное пристрастие к спиртным напиткам. Случается, что под их влиянием она теряет созна-

ние. Тогда приходится разрезать ее платья и корсет. Она бьет слуг и служанок...»

Можно себе представить, с какими трудностями приходилось сталкиваться Шетарди, имея дело с государыней подобного странного характера, и на какой скользкий путь стала принцесса Цербстская. Она сделалась его сообщницей и в конце концов возложила на него все свои надежды. Мардефельд от нее отошел, Брюммер мало-помалу уклонился, а Лесток лавировал, повинувшись своему верному инстинкту. Из Версаля маркизу советовали быть осторожнее. Наконец ему было властно приказано не делать признания императорского титула предметом столь сомнительного торга, так как само по себе это обстоятельство не было важно. «Король – император Франции», писали ему. Благоразумнее было «оказать любезность» царице, показав ей письмо короля. Может быть, она вследствие этого и заставит своего министра заключить столь желанный союз. Шетарди готов был повиноваться, но ему предстояло одолеть еще одно препятствие: надо было по крайней мере на четверть часа «удержать внимание» государыни, и это ему не удавалось.

Между тем Бестужев готовил свой удар. С помощью чиновника иностранной коллегии Гольдбаха, опять-таки немца, а может быть и еврея, специалиста по чтению шифров, он перехватывал и перлюстрировал всю переписку французского посланника и наконец представил ее императрице, отметив места, относившиеся до нее лично. Де-ла-Шетарди жало-

вался на лень, легкомыслие государыни, на ее ужасную жажду удовольствий и кокетство, заставляющее ее менять туалет четыре-пять раз в день. Можно себе представить гнев Елизаветы! Последствия его известны. Шетарди упорно не представлял своих верительных грамот, и потому его пребывание в Петербурге не носило официального характера, он жил в нем частным человеком. Посредством простой записки из коллегии ему было сообщено приказание в двадцать четыре часа покинуть Петербург и Россию. Императрица повелела даже отобрать у него портер на крышке осыпанной брильянтами табакерки, пожалованной ему государыней! Табакерку ему оставили.

Не он один оказался замешанным в это дело. Его депеши открыли императрице глаза на участие принцессы Цербстской в неудавшейся интриге. Она оказалась в роли шпиона Пруссии и Франции при русском дворе, дающего советы Шетарди и Мардефельду, тайно переписывающегося с Фридрихом. Вот что обозначала загадочная сцена в Троицкой лавре!

Принцесса Цербстская отделалась лишь испугом, горькими истинами которые ей пришлось выслушать от Елизаветы, и безвозвратной потерей не только того влияния, которое она мечтала приобрести при дворе, – тайные пружины его она только начинала постигать, – но и того, на которое она имела право рассчитывать. «Имя принцессы Цербстской», пишет год спустя преемник Шетарди д'Альон, – часто встречалось в перехваченных письмах маркиза де-ла-Шетарди. С

тех пор императрица чувствует к ней сильную неприязнь... Для нее лучше всего было бы вернуться в Германию». Она так и сделала, но сперва ей удалось присутствовать при единственной победе, на которую она могла рассчитывать под этим небом, ставшим для нее столь немилостивым, – и той именно, которую она до того упустила из виду, что чуть ее не погубила.

VI. Обращение принцессы Софии в православную веру. – Сопротивление Христиана-Августа. – Публичное исповедание. – Обручение. – Екатерина Алексеевна. – Путешествие в Киев. – Мать и дочь. – Жених и невеста. – Болезнь великого князя. – Жизнь в Петербурге. – Граф Гилленбург. – Пятнадцатилетний философ.

Личность Фигхен вышла чисто из этого кризиса. Наоборот, с этой минуты победа ее не подлежит сомнению, и брак с великим князем становится делом окончательно решенным, как будто ее невинность заставила ее противников и политических врагов сложить оружие. Оставалось решить еще один щекотливый вопрос – о торжественном принятии принцессы Софии в лоно православной церкви. Принцесса Цербстская последовала по мере возможности советам своего мужа. Она употребила все усилия, чтобы отстоять свою веру и веру своей дочери. Она даже осведомилась, не может ли прецедент

супруги царевича Алексея. оставшейся лютеранкой, послужить на пользу Фигхен. Но все ее попытки в этом направлении остались бесплодными. Она однако скрасила свое сообщение об этом набожном Христиану-Августу некоторыми утешительными рассуждениями. Она просмотрела с Симеоном Тодорским весь православный символ веры, тщательно сравнила его с лютеранским вероисповеданием и пришла к убеждению, что между обеими религиями нет коренного различия. Фигхен же еще скорее поняла, что она может спастись и в православной вере. Гейнекций, очевидно, ошибался, а Мефодий во всем сходился с Лютером. Аргументы Симеона Тодорского оказались неопровержимыми. Этот архимандрит был очень ловок. Он много путешествовал и учился в университете в Галле. Христиан-Август однако поддался не сразу. «Добрый принц Цербстский, – писал впоследствии Фридрих, – упорствовал... На все мои убеждения он отвечал только: „Моя дочь не будет православной“. К счастью – в Берлине нашелся другой Симеон Тодорский. „Один пастор, – пишет Фридрих: – которого мне удалось привлечь на свою сторону... согласился убедить его, что православная вера похожа на лютеранскую. С тех пор он все повторял: «Лютеранско-греческая, греко-лютеранская – это одно и то же“. В июне месяце курьер, отправленный Елизаветой, привез официальное разрешение принца на брак принцессы Софии и на ее обращение в православную веру. Добрый принц Христиан-Август писал, что видит перст Божий (eine

Führung Gottes) в обстоятельствах, продиктовавших ему его решение.

Публичное исповедание веры было назначено на 28 июня, а обручение на 29 июня, день св. апостолов Петра и Павла. Близость этого обряда волновала Фигхен. Письма, в большом количестве получаемые ею от родных из Германии, не способствовали ее успокоению. Можно себе представить, какие обильные и разнородные комментарии вызвала столь неожиданная судьба маленькой принцессы в среде, в которой она жила до тех пор! Общий характер их не был благожелательный. Может быть, к опасениям, внушаемым, по видимому, лишь нежной заботливостью, примешивалась и некоторая доля зависти. Припоминалась печальная судьба несчастной Шарлотты Брауншвейгской, супруги Алексея, покинутой мужем, забытой царем. Вообще, далекая Россия не сыграла ли роковой роли в истории всей этой немецкой семьи, также думавшей найти в ней прекрасную и великую будущность? Все это было изложено в длинных, путанных фразах немецким жаргоном, пестревшим французскими словами, в которых Фигхен подмечала гораздо больше досады, чем искренней тревоги. Но они однако же заставляли ее дрожать каждый раз, как она устремляла тревожный взор в загадочное будущее.

Однако никто из придворных, толпившихся 28 июня 1744 г. в десять часов утра в церкви Головинского дворца, не подозревал состояния ее души. Одета в платье «adrienne» из

алого «gros de Tours», выложенного серебряным галуном, с простой белой лентой в ненапудренных волосах, Фигхен дышала молодостью, красотой и скромностью. Ее голос не дрогнул, память не изменила ей ни на секунду, когда она в присутствии умиленных слушателей произносила по-русски символ своей новой веры. Новгородский архиепископ, тот самый, что был против ее брака, пролил слезы, и все присутствующие сочли своим долгом последовать его примеру. Правда, они плакали и при обращении Петра-Ульриха, несмотря на то, что тот гримасничал во время богослужения и глумился над священнослужителями. Умиление, однако, входило в расписание подобных дней. Императрица выразила свое удовольствие тем, что подарила новообращенной аграф и брильянтовое ожерелье стоимостью в 100.000 р., согласно оценке принцессы Цербстской.

Что бы сказал добрый Христиан-Август если бы он слышал, как дочь его объявила перед лицом Бога и людей: «Верую и исповедую, что одна вера недостаточна для моего спасения»? Не потребовалось ли со стороны самой Фигхен некоторого усилия, чтобы произнести эти слова, окончательно отделявшие ее от ее прошлого? Лица, усмотревшие в данном случае влияние парижских философов на ее юный ум, ошиблись числами. По всей вероятности, будущий друг Вольтера в то время еще и не подозревала существования этого писателя. По выходе из церкви силы ей изменили, и она не могла присутствовать при обеде. Однако то не была

уже ни Фигхен, ни принцесса София-Фредерика, что нетвердыми ногами переступила порог церкви, увешанной золотыми иконами. В тот же день на литургии впервые было провозглашено на ектении прошение о «благоверной Екатерине Алексеевне». Принцесса Цербстская объяснила мужу, что к имени София лишь присоединили имя Екатерина, «как то бывает при конфирмации». Слово «Алексеевна» обозначало, разумеется, «дочь Августа», что нельзя было перевести по-русски иначе, чем Алексеевна. Добрый Христиан удовольствовался этим объяснением: ему за последнее время вообще приходилось запастись большим доверием.

Обручение было совершено на следующий день в Успенском соборе. Принцесса Цербстская сама надела на пальцы Екатерины Алексеевны и ее будущего супруга два кольца, «ценою в 50 тысяч экю», писала она. Некоторые писатели, в том числе и Рюльер, утверждают, что Екатерина тут же получила и титул «наследницы престола», с правом наследования в случае смерти великого князя. Современные писатели оспаривают этот факт. Для такого постановления надо было бы издать манифест; его, однако ж, не существует. Будущая великая княгиня продолжала приводить всех в восторг совершенной грацией и тактичностью своего поведения. Даже ее мать заметила, что она краснела каждый раз, как согласно требованиям своего нового положения она принуждена была идти впереди своей матери. Однако принцесса не могла не заметить также, что ее дочь намерена была воспользо-

ваться своим новым положением, чтобы избавиться от давно угнетавшей ее опеки. К тому же не одна Екатерина видела, что присутствие ее матери становилось тягостным и что в среде, где ей приходилось вращаться, принцессу Цербстскую не любили и смотрели на нее, как на «чужую». Екатерина в первый раз в жизни имела карманные деньги: Елизавета ей прислала 30.000 р. на «карточную игру», как тогда выражались. Эти деньги показались ей неистощимым сокровищем. С первых же дней она почерпнула из них широко и с благородной целью. Ее брата только что послали в Гамбург, чтобы закончить образование. Она объявила, что принимает на себя расходы по его содержанию. У нее был свой двор, камергеры, камер-юнкеры; причем вообще весь штат был тщательно избран вне того кружка, который принцесса Цербстская вздумала было заставить служить своим интересам и интересам Фридриха. Таким образом матери пришлось испытать новое разочарование, и она не преминула лишний раз обнаружить свою бестактность тем, что открыто выражала свое неудовольствие. Своим несносным, придиричивым характером она окончательно оттолкнула всех от себя. Она ссорилась и с великим князем, который в размолвках с ней не стесняясь пускал в ход запас слов, набранных им в кордегардии.

Между тем Екатерина быстро освоилась со своим новым положением. Ей даже представился случай ближе познакомиться с обширными владениями, которыми ей суждено бы-

ло впоследствии управлять. В сопровождении матери и великого князя она совершила то самое путешествие в Киев, которое она возобновила через сорок лет с необычайной пышностью. Она сохранила об этой поездке неизгладимое впечатление, несомненно повлиявшее на склад ее ума и характер ее управления. Проехав около восьмисот верст, не покидая владений Елизаветы, видя на своем пути толпы народа, падавшие ниц перед всемогуществом императрицы, маленькая немецкая принцесса, привыкшая к ограниченному горизонту бедных немецких княжеств, чувствовала, как в душе ее зарождается и крепнет сознание беспредельного величия и могущества. Когда она стала императрицей, ей казалось, что она является воплощением этого величия и предназначена в силу его вознестись над всем миром. Вместе с тем, благодаря своей юной проницательности и верному взгляду, она подмечает и обратную, печальную и мрачную сторону этого ослепительного великолепия. В Петербурге и в Москве она видела своими очарованными глазами лишь блестящий золотом трон, облитый брильянтами двор, внешнюю декорацию императорского величия, заключавшегося в слегка варварской пышности и почти азиатской роскоши, – она очутилась теперь лицом к лицу с основой и источниками, питавшими это беспримерное великолеpie: перед ее изумленными, а затем и испуганными глазами предстал русский народ – дикий, грязный, дрожащий от холода и голода в закопченных избах и несущий, как крест, двойное ярмо нищеты и рабства.

Она угадывала, предчувствовала в этой ужасающей антитезе нужды и роскоши печальные недостатки в экономическом и социальном строе и невероятный произвол власти. В этом поверхностном обзрении коренятся все начатки преобразований, все благородные инстинкты и либеральные порывы, характеризующие первую половину ее царствования.

По возвращении в Москву ей пришлось ознакомиться и с другой оборотной стороной медали: мелкими неприятностями, неразлучными с ее высоким положением. Однажды вечером в комедии, сидя в ложе великого князя, напротив императрицы, она уловила гневный взгляд Елизаветы, направленный на нее. Вскоре услужливый Лесток, с которым государыня разговаривала, явился в ее ложу и сухо, резко, умышленно подчеркивая свою холодность, передал ей, что императрица на нее гневается и объяснил почему. Екатерина в один месяц наделала долгов на 17.000 р.; все сокровище растаяло в ее руках, из которых впоследствии золотая река лилась на империю и на всю Европу. Но разве ей возможно было удовольствоваться тремя платьями, привезенными ею из Цербста? Ей приходилось даже заимствовать у своей матери. Затем она заметила, что при Русском, как и при Цербстском дворе, дружба подогревалась маленькими подарками, и что в ее положении ей не оставалось другого средства для поддержания хороших отношений с окружающими. Даже великий князь питал особое пристрастие к этому способу сохранения добрых отношений с невестой. Наконец графиня Румянцова

очень своеобразно понимала свои обязанности гофмейстерины; она сама была очень расточительна и вовлекала в расточительность и Екатерину.

В своих «Записках», откуда мы заимствуем эти подробности, Екатерина строго осуждает окружавших ее в то время лиц, не исключая и великого князя; несмотря на ее щедрость, их взаимные отношения уже тогда не отличались сердечностью. Может быть, она поддалась искушению и сгустила краски в этом уголке картины. Следующая записка как будто подтверждает это предположение. Великий князь, заболевший в октябре плевритом, не покидал своих апартаментов и тяготился вынужденным затворничеством. Екатерина писала ему (мы сохраняем слог и орфографию подлинника): «Monsieur, ayant consulte ma Mere, sachant qu'elle peut beaucoup sur le grand-marechal (Брюммер), elle m'a permis de lui en parler et de faire qu'on vous permettent de jouer sur les instrumens. Elle m'a aussy chargee de vous demander, Monseigneur, sy vous voulez quelques Italiens aujourd'hui apres Midy. Je vous assure que je deviendray folle en Votre place s'y on m'otois tous. je vous prie au Nom De Dieu, ne lui montrez pas ces billets. Catherine».

Эта записка как будто обеляет самое принцессу Цербстскую от обвинений в дурном и вздорном характере, предъявляемых к ней даже ее дочерью. Два месяца спустя, в декабре, мы видим Екатерину в слезах, умоляюще пустить ее к жениху, заболевшему новой и ужасной болезнью. По дороге

из Москвы в Петербург Петр принужден был остановиться в Хотилове, так как схватил оспу. Жених Елизаветы умер от оспы. Императрица отстранила Екатерину и ее мать, отослав их в Петербург, и сама принялась ухаживать за великим князем. Екатерине оставалось лишь писать ему очень нежные письма, в которых она впервые употребляет русский язык. Но эта была лишь уловка, так как сочинял их Ададуров, а она их только списывала.

Вторичное пребывание Екатерины в Петербурге было отмечено приездом графа Гюлленборга, посланного шведским двором с известием о совершившемся браке наследника престола Адольфа-Фридриха, дяди Екатерины, с принцессой Ульрикой Прусской. Екатерина видела Гюлленборга еще в 1740 г. в Гамбурге. Он тогда уже заметил в ней философский склад ума. Он расспросил ее, как идут ее занятия и посоветовал ей почитать Плутарха, жизнь Цицерона и «Причины величия и падения Римской империи» Монтескье. В свою очередь, Екатерина преподнесла ему свой портрет, «портрет философа в 15 лет», составленный ею самой. Она впоследствии отобрала от Гюлленборга подлинник и, к сожалению, сожгла его, а в бумагах графа Гюлленборга, сохранившихся в университете в Упсале, не осталось копии с него. В своих «Записках» Екатерина уверяет, что она сама изумилась, как глубоко и верно она себя понимала. Мы сожалеем, что не имеем возможности проверить ее суждение.

Петр вернулся в Петербург лишь в конце января. Касте-

ра рассказывает, что, обняв великого князя и выказав живейшую радость при свидании, Екатерина вернулась к себе, лишилась чувств и ее три часа не могли привести в сознание. Оспа, действительно, не послужила к украшению великого князя. Рябинки на его лице и огромный парик на голове делали его почти неузнаваемым. Одна только принцесса Цербстская нашла, что он прекрасно выглядит, и тотчас же сообщила об этом мужу. Кастера, по всей вероятности, впал по обыкновению в преувеличение, а принцесса Цербстская, должно быть, вспомнила, что петербургская почта охотно знакома с содержанием доверяемых ей писем. Как бы то ни было, вскоре после возвращения великого князя начались приготовления к свадьбе.

VII. Свадьба. – Церковные и придворные торжества. – Апартаменты новобрачных. – Морская церемония: «дедушка русского флота». – Отъезд принцессы Цербстской.

В России не бывало еще церемонии подобного рода. Брак царевича Алексея, сына Петра I, совершился в Торгау, в Саксонии, а до него наследники московского престола не были будущими императорами. Написали во Францию, где только что отпраздновали свадьбу дофина; справились и в Саксонии. Как из Версаля, так и из Дрездена пришли самые точные описания, даже рисунки, изображающие малейшие по-

дробности торжества; их надлежало не только повторить, но и превзойти. Как только вскрылась Нева, стали приходить немецкие и английские пароходы, привозя экипажи, мебель, материи, ливреи, заказанные во всей Европе. Христиан-Август прислал несколько цербстских материй, тканых золотом и серебром. Тогда носили узорчатые шелка с золотыми и серебряными цветами на светлом фоне. Они вырабатывались в Англии и Цербсте, занимавшем, по отзыву знатоков, второе место в этом производстве.

День свадьбы, несколько раз отложенный, был окончательно назначен на 21 августа. Празднества должны были продолжаться до 30-го. Доктора великого князя требовали новой отсрочки, так как в марте Петр опять заболел. Казалось, что и целого года было мало для окончательного его выздоровления. Но Елизавета не желала больше ждать, ей между прочим хотелось скорей избавиться от матери Екатерины. Вероятно, были и другие, более веские причины, заставлявшие ее торопиться. Ввиду слабого здоровья Петра престолонаследие было весьма шатко обеспечено, а память о маленьком Иоанне, заключенном в крепости, все еще тревожила умы. В июне 1745 г. в уборной Елизаветы был найден неизвестный человек с кинжалом в руке. Никакие пытки не могли вырвать у него ни одного слова.

Согласно довольно авторитетным показаниям, принцесса Иоанна-Елизавета продолжала обнаруживать свой несносный характер. Не было некрасивой истории, в которой бы

она так или иначе не была замешана в последние недели своего пребывания в России. Она беспрестанно интригует и сплетничает. Она даже обвиняет свою дочь в том, что та имеет ночные свидания с великим князем. Императрица приказывает перехватывать и внимательно читать ее письма. Вместе с тем ей и в голову не приходит пригласить ее мужа на предстоящее торжество. Долгое время принцесса Цербстская сулила Христиану-Августу это приглашение, советуя ему быть к нему всегда готовым и откладывая его со дня на день, с месяца на месяц. Сам Фридрих, введенный в заблуждение Мардефельдом, поддерживал эту надежду в своем фельдмаршале. Наконец Иоанна-Елизавета принуждена была сознаться, что скорее подумывали о том, как бы отправить ее самое домой до торжества.

Из всей семьи на бракосочетании присутствовал лишь брат принцессы. Тут сказалось лукавство Бестужева. Август Голштинский был неуклюж, груб и убог умом и являлся неказовым родственником. Английский посланник Гиндфорд пишет в своих депешах, что он никогда не видел кортежа, более великолепного, чем тот, что сопровождал Екатерину в Казанский собор. Церковный обряд начался в десять часов утра и кончился лишь в четыре часа пополудни. Православная церковь, по-видимому, добросовестно отправляла свои обязанности. В продолжение последующих девяти дней празднества шли непрерывной чередой. Балы, маскарады, обеды, ужины, итальянская опера, французская коме-

дия, иллюминации, фейерверки – программа была полная. Принцесса Цербстская оставила нам любопытное описание самого интересного дня – дня бракосочетания:

«Бал продолжался всего полтора часа. Затем ее императорское величество направилась в брачные покои, предшествуемая церемониймейстерами, обер-гофмейстером ее двора, обер-гофмаршалом и обер-камергером двора великого князя; за ней шли новобрачные, держась за руку, я, мой брат, принцесса Гессенская, гофмейстерина, статс-дамы, камер-фрейлины, фрейлины. По прибытии в апартаменты, мужчины удалились тотчас же, как вошли все дамы, и двери закрылись. Молодой супруг прошел в комнату, где ему надлежало переодеться. Принялись раздевать новобрачную. Ее императорское величество сняла с нее корону; я уступила принцессе Гессенской честь одеть на нее сорочку, гофмейстерина надела на нее халат, а остальные дополнили ее великолепный домашний туалет».

«За исключением этой церемонии, – замечает принцесса Цербстская, – раздевание невесты берет здесь гораздо менее времени, чем у нас. Ни один мужчина не смеет войти с той минуты, как супруг вошел к себе, чтобы переодеться на ночь. Здесь не танцуют танца с гирляндой и не раздают подвязок. Когда великая княгиня была готова, ее императорское величество прошла к великому князю, которого одедали обер-егермейстер граф Разумовский и мой брат. Императрица привела его к нам. Его одеяние было схоже с одеянием

его супруги, но было менее красиво. Ее императорское величество преподала и свое благословение; они приняли его, стоя на коленях. Она их нежно поцеловала и оставила принцессу Гесенскую, графиню Румянцову и меня, чтобы мы уложили их в кровать. Я попыталась было выразить ей свою благодарность, но она меня осмеяла».

Мы обязаны также перу Иоанны-Елизаветы описанием апартаментов, отведенных молодым супругам.

«Эти апартаменты состоят из четырех комнат, одна прекраснее другой. Богаче всех кабинет: он обтянут затканой серебром материей с великолепной шелковой вышивкой разных цветов; вся меблировка подходящая: стулья, шторы, занавеси. Спальня обтянута пунцовым, отливающим алым бархатом, вышитым серебряными выпуклыми столбиками и гирляндами; кровать вся покрыта им; вся меблировка подходящая. Она так красива, величественна, что нельзя смотреть на нее без восторга».

Торжества закончились особой церемонией, никогда уже более не повторявшейся. В последний раз был спуск на воду «дедушки русского флота», ботика, построенного, согласно преданию, самим Петром Великим. Указом от 2 сентября 1724 г. Петр повелел спускать его каждый год 30 августа, а остальное время года сохранять в Александро-Невской лавре. После его смерти и ботик и указ были забыты. Елизавета вспомнила про них лишь в 1744 г. и повторила эту церемонию на следующий год по случаю бракосочетания свое-

го племянника. Пришлось построить плот, чтобы поддерживать ботик, так как он уже не держался на воде. Елизавета торжественно взошла на него и поцеловала портрет своего отца, прикрепленный к мачте.

Через месяц принцесса Цербстская рассталась навсегда со своей дочерью и с русским двором. Прощаясь с императрицей, она бросилась к ее ногам, умоляя простить ей причиненные ею неприятности. Елизавета отвечала, что «говорить об этом слишком поздно и что если бы принцесса была всегда так скромна, это было бы гораздо лучше для всех». Описывая сцену прощания, сама Иоанна-Елизавета упоминает лишь о любезности императрицы, взаимных ласках и слезах, пролитых обеими сторонами. Как мы уже видели, придворные слезы дорого не стоили, и Иоанна-Елизавета, несмотря на свои неудачные политические интриги, все же была довольно дипломатична в своих писаниях.

В Риге ее ожидал страшный удар. Ее настигло письмо Елизаветы, поручавшее ей просить Берлинский двор о немедленном отзывании Мардефельда. Это являлось окончательным разрушением надежд, возложенных Фридрихом на посредничество принцессы и постоянно поддерживаемых ею. В день отъезда Иоанны-Елизаветы из Петербурга, 10 октября 1745 г., обнаружилось, что Фридрих подговаривал супруга принцессы Луизы-Ульрики и брата принцессы Цербстской, Адольфа-Фридриха Шведского, предъявить свои права на Голштинское герцогство. Фридрих находил,

что владение этим герцогством несовместимо с владением российским престолом. Одновременно пришли вести об удаче прусского оружия на саксонской границе (при Соре, 30 сент.), и государственный совет, немедленно собравшийся, решил послать корпус на подмогу королю польскому, которому угрожало вторжение в его наследственные владения. С этой минуты присутствие в Петербурге Мардефельда, друга и политического союзника принцессы Цербстской и, следовательно, и ее брата, становилось немислимым.

Итак, Иоанне-Елизавете удалось без особого труда сделать свою дочь русской великой княгиней. На всех других пунктах, где она развернула свою неусыпную деятельность, поражение ее было полным. Мимоходом она вздумала было сделать своего мужа герцогом Курляндским, но и это ей не удалось.

Все же Екатерина оплакивала, и непритворными слезами, отъезд своей беспокойной матери. Она сама в этом признается. Иоанна-Елизавета во всяком случае была ее матерью и единственным лицом среди ее нового величия, в чьей привязанности она не могла сомневаться, хотя она и не доверяла ее советам. После ее отъезда вокруг Екатерины образовалась большая пустота. С этого же момента, в одиночестве, являющемся стихией сильных натур, началось настоящее воспитание будущей императрицы, — то воспитание, о котором не подумала мадемуазель Кардель.

Глава третья

Вторичное воспитание Екатерины

1. Екатерина и ее супруг возвращаются к школьному возрасту. – Инструкции, написанные канцлером Бестужевым для воспитателя и воспитательницы их высочеств. – Обвинительный акт. – Грехи Екатерины. – Близость к Чернышевым. – Бесплодие супружеского великокняжеского ложа. – Кто виноват? – Неудача мер, предпринятых канцлером.

Несмотря на развитой не по летам ум, Екатерина все же была еще ребенком. Вопреки своему православному имени и официальному титулу, она оставалась лишь чужестранкою, благодаря случайности призванной в Россию и занявшей в ней высокое положение; ей приходилось еще много поработать, чтобы достичь уровня своей высокой судьбы. Если она сама и забыла это на время, – что, по-видимому, действительно до некоторой степени и случилось, – кто-то другой взял на себя труд ей это напомнить и в довольно суровой форме. Достигнув цели, т.е. выйдя замуж, воспитанница мадемуазель Кардель как будто изменила свое прежнее безупречное поведение, заслужившее всеобщее одобрение. Даже «милостивые наставления» Христиана-Августа были как будто ею забыты. Она вскоре получила другие советы, и уже

не столь отеческие.

10 и 11 мая 1746 г., через неполные девять месяцев после свадьбы, императрице были представлены к подписи два документа, касавшиеся великого князя и великой княгини. Видимая цель их заключалась в избрании и установлении правил поведения для двух «знатных особ», которых собирались назначить гофмейстером и гофмейстериней их императорских высочеств. Настоящая цель их была иная. В сущности к Екатерине и ее супругу приставляли настоящих воспитателей. Их, так сказать, возвращали к школьному возрасту. Под видом указания программы этого добавочного воспитания был составлен настоящий обвинительный акт против юной супружеской четы, своим поведением вызвавший эту меру. Автором обвинительного акта, редактором обоих документов был сам Бестужев.

Произведение канцлера сохранилось для потомства. Оно изобилует поистине изумительными разоблачениями, – до того изумительными, что они могли бы возбудить недоверие, если бы мы не имели возможность проконтролировать их «Записками» Екатерины. Она повторяет почти дословно все, что Бестужев говорит о жизни супругов в то время. В некоторых случаях Екатерина даже дополняет описание канцлера, и мы от нее же узнаем некоторые интимные подробности относительно ее самой. Посудите сами. «Знатная особа», призванная состоять при великом князе, должна будет, читаем мы в «инструкции», исправить некоторые непристой-

ные привычки его императорского высочества, как, например, выливать за столом содержимое стакана на головы прислуги, говорить грубости и неприличные шутки лицам, имеющим честь быть приближенными к нему, и даже иностранцам, допущенным ко двору, публично гримасничать и коверкаться всем телом...

«Великий князь, – читаем мы в „Записках“, – занимался непостижимыми в его возрасте ребячествами... Он велел сделать театр марионеток в своей комнате; ничего глупее этого нельзя было придумать... Он проводил свое время буквально в обществе лакеев... Великий князь составил полк из всей своей свиты: придворные лакеи, егеря, садовники, – все получили мушкеты; коридор служил им кордегардией... Великий князь бранил меня за чрезвычайную, по его мнению, набожность, в которую я вдавалась; но так как во время обедни ему не с кем было разговаривать, кроме меня, он перестал на меня дуться. Узнав, что я продолжаю постничать, он меня сильно выбранил...»

Как в том, так и в другом описании вырисовывается тот же силуэт невоспитанного и невежественного ребенка, обладающего порочными инстинктами.

Посмотрим теперь, какова была сама Екатерина. Канцлер формулировал против нее три главных обвинения: отсутствие усердия к православной вере: запрещенное ей вмешательство в государственные дела империи или герцогства Голштинского; чрезмерная фамильярность с молодыми

вельможами, посещающими двор, с камер-юнкерами, даже с пажам и лакеями. По-видимому, последний пункт представляется наиболее важным. Это именно тот пункт, насчет которого Екатерина выразилась чрезвычайно ясно в своих «Записках», и эти объяснения не оставляют никакого сомнения насчет фамильярности, если не сказать более, отношений, установившихся между нею и по крайней мере тремя молодыми людьми, посещавшими двор, — тремя братьями Чернышевыми, высокими, стройными и пользовавшимися особой благосклонностью великого князя. Старший, Андрей, самый блестящий из всех, стал вскоре любимцем Петра, а впоследствии и Екатерины. Она ласково называла его «сыночек мой», а он ее «матушкой», что само по себе не заключало в себе ничего двусмысленного. Однако из этого вытекала близость, казавшаяся менее невинной. Петр не только ее допускал, но даже поощрял ее, нередко забывая самые элементарные приличия. Он во всем любил крайность и его не смущало ни собственное неприличие, ни непристойность окружающих. Когда Екатерина была еще невеста. Андрею Чернышеву пришлось напомнить Петру, что ей суждено быть российской великой княгиней, а не госпожой Чернышевой. Петр расхохотался, услышав это замечание, показавшееся ему страшно забавным, и с тех пор стал звать молодого человека «женихом» Екатерины. Екатерина, со своей стороны, сознается, что она поставила себя в такое положение, что простой лакей, ее камердинер Тимофей Евре-

инов, решил предупредить ее об опасности, которой она подвергалась. Она, впрочем, утверждает, что действовала в полной невинности и неведении опасности. Тимофей предупредил также Чернышева, заболевшего, по его совету, на некоторое время. Это происходило на масленице 1746 г. В апреле, при обычном переезде двора из зимнего дворца в летний. Чернышев снова появляется и пытается проникнуть в спальню Екатерины; она заграждает ему дорогу, не подумав о том, чтобы закрыть дверь, что было бы благоразумнее. Держа дверь приотворенной, она продолжает разговор, казавшийся ей, по-видимому, интересным. Вдруг появляется Девьер, один из героев Семилетней войны, исполнявший обязанности камергера при дворе и, кажется, и шпиона. Он объявляет великой княгине, что великий князь просит ее к себе. На следующий день Чернышевы удалены от двора, и в тот же день появляется «знатная дама», призванная наблюдать за поведением Екатерины.

Это совпадение многозначительно!

Елизавета, впрочем, не ограничивается этой мерой. Она приказывает Екатерине и Петру говеть и поручает Симеону Тодорскому, теперь уже епископу псковскому, расспросить их насчет их отношений к Чернышевым.

Чернышевы арестованы и также подвергаются еще более настойчивому и, вероятно, не столь мягкому допросу. Но ни с той, ни с другой стороны признаний не последовало. Однако Екатерина упоминает о переписке с Андреем Черныше-

вым, которую она вела с ним даже во время его пребывания в тюрьме. Она ему писала; он отвечал; она давала ему поручения, и он их исполнял. Предположим, что и в этом случае она поступала невинно. Однако нам придется вскоре быть менее снисходительными к ней. Упреки страшного канцлера по адресу Екатерины касались еще и другой области, в которой он главным образом и намеревался возложить на нее ответственность. Прошло уже девять месяцев с того времени, как великая княгиня заняла роскошное супружеское ложе, столь подробно описанное ее матерью, а престолонаследие все еще не было обеспечено. Лица, озабоченные будущностью империи, не имели даже возможности ухватиться за какую-нибудь надежду в этом направлении.

На ком лежала вина?

Инструкция, составленная Бестужевым для будущей воспитательницы Екатерины, ясно обнаруживает его личное мнение относительно этого вопроса. В целях обеспечения престолонаследия, великую княгиню надлежало побуждать, чтобы «она со своим супругом со всеудобовымышленным добрым и приветливым поступком, его нраву угождением, уступлением, любовью, приятностью и горячностью обходилась и генерально все то употребляла, чем бы сердце его императорского высочества совершенно к себе привлеци, каким бы образом с ним в постоянном добром согласии жить».

Екатерина в своих «Записках» категорически восстает против этого обвинения:

«Если бы великий князь желал быть любимым, то относительно меня это вовсе было нетрудно; я от природы была склонна и привычна к исполнению своих обязанностей...»

Ее склонности, действительно, впоследствии ясно обнаружались и сомневаться насчет их не приходится. Но и Петр со своей стороны, несмотря на странности своего характера и темперамента, как будто вовсе не обнаруживал в этом отношении отвращения, несогласного с обычным порядком вещей.

Тотчас по приезде в Россию, четырнадцати лет от роду, он влюбился во фрейлину Лопухину. Затем другая фрейлина, Карр, пленяет его сердце, и Екатерине приходится выслушивать новые признания в пылкой любви к этой особе. В 1756 г. он поссорился с Шафировой и со знаменитой Воронцовой, с которой впоследствии снова сошелся, и влюбился в Теплоу. Кроме того, ему к ужину приводят певичку-немку. Затем он ухаживал за некоей Седрапарре, принцессой Курляндской и другими красавицами. Следовательно, загадка так и остается загадкой. Не следует ли искать ее разрешения в одном любопытном документе, изданном лишь недавно и подтверждающем предшествующие показания, почитавшиеся до сих пор сомнительными.

«Великий князь, – пишет Шампо в донесении, составленном для Версальского двора в 1758 г., – сам того не подозревая, был неспособен производить детей, вследствие препятствия, устраняемого у восточных народов посредством обре-

зания, но почитаемого им неизлечимым. Великая княгиня, не любившая его и не проникнутая еще сознанием необходимости иметь наследников, не была этим опечалена».

Кастера пишет со своей стороны:

«Он (великий князь) так стыдился несчастья, поразившего его, что у него не хватало даже решимости признаться в нем, и великая княгиня, принимавшая его ласки с отвращением и бывшая в то время такой же неопытной, как и он, не подумала ни утешать его, ни побудить искать средства, чтобы вернуть его в ее объятия».

Время оправдало Екатерину и ее защитников. Она имела детей и имела их, или сделала вид, что имела их, от мужа. Надо сознаться, что меры, придуманные канцлером, были тут ни при чем.

Как бы ни были велики способности и заслуги канцлера, он в данном случае не выказал особой мудрости. Может быть, он лучше умел управлять большой империей, чем жизнью юной супружеской четы. Выбор воспитательницы, призванной заменить собою мадемуазель Кардель, был неудачен. Эта честь выпала на долю Марьи Семеновны Чоглоковой; ей было всего двадцать четыре года; она была красива, добродетельна, любила мужа и имела детей, что, вероятно, вызвало доверие к ней императрицы и ее канцлера. Надлежало, чтобы великокняжеская чета имела всегда перед глазами назидательный пример добродетельных и любящих супругов. Увы, пример этот не привел к добру! Чо-

глокова была добродетельна, но неопытна. Екатерина ее не взлюбила, и она не сумела ни заставить уважать свой авторитет, ни установить действительный надзор за великой княгиней. Не было ничего легче, как ее провести, и Екатерина с приближенными стала с увлечением предаваться запрещенным удовольствиям и отыскивать поводы к ним. Муж Марьи Семеновны находился в Вене, когда его жена была назначена на свой пост. Вернувшись в Петербург, он без памяти влюбился в одну из фрейлин великой княгини, Марию Кошелеву. Будучи влюблен, он вдвойне ослеп и старался затуманить глаза и своей жене. Вследствие этого у нее на глазах граф Кирилл Разумовский, брат фаворита императрицы, имел возможность ухаживать за великой княгиней, если и не слишком смело, то во всяком случае весьма упорно. Несколько месяцев спустя дела пошли еще хуже. Муж воспитательницы, изменив фрейлине, запыхал страстью к той, за которой его жена обязана была следить. Великий князь, со своей стороны, ухаживал за всеми фрейлинами и, таким образом, сближения, которое должна была произвести Чоглокова, не произошло, и исполнение ее задачи встретило еще большие затруднения.

Мысль обходиться с замужней женщиной и с русской великой княгиней, как с маленькой девочкой, была сама по себе несчастна, что и доказали последующие события. Екатерине было строго запрещено переписываться с кем бы то ни было, даже с отцом и матерью. Она должна была ограничи-

ваться подписыванием писем, составляемых для нее в иностранной коллегии, т.е. в секретариате Бестужева. Это было равносильно приглашению Екатерины вести тайную переписку, столь часто практикуемую в то время. Она не преминула последовать этому приглашению. В это же самое время в Петербург приехал кавалер Мальтийского ордена итальянец Сакромозо.

В России давно уже не появлялось мальтийских кавалеров. Его очень чествовали; он был приглашен на все празднества и приемы, как официальные, так и интимные. Однажды, целуя руку великой княгини, он сунул ей записку: «От вашей матери», пробормотал он чуть слышно. Вместе с тем он сообщил ей, что музыкант великокняжеского оркестра, его соотечественник Ололио, возьмется передать ему ответ. Екатерина быстро спрятала записку в перчатку. Ей, вероятно, не впервые приходилось это делать. Сакромозо, впрочем, не обманул ее: письмо было, действительно, от ее матери. Написав ответ, она впервые стала прилежней следить за концертами своего мужа. Музыка она не любила. Указанное ей лицо, увидев, что она приближается, вполне естественно вытащило платок, оставив карман своего кафтана широко раскрытым. Екатерина бросила свою записку в этот импровизированный почтовый ящик и с этой минуты переписка установилась и продолжалась во все время пребывания Сакромозо в Петербурге.

Вот каким образом случается, что сводятся к нулю и муд-

рость государственных мужей и мощь императрицы, когда они не считаются с другой мощью, именуемой молодостью, и с другой мудростью, предостерегающей от злоупотребления властью!

II. Новые строгости. – Перемены в штате Екатерины. – Отъезд Мардефельда. – Падение Лестока. – Новые слуги великой княгини. – Шкурин. – Владислава. – Одиночество.

Приставив к Екатерине гувернантку, одновременно постарались отдалить от нее всех лиц, составлявших ее обычное общество и интимный кружок. Она приветствовала с радостью отъезд голшгинца Брюммера, тем более, что должность гофмаршала великокняжеского двора была замещена князем Репниным: «Это – любезнейший русский вельможа и умнейшая голова», писал о нем д'Альон. Сама Екатерина его очень ценила и питала к нему большое доверие. К несчастью, он недолго оставался на своем посту и был заменен хоть и влюбчивым, но нелюбезным Чоглоковым. Екатерина его терпеть не могла, и его любовь к ней не обезоружила ее. Вскоре поочередно исчезли все слуги великой княгини. Ее лишили даже любимой горничной – финляндки. Настала очередь и преданного Тимофея Евреинова, дававшего ей, однако, хорошие советы. Правда, он оказывал ей услуги, которые не всегда могли казаться таковыми в глазах других, напр.. он

передал ей письмо от Андрея Чернышева, проезжавшего через Москву, по дороге в Сибирь. Сам Тимофей был сослан в Казань, где был полицеймейстером, а затем дослужился до чина полковника. Так делались тогда дела в России! Он был честен и, по-видимому, не обогатился на своем посту, так как через шестнадцать лет, вскоре после своего вступления на престол, Екатерина писала Олсуфьеву: «Я тебе поручаю выбрать место, или, одним словом сказать, хлеба дать Андрею Чернышеву, генерал-адъютанту бывшего императора, да отставному полковнику Тимофею Евреинову... *Au nom de Dieu, defaites-moi de leur priere; ils ont souffert pour moi autre fois et je leur laisse battre le pave, faute de savoir quoi en faire*».

Бестужев направил свои удары, главным образом, против иностранцев, состоявших при особах великого князя или великой княгини или пользовавшихся их доверием. 29 апреля 1747 г. д'Альон возвещал об отбытии в Германию Бредаля, «обер-егермейстера великого князя, как герцога Голштинского», Дюлешинкера, его камергера, племянника Брюмера, Крамса, его камердинера, «состоявшего при его высочестве с малолетства», Штелина, «учителя истории», и Бастьена, его егеря. Из иностранцев оставались при дворе лишь фельдмаршал Миних, не имевший никакого влияния, и Лесток, «поддерживаемый своим ланцетом, некоторыми понятными опасениями и знанием бесчисленного множества анекдотов».

Вокруг Екатерины образовывалась все большая пустота.

В июне 1746 г. посланник Фридриха, друг и советник ее матери, Мардефельд, принужден был окончательно покинуть свой пост. Два года спустя, на придворном балу она хотела подойти к Лестоку, но он уклонился от разговора с ней. «Не подходите ко мне», прошептал он: «я в подозрении», и добавил еще раз: «Не подходите!» Он был красен, глаза его блуждали, Екатерине показалось, что он был пьян. Это происходило в пятницу 11 ноября 1748 г.

В предыдущую среду был арестован один француз, по фамилии Шапуро, родственник Лестока и капитан Ингерманландского полка. Два дня спустя подобная же участь постигла и самого Лестока. Его обвиняли в том, что он вошел в тайные и невыгодные для России сношения с французским, прусским и шведским дворами. Его пытали, но он мужественно выдержал самые ужасные мучения, никого не выдав. Он целый год провел в тюрьме и наконец был сослан в Углич.

Эта катастрофа, вероятно, окончательно выяснила Екатерине цену политических начинаний, которые ее мать хотела ей оставить в наследство, и хрупкость их опорных пунктов. Она также ускорила дело перерождения и ассимиляции, инстинктивно начатое невестой Петра путем изучения языка своего нового отечества и поручения себя духовному руководству архимандрита Тодорского. Один русский писатель усмотрел характерный симптом быстрых успехов, достигнутых великой княгиней в этом направлении, комментируя на свой лад отрывок из «Записок», относящийся к этому време-

ни. Заместитель Тимофея Евреинова, некий Шкурин, вздумал заниматься доносами и сплетнями насчет Екатерины; тогда она вышла в гардеробную, где он обыкновенно стоял, и изо всей силы дала ему пощечину, прибавив, что велит его высесть. Оказывается, поступок этот был чисто русский, и немецкой принцессе и в голову не пришел бы подобный образ действия. Само собою разумеется, мы оставляем ответственность за это толкование на его авторе (Бильбасов).

С другой стороны, постоянная перемена окружавших ее лиц имела ту хорошую сторону, что Екатерина знакомилась со многими людьми и имела возможность изучать большое количество образчиков человечества; вместе с тем она принуждена была менять и свой образ действий применительно к разнообразным характерам, положениям и комбинациям. Она обязана этому, если не знанием людей, которым она никогда не обладала, то по крайней мере приобретением гибкости и упругости характера, обнаруженной ею впоследствии, и не менее изумительным искусством пользоваться людьми, – дурными ли, хорошими ли, – попадавшимися ей под руку (она никогда не умела их выбирать), и извлекать из них все, на что они были способны.

Впрочем, не все навязанные ей перемены в ее штате были ей неприятны или стеснительны для нее. Шкурин оказался впоследствии преданным и скромным слугою, а обменяв немку Крузе, свою камерфрау, на русскую Прасковью Никитичну Владиславову, Екатерина сделала очень выгод-

ное и ценное приобретение. Прасковья не была только преданной служанкой; она более, чем кто-либо, поработала над ознакомлением будущей царицы с жизнью, которую ей суждено было отныне вести, и с внутренним интимным бытом народа, которым она призвана была управлять. Она знала эту жизнь, темную во многих отношениях и недоступную, как закрытая книга: знала и прошлое, включая подробности, оттененные анекдотами, и настоящее, включая сюда и малейшие городские и придворные сплетни. Она в каждой семье помнила четыре-пять поколений и безошибочно перечисляла все родство: отца, мать, дедов, двоюродных братьев и сестер по мужской и женской, восходящей и нисходящей линиям. Она была тонка и находчива. Мы увидим ее впоследствии за делом. После мадемуазель Кардель она более всех потрудилась над воспитанием Екатерины; первая подготовила в ней будущего друга философов, а вторая – «матушку государыню», столь близкую русским сердцам. Но, повторяем мы, настоящим воспитателем великой императрицы было одиночество, на которое обрекало ее равнодушие ее мужа и постепенное удаление всякой поддержки среди двора, создавшего ей на первых порах приятную жизнь и под блестящей внешностью не замедлившего оказывать ей всевозможные неприятности. Здесь уместно бросить беглый взгляд на эту среду, где протекли для нее долгие годы испытания, ожидания и борьбы, мужественно выдержанные ею до конца.

III. Внутренняя жизнь двора. – Денежные неурядицы. – Как строят императорский дворец и как в нем живут. – Первые поэтические опыты Екатерины. – Нравственная неурядица. – Что видно в дверную щель. – Супружеская жизнь с великим князем. – Вкусы и интимные привычки Петра. – Собаки. – Пьянство. – Картонные солдатики и крепости. – Развлечения Екатерины. – Охота. – Верховая езда. – Танцы. – Чтение.

Россия восемнадцатого века – это здание, состоящее из одного только фасада. Это театральная декорация. Петр I поставил двор на европейскую ногу, и его преемники, в этом по крайней мере отношении, поддержали и развили его дело. Как в Петербурге, так и в Москве Елизавета была окружена всей пышностью и великолепием, свойственными и другим цивилизованным государствам. В ее дворцах мы видим Целые анфилады зал, украшенных зеркалами, с мозаичными паркетами и потолками, разрисованными художниками. На ее празднествах толпятся придворные, одетые в шелка и бархат, разукрашенные золотом, осыпанные бриллиантами, дамы, одетые по последней моде, с напудренными волосами, нарумяненные и с пленительными мушками на уголках губ. У нее свита, штаты, камергеры, придворные дамы и лакеи – числом своим и роскошью мундиров не имеют себе равных в Европе. Согласно многим современным свидетелям,

к которым некоторые русские писатели отнеслись слишком доверчиво, по нашему мнению, императорская резиденция в Петергофе превосходит великолепием Версаль. Чтобы составить себе суждение об этом, посмотримся попристальнее в эту кажущуюся роскошь.

Во-первых, у нее есть одна непадежная, непрочная сторона, в значительной мере лишаящая ее ценности. Дворец ее величества, как и дворцы ее подданных, почти все деревянные. Когда они горят, что случается довольно часто, гибнут и все богатства, собранные в них, – драгоценная мебель, художественные предметы. Их строили вновь всегда поспешно и небрежно, не думая о том, чтобы придать им большую прочность. На глазах Екатерины в три часа сгорает московский дворец, имевший три версты в окружности. Елизавета повелела, чтобы его выстроили вновь в шесть недель, и приказание ее было исполнено. Можно себе представить, какова была постройка. Двери не закрываются, из окон дует, печи дымят. Архиерейский дом, в котором жила Екатерина после пожара, загорался три раза во время ее пребывания.

Вместе с тем в этих роскошных с внешней стороны дворцах не было и следа комфорта и удобства. Всюду великолепные приемные покои, чудесные бальные и банкетные залы; а для жилья служили несколько узких комнат, лишенных света и воздуха. Половина Екатерины в летнем дворце в Петербурге выходила с одной стороны на Фонтанку, представлявшую тогда зловонную лужу, с другой – на маленький дво-

рик. В Москве еще хуже. «Нас поместили, – пишет Екатерина, – в деревянном флигеле, выстроенном лишь осенью; вода текла со стен, и все помещение было страшно сыро. Этот флигель состоял из двух рядов комнат, по 5 или 6 больших комнат. Комнаты, выходявшие на улицу, были отведены мне, остальные – великому князю. В моей уборной помещались мои девушки и горничные со своими прислужницами, так что их было семнадцать женщин в комнате с тремя большими окнами, но с одной только дверью, выходявшей в мою спальню, через которую они и принуждены были проходить за всякою рода нуждами... Кроме того, столовая их помещалась в моей передней». В конце концов установился другой способ сообщения с внешним миром – посредством простой доски, прилаженной к окну и служившей лестницей. Как видите, до Версаля еще далеко!

Екатерине приходилось не раз сожалеть о своем скромном прежнем жилище, в соседстве с колокольней, в Штеттине. или вспоминать с восторгом замок своего дяди в Цербсте или бабушки в Гамбурге. То были грубые, но прочные и просторные каменные постройки, относящиеся еще к шестнадцатому веку.

Дворцы Елизаветы были скверно выстроены и не лучше меблированы. Происходило это вследствие того, что принадлежность мебелировки к известному дому была тогда обычаем, неизвестным в России. Мебель была как бы принадлежностью лица и следовала за ним в его путешествиях. Это яв-

лялось как бы пережитком кочевой жизни восточных народов. Обивка, ковры, зеркала, кровати, столы, стулья, предметы роскоши и предметы необходимости переезжали вместе с двором из зимнего дворца в летний, оттуда в Петергоф и Москву. Конечно, много вещей ломалось и терялось в пути. Таким образом получалось странное смешение роскоши и убожества. Ели на золотой посуде, поставленной на столе со сломанной ножкой. Среди chef d'oeuvre'ов французского и английского искусства не на чем было сидеть. В доме Чоглокова в Москве, где Екатерине пришлось жить некоторое время, не было вовсе мебели. Сама Елизавета нередко находилась в том же положении, но она ежедневно пила чай из чашки, привезенной по ее приказанию Румянцовым из Константинополя и стоившей 8.000 дукатов.

Этому материальному беспорядку, которым разрушалось величие внешней декорации, соответствовала в отношении нравственности какая-то внутренняя разнузданность, в которой, несмотря на внешнюю чрезвычайную пышность и утонченный этикет, поминутно утопало достоинство самого трона. Следующее происшествие, рассказанное нам Екатериной в своих «Записках», дает нам представление об этом. Незадолго до вмешательства Бестужева, послужившего поводом к вышеуказанным переменам в штате Екатерины и ее супруга, Петр совершил проступок, который, пожалуй, если и не вызвал, то по меньшей мере оправдал строгости канцлера и побудил императрицу их одобрить. Комната, где вели-

кий князь устроил свой театр марионеток, сообщалась дверью с одной из гостиных императрицы. Когда вся половина была отдана молодой чете, дверь эту заперли. Елизавета велела поставить в этой гостиной обеденный стол и иногда обедала в ней с приближенными. Обеды эти были интимные, и сервировка стола была такова, что можно было обходиться без слуг. Однажды Петр, услышав веселые голоса и звон чокающихся рюмок, вздумал просверлить несколько дырочек в двери. Посмотрев в щелку, он увидел за столом императрицу, обер-егермейстера Разумовского в халате и человек двенадцать придворных. Это зрелище показалось Петру чрезвычайно забавным и, не желая наслаждаться ими в одиночестве, он позвал Екатерину. Она, однако ж, уклонилась от приглашения и даже дала почувствовать своему мужу все неприличие и опасность подобного развлечения. Он не обратил на ее слова внимания и пригласил ее фрейлин, заставив их влезать на стулья и табуреты, чтобы лучше видеть, и устроив целый амфитеатр перед дверью, за которой выставлялось напоказ бесчестие его благодетельницы. Вскоре об этом узнали; императрица страшно разгневалась. Она даже напомнила своему племяннику, что у Петра I был тоже неблагодарный сын, а это было равносильно объявлению, что голова его Держится на плечах не прочнее головы несчастного Алексея. Весь двор узнал об этом инциденте и в свою очередь над ним посмеялся.

Что касается Екатерины, она из него извлекла если не

урок морали, чего, по-видимому, не случилось, то урок практической мудрости. Если и возле нее впоследствии сидели фавориты в халате, она все же устраивалась так, что их нельзя было видеть в дверную щелку. Она их или прятала, или заставляла толпу почитать их, создавая для них соответственные, величественные рамки. Она получила от Елизаветы и другие ценные указания. Она отказалась нарушить тайну интимных пиршеств, во время которых императрица позволяла себе забывать свое величие, но зато она присутствовала вскоре после отъезда принцессы Цербстской, 25 ноября, при парадном обеде, которым отмечался каждый год день вступления на престол дочери Петра Великого. В большой зале Зимнего дворца стол был накрыт для 350 унтер-офицеров и солдат полка, который в тот день сопровождал Елизавету на завоевание своей короны. Императрица, в мундире капитана, в ботфортах, с саблей на боку и белым пером в шапке, сидела среди своих «камрадов». Придворные чины, высшие офицеры и иностранные министры сидели в соседней комнате. Екатерина, с ранних пор имея перед глазами это зрелище, задумывалась над ним и потому она, вероятно, и сумела в нужный момент с такой грациозной развязностью надеть боевую одежду и, в свою очередь, возбудить энтузиазм и привлечь содействие этих же самых гренадер, также подготовленных уроками прошлого к смелым предприятиям.

Чаще всего великий князь был занят своими удовольстви-

ями и любовными увлечениями, но иногда он вдруг возвращался к Екатерине. Эти минуты не были лучшими в ее жизни. В продолжение целой зимы он только и говорил с Екатериной, что о своем плане построить рядом со своей дачей дом, во всем похожий на капуцинский монастырь. Чтобы быть ему приятной, ей пришлось сто раз перерисовывать план этого здания. В этом не заключалось, однако, ее самое жестокое испытание. Присутствие великого князя влекло за собой и постоянное соседство своры собак, помещавшихся в супружеском апартаменте и распространявших невыносимый запах. Императрица запретила держать собак, и потому Петр вздумал спрятать их в общий альков, вследствие чего ночи Екатерины стали настоящим мучением. Днем лай и пронзительный визг нередко избиваемых собак не давал ей ни минуты покоя. Когда свора молчала, то Петр брал свою скрипку и ходил с ней из комнаты в комнату, стараясь производить возможно более шуму на своем инструменте. Он любил вообще шум. Кроме того, он все более и более обнаруживал пристрастие к спиртным напиткам. С 1753 г. он напивался «почти ежедневно». В этом отношении Елизавета не могла по понятным причинам накладывать на него узду. Изредка он возвращался к своим марионеткам. Однажды Екатерина нашла его стоящим в парадном мундире, в ботфортах и с обнаженной саблей посреди комнаты перед крысой, подвешенной под потолок. Оказывается, что несчастная крыса съела часового из крахмала, стоявшего перед картон-

ной крепостью, и военный совет, собравшийся по всем правилам, приговорил ее к смертной казни.

Без сомнения, Екатерина, со своей могучей молодостью и страстностью своего темперамента, не выдержала бы испытаний подобной жизни, если бы она не приобрела некоторых привычек, дававших ей возможность иногда покидать печальный дом и нравственно отдыхать. Летом в Ораниенбауме она вставала с зарей и, быстро одевшись в мужской костюм, уезжала на охоту в сопровождении старого слуги. «Совсем близко на берегу моря была рыбацья лодка, мы шли через сад пешком, держа ружья на плече, и затем я, слуга, рыбак и собака садились в лодку, и я охотилась на уток, сидевших в камышах, окаймлявших море по обеим сторонам ораниенбаумского канала». Кроме охоты, другим поводом к частым отлучкам Екатерины служила верховая езда. Елизавета была сама страстной наездницей. Однако она сдерживала нарождавшееся увлечение Екатерины этим спортом. Великая княгиня в особенности любила ездить по-мужски на плоском седле с двумя стременами. Императрица усмотрела в этом одну из причин, препятствовавших ей иметь детей. Тогда Екатерина придумала снабдить свое седло особым приспособлением, позволявшим ей ездить по-дамски на глазах у Елизаветы и тотчас же переменять положение, как только лошадь уносила ее из виду. Юбка, разделенная надвое во всю длину, облегчала эту метаморфозу. Она брала уроки у наездника-немца, инструктора в кадетском корпусе,

и за быстрые успехи получила почетные серебряные шпоры.

Она любила также танцы. Однажды вечером на одном из балов, которыми Елизавета, любившая движение и шум, увеселяла свой двор, великая княгиня поспорила с женой саксонского министра, Арнгейм, о том, кто скорее устанет. Она выиграла. Однако все эти развлечения не могли наполнить пустоту долгих зимних дней.

IV. Первые книжки Екатерины. – Романы. – Письма мадам де-Севины. – Исторические книги. – Мемуары Брантома.

Граф Гюлленбург посоветовал ей читать Плутарха и Монтескье. Графиня Головина утверждает в своих записках, оставшихся не изданными, что Лесток первый направил ее по этому пути, дав ей читать «Словарь» Бейля. Вряд ли Екатерина начала свое чтение со столь серьезного труда. Она сама, впрочем, сообщает нам некоторые подробности. «Первая моя книга была „Tiran le Blanc“. Она начала с романов, составлявших, несомненно, обычное чтение окружавших ее лиц. Она, по-видимому, прочла их много. Она не приводит их заглавий, но утверждает, что некоторые из них надоедали ей своими длиннотами. Можно из этого заключить, как то и сделал В.А. Бильбасов, что она прочла романы Лакальпренеда, мадемуазель де-Скюдери, может быть, „Astree“ и, вероятно, „Les amours pastorales de Daphnis es Chloe“. Чувственные

описаний, которые она в них нашла, и непристойность, не превзойденная и в наши дни, не способствовали ли развитию некоторых склонностей, державших ее впоследствии в своей власти? Это весьма возможно. Она узнала, какие уроки добрая соседка Ликсония преподала Дафнису, и как она сообщила их невинной Хлое; как „Дафнис сел возле нее и поцеловал ее и затем лег; Ликсония нашла, что он готов, приподняла его и скользнула под него...“ Перевод Амио сочинения Лонга имел тогда успех, о котором свидетельствует число его изданий, а отрывки вроде вышеприведенного не пугали даже самых „честных женщин“. Роман мадемуазель де-Скюдери и явился протестом против слишком грубого реализма этой литературы, вплоть до того момента, когда реакция, вызванная им, в свою очередь, пала под давлением скуки. Таким образом история литературных эволюции является в общем ходе человеческих дел лишь вечным повторением одного и того же.

Хотя Екатерине и трудно было хвалиться сведениями, почерпнутыми ею из этого мутного источника, она все же извлекла из него огромную пользу любовь к чтению вообще. Когда она оставила романы, наскучив ими или получив к ним отвращение, она уже научилась читать и принялась за другие книги. Она читала много и без разбора, что попадалось под руку. Так, она ознакомилась с «Письмами» мадам де-Севинье; они привели ее в восторг, она их проглотила, по собственному ее выражению; без сомнения, она там и по-

черпнула свое пристрастие к эпистолярному стилю, как отчасти и фамильярный отрывистый слог ее писем, отнюдь, однако, не напоминающих прелестную грацию образца. Она стала лишь немецкой Севиньс, влагавшей в самые смелые полеты своего пера немного той немецкой тяжеловесности, от которой Гейне и Берне освободились лишь благодаря особому смешению рас.

После «Писем» мадам де-Севинье настал черед Вольтера. Семнадцать лет спустя, Екатерина писала Фернейскому патриарху: «Могу вас уверить, что с тех пор, как я располагаю своим временем, т.е. с 1746 г., я многим вам обязана. До того я читала лишь романы, но случайно ваши сочинения попали мне в руки; с тех пор я их беспрестанно читаю и не хотела уже читать хуже написанных книг». Память изменила императрице, когда она писала эти строки, так как в своих «Записках» она упоминает лишь об одном сочинении Вольтера, прочитанном ею в то время; она не помнит даже его названия; к тому же она не особенно льстила великому философу, говоря о прочитанных ею столь же хорошо написанных книгах. Какие же были эти книги? «Жизнь Генриха Великого» Перефикса; «История Германской империи» Барра и главным образом – Екатерина не стесняясь сознается, что находила в этом чтении особое удовольствие, – сочинения Брантома. Вольтеру не приходилось особенно гордиться этим сравнением, тем более, что влияние Перефикса соперничало с его влиянием в уме августейшей читатель-

ницы. Генрих IV всегда остался в представлении Екатерины несравненным героем, великим королем и образцовым государем. Она заказала его бюст Фальконету. Она неоднократно выражала, – между прочим и в своих письмах к Фернейскому патриарху, – свое сожаление, что ей не суждено было встретить на земле столь достойного удивления монарха. Но она надеялась, однако, что на том свете будет наслаждаться его обществом. Она полагает, что во время революции политика великого Генриха спасла бы Францию и монархию. Этим поклонением объясняется и ее снисходительность к некоторым слабостям и отклонениям от прямого пути, свойственным любовнику красавицы Габриэли, и спокойная уверенность, с какой она не считала их несовместимыми с саном государя и общим направлением великого царствования. По всей вероятности, строгие размышления Перефикса на этот счет не обладали для нее достаточной убедительностью; она прочла ведь у него следующие слова: «Для величия его памяти следовало бы пожелать, чтобы у него не было другого недостатка, кроме страсти к игре. Но другой его слабостью, гораздо более прискорбной в христианском государе, являлось его пристрастие к красивым женщинам». Она удовлетворилась лишь данным ей примером, оставив в стороне моральную его сторону.

Чтение Брантома, так «заинтересовавшего» ее, как она наивно выражается, оказало, вероятно, более прямое и сильное влияние на ход ее мыслей. От нее не ускользнуло суж-

дение о Монгомери, «который самым беспечным и небрежным образом исполнял свои обязанности, так как очень любил вино, игру и женщин; но верхом, в седле, он становился храбрейшим и достойнейшим военачальником». Она отметила и характеристику Иоанны II Неаполитанской и странные комментарии автора: «Эта королева пользовалась славою женщины развращенной и непостоянной; говорили, что она была постоянно в кого-нибудь влюблена и наслаждалась страстью различным образом и с несколькими мужчинами. Однако в великой и красивой королеве этот порок наименее предосудительный... Красивые и знатные дамы должны походить на солнце. разливающее свет и теплоту на всех, так что каждый его чувствует. Так и эти знатные красавицы должны расточать свою красоту всем, кто к ним пламенеет. Те красивые и знатные дамы, которые могут удовлетворить многих людей, благосклонностью ли, словами ли, красивыми лицами, общением, всякими сладостными изъявлениями и доказательствами или, что еще предпочтительнее, восхитительными действиями, те не должны останавливаться на одной любви, но должны иметь их несколько: подобное непостоянство прекрасно и дозволено им».

После Брантома, «Общая История Германии» Барра, вероятно, показалась Екатерине довольно неудобоваримой. Она пишет в «Записках», что читала по одному тому в неделю. Она как бы сознается, что у нее не хватило терпения прочесть все до конца, так как она упоминает лишь о девяти

ти томах, тогда как их всего одиннадцать (в издании 1778 г.). Тем менее правдоподобно, что чтение этого сочинения повлияло неблагоприятно на ее отношения к Фридриху II и прусской политике. Фридрих II и его политика являются на сцену именно лишь в двух последних томах Барра. К тому же Екатерина познакомилась с этим сочинением в 1749 г., вскоре после его появления; поэтому, если ее предубеждение коренилось в нем, оно, очевидно, долгое время назревало и не проявлялось, так как еще в 1771 г., при первом разделе Польши, его нет и следа. Гораздо вероятнее, что Екатерина обязана была Барру своими первыми сведениями о германских делах, о силах и интересах, состоявших в борьбе между собой в великом германском организме, так как ее пребывание в Штеттине и Цербсте дало ей лишь самые смутные и несовершенные понятия о них.

Что касается «Словаря» Бейля, трудно себе представить, какое впечатление произвела подобная книга на читательницу двадцати двух – двадцати трех лет; первый том его она прочла в 1751 г. Екатерина уверяет, что она прочла целиком все четыре тома *in-folio*, в которых этот предшественник энциклопедистов излагает результаты интеллектуальной культуры своей эпохи. Но, не зная ни греческого, ни латинского языка, она, по-видимому, должна была пропустить многочисленные цитаты, которые составляют у Бейля добрую половину его труда. Присоединим к ним еще четвертую часть, посвященную религиозным спорам и философским диссер-

тациям, в которых она вряд ли что-нибудь поняла. Она, вероятно, лишь пробежала остальное, так как трудно читать словарь, в обыкновенном смысле этого слова. Она, может быть, там и сям почерпнула кое-какие понятия, которыми и воспользовалась впоследствии. Доктрина о народовластии, смело выдвинутая автором, имела, по-видимому, некоторое, хотя и мимолетное, влияние на ее суждения и вдохновила ее первые законодательные попытки, хотя она и не сочла нужным «согласиться с Бейлем, что короли большие мошенники». Но все же ее поразила мысль, что «правила управления несовместимы с самой щепетильной честностью». К тому же она прониклась сознанием, что ни религиозная этика, ни ходячая мораль, ни катехизис Лютера, ни учение Симеона Тодорского, ни мудрые уроки m-lle Кардель и строгие принципы Христиана-Августа не выносили ни холодной критики такого философа, как Бейль, ни высокомерной оценки такого опытного человека, как Брантом, и что в глазах как того, так и другого не существовало ни вечных истин, ни абсолютных принципов.

Она была погружена в 1754 г. в подобные размышления, как давно ожидаемое событие прервало ее чтение, расстроило обычное, довольно монотонное течение ее жизни и внесло в эту жизнь значительные перемены. Она сделалась матерью.

V. Екатерина делается матерью. – Кто отец ребенка? –

Десять лет бесплодного супружества. – Любовные развлечения. – Захар Чернышев. – Красавец Сергей. – Вмешательство причин государственной важности и хирургии. – Рождение великого князя Павла. – Странное отношение к родильнице. – Различные предположения.

Как случилось это событие? Вопрос этот кажется странным, однако ни один пункт во всей ее биографии не вызвал столько прений и споров. Не следует забывать, что прошло уже десять лет со свадьбы великой княгини, десять лет, в течение которых ее союз с Петром оставался бесплодным, а отношения супругов становились все холоднее.

Между тем, несмотря на уединенную жизнь и строгий надзор за ней, Екатерина подвергалась многочисленным искушениям и преследованиям, в которых ее добродетель находилась в постоянной опасности, и сама она, согласно выражению русского историка, была как бы погружена в атмосферу любви.

Она сама сознается в своих «Записках», что, не будучи, собственно говоря, красивой, она все же умела нравиться; в этом заключалась ее «сила». Она звала любовь и распространяла ее вокруг себя. Мы видели, как муж ее наставницы сам пал жертвой этой эпидемии. Она избегла, надо сказать, первых опасностей. Она не похитила у Марии Семеновны ласки ее мужа, но в этом мало заслуги с ее стороны, так как она находила его некрасивым, глупым и неуклюжим как

телом, так и умом. Она смертельно скучала летом 1749 г., часть которого ей пришлось провести в имении Чоглоковых, Раеве. Она почти каждый день виделась с молодым графом Кириллом Разумовским, соседом по имению, приезжавшим обедать и ужинать и возвращавшимся затем в Покровское, делая таким образом каждый раз верст шестьдесят. Двадцать лет спустя Екатерине вздумалось спросить его, что побуждало его приезжать каждый день и делить скуку великокняжеского двора, когда он имел возможность собирать в собственном своем доме лучшее московское общество. «Любовь», ответил он, не колеблясь ни секунды. – «Любовь? Но кого же вы могли любить в Раеве?» – «Вас». – Она расхохоталась. Ей это и в голову не приходило.

Дело не всегда обстояло так. Чоглоков был некрасив, Разумовский слишком скромн. Явились другие, не обладавшие ни недостатками одного, ни достоинствами другого. Во-первых, при дворе в 1751 г. появился снова Захар Чернышев, удаленный в 1745 г. Он находит, что Екатерина похорошела, и не стесняясь, высказывает ей это. Она с удовольствием слушает его. Во время бала, когда по моде того времени гости обмениваются «девизами» – узенькими бумажками, на которых были написаны стихи, более или менее удачные, смотря по находчивости кондитера, он посылает ей любовную записку, полную страстных признаний. Эта игра ей нравится, и она с удовольствием ее продолжает. Он хочет проникнуть в ее комнату, намереваясь переодеться для этого лакеем, но

она указывает ему на опасность этого предприятия, и они возвращаются к переписке посредством «девизов».

Часть этой переписки нам известна. Она была издана и без обозначения автора в виде образчика слога знатной дамы восемнадцатого века, состоящей в переписке со своим любовником. Содержание ее не оставляет сомнений в том, что Захар Чернышев имел право на это звание.

После Чернышевых наступает черед Салтыковых. Среди камергеров великокняжеского двора было два брата Салтыковых. Они принадлежали к одной из самых старинных и знатных русских фамилий. Отец их был генерал-адъютантом; мать их, рожденная княжна Голицына, в 1740 г. оказала Елизавете услуги, о которых принцесса Цербстская имела особые сведения. «Салтыкова пленяла целые семьи. Она делала больше. Она была красива и вела себя так странно, что лучше было бы, если бы ее поведение не стало известно потомству. Она ходила с одной из своих служанок в казармы, отдавалась солдатам, напивалась с ними, играла, проигрывала, давала им выигрывать... Все триста гренадеров, сопровождавших ее величество, были ее любовниками». Старший брат, Петр, был обижен природой и мог, по мнению Екатерины, соперничать умом и красотой с Чоглоковым. Младший, Сергей, был «красив, как день». В 1752 г. ему было 26 лет и он был женат уже два года на фрейлине императрицы Маррене Павловне Балк. Это был брак по любви. В то время Екатерина заметила, что он за ней ухаживает. Она почти каж-

дый день посещала Чоглокову, которая, будучи беременной и нездоровой, не выходила из дому. Неизменно встречая там Сергея Салтыкова, она догадалась, что он приходил не для хозяйки дома. По-видимому, она стала уже опытнее. Вскоре, впрочем, Салтыков окончательно открыл ей глаза на этот счет. Надзор Чоглоковой ослабел к тому времени. Он придумал способ обезвредить и ее мужа, который, будучи сам влюблен в великую княгиню, мог быть стеснительнее. Он открыл в нем необыкновенный талант к стихотворству. Добрый Чоглоков был этим очень польщен и, сидя в углу, писал стихи на темы, которые ему давали без конца. В это время остальные разговаривали не стесняясь. Красавец Сергей был не только самым красивым человеком при дворе, но и человек находчивый: «настоящий демон интриги», говорила Екатерина. Она молча выслушала его первое признание, не намереваясь, вероятно, прекратить его дальнейшие изливания. Она, наконец, спросила, чего он от нее хочет. Он описал самыми яркими красками счастье, которого он ожидает от нее. «А ваша жена?» спросила она. Это почти равнялось признанию и сводило расстояние, разделявшее их, к очень хрупкому препятствию. Он этим не смутился и решительно выбросил за борт бедную Матрену Павловну, объявив, что то было лишь юношеское увлечение, ошибка, и рассказав, как скоро «это золото превратилось в простой свинец». Екатерина уверяет, однако, что она сделала все, что могла, чтобы отвлечь его, намекнув даже, что он опоздал.

«Почему вы знаете? Может быть, мое сердце уже занято?» Средство это было неудачно выбрано. На самом же деле, как Екатерина сама сознается, главное препятствие к избавлению от красивого соблазнителя заключалось в том, что он ей сильно нравился. Однажды Чоглоков устроил охоту, во время которой представился случай, давно поджидаемый Сергеем. Они остались вдвоем в продолжение полутора часа; чтобы положить конец этому свиданию, Екатерине пришлось прибегнуть к героическим средствам. Эта сцена прелестно описана в «Записках»! Перед тем, как удалиться, Салтыков хотел заставить ее признаться, что она к нему равнодушна. «Да, да, но только уходите!» – «Хорошо, слово дано!» воскликнул он и прищпорил лошадь. Она хотела вернуть роковое слово и крикнула ему вслед: «нет, нет!» Он отвечал: «да, да!» На этом они расстались, чтобы вскоре снова сойтись.

Спустя некоторое время Сергею Салтыкову пришлось покинуть двор. Распространились слухи о его отношениях к великой княгине, вызвавшие вмешательство Елизаветы. Императрица сильно выбранила Чоглоковых, и Сергею велено было поехать на один месяц в отпуск, к родным в деревню. Он заболел и вернулся лишь в феврале 1753 г. и тотчас снова вступил в интимный кружок, образовавшийся вокруг Екатерины, где первые места были отведена молодым людям, и в котором часто появлялся другой родовитый и красивый кавалер, Лев Нарышкин. Он уже играл ту роль шута, которую продолжал играть и в лучшие дни будущего царствования,

но в то время не ограничивал ею своего честолюбия. Екатерина была в то время в самых лучших отношениях с обоими Чоглоковыми. Она сумела привязать к себе жену, доказав ей, что отвергает ухаживания мужа, и сделать из последнего раба себе, ловко поддерживая его надежды. Она могла надеяться на их доверие и скромность. Из осторожности ли, или вследствие природного непостоянства, Сергей был теперь более сдержан, так что роли переменялись, и Екатерине приходилось сетовать на его холодность. Вскоре однако новое и на этот раз совершенно неожиданное вмешательство верховной власти дало другое направление второй главе этого устаревшего уже романа. Трудно рассказать это происшествие; еще труднее было бы считать его действительно совершившимся, не будь свидетельства самой Екатерины. В каких-нибудь несколько дней Салтыков был призван к Бестужеву, а Екатерина имела разговор с Чоглоковой, и оба услышали насчет занимавшего их предмета удивившее их откровение. Говоря, по-видимому, от имени императрицы, воспитательница, оберегавшая добродетель великой княгини и честь ее супруга, объяснила молодой женщине, что бывают случаи, когда государственные соображения должны одержать верх над всякими другими, даже над законным желанием супруги остаться верной мужу, если последний не в состоянии обеспечить спокойствие империи в вопросе о престолонаследии.

В заключение Екатерине было категорически предложе-

но выбрать между Сергеем Салтыковым и Львом Нарышкиным, причем Чоглокова была убеждена, что Екатерина предпочтет последнего. Она запротестовала. «В таком случае, другой», объявила воспитательница. Екатерина промолчала с большой сдержанностью. Бестужев говорил в том же смысле и с Сергеем Салтыковым.

Между тем Екатерина забеременела три раза подряд и после двух выкидышей родила, наконец, сына, 20 сентября 1754 г. Кто был отцом этого ребенка? Теперь уже понятно, почему вопрос этот вполне уместен. Вот как он разрешен в одном документе, существенные части которого, относящиеся до этого пункта истории, еще не были изданы. Это записка Шампо, уже цитированная нами:

«Великая княгиня, увлекаемая тайным расположением, слушала его (Салтыкова) и убеждала его победить свою страсть. Однажды разговор был очень оживлен. Салтыков говорил ей со всей страстью, которая его одушевляла; она отвечала ему горячо, умилилась, была тронута и, расставаясь с ним, сказала стих Максима, обращенный к Ксифару:

«Et meritez les pleurs que vous m'allez couter».

«...Двор переселился в Петергоф; великокняжеская чета последовала за императрицей. Несколько раз устраивались охоты. Великая княгиня, ссылаясь на нездоровье, большую часть в них не участвовала. Салтыков под благовид-

ными предложениями заручился позволением великого князя не сопровождать его. Он проводил все свое время с великой княгиней и сумел воспользоваться благоприятным для него расположением, которое ему дали почувствовать. Салтыков, первое время находивший для себя большое счастье в том, что обладает предметом своих мыслей, вскоре понял, что вернее было разделить его с великим князем, недуг которого был, как он знал, излечим. Однако опасно было действовать в подобном деле без согласия императрицы. Благодаря случаю, события повернулись самым лучшим образом. Однажды весь двор присутствовал на большом балу; императрица, проходя мимо беременной Нарышкиной, свояченицы Салтыкова, разговаривавшей с Салтыковым, сказала ей, что ей следовало бы передать немного своей добродетели великой княгине. Нарышкина ответила ей, что это, может быть, и не так трудно сделать, и что если государыня разрешит ей и Салтыкову позаботиться об этом, она осмелится утверждать, что это им удастся. Императрица попросила разъяснений. Нарышкина объяснила ей недостаток великого князя и сказала, что его можно устранить. Она добавила, что Салтыков пользуется его доверием и что ему удастся на это его склонить. Императрица не только согласилась на это, но дала понять, что этим он оказал бы большую услугу. Салтыков тотчас же стал придумывать способ убедить великого князя сделать все, что было нужно, чтобы иметь наследников. Он разъяснил ему политические причины, которые должны бы

были его к тому побудить. Он также описал ему и совсем новое ощущение наслаждения и добился того, что тот стал колебаться. В тот же день Салтыков устроил ужин, пригласив на него всех лиц, которых великий князь охотно видал, и в веселую минуту все обступили великого князя и просили его согласиться на их просьбы. Тут же вошел Бургав с хирургом, – и в одну минуту операция была сделана и отлично удалась. Салтыков получил по этому случаю от императрицы великолепный брильянт. Это событие, которое, как думал Салтыков, „обеспечивало и его счастье и его фавор“, навлекло на него бурю, чуть не погубившую его... Стали много говорить о его связи с великой княгиней. Этим воспользовались, чтобы повредить ему в глазах императрицы... Ей внушили, что операция была лишь уловкой, имевшей целью придать другую окраску одной случайности, которую хотели приписать великому князю. Эти злобные толки произвели большое впечатление на императрицу. Она как будто вспомнила, что Салтыков не заметил влечения, которое она к нему питала. Его враги сделали больше; они обратились к великому князю и возбудили и в нем такие же подозрения».

Затем в своем сообщении Шампо рассказывает о разных очень сложных интригах. Императрица и великий князь несколько раз меняли мнение и в конце концов оправдали счастливого любовника. Одно время в дело втягивается Екатерина.

«В первые минуты своего неудовольствия на Салтыкова,

вместо того, чтобы побереечь великую княгиню, императрица сказала в присутствии нескольких лиц, что она знала, что происходило до тех пор, и что, когда великий князь выздоровеет и будет в состоянии иметь общение с женой, она желает получить доказательства того положения, в каком великая княгиня должна была остаться до этого времени».

Предупрежденная бдительными друзьями, Екатерина протестовала с негодованием и убедила Елизавету. Впоследствии великий князь довершил оправдание своей супруги, представив неопровержимые доказательства ее правоты.

«Между тем наступило время, когда великий князь мог вступить в общение с великой княгиней. Уязвленный словами императрицы, он решил удовлетворить ее любознательность насчет подробностей, которые она желала знать, и на утро той ночи, когда брак был фактически осуществлен, он послал императрице в запечатанной собственноручно шкатулке то доказательство добродетели великой княгини, которое она желала иметь... Связь великой княгини с Салтыковым не нарушилась этим событием, и она продолжалась еще восемь лет, отличаясь прежней пылкостью...»

Записка Шампо была послана в ноябре 1758 г. из Версаля в Петербург, в качестве дополнительной инструкции маркизу Лопиталю, оценившему ее следующим образом:

«Я внимательно и с удовольствием прочел первый том трагикомической истории или романа замужества и приключений великой княгини. Содержание его заключает некото-

рую долю истины, приукрашенной слогом; но при ближайшем рассмотрении герой и героиня уменьшают интерес, который их имена придают этим приключениям. Салтыков – человек пустой и русский *petit-maitre*, т.е. человек невежественный и недостойный. Великая княгиня его терпеть не может, и все, что говорят об ее переписке с Салтыковым, – лишь хвастовство и ложь».

Правда, в то время Екатерина уже познакомилась с Понятовским и, как утверждает опять-таки Лопиталь, «познала разницу между ними».

Повествование французского дипломата противоречит однако в некоторых подробностях тому, что сама Екатерина сообщает в своих «Записках», а все, что нам известно об этом щекотливом вопросе из других источников, способствует затемнению его. Физически и нравственно, в особенности нравственно, Павел ходил на своего законного отца. Однако почти никто из современников не допускал гипотезы, что именно Петр был его отцом. В то время ходили даже другие предположения. «Этот ребенок, – писал однажды Лопиталь, – сын самой императрицы (Елизаветы), которого она подменила на сына великой княгини». В следующей депеше, однако, маркиз, объявляя себя лучше осведомленным, подвергал сомнению эту первую версию; но сама Елизавета много способствовала ее возникновению, и ее поведение во время родов великой княгини немало повлияло на распространение этих слухов. Едва только ребенок

увидел свет, как императрица велела его наскоро выкупать и наречь имя Павел, приказала унести его и сама ушла вслед за ним. Екатерина увидела своего сына лишь через шесть недель. Ее оставили вдвоем с горничной, не озаботившись даже о самом необходимом уходе за ней. Казалось, что она вдруг стала совершенно безразличным для всех существом и что ее не считали уже ни во что. Родильная постель находилась между дверью и двумя огромными окнами, из которых дуло нестерпимо. Екатерина сильно потела и хотела перейти на свою постель. Владиславова не посмела исполнить ее желания. Екатерина попросила пить. Ответ был тот же. Наконец через три часа появилась графиня Шувалова и оказала ей некоторую помощь. Ни в тот день, ни на следующий она никого не видала. Великий князь пировал со своими друзьями в соседней комнате. После крестин ребенка, его матери принесли на золотом подносе указ императрицы, подарившей ей 100000 рублей и несколько драгоценностей. Ей платили за ее труды. Драгоценности были не особенно богаты. Екатерина уверяла, что ей стыдно было бы подарить их своей камерфрау. Деньгам она обрадовалась, так как у нее было много долгов. Но радость ее была непродолжительна. Несколько дней спустя, кабинет-секретарь барон Черкасов умолял ее дать ему эти 100000. Императрица приказала отпустить еще такую же сумму, а в кассе не было «ни копейки». Екатерина узнала, что это была проделка ее мужа. Узнав, что она получила 100000 р., Петр пришел в ярость.

Ему ничего не дали, а между тем он претендовал по меньшей мере на равные права на щедрость императрицы. Чтобы успокоить его, Елизавета, которой ничего не стоило подписать свое имя, приказала выдать и ему такую же сумму, не заботясь о затруднительном положении казначея. Спустя шесть недель, «очищение» великой княгини было отпраздновано с большой пышностью, и в этот день ей была оказана милость: ей показали ее ребенка. Она нашла его красивым. Во время обряда ей его оставили, а затем опять отняли. Одновременно она узнала, что Сергея Салтыкова отправили в Швецию с известием о рождении великого князя. В те времена для вельможи, занимавшего при русском дворе положение Сергея Салтыкова, подобное поручение не являлось знаком милости. Большею частью эта была высшая полицейская мера, если не опала или наказание. С этой точки зрения отъезд молодого камергера был также знаменателен.

Не будем останавливаться дольше на этом вопросе. Эта историческая тяжба, касающаяся вопроса о спорных родительских правах, на наш взгляд, является лишь второстепенной. Что касается Екатерины, единственным действительно важным пунктом для истории умственного и нравственного ее развития, т.е. для этого нашего труда, является бесспорное присутствие Сергея Салтыкова у колыбели ее первого ребенка с Львом Нарышкиным, Захаром Чернышевым и, может быть, и другими на заднем плане. Перед нами встает ее, так сказать, неполное материнство, подвергавшееся воз-

мутительным подозрениям со стороны общества, жестоко урезанное злоупотреблением власти, похожим на похищение. Что-то подозрительное скрывалось под мантией этикета, попирающего самые естественные права и обязанности; наконец нас поражает самое полное и более чем когда-либо болезненное пренебрежение и одиночество, в которое впадает молодая мать и молодая супруга между пустой колыбелью и давно опустевшим супружеским ложем.

VI. Еще большее одиночество. – Чтение и серьезные размышления. – Тацит, Монтескье и Вольтер. – Старые придворные дамы Елизаветы. – Умственное и нравственное развитие.

Будь Екатерина обыкновенной женщиной, подобное существование в результате прибавило бы лишь одну или две лишних главы к скандальной хронике восемнадцатого века. Сергей Салтыков имел бы преемника, а великий князь имел бы все новые поводы сомневаться в добродетели своей жены. Но Екатерина не была обыкновенной женщиной, что она неоднократно доказала впоследствии. Она не принадлежала и к числу мучениц и супруг, верных вопреки всему своему семейному очагу. После Салтыкова были другие; она даже окончательно, бесповоротно пошла по пути, приведшему к самым колоссальным и циничным проявлениям разврата,

записанным современной историей; но она не вся погрузилась в него. Отдавая свое тело, честь и добродетель постоянно возобновляемым развлечениям и наслаждениям, разжигавшим в ней все возрастающую страстность, она вместе с тем не забыла малодушно ни своего положения, ни своего пробудившегося уже честолюбия, ни своего превосходства, которому суждено было засиять в близком будущем. Она ни от чего не отреклась. Наоборот, она ушла в себя и занялась культурой своего я, приспособлением своего ума и характера к смутно предугадываемой судьбе, первые шаги которой нами уже отмечены.

В это время она более деятельно принимается за изучение русской литературы и русского языка. Она читает все русские книги, которые может достать. Они, без сомнения, дают ей представление об очень низком умственном уровне. Она не может даже припомнить ни одного заглавия прочитанных книг, кроме русского перевода двух томов «Анналов» Барония. Но она выносит из этого убеждение, никогда не покидавшее ее, наложившее на ее будущее царствование совершенно определенный отпечаток и сделавшее его продолжением царствования Петра Великого, а именно убеждение в том, что ее новому отечеству необходимо учиться у Запада, с тем, чтобы наверстать отделяющее его от Европы расстояние и стать на уровне недавно приобретенного положения в Европе.

Вместе с тем она серьезно и плодотворно принимается

за серьезное чтение. Несмотря на советы Гюлленборга, она все еще не прочла «Les Considerations sur la grandeur et la decadence des Romains». Она знакомится с Монтескье, читая «Esprit des lois», затем берется за «Анналы» Тацита и «Всеобщую Историю», как она говорит, а вернее – «Essai sur les moeurs et l'esprit des nations» Вольтера.

Тацит пленяет ее реальностью картин, которые он рисует, и поразительной аналогией с окружающими ее людьми. При всем различии между эпохами и обстоятельствами, она познает неподвижность, неизменяемость некоторых типов, которые входят в состав человечества, и законов, которым оно повинуетя. Она видит повторение тех же черт характера, тех же инстинктов, страстей, тех же комбинаций и тех же формул правления, производящих те же результаты. Она научается распознавать сплетение пружин этих элементов, столь различно соединяющихся и все же столь одинаковых, вникать в их интимную механику и распознавать им цену. Ее холодный, сухой ум, – философский, по определению шведского дипломата, – отлично применяется к отвлеченным безличным суждениям о событиях и их причинах, присущим латинскому историку, к его манере реять подобно орлу над человечеством, которое он как бы наблюдает в качестве постороннего зрителя.

Однако Монтескье ее больше привлекает и удовлетворяет. Он, действительно, не ограничивается тем, что представляет факты, он выделяет и их теоретический смысл и дает

ей готовые формулы. Она жадно завладевает ими и делает их своим молитвенником – «breviaire», по ее собственному живописному выражению. Она объявляет впоследствии, что «Esprit des lois» должно быть «настойной книгой всякого государя, одаренного здравым смыслом». Впрочем, это вовсе не значит, что она ее понимает. В общем Монтескье был в течение доброй половины восемнадцатого столетия писателем, которого более всего читали и менее всего понимали. У него все черпали мысли и теории, между прочими и Екатерина. Их даже применяли в отдельности, но мало кто был способен обнять всю доктрину во всей ее полноте и усвоить ее дух. Никто даже и не думал применять ее целиком, en bloc, как говорят теперь. Это повело бы, – может быть, и сам автор «Esprit des lois» не отдавал себе в этом отчета, – к полному перевороту в существующем политическом и социальном режиме и к гораздо более радикальной революции, чем та, которая ознаменовала собой конец века. Его доктрина была направлена против самой основы разбираемых им пороков в организации человеческих обществ, отмеченных им злоупотреблений и предугаданных им катастроф. А устранить основу было равносильно не только уничтожению того или другого установления, или того или другого способа управления – но и устранению самой идеи, главной идеи, управлявшей миром и призванной, может быть, управлять им вечно; это обозначало заменить идеальным и, может быть, неосуществимым равновесием естественных сил

жестокою и непрерывную борьбу интересов и страстей, составлявшую во все времена человеческую жизнь и являющуюся, может быть, и самую сущностью жизни!

Екатерина не поняла всего этого. Но она приписала себе «республиканскую душу», подобную Монтескье, не заботясь о том, чем отвечает подобное состояние души по понятиям знаменитого писателя, не отдавая себе также отчета в том, какое значение она имела для нее самой. Эта мысль ей нравилась, как она нравилась многим ее современникам; она приняла ее, как перо или цветок, бывшие в моде. К этому присоединялись и некоторое предупреждение против злоупотреблений деспотизма, сознание необходимости заменить в поведении людей внушения личного каприза велениями общего разума и какой-то смутный либерализм. Впоследствии Екатерине суждено было удивить весь мир революционной смелостью идей, высказанных ею перед всей Европой и перед своей страной в официальном документе. Она списала их с Монтескье и с Беккария, не всегда понимая их смысл. Когда он открылся ей при переходе от теории к практике, она, конечно, отступила. Но все же она продолжала управлять разумно и даже до известной степени либерально. Монтескье все же сделал свое дело.

Она сразу поняла, благодаря своей рассудительности и непогрешимому здравому смыслу, которым ее наградила природа, что существует явное и, по-видимому, несогласуемое противоречие между ненавистью к деспотизму и поло-

жением деспота. Это открытие, вероятно, было для нее стеснительно, ввиду уже присущих ей властных инстинктов. Оно ее поссорило впоследствии с философией, или по крайней мере с некоторыми философами. Между тем нашелся человек, который доказал ей, что пугающее ее различие несущественно; этот человек – опять-таки философ – Вольтер. Без сомнения, введение каприза в управление человеческими судьбами является ошибкой и может стать преступлением; безусловно, мир должен быть управляем разумом; но кто-нибудь должен же олицетворять его на земле. С установлением этого положения формула вытекает сама собой: деспотический образ правления может быть самым лучшим управлением, допускаемым на земле; это даже самое лучшее управление при условии, что оно разумно. Что же для этого надо? Чтобы оно было просвещенное. Вся политическая доктрина автора «Dictionnaire philosophique» заключается в этом; и этим же объясняется его искренний – что бы там ни говорили – восторг перед северной Семирамидой. Екатерина осуществила формулу: она просветилась в лучах философии Вольтера, она управляет разумно, она сам разум, призванный управлять сорока миллионами людей; она – божество, прототип тех богов, которых странное умственное уродство и разнузданное воображение посадило впоследствии на алтари, оскверненные революционной оргией.

Вот почему и Вольтер стал любимым писателем Екатерины. Она нашла в нем учителя, верховного руководителя ее

совести и мысли. Он учит ее, не запугивая ее, согласуя мысли, которые он ей внушает, с ее страстями. Вместе с тем он обладает для всех зол человеческих, указанных Монтескье и оплакиваемых и им самим, простыми лекарствами, доступными всем, легко применимыми, так сказать, бабьими средствами. Монтескье великий ученый, опирающийся на общие тезисы. Если его слушать, надо было бы начать все с начала и все изменить. Вольтер – гениальный эмпирик. Он перебирает поочередно все раны на человеческом теле и берется их излечить. Тут смазать бальзамом, там прижечь – и больной совершенно здоров. И какая ясность языка, мысли, сколько ума! Екатерина восхищена, как и большинство ее современников; она ослеплена, зачарована этим великим волшебником в искусстве писать и подобно всем очарована как его качествами, так и недостатками; пожалуй, даже больше его недостатками, т.е. некоторой поверхностностью в его понимании вещей, иногда даже легковесностью умозаключений, несправедливостью в суждениях и, кроме того, неуважительностью, антирелигиозностью и непристойностью его нападок на установившиеся предрассудки, в которых отражались не одни только философские тенденции данного времени и жажда освобождения, встряхнувшая современную ему мысль. Если Вольтер и не помог Екатерине променять свою лютеранскую веру на православную, он, вероятно, впоследствии все же облегчил ей воспоминание этого двусмысленного шага и избавил ее, если не от раскаяния,

то по крайней мере от некоторой неловкости, ощущаемой ее совестью; вместе с тем он, вероятно, успокоил ее насчет значения некоторых других сделок со строгой моралью всех катехизисов, как православных, так и лютеранских. Его свободомыслие, чисто интеллектуальное, вполне допускало выводы, склонные оправдывать всевозможные отклонения от принятых норм, не исключая и свободы современных нравов. Популярность Вольтера объясняется и этой стороной его мировоззрения, также пленившей и Екатерину.

Без сомнения, он овладел ею и другими, более благородными чертами своего бесспорного гения: гуманными мыслями, сделавшими его апостолом терпимости в делах веры, великодушными порывами, заставившими всю Европу рукоплескать ему, как защитнику Каласа и Сирвена. Екатерина обязана была ему некоторыми лучшими своими идеями.

Книга вторая

«По пути к завоеванию власти»

Глава первая

Молодой двор

1. Вмешательство Екатерины в политику. – Политика и любовь. – Вильямс и Понятовский. – Теория графа Горна насчет роли болонок в дипломатии. – Материальные затруднения великой княгини. – Английский банкир Вольф.

Родив наследника престола, Екатерине пришлось испытать не только описанное нами странное обращение с ней; в силу самого факта рождения ребенка она оказалась отставленной на второй план и, так сказать, спустилась на низшую ступень. Она оставалась особой высокого ранга, но уже не пользовалась большим значением. Она перестала быть условием *sine qua non* династической программы, необходимым существом, на которое, в ожидании великого события, были устремлены все взоры, начиная с императрицы и кончая последним подданным империи. Она исполнила свою миссию. Однако, именно после этого решающего события она ма-

ло-помалу начинает входить в роль, которой ни одна великая княгиня не играла ни до, ни после нее в России. Ни история других стран, ни история самой России не могут нам дать понятия о том, что представлял собою так называемый «молодой двор», двор Петра и Екатерины, в шестилетний период от 1755 г. до 5 января 1762 г., дня смерти Елизаветы.

Иногда дипломаты, приезжавшие в Петербург, не знали, в какую дверь им стучаться; некоторые из них, не сомневаясь, отважно стучались в маленькую дверь: к последним принадлежал английский посланник Генбюри Вильямс.

Подробное изложение фактов, наполнивших собою эту эпоху, заставило бы нас выйти из рамок предлагаемого труда. Мы укажем лишь самые выдающиеся из них: вмешательство Екатерины в политику, ее связь с Понятовским и наконец жестокий кризис, вызванный падением всемогущего Бестужева, когда будущая императрица впервые состязалась на арене своих последующих триумфов и одержала первую победу.

Екатерину вовлекла в политику любовь. Ей было суждено всегда соединять эти два столь различных, по-видимому, элемента; благодаря ее искусству или ее счастью, она почти всегда извлекала пользу из этого смешения, оказывавшегося роковым для многих других. Первой ее вылазкой из узкой сферы, в которой Елизавета намеревалась ее всегда держать, является вмешательство в дела Польши. Несомненно, однако, она вздумала интересоваться этими делами лишь то-

гда, когда открывала в себе интерес к делам красивого поляка. Впрочем, для того, чтобы сделать это открытие, ей понадобилась посторонняя помощь. Сводни как мужского, так и женского пола играли с ранних пор большую роль. в ее жизни.

В 1755 г. Англия, желавшая возобновить договор, связывавший с 1742 г. Россию с системой ее союзов, и обеспечить себе помощь русской армии на случай разрыва с Францией, становившегося неминуемым в ближайшем будущем, отправила в Петербург нового посла. Диккенс, занимавший до тех пор этот пост, сам сознавался в своей неспособности исполнить эту задачу. Двор Елизаветы был слишком беспокойный для человека его лет. Дела делались в промежутках времени между балом, комедией и маскарадом. Его заявления были признаны правильными английским правительством, и оно принялось искать дипломата, отвечающего всем требованиям призвания. Таковым оказался сэр Чарльз Генбюри Вильямс. Выбор был удачный. Будучи другом и товарищем по удовольствиям Роберта Вальполя, новый посол прошел хорошую школу. Он, действительно, не пропустил ни одного бала, ни одного маскарада и не замедлил убедиться в том, что подобное усердие не подвигало дела. Его искательство перед Елизаветой было ей, по-видимому, очень приятно, но политически оказалось совершенно бесплодным. Когда он пытался стать на твердую почву переговоров, государыня уклонялась. Он тщетно искал императрицу, но нахо-

дил лишь очаровательную танцовщицу менуэта, а иногда и вакханку. Через несколько месяцев он пришел к убеждению, что с Елизаветой нельзя говорить серьезно, и стал оглядываться кругом. Разочаровавшись в настоящем, он подумал о будущем. Будущее – это молодой двор.

Но опять-таки он наткнулся на фигуру будущего императора и, обладая ясным взглядом людей своей расы, с первого же раза решил, что он и тут лишь потеряет время. Его взоры остановились наконец на Екатерине. Может быть, на него повлиял и увлекательный пример других разочарованных и других надежд, одновременно шедших по тому же пути и направлявшихся к той же точке опоры. Разве великий Бестужев не начинал сам отказываться от своих прежних предубеждений? Вильямс подметил знаменательные шаги в сторону великой княгини, подземные ходы, приводившие к ней. Он быстро решился. Осведомленный придворными слухами о любовных приключениях, в которых фигурировали красавец Салтыков и красавец Чернышев, сам довольно предприимчивый, Вильямс попытался было пойти по этим романическим следам.

Екатерина приняла его очень любезно, говорила с ним обо всем, даже о серьезных предметах, которые Елизавета отказывалась обсуждать, но она смотрела в другую сторону. Один из этих взглядов, перехваченный Вильямсом, подсказал ему дальнейший образ действия. Вильямс обладал практическим умом: он уступил место молодому человеку, вхо-

дившему в состав его свиты. То был Понятовский.

Всем известно темное происхождение этого романического героя, которого роковая случайность – одна из тех, которая решила в ближайшем будущем судьбу Польши, – приобщила с этой минуты к истории его страны. Вильямс до своего приезда в Россию занимал в течение нескольких лет пост резидента при саксонском дворе, где и встретил этого сына рагвени и племянника двух самых могущественных вельмож Польши, Чарторыйских. Он с ним сошелся и, предложив заняться его политическим воспитанием, взял его с собою в Петербург. Чарторыйские, со своей стороны, поспешили воспользоваться этим случаем, чтобы поручить дипломатическому ученику особую миссию: защиту при северном дворе их интересов и интересов их отечества, понимаемых ими по-своему. Они как раз вводили в Польше новую политику, политику компромиссов и «*entente cordiale*» с наследственным врагом, т.е. с Россией, и измены традиционным союзникам республики, в особенности Франции. Они поворачивались спиной к Западу и обращались к Северу, в надежде найти убежище для несчастного корабля, гонимого бурей и изрытого пробоинами, которым они намеревались управлять. Эта политика прекрасно совпадала с программой, исполнение которой было возложено на Вильямса.

Будущему королю польскому было тогда двадцать шесть лет. У него было приятное лицо, но он не мог соперничать в отношении красоты с Сергеем Салтыковым. Зато он был

gentilhomme в полном смысле слова, как его понимали в то время: образование его было разностороннее, привычки утонченные, воспитание космополитическое, с тонким налетом философии; он являлся совершенным образчиком этого типа людей и первым, остановившим на себе внимание Екатерины. Он олицетворял собой ту умственную культуру и светский лоск, к которым она одно время пристрастилась, благодаря чтению Вольтера и мадам де-Севинье. Он путешествовал и принадлежал в Париже к высокому обществу, блеском и очарованием своим импонировавшему всей Европе, как и королевский престиж, на который еще никто не посягал в то время. Он как бы принес с собой непосредственную струю этой атмосферы и обладал как качествами, так и недостатками ее. Он умел вести искристый разговор о самых отвлеченных материях и искусно подойти к самым щекотливым темам. Он мастерски писал записочки и умел ловко свернуть мадригал в банальный разговор. Он обладал искусством вовремя умилиться. Он был чувствителен. Он выставлял напоказ романическое направление мыслей, при случае придавая ему героическую и смелую окраску и скрывая под цветами сухую и холодную натуру, невозмутимый эгоизм, даже неисчерпаемый запас цинизма. Все в нем пленяло Екатерину, даже некоторое легкомыслие, которое, как это ни странно, всегда нравилось ей, может быть, вследствие какого-нибудь таинственного сродства с ее собственной твердой и уравновешенной натурой.

Если верить личным признаниям, Понятовский обладал еще одним достоинством, весьма неожиданным и почти невероятным в молодом человеке, побывавшем в Париже.

«Сперва строгое воспитание, – пишет он в отрывке своих записок, дошедшем до нас, – отдалило меня от всяких беспутных сношений; затем честолюбивое желание проникнуть и удержаться в так называемом высшем обществе, в особенности в Париже, охраняло меня в моих путешествиях, и целая сеть странных мелких обстоятельств в моих попытках вступить в любовные связи в других странах, на моей родине и даже в России как будто нарочно сохранила меня цельным для той, которая с той поры властвовала над моей судьбой».

Опять-таки Бестужев поощрил молодого поляка. Понятовский колебался. До него дошли мрачные слухи о судьбе молодых людей, пользовавшихся расположением русских императриц и великих княгинь, постигавшей их после того, как они переставали нравиться. Бестужев прибег к содействию Льва Нарышкина, великодушно указавшего ему путь, вероятно, хорошо ему известный. Нарышкин всегда был услужлив. Но, вероятно, Екатерина сама сломала последнее сопротивление Понятовского. Для этого достаточно было ее красоты, помимо всяких других ее чар. Вот как о ней отзывается впоследствии счастливый любовник: «Ей было двадцать пять лет; она недавно лишь оправилась после первых родов и находилась в том фазисе красоты, который является наивысшей точкой ее для женщин, вообще на-

деленных ею. Брюнетка, она была ослепительной белизны; брови у нее были черные и очень длинные; нос греческий, рот, как бы зовущий поцелуи, удивительной красоты руки и ноги, тонкая талия, рост скорее высокий, походка чрезвычайно легкая и в то же время благородная, приятный тембр голоса и смех такой же веселый, как и характер, позволявший ей с одинаковой легкостью переходить от самых шаловливых игр к таблице цифр, не пугавших ее ни своим содержанием, ни требуемым ими физическим трудом».

Глядя на нее, «он забыл, говорит он, что существует Сибирь». Вскоре лица, окружавшие великую княгиню, сделались свидетелями одной сцены, которая, должно быть, подтвердила ходившие уже слухи. В числе лиц, составлявших интимный кружок великой княгини, был и некто граф Горн, швед по происхождению, живший некоторое время в Петербурге и сошедшийся с Понятовским. Однажды, когда он входил в комнату великой княгини, маленькая болонка, принадлежавшая ей, принялась ожесточенно лаять как на него, так и на всех входивших гостей. Вдруг появился Понятовский, и маленький предатель бросился к нему, ласкаясь со всеми признаками живейшей радости.

«Друг мой, – сказал швед, отводя в сторону Понятовского: – нет ничего ужаснее болонок; когда я влюблялся в какую-нибудь женщину, я первым долгом дарил ей болонку и, благодаря ей, узнавал о существовании более счастливого соперника».

Сергей Салтыков, вернувшись из Швеции, не замедлил узнать, что у него есть преемник, но он не был ревнив; впоследствии Екатерина не могла хвалиться постоянством, но надо признаться, что ее первые любовники подавали ей в этом отношении дурной пример. До появления Понятовского Салтыков имел даже дерзость назначать любовнице свидания, на которые сам не приходил. Однажды Екатерина тщетно прождала его до трех часов ночи.

Таким образом Вильямс заручился могучим средством влиять на великую княгиню. Он, однако, не пренебрег и другими мерами. Он вскоре узнал о все возрастающих материальных затруднениях Екатерины. В этом отношении увещания Елизаветы оказались бесплодными. Несмотря на свою любовь к порядку и даже некоторые буржуазные экономные привычки, Екатерина была всю свою жизнь расточительна. Ее побуждали к этому как ее страсть к роскоши, так и ее взгляды на пользу некоторых расходов, вкоренившиеся в ее уме вследствие корыстных обычаев ее отечества и развившиеся под влиянием опыта, приобретенного ею в новой среде, в которой ей суждено было жить. Вера во всемогущество «на чай» не покидала ее во всю ее жизнь. Вильямс предложил свои услуги, и они были ею приняты. Итог займов, произведенных Екатериной у Вильямса, нам неизвестен. Он, вероятно, был значителен: Вильямс получил *carte blanche* от своего правительства. Две расписки, подписанные великой княгиней на общую сумму в 50.000 р., помечены 21 июля и

11 ноября 1756 г., и заем 21 июля был, очевидно, не первый, так как, испрашивая его, Екатерина писала банкиру Вильямса: «Мне тяжело опять обращаться к вам».

II. Критическое положение Бестужева. – Он старается сблизиться с Екатериной. – Проект установления престолонаследия после Елизаветы. – Смелые предприятия Вильямса, в которых замешана великая княгиня. – Семилетняя война. – Отступление фельдмаршала Апраксина. – Обвинения, предъявленные Екатерине по этому поводу.

Бестужев восторжествовал поочередно над всеми своими врагами; но эти победы, потребовавшие напряжения всех его сил, истощили его. Он старился и чувствовал себя все менее и менее способным бороться с напором честолюбивых замыслов своих соперников, ненасытной злобы и беспрестанно прорывавшейся жажды мести. Елизавета также не прощала ему, что он как бы навязал себя ей. Она начинала обходиться с ним холодно. Она в то же время начинала подвергаться ударам апоплексии, и это давало канцлеру пищу для размышлений. Великий князь, в ближайшем будущем император, производил на него такое же печальное впечатление, как и на Вильямса. Он знал, что ему легко было добиться его фавора, но его усилия ни к чему не повели бы, или, скорей, привели бы его туда, куда Бестужев ни за что не

желал идти. Узкий мозг Петра вмещал лишь одну политическую идею: преклонение перед Фридрихом. Он был с головы до ног пруссаком. Бестужев же оставался и намеревался умереть верным австрийцем. Оставалась, следовательно, одна великая княгиня. С 1754 г. в голове канцлера как будто зреет мысль о вступлении в непосредственное соглашение с ней.

Эта эволюция совершилась быстро.

Вскоре Екатерина заметила значительную и весьма благоприятную для нее перемену в штате, приставленном к ней для наблюдения за ней и прислуживания ее особе. Ее первая камерфрау, Владиславова, нечто вроде цербера женского пола, стала вдруг после разговора с канцлером «кротким ягненком». Вскоре после этого Бестужев помирился с принцессой Цербстской и внезапно предложил себя в посредники для переписки, которую она продолжала вести с дочерью и которая по его же внушению была ей до того строжайше воспрещена. Наконец он решился на героический шаг: через Понятовского передал великой княгине документ существенной важности. На этот раз Бестужев сжигал корабли и рисковал своей головой; но он раскрывал перед печальной супругой Петра новый горизонт, способный ее ослепить и служить искушением для ее нарождающегося честолюбия; он, так сказать, указывал ей путь, по которому ей суждено было впоследствии пойти на завоевание власти: это был проект, устанавливавший престолонаследие. Согласно ему,

тотчас же после смерти Елизаветы надлежало провозгласить императором Петра, но совместно с Екатериной, которой следовало разделить с ним все его права и всю власть. Бестужев, разумеется, не забыл и самого себя. Он, собственно говоря, выговаривал себе всю власть, оставив Екатерине и ее супругу лишь то, что он в качестве подданного не мог от них отнять. Екатерина обнаружила в данном случае очень большой такт. Она не обескуражила автора проекта, но сделала некоторые оговорки. Так, она велела передать ему, что не верит в возможность его осуществления. Может быть, старая лиса Бестужев и сам этому не верил.

Он взял назад проект, переделал его, переработал, внес некоторые поправки и изменения, вновь представил его на обсуждение главного заинтересованного лица, затем снова переделал его и, казалось, был поглощен этой работой. С обеих сторон игра велась тонкая; но лед был сломан, и они не замедлили прийти к соглашению относительно других пунктов.

Итак, Екатерину приглашали с двух сторон выйти из замкнутого состояния, в котором она, против воли, впрочем, до сих пор пребывала. Она этому вовсе не противилась. Все ее природные вкусы и инстинкты толкали ее на эту дорогу. Первое время ее удерживала осторожность, вполне основательная, как мы увидим ниже, и ее первые шаги были нерешительны, но затем она стала все смелее и смелее, и наконец отважилась принять участие в предприятиях, чуть

не приведших ее на край гибели. Следует, однако, сказать, что ни Бестужев, ни Вильямс, согласившиеся эксплуатировать нарождающееся влияние великой княгини, плод их совместных усилий, и оспаривавшие его друг у друга впоследствии, когда события их рассорили между собою, не вложили в свое дело ни скромности, ни сдержанности. Бестужев играл свою последнюю партию и старался увеличивать свою ставку всем, что попадалось ему под руку. Что касается Вильямса, он вдруг обнаружил отчаянную смелость. Обладая очень большим пониманием вещей и некоторой ловкостью, этот англичанин проявил вместе с тем и необычайную силу воображения и порядочное легкомыслие. В его уме обитала химера. Он устраивал события на свой манер, не совпадавший иногда с намерениями судьбы или Провидения. Когда события доказывали его неправоту, он отказывался считать себя побежденным. Это был английский гасконец. Когда в августе 1755 г. он добился возобновления договора, связавшего Россию с Англией, он запел победную песнь. Он обошел Бестужева, победил Елизавету и с помощью Понятовского соблазнил Екатерину. В воображении он уже видел сто тысяч русских солдат, отправляющихся в поход и наводящих страх на врагов его величества короля. Эти враги были, конечно, пруссаки и Франция. Вдруг он узнает о заключении Вестминстерского договора (5 января 1756 г.), включившего Пруссию в число союзников Англии. Фридрих внезапно переменяет фронт. Вильямс ничуть не смутился. Сто

тысяч русских будут воевать с одним врагом, а не с двумя, вот и все. Они победят на берегах Рейна, вместо того, чтобы торжествовать на берегах Шпре. Придется только повести их немного подальше. В ожидании этого события отважный дипломат отдавал себя лично в распоряжение Фридриха II. С 1750 г. у последнего не было представителя в Петербурге. Вильямс предложил свои услуги. Через посредство своего коллеги в Берлине он установил очень деятельную переписку, сообщавшую его прусскому величеству все, что совершалось в России. Однако на известие об англо-прусском договоре Елизавета вдруг отвечает тем, что сперва вовсе отказывается ратифицировать свой собственный договор, а затем добавляет к ратификации его, состоявшейся наконец 26 февраля 1756 г., условие, в силу которого договор был действителен лишь в случае нападения Пруссии на Англию. Вильямс и тут не потерял головы. Среди этого перекрестного огня споров и среди вытекающего из него общего переворота в европейской политике, он остался верным своей программе, заключавшейся в обеспечении содействия русских войск в борьбе против врагов Англии. Его ненависть к Франции и руководила и ослепляла его. Даже Версальский договор (1 мая 1756 г.) не открыл ему глаз. Он не видел или не хотел видеть, что связанная отныне с Австрией Франция становилась для России не врагом, а естественной союзницей в силу новой группировки держав и интересов и товарищем по оружию в ближайших войнах. Именно в данную минуту он

задумал использовать свои связи с молодым двором и влияние, которое он, как полагал, приобрел на поступки и симпатии великой княгини. Забегая вперед по этому пути, он даже уверил Фридриха, что Екатерина имела и возможность и желание остановить русскую армию, даже если по повелению Елизаветы она выступит в поход, и по меньшей мере предписать ей бездействие. Фридрих в этом разубедился, когда уже было слишком поздно: Апраксин взял Мемель и нанес кровавое поражение прусской армии (под Гросс-Егерсдорфом в августе 1757 г.). Но заблуждение это тянулось два года, в течение которых Вильямс, называя все время Екатерину «своим дорогим другом», по своему усмотрению заставлял ее (он был в этом уверен) менять симпатии, за или против прусского короля, хвастался тем, что выслушивал от нее советы, равносильные выдаче государственных тайн, и в общем надевал на великую княгиню маску простого шпиона в пользу державы, с которой Россия находилась в войне!

Трудно безошибочно установить, какова была в действительности роль Екатерины в эту эпоху, одну из самых тревожных в ее жизни. Несомненно, Вильямс обманывал Фридриха и сам заблуждался. Немецкие историки обвиняют английский кабинет в том, что он исправлял депеши самонадежного посла, которые сообщались берлинскому правительству. Однажды Вильямс дошел до того в своих политических галлюцинациях, что сочинил целиком один поступок Екатерины, никогда ею не совершенный, и письмо, ею не написан-

ное. Несомненно, однако, что, благодаря предупредительности Вильямса и ухаживанию Понятовского, великая княгиня не могла оставаться вполне безучастной к этому страшному кризису или даже равнодушной к английским интересам. Расписки, которые банкир Вольф продолжал получать по приказанию английского посла, также не были лишены красноречия. Но, с другой стороны, подходы Бестужева тоже были достойны внимания Екатерины; а канцлер, которого Фридриху не удалось подкупить, настаивал на лояльном исполнении союзного договора с Австрией. Все это, вероятно, побудило политическую ученицу Монтескье и Брантома совершить многие опасные и, может быть, противоречивые поступки.

Между тем Понятовский становился весьма беспокойным, так что вскоре союзные кабинеты Вены и Версаля стали считать его самым лютым своим врагом в Петербурге и человеком, от которого надлежало избавиться во что бы то ни стало. Вследствие неофициального его положения это казалось делом легким. Они к нему, приступили очень усердно, но натолкнулись на неожиданное препятствие: они упустили из виду любовь. Самого Вильямса легче было столкнуть с поста, на котором он, казалось, больше служил Пруссии, чем Англии. В октябре 1757 г. ему пришлось уехать. Понятовский остался. Но таким образом Екатерина принуждена была открыться вся и целиком отдаться политике, доступ к которой ей был так строго воспрещен.

Добавим, что ее дебют не обещал ничего хорошего. С первых же пор она явно злоупотребила недавно приобретенным влиянием, пользуясь им для личной, тайной выгоды, диаметрально противоположной в некоторых отношениях интересам ее нового отечества, как они понимались теми, кто стоял на страже их. Она была увлечена в политику любовью; любовь последовала за ней на эту арену и держала ее на ней. Этот эпизод ее жизни имеет такое решающее значение, что мы не можем не остановиться на нем.

III. Политическая роль Понятовского. – Он успешно ведет дела своих дядей и портит дела своего короля. – Сближение между ним и представителем Франции. – Различие во взглядах между представителями французской политики в Петербурге и Варшаве. – Маркиз Лопиталь и граф Брольи. – Двойственность французской политики. – Официальная и тайная дипломатия. – Общая непоследовательность. – Намерение защитить поляков от русских, вступив в союз с Россией. – Официальная и тайная дипломатия работают над удалением Понятовского. – Последствия поражения при Росбахе. – Понятовский остается в Петербурге. – Его приключение в Ораниенбауме. – Его отъезд. – Раздражение Екатерины против Франции. – Что вытекает из связи будущей императрицы с будущим королем.

Понятовский понравился Екатерине, потому что он говорил языком Вольтера и героев м-м де-Скюдери. Он приобрел расположение великого князя, насмехаясь над польским королем и его министром, воздавая таким образом косвенно почтение Фридриху. Он не одержал других побед в Петербурге. Елизавета смотрела на него косо и готова была уступить настояниям саксонского двора, требовавшего его удаления. Спрашивалось: на каком основании, не будучи ни англичанином, ни дипломатом, он входил в состав английского посольства? Почему, собственно, не имея никакого положения, он вздумал играть какую-то роль? Аргументы эти не были вескими. В то время все европейские дворы кишели еще более загадочными личностями и дипломатическими агентами, обладавшими еще меньшими полномочиями. Петербургский двор не составлял исключения из общего правила. К нему только что прибыл д'Эон. Понятовскому пришлось, однако, немедленно исчезнуть. Екатерина отпустила его, будучи уверена, что он вернется. Действительно, через три месяца он возвратился, снабженный официальным званием министра короля польского. Это было дело рук Бестужева, желавшего во что бы то ни стало быть приятным Екатерине.

Чувствуя отныне под собою твердую почву, поляк не замедлил воспользоваться этим, чтобы снова начать свою лихорадочную деятельность, обделывая дела своих дядей Чарторыйских, во вред королю польскому, и дела своего дру-

га Вильямса, в пользу прусского короля. Часто Екатерина, поддерживая его хлопоты, делала приписки в его письмах к Бестужеву. Когда ее вмешательство не сказывалось явно, оно подразумевалось, что сводилось к одному и тому же. Вскоре снова раздался хор жалоб со стороны французского и австрийского послов. Одно время Дуглас подметил было возможность войти в соглашение с молодым двором, а, следовательно, и с Понятовским. После некоторого колебания и нерешительности маркиз Лопиталь также склонился к этому мнению и перестал противиться пребыванию польского дипломата в северной столице. Но в то же время возникло крупное разногласие между носителями французской политики в Петербурге и представителем ее в Варшаве, графом де-Брольи. Последний настоятельно требовал отозвания Понятовского. Увы! французская политика и ее влияние на Востоке рушились таким образом в непримиримом конфликте противоположных идей и принципов!

В сентябре 1757 г. Дуглас отправился в Варшаву и в целом ряде бесед с графом Брольи принялся убеждать его в необходимости радикальной перемены фронта относительно защиты французских интересов в Восточной Европе. Согласно его мнению, вследствие Версальского договора, обусловившего вступление Франции в систему союзников, к которой принадлежали Россия и Австрия, Франция должна была разорвать старые связи с Портой и Польшей. Приобретение могущественной дружбы в Петербурге вознаградило бы за

потерю влияния в Варшаве и Константинополе. Таким образом задача была поставлена ребром, и только подобное отношение к ней могло бы дать возможность Дугласу и маркизу Лопиталю обезоружить враждебность молодого двора и заручиться содействием Понятовского. Как только Брольи выскажется за открытое и полное согласие с Россией, племянник Чарторыйских, занятый поддержанием в Петербурге русофильской программы своих дядей, превратится в его естественного союзника.

Но граф де-Брольи вовсе не разделял подобных воззрений. Что же касается лиц, которым надлежало указать ему направление, какого ему следовало держаться, они просто не имели на этот счет никакого определенного мнения. Люди, ведавшие во Франции внешними сношениями, – мы подразумеваем не только анонимных руководителей сокровенной политики Людовика XV, держателей «королевского секрета», но и официальных министров, – Рулье, аббат Берни или Шуазель, думали согласовать самые непримиримые понятия: перемену системы с непоколебимостью принципов, поддержку русских войск против общего врага с сохранением старинной близости с Турцией, Польшей и Швецией, авансы случайному будущему с верностью прошлому. Если и было различие во взглядах в этом отношении между двумя правящими властями, между министерским, как тогда говорили, кабинетом и таинственной канцелярией, где вырабатывались нередко противоречивые депеши, то оно касалось

лишь вопроса о мерах, которые надлежало принять. С одной стороны, на Россию упорно продолжали смотреть, как на варварскую страну, с которой невысказанно было какое-либо соглашение и которую следовало откинуть назад в Азию, а с другой стороны, проявлялась склонность рассматривать страшную империю, созданную Петром Великим, как союзницу, не очень желанную, но во всяком случае возможную и, может быть, необходимую в более или менее отдаленном будущем, и как державу, с которой приходилось считаться и которой надлежало сделать некоторые уступки даже на берегах Вислы. Но обе стороны согласны были ограничить эти уступки. Прошло более ста лет прежде, чем целый ряд жестоких разочарований, бесплодных усилий, несчастий, разделенных, увы! этими несчастными клиентами, которыми не хотели пожертвовать и которыми все же жертвовали, не выяснили наконец главный основной порок подобной концепции вещей и подобной программы. Франция упорствовала в необыкновенном решении защищать поляков, турок и шведов против России, вступая в союз с тою же Россией. Что касается графа де-Брольи, он, вследствие долгого пребывания в Польше, стал смешивать интересы Франции даже не с интересами Польши, а эта партия боролась именно с русским влиянием и с могущественной «фамилией» Чарторыйских, стремившейся к тому, чтобы это влияние восторжествовало, а вместе с ним – и сама фамилия.

В результате королевский посол в Варшаве получил в ок-

тябре одновременно и официальное и секретное приказание настаивать на отзывании Понятовского; он деятельно принялся за это дело. В ноябре все было готово. Брюль уступил. «Удар направлен, – писал маркиз Лопиталь аббату Берни, – надо его поддержать». Но он к тому же добавлял, что все произошло слишком быстро и внезапно. «Это повлечет за собой, – говорит он, – сильное неудовольствие канцлера Бестужева и злобу великого князя и великой княгини... Не могу не выразить вам, что, по моему мнению, граф де-Брольи вложил во все это дело слишком много горячности и страстности. Он считал долгом чести по отношению к своей партии (sic) сделать эту неприятность Понятовским и Чарторыйским. Это было, наконец, его *impregno*...». Вообще Лопиталь находит, что граф Брольи, «привыкший властвовать», обращался слишком надменно со своим коллегой и поступал с ним скорей как министр иностранных дел, а не как посол. Этот властный дипломат позволял себе также неуместные, по мнению его коллеги, шутки. Он писал д'Эону: «Вы, может быть, несколько удивитесь отзыванию г. Понятовского; пришлите его нам поскорее; мне очень хочется его увидеть, чтобы поздравить его с успехом его переговоров».

Однако Понятовский не уехал. Он сказался больным и таким образом с недели на неделю, с месяца на месяц откладывал свою прощальную аудиенцию. Тем временем случилось событие, коренным образом изменившее положение дел и позиции соперников на европейском поле сражения. Фран-

ция, которая накануне его могла говорить если не властно, то по крайней мере имея право быть почтительно выслушанной как в Петербурге, так и в Варшаве, принуждена была понизить тон. Это событие называется Росбахом (5 ноября 1757 г). Версальскому кабинету нечего было и думать навязывать свои желания. Великая княгиня решительнее дала почувствовать свою волю канцлеру Бестужеву. Тот сослался на приказание первого министра польского короля, настаивавшего на отзывании Понятовского. «Первый министр короля польского согласен будет лишиться себя хлеба, чтобы сделать вам приятное», резко отвечала она. Когда Бестужев попытался выставить необходимость беречь собственное положение, она ответила без запинки: «Никто вас не тронет, если вы будете делать то, что я хочу». По-видимому, вместе с высоким мнением о перевесе России, приобретенном ценою унижения Франции, будущая императрица имела не менее высокое понятие о собственном своем значении. Это было также следствием сражения при Росбахе.

События оправдали эти обе оценки. Брюль, саксонский министр, действительно, лишил себя хлеба, чтобы сделать приятное всероссийскому канцлеру: Понятовскому было приказано остаться на своем посту, и все пошло по-старому. Только маркиз Лопиталь раз навсегда отказался от своих попыток согласоваться с положением вещей, над которыми он не имел больше никакой власти. Он не попробовал больше плыть против течения и лишь «смотрел, как течет вода». Он

даже не старался поддерживать сношения с молодым дворяном, представлявшимся ему «очень бурным маленьким морем», полным подводных камней.

Спустя шесть месяцев Понятовский сам доставил графу де-Брольи удовлетворение, получить которое тот уже отчаялся. После всего того, что было совершено Понятовским, ему было довольно трудно сделать свое пребывание в Петербурге невозможным, однако он и этого добился. Событие это было рассказано различным образом: мы придерживаемся версии главного героя, которая, впрочем, подтверждается и свидетельством маркиза Лопиталья.

Великий князь не сказал еще своего слова по поводу пребывания польского дипломата в России. Он был в то время поглощен новой страстью: Елизавета Воронцова, последняя его любовница, только что выступила на сцену. Вмешательство с его стороны являлось возможной, хотя и не совсем правдоподобной случайностью. Оно произошло в июле 1758 г. Выходя рано утром из ораниенбаумского дворца, Понятовский был арестован пикетом кавалерии, который Петр держал вокруг своей резиденции, точно в военное время. Понятовский был переодет. Его без церемонии арестовали и привели к великому князю. Петр настаивал на том, чтобы ему сказали всю правду – она сама по себе, по-видимому, его не беспокоила. Он уверял, что «все может устроиться», если ему скажут, в чем дело. Молчание арестованного вывело его из себя. Он заключил из негр, что этот ночной посетитель

имел злокозненные намерения против него самого, и вообразил или притворился, что жизнь его была в опасности. Не обнаружь присутствия духа один соотечественник, недавно приехавший в Петербург в свите принца Карла Саксонского, Понятовский дорого поплатился бы за свою неосторожность. Но великий князь все же в течение нескольких дней поговаривал о том, чтобы наказать иностранца, пытавшегося обмануть бдительность его аванпостов. Екатерина испугалась и решила принести большую жертву: она оказала Елизавете Воронцовой любезность, о которой та никогда и не смела мечтать. Понятовский со своей стороны стал заискивать у фаворитки.

– Вам так легко было бы сделать всех счастливыми, – шепнул он ей на ухо во время приема при дворе.

Елизавета Воронцова не заставила себя просить. В тот же день, переговорив предварительно с великим князем, она впустила Понятовского в комнату великого князя.

– Не безумец ли ты, – воскликнул Петр, увидев его: – что ты до сих пор не доверился мне!

Он смеясь объяснил, что и не думает ревновать; меры предусмотрительности, принимаемые вокруг ораниенбаумского дворца, были лишь в видах обеспечения безопасности его особы. Тут Понятовский вспомнил, что он дипломат, и стал рассыпаться в комплиментах по адресу военных диспозиций его высочества, искусство которых он испытал на своей же шкуре. Хорошее настроение великого князя усили-

лось.

– А теперь, – сказал он, – если мы друзья, здесь не хватает еще кого-то.

«С этими словами, – рассказывает Понятовский (мы приводим дословно соответствующий отрывок из его „Записок“), – он идет в комнату своей жены, вытаскивает ее из постели, не дает ей времени одеть чулки и ботинки, позволяет только накинуть капот (*robe de Batavia*), без юбки, в этом виде приводит ее к нам и говорит ей, указывая на меня: „Вот он; надеюсь, что теперь мною довольны“.

Друзья весело поужинали и расстались только в четыре часа утра; по просьбе заинтересованных лиц, Елизавета Воронцова была настолько любезна, что взяла на себя труд лично убедить Бестужева в том, что присутствие Понятовского в Петербурге перестало быть неприятным великому князю. Пирушка возобновилась на следующий день, и в течение нескольких недель это изумительное супружество вчетвером было бесконечно счастливо.

«Я часто бывал в Ораниенбауме, – пишет дальше Понятовский: – я приезжал вечером, поднимался по потайной лестнице, ведущей в комнату великой княгини; там были великий князь и его любовница; мы ужинали вместе, затем великий князь уводил свою любовницу и говорил нам: „Теперь, дети мои, я вам больше не нужен“. – Я оставался, сколько хотел».

Однако слухи об этом распространились при дворе и,

несмотря на то, что на подобные проделки смотрели весьма снисходительно, это происшествие все же произвело скандал. Маркиз Лопиталь почел своим долгом воспользоваться им, дабы возобновить свои настояния насчет удаления беспокойного поляка. На этот раз он победил. Понятовскому пришлось уехать. Елизавета поняла, что на карту была поставлена репутация и честь ее племянника и наследника. Два года спустя, барону де-Бретейлю было поручено изгладить из ума Екатерины неприятное впечатление, произведенное на нее этой тягостной развязкой. Ему удалось это лишь наполовину. Следует, однако, пояснить, что так как он был одновременно официальным представителем французской политики и секретным агентом тайной политики, ему приходилось играть двойственную роль и, уверяя великую княгиню, что «его наихристианнейшее величество не только не станет противиться возвращению графа Понятовского в Петербург, но даже расположен содействовать всеми мерами тому, чтобы „склонить короля польского снова поручить ему свои дела“, он вместе с тем был принужден, „не оскорбляя открыто чувств великой княгини, избегать склониться на ее желание“.

Сумасбродная двойственность, которой предавался в то время французской король, ярко сказалась в этой комедии. Екатерина не поддавалась обману. Добившись не без труда частной беседы с великой княгиней, Бретейль услышал из ее уст несколько льстивых слов. «Меня воспитывали в любви

к французам, – сказала она, – и я долгое время предпочитала их другим нациям; вы своими услугами должны вернуть мне это чувство». – «Я бы хотел, – пишет барон после этого свидания, – передать искусство, страстность и смелость, вложенные великой княгиней в этот разговор». Но он меланхолически добавляет: «Все это не имеет и, может быть, не будет иметь другого значения, кроме проявления ее страсти, наткнувшейся на препятствие».

Он был прав. Понятовский вернулся в Петербург лишь тридцать пять лет спустя, уже лишившимся престола королем. Вскоре, поглощенная другими заботами, отвлеченная другими любовными приключениями, Екатерина сама потеряла интерес к хлопотам на этот счет, предпринятым другими лицами. Но злопамятное чувство все еще гнездилось в ее сердце, тем более, что, хотя она и отказалась увидеть снова своего поляка, она все же не перестала о нем думать. Постоянство, иногда довольно своеобразное, входило в состав ее характера. Так как она соединяла любовь с политикой, то ей пришлось отныне вести сразу как свои сердечные, так и другие дела. Иногда – не всегда, впрочем, – она умела проявлять последовательность и постоянство. Таким образом, часто меняя любовников, ей случалось любить некоторых из них и за пределами временного увлечения сердца или чувственности. Она их любила тогда иначе, более спокойно, но и более решительно, безмятежно, невозмутимо, как выразился впоследствии князь де-Линь. Безусловно про-

глядывает дерзость и даже некоторый цинизм в рескрипте, данном ею в 1763 г. своему послу в Варшаве, в том, в котором, приказывая ему поддерживать кандидатуру Понятовского, она говорит, что «он во время своего пребывания в Петербурге оказал своей родине больше услуг, чем кто-либо из министров республики». Меры, принятые ею в то же время для уплаты всех долгов этого странного кандидата, свидетельствуют о ее нежности в соединении с мудрой предусмотрительностью. В 1764 г. предположение о браке ее с избранником польского народа и о слиянии вследствие этого обеих держав показалось всем столь вероятным, что Екатерине пришлось прибегнуть к искусным мерам, чтобы успокоить взволновавшихся было соседей. Она написала Обрезкову, своему послу в Константинополе, чтобы он сообщил Порте придуманную ею новость о переговорах, начатых Понятовским, задумавшим вступить в брак с представительницей одной из знатнейших польских фамилий. И сердце ее становится настолько равнодушным к роману, затянувшемуся таким образом, несмотря на расстояние времени и места, что она одновременно приказывает своим представителям в Варшаве, графу Кейзерлингу и князю Репнину, устроить так, чтобы тотчас же по своему избранию Понятовский женился на польке или по меньшей мере выразил бы намерение это сделать. Все это было сделано для того, чтобы умерить беспокойство Порты, может быть, также с целью воздвигнуть непреодолимое препятствие между прошлым и настоящим.

Увы! Близкое будущее избавило ее от этой заботы, вырыв на месте желанного препятствия бездонную пропасть. Вот что Понятовский, став королем польским, писал два года спустя своему представителю при петербургском дворе, графу Ржевскому:

«Последние приказания, данные Репнину, ввести диссидентов даже в законодательные учреждения как громом поразили как меня лично, так и страну. Если есть еще возможность, убедите императрицу в том, что корона, которую она мне доставила, станет для меня хитом Несса. Она меня сожжет и смерть моя будет ужасна...»

Прежний любовник превратился в то время для Екатерины лишь в исполнителя ее властных желаний в почти завоеванной стране. Она ответила собственноручным письмом, в котором просила этого импровизированного короля, хрупкое создание ее рук, позволить Репнину делать свое дело, а то «императрице придется лишь вечно сожалеть о том, что она могла ошибиться в дружбе короля, в его образе мыслей и в его чувствах». Когда Понятовский стал настаивать, она послала ему последнее и грозное предостережение, где уже предчувствовались крепкие тиски Сальдернов, Древичей и Суворовых, задушивших последние национальные протесты:

«Мне остается лишь предоставить это дело своей участи... Я закрываю глаза на последствия его; я, однако, польщена тем, что ваше величество достаточно распознали

бескорыстие всего, что я сделала для вашего величества и для вашего народа, чтобы не упрекнули меня в том, что я искала в Польше случая применить силу своего оружия... Оно никогда не будет направлено против тех...» – тут перо императрицы остановилось; она написала было: «кого я люблю», затем перечеркнула эти слова и написала: «против тех, кому я желаю добра»; она закончила фразой, в которой сказалась вся ее мысль, раскатившаяся, как барабанный бой перед залпом: «как я и не буду удерживать его, когда найду, что применение его будет полезно».

Мы только лишь мельком вернемся потом к этой связи, богатой столь странными и трагическими эпизодами. В жизни Екатерины она заняла меньше места, чем в жизни несчастного народа, которому суждено было играть роль искупительной жертвы. Riskнув своей репутацией, – потому что она не боялась уже скомпрометировать ее, – и своим влиянием, которое она сумела сохранить в неприкосновенности, Екатерина в конце концов извлекла из нее огромные выгоды. Можно было бы сказать, что Польша умерла вследствие нее, если бы народы не имели более глубоких причин для своей жизни или смерти. Нам следует теперь вернуться к той эпохе, когда протекали и кончались счастливые дни этого любовного романа, и к тому странному домашнему очагу, походившему на тюрьму, на кордегардию и на веселый дом, укрывавшему – довольно нескромно – эту тайну.

IV. Внутренняя жизнь молодого двора. – Екатерина эмансипируется. – Madame la Ressource. – Характеристика великой княгини, сделанная д'Эоном. – Общее растление нравов. – Театральное представление при дворе Елизаветы. – Ночные отлучки Екатерины. – Что скрывают ширмы в спальне. – «Судно». – Роль фрейлин. – Поведение Петра. – Екатерина решает идти по «независимому пути».

Связанная политически с Вильямсом и Бестужевым, любовно и политически с Понятовским, Екатерина не представляет уж собою прежней затворницы, состоявшей под надзором придворных чинов, терроризованной Елизаветой и подвергавшейся дурному обращению со стороны мужа. Агенты канцлера были поочередно укрощены ею, и сам он подвергся той же участи. Петр остается все тем же грубым, эксцентричным и несносным существом, «странным и тронутым сумасшествием животным», как называет его Сент-Бёв. Иногда он внушает и отвращение к себе. Нередко он ложится в кровать совершенно пьяный и икая рассказывает своей жене о своей любви к горбатой герцогине Курляндской и к рябой фрейлине Воронцовой. Екатерина притворяется спящей, он награждает ее пинками и ударами кулаков, чтобы не давать ей заснуть, пока наконец сон не одолевает его самого. Он почти всегда пьян и все больше и больше безумствует. В 1758 г. Екатерина рождает дочь, царевну Ан-

ну, отцом которой считали Понятовского. В то время, как она мучается в предродовых схватках, Петр, предупрежденный о приближении родов, является «в голштинском мундире, в ботфортах и при шпорах и с огромной шпагой сбоку». На вопрос Екатерины, что означает этот наряд, он отвечает, что «настоящих друзей можно распознать лишь в минуту нужды; что в этом наряде он готов исполнить свой долг; что долг голштинского офицера защищать согласно присяге герцогский дом против всех его врагов, вследствие чего он и прибежал на помощь к жене, предполагая, что она одна». Он едва держится на ногах. Однако, у него иногда являются и более приятные для Екатерины припадки хорошего расположения духа и любезности, из которых Екатерина извлекает пользу. Он отчасти поддался если не очарованию великой княгини, подобно другим, то влиянию ее характера и ума. Ему нередко приходилось убеждаться в мудрости ее советов и правильности ее взглядов. Он привык прибегать к ней во всех своих затруднениях, и мало-помалу в его затемненном мозгу крепнет представление о ее превосходстве, которое ему суждено было так жестоко испытать на себе. В роковую минуту именно эта мысль, засевшая в нем, парализовала его и сделала его неспособным к самозащите.

«Великий князь, – пишет Екатерина, – давно уже называл меня *madam la Ressource*, и как бы он ни был сердит на меня, он в затруднительных случаях со всех ног прибегал ко мне, чтобы просить моего совета, и, получив его, так же со всех

ног убегал».

Елизавета же, истощенная неправильной жизнью, преследуемая страхом, заставлявшим ее спать каждый день в другой комнате, – страхом, вследствие которого во всей империи искали человека, обладавшего достаточною способностью сопротивления сну, чтобы сидеть около ее постели и ни на минуту не вздремнуть, – Елизавета стала лишь тенью самой себя.

«Императрица, – доносит маркиз Лопиталь 6 января 1759 г., – стала жертвой странного суеверия. Она целыми часами стоит перед одной иконой, которую особенно чтит; она с ней разговаривает, советуется; она приезжает в оперу в одиннадцать часов, ужинает в час и ложится спать в пять часов. Теперь в фаворе граф Шувалов. Его семья осаждает императрицу, а дела идут, как им Бог на душу положит».

Новый фаворит, Иван Шувалов, не опасаясь навлечь на себя ревность и гнев императрицы, начинает у нее на глазах усиленно ухаживать за великой княгиней, что уже начинает привлекать общее внимание. «Он не прочь был бы, – уверяет барон де-Бретейль, – совмещать две обязанности, как бы это ни было опасно». С 1757 г. маркиз Лопиталь приходит в ужас от того, что молодой двор (а молодой двор – это Екатерина) «открыто поднимает забрало перед императрицей, образует партию, ведет интригу...» «Говорят, – пишет он, – что императрица перестала на это сердиться и распустила вожжи». В то же время в разговоре, в котором принимают

участие все иностранные министры, великая княгиня, говоря с французским послом о своем пристрастии к верховой езде, восклицает: «Я самая смелая женщина в мире; я обладаю безумной отвагой».

Она зачаровывает все более и более обширный круг людей, которые становятся рабами ее воли, ее честолюбия, ее страстей наконец, разгоравшихся с каждым днем. Она отныне оставляет за собой свободу действий не только в области политики; если, с одной стороны, молодой двор напоминает бурное море, по выражению маркиза Лопиталья, с другой стороны, барон де-Бретейль находит в нем сходство с окрестностями знаменитого Parc aux Cerfs. Впрочем, последние годы царствования Елизаветы отличаются общей распущенностью нравов.

В марте 1755 г. саксонский резидент Функе описывает представление в императорском театре оперы «Кефаль и Прокрида». На представлении присутствуют императрица, великий князь и весь двор, – а на сцене изображен именно двор с его распущенными нравами в целом ряде картин такого отталкивающего реализма, что честный Функе считает своим долгом опустить завесу на весь этот разврат. К тому же году относится и эпизод, занесенный Екатериной в свои «Записки», открывающий собою новую главу в ее интимной жизни – период ночных отлучек, сводящих на нет подобие надзора, учрежденного за нею. В течение зимы Лев Нарышкин, верный своему шутовскому вдохновению, при-

думал мяукать как кошка у двери великой княгини, чтобы известить о своем присутствии и испросить разрешения войти. Однажды вечером он издает знакомый звук в ту минуту, как Екатерина собирается ложиться спать. Она его впускает, и он предлагает ей посетить жену своего старшего брата, Анну Никитичну, которая больна. – Когда? – Сейчас, ночью. – Вы с ума сошли? – Ничуть, это очень легко. – Затем он излагает ей свой план и придуманные им меры предосторожности: следует пройти через апартаменты великого князя, который ничего не заметит, так как ужинает с несколькими любезными кавалерами и дамами, и, может быть, даже уже лежит под столом. Он убеждает Екатерину, что опасности нет никакой, и та соглашается. Она дает Владиславовой раздеть себя и уложить спать и вместе с тем приказывает одному калмыку, приученному ею к слепому повиновению, приготовить ей мужской костюм. По уходу Владиславовой она встает и уходит с Нарышкиным. К Анне Никитичне приходят беспрепятственно, она оказывается здоровой и находится в веселой компании. Время проходит очень весело, и участники пирушки дают обещание повторить ее и приводят, конечно, в исполнение свое намерение. Понятовский тоже участвует в общем веселье. Иногда возвращаются пешком по угрюмым петербургским улицам. Когда устанавливается суровая зима, вся компания придумывает способ возобновить удовольствие, не подвергая великую княгиню риску простудиться в холодные ночи и переселяется к ней, в ее

спальню, проходя по-прежнему через апартаменты великого князя, не ставшего более прозорливым.

После вторых своих родов Екатерине недостаточно ночей, она устраивается так, что принимает и днем, когда кого и как она хочет. Если читатель помнит, ей пришлось страдать от холода во время своей первой беременности; под этим предлогом она сооружает около своей кровати, посредством целой системы ширм, нечто вроде кабинета, где как она уверяет, она защищена от сквозняков. Когда в ее спальню входят люди, не посвященные в эту тайну, и спрашивают, что скрывают ширмы, она отвечает: «Это судно». Между тем Екатерина нередко принимает там избранных гостей вроде Нарышкина и Понятовского. Последний приходит в огромном белокуром парике, делающем его неузнаваемым, и если его останавливают и спрашивают: «кто идет», он отвечает: «музыкант великого князя». «Кабинет», плод изобретательного ума Екатерины, так остроумно устроен, что она может, не вставая с постели, сообщаться с теми, кто в нем сидит, и скрыть их от всех взоров, задернув одну занавеску кровати. Таким образом, имея подле себя за этим занавесом обоих Нарышкиных, Понятовского, Сенявина, Измайлова и других, она имела возможность принять графа Петра Шувалова, пришедшего к ней от имени императрицы и ушедшего в уверенности, что великая княгиня одна. По уходу Шувалова Екатерина объявляет, что страшно голодна, и, приказав принести шесть блюд, угощает ими своих друзей. Затем снова

задергивает занавеску и, позвав лакеев, чтобы унесли пустые блюда, наслаждается их изумлением перед ее необыкновенным аппетитом.

Без сомнения ее фрейлины знают про эти проделки. Но они этим не смущаются, так как и у них нет недостатка ни в дневных, ни в ночных посетителях. Чтобы проникнуть в их апартаменты, надо пройти через квартиру мадам Шмидт, их надзирательницы, или принцессы Курляндской, их начальницы.

Но мадам Шмидт большею частью больна по ночам желудком, который расстраивает себе обильной пищей днем. Что же касается принцессы Курляндской, то достаточно было быть красивым и заплатить попутно ей дань. Мы уже знаем, как дела обстояли с великим князем. Впрочем, узнав о второй беременности своей жены, Петр как будто сердится. Насколько он помнит, он к ней непричастен. «Бог знает, откуда она их берет! – бормочет он за обедом. – Я не знаю хорошенько, мой ли этот ребенок, и должен ли я его принять на свой счет». Лев Нарышкин, слышавший эти слова, спешит передать их Екатерине. Она ничуть не пугается. «Какие вы дети, – говорит она, пожимая плечами. – Идите к нему, говорите громко и потребуйте от него тотчас же клятвенного заверения, что он не спал с женой вот уже четыре месяца. Затем объявите, что вы идете сейчас же к графу Александру Шувалову, великому инквизитору империи». Она называла так начальника «тайной канцелярии», замененной потом

знаменитым «третьим отделением». Лев Нарышкин в точности исполняет поручение. «Убирайтесь к черту!» объявляет ему великий князь, совесть которого нечиста.

Несмотря на обнаруженную ею самоуверенность, инцидент этот все же беспокоит Екатерину. Она усматривает в нем предупреждение и как бы начало неприязненных действий в той решающей борьбе, к которой она готовилась с некоторых пор под влиянием вожделий власти и наслаждений, волной поднимающихся в ее груди. Но она принимает вызов. Вероятно, в это время, если верить ее словам, она и решается «идти по независимому пути»; можно себе представить, какое значение принимают в ее уме эти столь простые слова. Свержение с престола Петра II и его агония в мрачном дворце в Ропше стоят в конце избранного ею пути. Но в это же самое время разыгрывается также кризис, поставивший ее в несколько часов и на несколько месяцев лицом к лицу с бездной и с возможностью разрушения всех ее надежд и всех ее честолюбивых замыслов.

V. Дни кризиса. – Арест Бестужева. – Великая княгиня скомпрометирована. – Екатерина выдерживает бурю. – Свидание с Елизаветой. – Ссора супругов в присутствии императрицы. – Победа Екатерины. – Предвестие новой и окончательной борьбы.

26 февраля (15 по русскому стилю) 1758 г. канцлер Бестужев был арестован. В то же время фельдмаршал Апраксин, командовавший армией, посланной в Пруссию против Фридриха, смещен с должности и отдан под суд. Эти два события казались в глазах публики имевшими связь между собой. События, ознаменовавшие собою кампанию, известны. Взятие Мемеля и победа под Гросс-Эгерсдорфом, одержанная Апраксиным в августе 1757 г., преисполнили радости союзников России и возбудили в них величайшие надежды. Они в воображении уже видели Фридриха растерянным, просящим помилования. Однако вместо того, чтобы идти вперед и воспользоваться своими преимуществами, победоносная армия внезапно оставила свои позиции и отступила с такой поспешностью, что казалось, будто роли переменялись и войска прусского короля вместо испытанного кровавого поражения одержали еще раз победу. Громкие негодующие клики раздались в стане противников Фридриха. Очевидно, Апраксин изменил. Но зачем? Почему? Все знали его за лучшего друга Бестужева. Узналось также, что великая княгиня писала ему несколько раз через посредство и по просьбе канцлера. Этого было достаточно. Без сомнения, фельдмаршал привел в исполнение план, придуманный старыми или новыми друзьями Пруссии и Англии. Бестужев, подкупленный Фридрихом, увлек великую княгиню, склонную следовать его указаниям вследствие ее связей с Вильямсом и Понятовским, и они вдвоем убедили победоносного генерала пожертвовать

своей славой, интересами общего дела и честью своего знамени. В особенности во Франции все были в этом убеждены. Графу Стенвиллю, послу французского короля в Вене, поручено было предложить австрийскому правительству ходатайствовать сообща у Елизаветы об удалении Бестужева. Кауниц, однако, попросил времени на размышление и в конце концов отклонил предложение, так как получил из Петербурга известия, обелявшие Екатерину и Бестужева. Представитель венского двора в Петербурге, Эстергази, не считал их виновными, и один только маркиз Лопиталь формулировал и поддерживал до конца это обвинение. Во время следствия над канцлером он все еще писал:

«Первый министр нашел средство соблазнить великого князя и великую княгиню настолько, чтобы они убедили генерала Апраксина не действовать так быстро, как то приказывала императрица. Эти интриги велись на глазах императрицы; но так как ее здоровье было тогда очень плохо, она только о нем и думала, между тем как весь двор поддавался желаниям великого князя и в особенности великой княгини, вовлеченной в дело ловкостью Вильямса и английскими деньгами, которые этот посол передавал ей через посредство Бернарди, своего ювелира... признавшегося во всем. Великая княгиня имела неосторожность, чтобы не сказать смелость, написать генералу Апраксину письмо, в котором освобождала его от данной ей клятвы удерживать армию и разрешала ему привести ее в действие. Г. Бестужев показал

однажды письмо в оригинале г. Бюкову, уполномоченному императрицы-королевы, приехавшему в Петербург с целью поторопить операции русской армии; тогда тот почел своим долгом доложить об этом графу Воронцову, камергеру Шувалову и графу Эстергази. Это был первый шаг, повлекший за собой падение г. Бестужева».

В настоящее время почти достоверно известно, что если поведение Екатерины и канцлера было довольно двусмысленно в этом деле, они оба все же были ни при чем в отступлении армии, находившейся под командой фельдмаршала Апраксина. Екатерина сама постаралась обелить себя и своего предполагаемого сообщника от всяких подозрений касательно этого дела, и она сделала это в такую эпоху, когда признание не было бы для ней слишком тяжело. Движения, предписанные русской армии после победы под Гросс-Эгерсдорфом, исходили от трех военных советов, собравшихся 27 августа и 13 и 28 сентября. Генерал Фермор, преемник Апраксина, принимал участие в этих советах и стоял за отступление. Армия умирала с голоду, и Апраксин предвидел, что иначе и быть не могло. Сторонники союза с Австрией требовали движения вперед, не подумав о снабжении армии продовольствием. Лица, окружавшие Елизавету, также кричали: «В Берлин! В Берлин!» Таким образом, фельдмаршалом пожертвовали в угоду австро-французской партии. Что же касается Бестужева, падение его было решено давно, и опала Апраксина послужила лишь поводом к его ускорению.

Враги канцлера проведали о проекте, составленном канцлером о привлечении Екатерины к участию в управлении империей. Они внушили Елизавете, что в бумагах Бестужева найдутся документы, касающиеся безопасности ее короны. Это склонило ее на окончательное решение.

Можно себе представить ужас Екатерины, когда она узнала о происшедшем.

Не объявят ли ее сообщницей павшего министра, находящегося лицом к лицу с обвинением в государственной измене? Ее письма к Апраксину ничего не значили. Но знаменитый проект, сообщенный ей! Чем грозил он ей? Тюрьмой, может быть, пыткой, а впоследствии страшной опалой? Монастырь? Возвращение в Германию? Кто знает, может быть, даже Сибирь? Дрожь пробежала по ее телу. Вот, значит, чем кончаются ее мечты и надежды!

Однако она быстро взяла себя в руки. В эту трагическую минуту мы видим ее взлетевшей одним великолепным, смелым прыжком на высоту своей будущей судьбы, мужественной и решительной, спокойной и находчивой, такую, словом, какую покажет ее близкое будущее, когда, подчинив себе судьбу и завоевав верховную власть, она сумела выкроить себе из окровавленной одежды Петра III самую великолепную императорскую мантию, какую когда-либо носила женщина. Ее воспитание кончено; она вполне владеет своими природными и приобретенными дарованиями, одною из самых чудесных физических и умственных организаций, под-

готовленную к борьбе, к управлению делами и людьми. Она ни одной минуты не колеблется и мужественно встречает опасность лицом к лицу.

На следующий день после ареста канцлера при дворе дается бал по случаю помолвки Льва Нарышкина. Екатерина появляется на балу, она улыбается и непринужденно весела. Следствие по готовившемуся страшному процессу поручено трем высоким чинам империи: графу Шувалову, графу Бутурлину и князю Трубецкому. Екатерина подходит к последнему:

– Что значат эти милые слухи, дошедшие до меня? – весело спрашивает она его. – Нашли ли вы больше преступлений, чем преступников, или больше преступников, чем преступлений?

Изумленный такой самоуверенностью, Трубецкой бормочет что-то и рассыпается в извинениях. Его коллеги и он исполнили лишь свой долг. Они допросили предполагаемых преступников, но преступлений не нашли. Немного успокоенная, Екатерина собирает дополнительные сведения.

– Бестужев арестован, – просто отвечает Бутурлин: – но мы не знаем еще за что.

Итак, ничего еще не раскрыто, и в результате Екатерина, расспрашивая двух «инквизиторов», выбранных Елизаветой, и вслушиваясь в их ответы, сделала открытие; она в их смущенных позах, в их глазах, избегающих ее взгляда, прочла страх! Да, страх, внушаемый ею уже, страх перед той

будущностью, которую, по всей вероятности, угадывают в ее глазах. Несколько часов спустя она дышит еще свободнее: голштинскому министру Штампке удается передать ей записку от Бестужева: «Не беспокойтесь насчет того, что знаете; я успел все сжечь».

Старая лиса не попала в ловушку. Следовательно, Екатерина может смело идти вперед. Прошло то время, когда согласно совету одной из статс-дам, мадам Крузе, она решила отвечать на все упреки императрицы словами: «Виновата, матушка», что производило, по-видимому, прекрасное действие. Маркиз Лопиталь, с которым она советуется, вероятно, чтобы ввести его в заблуждение насчет своих намерений, тщетно увещевает ее чистосердечно сознаться во всем императрице. Ей это и в голову не приходит! Она при посредстве Штампке, Понятовского, своего камердинера Шкурина завязывает и поддерживает деятельную переписку с Бестужевым и другими узниками, замешанными в дело: с ювелиром Бернарди, учителями русского языка Ададуровым и Елагинным, другом Понятовского. Маленький егерь, оставленный бывшему канцлеру, кладет записки в кучу кирпичей, превращенную в почтовый ящик, служащий, впрочем, для двойной цели, так как любовная переписка с Понятовским ведется тем же путем. Понятовский назначает ей как-то свидание в опере, Екатерина обещает ехать во что бы то ни стало. Ей однако трудно сдержать данное слово, так как в последнюю минуту великий князь противится ее выезду; у него

имеются другие планы на вечер, и он не желает, чтобы великая княгиня расстраивала их, увозя своих фрейлин, в особенности фрейлину Воронцову. Он даже отменяет приказания великой княгини и запрещает запрягать лошадей. Екатерина подхватывает мяч на лету: она поедет в театр, пойдет, если понадобится, пешком; но прежде она напишет императрице, расскажет ей, какому дурному обращению она подвергается со стороны великого князя, и попросит разрешения вернуться к своим родителям в Германию. Само собой разумеется, что она более всего страшится насильственного и постыдного возвращения в родную страну, к ограниченному горизонту и стесненности, чтобы не сказать – нищете, семейного очага. Куда она, впрочем, вернется? Отца ее больше нет. Она в 1747 г. оплакивала его смерть. Ей даже помешали оплакивать его долго. Через неделю ей приказали осушить слезы, объявив, что этикет не позволяет ей носить траур, так как покойный не был лицом коронованным. Что же касается матери, ей самой пришлось покинуть Германию, вследствие известного инцидента, повлекшего за собою оккупацию Цербстского герцогства Фридрихом. В августе 1757 г. аббат Берни вздумал послать в Цербст специально уполномоченного маркиза Френа «с целью внушить великой княгине через посредство принцессы Цербстской надлежащие чувства».

Фридрих, узнав б присутствии в его соседстве французского офицера, приказал отряду гусар его взять. Френ, за-

стигнутый во время сна, мужественно защищался. Он забаррикадировался в своей комнате, пистолетным выстрелом разнес голову первому пруссаку, переступившему ее порог, поднял на ноги весь город, был освобожден и отведен в замок. Фридрих, не желавший признать себя побежденным, послал целый корпус с пушками, чтобы осадить мятежного француза. Френ наконец сдался. Герцогство и город Цербст уплатили военные издержки. Владетельный герцог, брат Екатерины, укрылся в Гамбурге. Мать ее искала убежища в Париже, где была довольно неприязненно принята, несмотря на то, что пострадала из-за Франции. Там опасались ее пристрастия к интригам и беспокойного характера. Все же французское правительство было радо иметь нечто вроде «залога» и могущественное средство воздействия на великую княгиню. Но именно это неожиданное происшествие напугало петербургский двор. По просьбе вице-канцлера Воронцова, Лопиталю пришлось просить удаления принцессы; ему ответили, что ее не приглашали, что, если бы раньше предупредили, ее бы даже задержали в Брюсселе, но что теперь нельзя ее удалить, не оскорбляя великой княгини и не нанося вреда даже самим себе. «Франция, – благородно писал де-Берни, – служила всегда убежищем несчастных принцев. Принцесса Цербстская, пострадавшая отчасти из-за своей привязанности к королю, имеет более прав на гостеприимство, чем кто-либо другой».

Куда же отправилась бы Екатерина, если бы ей пришлось

покинуть Россию? В Париж? Елизавета никогда не согласилась бы увеличить список несчастных принцев, нашедших приют во Франции, добавив к ним еще русскую великую княгиню! Довольно было и того, что мать великой княгини была в их числе. Но чем невероятнее это кажется Екатерине, тем она смелее на этом настаивает. Елизавета, со своей стороны, не спешит ответом на это затруднительное предложение. Она велит передать великой княгине, что объяснится с ней лично. Проходят дни и недели. Следствие по делу Бестужева и его предполагаемых сообщников продолжается и, если верить маркизу Лопиталю, лихорадочно следящему за ним, каждый день раскрываются новые доказательства его виновности, хотя все же никак не удается составить достаточно обоснованный обвинительный акт, по которому можно было бы предать его суду.

Наконец Екатерина решается на смелый шаг. Однажды ночью будят духовника императрицы и объявляют ему, что великая княгиня очень плоха и желает исповедаться. Он к ней идет, и Екатерина убеждает его в необходимости предупредить императрицу. Елизавета пугается и соглашается сделать то, о чем ее просят: даровать аудиенцию Екатерине! Мы знаем об этом свидании лишь то, что сообщает нам сама Екатерина. Через сорок лет, может быть, ее передача и не была совершенно точной; это замечание приложимо ко всему автобиографическому труду, из которого мы до сих пор черпали столько сведений, и к которому нам, к сожалению,

не придется больше прибегать, так как «Записки» прерываются именно на этом моменте. Однако в этом повествовании нет и следа деланности или заботы о произведении эффекта; повествование непринужденно и естественно возносится до самого интенсивного драматического выражения. Место свидания – уборная императрицы, большая комната, погруженная в полумрак; свидание происходит вечером. На заднем плане подобно алтарю возвышается мраморный туалетный стол, за которым Елизавета проводит долгие часы в поисках крылатого призрака своей исчезнувшей красоты; он блесит в полутьме своими тяжелыми кувшинами и золотыми тазами, бросающими красные отливы. В одном из тазов Екатерина, привлеченная светлыми пятнами, видит бумаги, брошенные туда, вероятно, рукой императрицы. Она догадывается, что это обличительные документы: ее письма к Апраксину и Бестужеву. За ширмой слышатся глухие голоса; она их узнает: это ее муж и Александр Шувалов.

Наконец появляется Елизавета, надменная, с жестким взглядом и короткой речью. Екатерина бросается к ее ногам; не дав ей времени начать свой допрос, она предупреждает ее и возобновляет просьбу, изложенную ею письменно: отпустить ее к матери. В голосе ее дрожат слезы; то скорбная жалоба ребенка, обиженного чужими людьми и желающего вернуться к своим. Елизавета изумлена и слегка смущена.

– Как я объясню твою отставку? – спросила она.

– Сказав, что я имела несчастье не понравиться вашему

величеству.

– Но как ты будешь жить?

– Как и жила до того, как ваше величество изволили приблизить меня к себе.

– Но твоя мать принуждена была бежать из своего дома. Она как ты знаешь, теперь в Париже.

– Она действительно навлекла на себя гнев короля прусского своей любовью к России.

Реплика была победоносная. Каждое слово достигает цели. Смущение императрицы, видимо, возрастает.

Однако она пробует произвести и со своей стороны нападение: она упрекает молодую женщину в чрезмерной гордости. Однажды в летнем дворце императрица принуждена была спросить ее. не болит ли у нее шея, так как ей, очевидно, трудно было склонить голову перед ней. Разговор таким образом сводится к вульгарной ссоре на почве уязвленного самолюбия. Екатерина становится тише воды и ниже травы. Она не помнит вовсе того случая, о котором изволит говорить ее величество. Она, вероятно, по глупости не поняла слов, сказанных ей тогда императрицей. Но глаза ее, – глаза хищного зверя, о которых говорит Воронцов, – блестят, глядя на императрицу. Дабы избежать этого взгляда, перед которым задрожали Трубецкой и Бутурлин, Елизавета отходит к другому концу комнаты и говорит с великим князем. Екатерина прислушивается. Петр пользуется этим случаем, чтобы обвинить жену, которую считает заранее приговорен-

ной. Он в несдержанных выражениях жалуется на ее злобу и упрямство. Екатерина вскакивает.

– Да, – восклицает она звенящим голосом, – я зла; я зла и буду всегда злой с теми, кто несправедливо со мною обращается! Да, я с вами упряма с тех пор, как убедилась, что ничего не выиграешь, уступая вашим прихотям!..

– Вы видите, – обращается к императрице великий князь, думая, что торжествует. Но императрица молчит. Она еще раз встретилась взглядом с Екатериной, она услышала звук ее голоса и ей тоже стало страшно. Однако она пытается еще запугать молодую женщину. Она просит ее сознаться в преступных сношениях с Бестужевым и Апраксиным и в том, что писала последнему другие письма, кроме тех, что находятся в деле. В ответ на отрицательный ответ Екатерины она грозит подвергнуть пытке бывшего канцлера. «Как вашему величеству будет угодно», отвечает Екатерина. Елизавета побеждена; она меняет тон, на более дружественный и знаком дает понять Екатерине, что не может говорить с ней откровенно в присутствии великого князя и Шувалова. Екатерина на лету подхватывает это указание, и, понизив голос, неясно бормочет, что и она хотела открыть императрице свою душу и мысли. Елизавета умиляется и проливает слезы. Екатерина следует ее примеру. Петр и Шувалов поражены. Дабы прекратить эту сцену, императрица вспоминает, что уже поздно. Действительно, уже три часа утра. Екатерина удаляется, но не успела она еще лечь в постель, как от

имени императрицы является Александр Шувалов и просит ее успокоиться и объявляет ей о новом и скором свидании с ее величеством. Через несколько дней к ней приходит сам вице-канцлер с просьбой не думать более о возвращении в Германию. Наконец 23 мая 1758 г. обе женщины встречаются вновь и расстаются, по-видимому, в восторге друг от друга. Екатерина опять плачет, но из ее глаз текут слезы радости «при воспоминании о всех благодеяниях, которыми ее осыпала императрица». Ее победа полная и решительная.

Дело Бестужева тянется еще почти целый год; но всем ясно, что главная пружина интриги против бывшего канцлера больше не действует. В октябре 1758 г. маркиз Лопиталь опасается даже снятия опалы со страшного соперника. В апреле следующего года Елизавета решает покончить с этим делом. Посредством манифеста она объявляет о преступлении коварного министра, желавшего внушить императрице недоверие к ее возлюбленному племяннику и наследнику великому князю и возлюбленной племяннице великой княгине. Однако этот великий преступник, злоумышления которого не удались, избавляется от заслуженной им смертной казни. Даже имущество его не конфискуется. Его просто ссылают в его имение Горетово. Остальные обвиняемые (фельдмаршал Апраксин умер от удара во время процесса) пользуются таким же снисхождением.

«Под влиянием страха, преобладающего в сердце этого народа, находящегося под игом деспотизма, – пишет в то же

время маркиз Лопиталь, – все вельможи и все дамы, близкие к императрице, поддерживали великую княгиню и интриговали в ее пользу. Во главе этой партии стали фаворит Шувалов и его двоюродный брат, Петр Шувалов. Одни только граф Воронцов и граф Олсуфьев остались верными государыне. Все остальные, напуганные, трусливые и коварные, прикрывая свое поведение уважением к великой княгине, повинувшись ее желанию, сообщали ей все, что знали о чувствах и расположении ее императорского величества».

Что касается Петра, решившегося на смелый шаг, он быстро спустил флаг и сдался. В июне 1758 г. Екатерина властно потребовала удаления его любимца Брокдорфа, который несколько месяцев тому назад говорил направо и налево, что следовало «раздавить змею». «Змеей» была Екатерина. В конце следующего года уже не великая княгиня, а великий князь просил разрешения вернуться в Германию.

«Великий князь, – писал Лопиталь, – был нездоров несколько дней. Я узнал, что он просил через обер-камергера, которого нарочно для этого призвал к себе, ее императорское величество разрешить ему удалиться в Голштинию. Ее императорское величество находит, что этот бестактный поступок исходит из больного мозга, и приписывает это неудовольствие тому, что императрица взяла музыкантов и певцов, нанятых великим князем. Великая княгиня появилась при дворе во вторник; императрица приняла ее очень милостиво и была с ней любезнее обыкновенного».

Как бы ни было велико легкомыслие Петра, его неудовольствие имело, вероятно, более серьезные причины. Однако он все же остался в России, чтобы изжить свою мрачную судьбу, а теперь судьба его была уже начертана. Если бы он был проницательнее, Петр мог бы ее прочесть также и в глазах Екатерины.

Глава вторая

Борьба за престол

1. Перемены среди приближенных Екатерины. – Уничтожение последних связей, соединявших ее с семьей и с немецкой родиной. – Пребывание принцессы Цербстской в Париже и ее смерть там. – Новые знакомства и новые увлечения: английский посланник Кейт. – Григорий Орлов. – Княгиня Дашкова. – Панин. – Последние минуты царствования Елизаветы. – Кто будет наследовать ей?

После отъезда Вильямса и Понятовского и падения Бестужева Екатерина была разлучена со всеми теми, кого случай и судьба свели с нею со времени ее приезда в Россию. Захар Чернышев находился при действующей армии. Сергей Салтыков, назначенный резидентом в Гамбурге, жил там, как в изгнании. В апреле 1759 г. Екатерина потеряла дочь. В следующем году ее мать скончалась в Париже. Про эту

смерть можно сказать, что она случилась вовремя. Принцесса Цербстская уже два года вела в Париже жизнь, не делавшую чести ее дочери и доставлявшую ей только много хлопот. На берегах Сены и даже дальше уже поднимались двусмысленные разговоры о поведении графини Ольденбургской. Под этим именем принцесса приехала во Францию в сопровождении одного французского дворянина Пуйи, с которым она познакомилась в Гамбурге у его родственника Шампо, резидента короля в этом городе. Принцесса вместе с Пуйи совершила путешествие по Германии и Голландии и, несомненно, очень сблизилась с ним во время этих странствий. В Париже им пришлось расстаться: Пуйи поехал к родным в деревню. Графиня Ольденбургская, чтобы утешиться, писала ему почти ежедневно. Но она искала и других утешений. Письма ее, – часть их была напечатана, – положительно прелестны. Их издатель, Бильбасов, находит, что скорее они служили литературным образцом для Екатерины, а не письма г-жи де Севинье. Возможно, что он прав.

«Помните, что я вам писала еще вчера. А это письмо пусть будет вам запасом на завтра или на послезавтра! Итак, незаметно для себя я исполню ваше желание, и в конце концов выйдет так, что время от времени я буду писать вам каждый день... Вчера было первое представление новой оперы: „Празднества Евтерпы“. Я сидела в парадной ложе короля с госпожой Ловендаль. Сколько взглядов было обращено на меня! И какие взгляды! Какое любопытство! Но они

были снисходительны, и меня не освистали. Герцогиня Орлеанская появилась в грандиозных фижмах, en grandissime paniergrande loge (sic!). Она производит впечатление довольно глуповатой. Накануне она была очень больна, почти при смерти. Опера ужасна: в ней нет никакого смысла; такой оперы еще не бывало. Мне понравились только Арно, Желэн, Вестэн и Лионе. Хотите либретто? Я вам пришлю его».

Это написано 9 августа 1758 г. и очень напоминает слог Екатерины в ее посланиях, адресованных впоследствии Гримму. А вот еще описание Шуази, сделанное графиней Ольденбургской в том же стиле; оно любопытно:

«Что это за прелестный уголок для короля Франции! И какой хорошенький! Сколько в нем вкуса! О какой прекрасной душе свидетельствуют также нега и тишина этого места и всего этого дворца! Мне кажется, что сердце самого монарха отпечталось тут. Людовик XIV все золотил, нагромождал слишком много украшений одно на другое. А здесь все изящно, хорошо, но не бьет в глаза. Это дом богатого частного лица. Здесь все живет. Все умеренно. Это волшебное место, созданное Грациями, где царствует доброта, а тщеславие побеждается гуманностью. Одним словом, это сам Людовик XV».

Что касается содержания корреспонденции графини Ольденбургской, то оно также напоминает эпистолярные сношения Екатерины с ее «souffre douleur». Это же странное смешение самых разнородных сюжетов. Графиня Ольденбург-

ская рассказывает своему другу историю России попеременно с описанием своих собственных злоключений. А их много! Инкогнито, под которым она скрывается, не мешает ей желать, чтобы ее дом был поставлен на придворную ногу. У нее есть дворцовый комендант, которого зовут маркизом Сен-Симоном, есть шталмейстер, маркиз Фолэне, камергер, фрейлины и т.д. Она выбирает себе для жительства роскошный дом, принадлежащий Шону. Она хочет иметь ложу в опере. Все это стоит денег. А между тем доходы Герцогства Цербстского конфискованы Фридрихом. Остается Россия, на которую принцесса и спешит перевести все свои векселя, настаивая, чтобы Екатерина распорядилась уплатить по ним. Но векселя возвращаются в Париж опротестованными. Елизавета не хочет о них и слышать. Она не удостоивает даже ответом умоляющие письма кузины. Екатерина на письма отвечает, но ответить также и на просьбы о деньгах не имеет власти. Затем принцесса страдает и от преследований, – в чем именно они состоят, она не говорит в своих письмах к Пуйи, – но они так мучат ее, что, по ее словам, расстраивают ее здоровье. «Ей от этого не легче, а другие только выигрывают», – уверяет она. Будем верить ей на слово. К концу 1759 г. она уже вся в долгах. Екатерина, вместо помощи, посылает ей несколько фунтов чаю и ревеню. Но эти подарки до принцессы не доходят. Она умирает 16 мая 1760 г. Всю ее переписку опечатавают. Опять новые волнения для Екатерины. Великая княгиня боится за репутацию матери; боится также

и впечатления, которое могут вызвать ее собственные письма, если, пересланные в Россию, они попадут не в ее руки, а в чужие. Но любезное вмешательство герцога Шуазеля устраивает все к лучшему. Бумаги принцессы внимательно просматривают, по его приказанию, и все ее любовные записочки и другие компрометирующие документы сжигают. Зато с долгом ее не так легко покончить. Есть минута, когда Екатерине грозит даже, что мебель и драгоценности ее матери будут проданы кредиторами с молотка. Но после небольшого сопротивления Елизавета соглашается наконец заплатить те 400.000 или 500.000 франков, которые поглотила жизнь в доме Шона, ложа в опере и другие парижские развлечения графини Ольденбургской.

Так порвалась последняя связь между дочерью принцессы Цербстской и ее родиной. Но теперь Екатерине уже нечего было бояться одиночества в России. Вильямс был замещен Кейтом. Этот последний старался, положим, заслужить главным образом милость великого князя. В противоположность своему предшественнику, он находил Петра вполне подходящим для роли, которую заставлял его разыгрывать: роли простого доносчика и шпиона. Петр действительно выказал здесь большие дарования. Его извращенный ум находил какое-то нездоровое наслаждение в этом низменном занятии. И вскоре услуги, которые он начал оказывать таким образом Англии и Пруссии, и которым Фридрих посвящает благодарное воспоминание в своей «Истории Семилетней вой-

ны», стали известны всему Петербургу. Но все это не мешало Кейту ухаживать, между прочим, и за великой княгиней и ссужать ее деньгами, как это делал Вильямс.

Понятовский, в свою очередь, нашел себе заместителя. Весною 1759 года в Петербург прибыл граф Шверин, флигель-адъютант прусского короля, взятый русскими в плен в битве при Цорндорфе (25 августа 1758 г.). Его встретили, как знатного иностранца, приехавшего посетить столицу. Для простой формальности к нему были приставлены, в виде стражи, два офицера. Один из них особенно отличился при Цорндорфе. Он был три раза ранен, но не ушел с поля сражения. У него была фаталистическая храбрость восточных народов. Он верил в свою судьбу. И был прав, веря в нее: это был Григорий Орлов. Орловых было всего пять братьев в гвардейских полках. Высокий, как и его брат Алексей, одаренный такой же геркулесовской силой, Григорий выделялся красотой своего лица с правильными и нежными чертами. Он был красивее Понятовского, красивее даже Сергея Салтыкова: гигант с головой прекрасной, как у херувима. Но ангельского, кроме красоты, в нем не было ничего. Неумный и совершенно необразованный, он вел такой же образ жизни, что и все его товарищи по полку, но доводил его до крайности, проводя все свое время в игре, в попойках и в ухаживаниях за первой встречной. Всегда готовый на ссору и на то, чтобы снести голову своему обидчику, – он не боялся пожертвовать жизнью, когда у него не было для расплаты дру-

гой монеты; смело ставил на карту все свое состояние, тем более, что терять ему было нечего; всегда казался подвыпившим, даже в минуты, когда случайно был трезв; горел неутолимой жаждой ко всевозможным наслаждениям; приключений искал со страстью и жил в каком-то непрерывном безумии: таков был человек, входивший в жизнь будущей императрицы. Объединяя для нее в своем лице интересы политики и любви, он долгое время занимал в ее уме и сердце если не первое, то наверное второе место. Первое же она отдавала честолюбию. В характере Григория Орлова, который мы обрисовали здесь, было мало черт, подходящих для героя романа; но в нем не было ничего, что могло бы оттолкнуть Екатерину. Она сама всю жизнь любила приключения и потому смотрела снисходительно на искателей их. «Безудержная смелость», которую она открыла в себе однажды в разговоре с маркизом Лопиталем, вполне подходила к неустрашимости Григория Орлова. У него было одно ценное качество, более прекрасное, чем красота, и более могущественное, чем ум, которое долгое время казалось самым привлекательным из всех в глазах Екатерины; оно как бы подчиняло ее своей чарующей власти, прельстило ее впоследствии и в Потемкине, так что она на длинный ряд лет привязалась к этому некрасивому, кривому и косоглазому циклопу: – Орлов был полон молодечества и удали.

Кенигсберг, где стояли русские войска, надолго сохранил воспоминание о его пребывании там и о всевозможных по-

хождениях этого человека, умевшего блестяще прожигать жизнь. В Петербурге он не изменил своих привычек. В 1760 году ему дали завидное место адъютанта при генерале фельдцейхмейстере. Этот пост занимал граф П.И. Шувалов, двоюродный брат всемогущего фаворита Елизаветы. Благодаря своему новому положению, Орлов очутился на глазах у всех. У Шувалова была любовница, княгиня Елена Куракина, красота которой восхищала Петербург. Орлов сделался сейчас же соперником своего начальника и победил его. Этим он обратил на себя всеобщее внимание, в том числе и Екатерины. Но он чуть было не расплатился дорого за свою победу. Шувалов не был человеком, способным простить подобную обиду. Однако вера Орлова в свою счастливую звезду и на этот раз не обманула его: Шувалов скончался не успев отомстить. Екатерина же продолжала интересоваться молодым человеком, рисковавшим жизнью за улыбку прекрасной княгини. Притом Орлов занимал случайно дом, расположенный напротив Зимнего дворца. И это тоже способствовало его сближению с Екатериной.

Кроме того, этот отважный и обаятельный офицер не мог не пользоваться большим влиянием в той среде, где жил. А эта среда в глазах русской великой княгини, решившейся «идти самостоятельным путем», должна была иметь первенствующее значение. В своих «Записках» Екатерина несколько раз упоминает о стремлении, появившемся у нее будто бы еще очень рано и никогда не покидавшем ее, снискать

любовь элемента, который она признавала своей истинной и единственной опорой в России: она называет этот элемент русским «обществом». Она постоянно тревожится о том, что это «общество» скажет или подумает о ней. Она старается расположить его в свою пользу, хочет, чтобы оно привыкло в случае надобности рассчитывать на нее, и чтобы сама она, в свою очередь, тоже могла на него рассчитывать. Но это странная манера выражаться, которая может даже вызвать сомнения в подлинности документа, где мы читаем эти признания Екатерины. В те года, когда она писала свои «Записки», она не только не считалась с этим элементом, будто бы так высоко ценившимся ею за тридцать лет до того, но должна была убедиться, что его не существовало в России, по крайней мере в том значении и в той роли, которое она ему приписывала. Где бы она стала искать «общество», т.е. социальное коллективное целое, одаренное умом и волей и способное рассуждать и действовать сообща? Его не было вовсе. Вверху стояла группа чиновников и придворных, одинаково раболепных по всей иерархической лестнице «чина» и различавшихся только в степенях человеческой низости; они дрожали от одного взгляда и простым мановением руки могли быть низвергнуты в бездну; внизу – народ, т.е. громадная масса мускульных сил, которые выносили на себе всю тяготу барщины, и за которыми душа признавалась, лишь как единица меры при подсчете инвентарей; а между ними не было никого, если не считать духовенства, силу значи-

тельную, но замкнутую в себе, мало поддающуюся влиянию, способную воздействовать скорее сверху вниз, нежели снизу вверх, и совершенно непригодную в смысле орудия для достижения какой-либо политической цели. Не эти люди оказали поддержку Елизавете и возвели ее на престол. Но был же ведь все-таки в России кто-то, кто помог ей тогда занять силою трон! Этот кто-то мог, следовательно, проявлять свою власть и деятельность независимо от тех трех сословий, не имевших никакого значения! И то была армия!

Екатерина полюбила Григория Орлова за его красоту, смелость, за его громадный рост, за его молодецкую удаль и безумные выходки. Но она полюбила его также и за те четыре гвардейских полка, которые он и его братья, по-видимому, крепко держали в своих железных руках. Он же, в свою очередь, не оставался слишком долго у ног княгини Куракиной. Это был человек, не боявшийся метить и выше, в особенности, если ему с этой вышины посылали ободряющие улыбки. Но зато он и не умел также делать тайну из своих увлечений. Он афишировал княгиню Куракину, не заботясь о том, что скажет генерал-фельдцейхмейстер. Он стал афишировать великую княгиню с той же непринужденностью. Но Петр ничего не сказал: он был слишком занят другими делами; Елизавета тоже ничего не сказала: она умирала. А Екатерина не мешала Орлову: она ничего не имела против того, что уже не в одной казарме стали соединять, в разговорах, ее имя с именем красавца Орлова, которого офице-

ры обожали и за которого солдаты готовы были броситься в огонь и в воду. Она позже, в августе 1762 года, писала Понятовскому:

«Остен вспоминает, как Орлов всюду следовал за мною и делал тысячу безумств; его страсть ко мне была публична».

Ей нравилось преследование Орлова. Этот буйный и шумливый в проявлениях чувства солдат должен был казаться ей, положим, несколько грубоватым после Понятовского. Но не даром она обрусела. Любовь к таким контрастам и даже потребность в них лежали в характере русского народа того времени, только что приобщившегося скороспелой цивилизации; а этот народ стал ее народом, и она понемногу так слилась с ним, что его душа, даже в самых своих тайниках, сделалась ее душою. Прожив несколько месяцев среди самой изысканной и чарующей роскоши, Потемкин садился бывало в кибитку и делал по три тысячи верст в один переезд, питаясь в дороге сырым луком. Екатерина не разъезжала в кибитках, но зато в любви тоже охотно переходила от одной крайности к другой. После Потемкина, этого дикаря; она пленилась Мамоновым, общество которого сам принц де-Линь находил для себя приятным. И теперь страсть грубого, неотесанного русского поручика послужила ей как бы отдыхом от утонченного ухаживания изнеженного польского дипломата.

Впрочем, Вольтер, Монтескье и французская литература не пострадали от этого. Как раз в это же время Екатерина со-

шла со столь знаменитой впоследствии и доставившей ей немало хлопот княгиней Дашковой. Из трех дочерей графа Романа Воронцова, брата вице-канцлера, княгиня Дашкова была младшей. Старшая, Мария, вышла замуж за графа Бутурлина; вторая, Елизавета, мечтала по временам выйти замуж за великого князя. Это была фаворитка. Императрица назвала ее как-то в насмешку маркизой Помпадур, и за ней при дворе так и осталось это прозвание. Третьей, Екатерине, было пятнадцать лет, когда великая княгиня встретила ее впервые в 1758 году в доме ее дяди, графа Михаила Воронцова. Молодая Воронцова не знала тогда ни одного русского слова, говорила исключительно по-французски и прочла на этом языке все книги, которые только могла достать себе в Петербурге. Она чрезвычайно понравилась Екатерине. Став вскоре женой князя Дашкова, молодая женщина последовала за ним в Москву, и Екатерина на два года потеряла ее из виду. Но в 1761 году княгиня Дашкова вернулась в Петербург и заняла на лето дачу, принадлежавшую ее дяде Воронцову и расположенную на полпути между Петергофом, где жила императрица, и Ораниенбаумом, местом обычного летнего пребывания великого князя и великой княгини. Каждое воскресенье Екатерина ездила в Петергоф повидаться с сыном, которого Елизавета по-прежнему не отпускала от себя. Возвращаясь домой, Екатерина часто заезжала на дачу Воронцовых, увозила с собою свою молодую подругу и проводила с нею остальную часть дня. Они говорили вместе

о философии, истории и литературе; касались самых важных научных и социальных вопросов. Может быть, они не избегали и более веселых тем разговора, но вообще эти две женщины, из которых одной было едва тридцать лет, а другой еще не было двадцати, редко смеялись вдвоем. Великая княгиня переживала в то время слишком тревожные дни, а у княгини Дашковой всегда был угрюмый характер. Впоследствии Екатерина стала находить ее общество менее приятным, – и в конце концов оно стало даже вовсе ненавистно ей. Но в то время будущая Семирамида была довольна, найдя человека, с которым могла говорить о предметах, совершенно неинтересных и недоступных красавцу Орлову. Екатерину прельщало и то, что она в русской женщине с чисто русским умом нашла отблеск, правда, бледный, той западной культуры, которую она, в смутных мечтаниях о будущем, решила насадить в своей громадной и варварской стране. И эта маленькая семнадцатилетняя особа, успевшая уже прочесть Вольтера, была для Екатерины ценной находкой, ее первой победой в деле пропаганды, которым она задалась. Затем княгиня Дашкова была русской аристократкой, и по происхождению и по браку принадлежала к двум влиятельным семействам. Это тоже имело свою цену. Наконец, под лоском образования, напоминавшего собственное образование Екатерины, такого же разнородного и неполного, среди случайных и отрывочных идей и знаний, почерпнутых Дашковой из быстро проглоченных книг, Екатерина открыла в

своей подруге страстную и пылкую душу, всегда готовую на риск. Демон безумной отваги, живший в громадном, атлетическом теле ее нового любовника и избранника, был не чужд и этой девочке, хрупкой на вид. И Екатерина пошла рука об руку с нею до того дня, когда решилась судьба одной из них.

Но ни приобретение Орлова, ни новой подруги не заменили Екатерине потерю Бестужева. Этот опытный государственный деятель и мудрый советник требовал себе заместителя. И Екатерина нашла его в лице Панина. Панин был политическим учеником бывшего канцлера. Десять лет тому назад Бестужев даже намечал его в фавориты Елизавете. Панин был тогда красивым молодым человеком двадцати девяти лет, и царица поглядывала на него далеко не равнодушно. Но Шуваловы, которые считали место фаворита как бы своею неотъемлемою и родовою привилегией, заключили с Воронцовыми союз против Бестужева и взяли над ним верх. По словам одного свидетеля, который должен был быть хорошо осведомленным (Понятовского, в его «Записках»), Панин сделал крупную неловкость: он заснул в дверях ванной императрицы вместо того, чтобы войти туда в удобную минуту. Он был послан в Копенгаген, потом в Стокгольм, где играл довольно важную роль, принимая деятельное участие в борьбе против французского влияния. Но при перемене внешней политики, когда Россия и Франция стали в один лагерь против общих врагов, его пришлось отозвать в 1760 году. Елизавета решила назначить его на пост воспита-

теля великого князя Павла, остававшийся свободным после отставки Бехтеева. Шуваловы ничего не имели против этого. Единственный имевший значение в их глазах пост был занят теперь, после Александра Шувалова, потом Петра Шувалова, его брата, их двоюродным братом Иваном Шуваловым. Ивану Шувалову было только тридцать лет, и постаревший Панин казался уже неопасным для него.

Человек холодного, методического ума и беспечного ленивого нрава, – эта беспечность с годами еще усилилась в нем, – Панин, казалось, был создан для того, чтобы служить противовесом тем восторженным и пылким людям, которыми окружала себя Екатерина. Его политические идеи уже по тому одному сблизили его с великой княгиней, что он не разделял прусских симпатий великого князя. Он оставался «австрийцем», как и Бестужев. Станный характер Петра тоже пугал его, тем более, что ему вскоре пришлось лично пострадать от него. Панин много беседовал с Екатериной. А о чем можно было беседовать в то время, как не о событии, казавшемся все более близким и начинавшем, даже на противоположном конце Европы, волновать все умы? Елизавета умирала, и смерть ее не в одном только Петербурге должна была послужить сигналом к политическому перевороту неисчислимой важности. Результаты борьбы, завязавшейся между великими державами, зависели всецело от этой случайности будущего. После взятия Кольберга (в декабре 1761 г.) несколько лишних месяцев, предоставленных сов-

местным действиям русских и австрийских войск, вызвали бы неизбежную и верную гибель Фридриха. Побежденный при Грос-Эгерсдорфе и Кунерсдорфе не создавал себе никаких иллюзий на этот счет. Но в то же время всем было ясно, что восшествие на престол Петра III положило бы конец союзной кампании, направленной против прусского короля.

Панин тоже задумывался над этой проблемой и хотя и не решал ее в смысле, вполне согласном с тайными властолюбивыми мечтами Екатерины, но во всяком случае находил нужным защищать ее интересы против враждебных ей замыслов, глухо зарождавшихся у постели умирающей императрицы. Согласно свидетельству, внушающему доверие, Воронцовы хотели не более, не менее, как развести Екатерину с Петром и объявить незаконным рождение маленького Павла. После этого наследник Елизаветы мог бы жениться на фрейлине Воронцовой. К счастью для Екатерины, эти слишком честолюбивые стремления возбудили опасения и соперничество со стороны Шуваловых, которые, ударясь в противоположную крайность, намеревались выслать Петра в Германию и немедленно возвести на престол Павла при регентстве Екатерины. Панин занимал среднее положение между этими двумя враждебными лагерями, высказываясь за законный порядок вещей; он рассчитывал обеспечить таким образом и Екатерине и себе возможность благотворно влиять на будущее правление племянника Елизаветы. Екатерина выслушивала его, но ничего не говорила. У нее были

собственные планы, и она подолгу беседовала и с Орловыми.

II. Смерть императрицы. – Противоречивые догадки о ее последней воле. – Петр III мирно вступает на престол. – Резкое изменение внешней политики. – Авансы прусскому королю. – Император объявляет о своем намерении разорвать с союзниками. – Сцена, устроенная им барону Бретейлю на ужине у канцлера Воронцова. – Игра императора. – «Испания проиграет». – Гнев герцога Шуазеля. – Заключение мира с Пруссией. – Внутренние преобразования. – Чем они были вызваны. – Их значение. – Петр III сам готовит себе гибель. – Недовольство армии. – Негодование Екатерины. – Петр публично оскорбляет жену. – «Дура!» – Он грозит ей арестом.

Елизавета скончалась 5 января 1762 г., оставив в силе завещание, по которому Петр должен был наследовать ей. Да и имела ли она намерение изменить его в том или другом смысле? Это вопрос темный.

«Всеобщее желание и убеждение, – писал барон Бретейль в октябре 1760 года: – что она возведет на престол маленького великого князя, которого, по-видимому, страстно любит».

Месяц спустя Бретейль рассказывал следующее:

«Однажды, когда великий князь уехал на день в деревню на охоту, императрица неожиданно приказала, чтоб в ее те-

атре дали русскую пьесу и, против обыкновения, не пожела-
ла пригласить ни иностранных послов, ни придворных, ко-
торые всегда присутствуют на таких спектаклях; вследствие
этого императрица явилась в театр только с небольшим чис-
лом лиц ближайшей свиты. Молодой великий князь был вме-
сте с нею, а великая княгиня, единственная из всех получив-
шая приглашение, тоже пришла в свою очередь. Как толь-
ко началось представление, императрица стала жаловаться
на то, что в зале мало зрителей и велела раскрыть двери
для гвардии. Театр сейчас же наполнился солдатами. Тогда,
по свидетельству всех присутствовавших, императрица взя-
ла на колени маленького великого князя, чрезвычайно лас-
кала его и, обращаясь к некоторым из тех старых гренадер,
которым она обязана своим величием, как бы представила
им ребенка, говорила им, каким он обещает быть добрым
и милостивым, и с удовольствием выслушивала в ответ их
солдатские комплименты. Эта сцена кокетничания продол-
жалась почти весь спектакль, и великая княгиня имела все
время очень довольный вид».

Но, если верить свидетельству, о котором мы говорили
выше, Панин, делая вид, что становится на сторону Шува-
ловых, в последнюю минуту обманул их: он ввел к импера-
трице монаха, который убедил ее примириться с Петром. Но
вернее всего, что Елизавета не могла или не сумела решиться
на этот крайний шаг. К концу царствования она, несо-
мненно, ненавидела племянника, но любовь к собственно-

му покою все-таки в ней превозмогла. Поэтому смерть ее, усчитанная всеми еще за несколько лет вперед, легко могла вызвать революцию против этого последнего решения ее колеблющейся и расшатанной развратом воли. Барон Бретейль писал по этому поводу:

«Когда я думаю о ненависти народа к великому князю и заблуждениях этого принца, то мне кажется, что разыграется самая настоящая революция (при смерти императрицы); но когда я вижу малодушие и низость людей, от которых зависит возможность переворота, то убеждаюсь, что страх и рабская покорность и на этот раз так же спокойно возьмут в них верх, как и при захвате власти самой императрицей».

Так и случилось. Если верить Вильямсу, Екатерина еще за пять лет решила, что будет делать после смерти Елизаветы:

«Я иду прямо в комнату моего сына, – будто бы сказала она. – Если встречу Алексея Разумовского, то оставлю его подле маленького Павла; если же нет, то возьму ребенка в свою комнату; в ту же минуту я посылаю доверенного человека дать знать пяти офицерам гвардии, из которых каждый приведет ко мне пятьдесят солдат... В то же время я посылаю за Бестужевым, Апраксиным и Ливеном, а сама иду в комнату умирающей, где заставляю присягнуть командующего гвардией и оставляю его при себе. Если я замечу малейшее движение, то арестую Шуваловых». Она прибавляла, что у нее было уже свидание с гетманом Кириллом Разумовским, и что тот отвечал за свой полк и ручался привести к ней се-

натора Бутурлина, Трубецкого и самого вице-канцлера Воронцова. Она осмелилась будто бы даже написать Вильямсу: «Иоанн Васильевич (царь) хотел уехать в Англию; но я не намерена просить убежища у английского короля, потому что решила или царствовать, или погибнуть».

Но верить ли в данном случае Вильямсу? По словам аббата Шапп д'Отроша, новая императрица явилась в роковую минуту совершенно в другом свете. Французский историк рисует ее нам бросающейся к ногам своего супруга и выражающей готовность служить ему, «как последняя раба его царства». Екатерина была очень оскорблена, когда узнала впоследствии про этот рассказ, и с необыкновенным жаром старалась опровергнуть его правдивость. Читатель извинит нас, если мы сами не выскажемся окончательно на этот счет.

Но как бы то ни было, Петр совершенно мирно вступил в управление своим государством. Царствование его не замедлило оправдать всеобщие ожидания. За границей России Фридрих вздохнул свободно и по праву мог считать себя спасенным смертью Елизаветы. В самую же ночь своего восшествия на престол Петр разослал гонцов в различные корпуса русской армии с приказом прекратить неприятельские действия. Войска, занимавшие Восточную Пруссию, должны были прекратить свое наступательное движение; те, что стояли вместе с австрийской армией, немедленно отделиться от нее. Кроме того, и тем и другим было отдано повеление сейчас же заключить перемирие, если только оно бу-

дет предложено прусскими генералами. В то же время император послал к Фридриху камергера Гудовича с собственноручным письмом, свидетельствующим о его дружелюбных намерениях. Затем ряд быстро чередовавшихся распоряжений и публичных демонстраций возвестил всем о коренной перемене во внешней политике и в симпатиях императора. Даже актеры французского придворного театра были высланы вон, не получив при этом никакого обеспечения! Наконец декларация, переданная в феврале представителям Франции, Испании и Австрии, показала им, чего они могли ожидать от нового правительства: Петр без всяких церемоний отворачивался от союзников; он объявил им свое намерение заключить с Пруссией мир и советовал им поступить так же. Сцена, о которой барон Бретейль картинно рассказывает в своей депеше, подчеркнула два дня спустя это последнее предупреждение императора. Она разыгралась 25 февраля 1762 г. на ужине у канцлера Воронцова. За столом сидели с десяти часов вечера до двух утра. Петр, говорит Бретейль, «все время буйствовал, пил и молот вздор». К концу ужина он встал покачиваясь и, повернувшись к генералу Вернеру и графу Гордту, провозгласил тост за прусского короля. «Теперь уже не то, что было за последние года, – прибавил он: – и мы вскоре еще иное увидим!» В то же время он перекидывался «улыбками и намеками» с Кейтом, английским посланником, которого называл «своим дорогим другом». В два часа утра гости перешли в залу. Здесь, вместо ломбер-

ного стола для обычной игры в фараон, стоял громадный стол, заваленный трубками и табаком. Чтобы угодить императору, надо было закурить и не выпускать трубку изо рта в течение нескольких часов, попивая в то же время английское пиво и пунш. Однако, после довольно продолжительного совещания с Кейтом, его величество предложил сыграть в «samri». «Это особая игра, – объясняет Бретейль, – вроде „chat qui dort“ или „as qui court“. Во время игры император подзвал к себе барона Поссе, шведского посланника, и пытался убедить его, что декларация, только что опубликованная Швецией, тождественна с русской. „Она имеет целью только обратить внимание союзников на затруднения, которые они встретят, если будут продолжать войну“, – возразил Поссе.

– Надо заключить мир, – ответил на это император. – Что касается меня, то я хочу этого.

Игра, между тем, продолжалась. Барон Бретейль проиграл несколько червонцев принцу Георгу Голштинскому, дяде царя, с которым он в течение своей прежней боевой карьеры встречался когда-то на полях битвы в Германии.

– Ваш старый противник победил вас! – воскликнул сейчас же Петр со смехом. И он продолжал хохотать и повторять без конца свое словцо, как это обыкновенно делают пьяные. Барон Бретейль, несколько озадаченный, выразил уверенность, что ни ему лично, ни Франции никогда больше не придется уже сражаться с принцем. Царь ничего не ответил,

но через несколько минут, видя, что граф Альмодовар, представитель Испании, тоже проигрывает, наклонился к французскому посланнику и сказал ему на ухо: «Испания проигрывает». И опять засмеялся. Барон Бретейль едва владел собой. Но, призвав на помощь все свое хладнокровие, он ответил с достоинством: «Не думаю, государь». И стал доказывать императору, что силы Испании и Франции, соединенные вместе, представляют собою внушительную величину. Император произносил, вместо ответа, только насмешливые: «а, а!» Но когда французский дипломат сказал в заключение: «Если ваше величество останетесь верны принципам союза, как вы обещали и должны это сделать, согласно данному вами обязательству, то мы, Испания и Франция, можем быть спокойны», – Петр уже не мог сдержать себя. Он пришел в ярость и грубым голосом прокричал:

– Я вам объявил уже два дня тому назад: я желаю мира.

– И мы также, государь. Но мы хотим, как и ваше величество, чтобы этот мир был почетным и согласным с интересами наших союзников.

– Как знаете. Что до меня, то я желаю мира во что бы то ни стало. А потом поступайте, как хотите. *Finis coronat opus*. Я солдат и не люблю шутить.

С этими словами он повернулся к барону спиной.

– Государь, – сказал тогда значительным тоном барон Бретейль, – я отдам отчет своему королю в том, что вашему величеству было угодно объявить мне.

Это был полный разрыв. Канцлер Воронцов, которому сейчас же донесли о происшедшем, приписал слова Петра состоянию опьянения, в котором государь находился в ту ночь, а также его странному нраву. Воронцов принес барону Бретейлю свои извинения. Но ни в Петербурге, ни в Версале никто не сомневался в истинном смысле слов, произнесенных императором.

«Вы можете представить себе мое негодование, – писал Бретейлю герцог Шуазель: – когда я узнал о том, что произошло 25 февраля. Признаюсь вам, я не ожидал, что все это будет сказано в таком тоне; Франция не привыкла еще получать приказания из России. Не думаю, чтобы Воронцов мог дать нам какие-нибудь объяснения по этому поводу. Их бесполезно и спрашивать. Мы знаем теперь и так все, что могли бы узнать, и следующее объяснение, которое мы получим, будет сообщение о союзе, заключенном между Россией и нашими врагами».

И действительно, через два месяца это соглашение было уже совершившимся фактом. 24 апреля Петр подписал мирный договор с Пруссией, включив в него параграф, возвещавший о скором заключении оборонительного и наступательного союза между обеими державами. Он открыто оповестил всех о своем намерении стать вместе с частью русской армии под начальство Фридриха. Это была его мечта, которую он лелеял давно. Еще в мае 1759 г. маркиз Лопиталь доносил своему правительству:

«Великий князь, разговаривая наедине с графом Шверинем и князем Чарторыйским, стал восхвалять прусского короля и сказал графу Шверину буквально, что надеется иметь славу и честь принять когда-нибудь участие в войне под начальством короля Пруссии».

В то же время Петр, по-видимому, искал ссоры с Данией из-за своих немецких владений. Император всероссийский не считал для себя недостойным мстить за действительные или воображаемые обиды герцога Голштинского. Один русский историк написал даже целую книгу, чтобы объяснить, в чем состояло то, что он называл «политической системой» наследника Елизаветы. По его мнению, все будущее России было поставлено на карту, если бы эта система могла быть осуществлена. Но, полагаем мы, этот историк оказывал Петру III и его политике слишком много чести. Думал ли в самом деле Петр о том, чтобы «пожертвовать устьями Западной Двины для того, чтобы утвердиться на устьях Эльбы, и оттолкнуть несколько миллионов своих соотечественников, чтобы ничто не мешало ему завоевать, с помощью Пруссии, несколько сот тысяч полугерманцев и полудатчан, находящихся за Сотни верст от России?» Мы склонны думать, что Петр просто хотел выразить свое восхищение перед Фридрихом II и удивить Германию своим мундиром голштинского генерала. Он продолжал играть в солдатика; но только, имея теперь свободу выбора, уже не довольствовался больше солдатами из крахмала.

Во внутренней политике Петр выказал себя тоже очень смелым реформатором. Указы следовали за указами: о секуляризации владений духовенства, об освобождении дворянства от обязательной службы, об упразднении «тайной канцелярии», т.е. отделения политической полиции. Что значило это поспешное законодательство? Был Петр в самом деле либерален? Если верить князю Петру Долгорукову, один из современников Петра III, князь Михаил Щербатов, объяснял по-своему появление указа о дворянстве. Раз вечером, когда Петру хотелось изменить своей любовнице, он позвал к себе статс-секретаря Дмитрия Волкова и обратился к нему с такими словами: «Я сказал Воронцовой, что поработаю с тобой часть ночи над законом чрезвычайной важности. Мне нужен поэтому на завтра указ, о котором говорили бы при дворе и в городе». Волков поклонился, и на следующий день Петр был очень доволен, но и дворянство тоже. Но возможно, что, поддаваясь отчасти влиянию окружающих и осуществляя не задумываясь идеи, внушаемые ему со стороны, Петр подчинялся в то же время и тому разрушительному инстинкту, который так часто встречается у детей и заставляет их ломать все, что подвернется им под руку, и при этом беспокойном уме Петра эта страсть разрушения принимала у него особенно угрожающий характер. Ему нравилось одним росчерком пера переворачивать весь строй государства и видеть вокруг себя испуганные этими переменами лица. В этом выразались теперь его шалости. А может быть, он хо-

тел подражать Фридриху. Но во всяком случае он искренно забавлялся и надеялся стать, в свою очередь, великим государем.

Рисковал ли он лишиться любви подданных и поколебать самый престол этой смелой ломкой внешней и внутренней политики? Не думаем. Чего только его подданные не видели и прежде! Духовенству был, разумеется, нанесен страшный удар, но оно промолчало. Дворянство имело повод радоваться, но оно осталось одинаково безмолвным. Только сенат предложил воздвигнуть императору золотую статую, от которой тот отказался. Впоследствии все уверяли, что видели симптомы полной дезорганизации в правительственной машине России еще до события, положившего конец новому царствованию. Но такие наблюдения всегда делаются задним числом. А пока Петр царствовал спокойно, несмотря на свои фантастические выходы: ведь Бирон, до него, позволял себе еще более рискованные. И, очевидно, государственный механизм России походил на те массивные сани, которые везли до Москвы Екатерину и ее участь: ему были не страшны никакие ухабы, никакие потрясения.

Но Петр сделал все-таки две роковые ошибки: он создал вокруг себя недовольных, а других довел до полного отчаяния. Недовольной была армия. Не потому, чтобы ей претило, как уверяли потом, переменить фронт и сражаться с пруссаками против Австрии после того, как она билась с австрийцами против Пруссии. Ненависть к остроконечной кас-

ке, приписанная солдатам, находившимся в 1762 г. под командой какого-нибудь Чернышева или Румянцова, кажется нам плодом чисто современного воображения. Во-первых, вопроса об остроконечной каске не существовало вовсе: воины Марии-Терезии были совершенно такими же немцами, как и солдаты Фридриха. Но Петр хотел ввести в армию прусскую дисциплину, и этого она ему не могла простить. У нее была собственная дисциплина: за малейший проступок гренадеры, которые были при Елизавете в таком почете – и по заслугам, – подвергались в ее царствование трем, четырем, даже пяти тысячам палочных ударов – и находили это вполне законным. Иногда они оставались каким-то чудом живыми после этой ужасной пытки и безропотно становились опять в ряды. Но зато им показалось теперь совершенно невыносимым проделывать несколько раз кряду какое-нибудь ученье из-за недостатка в общей картине маневра. Затем Петр осмелился коснуться их мундиров. Это была вторая обида. Наконец он стал поговаривать о том, чтобы упразднить гвардию, как его дед упразднил когда-то стрельцов. Это значило поднять руку на «святая святых». За последние полвека гвардия была в сущности самым прочным элементом во всей империи. А новый царь распустил кавалергардов, тот самый полк, унтер-офицеров которого покойная императрица приглашала к себе за стол. Он заменил их голштинцами. Принц Георг Голштинский был назначен главнокомандующим всей русской армии и поставлен во гла-

ве конной гвардии, которая до того не знала никогда другого командира, кроме самого государя. Это переполнило чашу. Нам кажется, что более или менее единодушные свидетельства современников о враждебном настроении общественного мнения, вызванном поступками нового императора, и имеют в виду именно эти его военные реформы и впечатление, которое они производили в войсках. Мы уже знаем, что значило слово «общество» в России того времени.

А недовольной, доведенной до негодования и отчаяния, была Екатерина. По отношению к ней какой-то дух безумия, по-видимому, овладел Петром. После 15 января 1762 г. барон Бретейль писал герцогу Шуазелю:

«Императрица находится в самом тяжелом положении; с нею обращаются с глубочайшим презрением. Я уже указывал вам, ваша светлость, что она призывает себе на помощь философию, но говорил также, как мало это лекарство подходит к ее нраву. С тех пор я узнал, – и не могу в этом сомневаться, – что она начинает уже с большим нетерпением выносить поведение императора по отношению к ней и высокомерие госпожи Воронцовой. Я не могу представить себе, чтобы эта государыня, смелость и решительность которой мне хорошо известны, не отважилась бы рано или поздно на какой-нибудь крайний шаг. Я знаю, что у нее есть друзья, старающиеся ее успокоить, но готовы для нее на все, если она этого от них потребует».

В апреле, переехав в новый дворец, отделка которого уже

близилась к концу, Петр занял один из флигелей, а жене назначил апартаменты на противоположном конце другого. Рядом же с собою он поместил Елизавету Воронцову. С известной точки зрения Екатерина должна была остаться довольной таким распоряжением: оно давало ей больше свободы, а в свободе Екатерина нуждалась до последней степени. Она опять была беременна и на этот раз уже никак, даже по простой случайности, не могла назвать императора отцом своего ребенка. А между тем эта беременность могла служить наглядным объяснением пренебрежения, о котором говорит барон Бретейль, и как бы официальным одобрением того положения вещей, которое Екатерина едва выносила. Петр же делал его еще мучительнее ежеминутными возмутительными выходками, грубостями и мелочными, жестокими придирками. Однажды, ужиная со своей любовницей, он послал за графом Гордтом, сидевшим у императрицы. Швед, не осмеливаясь сказать Екатерине, куда его зовут, отклонил приглашение императора. Тогда Петр явился за ним лично, грубо объявил ему, что его ждет Воронцова, и заставил его следовать за собой. Другой раз, узнав, что императрица любит фрукты, он запретил подавать их на стол. Временами в нем просыпалась ревность. Так, Екатерина любила нюхать табак по обыкновению, распространенному в то время даже среди молодых и красивых женщин. Эта привычка появилась у Екатерины рано, и она не бросала ее всю свою жизнь. Но Сергей Голицын рассказывает, что она долж-

на была, по приказанию императора, отказаться от нее временно, так как имела несчастье попросить как-то отца князя Голицына одолжить ей свою табакерку. Известна сцена, ставшая знаменитой, когда император публично оскорбил императрицу, бросив ей в лицо грубую брань. Это случилось 21 (9) июня 1762 года на парадном обеде на четыреста персон, данном особам трех первых классов и иностранным послам по случаю ратификации мирного договора с Пруссией. Императрица занимала свое обычное место посреди стола. Император, имея по правую руку барона Гольца, сидел на одном из концов. Прежде, чем пить за здоровье Фридриха, Петр поднял бокал за императорскую фамилию. Не успела Екатерина поставить своего бокала на стол, как император послал к ней флигель-адъютанта Гудовича спросить, почему она не встала в знак уважения к его тосту. Она ответила, что так как императорская фамилия состоит только из государя, ее самой и их сына, то она сочла этот знак уважения излишним. Петр сейчас же вторично отправил к ней Гудовича, приказав ему сказать императрице, что она дура, и что она должна была знать, что оба принца Голштинские, дяди императора, тоже принадлежат к императорской фамилии. И, очевидно, боясь, что Гудович не исполнит в точности данного ему поручения, Петр на весь стол закричал: «Дура!» обращая непосредственно это приветствие той, которой оно предназначалось. Все слышали слова императора. На глазах у Екатерины блеснули слезы.

Но это были еще только оскорбления. Петр имел безумие прибавить к ним и угрозы. В тот же день фрейлина Воронцова получила орден св. Екатерины, который жаловался обыкновенно только лицам императорского дома и принцессам крови. Сама Екатерина получила его лишь после официального обручения с будущим императором. Кажется выходя из-за стола, Петр, как всегда, пьяный, отдал даже князю Барятинскому приказ арестовать императрицу. И только увещания принца Георга Голштинского заставили императора отказаться от своего намерения. Но все были уверены, что рано или поздно Петр решится на это. Говорили, что его подговаривают Воронцовы; что он хочет постричь Екатерину в монастырь, заключить в тюрьму маленького Павла и жениться на фаворитке. Елизавета Воронцова имела теперь над ним неограниченную власть. Такая именно любовница, как она, была вполне под стать этому паяцу в императорской мантии с манерами немецкого капрала. Она была некрасива. «Уродливая, грубая и глупая», – говорит про нее Массон. Немец Шерер, который все в Петре находил прекрасным, признается все-таки, что, выбрав себе такую подругу, Петр выказал очень прискорбный вкус. И это, по мнению Шерера, единственное, в чем можно было бы упрекнуть Петра. Воронцова была зла и невоспитанна. «Она божилась, как солдат, косила, воняла и плевалась при разговоре». По-видимому, она даже бивала иногда императора, но зато напивалась вместе с ним пьяной, и это служило ему удовлетворением. Рассказы-

вают, что в минуту переворота, погубившего и Петра, и его любовницу, и их безумную затею, манифест о низвержении Екатерины и возведении на престол Воронцовой был уже готов и должен был быть опубликован в непродолжительном времени.

Таким образом Екатерина стояла перед дилеммой, решение которой и в том и в другом смысле подвергало ее страшной опасности, с тою только разницей, что в первом случае она не могла ничего выиграть, а во втором могла немного потерять. Она и сделала, соответственно этому, свой выбор.

III. Революционный заговор. – Рассказ Рюльера. – Его неправдоподобность. – «Записки» княгини Дашковой. – Признания, сделанные ею Дидро. – Противоречия. – Недостаточность верных исторических данных. – Вероятное положение вещей. – Рискованные и неумелые попытки Орловых и княгини Дашковой. – Роль барона Бретейля. – «Покупка» в 60.000 рублей. – Заместитель де-ла-Шетарди. – Вильбуа. – Никто не сомневается том, что должно произойти. – Колесания Екатерины. – Она находится в ожидании событий. – Взятая ею на себя роль наружного спокойствия и выдержки.

История заговора 1762 г., который стоил Петру III престо-

ла, а затем и жизни, еще до сих пор не написана, и историки, приступая к изучению ее, сейчас же наталкиваются на недостаток в подлинных и достаточно точных документах. Рюльер, по-видимому, совершенно ошибся, приписывая Панину и княгине Дашковой такое большое значение в подготовке этого события. По его мнению, они сделали все или почти все. Однако, по словам того же Рюльера, инициатива принадлежала все-таки княгине Дашковой, которая решила пожертвовать добродетелью, чтобы добиться помощи Панина, выразившего, по-видимому, мало желания впутываться в рискованное предприятие. Нужно прибавить, что княгиня должна была долго колебаться прежде, чем отдаться Панину, ухаживания которого она первоначально отклоняла, так как боялась, что их связывают узы очень близкого родства. Она считала себя его дочерью. Но бывший посредником между ними пьемонтец Одар, – очень темная личность, – ставший с некоторых пор секретарем Екатерины, убедил ее стать выше этих соображений, и после этого оба любовника начали уже дружно работать. К несчастью, они не вполне сходились с Екатериной насчет той цели, которою должны были увенчаться их усилия. Под влиянием книг, прочитанных княгиней, и пребывания Панина в Стокгольме они оба прониклись революционными идеями. Они соглашались дать Екатерине власть, но только на известных условиях. Она же отказывалась от всяких компромиссов и, имея у себя под рукою также и Орловых, готова была, по-видимому, обойтись без услуг

княгини Дашковой. Тогда с той и с другой стороны было решено работать самостоятельно над ниспровержением Петра с тем, что в будущем выяснится, кто будет его преемником. Это было своего рода «параллельное действие». Княгиня Дашкова и Панин искали себе партизанов среди высших офицеров армии, спускаясь иногда до солдат. Орловы же действовали по преимуществу среди нижних чинов и изредка обращались и к их начальству. Обе партии встречались в казармах, но, как незнакомые, смотрели друг на друга с недоверием. Наконец Екатерине удалось соединить обе интриги и взять в свои руки руководство заговором.

Таков рассказ Рюльера. Но, несмотря на то, что его принимают на веру даже выдающиеся умы нашего времени, он, бесспорно, вызывает большие сомнения. На них наводит, например, описание внешности княгини Дашковой, сделанное Дидеро, который познакомился с нею впоследствии в Париже:

«Княгиню никак нельзя назвать красивой: она маленького роста; лоб у нее большой и высокий, щеки толстые и одутловатые, глаза – ни большие, ни маленькие, сидящие несколько глубоко в своей орбите; черные волосы и брови, приплюснутый нос, большой рот, толстые губы, испорченные зубы, шея круглая и прямая, как обыкновенно у русских, высокая грудь, полное отсутствие талии, быстрые движения, мало грации, никакого благородства...»

В действительности она имела, может быть, благодаря жи-

ности своего характера, некоторое влияние на холодный ум будущего первого министра Екатерины; но чтобы он ради нее забыл не только свою любовь к покою, но и обычную осторожность и принял участие в предприятии, рискованности которого не мог не сознавать, — это кажется нам очень невероятным. А чтобы Екатерина решилась вручить свои интересы, свою личную судьбу и участь сына, свои честолюбивые планы и самую жизнь в руки восемнадцатилетней заговорщицы, — это мы уже совершенно отказываемся допустить. Сама княгиня рассказывает нам, впрочем, в своих «Записках», как встретила Екатерина ее первые предложения. Это случилось незадолго до смерти Елизаветы. Раз вечером, зимою, около полуночи, к великой княгине, уже лежавшей в постели, вбежала ее подруга, задыхающаяся и дрожащая не то от волнения, не то от холода, и стала умолять Екатерину довериться ей, ввиду той опасности, которая Екатерине угрожала. Она хотела знать, в чем состоял план будущей императрицы, и просила указаний, чтобы знать, как действовать. Екатерина в ответ на это позаботилась прежде всего о том, чтобы спасти от простуды смелую искательницу приключений. Она уложила ее рядом с собою, завернула ее в одеяла и осторожно посоветовала ей вернуться скорее в собственную постель и не волноваться: плана у Екатерины не было никакого, и она во всем полагается на Провидение.

Не может быть никакого сомнения, что княгиня значительно искадила впоследствии роль, сыгранную ею в собы-

тиях 1762 г. Если верить ее «Запискам», роль эта была первенствующей. Превзойдя самого Рюльера, она выдает себя в них главной вдохновительницей и руководительницей революционного движения. Орловы и даже Панин будто бы только исполняли ее приказания. Это она направляла всю интригу и все подготовила. Но зато совершенно иначе звучат ее признания, записанные с ее слов Дидеро:

«Она низводила свои личные заслуги и заслуги других (в этом деле почти на нет; она говорила, что все они были опутаны какими-то невидимыми нитями, которые вели их вперед, они сами не знали – куда».

Правду же нужно, по всей видимости, искать, как и всегда, в чем-нибудь среднем между этими двумя противоречивыми уверениями; даже Фридрих, который уже должен был быть хорошо осведомленным, по видимому, тоже заблуждался, когда говорил впоследствии графу Сегюру: «Все было сделано Орловыми, а княгиня Дашкова только пахала сидя на рогах у вола». Но Орловы были молодыми людьми без всякого образования, авторитета и опыта, еще менее способными на серьезное дело, чем княгиня Дашкова; дядя же ее, князь Михаил Воронцов, – он терпеть ее не мог, – признает все-таки важность услуг, оказанных ею несколько против его воли делу, которое не могло быть ему вполне симпатично.

Что касается Панина, то, по свидетельству самой Екатерины, переворот, имеющий целью заместить царствующего императора новой императрицей, не мог очень соблазнять это-

го государственного человека, которым во всех его поступках прежде всего руководило холодное и расчетливое честолюбие. Он признавал, что царствование Петра III принимает нежелательный характер, но находил, что у императора есть уже законный преемник – его воспитанник Павел. Он наверное предпочел бы быть воспитателем императора, а не великого князя. Притом, зная характер Екатерины, он угадывал, что при ее царствовании он будет играть для нее, даже призванный в первые ряды, роль только статиста и подчиненного. И он не ошибался. Ввиду всех этих соображений, он, надо думать, держал себя до последней минуты в стороне.

Итак, не выходя из области данных, исторически доказанных или, по крайней мере, правдоподобных, надо признать, что заговор, подготовивший восшествие Екатерины на престол, остается до сих пор невыясненным. Но, судя по тому, что мы знаем о нем или можем о нем предполагать, он вполне оправдывает строгий приговор, произнесенный над ним Фридрихом: «Их заговор был безумен и плохо задуман».

Это мнение разделял один из находившихся в то время в Петербурге дипломатов, посвященный до известной степени в тайны приготовлений, о которых мы говорили. Мы имеем в виду барона Бретейля, и должны сказать, что в сущности высказанные им тогда взгляды и его поведение вовсе не заслуживали порицаний, которым он подвергся после восшествия Екатерины на престол. Известна двусмысленная роль, которую правительство Людовика XV предназначало этому

молодому и блестящему дипломату, посылая его на берега Невы. Но справедливость требует сказать, что он даже и не пытался начать ее разыгрывать. Во-первых, он нашел уже занятым то место возле Екатерины, которое для него имели в виду. И, во-вторых, герцог Шуазель забыл запретить ему взять с собою в Петербург жену. А она была молодая, хорошенькая и умела защищать свои права. Поэтому отношение нового посланника с императрицей ограничивались простым обменом вежливостей. После же сцены 25 февраля 1762 года, – мы приводим ее выше, – даже официальное положение барона Бретейля стало трудным, если не невыносимым, и он не замедлил воспользоваться этим, чтобы попросить, чтоб его отозвали. К этой просьбе он присоединял еще свои политические соображения, более чем далекие от мысли о соглашении с Россией. «Я нахожу, что следует думать только о том, чтобы уничтожить ее», – писал он.

Как ни резко это было высказано, по барон Бретейль в сущности только повторял слова самого герцога Шуазеля, говорившего о своем «гневе» и своем «презрении» к народу, подвластному Петру III. Эти взаимно натянутые отношения между обоими государствами еще осложнились вопросом этикета. Несмотря на то, что был уже июнь 1762 года, барон Бретейль все еще не мог добиться аудиенции у новою императора, в которой ему отказывали, потому что он не захотел первый сделать визит принцу Георгу Голштинскому. В то же время и Чернышев грозил в Париже сложить с се-

бя обязанности полномочного министра, если там не признают за его государем титула императора, так как «Петр III соизволил согласиться, чтобы его именовали так все державы мира, хотя титул царя, без сомнения, во всех отношениях самый прекрасный из всех, которые носили когда-либо монархи». В конце концов Бретейль получил приказ обещать эту уступку, если ему дадут аудиенцию, не предъявляя к нему новых требований; в противном же случае должен был представить свои отзывные грамоты. Получив новый отказ 18 июня 1762 года, Бретейль сделал то, что ему было предписано свыше. Но, уезжая из России, он все-таки решил прозондировать почву вокруг Екатерины. Его встретили здесь с неопределенными выражениями соболезнования. очевидно, не достаточно вескими, чтобы заставить его послушаться своего правительства. И только накануне отъезда, 24 июня, к нему явился Одар, которого он считал темным авантюристом. Он и прежде сталкивался с ним и даже отчасти покровительствовал ему, так как знал, что тот находился в сношениях с лицами, близкими императрице, но никак не предполагал, чтоб Одар мог быть лично уполномоченным ее посредником. Впоследствии сама Екатерина стала, по-видимому, стыдиться услуг, оказанных ей этим человеком, и быстро спровадила его прочь. Но теперь Одар объявил Бретейлю, что он послан государыней; что, «побуждаемая самыми верными подданными своего государства и доведенная до крайности поведением мужа, она решилась

пойти на все, чтобы положить этому конец». С этой целью она просила в долг 60.000 рублей. Бретейль отнесся к словам Одара с недоверием. До сих пор императрица никогда не посылала к нему пьемонтца с каким бы то ни было поручением. Он не знал, что Одар стал с некоторых пор ее секретарем. Однако он не отказал все-таки в деньгах, как уверяли потом. Он только принял необходимые предосторожности. Он попросил Одара принести ему собственноручную записку от императрицы, где были бы написаны следующие, продиктованные им, слова: «Поручаю подателю этого письма передать вам мои прощальные приветствия и попросить вас сделать для меня небольшие покупки». Это был своего рода кредитив, который он хотел получить от Екатерины, и его требование не могло показаться ей чрезмерным. Отдать такую значительную сумму в руки Одара, не имевшего никаких письменных удостоверений своего полномочия, значило бы для барона Бретейля рисковать и состоянием, и карьерой. Впрочем, пьемонтец и не настаивал, чтобы ему выдали деньги немедленно. По его словам, императрица желала только, чтобы в нужную минуту ей выдали эту сумму под простую расписку. Бретейль отдал тогда распоряжение Беранже, которого оставлял в Петербурге заведующим делами посольства: если бы Беранже принесли от императрицы письмо, составленное в условленных выражениях, то он должен был бы немедленно послать к Бретейлю курьера в Варшаву, и Бретейль решил бы тогда, как ему поступить. Он никогда не по-

лучал из Парижа инструкции, позволявших ему оказывать императрице денежные услуги и повторить роль де-ла-Шетарди в 1740 году. Выгода, которую принесли Франции подвиги этого дипломата, вряд ли могла поощрить теперь Бретейля к повторению подобных опытов. Да и депеши герцога Шуазеля предписывали ему, напротив, осторожность и сдержанность. Кроме того, посвященный в тайны личных симпатий Людовика XV, Бретейль знал, что король с решительным неодобрением отнесся бы к такому вмешательству в русские дела. Но, несмотря на все это, не должен ли был Бретейль стать выше этих соображений? Или, по крайней мере, хоть отложить свой отъезд? Но он не сделал этого по той простой причине, что, даже допуская, что Одар был уполномочен самой императрицей и что те приготовления к государственному перевороту, на которые намекал пьемонтец, существовали в действительности, он считал их все-таки недостаточно серьезными и притом обреченными на верный неуспех. Того же мнения был и Беранже. Десять дней спустя после отъезда барона Бретейля Одар опять заявил о себе, назначая Беранже свидание поздно ночью где-то в пустынном месте. Но, вместо записки, которую требовал барон, он принес ему другую: «Покупка, которую мы имели в виду, будет наверное вскоре сделана, но обойдется гораздо дешевле; поэтому деньги более не нужны», – стояло там. Итак, императрица не просила уже ни о чем больше. Беранже был этому очень рад, тем более, что ее второе поручение, переданное через Одара,

показалось ему еще более подозрительным, во всяком случае более странным, чем первое. Зачем, уже не нуждаясь в его помощи для дела, о котором шла речь, его все-таки извещали о том, что оно в скором времени будет приведено в исполнение? К чему это могло послужить? Разве только к тому, чтобы доказать неосторожность и легкомыслие пресловутых заговорщиков? Беранже увидел «столько тумана в голове господина Одара, столько лиц, замешанных в этой тайне, такую бессмыслицу в их поступках и такое бессилие», что не сомневался в полном их поражении. Имена руководителей заговора, названные ему, еще более укрепили его в этом убеждении. Это были, по словам Одара, княгиня Дашкова, «неосторожная до крайности, хотя и смелая», – говорит про нее Беранже; затем гетман Разумовский, «ленивый, ограниченный и совершенно апатичный», и граф Панин, «человек замкнутый и скромный, с мудрым и хитрым умом, но занимающий подчиненное положение». Об Орловых Одар даже не упомянул. Их имя ничего не могло бы сказать в то время французскому посланнику. Какие-то поручики! Какое значение могла иметь их помощь?

Что касается других членов дипломатического корпуса, находившихся в то время в Петербурге, то они ни о чем даже и не подозревали. Переписка Мерси, вплоть до 10 июля, т.е. следующего после переворота дня, не включает в себе ни одной фразы, которая указывала бы на то, что он предвидел событие. И это не было дипломатической сдержанностью с

его стороны, потому что он часто отзывался в своих письмах о Петре в очень резких выражениях. Он не стесняясь говорил также или во всяком случае давал понять, что дворцовая революция была бы благодеянием для России и в особенности для ее союзников. Но он никого не считал способным произвести ее. Это мнение разделял и Кейт. Фридрих, более проникательный или лучше осведомленный, волновался, посылал предупреждения своему новому союзнику, но и он не думал об Екатерине, как о заместительнице мужа. Он подозревал скорей заговор в пользу молодого Иоанна.

И в общем никто из лиц, наиболее заинтересованных в том, чтобы быть готовыми к великому событию, не предполагал, что оно так близко, и не ожидал его. Кто стал бы обращать внимание на подпольную и неумелую интригу нескольких безумцев? По одной версии, – она принадлежит княгине Дашковой, – сами заговорщики не были дальновиднее: «Дело уже сильно подвинулось вперед, а ни она, ни императрица, никто другой о том и не подозревали. За три часа до революции все считали, что находятся еще чуть ли не за три года до нее».

По крайней мере, до последней минуты никем не было составлено определенного плана или даже точного представления о том, как действовать и какие средства употребить, чтобы достичь намеченной цели. Каким образом низвести Петра с престола и посадить на его место Екатерину? Никто этого не знал. По признаниям, которыми Одар счел своим дол-

гом отблагодарить Беранже, было несколько попыток овладеть особой императора, но они успеха не имели. Насколько можно судить, все действовали на авось. Княгиня Дашкова, — это возможно, — склонила на свою сторону нескольких офицеров. Братья Орловы — и это уже совершенно достоверно — раскинули по казармам широкую сеть пропаганды и подкупа. В деньгах у них недостатка не было, даже до попытки занять у барона Бретейля, сделанной в последнюю минуту. В начале марта Григорий Орлов получил место казначея артиллерийских войск. Генерал-фельдцейхмейстер, злополучный любовник княгини Куракиной, только что умер, и его преемником был назначен бывший камергер молодого двора, когда-то удаленный от Екатерины за свою будто бы чрезмерную преданность ей, — как находила тогда Елизавета, — француз Вильбуа. Вильбуа был сыном бывшего пажа Петра I, произведенного впоследствии в вице-адмиралы. Очевидно, было предначертано свыше, что француз опять сыграет выдающуюся роль в государственном перевороте, возводившем на русский престол новую императрицу, и что у Шетарди найдется-таки заместитель. Вполне вероятно, что выбор для места казначея пал на Григория Орлова, благодаря личному вмешательству новой генерал-фельдцейхмейстера, действовавшего под внушением самой Екатерины. Иначе нельзя было объяснить назначение молодого офицера на этот ответственный пост. Равносильно было бы поставить войсковую кассу на расхищение прохожим на большую до-

рогу. Помощник Вильбуа, генерал-лейтенант Пурчур, обратил на это внимание, но ему сказали, что Орлову покровительствует императрица, и он умолк. Казначей стал сейчас же беззастенчиво распоряжаться вверенными ему деньгами. Таким образом Орловым удалось завербовать до девяноста девяти солдат в каждом из четырех гвардейских полков: в Измайловском (это был первый полк, перед которым явилась Екатерина в день государственного переворота), в Семеновском, в Преображенском и в Конно-гвардейском, где служил знаменитый Потемкин.

Екатерине приходилось в то время оказывать иногда непосредственную и личную помощь своим приверженцам. Но в общем она держала себя, по-видимому, в этом отношении чрезвычайно осторожно и сдержанно. Например, один из солдат, переманенных Алексеем Орловым, гренадер Стволов, потребовал какого-нибудь знака от императрицы, чтобы убедиться в действительности заговора. Ему обещали, что, если он будет стоять на ее дороге во время прогулки государыни по парку императорского дворца, то ее величество даст ему облобызать свою руку. Екатерина охотно согласилась на этот маневр, так как ничем при этом не рисковала. «Ведь мне все целовали руку», говорила она впоследствии Храповицкому. Но добрый солдат был тронут до глубины души. Он со слезами склонился над рукой императрицы и стал ее горячим сторонником.

Последним же человеком, уверовавшим в этот заговор,

была, насколько можно судить, сама Екатерина. В рассказе, сохранившемся об этой эпохе ее жизни, – его приписывают ей самой, – она говорит, что стала обращать внимание на предложения, которые ей делали с самой смерти Елизаветы, только с того дня, когда, публично оскорбив ее, Петр дошел в своей дикости и злобе до того, что хотел ее арестовать. Это случилось, как мы знаем, 21 июня, т.е. за несколько недель до государственного переворота. Но и после этого времени, и вплоть до того дня, когда Петр был лишен престола, ничто не указывает на активное участие будущей самодержицы в происках ее друзей. До роковой минуты Екатерина, по-видимому, стремилась только разыгрывать роль наружного спокойствия и выдержки. И в этом отношении она была бесподобна. Искусство, с которым она умела противопоставлять поведению мужа свое собственное и подчеркивать все отталкивающее в его выходках тем, что во всех поступках доводила до крайности противоположные побуждения, – ставит ее в первые ряды политических актрис всех времен. Смерть Елизаветы и множество сложных церемоний при ее погребении, предписываемых и обрядами православной церкви и этикетом двора, дали новому императору первую возможность проявить всю странность и грубость своего характера. Он не преминул воспользоваться этим случаем и выказал себя до последней степени непристойным. Екатерина же, напротив, вызвала всеобщее восхищение и сочувствие теми знаками почтения и дочерней преданности к покойной, на которые не ску-

пилаась.

«Никто, – писал про нее барон Брстейль. – так не усердствует в воздаваниях последнего долга покойной императрице, которая, по правилам греческой веры, очень разнообразны и полны суеверия; она (Екатерина) наверно в душе над ними смеется, но духовенство и народ считают, что она глубоко растрогана ими, и ставят ей это в заслугу».

Сохранился портрет Екатерины в траурном платье, которое она не снимала в то время ни на один день. Притом она строго соблюдала все церковные службы, посты и праздники, к которым Петр относился с нескрываемым и полным презрением. На торжественной обедне в придворной церкви по случаю праздника Троицы австрийский посланник с удивлением увидел, что император без стеснения разгуливает по храму и громко разговаривает с придворными кавалерами и дамами, в то время как императрица, стоя неподвижно на своем месте, казалась погруженной в молитвы.

Петр, становившийся все более несдержанным, забывался ежеминутно до того, что доходил до кулачной расправы с лицами своей свиты, даже с высокими сановниками и верными своими слугами, и делал это публично, на глазах у всего двора. Нарышкин, Мельгунов, Волков подверглись поочередно этому оскорблению. Екатерина же была воплощением самой кротости. Все соприкасавшиеся с нею оставались в восторге от ее приветливости, от ровности ее нрава, от ее любезности. В противоположность грубости мужа, от которой ей

самой приходилось страдать, она держала себя с таким достоинством, что невольно вызывала общую симпатию, не допуская в то же время, чтобы это чувство переходило в жалость к ней и в признание ее опалы. На знаменитом банкете, где ее называли дурой, она пролила несколько слез, как раз столько, чтобы растрогать свидетелей этой тяжелой сцены; но потом сейчас же, повернувшись к графу Строганову, стоявшему за ее креслом, она попросила его рассказать ей что-нибудь веселое, что рассмешило бы ее и отвлекло бы внимание присутствующих.

Была минута, когда она сумела замаскировать свои чувства настолько, что казалась благосклонной и снисходительной к самому Петру. Все дипломаты отмечают в своих письмах неожиданное сближение между августейшими супругами. Императрица, улыбающаяся и обворожительная, стала появляться на ужинах Петра, на его оргиях пива и табака. Она мужественно переносила запах трубок, тяжелое дыхание перепившихся немцев и их грубые шутки. Для Екатерины наступала критическая минута. Как мы уже говорили, она была беременна. И ей надо было во что бы то ни стало скрыть от всех свое положение, в особенности от императора. Говорят, что в день, когда у нее начались роды, ее верный слуга Шкурин поджег свой дом, расположенный в предместье города, чтобы отвлечь туда любопытных. Петр, разумеется, тоже побежал на пожар, чтобы насладиться его зрелищем и раздавать направо и налево бранные слова и удары

палкой. За ним последовали все фавориты. И Екатерина 23 апреля благополучно разрешилась от бремени сыном, которому было дано имя Бобринского и который положил основание одному из знатнейших родов в России. Мы еще встретимся с ним впоследствии. Приблизительно в это же время, в ответе на комплимент одного из придворных, восхищавшегося цветущим видом и красотой императрицы, блестящей, как луч света, посреди приближенных, у нее вырвалось такое признание:

«Если бы вы знали, чего стоит иногда быть красивой!»

Но что же ожидало ее дальше, в будущем? Этого она, вероятно, сама не представляла себе ясно. Она знала, конечно, что подземная работа ее друзей должна была когда-нибудь выйти на свет и произвести взрыв; что безумства мужа должны вызвать кризис: тогда она могла бы начать действовать. И стала бы действовать наверное без всякого колебания; это она знала также. Но пока, как она говорила княгине Дашковой, она всецело полагалась на Провидение. По мнению Фридриха, ей и не оставалось, впрочем, ничего другого. «Она еще ничем не могла руководить, – говорил он впоследствии, припоминая все обстоятельства государственного переворота 1762 года: – она просто бросилась в объятия тех, кто хотел спасти ее». Да в Екатерине никогда и не было умения вести интригу, комбинировать, не было той осторожности и ловкости, которые необходимы, чтобы довести до конца трудное предприятие. Сила Екатерины была в ее

несокрушимой воле. Здесь она действительно почти не знала себе равных. Но, благодаря этому складу своего характера, она по преимуществу должна была рассчитывать, – что и делала всю свою жизнь, – на ту высшую и таинственную силу, к которой взывала в своем разговоре с княгиней Дашковой, и могущество которой признавал и сам Фридрих, хотя и называл ее непочтительно: «Его священное величество случай». И, вручая свою судьбу Орлову, как это было теперь, или Потемкину, как это было впоследствии, Екатерина и отдавалась, собственно говоря, именно случаю. С Орловым он принес ей счастье; с Потемкиным и счастье и, пожалуй, гений. Когда же с Зубовым он не дал ей ни гения, ни счастья, это было ее гибелью. Но Екатерина все-таки осталась великой. В настоящую же минуту случай должен был даровать ей победу. Впрочем, она была обязана этой победой не ему одному: ей помог в ее смелом предприятии тот самый человек, против которого оно было направлено. «Он дал прогнать себя с престола, как мальчик, которого отсылают спать», – сказал все тот же Фридрих про Петра III.

Глава третья

Победа

1. Отъезд Петра III в Ораниенбаум. – Его воинственные замыслы. – Безопасность, в которой он считал себя. – Ека-

терина едет в Петергоф. – Петр отправляется за ней туда же. – Он уже не застаёт там императрицы. – Государственный переворот совершился. – Как становятся самодержицей вся Россия. – Орловы. – Измайловский полк. – Попытки сопротивления. – Да здравствует императрица! – Панин. – Маленький Павел. – Сенат и синод. – Канцлер Воронцов. – Княгиня Дашкова. – Учреждение нового правительства.

Петр выехал из Петербурга в Ораниенбаум 24 июня. 22 он давал большой ужин на пятьсот персон, после которого был сожжён великолепный фейерверк, все в честь того же мира, заключённого с Пруссией. 23 были новые празднества, и банкеты продолжались в Ораниенбауме в более интимном кругу. Но на этот раз Петр должен был оставаться недолго в своей летней резиденции. Он вскоре отправлялся к армии, в Померанию, откуда собирался произвести набег на датчан в ожидании более широкого поля битвы, куда бы его призвал его новый союзник, и где он мог бы прославить свое имя. Петр рассчитывал выехать из России морем в конце июля. Флот не был, положим, вполне готов к плаванию. Болезни сильно сократили наличный состав матросов. Но это Петра не смущало. Он подписал указ о том, чтобы больные матросы стали немедленно здоровы.

Воинственные замыслы Петра против Дании немало тревожили его друзей, начиная с самого Фридриха. Уполномо-

ченные прусского короля, барон Гольцц и граф Шверин, не раз высказывали Петру свои опасения на этот счет. Было ли благоразумно со стороны императора покинуть столицу и страну, не успев еще укрепить свой престол и даже не короновавшись? Фридрих особенно настаивал на этом последнем пункте. Прежде, чем предпринимать что бы то ни было, Петр должен был бы отправиться в Москву и возложить па свою голову царский венец. В такой стране, как Россия, этот вопрос формы имел громадное значение. Но Петр никого не хотел слушать. «Кто умеет уживаться с русскими, может быть уверен в них», отвечал он. Он думал, что обладает этим умением.

Но он был убежден также и в том, что держит в руках всех внутренних врагов и предполагаемых участников заговора. Ему уже указывали на Орловых. Один из близких им людей, поручик Перфильев, выдал их царю и взялся выслеживать пятерых братьев с тем, чтобы обойти их в их намерениях. Но они обошли его самого и таким образом заставили его обмануть Петра: Орловы заподозрили в нем изменника и в последнюю минуту над ним насмеялись.

Екатерина, которую Петр имел неосторожность оставить одну в Петербурге, тоже должна была вскоре выехать оттуда на лето. Петр приказал ей поселиться в Петергофе. В Ораниенбауме же царствовала Елизавета Воронцова, а Павел оставался в Петербурге под надзором Панина. Петр рассчитывал, впрочем, еще увидеться с женою до своего отправле-

ния в поход. Он отложил этот отъезд до 10 июля (29 июня), дня своего ангела. Он хотел отпраздновать его в Петергофе и выехал туда 9 июля утром, чтобы присутствовать на следующий день на парадном обеде, который императрица должна была дать в его честь. Петр ехал медленно, влача за собою бесчисленную свиту, среди которой было семнадцать дам. Он добрался до Петергофа только к двум часам дня. Но здесь его ждала полная неожиданность: дворец был пуст. Петра встретили только несколько слуг с перекошенными от испуга лицами.

– А где императрица?

– Уехала.

– Куда?

Никто не знал или не хотел ответить. Подошел крестьянин и передал Петру какую-то бумагу. Это была записка от Брессана, бывшего француза-камерданера Петра, которого он назначил управляющим фабрикой гобеленов. Так создавались в то время в России карьеры! Брессан писал, что императрица с утра отбыла в Петербург, где провозгласила себя единой и самодержавной государыней. Петр не поверил. Он, как сумасшедший, бросился в опустевшие комнаты императрицы, искал ее по всем углам, обежал сады, громко клича Екатерину. Растерянная толпа придворных следовала за ним в этих бесполезных поисках. Наконец пришлось сдаться перед очевидностью.

Что же именно произошло? Это неизвестно в точности.

Здесь мы опять сталкиваемся с теми неясностями и противоречиями, с которыми нам приходилось уже встречаться в течение этого рассказа. Повествование княгини Дашковой вызывает мною сомнений; рассказ Екатерины тоже неправдоподобен. В ночь с 8 на 9 июля подругу Екатерины разбудил один из Орловых и сообщил ей об аресте капитана Пассека, принимавшего участие в заговоре. Заговор, следовательно, был открыт, и все его участники обречены на гибель. Княгиня Дашкова не стала колебаться. Она приказала забить тревогу в Измайловском полку, – он считался самым преданным из всех, – подготовить его к приему императрицы и послать за Екатериной в Петергоф. Так и сделали. Но со стороны Орловых княгиня встретила все-таки некоторое сопротивление. Младший из братьев, Федор, вернулся к ней через несколько часов и передал ей об их сомнениях: не рано ли было приступать к последнему, рискованному шагу? Но княгиня пришла в страшный гнев. Они ведь и так потеряли уже много времени! Федор Орлов не посмел возражать ей, и ее приказания были исполнены. Вот версия преданной подруги Екатерины. Сама же императрица рассказывает совсем другое. В своем письме к Понятовскому она негодует на Ивана Шувалова, «самого низкого и подлого из людей», который осмелился написать Вольтеру, что «девятнадцатилетняя женщина сменила правительство в России». Орловы, утверждает она, наверное сумели бы придумать что-нибудь лучше, чем подчиниться взбалмошной девчонке. До послед-

ней минуты «от нее (княгини Дашковой) скрывали, напротив, все наиболее важные сведения». Все совершилось будто бы под «личным» руководством Екатерины, и ее одной, благодаря мерам, принятым ее и главарями заговора еще «за шесть месяцев». За шесть месяцев! Так ли это? И не говорила ли раньше сама Екатерина, что она стала придавать значение предложениям свергнуть Петра с престола только после того, как он оскорбил ее публично, т.е. лишь за три недели до 9 июля?

Во всем этом очень трудно разобраться, – как и во всех женских ссорах, впрочем, основанных на зависти. К тому же, и Екатерина и Дашкова могли быть вполне искренни, восстанавливая в своей памяти через много лет это прошлое, уже потускневшее под влиянием пережитого, и приписывая себе воображаемую роль в событиях, которыми они обе, казалось, руководили, но которые в действительности вели их самих за собой. Вполне вероятно, что арест Пассека, вызванный, по-видимому, какой-то случайной причиной, ускорил дело, заставив заговорщиков идти на риск, чтобы спасти свои головы, которые они считали в опасности. Но достоверно только одно: 9 июля, в пять часов утра, Алексей Орлов неожиданно явился в Петергоф и увез с собою в Петербург императрицу.

Екатерина крепко спала, – мы знаем эту подробность от нее лично, – когда в ее комнату вошел молодой офицер. Следовательно, между ними ничто не было заранее условленно,

и Екатерину застали врасплох. Чтобы понять сцену, которая разыгралась тут, по собственному свидетельству императрицы, в ее спальне, надо знать, что такое непосредственно русские натуры, одной из которых являлся этот Орлов. Таких людей можно еще и теперь встретить в России. Мысль у них никогда не бывает сложна, и выражение ее совершенно просто. Искусство подготовить человека к удару или придавать различные оттенки своим словам для них неизвестно. Они говорят прямо то, что им нужно сказать, идя непосредственно к цели самым кратчайшим путем. Они тем же тоном и в тех же выражениях рассказывают о самой банальной вещи, как и о самой трагической. Их манера говорить напоминает в своем роде игру на монохорде. Если бы даже луна упала с неба, то подмосковный мужик сказал бы всем об этом: «Луна свалилась», тем же голосом, как если бы он говорил о рождении теленка. Алексей Орлов, разбудив императрицу, сказал ей поэтому просто:

– Вставайте! Все готово, чтобы провозгласить вас.

Она хотела, чтобы он дал ей хоть какие-нибудь объяснения. Но он сказал еще: «Пассек арестован. Надо ехать». И замолчал. Екатерина быстро оделась, «не делая туалета», и села в карету, в которой приехал Орлов. Одна из ее горничных, Шаргородская, заняла место рядом с нею. Орлов взобрался на козлы, верный Шкурин стал на запятки, и тройка помчалась в Петербург. По дороге они встретили Мишеля, французского парикмахера императрицы, который отправ-

лялся во дворец для ее утренней прически. Его захватили с собою.

До города оставалось проехать километров тридцать; лошади, только что пробежавшие это расстояние, везли теперь с трудом. Но никто не подумал о том, чтобы приготовить запасных для перепряжки. Все чуть было не погибло из-за этой небрежности. Но две крестьянские лошади, из проезжавшей мимо телеги, спасли Екатерину (если верить одному свидетельству) и доставили ей корону. В пяти верстах от Петербурга ее встретили Григорий Орлов и князь Барятинский, начинавшие уже волноваться. Екатерина пересела в их карету, и они прибыли наконец в казармы Измайловского полка.

«Таким образом, – пишет Рюльер, – чтобы сделаться самодержавной властительницей самого обширного государства в мире, прибыла Екатерина между семью и восемью часами: она отправилась в дорогу, поверив на слово солдату, везли ее крестьяне, сопровождал любовник, и сзади следовали горничная и парикмахер».

В общем всех заговорщиков собралось не больше двенадцати человек. Несмотря на уверения Алексея Орлова, еще ничто серьезно не было приготовлено. Все по-прежнему действовали наудачу. Забили в барабан. Полураздетые, заспанные солдаты выбежали из казарм. Им приказали кричать: «Да здравствует императрица!» Они предчувствовали раздачу водки и повиновались, готовые кричать все, что угодно. Двоих из них послали за священником, которого они сейчас

же привели, держа его под руки. Священник тоже безропотно исполнил все, что потребовали от него. Он взял крест, пробормотал слова присяги, солдаты подняли руки: все было кончено, императрица была провозглашена.

«Престол в России не наследуется, не занимается по праву выбора, – им овладевают», – сказал неаполитанец Караччиоли.

В провозглашении Екатерины вовсе не упоминалось о Павле. Екатерина была объявлена единой и неограниченной государыней, самодержицей. Это не отвечало интересам Панина. Но разве было до Панина в эту минуту, и кто стал бы думать о нем?

«Тупоумные принцы, – говорит Герцен, – едва умевшие говорить по-русски, немки и дети садились на престол, сходили с престола... горсть интриганов и кондотьеров завела государством».

Из других гвардейских полков один Преображенский оказал некоторую попытку сопротивления. Семен Воронцов, брат фаворитки, командовал в нем ротой и не пожелал помогать делу, которое должно было погубить его сестру. Это был, впрочем, человек долга и чести, – он доказал это впоследствии. Он обратился с речью к солдатам; майор Воейков поддержал его и, увлекая за собою полк, они решительно двинулись против взбунтовавшихся товарищей, следовавших за Екатериной. Обе маленькие армии встретились перед Казанским собором. На стороне Екатерины было превосход-

ство численностью, но войска ее представляли собою беспорядочную толпу. Преображенцы же, напротив, шли под командой своих офицеров стройными рядами и в грозном, боевом порядке: они могли еще решить участь того дня.

Но тут сказалось счастье Екатерины. В ту минуту, когда мятежники и оставшиеся верными Петру солдаты остановились в нескольких шагах друг от друга, уже готовые схватиться врукопашную, один из сослуживцев Семена Воронцова, шедший в хвосте полка, неожиданно крикнул: «Ура! Да здравствует императрица!» Это был словно сигнальный выстрел. Весь полк подхватил этот крик и ринулся вперед; солдаты обнимали своих товарищей и, упав на колени, молили у царицы прощение за то, что не признали ее сразу; они во всем обвиняли офицеров. Воейков и Воронцов переломили шпаги. Их арестовали. Впоследствии Екатерина простила их, но никогда не забывала им их поступка. Воронцов должен был выйти из армии, так как, несмотря на свои выдающиеся достоинства и блестящие заслуги, видел только одно недоброжелательство к себе. Он был назначен послом в Лондон, где и жил как бы в почетном изгнании.

Теперь все устремились в Казанский собор, куда вошла Екатерина, чтобы принять присягу на верность своих новых подданных. Вскоре показался и Панин. Говорят, что в его карете сидел маленький Павел в ночном чепце. Таким образом, ребенок присутствовал, может быть, при собственном свержении с престола, потому что то, что происходило в со-

боре, было, несомненно, лишением его принадлежащей ему по праву власти, во всяком случае временным. Из чтимого народом храма Екатерина перешла в Зимний дворец, который столько раз был свидетелем ее унижений, и где теперь ее встретила раболепная толпа. Явились и сенат, и синод в полном составе. У этих двух высоких учреждений вошло за последнее время в привычку идти послушно за гвардейскими полками. Пришло еще одно лицо, которого Екатерина никак не ожидала видеть: канцлер Воронцов. Он ничего не понимал в том, что совершилось, и наивно спросил Екатерину, почему она оставила Петергоф. Вместо ответа она сделала знак, чтобы его увели. Ему приказали пойти в церковь и присягнуть императрице. И он повиновался.

Наконец, расталкивая всех локтями, взволнованная, задыхающаяся и даже слегка разочарованная, прибыла и воображаемая устроительница всего этого торжества, княгиня Дашкова. Ее карету не допустили к подъезду дворца, но, если верить ей, герои дня, офицеры и солдаты, стоявшие вокруг, подхватили ее с земли и понесли на руках. Ее платье и прическа, несомненно, пострадали при этом, но зато это послужило ей вознаграждением за огорчения, которые ее ожидали. Ее свидание с императрицей было более коротким и менее торжественным, нежели она рассчитывала. Теперь было не до нежных излиятий и не до пышных церемоний. Приходилось работать серьезно. Прежде всего надо было придать официальную форму тому, что было импровизировано

в порыве юношеского увлечения и победительной смелости. Необходимо было издать манифест. Его поручили составить мелкому канцелярскому чиновнику, Теплому. Но почему же не Панину? Этот вопрос возбуждал много толков. Говорили, что воспитатель маленького Павла счел удобным и возможным высказать императрице в эту минуту план, который он лелеял в пользу своего ученика. Но, по одной версии, офицеры Измайловского полка воспротивились тому, чтобы Екатерина подписала обязательство царствовать лишь до совершеннолетия Павла. По другой, условие, продиктованное Паниным и представленное им императрице, было подписано ею и отдано на хранение в архив сената, но Орловы, как утверждали одни, или канцлер Воронцов, по словам других, взяли оттуда документ и отдали его в распоряжение Екатерины. Но это кажется нам маловероятным. Панин не был человеком, способным поверить так легко подобной уступке со стороны Екатерины, и должен был понимать, что гарантия, данная ею при таких условиях, была бы совершенно ничтожна. Он знал историю своей родины. Императрица Анна взошла на престол, подписав настоящую конституционную хартию. Но не прошло и шести недель, как о ней не было и речи. Во всяком случае будущий первый министр мог иметь другие веские причины, по которым не стал принимать участия в редактировании манифеста.

Манифест же, составленный Тепловым, был отпечатан и прочтен народу, и народ кричал: «Да здравствует импера-

трица!» – как кричали прежде солдаты. Екатерина произвела смотр войскам; они еще раз приветствовали ее, и новому царствованию было положено начало: за этот день не было пролито ни одной капли крови. В разных местах были отдельные попытки к беспорядкам. Народ ворвался в дом принца Георга Голштинского и разгромил его. Сам принц и его супруга подверглись насилию. Солдаты срывали кольца с пальцев принцессы. Кроме того, гвардейцы взломали несколько магазинов, требуя водки. У одного купца было выпито вина на 4.000 рублей. Но иски об убытках, предъявленные потерпевшими, не превышали в общем 24.000 рублей: это было так мало, что об этом не стоило и говорить. И только вечером, когда прошла первая минута опьянения, и Екатерина осталась в Зимнем дворце одна вместе со своими друзьями, их разгоряченные головы охватила тревога. Если, с одной стороны, все говорило за то, что новое правление было учреждено, то, с другой, в сущности еще ничего не было сделано, чтобы завоевать престол: ведь Петр мог оказать им сопротивление.

Было ли это в его силах?

При серьезном размышлении здесь не могло быть двух мнений. А Панин, может быть, и занимался в ту минуту таким размышлением. При Петре находился отряд голштинцев в полторы тысячи человек; они были превосходно обучены и наверное стали бы бороться за Петра до последней возможности, защищая этим и самих себя от верной опа-

лы. Этой маленькой армией командовал первый полководец России и даже один из лучших во всей Европе – фельдмаршал Миних. Вызванный недавно из сибирской ссылки новым императором, он тоже не бросил бы своего благодетеля. В распоряжении же Екатерины были только те четыре полка, что провозгласили ее императрицей. Главные силы русской армии были сосредоточены в Померании и не перешли еще ни на чью сторону, или, вернее, оставались по-прежнему на стороне Петра и готовы были исполнять только его приказания. И если бы Петр вступил в борьбу с Екатериной, выиграл время и воздействовал бы на померанскую армию именем и славою своего знаменитого полководца, разве она не послушала бы его зова и не примчалась к нему на помощь? Он был императором и готов был лично принять участие в войне: и то, и другое всегда кажется обаятельным в глазах солдат, особенно тех, что только что выиграли ряд блестящих сражений. Недовольна Петром была только гвардия; но остальные рода оружия, как и Петр, смотрели на нее недоброжелательно: они завидовали ее привилегированному положению. Орловы, вербуя себе сторонников, не выходили за пределы гвардии. Все это, вместе взятое, могло грозить Екатерине страшной опасностью в будущем.

Но где же был Петр, что он думал и что делал в эту минуту?

II. Колебания Петра. — Поездка в Кронштадт. — «Нет больше императора!..» — Отступление. — Смелые планы фельдмаршала Миниха. — Петр решается на переговоры. — Екатерина со взбунтовавшимися полками идет навстречу мужу. — Императрица на коне. — Отречение. — Заключение в Ропшу. — Пребывание Екатерины в Петергофе. — Въезд императрицы. — Григорий Орлов. — Начало фаворитизма.

Убедившись, что императрицы нет там, где он рассчитывал найти ее, Петр все еще не соглашался признать истину и сознать всю глубину своего несчастья. Его доверенный Перфильев ни о чем не предупредил его. Несчастный Перфильев провел ночь, играя в карты с Григорием Орловым, и думал, что держи! его, таким образом, под своим надзором! Петр решил послать на разведки. Вокруг него было много народа, и канцлер Воронцов, князь Трубецкой, Александр Шувалов сейчас же предложили отправиться в Петербург. Но ни один из них не вернулся. Наконец приехал из отпуска один голштинец, пробывши в городе сутки; он подтвердил печальные известия. Было уже три часа пополудни. Тогда Петр принял другое решение: он призвал Волкова и приказал ему составить несколько манифестов. Он начинал бумажную войну. Впрочем, он сдался на увещания Миниха и послал в Кронштадт одного из своих флигель-адъютантов, графа де-Вьера, чтобы обеспечить за собою этот важный пункт. Через час он вспомнил, что сам солдат: он надел

парадный мундир и послал за голштинцами, остававшимися в Ораниенбауме. Он хотел укрепиться в Петергофе и выдержать здесь восстание. Голштинцы прибыли к восьми часам, но Петр уже изменил намерение. Миних не ручался за то, что в Петергофе можно выдержать осаду. Он хотел, чтобы государь сам отправился в Кронштадт вместо того, чтобы посылать туда гонцов. У Миниха был свой план. Неожиданно Петр решил повиноваться фельдмаршалу. На дворе была уже ночь. Все выехали все-таки из Петергофа; казалось, что они отправляются на увеселительную морскую прогулку. Мужская и женская свита Петра разместилась на яхте и на гребной галере. Они прибыли к Кронштадту в час ночи.

– Кто идет? – окликнул часовой с крепостной стены.

– Император.

– Нет больше императора! Отъезжайте. Графа де-Вьера опередил посланный Екатерины, адмирал Талызин.

Но Миних не отчаялся. Вместе с Гудовичем он умолял Петра высадиться, несмотря ни на что. По ним не осмелились бы стрелять. Они за это отвечали. Но Петр спустился уже вглубь трюма. Ему до сих пор приходилось иметь дело только с картонными крепостями. Он дрожал всем телом. Женщины пронзительно кричали. Пришлось повернуть назад.

Тогда Миних предложил Петру другое: доехать до Ревеля, сесть на военный корабль, отправиться в Померанию и принять там командование армией.

– Сделайте это, государь, – говорил старый солдат, – и через шесть недель Петербург и вся Россия будут опять у ваших ног. Ручаюсь вам в том головою.

Но у Петра истощился уже весь запас энергии. Он мечтал только о том, как бы вернуться скорее в Ораниенбаум и начать оттуда переговоры с императрицей. Поехали в Ораниенбаум. Здесь Петр опять встретил неожиданное известие: Екатерина покинула Петербург и вместе со своими полками шла навстречу Петру и голштинцам.

Шествие Екатерины, в противоположность Петру, было триумфальным. Она ехала впереди войск на коне, в мундире, взятом у одного из семеновских офицеров. Ее меховую соболью шапку украшал венок из дубовых листьев, а длинные волосы развевались по ветру. Рядом с нею, в таком же мундире, скакала на коне княгиня Дашкова. Солдаты были в восторге. Они в дружном порыве сбросили с себя мундиры, в которые их нарядил Петр III, изорвали их или продали старьевщикам и надели на себя старую боевую форму, ту, что Петр I тоже выписал для них из Германии, но считавшуюся теперь уже национальной. Они горели желанием помериться с голштинцами силой.

Но им не доставили этого удовольствия. После длинного ночного перехода их встретил в пять часов утра парламентар Петра. Это был князь Александр Голицын. Император предлагал императрице разделение власти. Екатерина не удостоила его ответом. Через час она получила от мужа акт отрече-

чения. Она остановилась в Петергофе, куда привезли также и Петра. Панин, которому было поручено передать ему последнюю волю императрицы относительно его личной участи, нашел его в самом жалком состоянии. Петр порывался целовать ему руки, умоляя его, чтобы его не разлучали с его любовницей. Он плакал, как провинившийся и наказанный ребенок. Фаворитка бросилась к ногам посланного Екатерины и тоже просила, чтобы ей позволили не оставлять любовника. Но их все-таки разлучили. Воронцова была послана в Москву, а Петру назначили временным пребыванием дом в Ропше, «местности очень уединенной, но очень приятной», по уверению Екатерины, и расположенной в тридцати верстах от Петергофа, – в ожидании, пока ему будет приготовлено подходящее помещение в Шлиссельбургской крепости, этой русской Бастилии.

На следующий день, 14 июля, Екатерина торжественно въехала в Петербург. Таким образом, ее пребывание в Петергофе продолжалось не более нескольких часов. Но и за это короткое время, – не считая отречения Петра, – там совершилось нечто знаменательное. Княгиня Дашкова сделала там открытие, – она говорит об этом с грустью в своих «Записках», – сильно поразившее ее, что показывает, как она была еще наивна для устроительницы заговоров. Войдя к императрице в час обеда, она увидела в зале человека, растянувшегося во весь рост на диване. Это был Григорий Орлов. Перед ним лежала куча запечатанных пакетов, которые

он собирался небрежно вскрыть.

– Что вы делаете? – вскричала княгиня. Она узнала по внешнему виду документов, что это бумаги из государственной канцелярии, которые ей приходилось часто видеть в доме своего дяди. – Это государственные бумаги. Никто не смеет читать их, кроме императрицы и лиц, специально ею для того назначенных.

– Совершенно верно, – ответил Орлов, не меняя позы и с тем же видом пренебрежительного равнодушия. – Она просила меня просмотреть их.

Эта работа казалась ему, по-видимому, очень скучной, и он хотел поскорее отделаться от нее.

Княгиня была поражена. Но скоро ей снова пришлось изумиться. На противоположном конце залы был накрыт стол на три прибора. Вошла императрица и пригласила подругу сесть к столу. Третье место предназначалось для молодого поручика. Но он не двинулся. Тогда императрица приказала перенести стол к дивану. Они с княгиней Дашковой сели против молодого человека, который продолжал лежать. У него, кажется, болела нога.

Становилось ясно, какое место он займет возле новой государыни: это было начало фаворитизма.

III. Последние испытания. – Волнение в войсках. – Письмо к Понятовскому. – Что думал последний караульный

солдат при виде императрицы. – Самообладание Екатерины. – Ее хладнокровие. – Щедрость. – Подарки и вознаграждения. – Возвращение Бестужева. – Разочарованные и недовольные. – Миних. – Княгиня Дашикова. – Генерал Бецкий. – Светлая заря нового царствования. – Туча.

В Петербурге Екатерину ожидали еще испытания. В самую ночь ее возвращения вокруг дворца поднялся страшный шум. Солдаты Измайловского полка хотели видеть императрицу, чтобы убедиться, что ее не похитили. Она должна была встать с постели, опять надеть свой мундир, чтобы их успокоить.

«Я не могу и не хочу, – писала она несколько месяцев спустя Понятовскому, – говорить вам о препятствиях к тому, чтобы вы приехали сюда... Мое положение таково, что я должна быть очень осторожна, и последний солдат, видя меня, говорит в душе: Вот дело моих рук! Я умираю от страха за письма, которые вы мне пишете».

Впрочем, она изумительно стойко держалась среди затруднений и опасностей своего положения. Во время подготовки и затем выполнения государственного переворота она не проявила некоторых способностей, необходимых для человека, стоящего во главе заговора: в ней не было ни большой предусмотрительности, ни особенной ловкости. Но зато она поражает нас в эти минуты смелостью, хладнокровием, решительностью и, главное, удивительным искусством при-

давать внешний декорум своим поступкам. Этими же качествами она отличалась и в первые месяцы по вступлении на престол: все свидетели событий, разыгравшихся в то время в Петербурге, единодушно восхищаются ее спокойствием, ее приветливым, но царственным видом, величием, любезностью ее обхождения и манерой держать себя. Она уже выказывала себя непоколебимой.

Но Екатерина не пренебрегала и другим избранным ею еще издавна излюбленным средством, чтобы покорять себе чужие воли и привлекать сердца: с первого же часа она явилась великодушной государыней, умеющей награждать тех, кто служит ей, и щедрой до избытка. Из рук ее полился настоящий Пактол на создателей ее счастья. К 16 ноября 1762 года цифра розданных ею наград, не считая жалованных имений землями и крестьянскими душами, достигла уже 795.622 рублей, т.е. почти четырех миллионов франков по тогдашнему курсу. При этом деньги выдавались обыкновенно в значительно уменьшенном размере против назначаемого вознаграждения. Так, Григорий Орлов получил только 3.000 рублей вместо 50.000, пожалованных ему. Но казна была в то время сильно истощена. Княгине Дашковой, как значится по счету, было выдано 25.000 рублей. Сумма в 225.890 рублей была истрачена на уплату полугодового жалования штаб-офицерам полков, принимавшим участие в государственном перевороте. На долю солдат досталось меньше. Их щедро угостили вином в день 12 июля. И, благодаря

этому, расход на них возрос в общем до 41.000 рублей, т.е. более чем до 200.000 франков. Но нужно признаться, что некоторое время спустя после великого события значительное число этих преторианцев очутилось в полной нищете, и Екатерина уже ничего не стала делать, чтобы спасти их: они ей были теперь больше не нужны.

Она не забыла и отсутствующих. Одной из первых ее забот было послать гонца к бывшему канцлеру Бестужеву, чтобы возвестить ему о своем восшествии на престол и призвать его в столицу. Екатерина выбрала к нему гонцом с этою доброю вестью Николая Ильича Кольшкина, служившего в феврале 1758 года сержантом в гвардии; он был приставлен тогда наблюдать за ювелиром Бернардни, замешанным в процессе Бестужева, и облегчил уже известную нам переписку великой княгини с заключенными. Екатерина помнила обо всем этом. Однако она готовила разочарование своему бывшему политическому сообщнику. Бестужев сейчас же примчался на ее зов. Она встретила его с распростертыми объятиями. Екатерина была искренне рада иметь под рукою человека такой опытности и такого авторитета. Она всегда превозносила его имя и былые заслуги, часто спрашивала его советов. Но он наверное рассчитывал на большее: он думал занять свой прежний пост всемогущего министра и пользоваться теперь еще большим влиянием, чем при Елизавете. И в этом он совершенно ошибся.

Таким образом, возле Екатерины были все-таки обижен-

ные ею. Одним из первых среди них был фельдмаршал Миних, который поспешил присягнуть новой императрице. Она, по-видимому, не ставила ему в вину то содействие, притом бесполезное, которое он оказал Петру. Он исполнял тогда только свой долг. Он с большим достоинством высказал ей это, и она с таким же достоинством выслушала его. Но она поступила с ним, как с Бестужевым. Она вежливо отклонила его услуги. По выражению одного современного государственного деятеля, она находила, что при новом положении вещей нужны и новые люди.

Разочарованной была также и княгиня Дашкова. Она представляла себе царствование Екатерины, как непрерывную феерию, в которой она по-прежнему будет потрясать каждый день судьбы империи, гарцуя на прекрасном коне во главе колонны гренадер. Она вошла во вкус военных мундиров, интриг и парадов. И она находила, что ее не сумели ни вознаградить по заслугам, ни использовать по способностям. Мы еще встретимся с нею впоследствии со всеми ее мечтаниями, претензиями и сумасбродствами, отравившими ей жизнь и причинившими немало неприятностей и ее августейшей подруге. Мы встретимся также и с Бестужевым, и с Минихом.

Екатерина чуть было не создала недовольного и в лице своего таинственного друга, о котором мы уже говорили. Не одна княгиня Дашкова приписывала себе первенствующую роль в событии 12 июля. Через четыре дня после переворо-

та императрице доложили о генерале Бецком. Ему было поручено раздавать деньги солдатам, завербованным Орловыми, и за это ему дали теперь ленту и несколько тысяч рублей; Екатерина думала, что он пришел благодарить ее. Но он опустился на колени и, не вставая с пола, стал умолять императрицу, чтобы она при свидетелях сказала ему, кому она обязана короной.

– Богу и избранию моих подданных, – ответила просто Екатерина.

Услышав это, Бецкий поднялся и трагическим жестом снял с себя ленту.

– Что вы делаете?

– Я недостойн больше носить эти знаки отличия, награду за мои заслуги, если они не признаются государыней. Я считал, что один создал ее величие. Разве не я поднял гвардию? Разве не я бросал золото направо и налево? Государыня отрицает это. Я самый несчастный из людей.

Императрица повернула дело в шутку.

– Хорошо, я согласна, это вы дали мне корону, Бецкий! Но зато я возьму ее теперь только из ваших рук. Поручаю вам изукрасить ее, как возможно лучше, и отдаю в ваши руки все драгоценности императорского дома.

Бецкий принял эту шутку серьезно. Он наблюдал за работой ювелиров, приготавливавших царский венец для коронации Екатерины, и этим удовлетворился.

Так, по крайней мере, рассказывает нам эту историю кня-

гиня Дашкова. Но возможно, что этот рассказ является отчасти плодом ее воображения.

В общем, как мы уже говорили выше, Екатерина показала себя настолько же щедрой к друзьям, как и великодушной к врагам. Ее царствование начиналось счастливо. Восторг, с которым встретила столица ее восшествие на престол, отозвался той же радостью даже в самых отдаленных провинциях. Но внезапно эта ясная заря омрачилась темной тучей. 18 июля, вернувшись из сената, где она читала манифест с искусно составленным описанием событий, доставивших ей власть, Екатерина собиралась уже выйти ко двору, когда в ее уборную ворвался человек, весь в поту и в пыли и в растерзанном платье. Это был князь Барятинский. Он во весь опор примчался из Ропши и привез императрице письмо от Алексея Орлова, возвещавшее ей о смерти Петра III.

IV. Драма в Ропше. – Виновные. – Екатерина, Орлов или Теплов? – Преступление или отказ от правосудия? – Кровавое пятно. – Заключение.

При каких же обстоятельствах скончался Петр? Это тайна. Нигде в Европе историк не наталкивался на такие затруднения, как в России, чтобы прочесть истину сквозь официальные пояснения, которые придаются здесь великим государственным событиям. Гранитные стены дворцов непрони-

цаемы, и уста их обитателей замкнуты.

Петр с поразительной легкостью примирился со своим положением. Он сводил все свои жалобы только к трем просьбам: чтобы ему вернули его любовницу, его обезьяну и его скрипку. Время он проводил в том, что пил и курил. 18 июля его нашли мертвым. Вот почти все, что мы знаем достоверно.

Что смерть его была насильственной, почти нельзя сомневаться. В то время все были твердо уверены в этом. В своем письме к герцогу Шуазелю заведующий делами французского посольства Беранже говорит, что у него в руках есть ясные доказательства, «подтверждающие основательность всеобщего убеждения». Сам он не видел праха государя, выставленного, по обычному церемониалу, для поклонения, так как дипломатический корпус не был приглашен туда явиться, и Беранже знал, что всех, отправлявшихся в церковь на поклонение Петру, отмечали. Но он послал посмотреть на покойного государя верного человека, рассказ которого подтвердил его подозрения. Тело несчастного монарха было совершенно черно, и «сквозь кожу его просачивалась кровь, заметная даже на перчатках, покрывавших его руки». У лиц, которые по народному обычаю сочли долгом приложиться к устам покойника, распухли потом губы.

Из этих слов видно, какую большую роль играло воображение в рассказах о кончине Петра даже в дипломатических документах. Но факт насильственной смерти, тем не менее, кажется вполне достоверным. Что же касается до рода убий-

ства, – приходится, по-видимому, признать, что убийство здесь действительно имело место, – то предположения о нем очень разноречивы. Одни говорили об отравлении бургундским, любимым вином несчастного Петра; другие – об удушении. Большинство указывало на Алексея Орлова, как на автора, вдохновителя и даже исполнителя *progría manu* этого преступления. Но существует еще другой рассказ, внушающий к себе известное доверие. Он содержит совершенно иные данные. По этой версии, Орлов был вовсе непричастен этому делу. Не он, а Теплов сделал все, или, по крайней мере, всем руководил. Повинуясь его приказанию, один шведский офицер на русской службе, Шваневич, задушил Петра ремнем от ружья. Убийство было совершено при этом не 18, а 15 июля.

Был ли убийцей Орлов или Теплов, может показаться на первый взгляд вопросом второстепенным и неважным. Но в сущности это не так. Если преступление было совершено Тепловым, то, несомненно, он действовал по внушению самой Екатерины. Как бы он мог решиться иначе на такой шаг? Орлов же – дело другое. Он и брат его Григорий были и оставались еще некоторое время как бы хозяевами созданного ими положения, и могли по собственному желанию довести до конца игру, в начале которой поставили на карту собственную жизнь: они не спрашивали мнения Екатерины, когда решили произвести государственный переворот; они и теперь могли обойтись без ее согласия.

«Императрица ничего не знала об этом убийстве, – уверял Фридрих двадцать лет спустя графа Сегюра: – она услышала о нем с непритворным отчаянием; она предчувствовала тот приговор, который теперь все над ней произносят».

«Все» – сказано несколько сильно. Но большинство, бесспорно, разделяло убеждение, повторенное потом Кастера, Массоном, Гельбигом и другими. В одной газете того времени, печатавшейся в Лейпциге, кончину Петра прямо сравнивали со смертью английского короля Эдуарда, убитого в тюрьме по приказанию своей жены Изабеллы (1327 г.). Впоследствии, после опубликования «Записок» княгини Дашковой, в общественном мнении произошел некоторый поворот. По ее словам, после смерти Екатерины Павел будто бы нашел в бумагах императрицы письмо Алексея Орлова, написанное сейчас же после трагического события, в котором Орлов открыто признавал, себя автором преступления. Это письмо было полно и опьянения кровью, и ужаса, и раскаяния. Император поднял тогда глаза к небу и сказал: «Благодарение Богу!» Но княгиня Дашкова, которая рассказывает об этой сцене, сама не присутствовала при ней, а граф Ростопчин, сохранивший копию с этого письма (напечатанного потом в «Архиве князя Воронцова», XXI, 430), говорит, что оригинал его был уничтожен.

Даже в мнениях и догадках современных авторов существуют насчет смерти Петра III большие разногласия. Но нужно признать, что сама Екатерина способствовала тому,

чтобы странная загадка осталась невыясненной; она окружила ее такой тайной, какая только была во Власти самодержавной императрицы. И если Екатерину осуждают теперь несправедливо, то она сама вызвала эту клевету на себя, так как не допустила, чтобы обнародовали правду. Ожесточение, с которым она преследовала опубликование всего, что имело отношение к печальному событию, дошло до того, что она напала даже на сочинение Рюльера, хотя он и не высказал своего мнения относительно ее участия в убийстве. Затем, вопреки своему необыкновенному умению владеть собой, она не сумела в минуту катастрофы так держать себя, чтобы заставить замолчать злые языки, хотя и проявила тогда, несомненно, большую силу воли и недюжинный актерский талант. В совете, созванном ею впопыхах, было решено держать страшное известие в тайне в течение двадцати четырех часов. И после совета императрица показалась при дворе, не выказывая на лице ни малейшего волнения. Только на следующий день, когда манифест оповестил сенат о мрачной кончине Петра, Екатерина сделала вид, что впервые узнает об этом: она долго плакала в кругу своих приближенных и не вышла вовсе к собравшимся придворным.

Еще одно последнее замечание, чтобы закончить обсуждение этого неразрешимого вопроса: ни Орлов, ни Теплов, никто другой, – это достоверно известно, – не были преданы суду за драму в Ропше. Таким образом ответственность за это преступление перенеслась как бы на голову самой импе-

ратрицы: во всяком случае она не восставала, если и не против намерения убить Петра, то против самого убийства, как уже совершившегося факта. Руки ее, только что схватившиеся за императорский скипетр, были уже запачканы кровью. Впрочем, не одно это кровавое пятно было впоследствии на них. Но, может быть, достигнув известной высоты человеческого величия, люди принуждены почти всегда нести на себе какое-нибудь позорное клеймо, что опять низводит их до всеобщего уровня. А Екатерина, бесспорно, была великой. Как, благодаря каким качествам и несмотря на какие недостатки, мы попытаемся доказать это теперь. Не задаваясь целью написать историю ее жизни, мы прервем здесь рассказ, которым хотели объяснить, как зародилась и началась удивительная судьба Екатерины. Этот предварительный исторический очерк казался нам необходимым, чтобы ярко и верно осветить то, что считаем истинной задачей своего труда: нарисовать портрет женщины и государыни, которая – и та, и другая – почти не знала себе соперниц в истории мира, и картину царствования, равного которому еще не было в истории великого народа.

Мы рассказали, каким образом Екатерина стала тем, чем она была; теперь же расскажем, какую она стала.

Часть вторая «ИМПЕРАТРИЦА»

Книга первая «Женщина»

Глава первая Внешность. – Характер. – Темперамент

1. Красота Екатерины. – Противоположные показания. – Голубые или карие глаза? – Портреты пером, карандашом и кистью, сделанные самой Екатериной, Рюльером, Чемесовым, Ричардсоном, принцем де-Линь, графом Сегюром, госпожой Виже-Лебрен. – Анекдот русского двора. Император Николай. – Впечатления принцессы Саксен-Кобургской. – Легенды.

«Сказать по правде, я никогда не считала себя чрезвычайно красивой, но я нравилась, и думаю, что в этом была моя сила». Так определяет сама Екатерина характер женской

привлекательности, данной ей от природы. Наслушавшись за свою жизнь, как ее сравнивали со всеми Клеопатрами мира, она, следовательно, не признавала все-таки эти сравнения справедливыми. Не потому, чтобы не знала им цены. «Верьте мне, – писала она Гримму: – красота никогда не бывает излишней, и я постоянно придавала ей громаднейшее значение, хотя сама и не была очень хороша». Но, может быть, она имела обыкновение говорить о своей красоте в уничижительном тоне, поступая так по неведению или скромности, или из особого, утонченного кокетства? Мысль об этом невольно приходит на ум, когда прислушиваешься к почти единодушным отзывам современников о ее внешности. Образ «Северной Семирамиды» сиял во второй половине восемнадцатого столетия и на пороге девятнадцатого перешел в предания потомков, не только как чудесное воплощение могущества, величия и торжествующего счастья, но также очаровательной женственности. В глазах всех или почти всех она была не только величественной, царственной и грозной: она была в то же время и обворожительной и прекрасной, даже среди записных красавиц. Это была настоящая царица как по праву своего гения, так и по праву красоты. *Pallas* и *Venus victrix*!

Но ошибалась-то, по-видимому, не Екатерина, а именно эти современники, которые, при взгляде на необыкновенную императрицу, видели не ее, а какое-то созданное их собственным воображением волшебное существо. Иллюзия и

обман зрения были при этом настолько полны, что почти никто не замечал даже бросавшихся в глаза, хотя и незначительных самих по себе, недостатков во внешности Екатерины. Так, все лица, представлявшие государыне, говорят о ее высоком росте, возвышавшем ее над толпой. А между тем в действительности она не только была ниже среднего роста, но скорее маленького, и при этом с преждевременной склонностью к полноте. Впрочем, даже цвет ее глаз дал повод к странным противоречиям. По словам одних, они были карие, по словам других – голубые. Рюльер примирил эти два крайних мнения, изображая их в своем описании карими с синеватым отблеском. Вот дословно портрет Екатерины, набросанный им приблизительно в год ее восшествия на престол. Ей было тогда тридцать три года. У нас нет другого такого подробного описания ее внешности, относящегося к более ранней эпохи. Портрет, сделанный Понятовским, имеет в виду время лишь за четыре или пять лет до того, и притом он написан пристрастной рукою влюбленного.

«Стан ее, – пишет Рюльер, – изящен и благороден, поступь гордая; все ее существо и манеры полны грации. Она имеет царственный вид. Все черты ее лица говорят о сильной воле. У нее длинная шея, и лицо сильно выдается вперед; это особенно заметно в ее профиле удивительной красоты и в движениях головы, что она подчеркивает с некоторым старанием. Лоб у нее широкий и открытый, нос почти орлиный; губы – свежие, их очень украшают зубы; подборо-

док несколько велик и почти двойной, хотя она и не полна. Волосы у нее каштановые и необыкновенно красивые; брови темные; глаза карие, прекрасные, они отсвечивают синеватым отблеском; цвет лица чрезвычайно свежий. Гордость – вот истинный характер ее лица. В нем есть также и приветливость и доброта, но для проницательных глаз они кажутся только следствием ее крайнего желания нравиться».

Рюльер не был ни влюбленным, ни энтузиастом. Но сравним теперь его портрет с другим, нарисованным карандашом около того же времени русским художником Чемесовым. Сохранилось предание, что этот портрет был заказан по просьбе Потемкина, которого Екатерина стала отличать вскоре после июльской революции, а может быть, и несколько раньше. Екатерина осталась очень довольна работой Чемесова и назначила его секретарем при своем кабинете. А между тем, что за удивительную императрицу изобразил он, и как мало она у него похожа на то, что рисуют нам другие художники, скульпторы и авторы записок, начиная с Беннера и Лампи и кончая Рюльером и принцем де-Линь! Лицо Екатерины вышло у Чемесова, если хотите, даже приятным и умным, но таким не одухотворенным; скажем прямо: таким мещански-заурядным. Может быть, виною тому костюм – какое-то странное траурное одеяние с причудливым головным убором, закрывающим лоб до бровей и возвышающимся сверху в виде крыльев летучей мыши. Но само лицо улыбающееся и в то же время жесткое; ее крупные и точно мужские черты

выступают все-таки очень отчетливо и под этим чепцом: это какая-то немецкая маркитантка, переряженная в монахини, но только не Клеопатра.

Впрочем, изображая Екатерину таким образом, Чемесов оказался, может быть, просто предателем, а Екатерина, узнав себя в его портрете, проявила лишь то полное непонимание художественных произведений, в котором она впоследствии искренно признавалась Фальконэ? До известной степени это возможно. Однако сохранился еще как бы снимок с рисунка русского художника: это портрет Екатерины, описанный несколько лет спустя Ричардсоном. Взгляд и ум этого англичанина, по-видимому, не поддавались ни иллюзиям, ни ослеплению. И вот в каких словах он излагает свои впечатления:

«Русская императрица выше среднего роста, сложена пропорционально и грациозна, хотя и склонна к полноте. У нее хороший цвет лица, и она старается еще украсить его румянами, по примеру всех женщин ее страны. Рот у нее красиво очерчен; зубы – прекрасные; в синих глазах – пытливое выражение: не настолько сильное, чтобы назвать ее взгляд инквизиторским, и не такое неприятное, как у человека недоверчивого. Черты лица правильны и приятны. Общее впечатление такое, что нельзя сказать, чтобы у нее было мужественное лицо, но в то же время его не назовешь и вполне женственным».

Это написано не совсем в тоне Чемесова с его наивным и

почти грубым реализмом. Но и в том, и в другом изображении встречается все-таки одна общая черта, которая, кажется нам, и была характерна для лица Екатерины, клала на него особый отпечаток и, с пластической точки зрения, сильно уменьшала, если и вовсе не убивала, его прелесть: это мужской склад, проглядывающий, впрочем, и на других портретах сквозь волшебные и льстивые краски художников с менее добросовестной кистью, – даже в том, который так нравился Вольтеру и находится до сих пор в Фернее. А между тем Екатерина всегда зорко следила за тем, как ее изображали на полотне. Когда в ее портрете, написанном Лампи незадолго до ее смерти, она нашла у себя возле носа морщинку, придававшую ей, как ей казалось, суровое выражение, то это возбудило в ней враждебное отношение и к самому портрету, и к художнику. А Лампи даже славился тем, что никогда не говорил слишком жестокой правды своим моделям. Он стер морщинку, и императрица – ей вскоре должно было минуть семьдесят лет, – стала походить на нем на молодую нимфу. История умалчивает о Тим, осталась ли она на этот раз довольной.

«Какою вы меня себе представляли? – спросила Екатерина у принца де-Линь, когда он в первый раз приехал в Петербург: – высокой, сухой, с глазами, как звезды, и в больших фижмах?» Это было в 1780 году. Императрице исполнился тогда пятьдесят один год. И вот какую принц де-Линь нашел ее: «Она еще недурна, – говорит он в своих „Записках“. –

Видно, что она была прежде скорее красивой, нежели хорошенькой: величавость ее лба смягчается приятным взглядом и улыбкой, но этот лоб выдает ее всю. Не надо быть Лафатером, чтобы прочесть на нем, как в открытой книге: гений, справедливость, смелость, глубину, ровность, кротость, спокойствие и твердость. Ширина этого лба указывает и на большую память и воображение: в нем для всего хватает места. Ее немного острый подбородок не слишком выдается вперед, но все-таки обозначается резкой линией, не лишенной благородства. Вследствие этого овал ее лица неправилен, но она, вероятно, чрезвычайно нравится, потому что в ее улыбке много искренности и веселья. У нее должен был быть свежий цвет лица и великолепные плечи: они стали, впрочем, красивы в ущерб ее талии, бывшей когда-то тонкой, как ниточка: в России очень быстро полнеют. Она заботится о своей внешности, и если бы не натягивала так волосы кверху, а немного спускала бы их, чтобы они обрамляли ей лицо, то это шло бы к ней несравненно больше. Что она маленького роста, как-то не замечаешь».

Но это опять слова энтузиаста. Впрочем, граф Сегюр, который в качестве дипломата, считал себя более беспристрастным, описывает Екатерину почти в тех же выражениях. «Из ее былой красоты дольше всего сохранились белизна и свежесть цвета лица», – говорит он. Кастера же объяснял по-своему эту победу Екатерины над невозвратными утратами. По его словам, «она сильно румянилась в последние

годы царствования». Но Екатерина никогда не соглашалась признаться в этом. В ее письме к Гримму, написанном в 1783 году, мы читаем например:

«Благодарю вас за банки с румянами, которыми вы хотели украсить мое лицо; но когда я стала употреблять их, то нашла, что они так темны, что придают мне вид фурии. Поэтому вы извините меня, что, несмотря на всю мою знаменитость в том месте, где вы находитесь (Гримм был в то время в Париже)... я не могу подражать или следовать этой прекрасной тамошней моде».

Самое авторитетное с эстетической точки зрения и, по видимому, самое достоверное из всех – это описание, сделанное m-me Виже-Лебрэн, которая, к сожалению, не видела Екатерину в ее лучшие годы. При этом она не могла похвалиться обращением с ней государыни, что тоже является гарантией искренности: Екатерина не согласилась позировать перед ней. Впоследствии m-me Виже-Лебрэн написала императрицу кистью по воспоминаниям. Пером же она описывает ее так: «Прежде всего я была страшно поражена, увидев, что она очень маленького роста; я рисовала ее себе необыкновенно высокой, такой же громадной, как и ее слава. Она была очень полна, но лицо ее было еще красиво: белые приподнятые волосы служили ему чудесной рамкой. На ее широком и очень высоком лбу лежала печать гения; глаза у нее добрые и умные, нос совершенно греческий, цвет ее оживленного лица свежий, и все лицо очень подвижно... Я ска-

зала, что она маленького роста; но в дни парадных выходов, с своей высоко поднятой головой, орлиным взглядом, с той осанкой, которую дает привычка властвовать, она была полна такого величия, что казалась мне царицей мира. На одном из празднеств она была в трех орденских лентах, но костюм ее был прост и благороден. Он состоял из расшитой золотом кисейной туники, с очень широкими рукавами, собранными посередине складками, в восточном вкусе. Сверху был надет доломан из красного бархата с очень короткими рукавами. Чепчик, приколотый к ее белым волосам, был украшен не лентами, а алмазами самой редкой красоты».

Екатерина рано приучилась носить высоко голову, когда была на людях, и сохранила эту привычку во всю свою жизнь. Благодаря этому, а также обаянию величия, окружавшему ее имя, она казалась несравненно выше, нежели была в действительности, настолько, что обманула даже такого зоркого наблюдателя, как Ричардсон. Искусство владеть собой и сохранять, несмотря ни на что, царственный вид, которым Екатерина владела в таком совершенстве, считается, впрочем, традиционным при русском дворе. Одна австрийская придворная дама передавала нам, например, свои впечатления при въезде императора Николая в Вену. Когда он вошел в Бург в блестящем мундире, в сиянии мужественной красоты и величия, разлитого по всей его фигуре, стройной, надменной, на голову выше всех принцев, флигель-адъютантов, камергеров и офицеров, ей показалось, что она видит пред

собою полубога. Она сидела на одной из верхних галерей и не могла оторвать глаз от этого прекрасного видения. Но вдруг оно исчезло. Толпа придворных удалилась; все двери закрылись. Члены императорской фамилии и лица ближайшей свиты остались одни. Но император? Где же он был? Он сторбившись сидел здесь же, на скамье, согнув свой высокий стан; на лице его читалось выражение бесконечной муки; его нельзя было узнать, он казался вдвое ниже, точно упал с высоты своего величия в бездну людского горя: прежний полубог был теперь просто жалкий и несчастный человек. Это происходило в 1850 году. Николай чувствовал уже первые приступы болезни, отравившей ему конец жизни и преждевременно сведшей его в могилу. Вне толпы он не скрывал своих страданий. Но на людях героическим усилием воли он умел опять становиться великолепным императором прежних, уже минувших, дней.

Так поступала, может быть, и Екатерина в последние годы царствования.

Принцесса Саксен-Кобурюкая, увидевшая ее впервые в 1795 году, начинает свой рассказ очень нелестно для Екатерины, говоря, что лицо старой императрицы напомнило ей ведьму: так она обыкновенно представляла их себе. Но впоследствии принцесса, по-видимому, несколько изменила свое первое впечатление: она тоже хвалит «удивительно красивый» цвет лица, сохранившийся у государыни, и находит ее вообще «олицетворением здоровой и бодрой старости, хо-

тя за границей и говорят много о ее болезнях».

Екатерина, между тем, никогда не пользовалась особенно крепким здоровьем. Она часто страдала головными болями, сопровождавшимися коликами, что не мешало ей. Впрочем, до последней минуты смеяться и над медициной и над докторами. Заставить ее принять какое-нибудь лекарство было делом не легким. Раз, когда ее врачу Роджерсону удалось убедить ее проглотить несколько пилюль, он пришел в такой восторг, что, забывшись, фамильярно хлопнул ее по плечу, воскликнув: «Браво, браво!» И она за это нисколько на него не обиделась.

Начиная с 1772 года, Екатерина не могла уже читать без очков. Слух ее, вообще очень тонкий, тоже был подвержен странному страданию: ее уши воспринимали звуки не одинаково, не только в смысле силы, но и самого тона. Наверное вследствие этого она и не понимала никогда музыки, как ни старалась ее полюбить. Она была совершенно лишена чувства гармонии.

Уверяли, что из шелковых платков, которыми она обвязывала себе на ночь голову, сыпались, когда их чистили, искры. То же явление повторялось будто бы и с простынями. Но все эти басни доказывают только, какое громадное влияние имело даже физическое существо Екатерины на воображение современников, только что познакомившихся с таинственными открытиями Франклина. Нравственный ее облик был таков, что мог лишь подкрепить все эти легенды.

II. Характер. – Мнение Марии-Терезии и Марии-Антуанетты. – Мнение Екатерины о самой себе. – Эпитафия. – Преобладающие черты характера Екатерины. – Честолюбие, смелость, решительность. – Фатализм. – Оптимизм и эвдемонизм. – Тщеславие. – Совет Потемкина английскому послу: «Льстите ей!» – Постоянная лесть и воспевание Екатерины среди ее приближенных. – «Vouts-rimes» графа Кобенцля и графа Сегюра. – Отсутствие самолюбия и кокетства. – Императрица и женщина. – Преувеличенное представление Екатерины о своем могуществе. – Она внушает это представление Европе. – Средства к тому.

Великая государыня и женщина, достойная всевозможного уважения, на которую Екатерина, впрочем, никогда не стремилась походить, называя ее иронически «святой Терезией», писала в 1780 году:

«Нынешней зимой император намекнул мне шутя, что хочет свидеться с русской императрицей. Вы можете себе представить, как мне неприятно его намерение, во-первых, по тому впечатлению, которое это свидание произведет на другие державы, так и вследствие отвращения и ужаса, которые внушают мне такие характеры, как русская императрица».

А между тем нам кажется, что Екатерина и стала великой именно благодаря своему характеру. В нем были свои недо-

статки и даже пороки: соответственно его силе, они приняли такие же громадные, если захотит, чудовищные размеры, как и он. Но в общем это был характер блестящий и достигавший временами редкой высоты.

«Отвращение же и ужас», с которыми относилась к ней Мария-Терезия, не мешали, по-видимому, этой последней вступить в союз со столь нелюбимой ею государыней и совершить с нею рука об руку раздел Польши. Мария-Антуанетта, разделявшая неприязненные чувства своей матери, на практике тоже была готова забывать о них.

«Что бы я ни думала о русской императрице, – писала она в свою очередь, я была бы ей чрезвычайно признательна, если бы ее политика обеспечила нам мир».

Таким образом, Екатерина являлась чудовищем, лишь рассуждая отвлеченно. Но даже и с такой точки зрения мнение Марии-Терезии и Марии-Антуанетты кажется нам слишком строгим, потому что сомнительно, чтобы чудовище было способно вызывать к себе при жизни всеобщее поклонение и оставить потомству такое прочное и ценное наследство, как то сделала Екатерина. Она была, бесспорно, очень сложная натура, почти не поддающаяся исследованию, к которому мы хотим теперь приступить. И, как бы предчувствуя сама, с какими затруднениями придется встретиться ее будущим биографам, она, словно сжалившись над ними, наметила для них путь, расставив по нему кое-где вехи: не говоря об ее «Записках», в которых психология занимает довольно

мало места, она оставила нам еще что-то вроде краткой автобиографии и небольшой опыт собственной характеристики. Вот автобиография. Она сохранилась на листе бумаги, на оборотной стороне которого какую-то другую, незнакомую рукою написана эпитафия «сэра Тома Андерсона» – одной из любимых собак императрицы. И по образцу этого надгробного слова, посвященного нежно любимому ею существу. Екатерина в одном из приступов юмора, так часто бывавших у нее, составила свою собственную эпитафию, «боясь, – говорит она (это было зимою 1778 года), – что умрет к концу масленицы, потому что должна присутствовать на одиннадцати маскарадах, не считая обедов и ужинов». Мы списываем эту эпитафию дословно:

«Здесь покоится Екатерина Вторая, родившаяся в Штеттине 21 апреля (2 мая) 1729 года. Она прибыла в Россию в 1744 году, чтобы вступить в брак с Петром III. Четырнадцать лет она составила тройной план понравиться своему супругу, Елизавете и народу. Она ничего не упустила, чтобы достичь этой цели. Восемнадцать лет тоски и одиночества дали ей возможность прочесть много книг. Достигнув престола России, она стремилась к благу и хотела доставить своим подданным счастье, свободу и собственность. Она легко прощала и никого не ненавидела. Снисходительная, нетребовательная и веселая от природы, с душой республиканца и добрым сердцем, она имела друзей. Работа ей давалась легко; она любила общество и искусства».

А вот и характеристика, сделанная ею самой. Она помещена в письме к Сенак де-Мейлану, написанном в мае 1791 года.

«Я никогда не находила, чтобы у меня был творческий ум; я встречала множество людей, которых без всякой зависти признавала гораздо умнее себя. Руководить мною было всегда очень легко, потому что, чтоб добиться этого, надо было только представить мне несравненно лучшие и более основательные идеи, нежели мои; тогда я становилась послушной, как ягненок. Причина этого лежит в страстном желании, никогда не оставлявшем меня, чтобы совершилось благо моего государства. Я имела счастье найти добрые и истинные принципы, благодаря чему достигла больших успехов. У меня были несчастья, проистекавшие из ошибок, за которые я не была ответственна; они и случились, может быть, только потому, что не было исполнено в точности то, что я предписала. Несмотря на всю мою податливость от природы, я умела быть упрямой или твердой, как хотите, когда мне это казалось необходимым. Я никогда никого не стесняла в мнениях, но при случае твердо держалась своего. Спорить я не люблю, потому что, по-моему, каждый всегда остается при своем мнении. Впрочем, я и не сумела бы говорить достаточно вразумительно (*fort haul*). Я никогда не помню зла. Провидение поставило меня на такое место, что я не могу быть злопамятна по отношению к отдельным лицам, так как считаю обе стороны не равными, если рассуждать по справедливо-

сти. Я вообще люблю справедливость, но нахожу, что строгая справедливость – не справедливость, и что для человеческой слабости достаточно просто правосудия. Во всех случаях я предпочитала применять по отношению к людям гуманность и снисходительность, нежели строгие правила морали, по-моему, часто плохо понимаемые. Мною руководило в этом мое сердце, которое я считаю мягким и добрым. Когда старики проповедовали мне строгость, я признавалась им в своей слабости, заливаясь слезами, и некоторые из них соглашались со мной, тоже проливая слезы. Я по природе весела и искренна; но слишком долго жила среди людей, чтобы не знать, что есть желчные умы, которые не терпят веселости, и что никто вообще не выносит ни правды, ни откровенности».

«Вот приблизительно мой портрет», – написала Екатерина в заголовке этих строк. Очень приблизительный, думаем мы, и не потому, что в нем многого недостает, но именно в силу того, что указано в нем. Так, неспособность к злопамятности, которую приписывает себе Екатерина, столько раз ссорившаяся с Фридрихом, насколько можно судить, только из-за несколько резких замечаний, высказанных ей королем-философом, является чертой характера, довольно неожиданной для нее. Даже граф Сегюр в эпоху, когда он еще не грешил излишней строгостью к русской императрице, встретившей его с исключительной любезностью, подчеркивает совершенно противоположную незлопамятности черту

в нраве Екатерины.

«У императрицы, – читаем мы в одной из его депеш, – без сомнения, много достоинств: здравый рассудок, смелая душа, проницательный ум и очень доброе сердце; но она податлива, недоверчива, впечатлительна, и ее оскорбленное или польщенное самолюбие всегда влияет на ее политические взгляды. Из-за пустых пересудов на ее счет в Версале, из-за холодности со стороны нашего двора или со стороны императора, из-за малейшей ошибки, которую я сам могу сделать, она способна изменить свои намерения: например, она относится враждебно к прусскому королю, потому что он предположил у нее болезни, которых у нее в действительности нет».

Что же касается до правды и откровенности, то, как бы ни любила их Екатерина, она, наверное, явила бы единственный в истории пример, если бы не изменила им, говоря о себе.

Неискренна по отношению к себе она была даже в разговоре с принцем де-Линь, уверяя его, что, если бы случайно была подпоручиком, то никогда бы не дослужилась до чина капитана, потому что погибла бы при первой стычке. «Позвольте мне этому не поверить», – возразил принц, и был прав. Можно подумать, что, говоря с ним, Екатерина временно позабыла собственную историю и не понимала преобладающей черты своего характера. Ведь если временами она и умела быть бесстрашной, то зато всегда и прежде всего была честолюбива. В ней встречались все отличительные чер-

ты той выдающейся породы людей, из которых в современной истории самым блестящим и не имевшим себе равного представителем был Наполеон. У нее был прежде всего их высокомерный ум, плохо выносивший противоречия, – как она ни старалась убедить других в противоположном, – и не допускавший вовсе вмешательства в свои распоряжения и поступки. Она раз сильно рассердилась на одного из своих любимых министров, князя Вяземского, когда он осмелился, не посоветовавшись с нею, отдать приказ, чтобы в придворном театре дали спектакль. «Я не хочу быть ни под чьей опекой», – объявила она ему. Затем у нее была их смелость, иногда почти безумная, но всегда обдуманная, не останавливавшаяся ни перед какими соображениями, и в то же время рассчитывавшая даже на простую случайность и с холодной решимостью шедшая на риск. И наконец у нее была их самоуверенность, без которой невозможен ни в чем успех, и та особая способность не сомневаться в собственной удаче, без которой люди не могут быть счастливы в своих начинаниях. Но на всем этом лежал отпечаток еще чего-то женственного, придававший характеру Екатерины излишнюю стремительность и мечтательность. Когда в 1770 году, во время войны с турками, главнокомандующий русской армии доложил ей о подавляющем превосходстве неприятельских сил, Екатерина заставила его замолчать; напомнив ему о римлянах, никогда не считавших врагов, она высказала твердое убеждение, что турки будут разбиты. И когда это убеждение че-

рез некоторое время действительно оправдалось, и на ее требование Румянцов послушно ответил рядом блестящих побед, в ней еще больше укрепилось чувство самоуверенности, и прежде свойственное ей, и мало-помалу оно вошло в ее плоть и кровь. К концу царствования оно развилось в ней настолько сильно, что она и не допускала даже возможности какого-нибудь поражения, несчастья или другой измены судьбы по отношению к себе.

«Если бы я была Людовиком XVIII, – писала она в 1796 году, – я или вовсе не выехала бы из Франции, или уже давно опять вернулась туда наперекор стихиям, и мое пребывание там или въезд зависели бы только от меня, а не от какой-нибудь другой человеческой воли».

Ей казалось также, что, если бы она была Георгом III, у нее не посмели бы отнять Америку.

Ее поддерживала, впрочем, – как и всех людей ее закала, – фаталистическая вера, необъяснимая и бессмысленная, но тем не менее безграничная, во что-то таинственное и всемогущее, что управляет судьбами таких избранников Неба, как она. Беседуя с Дидро, она совершенно серьезно дает ему честное слово, что будет царствовать тридцать шесть лет. В 1789 году она говорит: «Мне теперь шестьдесят лет, но я уверена, что проживу еще двадцать с лишним». И так как вера ее очень глубокая. То она соединяется в ней со спокойным непоколебимым оптимизмом, до такой степени уверенным в себе и таким упорным, что по временам он становится как

бы глухим и слепым. Это он создал отчасти ее «непоколебимость». В течение второй турецкой войны, мало походившей на первую, долгое время казалось, что звезда Екатерины закатывается: неудачи следовали одна за другой. Но Екатерина не хотела этому верить. Она делала вид, что ни сама она, ни кто другой на свете не знает о поражении русской армии и ее полководца, которого звали теперь, к несчастью, уже не Румянцовым, а Потемкиным. Зато при малейшей неудаче турок, как, например, в октябре 1787 г. под Кинбурном, она сейчас же служила молебны, устраивала в знак победы пушечную пальбу и трубила по всей Европе о славном подвиге русских войск. Можно было подумать, что Кинбурн – вторая Чесменская битва, что оттоманский флот уничтожен и имя Потемкина покрыто бессмертной славой. Она, впрочем, так и писала ему об этом бое и делала это, по-видимому, совершенно убежденно.

Без сомнения, такой оптимизм входил в ее политические виды, в ее манеру управлять и ее дипломатические хитрости, с которыми мы познакомимся еще ближе впоследствии. Она стремилась таким образом импонировать всей Европе: и Австрии, которую она хотела руководить, и Франции, от которой ей была нужна помощь, и даже Турции, которую она старалась деморализовать. Например, она поручала графу Сегюру передавать Версальскому двору такие сообщения о русских победах, что графу де-Монморену стоило потом большого труда убедить своего посланника в ложности тех сведе-

ний, которые были в них приведены. Этим же способом она боролась и с унынием Потемкина, легко падавшего духом. Но в то же время ее оптимизм был, бесспорно, неотъемлемой чертой ее характера и импонировал не только другим, но и ей самой.

Временами, когда следишь за этим непрерывным самовосхвалением, наполнявшим ее переписку и разговоры особенно часто в минуты кризисов, можно подумать, что она страдала манией величия. Шведы стоят уже под самым Петербургом, а она продолжает воспевать свои победы над ними. В июле 1788 г. один из неприятельских выстрелов раздался так близко, что улицы столицы наполнились дымом. Но на другой день Екатерина весело шутит по этому поводу, поздравляя себя с тем, что тоже понюхала пороху, потом идет в церковь, где служит молебен по случаю более или менее достоверной победы над турками, с известием о которой Потемкин кстати присылает ей гонца, и, вернувшись из храма, говорит, что видела вокруг церкви такое множество народа, что «этой толпы было бы достаточно, чтобы забить шведов камнями, собранными с мостовых Санкт-Петербурга». Она собирается подписать указ с приказанием вице-адмиралу фон-Дезену соединиться с адмиралом Грейгом, разбив предварительно шведов под Карлскроной. Адмирал же Грейг должен выехать к Дезену навстречу, разбив, в свою очередь, еще раз неприятельский флот. Но на это Мамонов – официальный фаворит того времени – возразил уже ей,

что нельзя быть так твердо уверенной в неперемнной победе обоих адмиралов. До сих пор они еще ни разу не одержали над шведами верха ни в одной решительной битве. Екатерина приходит в большой гнев:

«Я не люблю мелкостей, но большие предприятия; по таким предписаниям никогда сражаться не будут», – говорит она.

Но она все-таки уступает Мамонову и соглашается не посылать фон-Дезену «приказа победить», хотя и плачет при этом с досады. Ей кажется, что адмирал не сумеет теперь сделать ничего нужного. А три недели спустя, несмотря на то, что в положении сражающихся сторон не происходит никаких перемен, она делает вид, что весь шведский флот, до последнего корабля, уже погиб в водах Балтийского моря. Ее уже не тревожит его близкое соседство. Она говорит о том, что хорошо было бы послать русский флот в Архипелаг. Что же касается шведов, то о них не стоит больше беспокоиться. Они сами себя уничтожат. Финляндская армия взбунтуется против них, если не теперь, то в ближайшем будущем. Ее будет достаточно, чтобы показать Густаву его место. И Екатерина старается отомстить шведскому королю только тем, что осмеивает его военные подвиги в комической опере «Горе-богатырь Косометович», которую начинает писать, «не зная, впрочем, как ее кончить». Но финляндская армия не возмущается, отказываясь таким образом оправдать доверие государыни; и после ряда чередующихся побед и по-

ражений наступает наконец полный разгром русского флота при Свенксунде (28 июня 1790 г.); но в своем письме к Потемкину Екатерина едва упоминает о нем в двух строчках.

И так она поступала всегда. В 1796 г., за несколько месяцев до смерти, она затевает, например, этот несчастный брак своей внучки с шведским королем: это была вообще любопытная история, странные перипетии которой мы расскажем более подробно в другом месте. Все доказывают ей трудности, препятствия, почти невозможность успеха; но, ни на что не обращая внимания, не потрудившись даже устроить дело, как следует, Екатерина приглашает короля, и в назначенный день, собрав весь двор и надев парадное платье, поджидает его королевское величество у себя в дворце для обручения. Но на этот раз счастью словно надоело служить ей: его королевское величество не приехал! От этого Екатерина и умерла, вероятно, несколько месяцев спустя. Весь 1796 год, конца которого ей не было суждено увидеть, был, впрочем, для нее несчастным. Но оптимизм и тут не покидал ее. В июле пожар уничтожил часть флота. Все канонерские лодки, выстроенные и вооруженные с большим трудом, сгорели в гавани Васильевского острова.

«Ну что же? – писала Екатерина на следующий день: – Все, что нам действительно нужно, будет вновь выстроено за это лето... а порт только очистится от хлама».

Екатерина любила славу, считая ее как бы принадлежащей себе по праву, но любила в то же время и выставлать

ее напоказ.

«Если эта война продолжится, – писала она в августе 1771 г., – то мой царскосельский сад станет вскоре походить на кегельную игру, потому что при каждой блестящей победе я воздвигаю в нем памятник... За садом, в лесу, я хочу выстроить храм в память настоящей войны, где все выдающиеся битвы (а их не мало: мы насчитываем уже 64 номера) будут изображены на медальонах в виде очень простых и коротких надписей на русском языке, с обозначением времени сражений и лиц, принимавших в них участие».

Отметим мимоходом, что в списке побед, оставленном ею собственноручно, Чесменская битва считалась за две. Жажда честолюбия была в Екатерине так сильна, что у нее, очевидно, двоилось в глазах, когда ей это было нужно.

Честолюбие делало ее также очень чувствительной к лести и, скажем прямо, очень тщеславной. Но она, разумеется, отрицала это и при всяком удобном случае любила выказывать противоположные чувства. Французский архитектор Клериссо, бывший в свое время знаменитым, большой художник и честный, но, по-видимому, неуживчивый человек, обошелся очень неприветливо с императором Иосифом II, посетившим его в Париже. «Знаете ли вы, что такое художник? – сказал он императору среди прочих любезностей, отказываясь от заказов, которые делал ему Иосиф, и которые не понравились ему. – С одной стороны, у него есть карандаш; с другой – ему предлагают 20.000 ливров годового

дохода, если он откажется от этого карандаша. Но он бросает вам ваши 20.000 ливров в лицо и остается при карандаше, потому что карандаш дает ему больше счастья, чем все сокровища мира». Екатерина, которой Гримм рассказал об этой выходке Клериссо, пришла от нее в восторг. «Я люблю, – сказала она, – когда говорят так, как Клериссо с императором... Это по крайней мере научает этих господ, что не все говорят только на один лад, и что не все любят льстить». В другой раз она запретила Гримму называть ее Екатериной Великой, «потому что primo я вообще не люблю прозвищ; secundo меня зовут Екатериной II, и tertio я не хочу, чтобы меня, как Людовика XV, находили неудачно названной; в четвертых, ростом я ни велика, ни мала».

Но Гримм знал, с кем имеет дело, и постарался впоследствии только изменить форму своего комплимента. В 1780 г. английский посланник Гаррис, готовясь к важному свиданию с императрицей, решил посоветоваться прежде с фаворитом Потемкиным. Ему надо было убедить Екатерину вступить за Англию в столкновении ее с Францией. «Могу вам дать только один совет, – ответил фаворит: – польстите ей. Это единственное средство добиться от нее чего бы то ни было, но этим от нее можно добиться всего... Не старайтесь убедить ее разумными доводами: она не станет вас слушать. Обратитесь непосредственно к ее чувству и страстям. Не предлагайте ей ни сокровищ Англии, ни ее флота: ей этого не нужно. Ей нужны только похвалы и комплименты. Дай-

те ей то, чего она требует, а она вам предоставит взамен все военные силы своего государства».

Это мнение разделял и Иосиф II, когда советовал матери победить свое отвращение к Екатерине и пожаловать ей орден Золотого Руна, о Котором та мечтала: «Мне кажется, я хорошо знаю ее величество, и тщеславие ее единственный недостаток», – писал он. Так же думал и граф Сегюр: «Провести государыню довольно трудно; у нее много такта, хитрости и проницательности; но если польстить ее любви к славе, то можно совершенно сбить с толку всю ее политику». Но, без сомнения, ее было очень легко опять вернуть на истинный путь при помощи того же средства. И граф Сегюр всегда широко пользовался им. Во время знаменитого путешествия Екатерины в Крым он, австриец Кобенцель, англичанин Фиц-Герберт и очаровательный космополит принц де-Линь наперебой льстили ей с утра до вечера.

Екатерина искренно верила также всякой похвале, обращенной к ней. В этом отношении в ней не было никакого недоверия и никакого ложного стыда. Если она и запрещала Гримму давать ей название Великой, – в глубине души она, разумеется, находила, что имеет на него такое же право, как и Людовик XIV, – то только ради удовольствия послать эпиграмму по адресу Людовика XV; она не только не имела ничего против того, чтобы ее возвеличивали, но допускала, чтобы ее обожествляли. В 1772 г. Фальконэ прислал ей перевод латинского четверостишия, кстати, очень неуклю-

жий, где ее сравнивали поочередно с Юноной, Палладой и Венерой, – и единственно, что ей не понравилось в этих стихах, – это неумение переводчика. Как бы ни был преувеличен комплимент, она принимала его благосклонно, но требовала только, чтобы он был облечен в изящную форму. Когда французский посланник маркиз Жюнье хлопотал в 1777 г. у Верженна, чтобы в «Gazette de France» была помещена хвалебная статья о новых законодательных работах императрицы, то особенно настаивал на том, чтобы эта статья была написана умно, «ибо, – говорил он, мы очень щепетильны...»

Но была ли в то же время Екатерина, как то было бы естественно ожидать, болезненно самолюбивой и обидчивой?

«Малейшая колкость оскорбляла ее тщеславие, – отвечает на это граф Сегюр в своих „Записках“. – Она была умна и потому делала вид, что смеется над сказанным ей, но видно было, что смех у нее звучит неискренне». Но, с другой стороны, сохранилось свидетельство, совершенно противоположное словам Сегюра: в 1787 г. знаменитый Лафатер выбрал великую императрицу предметом своих наблюдений. Он исследовал ее лицо и нашел ее очень заурядной, стоящей несравненно ниже королевы Христины. Екатерина отнеслась к этому вполне равнодушно. «Клянусь вам, что я нисколько ей не завидую», – писала она по этому поводу Гримму. И при этом она не прибавляла ни одного горького слова по адресу нелюбезного физиономиста, не выказывала ни малейше-

го желанья развенчать его искусство. Как же примирить эти два крайние мнения? А вот как: эта необыкновенная женщина, по-видимому, всегда стремилась разделять в себе два особые существа: императрицу и женщину. Как она достигала этого, мы не знаем, но несомненно, что она доводила это раздвоение до странных отличий и удивительных тонкостей. Так, можно сказать, что с чисто женской точки зрения в ней не было кокетства и вообще никаких претензий. Она говорила просто и непринужденно о своей внешности и даже о своем уме. В разговоре с графом Сегюром она высказала ему раз убеждение, что, если бы она не была императрицей, то парижские дамы не находили бы, вероятно, особенного удовольствия в ее обществе и не приглашали бы ее на свои ужины. Она никогда не старалась скрывать своих лет, хотя мысль о старости и была ей неприятна. «Хорош подарок, который приносит мне этот день, – писала она в ответ на неуместное напоминание ей о дне рождения: – еще один лишний год! Ах, если бы императрицам могло быть всегда пятнадцать лет!» Оставив в стороне свое высокое положение как государыни, она была готова согласиться с Лафатером, признавшим ее заурядной женщиной. Она даже охотно допускала, что этот титул императрицы выпал на ее долю совершенно случайно. Но, раз эта случайность существовала, она хотела, чтобы ей, как бы перевоплотившейся, по вступлении на престол, в новое существо, – уже не дочери принцессы Цербстской, а Екатерине, самодержице всей России, – было отведено сре-

ди людей особое место, требующее себе, ради его величия и блеска, всевозможного поклонения и не допускающее никакой критики. Императрица была в ее представлении неотделима от империи, а империю она ставила недостижимо высоко. Таким образом, ее тщеславие было в сущности только следствием ее почти безумной по своей преувеличенности идеи о своем величии и могуществе как государыни.

И как бы это представление ни было ошибочно само по себе, оно не было слабостью Екатерины: напротив, оно было ее главной силой. Оно было чрезмерно, фантастично, не соответствовало действительности, но Екатерина умела поддерживать его перед другими и кончила тем, что заставила весь мир согласиться с ним. Это был, если хотите, обман, мираж; но мираж этот длился тридцать лет! Как достигала она этого? Какими средствами?

Средствами чисто индивидуальными, – думаем мы, – которые зависели всецело от ее характера.

III. Сила воли и непостоянство. – Отсутствие строго определенного направления. – Влияние Екатерины на русский народ. Энергия и сила сопротивления. – Природный недостаток хладнокровия, возмещаемый громадным самообладанием. – Храбрость. – Оспопрививание.

Прежде всего своей исключительной силой воли.

«Скажу вам, – писала она Гримму в 1774 году: – что у меня нет недостатков, которые вы мне приписываете, потому что во мне нет и тех достоинств, которые вы находите во мне: может быть, я добра; обыкновенно я бываю кроткой, но, по своему положению, я поневоле должна желать со страшной силой того, чего желаю, – и вот приблизительно все, чего я стою».

Отметим, однако, что если, с одной стороны, ее воля находилась в постоянном и упорном напряжении, стремясь к тому, чтобы «благо государства совершилось», по ее выражению, и стремясь к этому с необыкновенной силой, то, с другой стороны, Екатерина была в своих желаниях самым непостоянством. Никогда не переставая желать этого блага государства вообще, она с поразительной легкостью и быстротой меняла представление о том, в чем это благо состояло. В этом отношении она была женщиной до мозга костей. В 1767 году она отдается всей душой своему Наказу, желая создать для России новые законы. Ей кажется, что это произведение, о котором мы впоследствии будем еще говорить и в котором она бесцеремонно ограбила Монтескье и Беккариа, должно открыть в истории России новую эру. И потому она страстно, пылко желает, чтобы идеи Наказа нашли скорее применение в жизни. Но тут она встречает препятствия; ей приходится выжидать, делать необходимые и неожиданные уступки. И тогда она сразу перестает интересоваться Наказом. В 1775 г. она составляет учреждение для управления губерний и пи-

шет по этому поводу Гримму: «Мои последние законы от 7 ноября содержат в себе двести пятьдесят страниц in quarto, но клянусь вам, что я никогда еще не писала ничего равного им, и что в сравнении с ними Наказ для уложения кажется мне теперь пустой болтовней». Она горит желанием показать скорее этот chef d'oeuvre своему корреспонденту. Но не проходит и года, как она совершенно охладевает к этому делу. В конце концов Гримм так и не получил обещанного документа, и когда он настаивал на том, чтобы она была так милостива и выслала его ему, то Екатерина теряла терпение: «Почему он так упорно добивается, чтобы ему дали прочесть эту очень мало занимательную вещь? Она, может быть, хороша; может быть, даже прекрасна, но чрезвычайно скучна». Сама же Екатерина уже через месяц перестала о ней думать.

В отношениях к людям у нее были такие же неожиданные, страстные увлечения, которым она отдавалась с совершенно исключительной пылкостью; но обыкновенно за ними очень скоро следовало полное разочарование и равнодушие. Большинству выдающихся людей, призванных ею в Россию, в том числе и самому Дидро, пришлось испытать это на себе.

Затем, употребив двадцать лет царствования на украшение различных загородных мест и находя их попеременно самыми прекрасными на свете, она в 1786 г. неожиданно пришла в восторг от одного соседнего с Петербургом местечка, ни в каком отношении не оправдавшего ее выбора. Но она немедленно приказал русскому архитектору Старову, учени-

ку петербургской академии художеств, выстроить здесь как можно скорее дворец, и сейчас же написала Гримму: «Все мои дачи – просто избы в сравнении с Пеллой, которая вырастает, как феникс, из земли».

Но, благодаря своему большому здравому смыслу и тонкому и пронизательному уму, она поняла впоследствии эту черту своего характера.

«Я только два дня тому назад сделала открытие, – пишет она, – что принадлежу к числу людей, которые хватаются за все, ничего не доводя до конца; до сих пор из всего, что я начала, еще ничто не закончено».

Год спустя она пишет опять:

«У меня не хватает времени, чтобы закончить все это; это напоминает мне мои законы и постановления: все начато и ничто не dokonчено; все сделано урывками».

Но она сохраняет все-таки некоторые иллюзии, потому что прибавляет:

«Если я проживу еще два года, то все будет доведено до полного совершенства».

Но прошло два года и более, и она убедилась, что не недостаток времени мешал ей довершить все ее дела. «Я никогда так ясно не сознавала, что способна работать лишь урывками», признается Екатерина с оттенком грусти. При этом она прибавляет, что считает себя «очень глупой» и находит, что у князя Потемкина было больше способности управлять государством, нежели у нее.

Прибавим, что она не была бы вполне женщиной, если бы ей не случалось по временам не сознавать вполне ясно, чего именно она хочет, а иногда и вовсе не понимать, что составляет предмет ее – при том всегда очень сильного – желания. По поводу некоего Ваньера, который служит у Вольтера секретарем, и которого она для чего-то пригласила к себе на службу, а потом не знала, что с ним делать, она писала своему *souffre-douleur*:

«Довольно извинений с вашей стороны... и с моей также за то, что я не знала в точности, – в этом случае, как и во многих других – ни того, чего я хотела, ни того, чего не хотела, и написала поэтому и о своем желании и о нежелании... Знаете, кроме той кафедры, которую вы мне советуете учредить, я открою еще другую: о „науке нерешительности“; я в ней более сведуща, нежели то можно было бы думать».

Естественно, что при таком складе ума императрице было трудно придавать управлению делами своего государства неизменно строгий и точно определенный характер. И действительно, на это Екатерина не была способна, и не в этом заключается ее историческое значение. Если же роль, сыгранная ею в истории России, была все-таки громадна, то лишь благодаря тому, – Екатерина сама это сознавала, – что ей пришлось иметь дело с молодым народом, едва начинавшим свою жизнь и вступавшим еще только в первый ее период: в период завоевательный. Народом, в этой стадии его развития, незачем руководить; да в большинстве случаев он

даже и неспособен поддаться постороннему влиянию. Он – «свободная сила», которая движется собственным импульсом, и, повинувшись ему, не рискует ошибиться. Единственное несчастье, которое может с ним случиться, это – что он заснет, не успеет проявить себя. Поэтому было бы бесполезно и даже напрасно вести такой народ за собою и указывать ему путь, который он и сам хорошо знал. Достаточно было по временам встряхивать и возбуждать его энергию. А это Екатерина умела делать в совершенстве. Она была стимулом и двигателем необычайной силы.

Она выдерживает в этом отношении сравнение с самыми выдающимися мужскими характерами истории. Ее дух находится в непрерывном напряжении, в постоянном подъеме сил и не поддается никаким испытаниям. В 1765 года она больна и не встает с постели. В городе носятся слухи, что она беременна и хочет произвести выкидыш. Между тем она назначила к концу месяца большие маневры – «лагерный сбор», как тогда говорили, – и объявила, что будет присутствовать на них. И, несмотря на болезнь, она действительно на них присутствовала. В последний день, во время «сражения», она в течение пяти часов не сходила с коня, управляя маневрами и рассылая через своего генерал-адъютанта приказания маршалу Бутурлину и генералу князю Голицыну, командовавшим двумя флангами армии. Ее генерал-адъютантом, в блестящей золотой кирасе, усыпанной драгоценными камнями, был, – как читатель догадался, вероятно, –

Григорий Орлов. Несколько месяцев спустя, когда в Петербурге начались беспорядки, Екатерина немедленно приехала туда ночью из Царского Села с Орловым, Пассеком и другими верными друзьями и верхом на коне проехала по улицам столицы, чтобы убедиться, что ее приказания исполнены и приняты все необходимые меры предосторожности. В это время она все еще не вполне оправилась от своей более или менее таинственной болезни; она по-прежнему ничего не могла есть. Но она находила нужным казаться другим здоровой и веселой. По ее желанию, празднества чередовались одно за другим. В Царское Село был выписан даже французский театр.

Она не знала вообще, что такое упадок телесных или нравственных сил, усталость или уныние. Сила сопротивления росла в ней соразмерно с трудностью борьбы, которую ей предстояло выдержать. В 1791 г., когда политический горизонт стал угрожающим, и Екатерине приходилось бороться и со Швецией и с Турцией, а с Англией с минуты на минуту мог произойти разрыв, — она не потеряла или делала вид, что не теряет, ясности духа и оставалась, как и всегда, веселой и общительной. Она смеялась и шутила, и советовала всем отучаться скорее от английских ликеров и привыкать к русским, национальным напиткам.

И сколько в ней было увлечения, сколько чисто юношеского пыла, какая молодая и свежая бодрость духа!

«Смело! Вперед! — вот изречение, которым я руководи-

лась одинаково и в хорошие, и в дурные годы, и теперь, когда мне уже больше сорока лет, что значит для меня настоящее зло в сравнении с тем, которое мне пришлось пережить?»

Так она говорила обыкновенно. Сила воли была в ней настолько велика, что она легко управляла внешними проявлениями своих чувств и могла даже вовсе подавить их в себе, когда они ей мешали, хотя бы они и были очень сильны, потому что от природы она далеко не была равнодушной, вялой или невпечатлительной. Хладнокровие, например, было вовсе не в ее характере. В мае 1790 года, в ожидании морского сражения со шведами, она целые ночи проводила без сна, измучила всех вокруг себя, захворала рожей, которую приписывала силе пережитого волнения, и довела наконец всех до слез, в том числе и своего первого министра Безбородку. Но как только она узнала о результатах битвы, к ней вернулось обычное спокойствие, веселость и оживление, как ни были печальны известия. Она часто переживала такую горячку ожидания, от которой она заболела «алтерацией», как она говорила, или «коликой».

Раз ее фактотум Храповицкий застал ее лежащей на кушетке; она жаловалась на боли в области сердца. – «Я сказал: „это от погоды“, – рассказывает Храповицкий. – „Нет, от Очакова, который вчера или сегодня берут, j'ai souvent de tels pressentiments (у меня часто бывают такие предчувствия)“, – ответила Екатерина. Впрочем, эти предчувствия часто и обманывали ее, как в настоящем случае: Очаков был взят при-

ступом лишь два месяца спустя. Узнав о смерти Людовика XVI, Екатерина была так потрясена, что слегла в постель. Правда, на этот раз она и не старалась ни совладать со своим волнением, ни скрыть его; она испытывала его не только в силу политической солидарности, но была вообще очень отзывчива на человеческое горе. Это была не „сентиментальность“, а искреннее сочувствие и жалость к людям.

«Я забывала пить, есть и спать, – писала она про смерть своей невестки в 1776 г., – и не знаю, чем поддерживались мои силы. Были минуты, когда мне казалось, что сердце разорвется от страданий, которые мне приходилось видеть».

Это не мешало ей, впрочем, присоединить к своему письму, вообще длинному, массу подробностей о текущих делах, даже свои обычные, несколько тяжеловесные шутки, которыми она любила оживлять переписку с друзьями, затем расспросы о «больной кишке» «souffre-douleur» (Гримма), рассказы о проделках ее собачек и т.д. Отдавшись на время волнению, она, очевидно, потом опять овладела собой, и она сама объясняет – почему.

«В пятницу я окаменела... Я, которая плачу всегда так легко, теперь присутствовала при смерти, не пролив ни слезы. Я говорила себе: если ты заплачешь (si tu pleureras) (sic), другие зарыдают; если ты зарыдаешь, другие упадут в обморок; все потеряют голову, и начнется полный переполох».

Она сама никогда не теряла головы и, как она утверждает в одном из писем, никогда не падала в обморок. Она всегда

была готова принести себя и свое волнение в жертву, чтобы своим мужеством подать пример другим. В августе 1790 года она высказывала серьезное намерение сопровождать в Финляндию резерв русской армии.

«Буде бы нужда потребовала, то в последнем батальоне-каре сама бы голову положила. Я никогда не трусила». – говорила она.

В 1768 году она первая или одна из первых в Петербурге, даже во всей России, привила себе оспу: по нашему времени она проявила этим не очень много храбрости, но по тогдашним понятиям это было крупное событие и героический поступок с ее стороны, прославленный, как таковой, всеми современниками. Достаточно прочесть записки англичанина Димсдэля, нарочно выписанного из Лондона для прививки императрице оспы, чтобы понять, какое значение придавалось тогда этой операции самими врачами. Теперь трепанация черепа и чревосечение кажутся докторам делом менее сложным. Екатерине сделали прививку 26 октября 1768 года. Через неделю оспу привили ее сыну. 22 ноября депутаты комиссии для составления уложения и высшие сановники собрались в Казанском соборе, где был прочитан указ сената о всенародных молебствиях по поводу выздоровления государыни; затем все *in corpore* отправились во дворец принести поздравления и благодарность ее величеству. Семилетний мальчик, по фамилии Марков, которому предварительно привили оспу, чтобы воспользоваться его лимфой

для императрицы, был возведен за свои труды в дворянское достоинство и получил название Оспенного. Екатерина привязалась к нему и воспитала его при себе. Марковы, которые занимают теперь в России высокое положение, обязаны им, таким образом, своему предку. Доктор Димсдэль получил титул барона, почетное звание лейб-медика двора ее величества, чин действительного статского советника и пенсию в 500 фунтов стерлингов. Безусловно, все эти награды не в меру превышали заслуги; но несколько лет спустя, в 1772 году, сообщая о прививке оспы сыновьям неаполитанского принца Сан-Анджело, первым подвергшимся этой операции в Неаполе, аббат Галиани тоже говорит об этом, как о событии большой важности. А в 1768 году сам Вольтер восхищался императрицей, давшей привить себе оспу с меньшими церемониями, «нежели монахиня ставит промывательное». Сама же Екатерина, по-видимому, придавала своему смелому поступку меньше значения, чем окружающие. Перед депутациями, которые приходили поздравлять ее, она находила, положим, нужным объявлять торжественно, что «она только исполнила свой долг, потому что пастырь обязан полагать жизнь свою за стадо». Но несколько дней спустя в письме к генералу Брауну, лифляндскому губернатору, она высмеивает лиц, восторгавшихся ее храбростью: «Я думаю, что эта храбрость есть у всякого уличного мальчишки в Лондоне», – пишет она.

IV. Упрямство. – Трудоспособность. – Пристрастие к письменным занятиям. – Веселость. – «Рецепт, чтобы вполне развеселить кого-нибудь». – Надо быть веселой! – Неизменно хорошее расположение духа. – Детские игры. – Жмурки в шестьдесят пять лет.

Любопытно, что, несмотря на непостоянство и крайнюю переменчивость ее настроения, на которые мы указывали, говоря об ее характере, многие считали ее очень упрямой. Отмечая «легкомыслие» и «недостаток определенности в идеях», как «ее слабую сторону», говоря о «постоянных колебаниях», которым подвергался ее ум под влиянием самых мелких событий, отказывая ей даже в «решимости в трудные минуты», – что кажется нам совершенно неверным, – англичанин Гаррис не раз упоминает в то же время в своих записках о том, как трудно было заставить Екатерину изменить мнение или отказаться от раз принятого намерения. Слово «упрямство» встречается очень часто в рассказе английского дипломата. Но это упрямство, думаем мы, зависело всецело от страстности, с какою эта необыкновенная женщина отдавалась своим увлечениям. Если ей приходили на ум какая-нибудь идея, проект или комбинация, казавшиеся ей счастливыми, то она цеплялась за них обеими руками и, как бульдога, о котором она говорила в одном из своих писем, ее можно было скорее убить, нежели заставить ее от них

отказаться. С тою же страстностью она готова была довести эту идею, проект или комбинацию до самых крайних пределов. Но зато ей ничего не стоило вдруг бросить то, чем она недавно еще так увлекалась, и заменить этот предмет увлечения каким-нибудь другим. Но пока она им увлекалась, она умела держаться за него крепко.

Это было в ее характере – отдаваться всецело настоящей минуте. Даже играя в карты – по десяти рублей или по 50 франков за робер – она вся уходила в игру. Она играла вообще хорошо и выигрывала часто, и не плутуя.

Трудоспособность ее была изумительна. «Вы спрашиваете меня, почему я не скучаю, – писала она Гримму. – Я вам скажу почему: я страстно люблю быть занятой и нахожу, что человек может быть счастлив, только когда занят».

Уже на следующий день после своего восшествия на престол она ясно показала всем свои вкусы и способность в этом отношении. Барон Бретейль пишет в донесении от 28 октября 1762 года:

«Царица стремится показать всем, что хочет сама управлять и сама руководить делами. Ей приносят депеши послков; она охотно составляет черновики ответов и присутствует довольно аккуратно на заседаниях сената, где крайне деспотически решает самые важные вопросы, касающиеся и общего управления странюю и частных лиц. Я знаю уже давно... что она держится того правила, что надо быть твердой в решениях, что лучше ошибиться, нежели изменить намерение, и,

главное, что только дураки могут колебаться».

Но из всех видов труда Екатерина больше всего любила писать. В этом тоже сказалась ее женская натура. В противоположность одному современному государственному деятелю ей было легче думать, держа в руках перо. В апреле 1764 года она резко обрывает письмо к князю Репнину следующей фразой: «Я так устала писать, что не в состоянии сказать еще что-либо сегодня...». А было только семь с половиной часов утра, когда она написала эти слова! Она доводила до изнеможения нескольких секретарей, и проекты писем или приказов, которые они представляли ей, выходили из ее рук все перечеркнутые поправками и примечаниями. При этом письменные ее занятия не ограничивались, как известно, составлением одних государственных бумаг. Она вела очень обширную и разнообразную переписку. Она писала всем, кто интересовал ее, и по поводу всего, что ее занимало. А что только ее не занимало! 14 апреля 1763 г. она пишет графу Разумовскому, чтобы предупредить его, что один из его управляющих – вор. 21 ноября 1764 г. она пишет князю Куракину, советуя ему принимать лекарство, о котором ему говорила. Пусть он принимает это лекарство, если не для себя, то хоть для нее, – прибавляет она любезно, – потому что ей необходимо его здоровье. 2 декабря того же года она пишет графу Воронцову насчет развода его дочери, графини Строгановой. В 1778 г. она задается целью примирить генерала Сиверса с его женой. Она начинает переговоры, назна-

чает посредников, старается подействовать то силой убеждения, то гневом.

Вступая на престол, она взяла на себя громадный труд и выполняла его, не слабея ни минуты. Правда, она не сгибалась под его тяжестью потому, что у нее была у характере и темпераменте драгоценная черта: веселость. Веселость здоровая, неизменная, очень редко покидавшая ее, но и в таких случаях возвращавшаяся к ней быстро, как апрельское солнце, возбуждавшаяся от пустяка и рассыпавшаяся ежеминутно звонким смехом. Екатерина была весела от природы, как она сама признавалась Циммерману, говоря о непродолжительном приступе «ипохондрии», бывшем у нее после смерти самого любимого из ее фаворитов, Ланского. Но при этом она еще старалась развивать и поддерживать в себе эту врожденную веселость. Она считала это важным делом и возводила его в настоящую систему.

«Надо быть веселой, – писала она своему другу, г-же Бельке. – Только это помогает нам все превозмочь и перенести. Говорю вам по опыту, потому что я многое превозмогла и перенесла в жизни. Но я все-таки смеялась, когда могла, и клянусь вам, что и в настоящее время, когда я несу на себе всю тяжесть своего положения, я от души играю, когда представится случай, в жмурки с сыном, и очень часто без него. Мы придумываем для этого предлог; говорим: „это полезно для здоровья“, но, между нами будь сказано, делаем это – просто, чтобы подурачиться».

«Она смеялась даже от плоской шутки, от простой цитаты, от глупости и забавлялась всяким пустяком, – говорит принц де-Линь. – И этот контраст между незамысловатостью того, что она говорила в обществе, и теми великими делами, которые она совершила, и делал ее особенно интересной.

Ей раз пришел в голову вопрос: может ли человек, действительно великий, прожить без большого запаса веселья и добродушия? Ей казалось, что это невозможно. У нее же самой этот запас был громаден, и ничто не могло истощить его – ни заботы, ни горе, ни даже скука официальных церемоний. Вот как она выходила из испытаний этого последнего рода, самых ужасных из всех в ее глазах: «Рецепт, чтобы вполне развеселить кого-нибудь: возьмите больного, запирайте его одного в двухместную карету, провезите его двадцать пять верст, заставьте его выйти, сводите его к обедне: пусть он выстоит ее от начала до конца. Угостите его потом двумя аудиенциями, после чего пусть он разденется. Затем подайте ему обед, к которому будет приглашено двенадцать человек: и вы увидите, что он станет весел, как птичка».

Ей было шестьдесят три года, когда она писала эти слова. Впрочем, она по возможности старалась сократить эту часть своих обязанностей как императрицы, признавая официальные церемонии лишь в случае крайней необходимости, или вводя в них элемент развлечения. Ее путешествие из Петербурга в Тверь в 1785 г., когда ее сопровождали французский, австрийский и английский послы и ей приходилось говорить

с ними и о делах, было тем не менее сплошным взрывом веселия. «Мы смеялись до упаду с утра до вечера», – писала она Гримму. Беседуя с графом Сегюром о недоразумениях, которые не прекращались у нее с султаном, она шутя придумала фантастический обмен дипломатических нот между своим министром иностранных дел и французским послом, заставляя этого последнего жаловаться на то, что его будто бы схватили по приказанию императрицы и во время невольного путешествия с ней подвергли его самому жестокому обращению. Екатерина составила даже по этому поводу юмористическое «Извлечение из тайных бумаг кабинета ее императорского величества», причем и черновик и копия этого очень пространныго документа написаны ее собственной рукой!

В 1777 году страшное наводнение, принявшее размеры катастрофы, разрушило часть Петербурга. Пострадали даже императорские дворцы. В Эрмитаже ураганом и напором воды разбило все окна, а Эрмитаж был любимым местопребыванием Екатерины, созданным ею, и которое она непрестанно украшала. На Неве погибло перед ее глазами сто сорок судов. И вот как она описывает это печальное событие:

«Я очень рада, что возвратилась вчера в полдень из Царского Села в Петербург. Стояла очень хорошая погода, но я говорила: О, быть грозе! потому что у нас с князем Потемкиным разыгралось вечером воображение. И действительно, в десять часов вечера началось с того, что ветер с шумом

распахнул окно в моей спальне: пошел небольшой дождь, а вслед за ним с неба посыпались всевозможные предметы: черепицы, железные листы, стекла, вода, град, снег. Я спала очень глубоко; в пять часов меня разбудил порыв ветра; я позвонила, и мне пришли сказать, что вода уже у моих дверей и просили позволения войти. Я сказала: „А, если так, то пошлите снять часовых, которые стоят в малых дворах, чтобы они не погибли, не допуская ее до меня“... Мне захотелось видеть все ближе; я ушла в Эрмитаж. Он (у Екатерины – elle) и Нева напоминали разрушение Иерусалима; набережная, еще не достроенная, была покрыта трехмачтовыми торговыми судами. Я сказала: „Господи! вот ярмарка перешла на новое место; надо будет, чтобы граф Миних открыл таможню там, где стоял прежде театр Эрмитажа...“

И она продолжает свой рассказ в том же тоне еще на трех страницах, вышучивая графа Панина, «который мог устроить у себя в манеже рыбную ловлю», и смеясь над смятением своих приближенных. Без сомнения, в этой манере излагать события большую роль играл присущий ей оптимизм или эвдемонизм, как и желание смягчить за границей впечатление бедствия, случившегося в Петербурге. Ведь приведенное нами выше письмо она послала Гримму, а ее письма к Гримму были в то время чем-то в роде нынешних сообщений агентства Гаваса. Но и ее неизменная веселость и жизнерадостность тоже способствовали игривому тону этого рассказа. «Веселость – вот в чем моя сила!» – говорила

она обыкновенно. Все ее письма к «souffre-douleur» так и искрятся веселием и смехом; по временам кажется даже, что она напевает, когда пишет:

«Vers la fin de ce mois je m'en vais a Moscou, et y viendra qui pourra, la la, et y viendra qui voudra.»... (К концу месяца я еду в Москву, и приедет туда, кто может, и приедет туда, кто хочет)...)»

Правда, в этот день ею был подписан Кучук-Кайнарджийский мир, и Пугачевский бунт был наконец подавлен. Но и месяц спустя она пишет опять:

«Вы знаете, что, кроме меня самой, в моей свите есть еще второй я... Это князь Репнин, очень веселый посланник и превосходный товарищ для путешествий, которого я везу с собой в Москву без всяких церемоний; в своем посольстве он может напустить на себя, если сумеет, необходимую важность, но только не теперь, со мною».

И, благодаря тому, что Гримм отвечал ей всегда в ее же тон, он и сумел сохранить ее благоволение и стать самым близким ее поверенным. Когда же он писал ей, случайно, в другом духе, например, после смерти невестки Екатерины, горько оплаканной – положим, не очень долго – самой императрицей, то она сейчас же призывала его к порядку:

«Я никогда не отвечаю на иеремиады; не следует думать о вещах, которым невозможно помочь... Мертвых не воскресить; будем лучше думать о живых».

А между тем ей самой ничего не стоило растрогаться, и,

как мы это видели, она плакала очень часто. Она со слезами провожала своего сына Павла, когда он уезжал в Финляндию, чтобы вместе с русской армией принять участие в действиях против шведов, – хоть и не сильно была привязана к сыну. Она плакала, получив известие о смерти адмирала Грейга. Храповицкий приводит еще много таких же случаев, где проявлялась ее чувствительность. Когда она узнала о кончине Потемкина, то чуть не изошла слезами. Но зато она и утешалась быстро и легко. И как горе и испытания, так и годы, скользили по ее счастливому характеру, не омрачая его. Вот письмо, написанное ею на шестьдесят пятом году жизни. В нем звучат, пожалуй, немного меланхолические ноты; но игры детей, как и прежде, находят еще в ее сердце радостный отклик, и жмурки не теряют прелести в ее глазах:

«Третьего дня, в четверг, 9 февраля, исполнилось пятьдесят лет с того дня, когда я с матерью приехала в Москву... Я думаю, что здесь, в Петербурге, нет в живых и десяти лиц, которые помнили бы об этом моем въезде. Остался только Бецкий, слепой, дряхлый, совсем выживший из ума, спрашивающий у молодых людей, помнят ли они Петра I. Затем графиня Матюшкина, которая, несмотря на свои семьдесят восемь лет, плясала вчера на свадьбе. Затем обер-шенк Нарышкин, которого я застала в чине камер-юнкера двора, и его жена. Его брат, обер-шталмейстер, – но он отрицает, что видел мой въезд, потому что это его старит. Обер-камергер Шувалов, который уже почти не выезжает от дряхлости из

дому. Наконец моя старая горничная, которая начинает впадать в детство... Вот несомненные признаки старости, как и самый этот мой рассказ, может быть, – но что делать? И, несмотря на это, я до страсти, словно пятилетний ребенок, люблю смотреть, как играют в жмурки и во всякие другие детские игры. Молодежь и мои внуки говорят, что без меня не бывает настоящего веселья, и что при мне они чувствуют себя смелее и свободнее, нежели без меня. Значит, это я – настоящий Lustigmacher».

V. Нравственное здоровье. – Простота обращения в частной жизни. – Щедрость. – Доброта. – Была ли Екатерина жестокой? – Опять императрица и женщина. – Слуги обожают ее. – Анекдоты. – Нетерпение и живость.

Екатерина была, несомненно, человеком, у которого все силы находятся в счастливом равновесии, – одним словом, человеком с превосходным нравственным здоровьем. Вот почему с ней жилось легко, служить ей было приятно, и хотя она и не была так снисходительна и кротка, какую хотела казаться, но никогда не проявляла ни придирчивости, ни крайней требовательности или строгости. Вне официальных церемоний, которым она всегда стремилась придать как можно больше блеску, – ее отношение к ним нам, впрочем, известно, – она всех очаровывала своим обхождением. Она дер-

жала себя просто и свободно, не стесняя никого своим присутствием, но не забывая в то же время и своего высокого положения и указывая другим их подчиненное место, причем это выходило у нее как-то само собою, бессознательно. При рождении внука Александра она в письме к Гримму выражает сожаление, что на свете не существует уже больше фей, «которые могли бы одарить ребенка всем, чем пожелаешь... Я отблагодарила бы их прекрасными подарками, – пишет Екатерина, – и подсказала бы им на ухо: Госпожи феи, дайте ему естественности, немножко естественности, а всему остальному его научит опыт». Она любила казаться простой и добродушной. Раз, ударив своего секретаря свертком бумаг в живот, она сказала ему: «Я вас убью когда-нибудь листом бумаги». В письме к почт-директору Экку она называла его: «Господин мой сосед».

Принц де-Линь приводит в своих воспоминаниях эпизод из путешествия Екатерины в Крым, когда ей пришлось в голову, чтобы все говорили ей «ты» с тем, чтобы и она могла пользоваться тем же правом. Эта фантазия часто у нее повторялась. «Вы не поверите, – писала она Гримму: – как я люблю, чтобы мне говорили „ты“; я хотела бы, чтобы в Европе все говорили на „ты“. Но это была игра, в которой не следовало заходить с нею слишком далеко. Впрочем, никто и не решился бы на это. Интересно послушать, как она рассказывает о своих отношениях с г-жой Тоди, знаменитой примадонной, оценить талант которой она не могла, но которой со-

глашалась тем не менее платить громадное жалование. Сцена происходит в Царском Селе.

«Г-жа Тоди здесь и гуляет, сколько может, со своим супругом. Очень часто мы встречаемся с нею лицом к лицу, хотя никогда не сталкиваемся. Я говорю ей: добрый день или добрый вечер, madame Тоди; как ваше здоровье? Она целует мне руки, я ее в щеку; наши собаки обнюхиваются. Она берет свою собачку на руки, я отзываю своих, и мы расходимся, каждая своею дорогой. Когда она поет, я слушаю и аплодирую ей, и мы обе говорим, что находимся друг с другом в прекрасных отношениях».

В смысле знакомств Екатерина была очень неразборчива и терпима. Но если при ней критиковали выбор ее друзей или близких, она отвечала:

«До того, как я стала тем, что я есть, я тридцать три года была такою, как все; и не прошло еще и двадцати лет с тех пор, как я стала другою. А это научает жить».

Но зато общество сильных мира сего часто бывало ей в тягость:

«Знаете ли вы, почему я боюсь визитов королей? Потому, что обыкновенно они очень скучные и несносные люди, с которыми надо держаться чинно и строго. Знаменитости еще внушают мне уважение. Мне хочется быть с ними умной за четырех; но иногда мне приходится употреблять этот свой ум за четырех на то, чтобы слушать их, а так как я люблю болтать, то молчание мне надоедает».

Щедрость ее, ставшая баснословной, не была исключительно показной. Гримм очень часто раздавал по ее поручению подарки, соблюдая дело в тайне. Иногда она выказывала при этом тонкую и очаровательную деликатность: «Ваше королевское высочество, – писала она графу д'Артуа перед его отъездом из Петербурга, – вероятно, пожелаете сделать небольшие подарки лицам, приставленным к вам и служившим вам во время вашего пребывания здесь. Но, как вы знаете, граф, я воспретила всякую торговлю и сношение с вашей несчастной Францией, и вы не найдете в городе французских безделушек; они сохранились в России только у меня, в кабинете; надеюсь поэтому, что вы не откажете принять их от вашего преданного друга. Екатерина».

Чего ей не хватало в щедрости, как и во многом другом, – это чувства меры. Она сама искренно в этом сознавалась. «Я не умею дарить, – говорила она: – я даю или слишком много, или слишком мало». Можно подумать, что, вознеся ее так высоко над людьми, судьба как бы уничтожила в ней общечеловеческое представление о ценностях. Екатерина бывала то расточительна, то скупа. Когда в силу чрезмерных расходов и наград ее средства истощались, у нее, по ее выражению, делалось «каменное сердце», и она отказывала людям в самых справедливых и достойных удовлетворения просьбах. Князю Вяземскому, который прослужил у нее тридцать лет и заслуги которого она ценила, она назначила при отставке только треть полагавшейся пенсии. Он от этого умер с горя.

Но он уже перестал нравиться ей.

Тем же, кто ей нравился и пока нравился, она дарила без счета. В 17811 году при женитьбе графа Браницкого на племяннице Потемкина она дала 500.000 рублей приданого невесте и столько же жениху, чтобы он расплатился с долгами. Раз она забавлялась тем, что придумывала в шутку, какою смертью могут умереть главные лица при ее дворе. Она решила, что Иван Чернышев умрет от гнева; графиня Румянцова оттого, что слишком долго тасует карты, Илья Всеволожский от приступа вздохов. И так далее. Сама же она умрет от излишней угодливости к людям.

Но она была не только угодлива: в ней было много прирожденного великодушия, что она и доказала не раз. С лицами, которых она удостоивала своим доверием, она никогда не входила в мелкие счеты из-за убеждений или чувств, что так любят делать женщины. Она не умела быть недоверчивой. Одному иностранному художнику Рейфенштейну – «божественному» Рейфенштейну, как она его называла, – которому она поручила сделать значительные закупки для картинной галереи Эрмитажа, показалось, что она подозревает его честность. Гримм, служивший между ними посредником, тоже заволновался.

«Убирайтесь вы оба с вашими завещаниями и отчетами! – написала тогда императрица Гримму. – Никогда в жизни я не имела подозрений ни на одного из вас. К чему же вы надоедаете мне этими мелочами и бессмысленными пустяками».

Она прибавляла: «Никто не наговаривает и не наговаривал мне на „божественного“. Гримм мог поверить ей в этом на слово. Она никогда не допускала до себя инсинуаций, столь обычных в придворной жизни. Говоря ей дурно о других, можно было повредить только самому себе. Даже Потемкин испытал это на себе, когда, пытался поколебать ее доверие к князю Вяземскому.

Но зато, если дело шло о том, чтобы помочь друзьям или защитить их, она бывала готова на все и даже забывала о своем высоком положении. Однажды ей доложили, что у гжи де-Рибас, жены итальянского авантюриста, произведенного ею в адмиралы, начались трудные роды: она сейчас же вскочила в первый попавшийся экипаж, стоявший у подъезда дворца, вихрем влетела в комнату своей приятельницы, засучила рукава, надела передник. «Ну, теперь за работу вдвоем! – сказала она акушерке, – и постараемся хорошо ее исполнить!» Случалось, что многие злоупотребляли этой слабостью Екатерины. «Все знают, что я добра до того, что меня можно беспокоить из-за всякого пустяка», – сказала она как-то. Но была ли она просто «добра»? Да, по-своему, но не так, как все люди. Впрочем, самодержавная владычица над жизнью сорока миллионов людей и не могла быть такою, как все. М-ме Виже-Лебрэн, мечтавшей написать портрет великой государыни, кто-то посоветовал. «Возьмите, – сказали ей, – вместо холста – карту русской империи; как фон – мрак ее невежества; вместо драпировки – остатки истерзан-

ной Польши; колоритом – человеческую кровь; рисунком на заднем плане – памятники царствования Екатерины и, чтобы оттенить их, – шесть месяцев управления ее сына». В этой мрачной картине есть своя доля правды. Но в ней нет оттенков. Во время страшного Пугачевского бунта, как ни сурова была Екатерина при подавлении восстания, грозившего ее престолу, она предписывала графу Панину ограничиваться лишь необходимыми мерами строгости. И как только Пугачев был схвачен, она постаралась смягчить положение жертв этой ужасной междоусобной войны. Но в то же время в Польше все ее генералы отличались крайней жестокостью, и она не мешала им. После избиения, сопровождавшего взятие Варшавы, она приветствовала Суворова. У нее, в ее царстве, «откуда, – по словам Вольтера, – исходит теперь свет», кнут работал, как и в старину, и палка по-прежнему бьет окровавленные спины рабов. И Екатерина допускала у себя и этот кнут, и палку. Все это требует разъяснения.

Прежде всего надо отдать себе ясный отчет о том представлении – представлении, очень обоснованном и очень обдуманном, – которое русская императрица составила себе о деле управления государством и о своих обязанностях. Нельзя вести войну, не имея раненых и убитых, нельзя подчинить себе свободолобивый народ, не затопив его сопротивление в крови. Желая овладеть польскими провинциями, – было это желание законным или незаконным, мы здесь касаться не будем, – приходилось мириться со всеми последствиями

этого завоевания. И Екатерина так и поступила, откровенно и спокойно взяв на себя всю ответственность за это дело: спокойно потому, что в подобных случаях она руководилась только государственными соображениями, заменявшими ей и совесть, и даже чувство; и откровенно потом, что она не была лицемерна. Она была, бесспорно, прекрасной актрисой и даже актрисой первостепенной, но бывала ею лишь в силу своего исключительного положения, состоявшего в сущности в том, чтобы всегда разыгрывать роль. В этом смысле французский поверенный в делах Дюрань и высказал о ней следующее суждение в одном разговоре: «Моя опытность не может мне здесь пригодиться; эта женщина так же фальшива, насколько наши – обманщицы; сильнее этого я ничего не могу сказать». Но Екатерина никогда не была лицемерной из любви к искусству, из желания обмануть других, как это часто делают люди, или из потребности обмануть самое себя. «Она слишком горда, чтобы обманывать», – сказал про нее принц де-Линь.

И в том, что она сделала или что допустила сделать в Польше, она имела не мало сообщников, начиная с самой Марии-Терезии, этой набожной императрицы. Только та смешивала свои слезы с кровью, которую проливала. «Она все плачет и все захватывает», – говорил про нее Фридрих. Екатерина же не пролила при этом ни слезы.

Екатерина повиновалась в данном случае еще и другому государственному принципу. Как она ни была самодержавна,

но сознавала, что не может присутствовать везде. Суворову был отдан приказ взять Варшаву. Он взял ее. Как? Это было его дело, и никто не смел в это вмешиваться. Это принцип безусловно спорный, – но нам здесь не место разбирать политические теории. Мы имеем в виду лишь характеристику Екатерины.

И, наконец, Екатерина была русской императрицей, а достаточно сказать, что Россия восемнадцатого века являлась страной, к которой европейские понятия о справедливости и о чувстве были не применимы, и где чувствительность, как нравственная, так и физическая, подчинялась своим, особым законам. В 1766 году, во время пребывания Екатерины в Петергофе, сильный шум во дворце поднял раз ночью на ноги и ее самое и весь двор. Это вызвало большой переполох и волнение. Виновником тревоги оказался лакей, ухаживавший за одной из горничных императрицы. Его судили и приговорили к сто одному удару кнутом, что почти равнялось смертной казни; затем, если бы он выжил после этой пытки, ему должны были отрезать нос, заклеить лоб раскаленным железом и сослать его на вечное поселение в Сибирь. И никто не был возмущен таким приговором. Но только по таким чертам времени, а также по понятиям, чувствам и степени отзывчивости среды, в которой жила Екатерина, и можно судить ее, как государыню, хотя в политическом отношении она все-таки, бесспорно, не заслуживала названия милостивой.

А вне политики Екатерина была очаровательной императрицей, которую все обожали. Это невольно бросается в глаза. Приближенные не нахвалятся на нее. Слуги – ее баловни. Всем известна ее история с трубочистом. Екатерина вставала всегда рано, так как любила работать утром, в тишине, и, чтоб никого не беспокоить, иногда сама затапливала у себя камин. Раз, затопив печь, она услышала в трубе пронзительные крики и вслед за ними ряд отборных ругательств. Она сейчас же поняла, в чем дело, скорее потушила огонь и стала смиренно просить прощения у бедного маленького трубочиста, которого чуть было не сожгла живым. Предание сохранило о ней еще много подобных рассказов. Однажды графиня Брюс вошла в уборную императрицы и застала Екатерину полуодетую, со скрещенными на груди руками, в позе человека, который терпеливо ожидает чего-то. На удивленный вопрос графини, Екатерина сказала ей:

«Что поделаешь, все мои девушки бросили меня. Я только что примеряла платье, которое так дурно на мне сидело, что я рассердилась; тогда они оставили меня здесь одну... и я жду, чтоб они перестали на меня дуться».

Посылая Гримму письмо, написанное почти неразборчивым почерком, она в извинение говорит:

«Камердинеры дают мне в день по два чистых пера, которые я считаю себя в праве исписать; но если они у меня испортятся, я уже не смею спросить себе новых, и пишу, как умею, тупыми, переворачивая их во все стороны».

Раз вечером, долго и напрасно прозвонив, она вышла в переднюю и нашла тех же своих камердинеров, поглощенных в карточную игру. Тогда она кротко предложила одному из них сесть за него и докончить за него партию с тем, чтоб он исполнил скорее необходимое для нее поручение. Другой раз, поймав лакеев на том, что они брали себе провизию, предназначавшуюся для ее стола, она сказала им строго:

«Чтобы это было в последний раз!» И затем прибавила: «А теперь бегите скорее, чтобы вас не увидел дворцовый комендант».

Она заметила как-то, в окно дворца, старуху, ловившую курицу; но через минуту уже за самой старухой гнались придворные слуги, старавшиеся выказать особое усердие на глазах у императрицы: курица была «казенная», а старуха – бабушка одного из поваренков; итак, двойное преступление. Но, исследовав это дело, Екатерина приказала, чтобы бедной женщине каждый день давали по курице, только уже зарезанной и выпотрошенной.

Она содержала, трогательно ухаживала и терпела возле себя, несмотря на все ее немощи, старую немку-кормилицу, до самой ее смерти.

«Я боялась ее, как огня, как посещения коронованных особ и знаменитостей, – писала Екатерина Гримму, сообщая ему о смерти этой кормилицы. – Как только она меня видела, то хватала меня за голову и начинала душить поцелуями. При этом от нее страшно несло табаком, который усиленно

курил ее супруг». [Письмо Екатерины к Гримму от 8 июня 1778 г. сборник Исторического общества, XXII; Ср. Сумароков, «Черты Екатерины Великой», «Русский Архив», 1890 г., стр. 2076.]

А между тем Екатерина была нетерпелива от природы, так как характер у нее был живой, даже слишком живой. Она легко забывалась и выходила из себя. Это был один из ее недостатков, наиболее бросающихся в глаза. Гримм сравнивал ее с Этной, и ей нравилось его сравнение. [Письмо Екатерины к Гримму от 17 августа 1778 г. Сборник Исторического общества, XXIII.] Она называла этот вулкан «своим кузеном» и часто спрашивала, как он поживает. Но она знавала, что эта вспыльчивость – недостаток, а потому ей было нетрудно победить ее в себе. Отдавшись в первую минуту гневу, она сейчас же подавляла его и приходила в себя. Если дело происходило у нее в кабинете, то, засучив рукава – ее обычный жест, – она начинала шагать из угла в угол, выпивая залпом несколько стаканов воды. В такие минуты возбуждения она никогда не отдавала приказаний и никогда не подписывала бумаг, но употребляла иногда очень грубые выражения. Это видно по ее выходкам против Густава III во время шведской войны. Она слишком часто злоупотребляла тогда словом «*canaille*» на французском и «*Bestie*» на немецком языке. Но потом она всегда сожалела об этом и с годами, следя за собой и, благодаря своей сильной воле, умея владеть собою в совершенстве, достигла такого самообладания, что

никто не поверил бы в ее былую вспыльчивость:

«Она сказала мне медленно, – рассказывает принц де-Линь: – что прежде была чрезвычайно жива, – это очень трудно теперь себе представить... Ее три мужских русских поклона, которые она неизменно отвешивала при входе в залу, один налево, один направо и один посередине, – все было в ней рассчитано, методично... Она любила говорить: „я непоколебима“, употребляя четверть часа на это, чтобы произнести это „слово“ ...». [De Ligne. Oeuvres choisies. 111, 12 —13.]

Сенак де-Мейлан, посетивший Россию в 1791 году, подтверждает слова принца де-Линь. Он говорит в своих петербургских письмах о необыкновенном впечатлении спокойствия и ясности духа, которое всегда производила Екатерина, являясь при дворе. Но это не была неподвижность статуи. Она оглядывала всю залу, и видно было, что она хорошо замечает и общую картину, и подробности. И если она говорила медленно, то не потому, что искала слов: она словно подбирала не спеша те, которые наиболее ей подходили. [Письма Сенак де-Мейлана, изданные Архенгольцем, «Минерва», III, 36.]

И при всем том Екатерина до конца жизни сохранила привычку прищипливать салфетку к груди, садясь за стол: «она не могла иначе съесть яйца, не выронив половину себе на воротничок», – как сама в этом признавалась.

VI. Темперамент. – Чувственность. – Не истерия и не нимфомания. – Догадки.

У нее был исключительно живой, сангвинический, страстный темперамент. Не одна сторона ее интимной жизни, как известно, показала это. Мы потом еще вернемся к этому вопросу. Но скажем заранее, что распущенность ее нравов, – желание скрыть всю ее необузданность в этом отношении было бы только наивно, – не была связана у нее ни с каким органическим пороком. Она не страдала ни истерией, ни нимфоманией. Это была просто чувственная женщина, бывшая в то же время царицей и дававшая поэтому волю своим страстям – по-царски. В этом отношении, как и во всех остальных, она поступала спокойно и невозмутимо, мы чуть было не сказали: методически. Она никогда не поддавалась минутной игре воображения или случайной нервозности. Любовь была для нее естественным отправлением организма, одаренного и в физическом и в нравственном отношении необыкновенной силой, пылким темпераментом и удивительной длительностью некоторых физиологических явлений. Екатерина и в шестьдесят семь лет была еще влюбленной!

Все же другие ее вкусы говорили о полной уравновешенности ее натуры. Она любила искусства, любила общество умных и образованных людей, любила природу. Садовод-

ство, «плантомания», как она это называла, было одним из ее любимых развлечений. Отметим кстати, что, обожая цветы, она не выносила в то же время запаха крепких духов, в особенности мускуса. Каждый день, в определенный час, к ней слетались по звонку стаи пернатых, и она бросала им корм из окна дворца. Елизавета кормила лягушек, которых нарочно разводили для того в парке: в этом ясно сказывается разница между обеими императрицами, и оттенок чего-то извращенного, болезненного во вкусах Елизаветы. В Екатерине не было ничего похожего на это. Она любила птиц, собак, игравших в ее жизни большую роль, лошадей; она любила вообще всех животных, но выбирала среди них тех, которые и обыкновенно ближе всего стоят к людям. Все это было очень просто, очень естественно, очень нормально.

Елизавета вела крайне неправильную жизнь, превращая день в ночь и не имея ни для чего определенного часа. Екатерина же, как мы увидим дальше, была сама пунктуальность; она рано ложилась спать, вставала на заре, пригоняя свои занятия, как и свои развлечения, к заранее составленной программе, которую всегда в точности выполняла. Елизавета напивалась иногда пьяной. Екатерина была очень умеренна, ела мало, пила за обедом глоток-другой вина, никогда не ужинала. В обществе и даже в своем интимном кружке, – вне тайн, происходивших у нее в алькове, – она была всегда чрезвычайно сдержанна, не позволяя себе никогда ничего двусмысленного и не допуская это при себе. И это не было

в ней лицемерием, потому что она не скрывала и даже афишировала своих любовников.

Желая найти в ней что-нибудь противоестественное, ненормальное, указывают обыкновенно на полное отсутствие в ней всякого семейного чувства. Но это вопрос еще спорный. Положим, если она даже не убивала или не приказывала убить мужа, то во всяком случае презирала и ненавидела его; и если и не собиралась лишить сына престола, то была к нему очень мало привязана. Но надо помнить, чем были для нее, да и для России, – и этот муж, и этот сын. Говорят, она никогда не выражала желания свидеться со своим единственным братом, которого пережила только на три года, и не позволяла ему навестить ее. Но на это у нее были политические причины. Она находила, что в России и без того слишком много немцев, считая и себя в их числе. У нее – это несомненно – ум всегда подавлял чувство, и, несмотря на то, что она была немкой, в ней не было и тени сентиментальности. Но при всем этом, как это будет видно из дальнейшего рассказа, она была самую нежной из бабушек и страстно любила детей.

Глава вторая

Ум. – Остроумие. – Образование

1. Умственные способности. – Отсутствие «творческо-

го ума». – Притязания на оригинальность. – Воображение и здравый смысл. – Воздушные замки. – Высокое обаяние ее ума. – Мираж. – Красноречие Екатерины и увлекательность ее беседы. – Автографическое interview.

У Екатерины был великий характер, но не было большого ума. Она сама сознавалась, что «творческого ума» в ней нет. Тем не менее она считала, что мыслит вполне оригинально. «Никогда в жизни я не выносила подражательности, – писала она г-же Бельке, – и если уже говорить откровенно, я так же оригинальна, как и самый завзятый англичанин». Но эта самобытность проявлялась у нее скорее в ее вкусах, привычках, в ее манере действовать, нежели в ее уме. В Наказе законодательной комиссии, который она писала тридцати шести лет, т.е. в полном расцвете своих умственных сил, нет ни одной новой мысли. Это посредственная работа ученика риторического класса, которому задали разобрать сочинения Монтескье и Беккарии, и который вложил в свой труд очень много старания, но не выказал в нем большого дарования. А между тем этот Наказ стоил Екатерине страшных усилий. К концу марта 1765 года она проработала над ним уже два месяца, просиживая по три часа в день. Она отдавала работе лучшие, утренние часы. К середине июня у нее было готово шестьдесят четыре страницы, и ей казалось, что она совершила громадный труд. Она чувствовала полное изнеможение. «Я высказала все, что было у меня в голове, – писа-

ла она, – и теперь я не скажу уже больше ни слова до конца жизни». Каждому из нас знакомы эти клятвы и то чувство усталости, которое охватывает человека после первого длительного труда. Но если вспомнить результаты, достигнутые Екатериной в этой части Наказа, то ее авторские страдания производят почти комическое впечатление. Притом она высказала – или думала, что высказала, – «все» мысли, которые было очень легко заменить другими, потому что они были не ее, а чужие: она всегда могла найти себе новые взамен.

Но было ли все-таки что-нибудь ценное в ее собственном уме? Да. Прежде всего у нее было очень много здравого смысла, соединенного, что бывает редко, с богатым воображением. Екатерина все тридцать четыре года своего царствования строила воздушные замки – прекрасные замки, не имевшие под собою никакой почвы и разлетавшиеся, как дым, при самом легком прикосновении. Но наступил день, когда в основание одного из таких фантастических строений был, словно чудом, положен камень, единственный, но настоящий. Его положила Екатерина, и это было делом ее здравого смысла. А русский народ dokonчил начатое ею дело. Он принес ей свой пот, свою кровь, и – как каменные пирамиды, воздвигнутые трудами тысяч безвестных жизней, – здание, заложенное Екатериной, стало расти и приняло осязательные формы. Так совершилось завоевание Тавриды. Это была давнишняя мечта Екатерины, осуществленная Потемкиным в виде прекрасного, полного приключений романа.

Краугольный камень был положен в одном из портов Черного моря, и созданся нынешний Крым.

Но как объяснить, что Екатерина очаровывала и даже поражала именно глубиной и блеском ума большинство людей, которых она считала способными оценить ее в этом отношении, и среди которых можно назвать хотя бы самого Дидро? Мы думаем, это был опять своего рода мираж, особые чары, которыми она околдовывала людей, и в состав которых входили и необыкновенная сила воли, и ее удивительное и уже известное нам умение обходиться с людьми, и еще одно редкое качество, совершенно неожиданное и даже почти невероятное для этой немки Севера: красноречие, – красноречие неиссякаемое, пылкое, точно расцветшее под жарким южным солнцем. По своей манере говорить, по богатству и яркости образов, которыми она пересыпала речь, по умению вести живую и легкую беседу, Екатерина была настоящей южанкой. «Я люблю болтать», – говорила она, и Гримм приходил в отчаяние, что не может сохранить для потомства образчик того, чем был ее разговор:

«Надо было видеть в эти минуты ее своеобразную голову, это соединение гения и грации, чтобы понять всю увлекательность ее красноречия, меткость ее замечаний, блеск ее остроумия, которые слетали с ее уст и мчались одна за другую, точно брызги прозрачного ключа, бьющего из-под земли. О, почему я не был в силах записать буквально эти беседы! Мир имел бы ценную и, может быть, единственную стра-

ницу для истории человеческого ума. И воображение и рас- судок слушателя одинаково поражались ее орлиным взгля- дом, глубоким и быстрым, освещающим все в одно мгнове- ние, как молния. Разве возможно было в такие минуты схва- тить налету все ее блестящие, пронизательные, мимолетные замечания?..

Но то, на что Grimm не мог решиться, попыталась сде- лать сама Екатерина. В 1780 г., приведя своей беседой в вос- торг графа Ивана Чернышева, она прислала ему на следую- щий день, по его просьбе, буквальный пересказ этого раз- говора. Этот документ сохранился. Он любопытен. Но при- знаться ли, что он невольно вызывает разочарование? Он на- поминает нам замечание одного старого ученого, достигше- го крайнего предела человеческого возраста и превращавше- гося временами в «enfant terrible», однажды он сказал при нас политическому деятелю, страдавшему манией печатать в изданиях, насколько возможно менее официальных, свои речи, которые палата не всегда выслушивала:

– Простите меня, но в журнале, который вы мне дали про- честь, я встречаю на каждом шагу выражения: «волнение, продолжительное движение на скамьях, шум»... Но как я ни стараюсь, я не нахожу ничего поразительного в ваших ре- чях...

Такое же впечатление производит и чтение знаменитого отчета Екатерины. Напрасно вы стали бы искать в ее разго- воре это блестящее остроумие, тонкую иронию, проблески

гения, о которых говорит Гримм.

Начинается цитатой из драмы Расина «Plaideurs»:

«Ma foi, sur l'avenir bien fou qui se fiera...»

Она служит как бы эпитафией к политическим предсказаниям Екатерины, в которых не видишь никакого «орлиного взгляда».

«Предсказываю, что Франция, Австрия, Пруссия и Россия придут в столкновение, нанесут друг другу глубокие раны, взаимно излечатся и достигнут, все четыре, высшей степени славы».

Это очень напоминает прорицания ясновидящих; хотя, может быть, здесь надо видеть пророчество о наполеоновских войнах? Но угадала ли зато Екатерина близость революции, как то уверяют многие? По-видимому, нет. Разве только в следующей фразе можно найти на то намек: «Бюффон предсказал, что комета заденет наш шар и увлечет его за собой. Я думаю, что движение кометы будет направлено с запада на восток». Но это – опять язык профессиональной гадалки на картах, и сама девица Ленорман не превзошла бы, пожалуй, Екатерину в туманности выражений. Ошибки королевского правительства Франции не могли, впрочем, не бросаться в глаза проницательной русской императрице. За два года до революции она говорила графу Чернышеву: «Мне не нравится, что королева Мария-Антуанетта смеется так мно-

го и надо всем. Правда, она женщина и очень женственная женщина; немного женственности есть и у меня, но на ее месте и в ее положении я боялась бы, чтобы мне не сказали: *Rira bien qui rira le dernier*». Это замечание – глубокое и дальновидное. В таких вопросах, – благодаря своему большому здравому смыслу, а также тому удивительному пониманию роли монарха перед народом, каким не обладал в той степени, как она, ни один из ее соперников в современной истории, – Екатерина вообще судила верно. При несравненно более высоких талантах и Фридрих и Наполеон в этом отношении уступали обаятельной русской царице. Екатерина была более гибка, удачнее умела выбирать средства, тоньше понимала оттенки. Она была недостижимо виртуозна в искусстве царствовать.

Но вернемся к ее беседе с Чернышевым, или, вернее, к ее монологу. По адресу Англии она произносит очень неудачную фразу: «Англия! фанатизм возвысил ее, фанатизм ее поддерживает и фанатизм ее погубит». Спрашивается, что должны означать эти слова, и на каком основании они были сказаны? По-видимому, это была просто случайная мысль, брошенная по поводу текущих событий, в роде тех, что так часто высказываются теперь журналистами наших дней. Был 1780 год, и в Лондоне только что разыгралось народное движение против католицизма, вызванное происками лорда Гордона, честолюбца, довольно неразборчивого в средствах. С традиционными криками: «No Popery!» двадцатитысяч-

ная толпа черни заняла Вестминстер, и некоторые из членов парламента подверглись насилию. И из этой мимолетной вспышки Екатерина умудрилась вывести целый исторический закон.

Дальше в ее беседе, – или в записи ее беседы, – следуют философские рассуждения:

«Можно быть безнаказанно умным, талантливым, нравственным, добродетельным, рассудительным, но нельзя пользоваться безнаказанно славой, успехом, богатством и в особенности милостью царей».

Это и не очень ново, и не очень справедливо. Во все времена людям талантливым и добродетельным приходилось выносить такие же, если не сильнейшие, гонения из-за своего таланта и добродетели, как и богачам из-за своих сокровищ. Но вот мысль, менее банальная:

«Выиграть победу – это ничто; приобрести землю – уже кое-что, а разбогатеть – все. Богатые имеют удивительную власть над человеческим родом, потому что сами короли в конце концов начинают уважать тех, кто разбогател».

Это размышление было бы вполне естественным у человека, воспитанного в духе современного материализма и пораженного могуществом громадных состояний, которые накапливаются в наш век с такой головокружительной быстротой: но ведь при Екатерине дома Ротшильдов еще не существовало! Но в то же время нельзя не заметить, что еще у отца Александра Македонского, может быть, уже пробегали

подобные идеи...

Что же касается до общего впечатления от этого разговора, то единственное, что в нем поразительно, – это значение, которое Екатерина придавала ему вслед за Чернышевым. Правда, одна сторона ее беседы, – и, может быть, наиболее привлекательная, – от нас ускользает: слова сохранились, но как передать на бумаге выражение, с которым они были произнесены, страстный тон речи, голос собеседницы, вероятно, чарующий? А между тем от одного этого тона и голоса, и исключительно от них одних, часто зависит весь успех оратора.

«В ваших беседах, божественная государыня, нет ни человеческой методы, ни изысканности. Есть только тот высший и непостижимый дух, который служит вашим уделом».

Так писал императрице фельдмаршал Миних несколько месяцев спустя после ее восшествия на престол. Очевидно, и для него сила красноречия Екатерины была отчасти загадочна.

II. Остроумие Екатерины. – Ее остроты. – Ее манера шутить. – Немецкое происхождение. – Употребление русских поговорок.

Была ли Екатерина остроумна? Сама она никогда на это не претендовала, и это уже значит не мало. Колкая ирония,

счастливые обороты речи, меткие словечки попадаются кое-где в ее переписке. Современники сохранили несколько ее остроумных замечаний, достойных лучших мастеров в этом роде. Граф Кобенцель, австрийский посланник, прослуживший в Петербурге бесконечное число лет и находившийся еще здесь при первых победах республиканской Франции, страстно любил театр, так же, как и принц де-Линь. Несмотря на свои шестьдесят лет, чрезвычайно неблагоприятную внешность и жестокие немощи, от никогда не отказывался выступать на сцене, и победы Наполеона не мешали ему задавать у себя в доме непрерывные обеды, балы и спектакли.

«Вы увидите, – сказала про него императрица: – что свою лучшую пьесу он приберегает нам к тому дню, когда французы займут Вену».

Обыкновенно же на остротах Екатерины лежал тяжело-весный отпечаток ее немецкого происхождения и того не совсем изысканного общества, в котором она вращалась. Иногда в них был даже оттенок чего-то тривиального, и очень редко они бывали тонки. Она любила игру слов и часто прибегала к каламбурам. В 1793 году, назначив аудиенцию испанскому послу, по фамилии Онис, она сказала своему секретарю: «On me presentera aujourd'hui Agat – Onix et sa femme Sard – Onix».

В ее словах поражала вообще не меткость выражения, а скорей их сила или даже резкость. После смерти несчастного

Иоанна Брауншвейгского, так же, как и Петр III, убитого в тюрьме, она издала манифест, составленный довольно искусно, и, когда г-жа Жоффрен выразила ей по этому поводу беспокойство, Екатерина ответила ей:

«У вас злословят насчет этого манифеста; но у вас злословили и насчет самого Господа Бога, и мы также злословим иногда про французов. Но одно верно: у нас этот манифест и голова преступника сразу заставили умолкнуть всякую болтовню».

Маркизу Лопиталю, осмелившемуся сказать ей раз, что у нее взбалмошный ум, она ответила:

«А что, по-вашему, лучше: быть взбалмошной или болтать вздор?»

Своим придворным, старавшимся повредить друг другу в ее глазах, она говорила:

«Если бы я вам верила... то каждый из вас заслуживал бы казни».

Она охотно употребляла русские пословицы и поговорки. Когда князь Дюбомирский, наперекор Понятовскому, старался добиться польского престола, а также и милости императрицы, и ее посол в Варшаве Репнин, доложил ей об этом, она собственноручно написала внизу его донесения: «Корове седло не пристало».

В общем ум у нее был по преимуществу практический, но его оживлял большой запас благодушной и здоровой веселости, любви к шутке, легко доходившей порой и до шу-

товства. Вся переписка Екатерины с Гриммом ведена в таком тоне. Это скорей английский юмор, нежели остроумие, — то колкое и изящное остроумие восемнадцатого века, отцом которого был Вольтер.

III. Образование. — Начитанность. — Выбор книг. — «Маленькая ученая с темпераментом». — Мораль Гельвеция. — По шести томов в день. — Плохо усвоенные познания. — Эрудиция, состоящая из массы отрывочных сведений. — Пробелы. — Недостаточное знакомство с географией. — Познания в области истории. — Самостоятельные научные опыты. — «Перигор» — славянское имя. — Неправильное правописание. — Форма и содержание. — Екатерина умела выбирать между ними. — Усвоение народного духа и воплощение национального гения России.

Была ли она образована? Сама она любила ссылаться на то, что ничего не знает.

«Она делает это, — писал принц де-Линь: — чтобы насмеяться над докторами, полуучеными и людьми, выдающими себя за знатоков искусства. Я согласен с ней, что она мало понимает в живописи и в музыке; я доказал ей даже раз, — и, может быть, несколько вопреки ее желанию, — что и в области архитектуры у нее очень посредственный вкус. — „Признайтесь, — сказала она, показывая мне свой новый дворец в

Москве: – что эта анфилада залы великолепна“. – „Это было бы красиво для госпиталя, – ответил я ей: – но для царской резиденции производит жалкое впечатление“. Берлинской академии наук, избравшей ее в 1768 году своим почетным членом, Екатерина ответила скромно:

«Вся моя наука состоит в знании, что все люди братья».

А между тем, сопровождая однажды на прогулке ее величество, английский посланник Гаррис был поражен обширностью тех знаний, которые неожиданно для него проявила императрица, говоря о конституции и законах его страны. Поговорив с ним об английских парках, Екатерина перешла на тему о сочинении Блэкстона, и дипломат почувствовал, что не в силах поддерживать с ней этот разговор. А Гаррис, получивший впоследствии известность под именем лорда Мальмсбери, был человеком далеко не заурядным. Правда, в течение своей посольской службы он не успел, вероятно, перечесть со вниманием громадное сочинение английского законодательства; Екатерина же была читательницей, для которой была создана латинская поговорка: *Timeo hominem unius libri*. Она относилась к книгам – хорошим или дурным, все равно, – как к людям и к вещам: она отдавалась им всей душой в ту минуту, пока они ее занимали. Ее разговор с Гаррисом происходил в 1779 году, и в это время она страшно увлеклась Блэкстоном (это видно по ее письмам к Гримму). Прежде она так же увлекалась Монтескье, а в свое время Сенак-де-Мейланом и Мерсье. Что же касается до выбора

книг, то она руководилась в нем не только жаждой знания, но и другими соображениями. Известный кавалер д'Эон писал графу Брольи в 1762 году:

«Императрица очень любит читать и, после брака, большую часть времени употребляла на то, что поглощала современных французских и английских авторов, написавших лучшие сочинения о нравственности, природе и религии. Если какую-нибудь книгу осудят во Франции, то этого достаточно, чтобы она нашла ее превосходной. Она не расстанется с произведениями Вольтера, с „Esprit“ Гельвеция и энциклопедическими статьями Жан-Жака Руссо. Она гордится своей смелостью, вольнодумством и философским складом ума; одним словом, это маленькая ученая с темпераментом».

Маленькая ученая с темпераментом! Но ведь д'Эон одним росчерком пера устанавливает здесь ту связь между интеллектуальным развитием Екатерины и мало назидательными подробностями ее интимной жизни, на которую указывали выше и мы. И этим соединяющим звеном между «другом философов» и императрицей, положившей начало открытому фаворитизму, послужила, несомненно, мораль Гельвеция.

Но как бы то ни было, приучившись проводить время за чтением за восемнадцать лет царствования Елизаветы и шесть месяцев царствования Петра, когда ей поневоле не оставалось делать ничего другого, Екатерина и впоследствии сохранила привычку много читать, насколько ей только поз-

воляли ее новые занятия. В 1789 году она обменивается литературными новинками с графом Сегюром. По рассказу Храповицкого, она посылает французскому дипломату 11 января того года книгу «Memoires pour servir a l'histoire de Charles II»(?) и рекомендует ему прочесть еще другие сочинения, которые она сама не успела просмотреть, так как политика поглощает все ее время: мемуары Монлюка, Вильруа. А через неделю, пользуясь случайным затишьем в делах, она читает по шести томов в день и хвалится этим:

– Будут по крайней мере говорить, что я хоть читаю, – замечает она Храповицкому.

– Все и так давно это знают, – отвечает тот.

Императрица милостиво улыбается ловкому придворному:

– Правда, это говорят обо мне?

Среди прочих книг она читает также «Кларису» и другие романы.

Но естественно, что разобраться в тех сведениях, которые она черпала таким образом, читая по шести томов в день, и усвоить их она не могла; ее образование закончилось, как и началось, и напоминало ее политику: она работала над ним тоже «только урывками». Эрудиция ее состояла из смеси случайных знаний с громадными пробелами. Они были особенно плачевны в области географии. В 1787 г., после путешествия в Крым, она спрашивала Храповицкого, какие реки служат границей между Россией и Турцией. Около того же

времени она с любопытством осведомилась, сколько градусов долготы занимает ее империя. Ей назвали число.

– Но ведь вы приводили мне ту же цифру еще до присоединения Крыма и Белоруссии!

Она не понимала, что завоевание этих провинций не могло изменить измерение ее громадного государства в отношении градусов долготы.

Из всех отраслей науки ближе всего ей была, по-видимому, история, и она изучала ее с наибольшим старанием. Но и тут ее старания были только поверхностны. Что же кажется до ее самостоятельных научных опытов, исторических исследований в области сравнительной этнографии и лингвистики, то они положительно смехотворны. В них так и бросается в глаза обычная для дилетантов наивность и основной недостаток мышления Екатерины: полная ее порабощенность какой-либо предвзятой целью или идеей. Так, доказывая воображаемую распространенность славянской расы по всему миру и упорно стремясь найти ее разветвления на обоих континентах, она доходит до того, что видит славян везде, даже в Америке: она считает Перу, Мексику, Чили славянскими колониями, и ей чудятся в их географических названиях то славянские корни, то окончания. Она даже во Франции находит славянское имя Перигор (Perigord): ей кажется совершенно неоспоримым, что оно состоит из трех славянских слогов.

Цитаты ее бывали в большинстве случаев неточны, а ино-

гда до странности перепутаны. В письме к княгине Дашковой она приписывает г-же Дезульер следующие стихи:

«Je suis charme d'etre ne ni Grec ni Romain,
Pour garder encore quelque chose d' humain»,

возводя таким образом напраслину и на бедную Антуанетту де-Лижье и на Корнеля, написавшего:

«Je rends graces aux dieux de n'etre pas Romain,
Pour conserver encore quelque chose d'humain».

Впрочем, надо сказать, что и начальное образование Екатерины, которое она получила от г-жи Кардель и скучного Вагнера с его «Prüfungen», было и осталось очень неполным. Свою неправильную французскую речь она постоянно пересыпала немецкими фразами, да и родной язык знала далеко не в совершенстве. Она делала в нем множество ошибок, и скорее ошибок синтаксических и грамматических, нежели ошибок правописания. Она обыкновенно путала *mir* и *mich*. Русский язык тоже сильно у нее хромал, и она сама признавала это. Она сказала раз как бы себе в извинение одному из секретарей:

«Ты не смейся над моей русской орфографией; я тебе скажу, почему я не успела ее хорошенько узнать. По приезду моему сюда, я с большим прилежанием начала учиться русскому языку. Тетка Елизавета Петровна, узнав об этом, ска-

зала моей гофмейстерине: полно ее учить, она и без того умна. Таким образом могла я учиться русскому языку только из книг без учителя и это самое причиною, что я плохо знаю правописание».

Но если она не научилась русскому правописанию, то зато не только изучила, но и в совершенстве усвоила сам дух русского языка со всеми его народными поговорками, особым складом речи, с его картинными образами. А сроднившись с духом языка, она сроднилась и с духом самого народа. И эта первая ее победа и помогла ей впоследствии так блестяще завоевать всю Россию: мы говорим здесь не только о власти, вырванной ею из рук слабого, малодушного и безумного Петра, но о том месте, которое эта немка сумела занять к концу своей жизни, и в особенности после смерти, в жизни, истории и национальном развитии чуждой и враждебной ей расы. Именно после своей смерти она стала тем, чем она является для нас теперь – великим видением прошлого, грозным, но лучезарным, величественным и милостивым, перед которым в единодушном порыве благодарности, гордости и любви склоняются и темный мужик, и ученый, перебирающий мемуары и предания, покрытые уже вековой пылью. Когда она скончалась, в России не оплакивали ее смерть. Это событие прошло почти незаметно. Тогда еще не успели понять Екатерину, а те, которые могли ее понять, были слишком немногочисленны. Но Екатерина воплощала в себе самую душу народную, историческую совесть России,

и это воплощение не могло не ожить во взволнованном воспоминании потомков о великих делах, совершенных ею или при ней, – в посмертном апофеозе государыни, не знавшей себе равных и бывшей для народа не только великой Екатериной, но и любимой матушкой, лубочный портрет которой можно найти теперь даже и в бедной избе, где он висит в красном углу, рядом с чтимой иконой.

И в этой способности проникаться скорее сущностью вещей, нежели их формой, и сказался великий дух Екатерины. Пусть она ошибалась, цитируя Корнеля! Она сумела взять у французских писателей больше, чем слова, – их идеи; и те, которые она выбирала у них, были обыкновенно лучшими. У нее были между прочим и собственные мысли, далеко не заслуживающие пренебрежения. Их краткий очерк мы попытаемся дать в следующей главе.

Глава третья

Идеи и принципы

1. Ум непоследовательный и несистематический. – Эмпиризм. – Непостоянство идей и принципов. – Несколько твердых принципов и идей. – Чувство долга. – Культ потомства. – Русский национализм. – Преувеличенное представление о величии России. – Великая идея царствования: греческий проект.

С таким характером, как у нее, Екатерина, конечно, не могла быть женщиной с принципами, особенно принципами непреложными, и с твердо установившимися идеями. Ее идеи принимали порою – и это случалось нередко – форму «*idees fixes*», но лишь на мгновение: они были для нее не путеводными звездами, а кометами, быстро исчезающими с ее горизонта. И что любопытно: несмотря на свое немецкое происхождение, Екатерина относилась с отвращением ко всякому доктринерству и доктринерам, к систематическому уму и людям системы.

«Вольтер, мой учитель, – писала она, – запрещает отгадывать, потому что тот, кто занимается отгадыванием, любит составлять системы, а кто любит составлять системы, непременно хочет подогнуть под них *was sich passt und nicht passt, und reimt und nicht reimt* и потом самолюбие превращается у него в любовь к системе, отчего происходит упрямство, нетерпимость, преследования, – вещи, которых надо остерегаться, как учил мой учитель».

Доктринеры были в ее глазах шарлатаны, а люди системы – все равно что изобретатели управляемых воздушных шаров: в «баллоны» она не верила, и ставила поэтому графа Сен-Жермена, Монгольфьера и Калиостро на одну доску. Она относилась с недоверием даже к специалистам и профессионалам. То, что мы называем теперь «дипломатом с карьерой», было для нее синонимом совершенного глуп-

ца. Она всегда возмущалась против ученых педантов, «die perruckirte Haupter», как она их называла: «в большинстве случаев все, что они делают и пишут, подбито ветром, пусто и темно», говорила она. Она не хотела смотреть на присланный ей бюст Вольтера, потому что «учитель» был изображен на нем в парике. В дипломатии, как и в политике, как и везде, она выше всего ставила способность действовать по вдохновению. Ей казалось, что даже для военного искусства не требуется ничего другого. Она находила вполне естественным, что Алексей Орлов, в первый раз в жизни ступивший ногой на корабль, в ту же минуту превратился в образцового моряка, стал командовать адмиралами, заслужившими себе чин и репутацию в английском флоте, и выиграл самую блестящую морскую победу в современной истории.

Она во всем придерживалась эмпиризма. Ее знаменитое изречение:

«Вся политика основана на трех словах: обстоятельства, предположения и случайности», – доказывает это. Презируя и ненавидя врачей и медицину, она в то же время верила простым знахаркам и часто призывала их для себя и для других. «Доктора и хирурги со всего медицинского факультета... круглые дураки (sont betes a manger du Coin)», – писала она. Ведь в 1783 г. из-за них издох (sic) человек, прослуживший ей тридцать три года! Слова «болезнь» и «доктор» стали для нее равнозначными. Но зато «капли Бестужева» – вот ценное и универсальное средство! «Я не знаю, из чего состо-

ят эти капли, – говорила Екатерина: – знаю только, что в них входит железо. Их дают вместо хины (во французском подлиннике: „en guise de quinquina“ (sic); а я их даю во всех случаях». В 1789 г., страдая спазматическими коликами, она считала, что вылечилась от них, исключительно благодаря петербургскому митрополиту Петрову, обложившему ей тело подушками, набитыми ромашкой.

И в то же время она писала:

«О счастье и о несчастье, как и о многих других вещах, у меня есть свое представление (ma cathégorie (sic) a moi): и то, и другое происходит лишь от столкновения известного числа мер, справедливых или неправильных».

И эти слова доказывают, что и в своем презрении к системам Екатерина не была систематична.

Вообще, несмотря на вечные колебания в области мысли и отвлеченных суждений, у Екатерины было все-таки несколько твердых и установившихся убеждений.

«Одно достоверно, – писала она за несколько лет до смерти, – что я никогда ничего не предпринимала, не будучи глубоко убеждена, что то, что я делаю, согласно с благом моею государства: это государство сделало для меня бесконечно много; и я считала, что всех моих личных способностей, непрестанно направленных ко благу этого государства, к его процветанию и к его высшим интересам, едва может хватить, чтобы отблагодарить его».

Это чувство долга соединялось в ней еще с возвышенным

представлением об ответственности ее перед особым, верховным судом – единственным судом, власть которого она над собой признавала. Это не был суд того, Кого называют «Царем царствующих». Для этого Екатерина слишком много читала Вольтера и недостаточно – Боссюэ.

«Одно потомство в праве судить меня, – говорила она. – Только перед ним я отвечаю: я смело могу сказать ему, что я нашла и что после себя оставляю».

Во время своего пребывания в Петербурге Фальконэ вступил как-то с Дидро, переписываясь с ним, в спор о том значении, которое художник должен придавать приговору этого посмертного суда потомков. Дидро защищал его верховную власть, а Фальконэ находил, что художник должен считаться только со своей артистической совестью. «Согласитесь ли вы, – написал ему тогда Дидро, – отдать решение этого спора в руки моей благодетельницы? Но берегитесь, мой друг, эту женщину опьяняет идея бессмертия, и ручаюсь вам, что она падает ниц перед видением потомства». Фальконэ согласился на суд Екатерины, но прибавлял, что, каково бы ни было ее решение, он своего мнения не изменит. «Найдите на земле власть, достаточно сильную, чтобы отнять у меня лицо, не отняв головы, и я признаю, что я не прав», – писал он. Мы не знаем, чем кончился этот спор.

Был еще один пункт, относительно которого Екатерина тоже никогда не меняла мнения, – это стремление придать национальный, чисто русский характер своему царствова-

нию, и всей – и политической, и интеллектуальной, и нравственной – жизни того славянского народа, судьбами которого она, немецкая принцесса, призвана была управлять. Этим стремлением были проникнуты не только ее законодательные акты и внутренняя политика, но и малейшие ее поступки. Фальконэ пришлось долго доказывать ей, что невозможно изобразить Петра I на памятнике в русском платье, которое царь с таким ожесточением преследовал при жизни. Екатерине хотелось бы, чтобы все позабыли об этой странице в истории великого законодателя. Ей хотелось вообще, чтобы ее новая родина – не только в ее настоящем, но и в прошлом – рисовалась бы людям согласно не с действительными фактами, а с тем представлением, которое она сама составила себе об этой громадной стране с такими необъятными горизонтами, что там было где разгуляться ее воображению. Она дошла до того, что даже переделала по-своему всю историю Московского государства. Когда Сенак де-Мейлан предложил ей в 1790 г. написать историю ее великой страны, она долго колебалась. «Сумеет ли он, – писала она, – отрешиться от предвзятого мнения, „с которым большинство иностранцев смотрят на Россию?“ Они, пожалуй, думают даже, что „до Петра Великого в этом государстве не было ни законов, ни администрации“. Но „хотя смуты после смерти царя Ивана Васильевича и отодвинули Россию лет на сорок, на пятьдесят назад, но до этого времени Россия ни в чем не отставала от Европы... русские великие князья принимали самое

видное участие в европейских делах и находились в дружественных и родственных отношениях со всеми царствующими домами нашего полушария...“

Бедный Сенак сразу понял, как трудно ему будет удержаться на высоте такой задачи. Но Екатерина говорила вполне искренно. Она писала в то же время и Гримму:

«Ни одна история не дает лучших и более великих людей, чем наша» (она выражалась сознательно, называя «нашей» историю России, так тесно связанной с ней). «Я люблю эту историю до страсти».

Она требовала, впрочем, чтобы ее собственному царствованию было отведено в этой истории подобающее место, «потому что мы живем в такое время, когда не только нельзя преуменьшать блеск событий и дел, но надо скорее поддерживать его в умах». Согласится ли Сенак, чтобы ему «давали указания» в этом смысле?

В этих словах опять сказалось то преувеличенное представление Екатерины о могуществе России, на которое мы уже указывали выше: громадное царство, так неожиданно доставшееся ей в ее полную власть, приняло постепенно в уме императрицы какие-то неисчислимы́е размеры. И эта гиперболическая идея о величии, которую она применяла ко всем сторонам национального достояния России, – к ее прошлому и к настоящему, к территории, населению, материальному могуществу и нравственной ценности, к ее первенствующей роли в славянском мире и к важности значения

в Европе, – никогда не покидала Екатерину и сильнее всех остальных идей держала ее ум в своей власти. В этом отношении Екатерина была одержима словно каким-то безумием. Она, как загипнотизированная, не могла отвести глаз от грандиозного видения, созданного собственной галлюцинацией. И как ни высоко она ставила себя, заслуги своего царствования и высокие дела, совершенные ею, и как ни хотела, чтобы и другие ценили ее так же, но она не колеблясь унижала себя, проводя параллель между собой и Россией,

«Все, что я сделала для России, только капля в море», – говорила она.

Россия – это было море, неизмеримо глубокий океан, с берегами, уходящими в бесконечность. Вот почему она так легко соглашалась потопить в нем свое прошлое и даже самое воспоминание о своей немецкой родине. Положим, в 1783 году, жалуясь на султана Абдуль-Гамида, она написала Гримму: «Das ist unmöglich dass ich mir sollte auf die Nase spielen lassen. Вы знаете, что никогда ни один немец этого бы не потерпел».

Но это слово «немец» просто сорвалось у нее тут с языка: у нее был такой подвижной ум, что ей случалось, как она сама в том признавалась, не отдавать себе отчета в том, чего она хотела или что говорила, в особенности, когда она, с пером в руках, беседовала с поверенным своих тайн, то есть в минуты полной непринужденности и отдыха от тяготы и утомительности своего царского служения. Но в общем она

с редкой добросовестностью применяла к себе свою руссофильскую программу и действительно стала русской до мозга костей: не только по внешности или когда с тонким искусством разыгрывала роль русской царицы, но искренно и глубоко, и духом и плотью, и в душевном разговоре, и в повседневных поступках, и в самой своей сокровенной мысли. Строк, которые мы приведем ниже, вероятно, не видел никто до ее смерти, а между тем она написала их:

«Никогда еще мир не производил существа более мужественного, степенного, открытого, человеческого, милосердного, великодушного и услужливого, нежели скиф. (Скиф и русский – были понятия однозначные в глазах Екатерины). Ни один народ не сравнится с ним в правильности и красоте черт лица, в яркости румянца, в осанке, сложении и росте, так как тело у него или очень дородное, или нервное и мускулистое, борода густая, волосы длинные и пушистые; он по природе своей далек от всяких хитростей и обмана: его прямота и честность гнушаются темных дел. Нет на свете наездника, пешехода, моряка, а также хозяина, равного ему. Ни у кого нет такой нежности к детям и близким. У него врожденное чувство почитания к родителям и начальникам. Он быстро, точно повинуетя и верен».

Ведь это почти бред! Мы соглашаемся, что в этих словах Екатерины слышится отзвук ее личных и, пожалуй, слишком интимных воспоминаний. Но, несомненно, что любовь, которую несколько русских научили ее любить Россию, стала в

ней со временем более одухотворенной, чистой и глубокой.

Среди идей, которым Екатерина тоже оставалась неизменно верна, не забудем упомянуть и великую идею ее царствования: греческий проект. Еще в 1762 г., прислушиваясь к тому, что нашептывал ей Миних, Екатерина заинтересовалась этим планом.

И этот интерес не остыл в ней до самой ее смерти. Правда, то была прекрасная мечта, принявшая в воображении Екатерины волшебные очертания: воскрешение Греции, освобождение южных славян сменялись другими видениями, одинаково светлыми, но менее бескорыстными. Екатерине рисовался Константинополь, открывающий ворота христианскому миру, представителем которого являлось бы русское войско; ей рисовался на куполе Св. Софии осьмиконечный греческий крест вместо полумесяца, и у подножия креста щит с двуглавым императорским орлом... Вот почему второй сын Павла был назван Константином, а не Петром или Иоанном, вот почему у него была кормилица-гречанка и дядька-грек, ставший впоследствии видным лицом: граф Курута. Был также учрежден греческий кадетский корпус, новая греческая епархия в Херсоне, вверенная болгарину, епископу Евгению. В Петербурге выбивали медали с символическими и многозначительными изображениями: на одной стороне находилось изображение императрицы, на другой – Константинополь в пламени, минареты, обрушивающиеся в море, и над ними сияющий крест в облаках. В этом отношении

очень поучительно чтение «Дневника» Храповицкого. 17 августа 1787 г. Екатерина рассматривает тайный проект Потемкина о завоевании Баку и Дербента. Их можно было бы захватить, воспользовавшись волнениями в Персии, и, присоединив к ним еще кое-какие земли, закруглить границы новой русской провинции под названием Албания: это могло бы быть предварительное удельное княжество для великого князя Константина. 21-го апреля 1788 г. поднимается вопрос о Молдавии и Валахии: они должны остаться независимыми, чтобы послужить основанием для будущей «Дакки», т.е. будущей греческой монархии. 9 октября 1789 г. Екатерина уже совершенно раскрывает карты. Греков пора «оживить»: Константин может взять на себя это дело. Этому мальчику предстоит большое будущее. В тридцать лет он сумеет «проехать из Севастополя в Царьград»...

Но вот приблизительно все, что было постоянного и устойчивого в воззрениях Екатерины Великой на дела мира сего. Постараемся разобраться в остальных ее идеях.

II. Другие идеи Екатерины. – Хаос. – Отчет перед судом собственной совести. – Философские идеи. – Идеи религиозные. – Непоследовательность. – «Мои славные плуты иезуиты». – Веротерпимость.

Это полный хаос. Хаос – грандиозный по размерам, но

беспорядочный по содержанию. К счастью, в бумагах Екатерины сохранился документ, который опять может послужить нам путеводной нитью: это тоже автобиографический набросок, написанный Екатериной в 1789 году, – что-то в роде отчета перед судом собственной совести.

«Если мой век меня боялся, – читаем мы: – то был глубоко не прав; я никогда никому не хотела внушать страха; я хотела бы, чтобы меня любили и уважали, поскольку я этого стою, но не больше. Я всегда думала, что на меня клеветают, потому что не понимают меня. Я встречала многих людей, которые были бесконечно умнее меня. Я никогда не ненавидела и не презирала. Мое желание и удовольствие состояли в том, чтобы сделать других счастливыми... Честолюбие мое, наверное, не было злым, но, пожалуй, я взяла на себя слишком много, считая людей способными стать разумными, справедливыми и счастливыми... Я высоко ставила философию, потому что душа у меня была всегда искренно республиканской. Я согласна, что это, может быть, странный контраст: душа моего закала и неограниченная власть, принадлежавшая мне, но зато никто в России не может сказать, чтобы я этой властью злоупотребляла. Я люблю изящные искусства исключительно по природной склонности. Что касается моих сочинений, то я всегда смотрела на них, как на пустяки; я просто любила пробовать перо в различном роде; мне кажется, что все, что я написала, довольно посредственно; поэтому я никогда не придавала этому никакого значе-

ния, кроме развлечения, которое это мне доставляло. Что касается моего поведения в политике, то я старалась следовать предначертаниям, которые казались мне наиболее полезными для моей страны и наиболее выносимыми для других. Если бы я знала лучшие, то следовала бы им... Хотя мне оплачивали неблагодарностью, никто, по крайней мере, не скажет, чтобы я сама бывала неблагодарной. Я часто мстила врагам тем, что делала им добро или прощала их. Человечество вообще имело в моем лице друга, который ни при каких обстоятельствах не изменял ему».

В этих строках очень много здравого смысла, как почти во всем, что писала или делала Екатерина; но в них также и очень много самодовольства. Екатерина была, очевидно, твердо убеждена в том, что не изменяла в течение всей жизни тем четырем правилам поведения, которые наметила себе и которые в том же 1789 году предписывала в одном из писем и Потемкину: «Будь верен, скромн, привязан и благодарен до крайности», – писала она. Она ставила себе, кроме того, в актив еще и другие заслуги и качества, отрицая в себе только – и то с оговорками – литературный талант. 1789 год был для нее вообще временем, когда она сосредоточилась в себе, оглянулась назад и постаралась отдать себе отчет в своем «я». И результат этого внутреннего экзамена, по-видимому, удовлетворил ее. Была ли она при этом искренна? Вероятно. Так же искренна, как и 6 июня 1791 года, в самый разгар второй турецкой войны, начатой исключительно из-за ее

честолюбия и продолжавшейся всецело благодаря ее энергической воле, когда она писала:

«Мы никогда войны не начинаем, но защищаться умеем».

Она, как женщина, была способна сама вообразить и стараться убедить и других, что Польша первая открыла в 1772 году враждебные действия против России, и что, взяв Варшаву двадцать лет спустя, Суворов только защищал Петербург.

Но рассмотрим наиболее характерные черты в этой исповеди Екатерины. Она ценила философию, говорит она. Мы думаем, что она смешивает тут философию с философами. Да и эти последние не всегда пользовались ее милостями. Граф Гилленбург сказал ей, что у нее «философский ум», потом Вольтер повторил ей то же самое, и она кончила тем, что поверила им. Но мы уже говорили об этом: это было одним из основных заблуждений ее жизни. В действительности ум ее был чисто практический и, по-видимому, совершенно неспособный к отвлеченному мышлению. Она всегда приспособляла мысли к своим интересам. И разве хоть когда-нибудь она остановилась на абстрактной идее? Даже те ее замечания, в виде философских изречений, которые попадают, – положим, редко, – в ее переписке и разговорах, все-таки носят не отвлеченный характер; например, ее слова, когда она словно провидела тот высший социальный закон, который, согласно современной науке, управляет человечеством: она наблюдала из окна за воронами и галками,

весело носившимися в воздухе после сильного грозового дождя, и сказала: «После дождей выползли из земли червяки; они (птицы) их едят». И прибавила: «Tous se mangent dans ce monde-ci» («все пожирают друг друга на этом свете»). Или другой ее афоризм, где она рисует недурной портрет своих приближенных:

«Суждения придворных принадлежат обыкновенно к тем, которые заслуживают меньше всего внимания. Эти господа, несмотря на то, что задирают нос кверху, близоруки. Они похожи на людей, стоящих внизу башни: то, что находится наверху ее и видно лишь с высоты птичьего полета, обыкновенно ускользает от них».

Но если у нее не было философских идей в прямом значении этого слова, то каковы были ее религиозные убеждения? Это – загадка. Мы не говорим, конечно, о вере, в которой она родилась: та была давно позабыта и совершенно вычеркнута и из памяти и из совести Екатерины, – позабыта настолько, что в 1774 г. Екатерина могла написать спокойно: «Мартин Лютер был невежественный мужик». Но ее новая религия и вероисповедание? Временами кажется, что она относилась к ним свысока: искренно говоря, она просто над ними смеялась. Описывая Гримму Киев, эту святыню России, она передала ему поклон от благоверного князя Владимира и выражалась чрезвычайно вольно о его мощах, которым ходила поклониться. Румянцова она называла Николаем Угодником, и по этому поводу пускалась в каламбуры, очень дале-

кие от духа православия. Ее шутки насчет приготовления св. мира в Москве – были тоже несколько дурного тона.

Все это было, впрочем, вольнодумством в духе Вольтера. Но была ли Екатерина при этом и деисткой, как ее учитель? В 1770 г. она писала г-же Бельке:

«Я радуюсь, что принадлежу к глупцам, верующим в Бога». Но зато иногда она производила впечатление последовательницы чистого рационализма.

«Эйлер предсказывает нам конец мира к июлю будущего года, – писала она. – Он для этого нарочно вызывает две кометы, которые – уж не знаю, что именно, – сделают Сатурну, и тот, в свою очередь, явится нас уничтожить. Но великая княгиня (Мария Федоровна, супруга великого князя Павла) убеждает меня этому не верить, потому что еще не исполнились все пророчества Евангелия и Апокалипсиса, а именно еще не явился антихрист, и верующие не объединились. А я на все это отвечаю, как севильский цирюльник. Я говорю одной: „Да благословит вас Бог“, и другому: „Оставьте меня в покое“, и продолжаю жить по-старому. Что вы об этом думаете?»

Но когда в 1790 г. исповедывавший Екатерину священник заподозрил искренность ее веры, она сумела ему ответить. «Я сейчас сказала tout le Symbole (весь символ веры), – рассказывала она Храповицкому: – а ежели хотят доказательств, то такие дам, о которых они и не думали. Я верю всему, на семи соборах утвержденному, потому что св. отцы тех вре-

мен были ближе к апостолам и лучше нас все разобрать могли».

Но к чему она относилась безусловно без всякого уважения, – это видно по многочисленным заметкам, рассеянными в ее переписке, – это к внешним проявлениям культа, к обрядам, «*poteries*», как она их называла. Положим, она нападала обыкновенно только на обряды католической церкви, но ясно, что ее наблюдения и сарказмы метили в сущности дальше, так как православная церковь в этом отношении мало уступает римской. Говоря об одном церковном обычае, распространенном в Испании, Екатерина писала:

«Этот смешной обряд, увеличивая собою общее число обрядов на земле, соединяет в одно и то же время религиозные церемонии с детскими играми и носит несомненный отпечаток духа той страны, откуда он произошел, и ее национальный характер. Эта страна кишит монастырями, конгрегациями, духовными, светскими и каноническими братствами, аббатствами, пребендами и т.д. Все люди, состоящие их членами, дают самые прекрасные обеты. Но тем не менее бесполезность этих учреждений для человечества была так прекрасно доказана во всех наиболее просвещенных странах, что там стремятся, вследствие этого, уменьшить их число. Тот, кто делает добро для добра, не нуждается ни в обрядах, ни в особых одеяниях, настолько же смешных, насколько легкомысленных».

Екатерина стремилась, значит, подражать в данном слу-

чае примеру «наиболее просвещенных стран». Когда папа высказал неудовольствие по поводу секуляризации некоторых владений германского духовенства, она писала:

«Сколько шуму из-за того, что будет дюжиной или десятками двумя монастырей меньше или больше на свете! Точно никогда прежде не секуляризовали духовных земель! А я, когда хочу, чтобы у меня было одним монастырем меньше, то прямо посылаю им сказать: „Уходите-ка в другой монастырь“, и никто об этом не говорит и этим не трогается».

И однако!.. Четвертого апреля 1790 года, в письме к адмиралу Чичагову, ожидавшему со дня на день сражения со шведским флотом, Екатерина послала ему образ. Такой же образок имел при себе и адмирал Спиридов при Чесменской битве. Но это еще не все. Подписывая письмо Чичагову, Екатерина перекрестилась. И это она делала не впервые, потому что за два года до того, отправляя адмиралу Грейгу приказ о бое, она тоже осенилась крестом. Поступала ли она при этом искренно? Казалось бы, что да. А между тем приходится думать, что это была только игра с ее стороны, известный театральная прием и политический расчет, который она сама так объясняет: «Есть люди, которые колдовство с набожностью мешают; но надо уметь пользоваться народными верованиями». Итак, вера двух ее храбрых адмиралов в помощь икон была в ее глазах лишь суеверием, и она посылала им образа только для того, чтобы поощрить наивное верование этих простодушных людей. Но кресты? Зачем и для кого это

делала Екатерина?..

Иногда же кажется, что и дух протестантства не вовсе угас в Екатерине: с таким ожесточением она нападала при всяком удобном случае на католичество и на папу, что вовсе не согласно с духом православной церкви, более терпимой, индифферентной или примиряющей.

«Я не завидую, – писала она Иосифу II в 1782 г., – тому редкому преимуществу, которым пользуется в настоящее время ваше величество, помещаясь бок о бок с Пием VI. Откровенно говоря, мне хотелось бы, чтобы папа уехал из Вены; не знаю почему, я не могу думать без некоторого беспокойства о его пребывании там. Итальянский священник – для всех, кто не католик, всегда является предметом какого-то опасения».

Правда, что и Иосиф, глава Священной Римской империи, отвечал Екатерине в том же тоне:

«Признаюсь искренно вашему величеству, что в течение тех трех часов, которые я аккуратно каждый день употреблял на то, чтоб болтать с ним (с папой) всякий вздор о теологии и о предметах, насчет которых мы произносили слова, сами их не понимая, нам случалось часто умолкать и смотреть друг на друга, как будто мы хотели сказать, что ничего не смыслим во всем этом, но это было утомительно и противно».

В 1780 году, при свидании с австрийским императором в Могилеве, Екатерина хвалилась тем, что все время смеялась

и разговаривала с ним, пока служили обедню в тамошней католической церкви. Это не мешало ей, впрочем, оценить и вполне одобрить ту пышность, с которой ее встретило духовенство этой церкви – иезуиты, только что поселенные ею в этой губернии. «Все другие монашеские ордена, – писала она тогда Гримму, – свиньи (sic) в сравнении с ними».

Но, несмотря на такое мнение об этом ордене, ее отношение к нему и представление о его достоинствах быстро и неожиданно в ней менялось. До 1785 г. Екатерина была, по-видимому, в восторге и от самих иезуитов и от того, что приняла их у себя после упразднения их папским приказом (21 июля 1773 г.). Ей казалось, что она сыграла этим славную штуку с папой и сделала выгодное дело по отношению к соседней Польше, только что разорванной ею на клочья: иезуиты, «эти славные плуты-иезуиты», как она почти неизменно их тогда называла, должны были помочь ей держать в подчинении и понемногу приручить к ней ее новых подданных – поляков из Белоруссии. И действительно, иезуиты старались услужить ей в этом деле, за что она была им очень благодарна. В течение нескольких лет она жила с ними в мире, обмениваясь лишь любезностями. Добрые отцы устроили императрице великолепный прием в могилевском костеле; она воспретила продажу и конфисковала имеющиеся в России экземпляры истории ордена, оскорбительной для него. Они воскуряли перед нею фимиам, она собиралась защищать их «против ветра и бури». «Это, – говорила она, –

слишком ценные семена, чтобы дать им погибнуть... Черт возьми! как они ловки!» Но вдруг все изменилось. «Славные плуты» стали просто «плутами». В чем же они провинились? Они осмелились вмешаться не в то дело, которое она им предназначала, и подняли вопрос о соединении церквей. «Это скоты, вот и все, и притом скоты глупые и скучные». К ним в России нет «ни на грош доверия», – сразу решила Екатерина.

Когда же во Франции разразилась революция и стада грозным призраком перед соседними престолами, Екатерина опять вспомнила о прежних любимцах. Одних солдат герцога Брауншвейгского, казалось ей, теперь было уже недостаточно, чтобы восстановить политический и общественный порядок: вместе с армией следовало отправить еще несколько тысяч иезуитов, которые довершили бы начатое войсками дело.

Но интересно знать: устраивая отцов иезуитов у себя в Белоруссии, не хотела ли императрица доказать этим в то же время и свою веротерпимость? Это очень возможно. Начиная с 1763 г., она словно вменяет себе в честь следовать самым либеральным идеям в этом отношении. Когда иезуиты – еще не упраздненные в то время иезуиты – отказали в погребении какому-то французу в Москве, потому что он не приобщился перед смертью св. тайн, она приказала выселить этих монахов из города и хвалилась своим поступком перед Вольтером. Она воспользовалась даже этим случаем,

чтобы заклеить перед своим учителем в красноречивых выражениях всякую нетерпимость вообще: «Все чудеса мира не смоят позорного пятна: запрещения печатать Энциклопедию!» – писала она. В то же время и с сектантов православной церкви, раскольников, была снята вековая опала, в которой они жили: им возвратили гражданские права, стали допускать их к присяге до свидетельских показаний на суде. Но только вскоре с ними случилось то же, что впоследствии случилось и с иезуитами. Начиная с 1765 г., на них опять поднялись гонения. Осмелев, раскольники решили, что им даровано, вместе с другими правами, и право строить храмы, – но не тут-то было! Святейший синод стал взывать к сенату; сенат постановил уничтожить раскольничьи молельни, и Екатерина допустила исполнение этого приговора.

Мы знаем, что она не могла похвалиться большою строгостью принципов. Абсолютное не было уделом этой абсолютной самодержицы России, и она, наверное, изобрела бы оппортунизм, если бы он не существовал задолго до нее. В 1772 году ей пришлось решать еще другой религиозный вопрос: постыдная секта скопцов получила неожиданное и угрожающее распространение в Орловской губернии. Тогда Екатерина, забыв всякую веротерпимость и гуманность, сейчас же смело взялась за кнут. Она находила, что быстрая и короткая расправа лучше всего произведет «утушение в самом начале подобных безрассудных глупостей». Ошибалась ли она, рассуждая так? В том же году, опять при решении религиозного

вопроса, она явилась зато совершенно в ином свете. Добившись репрессий для раскольников, синод принес ей жалобу и на губернатора Казани, который, вопреки прежним указам, разрешил построить в городе несколько мечетей. Екатерина ответила синоду следующими благородными словами:

«Как Всевышний Бог на земле терпит все веры, языки и исповедания, то и она, из тех же правил, сходяствуя Его святой воле, и в сем поступает, желая только, чтоб между подданными ее всегда любовь и согласие царствовали».

Она прибавляла, что губернатор действовал согласно ее наказу.

Но почему она разрешила мечети и закрывала молельни раскольников? Потому, что в деле раскольников, как и в деле скопцов, была не только религиозная, но и политическая, и общественная подкладка. Казань была татарским, магометанским городом, как Белоруссия польской провинцией, и, не препятствуя их населению строить свои храмы, Екатерина просто разрешила этим вопрос внутреннего спокойствия в своем государстве. Поручая же Волкову дело скопцов, Екатерина предписывала ему судить их гражданским судом, в обыкновенном административном порядке.

Но в смысле гражданском, как и в смысле религиозном, можно ли было назвать Екатерину, вообще, либеральной? С точки зрения ее идей и принципов, это основной для ее характеристики вопрос.

III. Либерализм Екатерины. – Благородные порывы первых лет. – Философские принципы и практика самодержавного правления. – Трагическое столкновение. – Пугачевский бунт и французская революция. – Влияние их на ум Екатерины.

Екатерина говорила про себя, как то читатель помнит, что у нее «душа республиканца». Она не раз употребляла это выражение в своих задушевных беседах и каждый раз произносила его таким тоном, что нельзя сомневаться в том, что она говорила серьезно. Но можно ли допустить мысль, что она до такой степени себя не понимала? Мы думаем, что здесь было скорее другое. Не отдавая себе в том отчета, несмотря на свою блестящую и волшебную судьбу, Екатерина пережила большую внутреннюю драму: убеждения, стремления и благородные порывы ее исключительно культурного ума не могли не вступить в трагическую борьбу с теми тяжелыми обязанностями, которые налагал на нее сан русской императрицы. Перед требованиями самодержавного правления Екатерина могла сказать вместе с Федрой:

...Quum grava iam navita adversa ratem
Propellit unda, cedit in vanum lador...

или, вспоминая в конце жизни мечты молодости и срав-

нивая их с тем, что она в действительности совершила, повторить слова поэта: «Это убило то». («Ceci a tue cela».)

Но, несомненно, было время, когда Екатерина была действительно либеральна.

«Я желаю и хочу только блага страны, над которой поставил меня Господь; Он мне в том свидетель... Свобода, душа всего, без тебя все мертво. Я хочу, чтобы повиновались законам, но не хочу рабства. Я хочу общую цель, чтобы сделать всех счастливыми, и чтобы не было капризов, прихотей и тирании, которые нарушают ее...»

Это было написано, вероятно, в 1761 г., в виде тех коротких заметок, которые мы уже приводили здесь; то были бегло набросанные карандашом, случайные и отрывочные замечания, где, не обращаясь ни к кому, Екатерина только заносила на бумагу быстро промелькнувшую в ее сознании или совести какую-нибудь смутную идею или мысль.

В этих заметках можно найти все, что угодно, – вплоть до советов об устройстве садков для устриц. В них есть также воспоминания, странные и перепутанные, о книгах, прочитанных ею слишком скоро и урывками. Есть и настоящие глупости, в роде знаменитого проекта о постепенном освобождении крестьян, по которому, при переходе имения в другие руки, бывшие крепостные, приписанные к этому имению, выходили бы на волю. Но все-таки надо всем этим чувствуется дыхание чего-то высшего, слышится биение сердца, отзывавшегося на великое освободительное движение той

Эпохи.

«Нет ничего, к чему бы я питала такое отвращение, как к конфискации состояния преступников, потому что кто на земле может отнять у детей... этих людей наследство, которое принадлежит им от самого Бога?»

Этими словами Екатерина приобщила к тому, что было самого благородного, возвышенного и чистого в современном гуманизме.

Но увы! она не только не упразднила в России закон о конфискации имений, но во время раздела Польши сама руководила проведением в жизнь политической системы, которая, под предлогом государственной необходимости, была в сущности не чем иным, как громадной, массовой конфискацией, не имевшей за собою притом даже юридического оправдания, а совершившейся исключительно во имя корысти жадной толпы придворных. И все-таки, особенно в первые годы царствования, Екатерина старалась согласовать свой образ правления с прекрасными мечтами, которыми еще убаюкивала себя, и не поступать в разрез с убеждениями. В 1763 г. она стремится, если и не вовсе отменить, то хотя бы ограничить употребление пытки. Прежде, чем применять ее, необходимо испробовать все средства убеждения, в том числе и вмешательство духовной власти. Но так как красноречие бородатых ораторов внушает Екатерине мало доверия, то она хочет составить для них руководство с примерами увещаний, которые легче всего могут вызвать признание преступ-

ника. На следующий год в наставлении, написанном для сына и вообще для будущих преемников ее на русском престоле, по поводу дела одного из министров императрицы Анны, осужденного и приговоренного к казни, несмотря на свою полную невинность, Екатерина не боится сделать такое признание:

«Всегда государь виноват, если подданные против него огорчены».

В 1766 году, получив от графа Петра Салтыкова, московского губернатора, рапорт о наказаниях, которые он должен был наложить на некоторых жителей, но которые по возможности старался смягчить, она пишет на полях его донесения: «Спасибо графу Петру Семеновичу, что он как мало возможно сечет. Изволь и впредь так поступать». В течение того же года она узнает, что некий князь Хованский позволяет себе в очень резких выражениях осуждать ее образ правления. Она сообщает об этом тому же графу Салтыкову в чрезвычайно любопытном письме. «Очевидно, – пишет она, – несмотря на свое пребывание во Франции, этот князь забыл, что за такие речи сажают в Бастилию. Но, к счастью для него, императрица не зла, и нрав свой для такого бездельника переменять не намерена. Но только пусть Салтыков предупредит его, „чтоб он мог воздержаться впредь; что подобным поведением он доведет себя до такого края, где и вороны костей его не сыщут“. Письмо кончается припиской на французском языке: „Задайте ему хорошенько страху, чтоб он попридержал свой

отвратительный язык, потому что иначе мне придется сделать ему большее зло, нежели то, которое причинит ему этот страх“.

В том же 1766 году сила ее внутреннего убеждения выразилась в поступке, почти великом по своей наивной простоте.

Один из чиновников, Василий Баскаков, с которым она советовалась относительно предполагаемых законодательных реформ, высказался против полного упразднения пытки, за которое стояла императрица. Он указал случаи, казусы, когда, как ему казалось, применение ее необходимо.

«О сем слышать не можно! – написала Екатерина на его рапорт. – И казус не казус, где человечество страдает!»

Ей случалось в то время не раз заменять поселением или ссылкой телесные наказания, назначаемые по приговору суда. При особенно тяжких преступлениях она все-таки уменьшала наказание наполовину. Наряду с этим она стремилась улучшить положение заключенных и смягчить слишком варварские приемы рекрутского набора. Однажды, войдя в спальню императрицы, фрейлина Энгельгард, впоследствии графиня Браницкая, увидела, что государыня хочет подписать какую-то бумагу, затем останавливается и после минутного колебания бросает бумагу не подписанной в ящик стола. На невольный жест удивления со стороны фрейлины Екатерина сейчас же объяснила, в чем дело. Ей подали для подписи приговор, который после того должен был быть

немедленно приведен в исполнение, а так как она с утра чувствовала себя раздраженной, то боялась проявить слишком большую строгость, как это с ней случалось не раз, и решила лучше отложить дело до завтра.

В 1774 году, во время Пугачевского бунта, она писала графу Сиверсу:

«По всей вероятности, дело кончится виселицами. Какая перспектива для меня, не любящей виселиц! Европа в своем мнении отодвинет нас к временам царя Ивана Васильевича».

Видно, как она отбивалась от рокового пути насилия, связанного с ее положением императрицы, и как взывала к мнению «просвещенной» Европы. Но «просвещенная» Европа вовсе не была намерена удерживать ее на краю той пропасти, куда ее тянули тяжелые цепи самодержавия. Вольтер был готов признать, что и в виселицах есть своя хорошая сторона, если они могут избавить от врагов великую Екатерину. И даже женщина, госпожа Бельке, советовала в 1767 г. своему августейшему другу положить конец враждебным выходкам краковского епископа, сослав его на Камчатку. Екатерина кончила тем, что стала слушать подобные советы. Но в начале, – если не в Польше, где это было не совсем удобно, ввиду завоевательной работы, предстоявшей ей там, – то в коренной России, она еще долго старалась оставаться верной той либеральной программе, которую начертала себе в другом письме к Сиверсу:

«Вам лучше всякого другого известно, как противно мне

всякое насилие. При всех обстоятельствах я предпочитала ему пути кротости и умеренности».

Впрочем, и по отношению к Варшаве она мечтала порою о несбыточном осуществлении этих гуманных принципов. В ее собственноручных заметках, написанных в мае 1772 г., сохранился проект наказа губернаторам польских провинций, только что присоединенных к России после раздела: этот проект был бы еще одним, бессмертным памятником славы Екатерины Великой и, может быть, снял бы даже с нее позор участия в разбойническом расхищении соседней страны... если бы он был применен не деле.

«Первое ваше попечение, – писала Екатерина, – будет о сохранении тишины и спокойствия, общее и особенное в сих провинциях, и для того вы всячески стараться будете, чтоб со вступлением сих провинций под скипетр наш в оных преклились всякие угнетения, притеснения, несправедливости, разбои, смертоубийства, а в исследовании дел мерзкие пытки, обвиняющие виноватого, как невинного, и всякие суровые казни и наказания. Одним словом, мы желаем, чтоб не токмо сих провинций земли силою оружия были нам покорены, но чтоб вы сердца людей, в оных живущих, добрым, порядочным, правосудным, снисходительным, кротким и человеколюбивым управлением Российской империи присвоили».

При этом Екатерина поясняла целым рядом параграфов, как она понимает «правосудное» и «человеколюбивое»

правление: по одному из этих параграфов за новыми подданными признавалось право сохранить свои законы и народные обычаи и иметь автономное управление с употреблением местного языка. Многие поляки и теперь не желали бы для себя ничего лучше.

Эти благородные порывы отвечали, впрочем, одному из наиболее твердых убеждений императрицы – ее вере в благо цивилизации. Раз, когда при Екатерине говорили о способах восстановить скорее порядок и спокойствие среди буйных черкесских племен, и некоторые советовали употребление оружия, а другие – суровые административные меры, Екатерина осталась при особом мнении. «Она то и другое находила безуспешным, – рассказывает Тимковский, – и поставила возможным одно средство: в торговле и роскоши, „когда они (черкесы) полюбят мягкую жизнь“. В 1770 г., во время первой турецкой войны, Румянцов доложил ей о поведении одного из своих сослуживцев, генерала Штофельна, который безжалостно выжигал в Молдавии города и деревни; императрица не могла не сдержать своего негодования: „Мне кажется, что без крайности на такое варварство поступать не должно, – писала она Румянцову: – когда же без нужды то делается, то становится подобно тем делам, кои у нас изстари бывали на Волге и на Суре“. Ей было неприятно вызывать эти воспоминания и возвращаться ко временам господства Москвы. Она и так раздражалась „сходством“ этой колыбели России – даже и в мирное время – „с Испаганью“, но надея-

лась уничтожить это сходство, „если рассердится на то“. Ей хотелось, чтобы Россия была страной цивилизованной, просвещенной, культурной. „Никогда меня не заставят бояться образованных народов“, – говорила она.

Даже в области политической экономии Екатерина скорее инстинктивно, нежели идейно, – потому что самостоятельных суждений она здесь иметь не могла, – принадлежала к либеральной школе. Монополии были ей ненавистны; она никогда не разрешала лотерей. «У меня отвращение к слову „лотерея“; это всегда обман, облеченный в честные формы», – говорила она. Однако, при свойственной ей непоследовательности, она то объявляла себя сторонницей самого энергического протекционизма, то защитницей интересов потребителя настолько, что хотела даже наложить пошлины на вывозной хлеб.

Если верить Гримму, вся политическая программа Екатерины, которой она до самой смерти оставалась верна, заключалась в постепенном ограничении самодержавной власти. Она не находила возможным, – и нельзя не согласиться, что в этом она была права, – вывести подобную реформу сразу. Надо было постепенно расшатать самые устои абсолютизма и приучить народ понимать и любить свободу. Пока же самодержавие оставалось в глазах Екатерины, хотя временно, необходимым. Мы не станем опровергать этих уверений Гримма. По своему происхождению, воспитанию и, главное, по тем примерам, которые она имела перед собой со време-

ни своего приезда в Россию, Екатерина, несомненно, могла осуждать теоретически принцип власти, принадлежавшей ей. Но только на практике получилось другое: сначала употребляя лишь временно и по необходимости эту власть, которую она считала варварской и обреченной в более или менее отдаленном будущем на полную гибель, Екатерина мало-помалу поддавалась ее обаянию; она к ней привыкла и стала забывать о ее темных сторонах, помня об удобствах, которые эта власть ей давала. Коротко говоря, она полюбила ее. Но, кроме того, находясь в непрерывной связи с философией и философами, Екатерина совершенно другим путем пришла со временем к тому же убеждению, что форма деспотического правления не только для России, но и для всего мира, лучшая из всех.

Мы уже говорили об этом: учение Вольтера и, главным образом, энциклопедистов, не упоминая уже о Руссо, гений которого Екатерина ставила невысоко, вело неизбежно к такому результату. Теория просвещенного абсолютизма вышла непосредственно из школы философов XVIII века и была создана для того, чтобы привлечь на свою сторону наследницу Петра Великого. Разумеется, между этой теорией, как ее понимали философы, и тем, как ее применяла на деле самодержавная русская царица, лежала глубокая пропасть. Но эту пропасть Екатерина роковым образом должна была переступить. Помимо развращающего влияния самой власти, было еще одно обстоятельство, которое толкнуло ее на это.

В течение своего царствования Екатерине пришлось пережить два кризиса, оказавших – в особенности последний – громадное влияние на ход ее мыслей и направивших их совершенно в обратную сторону; Екатерина искренне шла навстречу свободе, но столкнулась с такими двумя явлениями, из которых каждое могло внушить ей желание поскорее повернуть назад: это был, во-первых, Пугачев, эта мрачная фигура, воплощавшая в себе народную вольность, вылившуюся в самые отвратительные формы, и затем французская революция – горестное банкротство философского идеала, затопленного в крови. Либерализм Екатерины не выдержал этого второго испытания. Она, положим, беседовала еще со своими друзьями-философами на тему о постепенном освобождении закрепощенных масс, и даже порою законодательствовала в этом смысле, но уже прежнего порыва, веры и глубокого убеждения, что это приносит благо народу, в ней не было: внутренний огонь в ней погас. С 1775 года, после усмирения Пугачевского бунта, стала сразу заметна перемена в политике Екатерины: только ее личные постановления и распоряжения ее непосредственных подчиненных имели теперь силу закона; работа же конституционного органа, этого совета, учрежденного Екатериной, – как ни была ограничена его власть, – была навсегда прекращена. Вопрос о милосердии тоже поднимался теперь все реже и реже. Графу Захару Чернышеву, вице-президенту военного совета, был послан строгий выговор за то, что он медлил проводить в исполне-

ние приговор над неким Богомоловым, присвоившим себе в пьяном виде имя и сан Петра III и приговоренного к плетям, к отрезанию носа и вечной ссылке в Сибирь. Как далеко то время, когда, говоря об «Esprit des lois», Екатерина называла эту книгу «молитвенником государей, если они еще не потеряли здравого смысла», или писала г-же Жоффрен:

«Имя президента Монтескье, упомянутое в вашем письме, вырвало у меня вздох; если бы он был жив, я не остановилась бы... Но нет, он отказался бы, как...»

Екатерина хотела сказать, что она не остановилась бы ни перед чем, чтобы убедить знаменитого писателя приехать в Петербург, но что он, наверное, отказал бы ей в этом, как и Даламбер. Ведь было время, когда «ученица Вольтера» считала Даламбера годным для роли советника русской императрицы! Мы скажем в другом месте, как и почему Даламбер отказался от этой чести.

А революция закончила то, что было начато Пугачевым, и воздвигла уже непреходимую стену между Екатериной первых лет царствования и той властной, высокомерной государыней, которая в 1792 г. первая забила по всей Европе в набат против отвлеченной теории философов, так неожиданно и грубо вошедшей в жизнь.

IV. Екатерина и революционное движение. – Прирожденные симпатии. – Равнодушие. – Екатерина не видит надви-

гающейя бури. – Взятие Бастилии. – Быстрая реакция. – Суждения Екатерины о революции и о ее деятелях: Лафайете, Мирабо, Малле-Дюпоне, Неккере, герцоге Орлеанском, аббате Сиесе. – Провидение Наполеона. – Антиреволюционная политика. – В Европе и в России. – Последние принципы Екатерины.

А между тем еще в 1769 году никто в Европе не защищал свободу с большим энтузиазмом, чем русская императрица.

«Храбрым корсиканцам, защитникам родины и свободы и, в особенности, генералу Паоли.

Господа! Восставать против угнетения, защищать и спасать родину от несправедливого захвата, сражаться за свободу, вот чему вы учите всю Европу в продолжении многих лет. Долг человечества помогать и содействовать всякому, кто выказывает чувства, столь благородные, возвышенные и естественные».

Это – собственноручное письмо Екатерины к корсиканцам, подписанное ею: «Ваши искренние друзья, обитатели северного полюса». К письму была приложена, кроме того, некоторая сумма денег, которую выдали далеким героям за собранную по подписке. Это было сделано, без сомнения, для того, чтобы избавить их от унижения принимать субсидию от самодержавной императрицы, а также, чтобы заста-

вить их думать, что в окрестностях «северного полюса» есть немало лиц, сочувствующих делу, которое они защищают.

В 1781 году Екатерина вступилась за Неккера. Его знаменитый Отчет – в сущности не что иное, как обвинительный акт против управления королевскими финансами, т.е. против самой королевской власти, – привел ее в восторг. Она не сомневалась, что само Небо избрало ловкого женева для спасения Франции.

Впрочем, Франция и события, разыгрывавшиеся в ней, вызывали в Екатерине мало сочувствия; но эти чувства неприязни или презрения внушал ей не только народ: с таким же, или даже большим, недоброжелательством она относилась и ко двору короля; она без всякой жалости следила за гибелью старого порядка под напором все возраставших народных требований. Это ясно проглядывает в ее письмах к сыну и невестке во время пребывания их высочеств в Париже в 1782 году, когда они путешествовали под именем графа и графини Северных. Вот образчик этой переписки:

«Да благословит Бог французскую королеву, ее наряды, балы и спектакли, ее румяна и бантики, завязанные хорошо или дурно. Я довольна, что все это наскучило вам и усилило ваше желание возвратиться скорее. Но как это могло случиться, что, сходя с ума от театра, парижане соглашались смотреть пьесы, сыгранные не лучше наших? Я знаю, почему это происходит: это потому, что все они от хорошего спектакля бегут к другому: что трагедии у них играют толь-

ко ужасные; что тот, кто не умеет писать ни комедии для смеха, ни трагедии, чтобы заставить плакать, пишет драмы; что комедия, вместо того, чтобы вызывать смех, вызывает у них слезы; что ничто уже не стоит там на своем месте; что даже цвета получили у них отвратительные и непристойные названия. Все это не поощряет таланты, а извращает их».

Легкомысленный и развращенный двор посреди опустившегося общества, которое, под влиянием дурного примера сверху, роковым образом катилось по наклонной плоскости все дальше вниз, — так представляла себе в то время Екатерина родину «дорогого учителя». Впрочем, он сам давал ей повод для такого суждения, отрицая при всяком удобном случае свое родство с «презренными французами». Но что преобладало все-таки в отношении Екатерины к Франции, — это ее полное равнодушие к французским деятелям и событиям последних лет. Долго, почти вплоть до минуты, когда разразилась революция, волнения в далекой от России стране не имели, казалось Екатерине, никакого общего значения; их глубокий смысл оставался от нее скрытым. Нет! — как ни доказывали противоположное, — она не заметила надвигающейся бури! Еще 19 апреля 1788 года она писала Гримму буквально следующее: «Я не разделяю мнения тех, кто думает, что мы слишком близки к великой революции». Узнав по дороге в Крым о решении Людовика XVI созвать собрание нотаблей, она нашла, что французский король только подражает в данном случае ее «законодательной комиссии». Она

приглашала Лафайета приехать к ней в Киев. И только когда грянул гром, и Бастилия была взята, она поняла, какое дело готовили люди, подобные этому Лафайету. Она начала отдавать себе отчет, что происходит во Франции, и «Санкт-Петербургские Ведомости», не проронившие ни слова ни при созыве генеральных штатов, ни при знаменитой клятве в манеже для игры в мяч (*serment du Jeu de raume*) разразились теперь целым потоком негодования: «Рука дрожит от ужаса...» и т.д. – начиналась руководящая статья. Понятно, в каком духе она была написана. А вскоре официальная газета сравнивала уже членов национального собрания с пьяницами, как сравнивала впоследствии с «людоедами» их приемников.

Начиная с этой минуты, либерализм Екатерины стал идти на убыль. Чрезвычайно интересно следить по ее переписке и откровенным разговорам с друзьями за этой новой ее эволюцией.

В июне 1790 г. Grimm, еще не успевший заметить перемену в образе мыслей императрицы, просил у нее портрет ля Бальи, предлагая ей взамен изображение модного революционного героя.

Екатерина отвечала на это:

«Послушайте, я не могу согласиться на ваш договор, и мэру Парижа, лишившему Францию монархии, так же мало приличествует иметь портрет самой аристократической им-

ператрицы в Европе, как и ей посылать портрет мэру, свергающему монархов; это значило бы поставить и мэра, свергающего монархов, и аристократичнейшую императрицу в противоречие с ними самими и с их поступками, и в прошедшем, и в настоящем, и в будущем».

Через два дня писала опять:

«Повторяю вам, не давайте мэру, свергающему монархов, самого аристократического портрета в Европе; я не хочу иметь ничего общего с каким-нибудь Жаном Марселем, которого не сегодня завтра вздернут на фонарь».

Так отреклась Екатерина от своего республиканства. Но отказаться от философии ей было труднее. Она некоторое время еще оставалась ей верна. Ей хотелось доказать и себе, и другим, что философия ни при чем в разыгравшихся событиях. Она писала Гримму:

25 июня 1790 года.

«Национальному собранию следовало бы бросить в огонь всех лучших французских авторов и все, что распространило их язык в Европе, потому что все это служит обвинением против отвратительных бесчинств, которые они совершают... Что до толпы и ее мнения, то с ними не стоит считаться».

В этой последней фразе ярко сказалась непримиримая и с каждым годом все обострявшаяся вражда между воззрениями Екатерины и духом революции.

Власть черни, получавшая все большее значение в парижских событиях, и было то, что больше всего претило Екатерине и оскорбляло ее. Правда, было время, когда она судила о народе иначе. Созвав в начале царствования законодательную комиссию, она призвала тогда себе на помощь именно представителей от всей массы своих подданных. Но, войдя тогда впервые в соприкосновение с народным элементом, она мало-помалу изменила свои чувства к нему. Может быть, она была неправа, обобщая так свои впечатления, но у нее не было другого материала, чтобы производить сравнения. Свое мнение о народной массе ей пришлось составлять по примерам, которые она имела перед глазами, и мнение это выражалось в глубочайшем презрении. В 1787 году секретарь Екатерины Храповицкий обратил ее внимание на толпы крестьян, сбегавшихся в уездные города во время ее путешествия, чтоб взглянуть на нее и ей поклониться; она ответила ему, пожимая плечами: «И медведя смотреть кучами собираются». Она осталась верна этому своему взгляду и два года спустя, когда говоря о составе французских политических клубов, заметила: «И как можно сапожникам править делами? Сапожник умеет только шить сапоги».

Вскоре она изменила и философии. Она продолжала еще

говорить с уважением о «хороших французских авторах», но делала теперь между ними уже строгий выбор и, за исключением Вольтера, поносила всех писателей восемнадцатого века. Она не щадила при этом ни Дидро, ни Даламбера, ни даже Монтескье.

«К Гримму:

12 сентября 1790 года.

«Надо сказать по правде, господствующий тон у вас – это тон грязной черни; однако, не этот тон доставил Франции славу... Что сделают французы со своими лучшими авторами, которые почти все жили при Людовике XIV? Даже Вольтер, – все они роялисты; они все проповедуют порядок и спокойствие и все, что противоположно системе тысячадвухсот-головой гидры».

О национальном собрании она отзывалась все в более жестких выражениях. Храповицкий отмечает в своем дневнике 7 августа 1790 года:

«При разговоре о Франции я сказал: „Это метафизическая страна; каждый член собрания – король, а каждый гражданин – животное“. – Принято хорошо».

В то же время Екатерина писала Гримму:

27 сентября 1790 года.

«В постели я размышляла и, между прочим, подумала,

что одна из Причин, почему Матьё де Монморанси, Ноайли и другие так дурно воспитаны и так неблагородны, что были первыми глашатаями декрета об упразднении дворянства... лежит, по правде, в том, что у вас закрыли школы иезуитов: что бы там ни говорили, эти плуты умели следить за нравами и вкусами молодых людей, и все, что во Франции было лучшего, вышло из этих школ».

13 января 1790 года.

«Не знаем даже, живы ли вы посреди убийств, резни и распрей этого притона разбойников, которые завладели правительством Франции и хотят превратить ее в Галлию времен Цезаря. Но Цезарь покорил их тогда! Когда же придет этот Цезарь? О, он придет, не сомневайтесь в том».

13 мая 1791 года.

«Лучшая из возможных конституций не годится ни к чорту, потому что она делает более несчастных, нежели счастливых; добрые и честные страдают от нее, и только негодяи чувствуют себя при ней хорошо, потому что им набивают карманы, и никто их не наказывает».

Но все-таки Екатерина могла еще с большою сдержанностью рассуждать в то время об одном революционном принципе, наиболее оскорбительном для нее. Она писала 30 июня 1791 года принцу де Линь:

«Я нахожу, что академии должны были назначить премию primo за решение вопроса: во что превращаются честь и доблесть, эти драгоценные синонимы в устах героя, в представлении гражданина, который действует при правительстве, настолько подозрительном и завистливом, что оно преследует всякое превосходство, хотя сама природа дала человеку умному преимущество над глупцом, а храбрость и состоит в сознании телесной и умственной силы? Вторая премия – за решение вопроса: нужны ли честь и доблесть? И, если они нужны, то разве можно воспрещать соревнование и ставить ему преграду в виде его несносного врага: равенства».

Но вскоре Екатерина перестает уже сдерживаться и дает волю самому страстному негодованию:

1 сентября 1791 года.

«Если французская революция распространится в Европе, то придет новый Чингис или Тамерлан, чтобы образумить ее: вот ее участь; будьте в этом уверены, но этого еще не будет при мне, ни, надеюсь, при великом князе Александре».

В это время пришло известие о смерти Людовика XVI. Как мы уже говорили, это был страшный удар для Екатерины. Она слегла в постель и серьезно занемогла. В письме к своему поверенному Гримму она не смогла сдержать крика негодования и боли.

1 февраля 1793 года.

«Надо искоренить навсегда самое имя французов! Равенство – чудовище. Это оно хочет быть королем!»

На этот раз она всех французов предает проклятию, не делая исключения даже для Вольтера. Потом из уст ее или из-под пера льется воззвание к почти дикой мести и какие-то странные планы борьбы с революцией.

15 февраля 1794 года.

«Предлагаю всем протестантским державам принять православную веру, чтоб спастись от безбожной, безнравственной, анархической, убийственной и дьявольской чумы, врага Бога и престолов; греческая вера – единственная апостольская и истинно христианская. Это дуб с глубокими корнями».

Итак, после Цезаря она призывала Тамерлана с его всекрушающим мечом, и после иезуитов – длиннобородых русских попов, которые должны были ввести заблудшие пароды в спасительное лоно православной церкви.

Но тот Цезарь, которого она имела в виду, был ли он действительно тем человеком, что покорил себе вскоре и Францию и Европу? И да и нет. О французском Цезаре она не думала вначале. В 1791 году она взывала – это ясно по тону ее слов – к какому-то высшему судье, который явился бы

со стороны: к какому-нибудь принцу Брауншвейгскому – не больше. И лишь впоследствии это видение Цезаря приняло у нее другую, более осязательную форму; оно определилось и, надо отдать Екатерине справедливость, удивительно приблизилось к действительности: Екатерина увидела Наполеона еще прежде, чем он появился; она не только видела его сама: она указывала на него другим; она подробно описывала его:

«Если Франция выйдет из теперешнего испытания, – эти строки написаны 11 февраля 1794 года, – она будет сильнее, чем когда-либо; она станет послушной и кроткой, как ягненок; по ей необходим человек недюжинный, ловкий, смелый, стоящий выше своих современников, а может быть, и своего века. Родился ли он? Или нет? Придет ли он? Все зависит от этого. Если он появится, то остановит дальнейшее падение, и оно прекратится там, где он появится, во Франции или в другом месте».

К деятелям же революции, предшествовавшим Наполеону, Екатерина относилась с нескрываемым негодованием и сурово осуждала их. Она называла теперь Лафайета не иначе, как «*Dadais le Grand*» (Болван Великий). К Мирабо она была сперва более милостива. Похвалы, расточаемые «С.-Петербургскими Ведомостями» его запоздалой лояльностью, указывают на то, что при дворе Екатерины знали о сношениях знаменитого трибуна с русским посольством в Париже и о тех услугах, которые от него там ожидали. Но после его

смерти Екатерина высказала о нем свое личное мнение в совершенно противоположном смысле.

«Мирабо – писала она Гримму, – был колоссальной или чудовищной фигурой только в наше время, потому что во всякое другое от него все бы бежали, его бы ненавидели, посадили в тюрьму, повесили, колесовали и т.д.»

Через три дня она писала опять:

«Мне не нравятся почести, которые воздают Мирабо, и я не понимаю, за что они; разве только для того, чтобы поощрить злодейство и всякие пороки. Мирабо заслуживает уважения Содома и Гоморры.»

Она разочаровалась также и в Неккере: «Я разделяю чувства М.Ф. (?) к Малэ-Дюпану и этому очень скверному и глупому Неккеру: я их нахожу не только отвратительными, но также и болтливыми и скучными до крайности».

К герцогу Орлеанскому она была тоже беспощадна:

«Надеюсь, что никогда уже ни один Бурбон не захочет носить имени герцога Орлеанского вследствие ужаса, внушаемого тем, кто последний носил это имя».

Что касается аббата Сиэса, то она разделалась с ним коротко и ясно.

«Подписываюсь за повешение аббата Сиэса».

Но надо признаться, что и революционеры платили ей той же монетой. Вольней вернул золотую медаль, пожалованную ему когда-то императрицей. Сльвэн Марешаль в своем «*Jugement derrier des rois*» изобразил самодержицу все-

российскую в грубой драке с папой, который бросает ей тиару прямо в лицо, после чего императрицу со всеми ее сподвижниками поглощает вулкан, открывшийся у ее ног. «Moniteur» тоже не всегда отзывался о ней любезно.

Однако, – и это характерно, – довольно долгое время Екатерина, хотя и осуждала строго революционное движение, но ничего не предпринимала непосредственно против него ни у себя в России, ни за границей. Она оставалась пассивной и словно не заинтересованной зрительницей событий, быстро сменявшихся одно за другим. Своим поведением она как будто хотела сказать, что эти события не касаются ее лично, и что, что бы там ни произошло, ей нечего бояться ни за себя, ни за свое государство. В сущности она искренно оставалась при этом убеждении до самой своей смерти. Но только ее политические комбинации или, вернее, импровизации стали впоследствии вразрез с этим внутренним убеждением и заставили ее выйти из бездействия. Время, когда это произошло, ясно показывает, какими соображениями при этом руководилась Екатерина: она только что окончила войну с Турцией и Швецией и хотела приступить теперь к захвату Польши, чтобы довершить это главное дело своего царствования. Французская революция могла послужить ей при этом одной из тех удобных «случайностей», которая вместе с «обстоятельствами» и «предположениями» составляли, по мнению Екатерины, всю сущность политики. В разговоре со своим секретарем Храповицким, происходившем 14 декабря 1791

г., она прозрачно указывает ему свои планы на будущее.

«— Я себе ломаю голову, чтобы подвинуть Венский и Берлинский дворы в дела французские, — сказала она.

— Они не очень деятельны.

— Нет, Прусский бы пошел, но останавливается Венский. Они меня не понимают. Разве я не права? Есть причины, которые назвать не можно. Я хочу подвинуть их в эти дела, чтобы себе развязать руки. У меня много предприятий не конченных, и надобно, чтобы они (Пруссия и Австрия) были заняты и мне не мешали».

И Екатерина неожиданно забила в Европе тревогу. До этого времени она удовольствовалась тем, что обнародовала в Париже через своего посла Симолина (в августе 1790 г.) указ, предписывавший всем ее подданным выехать из Франции, чтобы они не осмелились поступить, как молодой граф Александр Строганов, вошедший вместе со своим наставником в состав революционного клуба. Но ей не приходило в голову запрещать в России зажигательные брошюры, печатавшиеся на берегах Сены. Россия оставалась единственной страной в Европе, со свободным доступом для всех парижских газет. Один из номеров «Moniteur» был, впрочем, конфискован, так как в нем были помещены непристойные отзывы о великом князе Павле и других лицах, близких ко двору, и с этого дня Екатерина выразила желание сама просматривать каждый номер газеты, прежде, чем разрешать его к чтению. Вскоре ей пришлось прочесть оскорбления и по

собственному адресу: ее называли «северной Мессалиной». «Это касается только меня одной», – заметила она гордо и пропустила этот номер. Она терпела в Петербурге присутствие родного брата Марата, который хотя и осуждал кровавость этого последнего, но не скрывал собственных республиканских убеждений. Он служил воспитателем в доме графа Салтыкова и, вместе со своим учеником, часто являлся ко двору. Но в 1792 г. ему уже пришлось отказаться от имени Марата и назваться Будри. Все внезапно изменилось при дворе Екатерины. Началась кампания императрицы против революции; вначале Екатерина вела ее исключительно из политических видов, без всякого энтузиазма, но мало-помалу вошла в новую роль и стала играть ее искренно и страстно, вложив в нее все свои мысли и чувства и инстинкты. Она вступила в борьбу с революционным духом не только во Франции, у французов, но и у себя дома, у русских, чем проявляла, искренно говоря, пожалуй, слишком много усердия. Для Франции – она составила в 1792 году записку о способе восстановить французскую монархию. Екатерина не выказала в ней большой глубины суждений. Ей казалось, что было бы достаточно армии в десять тысяч человек, которая прошла бы страну из конца в конец и утвердила бы короля на престоле. Расход на эту армию не превышал бы 500.000 ливров, которые можно было бы занять у Генуи. А Франция, которой возвратили бы ее короля, возместила бы впоследствии эти деньги. Затем для французов, проникнутых рево-

люционным духом и находившихся в пределах ее государства, Екатерина изобрела знаменитый указ 3 февраля 1793 года, который, под угрозой немедленного изгнания, принуждал их принести особую присягу: текст этой присяги не сумел бы составить более коварно и инквизиторский суд. Екатерина приняла такие же крутые меры и против собственных подданных. Чтобы предостеречь их от заразы якобинства, она решилась прибегнуть к средству, которое так искренно презирала в первые годы царствования. Узнав, что на пост московского губернатора назначен Прозоровский, Потемкин написал своей августейшей подруге:

«Ваше величество выдвинули из вашего арсенала самую старую пушку, которая будет непременно стрелять в вашу цель, потому что своей собственной не имеет. Только берегитесь, чтобы она не запятнала кровью в потомстве имя вашего величества».

Согласно меткому выражению одного русского писателя, Прозоровский и его сподвижники по Москве и Петербургу как бы явились на свет Божий из заброшенных застенков Преображенского приказа, уже отошедших во тьму преданий. Процесс публициста Новикова, присужденного к пятнадцати годам крепости за распространение издания, в котором сама Екатерина сотрудничала когда-то, положил начало новому режиму, горько оправдавшему опасения Потемкина. Екатерина дошла до того, что стала преследовать даже французские моды; например, высокие, прикрывающие подбор-

док галстуки, хотя петербургские дэнди, с князем Борисом Голицыным во главе, упорно продолжали их носить.

Нам придется еще вернуться к этой эпохе царствования Екатерины. В настоящую минуту мы хотим только выяснить, какие новые идеи дал ей великий политический и общественный переворот конца восемнадцатого столетия. Эти идеи, надо признаться, были ничтожны. Сквозь Печальные ошибки и преступные увлечения Екатерина не сумела разглядеть то, что было благородного, высокого и великодушного в движении, которое она стремилась подавить изо всех сил. Но, может быть, всего этого и нельзя было понять одним умом: надо было иметь для этого известную возвышенность чувства, которой никогда не было у Екатерины. Стараясь победить вдали французскую революцию, она успела в то же время и у себя на границе задушить на берегах Вислы все, что оставалось от свобод соседнего народа: но, положим, она делала это из политических соображений, и потому воздержимся произносить над нею в этом случае свой приговор. Но зато, когда война с Польшей была уже закончена, она – женщина – не нашла в себе сердечного порыва, или – как великая государыня – достаточной проницательности ума, чтобы оценить доблесть умирающей республики, реабилитировавшую Польшу в глазах потомства, эту отчаянную борьбу побежденных и их героя, воплощавшего в своем образе всю бесполезность последнего сопротивления и трагизм человеческой судьбы. Когда, по приказанию Екатерины, его,

как злоумышленника, привезли в Петербург, она не пожела даже его видеть. А это был тот человек, которого Мишлэ назвал «последним рыцарем Запада и первым гражданином Восточной Европы», помощи которого искал сам Наполеон, бывший на вершине своей славы, но который, хотя и жил в то время в скромной швейцарской хижине, не поддавался блеску Наполеонова имени и не изменил своим идеалам. Екатерина же ограничилась только тем, что выбрала его. «Костюшко (Kostiouchko называла она его по-французски, не научившись даже правильно писать его имя), привезенный сюда, был признан дураком в полном значении этого слова и стоящим несравненно ниже своей деятельности». «Мой бедный дурачок Костюшка» (sic), читаем мы в другом ее письме. Такими словами она выражала свое сочувствие герою, павшему в битве при Мацеювицах, с разбитым сердцем и тяжелой раной, когда вместе с ним погибал, казалось, весь его свободный и благородный народ.

Говорят, что, достигнув власти, Павел I посетил бывшего диктатора в тюрьме и, склонившись над ним, просил у него прощения за мать. Если это только легенда, – то напрасно сын Екатерины не поступил так. Но во всяком случае он возвратил пленнику свободу. Екатерина же не подумала об этом.

Один немец, занимавший высокий пост в Вене, говорил однажды при нас, что, будучи космополитом, он любил равно все национальности, за исключением лишь одной – своей

собственной; и делает это потому, что, при всех своих достоинствах, у немцев есть недостаток, навсегда отталкивающий от них: они не умеют быть великодушны.

В этом смысле и с этой точки зрения, – правоту которой мы не станем здесь оспаривать или защищать, – Екатерина оставалась немкой.

Книга вторая «Государыня»

Глава первая Искусство царствовать

1. Предприимчивая государыня и невозделанная страна. – Подведение баланса царствованию Екатерины. – «492 славных деяния!» – Доля счастья. – Другие условия успеха. – Выдержка и самообладание. – Власть Екатерины над людьми. – Отчаяние французского дипломата.

«Я люблю невозделанные страны, – писала Екатерина. – Я говорила это тысячу раз: я гожусь только для России». В этих словах сказалась ее удивительная проницательность, позволившая ей – хотя, может быть, и случайно – произвести над собой редкий фокус: оценить себя самое по заслугам. Принц Генрих Прусский, присланный братом на разведки в Петербург, имел возможность близко узнать здесь императрицу, и изучил ее с рвением немца, желающего проникнуть в самую глубь вещей; в разговоре с графом Сегюром он высказал раз об Екатерине такое суждение:

«Она окружена большим блеском; ее восхваляют; имя ее обессмертили еще при жизни; но в другом месте она, несомненно, блистала бы не так ярко; а в своей стране она умнее всех своих приближенных. На таком престоле величие достается дешевой ценой».

Екатерина отдавала себе ясный отчет и в другой – и, пожалуй, главной – причине своих успехов: в удивительном своем счастье. «Мне всегда все удается», – говаривала она не раз. Да и трудно было бы не заметить влияния на ее жизнь этой таинственной и всемогущей силы, так неизменно приходившей ей на помощь. Сохранился, например, переписанный ею собственноручно доклад ее импровизированного адмирала Алексея Орлова, только что вступившего в командование русским флотом в Леванте. Орлов, не видевший прежде ни кораблей, ни моряков, достаточно научился все-таки за неделю морскому делу, чтобы понять, что суда, назначенные для победы над турками, «не годятся ни к черту». Матросы не умели или не хотели производить необходимых маневров, офицеры не умели или забывали командовать; корабли один за другим садились на мель или теряли снасти, «Увидя столь много дурных обстоятельств в оной службе... волосы дыбом поднялись, – писал Орлов. – Таковы-то наши суда; если б мы не с турками имели дело, всех бы легко передавили». И тем не менее эта эскадра одержала вместе со своим адмиралом Чесменскую победу, уничтожив один из лучших флотов, которые когда-либо имела Турция. А уже в 1781 году Екате-

рина могла послать Гримму такой итог своего царствования, составленный в очень странной форме ее новым секретарем и «правой рукой», Безбородко:

Губерний, учрежденных по новому положению – 29

Выстроенных городов – 44

Заклученных договоров и трактатов – 30

Одержанных побед – 78

Достопамятных указов о законах или новых учреждениях – 88

Указов об облегчении участи народа – 123

Итого: 492

Четыреста девяноста два славных деяния! Этот ошеломляющий подсчет, в котором так наивно сказалось то, что было романического, сумасбродного, немного ребячливого и очень женственного в своеобразном гении, тридцать четыре года управлявшем судьбами России и отчасти всей Европы, вероятно, заставит читателя улыбнуться. А между тем он действительно соответствовал тем великим делам, которые были совершены под непосредственным руководством императрицы.

Но неужели же всем этим она была обязана исключительно счастью? Конечно, нет! В своем суждении принц Генрих Прусский был, очевидно, слишком строг, и сама Екатерина слишком скромна, на что мы уже указывали, говоря о характере великой императрицы. Да разве при своем характере она взялась бы распорядиться человеческими жизнями, вве-

ренными ее попечению, рассчитывая только на случай или удачу? Она, кроме того, имела за собой, несомненно, большие достоинства, как государыня, и прежде всего – удивительную выдержку. 3 июля 1764 года посол Фридриха, граф Сольмс, писал своему королю:

«В народе я замечаю большое недовольство и брожение, императрица обнаруживает большую смелость и твердость, по крайней мере судя по внешности. Она выехала отсюда (из Лифляндии) вполне спокойной и самоуверенной, хотя за два дня до того в гвардии был мятеж».

При других обстоятельствах принц де-Линь отмечает также самообладание Екатерины:

«Только я один видел, что последнее объявление турецкой войны заставило ее в течение какой-нибудь четверти часа смиренно призадуматься над тем, что не все долговечно на свете, и что слава и успех бывают переменчивы. Но вслед за тем она вышла из своих покоев с таким же ясным лицом, как и до отправления курьера».

Импонируя этим самообладанием и друзьям и врагам, Екатерина зато и сама никогда не терялась ни перед кем и ни перед чем, и всегда владела собой в совершенстве. В 1788 году, когда со дня на день ожидалась война со Швецией, в русской армии, как и в администрации, но особенно в армии, замечался большой недостаток людей. Граф Ангальт, имевший за собой европейскую репутацию полководца, предложил Екатерине свои услуги. Она встретила его с

распростертыми объятиями. Но когда граф потребовал чина генерал-аншефа и звание главнокомандующего, Екатерина наотрез отказала ему в этом. Удивленный немецкий кондотьери в негодовании заявил, что в таком случае он уезжает к себе домой сажать капусту. «Растите ее хорошенько», – спокойно ответила ему императрица.

Желая придать больше силы своему обаянию, Екатерина нередко прибегала и к чисто сценическим эффектам, в которых ясно чувствовались неестественность и поза. Представляя Екатерине верительные грамоты, граф Сегюр заметил «что-то театральное» в манерах императрицы; но нужно сказать, что это «что-то» привело его в такое смущение, что он совершенно позабыл приготовленную им заранее речь, которую должен был произнести по установленному этикету. Ему пришлось импровизировать другую.

Его же предшественник, по рассказу Екатерины, взволновался до того, что не был в силах сказать ничего, кроме начальных слов приветствия: «Король, государь мой...», которые повторил три раза кряду. После третьего раза Екатерина положила конец его пытке, сказав ему, что знает издавна добрые чувства его государя. Но с тех пор она смотрела на него, как на глупца, хотя он и пользовался в Париже репутацией умного человека. Екатерина была снисходительна только к слугам. Но она была отчасти вправе предъявлять такие большие требования к тем, кто обращался к ней с речью, потому что владела зато в совершенстве, по словам принца

де-Линя, «искусством слушать». «Она так привыкла владеть собою, – рассказывает он: – что имела вид, что слушает внимательно собеседника даже тогда, когда думала о постороннем». Принц де-Линь оговаривается, впрочем, что у его императрицы, Марии-Терезии Австрийской, было еще больше «очарования и прелести». Зато у Екатерины было больше величия. Она сама сознавала это и ревниво оберегала свой престиж императрицы. Однажды, на официальном обеде, желая выразить неудовольствие послу иностранной державы, она сделала ему одну из тех резких сцен, которые так часто позволял себе впоследствии Наполеон по отношению к дипломатам. Но в то время, как она осыпала посла упреками и колкими насмешками, она услышала, что секретарь ее, Храповицкий, говорит вполголоса соседу: «Жаль, что матушка так расходилась». Екатерина сейчас же остановилась, переменила разговор и до конца обеда была весела и любезна; но, выйдя из-за стола, она прямо подошла к Храповицкому: «Ваше превосходительство, вы слишком дерзки, что осмеливаетесь давать мне советы, которых у вас не просят!...» Голос ее дрожал от гнева, и чашка кофе, которую она держала в руках, едва не упала на землю. Она поставила ее скорей на стол и отпустила несчастного секретаря. Храповицкий считал себя погибшим. Он вернулся домой, ожидая, по крайней мере, ссылки в Сибирь. Но его позвали опять к императрице. Она была еще в большем возбуждении и стала осыпать его упреками. Он упал перед ней на колени. «Вот, возьмите на

память, – сказала тогда Екатерина, протягивая ему табакерку, усыпанную брильянтами. – Я женщина и притом пылкая: часто увлекаюсь; прошу вас, если заметите мою неосторожность, не выражайте явно своего неудовольствия и не высказывайте замечаний, но раскройте табакерку и понюхайте: я сейчас пойму и удержусь от того, что вам не нравится».

Такое самообладание соединяется обыкновенно с умением управлять не только своей волей, но и другими людьми. И действительно, власть Екатерины над окружающими была громадна: все черты ее характера, темперамента и ума были точно нарочно созданы для того, чтобы подчинять ей людей. Ее величественность, полная очарования, ее энергия, пылкость, юношески беззаветная веселость, доверчивость, смелость, красноречие, ее умение представлять другим вещи так, как они рисовались ей самой, то есть с самой привлекательной стороны; ее презрение к опасностям и препятствиям, зависевшее на добрую половину от того, что она никогда не сознавала их ясно, а отчасти и от действительной отваги, ее привычка грезить с открытыми глазами и жить, точно в галлюцинации, в грандиозном мире иллюзий, через который она взирала на реальный мир, – все это помогло ей управлять людьми, и добрыми, и злыми, и хитрыми, и простодушными, и вести их к намеченной ею цели, как всадник ведет коня: то лаская его, то прищпоривая, то ударяя кнутом, а усилием своей воли придавая ему и быстроту бега, и неутомимость. Как характерна в этом отношении переписка Екатерины с

боевыми генералами первой турецкой войны, Голицыным и Румянцовым! Голицын был ничтожеством, а Румянцов знаменитым полководцем; но она как будто не замечала этой разницы между ними. Они оба должны были смело идти вперед; оба должны были – бить турок. Невозможно, чтобы это не удалось им. Турки, ведь, что это такое? Стадо, а не правильное войско. «На вас Европа смотрит», писала им Екатерина, точно Наполеон у подножия пирамид. Она благодарила Румянцова за присланный турецкий кинжал, но если бы он сумел захватить не кинжал, а двух «господарей», то было бы еще лучше, находила она: «Прошу, при случае, прислать самого визиря или, если Бог даст, и самого султанского величества». Но зато и со своей стороны она старалась, как могла, облегчить им победу. «Я турецкую империю подпаливаю с четырех углов», – писала она своему военному министру. Она предупреждала его при этом, чтобы он заготовил скорее все необходимое для кампании: «Барин, барин! мною мне пушек надобно...» Екатерина просила, чтобы он прислал ей также опытного мастера для литья пушек. «А хотя бы он и несколько дорог был, что же делать?» – прибавляла она, точно красавица, которая выписывает себе модные наряды от дорогого портного. «У меня армия на Кубани, – писала она дальше, – армия действующая против турок, армия против безмозглых поляков, со Швецией готова драться, да еще три суматохи *in petto*, коих показывать не смею. Пришли, если достать можешь, без огласки, морскую карту

Средиземного моря и Архипелага, а впрочем молись Богу, все Бог исправит».

В сентябре 1771 года один из помощников Румянцова, генерал Эссен, неожиданно потерпел поражение при Журже. Но Екатерина и тут не упала духом! «Где вода была, опять вода будет», – писала она. И была права. «Бог много милует нас, – продолжала она в своем письме: – но иногда и наказует, дабы мы не возгордились». Надо только идти вперед, и дело будет поправлено. Румянцов, действительно, пошел вперед и переправился на правый берег Дуная. «Победа!» – сейчас же кричит Екатерина. Она скорей хватается за перо, чтобы послать эту добрую весть Вольтеру и распространить ее по всей Европе. Но увы! Желая угодить государыне, Румянцов взял на себя слишком много. Ему пришлось отступить и обратно перейти Дунай. Он просил у Екатерины прощения, ссылаясь на бедственное положение своих войск и на то, что среди приближенных императрицы у него есть враги, которые нарочно не высылают ему ни провианта, ни оружия. «...Сих ваших неприятелей, на коих вы жалуетесь, не знаю, и об них окромя от вас не слышала, – ответила ему Екатерина: – да и слышать мне об них было нельзя, ибо я слух свой закрываю от всех партикулярных ссор, ушенадувателей не имею, переносчиков не люблю и сплетней складчиков, кои людей вестьми, ими же часто выдуманнми, приводят в несогласие, терпеть не могу... Людей же... я не привыкла инако судить, как по делам и усердию... Признать я

должна с вами, что армия ваша не в великом числе... Сожалею весьма, что чрез сей ваш бывший многотрудный весьма за Дунай и обратный поход утомлены сие храбрые люди. (Злой намек Румянцову мимоходом)... Но никогда из памяти моей исчезать не может надпись моегоobelиска, по случаю победы при Кагуле на нем исчеканенная, что вы, имев не более 17.000 человек в строю, однако славно победили многочисленную толпу... Зная ваше искусство и испытав усердную ревность вашу, не сомневаюсь, что в каких бы вы ни нашлись затруднениях, с честью из оных выходить уметь будете...» Итак, вперед, вперед!

II. Умение обращаться с людьми. – Государыня и обольстительница. – Императрица Цирцея. – Халаты князя Потемкина. – Слуги Екатерины. – Ни в счастье, ни в горе она не оставляет их. – Ее обаяние.

Эта переписка говорит еще о другом таланте Екатерины: о ее удивительном умении играть на струнах человеческого сердца. В этом отношении она была положительно виртуозна. Она соединяла в себе хитрость старого дипломата и проницательность психолога и чары женщины-обольстительницы, пуская эти средства в ход, то каждое отдельно, то все сразу, и владея ими с неподражаемым мастерством. Если правда, что некоторых из своих любовников она прини-

мала за полководцев и государственных людей, то при случае она относилась и к полководцам и к государственным деятелям, как к своим любовникам. Там, где императрица ничего не могла добиться, являлась на сцену Цирцея. Когда она видела, что приказания, угрозы и наказания не действуют, она становилась вкрадчивой и льстивой. Посылая солдат на смерть и прося их принести ей победу, она умела окружать их трогательным вниманием и нежной, почти кошачьей лаской. После Кинбурнской битвы (в октябре 1787 году), отправляя массу орденских лент для героев сражения, она собственноручно разложила их в корзине с цветами, которую послала Потемкину. В сентябре 1789 года она подарила принцу Нассау-Зигену, новому командиру русского флота, два теплых халата, «совершенно таких, какие она послала в прошедшем году фельдмаршалу князю Потемкину перед Очаковым, и которые принесли ему большую пользу, как он сам потом ей говорил».

Она старалась польстить литературному честолюбию графа Сегюра, поставив на сцене, без его ведома, его «Кориолана»; а во время спектакля, взяв его за обе руки, заставила его самому себе аплодировать. При это она сделала даже вид, что выучила всю драму наизусть, продекламировав вслух несколько стихов, и, между прочим, как раз те, которые заключали политический намек, пришедшийся ей по вкусу.

Когда счастье улыбалось людям, служившим ей и вооду-

шевленным ею, она не знала, как их отблагодарить: почести, пенсии, подарки деньгами, крестьянами и землями лились дождем на создателей ее славы. Но она не оставляла их и тогда, если вся вина их заключалась в том, что они не имели удачи. В июне 1790 года известный нам принц Нассау-Зиген понес тяжелое поражение. Екатерина сейчас же написала ему:

«Надеюсь, вы знаете меня достаточно, чтобы быть уверенным, что городские сплетни, которые, по-видимому, дошли до вас, не могут произвести на меня никакого впечатления. Я знаю прекрасно ваше рвение и отдаю ему должное; я искренно разделяла ваше горе и очень опечалена, что оно даже расстроило ваше здоровье... Но, Боже мой, у кого в жизни не было больших неудач? Разве у самых великих полководцев не было несчастных битв? Покойный прусский король стал действительно великим только после большого поражения... Помните, принц, о ваших победах на юге и на севере, будьте выше последних событий и опять идите на врага вместо того, чтобы просить меня назначить нового командира флота. Я не могу сделать этого в настоящую минуту, не подав повода к нареканиям даже вашим врагам. Я слишком ценю услуги, которые вы мне оказали, чтобы не поддержать вас в такое время, когда, как вы говорите, вы страдаете и телом и душой».

Она действительно поддерживала и защищала его против всех. В прошении об отставке среди других причин, вынуж-

дающих просить ее об этом, Нассау-Зиген указывал ей и на расстройство своих личных дел. Екатерина ответила ему, что с его стороны было бы жестоко не позволить ей прийти к нему на помощь. «Я всю жизнь любила вмешиваться в дела тех, которые помогали мне вести мои собственные», – писала она. Когда же она увидела, что при дворе и в городе не умолкает все-таки ропот против побежденного адмирала, она написала ему опять:

«Вы поступали по плану, одобренному мной, и согласно моим приказаниям; они же, исходя от высшей власти, не подлежат ничьей критике, потому что, пока я жива, я не потерплю, чтобы то, что я приказала или одобрила по делам службы, подвергалось порицанию кого бы то ни было; поэтому никто у нас на это бы и не осмелился. Вы правы и должны быть правы, потому что это я нахожу, что вы правы. Это довод аристократический, без сомнения, но другого и не может быть, пока еще все вверх дном не перевернулось».

И так она поступала всегда. В 1794 г. генерал Игельстром, застигнутый врасплох народным восстанием в Варшаве, был за это отрешен от должности; но когда приближенные императрицы стали в ее присутствии злословить на его счет, она возвысила голос: «Потише, господа, не забудьте, что он мне служил тридцать лет, и что ему я обязана миром со Швецией».

Греч приводит отрывок ее беседы с графом Николаем Румянцовым, сыном героя первой турецкой войны, которая по-

казывает, как ловко и тонко Екатерина заставляла служить себе тех, кто мог быть ей полезен. Она спросила графа: как он думает, легко ли управлять людьми? «Думаю, государыня, что труднее этого дела нет на свете». «И! пустое, – возразила она: – для этого надо соблюдать два-три правила, не больше... Первое правило: делать так, чтобы люди думали, что будто они сами именно хотят этого...» «Этого довольно, государыня», – сказал, перебивая ее, умный царедворец.

Адмирал Чичагов рассказывает со своей стороны, что брат его, камер-юнкер, имел раз несчастье опоздать на службу. Это не ускользнуло от внимания императрицы, и она сделала молодому человеку замечание за его небрежность, но только в форме похвал, которые стала расточать его покойному отцу, прослужившему ей пятьдесят лет и всегда бывшему на своем посту. Свидетели этой сцены остались в глубоком убеждении, что императрица оказывает знаки исключительного внимания молодому камер-юнкеру, тогда как, – он сам признавался в этом впоследствии, – он никогда не чувствовал себя более уничтоженным и смущенным. «Мое правило хвалить громко вслух и бранить тихо, на ушко», – говорила Екатерина.

И трудно представить себе, какую громадную власть имело малейшее ее слово, движение руки. самое незначительное выражение удовольствия или раздражения над теми, большею частью простыми сердцем и впечатлительными людьми, с которыми она соприкасалась. Чичагов вспоминает в своих

записках о генерале Воронове, командире Ревельского порта, умершем от удара при одной мысли, что он мог вызвать неудовольствие императрицы. Унтер-офицер, по имени Степан Ширай, посланный к Екатерине Суворовым с известием о взятии одной из крепостей, получил от нее орден Владимира четвертой степени, который она сама надела ему на грудь. Тридцать лет спустя император Николай захотел, в день коронации, дать ему Владимира 3-й степени. Но Ширай возвратил новый крест; он был не в силах расстаться с тем, который получил из рук «матушки»!

III. Неустанная деятельность. – Государственные заботы и астраханские арбузы. – Екатерина в роли свахи. – Екатерина руководит войной со Швецией и несет интендантскую службу. – Импровизированный обоз.

Мы говорили уже о работоспособности Екатерины. Это ценное качество тоже сыграло не последнюю роль в ее славном царствовании. Екатерина всегда до конца своей жизни тратила силы не считая. Она была действительно тем «часовым... который вечно на часах», как назвал ее поэт Державин. По рассказу фельдмаршала Миниха, вступив на престол, она работала по пятнадцати часов в сутки, а за два года до смерти она писала Гримму:

«Вы можете беспокоить меня, сколько вам угодно; не стес-

няйтесь в этом отношении. Я так привыкла, что меня все беспокоят, что уже давно этого не замечаю. На моем месте вас заставляют читать, когда вы хотите писать, и говорить, когда вы желаете читать; надо смеяться, когда хочется плакать; двадцать вещей мешают двадцати другим; у вас не хватает времени, чтобы подумать хоть минуту, и, тем не менее, вы Должны всегда работать, не чувствуя усталости ни телом, ни душою; больны вы или здоровы – это безразлично; вы должны быть всегда наготове».

Она заботилась решительно обо всем. Во время своего пребывания в Москве в 1767 году она обратила внимание на то, что там нехороши арбузы, и сейчас же приказала выписать семена из Астрахани и Оренбурга. Через несколько лет арбузы, выросшие из этих семян, она послала в виде подарка великому Фридриху, чтобы снискать его благосклонность. Она не забывала и о картофеле, стараясь ввести его в народное хозяйство. Графу Салтыкову она рекомендовала, во время эпидемии, различные средства против чумы. Некоторые из этих средств были ужасны: например, держать больного в холодном и сухом месте, давать ему пить холодную воду с уксусом и два раза в день растирать его всего льдом. В 1768 году она обратилась к тому же графу Салтыкову, прося его прислать ей из Москвы молодых и красивых женщин, которые помогли бы ей принять в Петербурге датского короля, обещавшего навестить ее. Сын графа Салтыкова должен был выбирать вместе с отцом местных красавиц. В собственно-

ручных заметках Екатерины сохранились даже рецепты для приготовления водки. Екатерина устраивала и свадьбы, и если эти браки выходили неудачными, старалась примирить супругов ко взаимному удовольствию. Она обещала Лопухину вернуть ему жену, бежавшую от него в родительский дом, и действительно схватила ее там *manu militari* и отправила к мужу. Она просматривала комедии Сумарокова прежде, чем разрешить их к представлению, скромно называя свои поправки «заметками незнающей». При этом она не только исправляла их в литературном отношении, но и цензировала их, впрочем, довольно либерально. Когда правительственный цензор Елагин наложил veto на одну из пьес знаменитого драматурга, она сняла с нее запрет и разрешила давать на сцене. И все это не мешало ей исполнять в то же время ее сложные и, так сказать, универсальные обязанности самодержавной императрицы. Когда в 1789 и 1790 годах ее *alter ego* Потемкин был в отсутствии, вызванный на юг России турецкой войной, она мужественно вынесла исключительно на своих плечах всю тяжесть войны со Швецией. За время от мая до июля 1789 года она написала не менее тридцати писем адмиралу Чичагову, только что назначенному командиром Балтийского флота вместо скончавшегося адмирала Грейга. И только некоторые из этих писем, – рассказывает сын Чичагова, – имели отношение к крупным военным операциям; в других же Екатерина вдавалась в мелкие подробности, указывала пункты, которые надо было защищать

на шведском побережье, и называла иностранных офицеров, наиболее подходящих, чтоб нести эту службу. В то же время она сообщала Чичагову все, что знала о положении или передвижениях врага; но и это еще не все: она входила лично во все дела по управлению морским ведомством: приказала, например, выстроить несколько новых казарм и госпиталей, исправить и привести в порядок Ревельский порт и т.д.

Через несколько лет она вспоминала об этой эпохе в письме к Гримму:

«Есть причина, почему казалось, что я все так хорошо делала в то время: я была тогда одна, почти без помощников, и, боясь упустить что-нибудь по незнанию или забывчивости, проявила деятельность, на которую меня никто не считал способной; я вмешивалась в невероятные подробности, до такой степени, что превратилась даже в интенданта армии, но, по признанию всех, никогда солдат не кормили лучше в стране, где нельзя было достать никакого провианта. Однажды граф Пушкин пришел сказать мне, что ему нужно четыреста повозок и восемьсот лошадей. Это было в полдень; я сейчас послала в Царское Село спросить крестьян, сколько лошадей и повозок они могут дать добровольно. Они ответили, что поставят их все, и в шесть часов вечера графу Пушкину доставили уже четыреста двуконных повозок, и они оставались при финляндской армии до октября месяца».

Правда, это был временный кризис, а обыкновенно Екатерина не входила в мелочи управления. В мирное время она

охотно сваливала всю работу на подчиненных, а сама отдыхала или тратила свою энергию на каком-нибудь другом поприще. Любимым житейским правилом императрицы было то, что труд надо всегда соединять с наслаждением или, как она образно выражалась, «дело с неделанием». Но если она и не занималась лично делами, то умела зато так слепо и беспрекословно подчинять все своей верховной воле, что издали казалось, что это она руководит всем сама. Человек очень наблюдательный, но мало доброжелательный, французский поверенный в делах Дюран набросал в одной из своих депеш такую картину ее царствования:

«Кто бы не подумал, прислушиваясь к шуму, который происходит теперь в Петербурге (в ноябре 1774 года), что все министерство находится в напряженной непрерывной работе, что здесь заседают долгие и частые советы, что Екатерина II обсуждает в них лично текущие дела, взвешивает противоположные мнения и принимает их только после внимательного разбора? Но ничего подобного нет. Румянцов ведет переговоры о мире и управляет движениями войск так, как находит это удобным. При помощи нескольких подчиненных Панин изыскивает средства, чтобы уклониться от домогательств прусского короля, выиграть время и вообще тратить его как можно меньше на работу. Потемкин благоденствует на своем посту; он довольствуется тем, что подписывает некоторые бумаги, и возбуждает страшные толки своею роскошью, высокомерием и смелыми решениями своих кан-

целярий... Флот находится всецело в руках графа Алексея Орлова. Великий князь, генерал-адмирал, проводит время в том, что участвует в спектаклях, и императрица, которая уже закончила его образование, поощряет его в этом направлении, говоря, что, если она скучает в обыкновенном театре, то зато очень забавляется, когда играют знакомые ей лица. Сама Екатерина II, окруженная планами зданий, с отвращением относится к политике и интересуется только своими постройками, в которых может смело ничего не понимать, потому что все равно знает, что заставит искусство подчиниться во всем своему капризу. Ее приближенные говорят при этом... что если она ни в чем не отказывает лично Потемкину, то в то же время ему стоит большого труда добиться у нее пустяка для третьих лиц. Таким образом, милость ее не безгранична. Страсть Екатерины к господству сильнее ее любви, и, отстранив от трона прилежание и труд, она тем не менее хочет сохранить за собою его власть».

Страсть к господству и ревнивая любовь к своей власти действительно составляли основную черту характера Екатерины с тех пор, как она стала во главе государства. Тем не менее, неоспоримо, что она сумела исполнить свои обязанности императрицы не только хорошо, но даже прекрасно; этому способствовало, кроме тех ее достоинств, которые мы перечислили выше, еще одно обстоятельство.

IV. Приемы, впервые введенные Екатериной в политику. – Новое искусство. – Предшественница Бисмарка. – Удивление Европы. – Пессимистические предсказания дипломатов старой школы. – Оценка графа Сен-При. – Мнение барона Бретейля и графа Сольмса. – Новые средства борьбы. – Печать и общественное мнение. – Начало политического журнализма. – «Рептилии» восемнадцатого века. – Колоссальная реклама. – Пользование старыми методами. – Тайная канцелярия Екатерины. – Преобладание новых приемов и нововведения. – Старые традиции. – Стилль старых московских приказов. – Торжество деспотизма. – Мнение Екатерины о науке управлять государством. – Параллель, проведенная ею между собою и правительством Франции.

Это были отчасти очень своеобразные и совершенно новые приемы ее политики. Впечатление, которое произвела Екатерина, появившись на европейском горизонте, напоминает во многом первые победы великого государственного деятеля Германии, не так давно сошедшего в могилу. Как и он, она вызвала среди политиканов старой школы удивление, граничащее почти с негодованием. Один из них, одаренный притом исключительно светлым умом, граф Сен-При передает в следующих выражениях это общее недоумение:

«Казалось непривычным встретить у лица коронованного такую живость диалога, такие смелые и пикантные обороты речи, блестящие примеры которых нам дал, но лишь недав-

но, Фридрих. До этого времени короли говорили всегда односложно, и собеседники почтительно склонялись перед ними в ожидании их слова... Барон Бретейль и сам герцог Шуазель были смущены красноречием новой русской императрицы. Они не могли постичь этот совершенно новый для них тип. Вначале никто не понимал, что значит это странное соединение энергии и хитрости, скрытой осторожности с напускною болтливостью, не оставлявшее Екатерину посреди переживаемых ею тревог. Все это было неожиданно для всех и резко противоречило старой дипломатической рутине».

Откровенные беседы, которыми Екатерина удостоила барона Бретейля после своего восшествия на престол, произвели на него далеко не благоприятное впечатление. Великой княгиней Екатерина приводила его в восхищение, хотя и внушала ему некоторые опасения, – как императрица, она показалась ему ниже своего положения. Он становился в тупик перед этой государыней, которая, говоря очень высокопарно о своем могуществе и о «красоте своего положения», в то же время признавалась ему наивно, что не может быть счастлива, потому что окружена людьми «без воспитания» и «которых ничем не удовлетворить»; она то восхваляла высоту своих талантов, то изливалась в жалобах на бесчестность и невежественность лучших из своих подданных; потом начинала тревожиться насчет «прочности своего политического сооружения», но сейчас же выражала радость, что ей удалось обмануть всех, выказав себя «набожной и скупой», тогда как

барон знал ее истинный характер в этих двух отношениях; она как будто напрашивалась ему на комплименты, но, добившись их, отвечала сухо: «Приблизительно то же самое говорили и Нерону», и смотрела вообще на сношения императрицы с иностранным полномочным министром, как на какой-то обмен изысканных любезностей и остроумных записочек, которые и писала ему при всяком удобном случае в самых непринужденных выражениях на первом попавшемся клочке бумаги, извиняясь в *post-scriptum'e* за «свои милые каракульки». Все это совершенно сбивало с толку французского дипломата: ему оставалось только пожимать плечами. Но в конце концов он пришел к заключению, что «царствование будет посредственное»; он прибавлял сентенциозно:

«*Tel brille au second rang qui s'eclipse au premier*».

Со своей стороны и граф Сольмс посылал Фридриху гороскоп Екатерины, составленный в еще более мрачных красках. Новая дворцовая революция казалась ему в ближайшем будущем почти неизбежной. «Стоит только появиться человеку с пылкой головой... – писал он. – Лица, хорошо изучившие Россию за последние сорок лет, все сходятся на том, что никогда еще не было такого повального уныния недовольства, которое старались бы при том гак мало скрывать. Об императрице говорят настолько свободно, смело и неосторожно, что можно подумать, что находишься в Англии, и если единогласность мнения служит ручательством его правоты, то несомненно, что царствование императрицы Екатери-

ны II, как и царствование ее покойного супруга, пройдет мимолетным видением в истории мира».

Но через несколько лет это мимолетное видение стояло уже высоко над горизонтом Европы и сияло над ним даже не как метеор, а как яркая звезда. Екатерина сумела вызвать во всех концах света такой хор похвал, каких еще никогда не расточали ни перед одним государем, и этим заставила замолчать всех хуливших ее. Даже перед Людовиком XIV преклонялись более сдержанно.

Екатерина изобрела или, по крайней мере, впервые ввела в политику одно из самых могучих орудий в руках у людей, еще неизвестное прежде, – рекламу. Но она сумела понять значение и другой силы, играющей в современной жизни такую громадную роль: значение печати, – и печати не только книжной, но, главным образом, современной печати. Газеты существовали и до нее; но политического журнализма в настоящем смысле этого слова, – так, как мы его понимаем теперь, – не было вовсе. Это она положила ему начало и стала сейчас же пользоваться им с искусством, в котором до сих пор никто ее не превзошел. Бисмарк в этом отношении был только ее подражателем. Екатерина еще до него имела уже своих «рептилий», живших на доходы с секретных фондов и писавших для нее и «официозные статьи», и «правительственные сообщения», и «инсинуирующую полемику» с более или менее прозрачными намеками, и целый ряд «объявлений» и игривых «заметок». Впрочем, она и са-

ма занималась воинствующим журнализмом, потому что ее письма к любимым корреспондентам, как Вольтер и Гримм во Франции и Циммерман и отчасти г-жа Бельке в Германии, – нельзя назвать иначе, как чисто публицистическими статьями. Еще прежде, чем быть напечатанными, ее письма к Вольтеру становились достоянием всех следивших за малейшим поступком и словом Фернейского патриарха, а следил за ними буквально весь образованный мир. Гримм, хотя и не показывал обыкновенно ее писем, но рассказывал зато их содержание всюду, где бывал, а бывал он во всех домах Парижа. То же можно сказать и про остальную переписку Екатерины: она была ее газетой, а отдельные письма – статьями. Кроме того, Гримм издавал свой журнал, который рассылал во все четыре конца, или, вернее, центра Европы, и который служил точным эхом мыслей русской императрицы. Вольтер, имевший миллионы читателей для каждой из своих сенсационных брошюр, тоже нередко писал их под диктовку или по внушению из страны, «откуда исходил теперь свет» – по его собственному выражению. Иногда же он писал их прямо по специальному заказу и за соответствующее вознаграждение. Мы еще вернемся к этим подробностям. Но надо прочесть переписку Екатерины, всю сполна, за роковые для нее 1773—1774 годы, чтобы понять, как тонко она умела пользоваться печатным словом, и при этом в такое время, когда могущество его еще не сознавалось почти никем. В письмах к командующему русской армией генералу Бибикову, сра-

жавшемуся под Оренбургом с Пугачевым, она не скрывала тайной тревоги, страха и колебаний, и писала лихорадочными, отрывочными фразами, в которых слышалось точно рыдание. И сейчас же, тем же пером, она строчила послание г-же Бельке, в веселых, бодрых и шуточных выражениях:

«Все это кончится скоро... Я счастлива, что могу сказать вам, что этот оренбургский бунт теперь замирает».

Мы уже указывали на то, с каким старанием Екатерина разглашала обыкновенно свои победы, по возможности преувеличивая их, и как она скрывала поражения. В июне 1789 года, когда русские были разбиты при Паросальми, она даже воспретила раздавать частные письма, пришедшие из-за границы, чтобы весть о несчастном бое не распространилась в обществе.

Это возводилось Екатериной в строгую систему; выработала же она ее благодаря своему внутреннему чутью, удивительному для женщины, родившейся при маленьком немецком дворе и занимавшей престол самой деспотической страны в Европе, – или даже не чутью, а совершенно отчетливому представлению о том, какую громадную силу представляет общественное мнение. Мы не колеблясь можем сказать, что только потому, что Екатерина открыла эту силу и сумела использовать ее, она и могла сыграть свою великую роль в истории. Престиж Екатерины в Европе был почти всецело основан на восхищении, которое она внушала Вольтеру; а этого восхищения она сумела добиться и поддерживала его

с необыкновенным искусством; при необходимости, она даже платила Вольтеру за него. Но этот престиж ей не только помогал во внешней политике: он и внутри ее государства окружил ее имя таким блеском и обаянием, что дал ей возможность потребовать от своих подданных той гигантской работы, которая и создала истинное величие и славу ее царствования. В этом отношении Екатерина была тоже новатором и предшественником деятелей современной истории, умевших словом или идеей воспламенять массы.

При случае она не пренебрегала, впрочем, – как в политике, так и в дипломатических сношениях, – и старинными приемами, завещанными ей прошлым. Так, несмотря на всю непринужденность своего обращения, приводившую в такое смущение барона Бретейля, и на свою аффектированную откровенность и желание вести все дела начистоту, – у нее была своя тайная канцелярия, где перлюстрировались письма. В 1789 году, вскрыв депешу графа Монморена, бывшего в то время французским министром иностранных дел, она узнала таким образом о намерении Версальского двора поддерживать Густава III против нее. Граф же Сегюр, осуждавший в данном случае политику своего правительства и высказавшийся по этому поводу австрийскому послу, решил, что его выдал императрице граф Кобенцель.

Но в общем старинные политические заветы она ставила не высоко. Она любила действовать во всем по-своему. В области внутреннего управления Россией одной из первых ее

мер было учредить значительное число специальных комиссий, которые бы заменяли ее при решении каждого отдельного вопроса. Это было новшеством, и свидетель, которого никак нельзя заподозрить в пристрастности, вообще ожидавший мало хорошего от нового царствования, посланник Фридриха граф Сольмс, так говорит о нем:

«Губернаторы провинций и городов, духовенство, судьи, офицеры, пользовавшиеся распущенностью предыдущих царствований, сделались как бы независимыми каждый в своей епархии или уезде, вверенных их надзору. Они обращались с народом, как тираны... Новые порядки, принуждавшие их к трудолюбивой, бескорыстной жизни, вызвали в них недовольство...»

Другим нововведением Екатерины было широкое право петиций, дарованное всем подданным, от которых она хотела таким образом узнать их нужды. Однако надо заметить, что в то же время она приняла меры к тому, чтобы ни одна из этих челобитных не доходила до нее лично. Она не позволяла подстергать ее при проходе и вручать ей прошение: этот старинный обычай, получивший за давностью почти силу закона, был теперь воспрещен под страхом строжайших наказаний: кнута и Сибири. Екатерина хотела оградить себя этим от ропота недовольных: «Ведь не я буду им отказывать», – говорила она несколько цинично...

Французский поверенный в делах Дюран приводит по этому поводу характерный анекдот. В 1774 году на столе у им-

ператрицы было найдено анонимное письмо, неизвестно кем принесенное. В обществе ходили слухи, что это письмо заключает тяжкие обвинения против генерал-прокурора, князя Вяземского. Екатерина немедленно опубликовала во всеобщее сведение, что приглашает «честного человека», автора письма, открыться ей для того, чтобы, удовлетворив его просьбу, она в свою очередь, могла вознаградить его за услугу, которую он оказал ей. Но «честный человек» что-то медлил открыть свое инкогнито, и хорошо сделал, потому что через некоторое время стало известно, что письмо его сожжено рукой палача.

Этот коварный поступок Екатерины был совершенно в духе старинных традиций прежнего режима, которому она, между тем, искренне стремилась придать новую форму. Она – как и Петр I – хотела приблизить его к европейскому типу, хотя и на свой лад. Тем же тленным и злобным духом старых московских приказов веет и от официальной инструкции, составленной в 1764 году, под диктовку императрицы, для генерал-прокурора, о котором только что шла речь. Она полна позорящих обвинений, грубой брани и оскорблений по адресу предшественника Вяземского (Глебова) и написана в стиле допетровских времен, который невольно поражает под пером Екатерины. Правда, в ней встречаются и новые мысли, и некоторые даже очень оригинальные:

«Я весьма люблю правду, – пишет императрица, – и вы можете ее говорить, не боясь ничего, и спорить против меня

без всякого опасения, лишь бы только то благо произвело на деле. Я слышу, что вас все почитают за честного человека, я же надеюсь вам опытами показать, что у двора люди с сими качествами живут благополучно».

Дань прошлому и нравам, привившимся в России после татарского ига, Екатерина отдавала еще и тем, что вручала своим подчиненным почти неограниченную власть. Генерал-губернаторы провинций жили у нее, как турецкие паши; Кейзерлинг, посланник в Варшаве, держал двор, затмевавший двор Понятовского, а Потемкин создал себе чуть ли не независимое царство из южных губерний. Но в то же время Екатерина по возможности стремилась исправить недостатки этой системы, зорко следя за своими самодержавными сановниками. Она говорила: «Я даю большую власть тем, кто мне служит; но если они иногда употребляют ее во зло, то тем хуже для них: я стараюсь все о них знать».

И она сумела даже опередить свой век, внушая администраторам, что совестный суд есть пульс, показывающий нравы той губернии», где они служат. Затем она с большим уважением относилась к местным обычаям. Когда во время ее путешествия в Крым граф Сегюр и принц де-Линь развлекались тем, что приподнимали фату, закрывающую обыкновенно лица татарских девушек, которых они между прочим нашли чрезвычайно уродливыми, то Екатерине очень не понравилась эта забава. Это был «дурной пример», который они не должны были подавать другим.

Но зато там, где вопрос шел о личной власти Екатерины, все ее либеральные новшества и попытки ввести конституционное правление были в сущности одной комедией. Она писала принцу де-Линь: «Мой совет, мнение которого я разделяю, если он разделяет мое...» Этот совет был тоже новым созданием Екатерины, устроенным в подражание кабинету министров в других монархических странах, но с меньшими правами. В 1762 году Панин представил ей проект императорского совета, назначение которого, по мнению Вильбуа, состояло в том, чтобы постепенно ограничивать самодержавную власть государыни. Екатерина долгое время раздумывала над этим проектом, затем приняла его, назначила членов совета, приказав называть их не министрами, как хотел Панин, а как-нибудь по-русски, но потом положила дело под сукно, сдала все его производство в архив и никогда уже не поднимала о нем вопроса. Напротив, она мало-помалу достигла того, что ограничила власть существовавших уже прежде высших правительственных учреждений, как сенат и св. синод. А каждому солдату гвардии, соглашавшемуся выйти в отставку и поселиться за Москвою, она выдавала по пятидесяти рублей. Те же, которые уходили к Казани, получали от нее девяносто рублей. Этой мерой она хотела ослабить силу, грозную для ее престола. Впрочем, в первый год царствования она одиннадцать раз присутствовала на заседаниях сената и даже предписала сенаторам, чтобы во время ее отсутствия они «посторонних речей отнюдь не говорили».

Но, возвысив и укрепив таким образом собственную власть, Екатерина зато с редкой добросовестностью старалась нести свои обязанности императрицы. Князь Сергей Голицын рассказывает в своих воспоминаниях следующий случай: «В царствование Екатерины II, – пишет он, – сенат положил решение, которое императрица подписала. Этот подписанный приказ перешел от генерал-прокурора к обер-прокурору, от этого к обер-секретарю, и таким образом перешел в экспедицию. В этот день в экспедиции был дежурным какой-то приказный подьячий; когда он остался один, то послал сторожа за вином и напился пьян. При чтении бумаг попалось ему в руки подписанное императрицей решение. Когда он прочел: „быть по сему“, то сказал: „врешь, не быть по сему“. Он взял перо и исписал всю страницу этими словами: „врешь, не быть по сему“, и лег спать. На другое утро... в экспедиции нашли эту бумагу и обмерли со страху. Поехали к генерал-прокурору; он с этой бумагой поехал к императрице и бросился ей в ноги... „Ну, что ж? – сказала государыня. Я напишу другой (указ), но я вижу в этом перст Божий: должно быть, мы решили неправильно“. Дело пересмотрели, и на самом деле оно было неправильно решено».

Мы уже говорили, как боялась Екатерина действовать по первому впечатлению. Она сознавала, что опасно отдаваться вспыльчивости, и непрерывным усилием своей энергичной воли достигла того, что выработала в себе совершенно противоположные качества. Несмотря на природную пылкость

ума и безудержность воображения, она была вправе сказать в 1782 году: «Я никогда не могла видеть энтузиазм, чтоб не полить его холодной водою». Впрочем, в данном случае она применила это правило довольно неудачно: дело шло о подписке, открытой в Париже для восстановления части флота Грасса, погибшего от бури. Великий князь Павел, бывший в то время гостем Франции, выразил желание принять в этой подписке участие. «Несмотря на общий энтузиазм, – писала Екатерина по этому поводу, – не было ни души, которая не сожалела бы и не стонала бы даже при виде суммы, подписанной им».

В 1785 году граф Сегюр спросил как-то Екатерину, каким образом, заняв престол среди бурной борьбы и волнений, она сумела царствовать так мирно.

«Это средство очень простое, – ответила она: – я выработала себе известные принципы, план правления и поведения, от которых никогда не уклоняюсь; воля моя, раз высказанная, остается неизменной. Здесь все постоянно; каждый день походит на те, что предшествовали ему. И так как все знают, на что могут рассчитывать, то никто не беспокоится. Когда я даю кому-нибудь место, то он может быть уверен, что сохранит его за собой, если он только не совершит преступления».

– Но, – спросил ее опять граф Сегюр, – если бы вы убедились, что ошиблись в выборе какого-либо министра?

– Я бы оставила его на его месте... и только работала бы с одним из его помощников; что же касается его лично, то он

сохранил бы свой пост и положение.

При этом Екатерина рассказала Сегюру такой случай: получив известие о Чесменской победе, она сочла нужным предупредить о ней военного министра, все обязанности которого были сведены ею с некоторых пор к «канцелярским безделкам»; но ей не хотелось все-таки, чтобы он узнал о бое после того, как слух о нем проникнет в общество, и потому вызвала его к себе в четыре часа утра. Думая, что его зовут для выговора за беспорядки, только что обнаружившиеся в его ведомстве, министр, как только вошел к Екатерине, сейчас же стал извиняться:

– Клянусь вам, ваше величество, что я здесь ни при чем!..

– Еще бы! – ответила Екатерина: – я это знаю прекрасно.

Около того же времени, по поводу печальных событий, быстро чередовавшихся во Франции, она с удовольствием подчеркивала все превосходство собственного поведения и принципов. Она писала Гримму о деле с ожерельем королевы:

«Благодарение Богу, мне никогда не приходилось иметь дела с мистифицированным кардиналом... Но что, если его просто надули? Разве у вас считается преступлением быть обманутым? Извините меня, я подозреваю, что это барон Бретейль посоветовал его арестовать; я хорошо знаю этого человека; но при таких обстоятельствах лучше советовать государям никогда не торопиться: „Das kommt immer fruh genug und mann konnte die Zeit nehmen, wenn alle Leute

geschrien hatten, dass es so sein musste und sollte“. Я часто разыгрывала в таком случае простушку, точно ничего сама не понимаю, и потом следовала совету, который казался мне лучшим и давал мне возможность проявить больше справедливости, и под этой эгидой смело шла через шипы и тернии моего пути».

В августе 1789 года Екатерина сказала как-то Храповицкому, что она еще с первых лет царствования замечала во Франции сильное брожение, которое считала, впрочем, не очень опасным. Но, прибавила она, «ныне не умели пользоваться расположением умов: Фаэта (Лафайета), как честолюбца, я взяла бы к себе и сделала бы своим защитником! Заметь, что (я) делала здесь с восшествия?»

Одним из триумфов, достигнутых Екатериной благодаря умению управлять людьми, – триумфом, которым она особенно гордилась, – была ее победа, конечно, нравственная, над Москвою. Ей пришлось долго и упорно для этого поработать. Старая русская столица относилась враждебно к духу нового царствования. Старания Екатерины уничтожить ее сходство «с Испаганью» раздражали москвичей. Но в 1785 году Екатерина могла написать:

«Как эта спесивица (Москва) ни надувалась, но в конце концов должна была принять меня так, как она еще никогда никого не принимала, если верить самым древним ее кумушкам и мужского и женского пола».

V. Недочеты ее искусства. – Неумение выбирать людей, возведенное в методу. – Рискованные правила. – Чрезмерное количество должностных лиц и недостаток среди них достойных. – Странный оптимизм. – Басня о деревнях, написанных на полотне. – Не далеко ушедшая от этой басни действительность. – Екатерина «видела, да не видала». – Завоевание Тавриды. – Колоссальная феерия. – Учреждение метрополи. – Екатеринослав. – Город, которого губернатор никак не может найти. – Победа «пассивного послушания». – Банкир, из которого чуть было не делают чучела. – Власть денег. – Хищения и подкуп. – Достигнутые результаты.

Но по временам это высшее искусство изменяло Екатерине. Происходило это отчасти оттого, что она была женщиной и была бессильна бороться с немощами и слабостью, свойственными ее полу. «О! – воскликнула она раз, – если бы, вместо этих юбок, я имела право носить штаны... я была бы в силах за все ответить. Ведь управляют и глазами, и рукой, а у женщины есть только уши». Но юбки мешали ей не только в этом. Мы говорили уже о недостатке Екатерины, тяжело отозвавшемся на всей истории ее царствования: эта великая руководительница людей не умела выбирать людей. Ей как будто изменяли тут и ее суждение, всегда такое верное и пронизательное, и ее необыкновенно ясный ум. Недостатки и достоинства, которые она так отчетливо видела в самой се-

бе, в других были ей незаметны. Это было какое-то затмение, и затмение, создавшееся, по всей вероятности, под влиянием ее темперамента. Страсть, державшая ее всю жизнь в своей власти, мешала ей судить человека беспристрастно. Она прежде всего видела в нем мужчину, который ей нравился, или не нравился, а потом уже полководца или государственного деятеля, и обращала главным образом внимание на романтическую сторону его характера, на его более или менее привлекательную внешность. Если она ошиблась в Потемкине, приняв его за тонкого политика, то это было еще прощательно: может быть, он был просто безумец, но зато безумец гениальный. Он принадлежал к той породе людей, про которых можно сказать, что они – силы природы. И в России этой силе действительно было где разгуляться по бесконечному раздолью «невозделанной страны», для которой Екатерина и себя считала призванной. Но после Потемкина явился Зубов. Это было полное ничтожество, а Екатерина и его считала гением.

Ей приходилось делать и противоположные ошибки. Румянцов представил ей одного из своих помощников, генерала Вейсмана, как достойного себе заместителя. Екатерина три раза беседовала с ним, стараясь подойти к нему и с той, и с другой стороны. «В третье мое свидание с ним я убедилась, что он прямой простофиля», – решила она. Несчастный Вейсман вскоре после того погиб в битве при Кучук-Кайнарджи. А между тем, по мнению людей сведущих, это был выдаю-

щийся воин и храбрец среди храбрых. Один историк назвал его «Ахиллом русской армии».

Эти единичные ошибки были бы, впрочем, еще не так опасны. Но они становились все чаще и чаще и, наконец, при властном нраве Екатерины, избалованной неизменным счастьем, были возведены ею в правильную систему: все люди казались ей равноценны, и единственное их преимущество над другими она видела в умении быстро и беспрекословно повиноваться. В этом отношении выработала она правила, которые не могут не смутить даже самых горячих поклонников ее царствования.

«Скажите мне, – писала она Гримму: – был ли когда-нибудь государь, который в выборе министров или других должностных лиц повиновался бы более общественному мнению, нежели Людовик XVI? И мы видели, что из этого вышло. По-моему, ни в одной стране нет недостатка в людях. Дело не в том, чтобы уметь найти, а в том, чтобы уметь употребить то, что имеешь под рукою. Про нас всегда говорили, что у нас недостаток в людях; несмотря на это, все у нас делается, как следует. Петр I употреблял таких, которые не знали ни читать ни писать; и что же? разве они действовали неудачно? Ergo, дело не в недостатке в людях; людей много, но надо уметь их подгонять: все будет хорошо, если найдется человек, умеющий подгонять. Разве не то же делает твой кучер, *souffre-douleur*, когда ты сидишь в своей карете?.. Смелый человек всюду проложит себе дорогу; и потому, что тот

или этот ограниченны, еще не значит, что и хозяин их глуп».

В другом письме она говорит:

«Без сомнения, никогда не бывает недостатка в выдающихся людях, потому что люди создают дела, и дела создают людей; я никогда не искала и всегда находила под рукою людей, которые мне служили, а служили мне почти всегда хорошо».

Но зато у нее и вырвалось раз такое горькое замечание в одном из писем к принцу де-Линь:

«Ах, принц! Кому знать, как не мне, что бывают чиновники, которые не понимают, что в приморском городе есть порт!»

Или другое:

«Нам не принципов недостает; но в самом исполнении, в применении их встречается неправильность и бесчестность».

И в 1774 году, когда умер Бибииков, ей чуть было не пришлось идти самой в Москву, чтобы руководить военными действиями против Пугачева. Она не знала, кем его заменить. Был созван совет: Григорий Орлов объявил, что он не выпался, и голова у него пустая; Разумовский и Голицын молчали; Потемкин соглашался заранее с тем, что решит императрица; у одного Панина хватило мужества высказать свое мнение, и это мнение состояло в том, что Екатерина должна призвать его брата, генерала Панина, от услуг которого она уже давно отказалась, полагая, что всякий дру-

гой исполнит так же хорошо его дело, как и он. Но так как положение было теперь очень опасно, Екатерина должна была подчиниться, подавив в себе самолюбие, и Панин спас ей престол и государство. А в 1788 году, после первой стычки со шведами, Екатерина должна была предать военному суду четырех командиров фрегатов; на следующий день она писала Потемкину: «Все они заслужили виселицу... но на галерах выбрать не из кого, разве с неба кто ко времени упадет».

Это происходило оттого, что при множестве затеянных ею предприятий ей приходилось держать на службе массу должностных лиц, и она все еще увеличивала их число, руководствуясь тем правилом, что «дела создают людей». По свидетельству итальянца Парело, в провинции, не говоря о столицах и наиболее населенных городах, на каждые десять жителей приходилось по одному чиновнику. И, находя, что всем людям одна цена, Екатерина из-за пустяка, из-за оскорбившего ее слова, из-за выражения лица, почему-либо не понравившегося ей, или даже просто так, без причины, из любви к перемене или из желания иметь дело с новым человеком, как она наивно признавалась в том Гримму, отстраняла или даже выбрасывала вон, как ненужную вещь, многих из своих лучших слуг. В 1788 году величайший до времен Суворова в России полководец, Румянцов, был еще жив и мог взять на себя командование армией, а Алексей Орлов, Chesменский герой, не скрывал от императрицы, что горит желанием опять показать свою удаль. Теперь он был уже не так неопытен в

деле, в котором являлся новичком в 1770 году, и имел за собою имя, окруженное, благодаря преклонению Екатерины, таким ореолом, что оно одно, само по себе, стоило целого флота и армии. Но Екатерина уже давно пожертвовала для Потемкина и Румянцовым, и Орловым, и теперь ей приходилось искать себе военачальников и адмиралов в Англии, Голландии и Германии. В конце концов она нашла Нассау-Зигена, очаровавшего ее вначале своей напускною храбростью и театральными костюмами, но за которого она расплатилась гибелью эскадры и позором первого поражения в истории молодого русского флота.

Необыкновенный оптимизм, свойственный Екатерине и который ее сподвижники, вроде Нассау и Потемкина, старательно поддерживали в ней, тоже сыграл печальную роль в ее царствовании. Басня о декорациях, написанных на холсте и расставленных по пути Екатерины во время ее путешествия в Крым, – они должны были изображать несуществующие деревни, – теперь опровергнута. Но ей почти веришь, когда читаешь рассказы даже тех свидетелей, которые именно и опровергали ее. К ним принадлежит, между прочим, принц де-Линь; он пишет, например, что Екатерина во время пути никогда не выходила из экипажа и потому видела только то, что ей хотели показать, и часто думала, что город выстроен и заселен, «тогда как в этом городе не было улиц, на улицах не было домов, а у домов не было ни крыш, ни дверей, ни окон». Граф Ланжерон, бывший впоследствии губерна-

тором этих провинций, и в «Записках» которого нет и следа предвзятой враждебности к Екатерине, тоже упоминает о том, как часто она была обманута во время своего путешествия. Да и объявление харьковского губернатора, Василия Черткова, возвещавшее жителям о приезде императрицы и о том, как они должны вести себя при этом торжественном случае, – тоже очень характерно в том же смысле. Населению вверенной Черткову губернии вменялось в строгую обязанность надеть лучшие одежды, чтоб приветствовать по пути ее величество. «Девки» должны были быть тщательно причесаны и иметь венки на волосах. Им было ведено усыпать цветами дорогу, по которой будет следовать императрица, все же остальные жители должны были выражать свою радость соответствующими телодвижениями и возгласами. Дома, по сторонам дороги, приказано было выкрасить заново, крыши починить, двери и окна украсить узорчатыми полотенцами, а где возможно, и коврами. Строго воспрещалось напиваться пьяными и подавать Екатерине какие-либо прошения: это последнее – под страхом кнута и каторжных работ. Местные власти должны были, со своей стороны, следить за тем, чтобы проезд государыни не вызвал повышения цен на съестные припасы. Князь же Щербатов рассказывает, что на время пребывания Екатерины в Москве оттуда были изгнаны все нищие для того, чтобы они не попадались на глаза императрице. Она «видела и не видала», – прибавляет он. Да, она видела, но не отдавала себе в виденном отчета. Таким

образом она и пришла к заключению, «что в России нет худощавых людей». Она как-то совершенно серьезно уверяла в том Гримма!

Но нужно сказать, что все дело завоевания и заселения Крыма и Новороссийского края было только колоссальной и блестящей феерией, поставленной на сцену гениальным режиссером, Потемкиным, и исчезнувшей после его смерти. Не знаешь даже, чему тут больше удивляться: необыкновенной ли энергии этого человека и богатству его воображения, или той неслыханной наивности, с которой он и Екатерина верили в осуществимость этого предприятия, где было так много мечтаний, безумия и детского самообольщения, но почти не было реальной возможности. Они хотели превратить пустыню в обработанную, культурную и населенную страну, в которой процветали бы промышленность и искусство, и хотели сделать это в несколько лет, как по мановению волшебной палочки. Потемкин принялся за работу. Он насадил в степях леса, выписал семена всех известных овощей, развел виноградники, туговые деревья для шелковичных червей, выстроил фабрики, театры, дворцы, казармы и соборы. Весь полуостров должен был быть покрыт цветущими городами. История их поразительна. Она превосходит даже те фантастические планы мгновенного создания городов, которые нам дает современная Америка. В 1784 году начинают искать удобное местоположение для столицы нового края, Екатеринослава, т.е. «славы Екатерины». Через два ме-

сяца город заложен, и уже поднят вопрос об открытии в нем университета не только для местных жителей, но и для иностранцев, которые съезжались бы сюда со всех концов Европы. Вскоре на правом берегу Днепра, невдалеке от бедной татарской деревушки Кайдак, появляется целая армия рабочих; ими командует генерал-майор Синельников, которому на первые расходы выдано двести тысяч рублей. Новый город должен протянуться по берегу реки на расстоянии двадцати пяти верст; в общем же он будет занимать тридцать квадратных верст с величественными улицами в двести футов шириною. В городе будет разбит парк с ботаническим садом, бассейном для рыб и другими приспособлениями, а посредине парка выстроят дворец великолепному князю Тавриды, светлейшему Потемкину. Его окружают кольцом здания правительственных учреждений; дальше пойдут жилища рабочих, занятых постройкой города, мастерские, заводы и, наконец, дома для будущего населения... Предполагалось открыть двадцать больших фабрик, причем одну – для производства шелковых материй; все необходимое для обустройства отчасти было уже собрано. Здание суда в стиле старинных базилик, большой гостиный двор вроде Пропилеев, биржа, театр, консерватория и, наконец, собор по образцу храма св. Петра, но в более крупных размерах, должны были занять возвышенные части города. По словам Потемкина, все необходимые материалы для этого были готовы. Даже профессоров для университета и консерватории уже вы-

писывали из-за границы. Директором музыкальной школы был назначен знаменитый Сарти. Для кафедры истории был приглашен француз Гюйенн, по профессии офицер, по эту подробность находили неважной. Подумывали и об астрономической обсерватории. Для ученых и студентов хотели устроить что-то вроде парижского Латинского квартала.

Все это были проекты. Посмотрим, какова была действительность. Был, правда, выстроен дворец Потемкина вместе с бесчисленными оранжереями: для ананасов, лавров, помегранцев, для гранатов, фиников и т.д. Фабрика шелковых материй была тоже открыта. Она стоила двести сорок тысяч рублей и работала два года, после чего прекратила свою деятельность по многим причинам, из которых главной была та, что не было сырого материала: шелковичные черви, для разведения которых был выписан из-за границы специальный мастер, получавший большое вознаграждение, давали в год, самое большое, двадцать фунтов шелка! Все же остальные прекрасные планы так и не были приведены в исполнение, и Екатеринославу было суждено стать небольшим губернским городом. Херсон, заложенный Иосифом II в 1787 году (положив первый камень, император сказал при этом, что Екатерина после него кладет последний), ожидала относительно более блестящая будущность. Впрочем, и в других частях империи создание новых административных и промышленных центров шло у Екатерины не очень успешно. Поэт Державин рассказывает, например, что, сопровождая в 1787 го-

ду олонецкого губернатора, отправившегося на торжественное открытие только что выстроенного нового уездного города, он никак не мог попасть с ним к цели своего путешествия: город, который было так трудно разыскать, существовал, как оказалось, только на бумаге!

И все-таки в конце-концов Крым был завоеван и заселен.

«Таково двойное волшебство самодержавной власти и пассивного послушания в России, – писал граф Сегюр: – здесь никто не ропщет, хотя нуждается во всем, и все идет своим чередом, несмотря на то, что никто ничего не предвидит и не заготавливает вовремя».

Все, действительно, шло своим чередом во время царствования Екатерины, и, бесспорно, она была многим обязана тому пассивному послушанию, о котором говорит Сегюр. Всем известен анекдот с английским банкиром в Петербурге Сэтерландом. Однажды к нему явился начальник полиции Екатерины, Рылеев, и со всевозможными предосторожностями сообщил ему приказ императрицы, – приказ, который он не мог не порицать, несмотря на все свое уважение к воле ее величества, но который он тем не менее должен был исполнить: ему было поручено набить из несчастного финансиста чучело. Можно себе представить ужас Сэтерланда. Но, к счастью, недоразумение выяснилось вовремя: императрица приказала сделать чучело из своей любимой и только что скончавшейся собачки, английское имя которой ввело Рылеева в ошибку. Английский врач Димсдэль оставивший

записки о своем пребывании в России, рассказывает со своей стороны, что, желая привить императрице оспу, он решил взять лимфу у одного ребенка из простой крестьянской семьи; мать мальчика воспротивилась было, так как, по народному поверью, это должно было вызвать смерть ее сына, но тут вмешался отец: «Если бы государыня потребовала, чтобы мы отрезали ему обе ноги, разве мы этого бы не сделали?» – сказал он. Димсдэль рисует еще другую характерную черту: больной мальчик лежал в жарко натопленной комнате, в душном и зараженном воздухе, потому что родители его боялись, что, открыв окно, убьют этим сына. Но Димсдэль показал им рубль, и они сейчас же распахнули окно настежь.

Этот анекдот говорит еще об одном средстве управлять людьми – средстве всемирном и всемогущем и находившем в России широкое применение. Екатерина не раз прибегала к нему. Она пользовалась им всегда смело и, по своему обыкновению, не зная меры. Она и сама давала много, но позволяла брать еще больше. Во всех отраслях управления все бессовестно обкрадывали казну. Раз, когда у Екатерины сильно разболелась голова, она сказала шутя, что не удивляется тому, что так страдает: в счете, который ей подали, было сказано, что она тратит еженедельно по пуду пудры на свои волосы. По этой мелочи легко судить обо всем остальном. Но зато и рассказы англичанина Гарриса о том, что французский посланник тратит десятки тысяч фунтов стерлингов на подкуп сановников Екатерины, совершенно неправдоподоб-

ны. Единственный французский посол, который мог бы еще располагать значительной суммой для взяток – до миллиона франков, но не больше, – был барон Бретейль. Но этой возможностью он не пользовался. Преемникам же его было трудно добиться и десяти тысяч ливров, а не то что фунтов стерлингов, чтобы заручиться чьим-либо содействием или каким-нибудь секретным документом. Но и эти попытки, которые, впрочем, и в Версале считали бесполезными и опасными, не имели в царствование Екатерины никакого успеха. Только раз одно из высокопоставленных лиц, близких к императрице, выразило желание иметь карету парижской работы; но сановник спохватился вовремя, признался в своем неблаговидном поступке Екатерине, и императрица сама продиктовала ему вежливое, но ироническое письмо к французскому послу с отказом. После барона Бретейля из всех представителей французского двора в России пользовался действительным влиянием граф Сегюр, но тут деньги были ни при чем.

С 1762 года и до самой смерти Екатерины в России было только одно лицо, которое действительно умело и могло подкупать русских, и это лицо была сама императрица. И хотя она прибегала к этому средству для блага своего государства, – так, как его понимала, – и при помощи денег сумела совершить, бесспорно, великие дела, но развращающее влияние этого приема не прошло бесследно, и новый взгляд на службу родине и привычки, которые она таким образом при-

вила русским, имели неизгладимые и роковые последствия. А теперь сделаем беглый обзор того, что было достигнуто Екатериной ее удивительным искусством царствовать и управлять людьми.

Глава вторая

Внутренняя политика. Охрана. – Законодательство. – Администрация

*1. Защита престола. – Заговорщики и претенденты. –
Взбунтовавшийся епископ. – Смерть царя Иоанна Антоновича. –
Политическая цензура. – Сочинения Жан-Жака Руссо. –
Опасный политический и социальный кризис 1771—1775 гг. –
Емельян Пугачев. – Реакция. – Тайная полиция при
Екатерине. – Степан Иванович Шешковский.*

У счастливых народов нет истории: начиная с 1775 года русские могли причислить себя к таким счастливым народам, с точки зрения внутренней политики. Подавив с громадным усилием Пугачевский бунт, Екатерина почувствовала себя утомленной и разочарованной и отдалась всецело внешним предприятиям: завоеванию Крыма, второй турецкой войне, второму и третьему разделу Польши и борьбе против французской революции. Но до 1775 года она применяла, – отчасти поневоле, – свою бившую ключом энергию

ко всем сторонам внутренней жизни России. Ей пришлось прежде всего защищать престол от более или менее опасных покушений, против которых ею были приняты меры, доставившие ее имени тоже лишь относительную славу.

Уже в октябре 1762 года был открыт заговор, составленный Петром Хрущевым, его братьями Семеном и Иваном и Петром Гурьевым, чтобы возвратить престол Иоанну Брауншвейгскому, томившемуся, как мы это уже говорили, в темнице с 1741 года. Все они были присуждены к вечной ссылке в Якутскую область. В 1772 году Хрущев принял участие в восстании ссыльных в Сибири, поднятом знаменитым Беньовским. Ему удалось бежать и, после ряда романических приключений, достигнув через Америку Западной Европы; впоследствии он служил во французской армии в чине капитана.

Этот заговор, действительный или вымышленный, – потому что виновность преступников так и не удалось установить на суде, – часто смешивают с другой историей, случившейся несколько позже и в которой была замешана сама княгиня Дашкова. В 1763 году, во время пребывания Екатерины в Москве по случаю коронационных празднеств, было произведено несколько арестов по обвинению в государственной измене. Но несчастный Иоанн, прозябавший в своей тюрьме, был на этот раз ни при чем. В обществе распространился слух о желании Екатерины выйти замуж за Григория Орлова, и несколько человек, принимавших самое деятельное

участие в возведении Екатерины на престол, с Федором Хитрово во главе, нашли, что это нарушает интересы государства. Они решили воспротивиться намерениям императрицы и, в случае упорства со стороны Екатерины, убить фаворита. Хитрово был выдан одним из друзей, указавшим и других его сообщников: Панина, Теплова, Пассека, княгиню Дашкову – всех героев события 12 июля. Хитрово арестовали и он подтвердил свое участие в заговоре, считая, что только исполнил свой долг по отношению к родине и к Государыне. Княгиня Дашкова объявила на допросе, что ничего не знает о заговоре, но что, если бы что-либо и знала, то все равно молчала бы. Она прибавила, что если императрице угодно, чтобы она, княгиня Дашкова, сложила голову на плахе после того, как она помогла возложить на голову Екатерины царский венец, – то она готова! Это дело не имело, впрочем, важных последствий. Один Хитрово был сослан в свое орловское имение. Кроме того, под барабанный бой на улицах Москвы был прочтен указ, являвшийся в сущности повторением указа Елизаветы от 5 июня 1757 г. и воспрещавший жителям заниматься предметами, которые до них не касаются. К этим предметам были отнесены все государственные дела. Указ этот был возобновлен и в 1772 году.

Почти в то же время ростовский митрополит Арсений Мацеевич поднял против Екатерины знамя бунта, – и поднял его смелее придворных. Отношение императрицы к православному духовенству вызывало в представлениях церкви

законный ропот. Вступив на престол, Екатерина осудила было – и при том в самых резких выражениях – мероприятия Петра III, восставившие против него русское духовенство, Она велела распечатать домовые церкви, закрытые по приказанию императора, воспретила представление языческих пьес, усилила цензуру книг; наконец приостановила секуляризацию монастырских имений. И вдруг все это опять вошло в силу: Екатерина отменила данные ею только что приказания, не находя, по-видимому, нужным защищать интересы духовенства. Часть церковных имений, возвращенных монастырям, была вновь отнята в казну. Духовенству оставалось только молча поникнуть головой, как оно это сделало и при гонениях Петра III. Но Арсений выступил защитником поправленных прав. В своем гневе на государыню он дошел до того, что ввел новые слова в богослужение, в которых, предавая анафеме врагов церкви, метил на самое Екатерину. Его арестовали и предали суду. Говорят, что в присутствии императрицы он вспылил и обратился к Екатерине с такой грозною речью, что она должна была заткнуть себе уши. Он был присужден к лишению сана и заточению в монастырь, где, по особому приказанию из Петербурга, его заставили исполнять самую тяжелую работу: носить воду, колоть дрова. Но через четыре года, при новой попытке возмущения с его стороны, он должен был сменить монастырь уже на настоящую тюрьму. Его сослали в ревельскую крепость, обрекая, таким образом, на молчание, так как сторожа его не

понимали иного языка, кроме своего родного – латышского. Кроме того, Арсений был расстрижен, лишен имени и должен был называться отныне крестьянином Андреем Вралем или Бродягиным. Он умер в 1772 году. Незадолго до этого за обиженное духовенство поднял голос. и купец Смолин. В письме, обращенном к императрице, полном язвительных и бранных слов, он открыто обвинял Екатерину в том, что она отнимает имения духовенства лишь для того, чтобы раздавать их Орловым и другим фаворитам. Он говорил в своем послании: «Ты имеешь каменное сердце, как фараон... Воров повелеваешь за грабительство и обиды народа наказывать нещадно, а ты чего достойна за разорение святых монастырей; на тебя суда сыскать негде!» Екатерина решила доказать иступленному купцу, что он на нее клеветает: она обошлась с ним довольно милостиво. Смолин только пять лет просидел в крепости, после чего, кажется, по собственному желанию, ушел в монастырь, и скрылся из виду.

После ропшинской драмы смерть Иоанна Антоновича Брауншвейгского наложила новое кровавое пятно на светлое царствование Екатерины. Как читатель помнит, маленький двухлетний император Иоанн был свергнут Елизаветой в 1741 году. Вначале сосланный с семьей в Холмогоры, он был перевезен впоследствии в Шлиссельбургскую крепость, и здесь вырос в одиночестве и во мраке тюрьмы. Ходили слухи, что он слабоумен и заика; но все-таки он царствовал когда-то, и дворцовая революция, лишившая его престола,

могла в один случайный день опять возвести его на трон. Он оставался угрозой. Его печальный образ беспокоил даже Вольтера, предвидевшего, что философы не нашли бы себе друга в этом императоре. И в 1764 году Иоанн Антонович скончался. Это событие дало повод к разноречивым толкам, в которых историку разобраться не легко. Желая оказать услугу своей августейшей покровительнице, Вольтер постарался «замять дело». Ему помогали в этом и другие, в том числе сама Екатерина. А «дело» состояло в следующем. Офицер Мирович, несший караульную службу в Шлиссельбургской крепости, склонил на свою сторону часть гарнизона, чтобы освободить «царя Ивана». Но при Иоанне Антоновиче находились безотлучно два сторожа, которым было строго наказано: скорее умертвить пленника, но не выпустить его на волю. При поднявшейся тревоге они его и убили. Екатерину обвинили в этой смерти: говорили, что заговор Мировича был ловушкой, устроенной им с согласия императрицы. Мировича, правда, судили, приговорили к смертной казни и казнили, – и он не выдал Екатерину ни одним словом. Но, может быть, его уверили в том, что спасут его в последнюю минуту? Подобные случаи бывали в прежние царствования: при Елизавете несколько сановников, и в их числе Остерман, были помилованы государыней, когда голова их уже лежала на плахе.

В процессе Мировича были действительно странные подробности: так, по личному распоряжению императрицы, не

было сделано попыток найти участников заговора, а их, между тем, не могло не быть; даже родителей Мировича не подвергли допросу. Но все-таки это были слишком неясные указания, чтобы можно было заключить по ним о виновности Екатерины. В общем при смерти Иоанна Антоновича, как и при многих других обстоятельствах, она выказала большое самообладание и силу воли. Известие о кончине Иоанна дошло до нее во время ее путешествия по Лифляндии, но она не ускорила своего приезда в Петербург и не изменила маршрута.

Через несколько лет ей пришлось пережить уже опасное и грозное восстание, продолжавшееся с 1771 до 1775 год. Во все времена, вплоть до начала девятнадцатого столетия, Россия была классической страной самозванцев. С первой половины семнадцатого века, когда пресеклась династия Рюриковичей, они появляются один за другим через короткие промежутки. В царствование же Екатерины они следовали непрерывно. В 1765 г. два беглых солдата, сперва Гаврила Кремнев, а потом Евдокимов, назвали себя Петром III. В 1769 году окровавленная тень убитого царя воскресла вновь в лице тоже беглого солдата Мамыкина. Емельян Пугачев явился, таким образом, продолжателем дела, уже начатого до него другими. Но на этот раз Екатерине пришлось бороться уже не с темным заговором или ничтожным покушением, которому было легко положить конец несколькими ударами топора или плети. За спиною мрачного самозванца подня-

лась стихийная буря, грозившая снести не только престол, но и самые основы государства, весь его политический и общественный строй. Это не был уже поединок между узурпаторами, более или менее хорошо подготовленными для защиты или завоевания короны, уже много лет принадлежавшей в России тому, кто умел ее взять, – какими являлись все прежние революции. Нет, это была борьба совершенно другого характера, – и другого, неисчислимого значения. Это был бой между современным государством, которое Екатерина, по завету Петра I, оставленному потомкам, хотела создать из России, и тем первобытным состоянием, в котором продолжала прозябать масса народа, между организованным обществом и хаосом, не поддающимся никакой организации, между централизацией власти и центробежной силой, всегда увлекающей за собою дикие и вольные племена. Это был крик убогой нищеты многомиллионного народа против роскоши и богатства ничтожной – о, какой ничтожной в сравнении с ним! – кучки избранников. Это был безотчетный протест национальной совести против панегириков, в которых и философы, и поэты, и Вольтеры, и Державины наперебой друг перед другом воспевали великолепие нового царствования. Ведь если Екатерина действительно прославила свое имя и власть на той высоте, где она парила со свитой сановников и фаворитов, в блеске и величии своего царского сана, то зато она не сделала ничего, или почти ничего для тех, кто стоял внизу, – для бедного, трудового крестьянства; оно

страдало теперь, как и прежде, не принимало никакого участия и ничего не понимало в триумфах и победах, совершавшихся на высоте престола, и только раздражалось при виде сияния, окружавшего царицу и еще отчетливее освещавшего ему всю глубину его черного горя и нищеты. Короткое царствование Петра III разбудило было его надежды и оставило в нем сожаление. Крестьяне смотрели на секуляризацию церковных имений, как на первый шаг по пути к уничтожению крепостного права; и действительно, секуляризация и вела туда: бывшие монастырские крестьяне вышли из крепостной зависимости. Екатерина же, как мы знаем, остановила это дело. Затем Петр выказывал полную веротерпимость по отношению к сектантам: стал бы он играть роль жандарма православной церкви! А легенда, как это всегда бывает, еще преувеличила его заслуги. Его особенно почитали скопцы и считали его святым и мучеником, пострадавшим за их веру: Петр был будто бы убит именно за принадлежность к их секте. Некоторые подробности супружеской жизни Петра давали пищу этим басням. Но Екатерина и в этом отношении не последовала примеру мужа, и ее недавняя победа повернулась теперь против нее. Раскол сыграл большую роль в поднявшемся восстании. Все, что имело в России повод к недовольству или стремилось к свободной, беспорядочной жизни, даже мятежные азиатские племена, боровшиеся в окрестностях Казани и под Москвою против руссификаторской гегемонии государства, – все это заклю-

чило теперь между собою союз против Екатерины и режима, созданного или поддерживаемого ею. Емельян Пугачев послужил только предлогом, чтобы сразу взбаламутилось море вековых обид и жадных вожелений бесчисленного пролетариата. Еще до его появления среди крестьян поднимались то тут, то там отдельные восстания. В 1768 году в одной Московской губернии было девять случаев убийства крепостными своих помещиков. В следующем году таких убийств было восемь, и среди жертв находился герой Семилетней войны, генерал Леонтьев, взятый в плен в битве при Цорндорфе и женатый на сестре победоносного Румянцева.

Емельян Пугачев был сын донского казака. Он тоже, как простой солдат, принимал участие в Семилетней войне, отличился в ней, потом сражался против турок и наконец дезертировал. Его поймали, но он опять бежал и начал жизнь outlaw и бродяги, завершившуюся страшною, кровавою эпопеей. Рассказ о том, будто случайное сходство с Петром III помогало ему играть роль самозванца, теперь опровергнут и, по-видимому, не имел за собою никаких серьезных оснований. В сохранившихся портретах Пугачева нет ни одной черты, напоминающей Петра: тот походил на кривляющуюся обезьяну, а Пугачев был типичный русский мужик. Он принял имя покойного императора только потому, что другие поступали так до него. Но, в противоположность другим, он сумел выбрать подходящую минуту для общественного переворота. Он не вызвал движения, приготавливавшего-

ся издавна; напротив, скорее это движение овладело им. И Пугачев не пытался даже руководить им. Он только стал во главе его и, ничего не разбирая на своем пути, ринулся вперед, увлеченный бушующими и грозными волнами восставшего народа. Шествие это было ужасно: оно покрыло дымящимися и окровавленными развалинами половину громадной России. Но через четыре года дисциплинированная сила одолела силу дикую и неорганизованную. Пугачев был взят в плен одним из помощников Панина, привезен в Москву в деревянной клетке, приговорен к четвертованию и казнен. Но палач отрубил ему голову прежде, чем начать пытку. Екатерина уверяла, что это было сделано по ее приказанию: она хотела показать, что у нее больше гуманности, нежели у Людовика XV, четвертовавшего Дамиена. А между тем преступления Пугачева были неизмеримо тяжелее: жертв, погубленных им и его шайкой, было положительно не счесть. И хотя, – пока он не был пойман, – Екатерина и посылала Вольтеру более или менее остроумные острофы по адресу «маркиза Пугачева», но в душе сознавала, какая он был грозная сила, и до трепета боялась его!

Что характерно во всей этой истории и что, между тем, повторяется нередко при аналогичных обстоятельствах, это то, что восстав против государства и той его формы, в которую оно вылилось при Екатерине, Пугачев и его товарищи не нашли ничего лучшего, как начать с подражания этому самому государству или, вернее, с рабской и грубой копи-

ровки его в его мелких, внешних подробностях. Женившись на девушке из народа, самозванный император сейчас же окружил ее свитой «придворных дам». Выдрессированные под палкой, они – с бесконечно грубым комизмом – разыгрывали фрейлин, упражнялись в церемонных реверансах и почтительно целовали ручку «императрицы». Чтоб усилить иллюзию своего царского сана, Пугачев назвал приближенных себе разбойников именами первых сановников Екатерины: казак Чика получил фамилию Чернышева с чином генерал-фельдмаршала; другие назвались: графом Воронцовым, графом Паниным, графом Орловым и т.д.

Но за эту комедию все заплатили дороною ценой. Екатерина потеряла в ней последнюю веру в возможность восстановить справедливость в классовых отношениях; а Россия, не считая громадных материальных убытков, потеряла те великие реформы, которые молодая императрица могла бы дать ей, судя по началу ее гуманного царствования. Как мы уже говорили, на внутренней политике Екатерины до самой ее смерти лежал с тех пор неизгладимый отпечаток этих страшных четырех лет – точно кровавый след от нанесенных и полученных ран во время смертного боя. В этой борьбе погибли не только люди, сраженные огнем и мечом. В ней погибли также идеи Екатерины, с которыми она вступила на престол, и которые были, может быть, самым ценным из всего, что она принесла на служение России.

В сравнении с режимом, введенным при Петре III, внут-

ренную политику Екатерины, начиная с 1775 года, можно вообще назвать реакционной. Петр упразднил мрачную Тайную канцелярию. Она была позорным наследием веков, которые русские были вправе считать невозвратными, и Екатерина не посмела восстанавливать ее в ее отвратительной и устаревшей форме. Но она сумела устроиться так, что, не называя вещей своими именами, имела у себя ту же канцелярию в замаскированном виде: роль ее играл Степан Иванович Шешковский. Вокруг таинственной личности этого сподвижника Екатерины сложилась целая легенда, и легенда, неразрывно связанная с именем императрицы. И хотя Шешковского нельзя сравнивать по жестокости с заплечными мастерами, пытавшими жертвы царя Ивана Васильевича, но он, без сомнения, клал темную тень на императрицу, желавшую оправдать свою репутацию друга философов. Шешковский был в ее руках тонким и коварным орудием полицейского сыска. Он не имел никаких официальных полномочий, никакой определенной организации для своей инквизиторской деятельности. Но он все видел и все знал. Его можно было назвать вездесущим. Он никогда не арестовывал, – а только приглашал к себе пообедать, но никто не смел уклониться от этого приглашения. После обеда он вступал с гостем в разговор, и глухие стены его уютной квартиры никогда не выдавали тайны этих бесед. Говорят, что в кабинете у него стояло особенное кресло, в которое Шешковский – всегда любезно, но настойчиво – просил гостя садиться. Ручки этого

кресла неожиданно смыкались, обхватывая жертву, словно железным кольцом, и кресло опускалось, но так, что голова и плечи гостя оставались в кабинете хозяина. Таким образом, находившиеся внизу агенты Шешковского не знали, с кем имеют дело, и подвергали нижнюю часть тела незнакомца более или менее чувствительному наказанию. Шешковский в это время отворачивался и делал вид, что не замечает маленькой неприятности, случившейся с его гостем. Когда экзекуция была окончена, кресло поднималось наверх, и Шешковский, повернувшись к собеседнику, с улыбкой продолжал как ни в чем не бывало разговор, прерванный на полуслове. Сохранился рассказ, что один из его приглашенных, человек находчивый и большой физической силы, зная о том, что его ожидает, заставил самого Шешковского сесть в роковое кресло, после чего спокойно ушел из кабинета. О том, что произошло дальше, нетрудно догадаться. Шешковский умер в 1794 году, оставив громадное состояние.

В законах, которые Екатерина в 1767 году хотела даровать России, заимствуя их у Монтескье и Беккарии, очевидно, не предвиделась такая форма судебного следствия. Но возвратимся пока к этим законам.

II. Екатерина – законодательница. – Наказ комиссии о составлении проекта нового уложения. – Монтескье и Беккария. – Влияние русских консерваторов и Вольтера. – Русский

Монтескье: Иван Посошков. – Созыв комиссии. – Наказы. – Первые заседания. – «Собрание занимается анатомией качеств императрицы, а не рассмотрением законов». – Кабинет для чтения. – Отрицательные результаты. – Закрытие заседаний. – Суд общественного мнения. – Парижский парламент и русская императрица. – Новые заботы Екатерины. – Ее опять охватывает легисломания. – Частичные преобразования. – Недостаток коренной реформы. – Следовало бы начать с начала. – Вопрос крепостного права. – Положение крестьян в России. – Мнение Дидро. – Мнение Сегюра. – Процесс Дарьи Салтыковой. – Женщина, замучившая до смерти сто тридцать восемь человек. – Уложение о наказаниях графа Румянцева. – Заключение. – Достигнутые тем не менее результаты. – Дело, положившее начало новой эре.

В 1765 году Екатерина писала Даламберу, что вскоре пришлет ему рукопись своего сочинения, о котором хотела бы знать его мнение:

«Вы увидите, как в нем для пользы моего государства я ограбила президента Монтескье, не называя его: но надеюсь, что, если он с того света увидит мою работу, то простит мне этот плагиат во имя блага двадцати миллионов людей, которое должно от этого произойти. Он слишком любил человечество, чтобы обидеться на меня. Его книга для меня молитвенник».

Но и через два года эта работа не была еще у нее готова, и Екатерина так объясняла великому философу, на суд которого отдавала свой труд, причину этого замедления:

«То, над чем я работаю теперь, как я много раз вам говорила, не похоже на то, что я хотела прежде послать вам. Я больше половины вычеркнула, разорвала и сожгла, и Бог знает, что станет с остальным».

Только к середине 1767 года творение Екатерины было наконец доведено до конца и напечатано: это был знаменитый Наказ комиссии, которую императрица решила созвать для составления нового уложения. Последняя страница этого Наказа заключала следующие строки:

«Боже сохрани! чтобы после окончания сего законодательства был какой народ больше справедлив, и следовательно больше процветающ на земле; намерение законов наших было бы не исполнено: несчастье, до которого я дожить не желаю!»

Как читатель видит, Екатерина придавала Наказу громадное значение. При помощи президента Монтескье она рассчитывала произвести настоящую революцию и положить начало новой эре не только в истории России, но и всех европейских народов. Управляемые новыми законами, созданными ею, русские стали бы во главе цивилизованного мира. Но, указывая на автора «*Esprit des lois*», как на своего единственного помощника в создании этого великого дела, Екатерина умалчивала о другом своем сотруднике, таком же

анонимном и таком же невольном, как и Монтескье. Весь Наказ разделен на главы и параграфы, заключающие в себе политические или философские формулы, которые должны были руководить будущих законодателей при составлении нового уложения для России. И из этих пятисот двадцати шести параграфов только половина заимствована у Монтескье; все же остальные списаны почти дословно из книги Беккарии «О преступлениях и наказаниях».

Мы имели уже случай говорить о ценности этого произведения Екатерины с точки зрения формы. Что же касается его содержания, то оно отвечало общему характеру идей и стремлений русской императрицы в тот период ее жизни. В нем преобладают либерализм, оптимизм и сентиментальность. Екатерина на каждом шагу взывает к чувству, к патриотизму, человечности, к любви к ближнему. Она говорит о «хорошем установлении, которое воспрещало бы богатым удручать меньшее их стяжение имеющих» (§ 35); о «любви к отечеству», как о «средстве укротительном и могущем воздержать множество преступлений» (§ 80). Такие параграфы встречаются очень часто. От одного, стоящего обособленно (§ 416), веет даже социализмом. Опасность контраста между богатством и нищетой, так часто сталкивающимися в жизни, нарисована в нем красками, которые удовлетворили бы самых крайних последователей социалистического учения. Вообще о равенстве и свободе упоминается в Наказе нередко (§§14, 16, 34, 36, 37, 39), так же, как и об естественном пра-

ве в его столкновениях с правом государственным (§§ 405, 407, 410). Противоположение законов и нравов, преступлений политических и преступлений против нравственности, разница между арестом и заключением в тюрьме доказаны (§§ 56, 59, 60, 167—174) с глубиной, блеском и оригинальностью, свойственными идеям Монтескье и Беккарии. Пытки и квалифицированные казни заклеяны, как они того и заслуживают (§§ 79, 194, 206). Параграфы 209-й и 210-й осуждают даже смертную казнь вообще, допуская ее лишь в случае государственной необходимости. Тут никакие философы и законоведы не могли бы помешать русской императрице защищать свой престол от Петров III и Иоаннов VI, подлинных или самозванных. Но зато § 520 содержит благородные слова, заключающие в себе сущность либеральной политики: «Ласкатели... по все дни всем земным обладателям говорят, что народы их для них сотворены. Однако же мы думаем и за славу себе вменяем сказать, что мы сотворены для нашего народа». Но значило ли это, что Екатерина осуждала абсолютизм? Нисколько. Опираясь на того же Монтескье – чего не найдешь у хорошего писателя? – Екатерина находила, что он считает лучшей формой правления самодержавие и стоит также за сословные преимущества, особенно за привилегии дворянства (§ 360). Как отнеслась Екатерина к третьему сословию? Она дает ему в Наказе довольно туманное определение (§§ 377—378). Что же касается крестьян, то она почти вовсе не упоминает о них. Может быть, она боялась

высказаться откровенно по этому вопросу и, чтобы как-нибудь выйти из затруднения, умолчала о крепостном праве? Это возможно, но во всяком случае она едва коснулась его, и при том в очень неопределенных выражениях, которые не могли послужить основанием для новых законов. Мимоходом ею было выражено убеждение, что людей можно обращать в рабство только при крайней необходимости (§ 253), и что крепостных следует защищать от злоупотреблений помещичьей власти (§ 256). Это была теория просвещенного рабства, поставленная в противовес учению о просвещенном деспотизме. И действительно, § 260, списанный дословно из «*Esprit des lois*», высказывается открыто против немедленного уничтожения крепостного права.

На теоретическом либерализме Екатерины уже в 1767 году начинают отзываться столкновения ее с действительностью и с тою общественною и политическою средою, в которой вращалась императрица. Весь текст Наказа в том виде, как он был напечатан в 1767 году и дошел до нас, – представляет род мировой сделки между личными идеями Екатерины и посторонними влияниями, заставившими ее много раз переделывать свой труд и таким образом затянувшими его на целые два года. Прежде, чем послать Наказ Даламберу, Екатерина отдала его на суд нескольким своим приближенным, желая услышать голос русских людей наряду с мнением французского философа. Из докладных записок, написанных по поводу этого законодательного труда, сохрани-

лись заметки только двух лиц: писателя Сумарокова и чиновника Баскакова. И замечания эти такого характера, что невольно должны были остановить Екатерину на том пути, куда ее влекли ее друзья с Запада. Как Екатерина писала Даламберу, ее работа уже не походила в 1767 году на то, чем была два года назад. До нас дошло несколько отрывков этой первоначальной рукописи. Читая их, невольно сожалеешь, что они пропали для России бесследно. Относительно жгучего вопроса о крепостной зависимости мы читаем в них, например, такие строки: «Великое злоупотребление есть, когда оно (холопство) в одно время и личное и существенное... Всякий человек должен иметь пищу и одежду по своему состоянию, и сие надлежит определить законом. Законы должны и о том иметь попечение, чтоб рабы и в старостях и болезнях были не оставлены... Когда закон дозволяет господину наказывать своего раба жестоким образом, то сие право должен он употреблять, как судья, а не как господин... Законы могут учредить нечто полезное для собственную рабов имущества и привести их в такое состояние, чтоб они могли купить сами себе свободу...»

Найденные опасными, все эти места были вычеркнуты в окончательной редакции Наказа. Но здесь нужно заметить, что, черпая у Монтескье и Беккарии материал для своей работы, Екатерина заимствовала у них скорее отдельные мысли и статьи, нежели общий дух их учения. Можно сказать, что она смотрела на них с точки зрения философии Вольтера

и в то же время сквозь призму практических соображений старых русских консерваторов. Этим и объясняется разнохарактерность ее работы, хотя мысль ее почти везде выражена достаточно ясно. В некоторых параграфах влияние Вольтера сказалось в ярко выраженном либерализме. Так, §§ 261 и 295 Наказа, в противоположность осторожной сдержанности Монтескье, продиктовавшего Екатерине уже цитированный § 260, говорят о необходимости наделять землю тех самых крестьян, которых, между тем, не решались освободить от крепостной зависимости. Отсюда произошли вопиющие противоречия. Но, как мы знаем, перед противоречиями Екатерина никогда не останавливалась.

В общем Наказ был проникнут учением Вольтера об абсолютизме. И та же теория наложила свой отпечаток и на работу комиссии, которая должна была привести в исполнение намерения императрицы.

Да и сама идея Наказа, данного законодателем, как готовая канва, выработанная иностранными мастерами, по которой они не имели даже права вышивать свободно русских узоров, – потому что никто не спрашивал их о русских нравах, обычаях и традициях, – это желание заменить коллективную волю представителей России индивидуальной волей императрицы было идеей чисто вольтерьянской. Поэтому Фернейский патриарх и не придавал никакого значения трудам законодательной комиссии Екатерины. Единственное, что интересовало его в них, это возможность найти здесь

подтверждение своим взглядам на веротерпимость. Екатерина писала ему, что в комиссии придется работать представителям различных религий: и христианской, и магометанской, и даже языческой. Воображение Вольтера разыгралось в этом направлении, и ему казалось, что Москва становится центром цивилизации и культуры: ему хотелось бы перенести туда парижскую Сорбонну. Но в Отношении к законодательству, он находил, что Екатерина одна справится с ним лучше, нежели все выборные, взятые вместе.

На первых порах Екатерина относилась к своей комиссии очень серьезно. Мысль о созыве законодательного собрания не была новью в России. Еще в 1648 году новое уложение, составленное по приказанию царя Алексея Михайловича, было прочитано и обсуждено в земском соборе. В 1720 году опять была собрана кодификационная комиссия, в состав которой Петр I пригласил даже иностранцев, но работы ее не привели ни к чему. В последние годы царствования великого царя оригинальный мыслитель, во всех отношениях достойный названия русского Монтескье, совмещавший в себе философа и бесхитростного мужика, Иван Посошков, говорил о необходимости собрания для составления законов, в которое вошли бы представители всех общественных классов. Вопрос о таком собрании поднимался и в царствование Екатерины I, Петра II и Елизаветы. Но, вопреки обычному порядку вещей – уж одно это характерно, как показатель культурного уровня России этой эпохи, – все эти попытки встре-

тили сопротивление со стороны самого же народа. Масса населения не хотела прийти на помощь государству в работе, предоставляемой до тех пор исключительно правительству. Но Екатерина II решила сломить эту косность. Манифест о созвании законодательной комиссии, изданный ею 14 декабря 1766 года, был на этот раз быстро приведен в исполнение. Почти все избирательные округа прислали своих депутатов. Только Малороссия воспользовалась случаем проявить сепаратические тенденции и уклонялась от выборов. Избирательным собраниям было дано по шести дней для редактирования наказов, и, несмотря на этот короткий срок, работа была исполнена довольно хорошо. Издавна дарованное населению право челобитных подготовило умы в этом направлении. Ведь у всех было столько причин жаловаться! В общем было составлено около полуторы тысячи наказов, из которых две трети принадлежало крестьянам, – не крепостным, разумеется, а малороссам и казенным крестьянам; крепостные же, т.е. большинство, не имели голоса. Из этих наказов лишь немногие были написаны в тоне, оправдывавшем воззрение Вольтера на законодательную комиссию, – это были, главным образом, указы дворянства. Муромские дворяне, например, заявили, что им не о чем просить и решительно не на что жаловаться. Но остальные знали, что им нужно, и работы для законодателей было заготовлено очень много.

К несчастью, Екатерина упустила из виду, что надо эту работу организовать заранее. Она вспомнила об этом только в

апреле 1768 г., т. е. через девять месяцев после открытия комиссии, состоявшегося 31 июля 1767 года. И правила, изданные ею задним числом, уже не могли помочь делу. Вся работа по составлению проекта нового уложения перешла в руки подкомиссий, – их всех было девятнадцать, – и дальше этих подкомиссий не пошла. Что же касается до самого собрания, то его можно было назвать просто кабинетом для чтения. В нем прочли сперва Наказ, написанный Екатериной, и пролили слезы умиления над его заключительными словами. Правда, императрица присутствовала при этом в зале. Затем стали читать указы. В противоположность ожиданиям, заседания были чрезвычайно мирны. Но зато и прений в настоящем смысле этого слова не было вовсе. Члены собрания высказывали иногда свои замечания по поводу прочитанного, но всегда в виде коллективных записок от целой группы депутатов. Эти записки обыкновенно опаздывали – собрание читало уже другой указ, – и утрачивали интерес.

Была, впрочем, основная причина, мешавшая комиссии выполнять свое назначение: большинство ее чинов не имели никакого представления о том, для чего они созваны, и так и не поняли этого до конца. Первые шесть заседаний были посвящены вопросу, как отблагодарить императрицу за оказанную ею милость народу. Григорий Орлов предложил назвать ее «Великой, Премудрой и Матерью отечества». Екатерина резко осудила эти дебаты. «Я им велела делать рассмотрение законов, – написала она своему маршалу (предсе-

дателю собрания) Бибикову: – а они делают анатомию моим качествам». Она наотрез отказалась от поднесенного ей титула. Но это не послужило для депутатов уроком. Работа комиссии все не могла наладиться. Во время прений о правах купечества Лев Нарышкин попросил слова, чтобы прочесть заметку о гигиене. Права купечества сейчас же были забыты, и о них больше не поднимали разговора. Обсуждение другого важного вопроса было прервано одним из членов комиссии, пожелавшим сообщить присутствующим о прекрасном средстве против отмораживания.

Так шла работа законодательного собрания сперва в Москве, а с февраля 1768 г, в Петербурге. Екатерина постепенно разочаровывалась в своей комиссии и в конце концов начала открыто ею тяготиться. Она понимала, что заседания ее не привели ни к чему, да и в будущем вряд ли приведут к чему бы то ни было. А может быть, императрица начинала уже поддаваться влияниям, и прежде относившимся враждебно к ее затее, а теперь, при очевидной бесплодности законодательной работы комиссии, еще громче возвысившим голос? Впрочем, по самому складу своего подвижного ума, Екатерина не могла долго интересоваться одним предметом. Тут же кстати была объявлена турецкая война. И, воспользовавшись этим, маршал Бибиков возвестил 18 декабря 1768 года членам собрания, что – ввиду необходимости для большинства из них стать в ряды армии, – заседания комиссии, по приказу ее императорскою величества,

закрываются. Один из депутатов имел наивность спросить, будут ли они возобновлены после заключения мира. Биби-ков ответил утвердительно; но в эту минуту, по словам одного современника, в императорской ложе с шумом опрокинулось кресло, раздались шелест шелкового платья и быстрые и гневные шаги удалявшейся императрицы: это был ответ Екатерины.

И, действительно, вопрос о новой сессии законодательной комиссии никогда не поднимался больше. Впоследствии Екатерина пыталась было повернуть общественное мнение в пользу своей незадачливой комиссии 1767 года; она писала Гримму двадцать лет спустя:

«Мое собрание депутатов было потому так удачно (?), что я им сказала: „Вот вам мои взгляды, а вы скажите мне свои жалобы: где башмак жмет вам ногу? Постараемся помочь делу; у меня нет никакой системы, я хочу только общего блага: оно составляет мое собственное. Будем же работать; составляйте проекты, следите за тем, как они подвигаются вперед“. И они стали просматривать, собирать материалы, говорить, мечтать, спорить, а ваша покорная слуга слушала их, глубоко равнодушная к тому, что не вело к общественной пользе или благу».

Но на каких основаниях Екатерина считала законодательную комиссию, не сумевшую дать ни одного закона, удачной, сказать довольно трудно. Фридрих II, конечно, расточал ей по поводу ее Наказа похвалы, а берлинская академия

призвала даже августейшую законодательницу в свое лоно. В Париже адвокат Блонд написал в 1771 году памфлет против Мопу, озаглавленный: «Le Parlement justifie par l'imperatrice de Russie», и состоявший из цитат, взятых из Наказа. Но в общем Европа отнеслась к комиссии для составления уложения очень холодно. Послы иностранных держав, находившиеся в Петербурге, оценили труды ее по заслугам. Англичанин Генри Ширлей называл их «простой шуткой». Французский поверенный в делах Россиньоль писал:

«Я очень внимательно слежу за действиями собравшейся думы русского народа, хотя думаю, – как и все здесь в этом убеждены, – что это необыкновенное явление только... комедия... Фавориты и приближенные императрицы руководят всем, заставляют читать законы так быстро или так тихо, что их едва слышишь, и часто извращают даже их содержание. Затем они требуют одобрения собрания для законов, которые то не расслышало и еще менее поняло, и собрание не смеет отказать в нем...»

По словам другого французского агента, Сабатье де-Кабра, значительное число депутатов поспешило продать золотую медаль, которая была им дана для ношения на груди в знак их полномочий. Но Наказ Екатерины имел все-таки в одном отношении успех, хотя и совершенно неожиданный, – издание его было воспрещено во Франции.

В течение следующих восьми лет турецкая война, раздел Польши и борьба с Пугачевым отвлекли Екатерину от даль-

нейшей деятельности по пути, куда ее «счастливая звезда», очевидно, не хотела за нею следовать. Наступили годы торжествующего произвола, – слово было предоставлено пушкам, грозным приказам и кнуту. В сентябре 1773 года петербургский генерал-полицеймейстер Чичерин жестоко высек несколько человек, и в их числе слугу высокопоставленных лиц. Вице-канцлер князь Голицын принес на него жалобу Екатерине за своих лакеев. «Я не делаю никакой разницы между моими подданными; почему же вы хотите, чтобы Чичерин ее делал?» ответила ему Екатерина. Это была ее новая манера понимать равенство.

Но около 1777 года во внешней политике России наступило временное затишье, и Екатерина опять вернулась к мысли о внутреннем переустройстве своего государства; но прежнего увлечения в ней уже не было.

«Моя легисломания идет у меня с грехом пополам, – писала она Гримму. – Иногда я вспоминаю прежние взгляды, но у меня нет больше общего плана преобразования, где все приходилось так хорошо и чудесно укладывалось одно концом вверх, другое концом вниз, – в одну рамку... Не знаю, в чем тут вина: в самом деле или в моей голове, но я подвигаюсь вперед медленно; это у меня какая-то изнурительная продолжительная лихорадка, без порыва...»

По письмам Екатерины, относящимся к этому времени, видно, что она успела уже отказаться от многих заблуждений прежних лет; она проникла в суть вещей и поняла, как

должно вырабатываться законодательство страны. Посылая ей свое сочинение «Prix de la justice et de l'humanite», Вольтер думал, оно послужит основанием для русского уложения о наказаниях, и что за какие-нибудь сто луидоров любой чиновник может составить по нему новый свод законов для России. «Нет, не так это делается, – писала Екатерина по этому поводу своему поверенному Гримму. – Надо черпать в сердце, в опыте, в законах и нравах народа, а не в кошельке».

В 1779 году она приступила к изучению датских законов, «чтобы узнать, почему в этой стране, по словам Тристрама Шанди, все люди благоразумны; как ни ломай себе голову, ни к чему в них не придерешься». Но законы Дании далеко не привели ее в восторг; она чувствовала, что у нее «засыхает от них мозг». «Все здесь предвидено; следовательно, никто сам не мыслит, и все действуют, как бараны. Хорошо образцовое произведение искусства! Я предпочла бы бросить в огонь все, что, по вашему выражению, я перевернула вверх дном, нежели создавать прекрасные законы, которые порождают отвратительную породу пошлых и глупых баранов».

Все относящееся к области законоведения не переставало интересовать Екатерину до конца ее жизни, а она сама законодательствовала постоянно, но «урывками». Так, в 1787 году, во время пребывания в Киеве, она издала закон против дуэлей, к которому был присоединен целый ряд высоко-нравственных сентенций в духе «Подражания Христу». Но к тому общему делу преобразования России, о котором она

мечтала прежде, и начало которому хотела положить в 1767 году, она уже не возвращалась больше. Наряду с другими побочными причинами, на это была одна основная: дело преобразования следовало начать с начала, т.е. с уничтожения крепостного права, а это казалось ей теперь невозможным.

К чести Екатерины нужно все-таки признать, что этот капитальный вопрос дольше и больше других занимал ее. Еще в бытность свою великой княгиней она составляла, как мы знаем, проекты, – правда, мало применимые к делу, – освобождения крестьян от крепостной зависимости. Она вычитала где-то фантастическую историю одновременного освобождения рабов в Германии, Франции, Испании и других странах, совершившегося будто бы по предписанию церковного собора, и задавалась наивно вопросом, может ли собрание русского духовенства привести в России к такому же благотворному результату! Достигнув власти, она положила начало великой реформе, преобразовав положение монастырских крестьян, приписанных к церковным имениям, отошедшим в казну: они должны были выплачивать небольшую подать, а все, что заработали бы сверх того, становилось их собственностью; за известную сумму они могли даже совсем откупиться на волю и получить свободу ценой своего труда. Это была безусловно прекрасная идея. Но осуществление ее встретило немало препятствий: монахи, лишённые имущества, превращались в нищих. По вычислению маркиза де-Боссе, они имели теперь не больше восьми рублей на че-

ловека в год; им приходилось побираться по дорогам, и упадок православного духовенства, большое место современной России, бесспорно, мог явиться результатом екатерининской реформы. Но зато около миллиона крестьян вышло на волю, или почти на волю. Это было уже недурным началом. Екатерина рассчитывала, что следующий шаг будет сделан ее законодательной комиссией. Но здесь, как мы говорили, ее ждало разочарование, Самый ее Наказ подвергся большому сокращению в отношении крестьянского вопроса. Масса крепостного крестьянства не имела даже своих представителей в собрании, и если в комиссии и поднимался вопрос о крепостном праве, то лишь для того, чтобы решить, кто может им пользоваться. Все хотели иметь своих крепостных: и купцы, и духовенство, и даже казаки, стремившиеся завоевать себе былые привилегии. Это настроение законодательного собрания, высказывавшегося с такою открытою враждебностью к гуманитарным мечтам Екатерины, сильно раздражало ее. Сохранились любопытные заметки, написанные по этому поводу собственноручно:

«Если крепостного нельзя признать персоною, следовательно он не человек; но его скотом извольте признавать, что к немалой славе и человеколюбию от всего света нам приписано будет... Все, что следует о рабе, есть следствие сего богоугодного положения и совершенно для скотины скотиною и делано».

Но члены комиссии не читали этих заметок, а если бы и

прочли их, то, все равно, не изменили бы своих понятий и чувств. Екатерина со всех сторон встречала сопротивление, и ей становилось не под силу с ним бороться. Еще в 1766 году она предложила Вольно-Экономическому обществу, основанному и находившемуся под ее покровительством, премию за решение вопроса, какое право имеет землепашец на ту землю, которую обрабатывает в поте лица. Было прислано сто двадцать ответов на русском, французском, немецком и латинском языках. Премия в тысячу червонцев была присуждена Беарде-де-Лабеи, члену Дижонской академии. Но тринадцатью голосами против трех Вольно-Экономическое общество не разрешило его труд к печатанию. И в конце концов Екатерина пришла к заключению, что освобождение крестьян – вопрос пока неразрешимый, но зато очень опасный. Пугачевский бунт еще более укрепил ее в этом мнении. В одной из бесед с директором таможен В. Далем она высказала даже мысль, что, поднимая вопрос о крестьянах, можно вызвать в России революцию, подобную американской. Очевидно, она имела очень неясное представление о том, что совершалось в это время по ту сторону океана. «Однако, как знать? – прибавила она. – Удалось же мне окончить многие другие дела», В 1775 году она писала генерал-прокурору, князю Вяземскому, о необходимости сделать что-нибудь для облегчения участи крепостных, «ибо если мы не согласимся на уменьшение жестокости и умерение человеческому роду нестерпимого положения, то и против нашей воли сами оную

возьмут рано или поздно». Граф Блудов уверял, что видел в 1784 году в руках императрицы проект указа, по которому дети крепостных, родившиеся после 1785 года, стали бы свободны. Но этот указ никогда не был обнародован. В бумагах императрицы нашли, правда, после ее смерти другой проект: о положении свободных крестьян, т.е. тех девяност тысяч крепостных, которые были освобождены секуляризацией церковных имений. Этот документ был напечатан в двадцатом томе Сборника Императорского Русского Исторического общества. По массе поправок, которыми пестрил его текст, видно, что Екатерина долго над ним работала. Пришла она к довольно странному и безусловно неудачному намерению: она хотела применить формы городского управления к совершенно неподходящим условиям сельской жизни. Но и этот план остался без всякого употребления.

Было еще несколько причин, по которым Екатерина ничего не могла сделать для крестьянства. Ее возвели в 1762 году на престол дворяне – или, во всяком случае, представители привилегированных сословий, – но не народ. И для императрицы вытекало отсюда обязательство опираться на этот высший класс и считаться прежде всего с ним. Впрочем, и до воцарения Екатерина, несмотря на весь свой «философский ум» и свой либерализм, тяготела к аристократии. Это хорошо видно по ее «Запискам». Со временем старинные рода Нарышкиных, Салтыковых и Голицыных были заменены ею новой знатю, где блестели имена Орловых и Потемкина. Но

это была просто смена одних людей другими, и аристократический принцип оставался тот же. С другой стороны, она жила в эпоху, когда даже такой свободолюбивый мыслитель, как Дидро, мог, рассмотрев вместе с княгиней Дашковой вопрос о крепостном праве, прийти к заключению, что коренная реформа в этом направлении была бы в России преждевременной: доводы княгини сразу поколебали убеждения, сложившиеся в уме философа еще двадцать лет назад. Те же мысли Дидро высказывал, вероятно, и впоследствии, в своих беседах с императрицей. А десять лет спустя граф Сегюр, наблюдая русских крестьян сквозь раззолоченные стекла придворной кареты, высказал оптимистическое мнение, что судьба их не оставляет желать ничего лучшего. В конце концов сама Екатерина уверовала в это. В примечаниях к книге Радищева, человека искренне либерального и, в противоположность Дидро, непоколебимых убеждений, имевшего наивность думать в 1790 году, что в России еще можно заниматься философией и горько поплатившегося за эту иллюзию, императрица старалась кому-то доказать, что ни в одной стране крестьяне не видят такого прекрасного отношения к себе как в России, и что нет более кротких и гуманных господ, нежели русские дворяне! Она говорила об этом, как о чем-то неоспоримом. Но, чтобы убедиться в несправедливости ее уверений, достаточно бросить хотя бы беглый взгляд на историю крестьянства в России, — историю, напоминавшую длинную летопись мучительства. Как на пример гуман-

ного обращения русских сановников со своими крепостными, граф Сегюр указывает в Записках на какую-то графиню Салтыкову. Но он выбрал чрезвычайно неудачное имя. Как раз другая Салтыкова, Дарья, возбудила большие толки в первые годы царствования Екатерины своим процессом, ставшим знаменитым. Ее обвиняли в убийстве ста тридцати восьми крепостных обоего пола, которых она замучила утонченными пытками. Судебное следствие установило насильственную смерть семидесяти пяти жертв, в том числе маленькой двенадцатилетней девочки; остальные остались под подозрением. И, несмотря на то, что народная совесть взывала к отмщению, – воспоминание о страшной Салтычихе до сих пор живет в народе, – Екатерина не решилась осудить по заслугам женщину-зверя. Более или менее невольные ее соучастники, – священник, хоронивший ее жертвы, и лакеи, засекавшие их, – были биты кнутом на одной из площадей Москвы; но самое Салтыкову приговорили лишь к пожизненному, правда, тяжелому заключению. Впрочем, и на это надо было смотреть, как на известный прогресс: в царствование Елизаветы и Петра III такие же преступления, совершавшиеся на глазах у всех, оставались совершенно безнаказанными. И крестьяне, жаловавшиеся на своих помещиков, добивались лишь того, что их, как доносчиков, присуждали к плетям.

Положим, дело Салтычихи было исключительное; но нравы дворян и в массе оставались очень жестоки. Право поме-

щиков подвергать своих крепостных телесному наказанию ни в чем не ограничивалось законом. Кроме того, они могли ссылать их в Сибирь. Это был удобный способ заселять безлюдные пустыни далекого края, и Екатерина еще дополнила это право, дозволив дворянам приговаривать крестьян не только к ссылке, но и к каторжным работам. К факту же убийства крепостных владельцами юстиция Екатерины относилась довольно разнообразно. В 1762 году сенат присудил к ссылке помещика, засекшего крестьянина до смерти. Но в 1761 году за такое же преступление было назначено только церковное покаяние. Сохранился характерный документ: список наказаний, которым подвергались за 1751 и следующие года крепостные графа П. Румянцева. Читать его тяжело, – это какой-то уродливый и коварный бред. Горничную, вошедшую в спальню господ, когда они еще спали и разбудившую их, высекли за это «нешадно» и присудили к лишению имени, все должны были называть ее позорной кличкой, под страхом пяти тысяч ударов розгами (это не ошибка: так и стоит «пять тысяч»). Впрочем, пять тысяч розог нельзя считать высшей мерой наказания. В имениях графа Румянцева применялось своеобразное уложение о наказаниях, присуждавшее и к более тяжелым карам. Но, с другой стороны, в нем предусматривалось также и то, чтоб эти наказания не влекли за собой убытка владельцу, лишая его на продолжительное время услуг избитого раба. «Впредь ежели кто из людей наших высечется плетьюми на дровнях, – читаем мы, –

и дано будет сто ударов, а розгами дано будет 17000 (sic), таковым более одной недели лежать не давать... а кто сверх того пролежит более, за те дни не давать им всего хлеба, столового запаса и указанного всего же».

Румянцовское «уложение о наказаниях» сохранило свою силу и в царствование Екатерины. И повсеместно по России происходило то же. Среди бесчисленных и противоречивых законодательных опытов Екатерины было только два акта, относящихся к положению крепостных, но оба закона сваливались только новым бременем на крестьянскую массу. Во-первых, запретив подавать челобитные непосредственно на свое имя, Екатерина отняла у крестьян последнее пристанище, – правда, не очень надежное, – где они могли бы еще найти себе спасение от отвратительных злоупотреблений господ. Но теперь жалобщиков отсылали назад к помещикам, т.е. к их же палачам; кроме того, за жалобы их подвергали наказанию кнутом. В 1765 году указ сената заменил кнут плетью и каторжными работами. Французский художник Велли, которому было поручено написать портрет императрицы, чуть было не испытал на себе в 1779 году этого нового закона, подав во время одного из сеансов какое-то прошение Екатерине. Потребовалось дипломатическое вмешательство, чтоб спасти несчастного француза от стряшейся над ним беды. Что же касается крепостного права, как такового, то царствование Екатерины ознаменовалось лишь тем, что она ввела общее для всей России положение о крестья-

нах и в те губернии, которые принадлежали когда-то Польше, и таким образом свободных крестьян превратила в рабов.

Сохранился рассказ, будто Дидро, беседуя однажды с Екатериной, с брезгливостью говорил ей о нечистоплотности мужиков, которых ему пришлось видеть в окрестностях Петербурга; императрица ответила ему на это: «К чему они будут заботиться о теле, которое принадлежит не им?» Это горькое слово, если только оно действительно было произнесено, ярко освещает то положение вещей, с которым должны были в конце концов примириться гуманитарные мечты Екатерины.

В «С.-Петербургских Ведомостях» за 1798 год (№ 36), рядом с предложением купить голштинского жеребца, напечатано объявление о продаже нескольких экземпляров «Наказа комиссии о составлении проекта нового уложения», сохранившихся в академической типографии, а еще ниже мы читаем следующие строки:

«Пожилых лет девка, умеющая шить, мыть, гладить и кушанья готовить, продается за излишеством (следует адрес)... там же есть продажные, легкие, подержанные дрожки».

Или: «Продается за сходную цену семья людей: муж искусный портной, жена повариха; при них дочь 15 лет, хорошая швея, и двое детей 8 и 3 лет и пр.»

Это итог того, что Екатерина, как законодательница, заве-

щала своему преемнику.

Но как ни недостаточно, неполно и непоследовательно было сделано ею в этой области, царствование ее надо все-таки считать эпохой в истории национального развития в России. Своими указами, грамотами и всевозможными инструкциями, которые нагромождались одна на другую и издавались всегда как-то случайно, где вопросы гражданского и уголовного права, административного управления и судопроизводства смешивались все вместе, в одну кучу (как, например, в ее знаменитом «Учреждении об управлении губерний» 1775 года, а также в «Жалованной грамоте дворянству» и в «Городовом положении» 1775 года), Екатерина, несмотря на отсутствие «творческого ума», как она сама в том признавалась, сумела создать ту форму, в которую вылилась вся общественная и экономическая жизнь России и которая оказалась долговечной: русское государство пребывало в ней очень долго, вплоть до царствования Александра II. И в общем, в особенности, если сравнивать с тем, что было до Екатерины, ее законодательная деятельность является несомненным шагом вперед.

III. Судебное ведомство. – Смелые преобразования. – Избирательный принцип. – Смягчение наказаний. – Плетни. – Екатерина в роли верховного судьи.

Что касается судебных реформ Екатерины, то многие из них были тоже не обоснованы, бесплодны и случайны, но другие пережили ее царствование, и на них, бесспорно, лежит отпечаток ее смелого и предприимчивого ума. Избирательный принцип, введенный в состав всех видов суда, право тяжущихся быть судимыми лишь равными себе по званию, – все это были нововведения Екатерины, вызвавшие в свое время большие споры, да и действительно очень спорные по существу, но оставшиеся в силе почти целое столетие, исчезнувшие лишь при учреждении суда присяжных в царствование императора Александра II. Среди современников Екатерины иностранец Мерсье де-ла-Ривьер говорит о судебных преобразованиях Екатерины восторженно; другой же русский по происхождению. Записки которого нам приходилось цитировать (Винский), отзываясь о них несравненно строже. По его словам, единственное, к чему они привели, – это то, что вместо прежних 50 судей теперь на Руси их стало 326.

«Но грубый хлебопашец скоро почувствовал от себя перемены невыгоды, – прибавляет Винский, – поелику вместо трех баранов в год должен возить их до пятнадцати в город».

Может быть, это различие в оценке происходило от рокового противоречия, – оно бросилось в глаза и самой Екатерине, – между началами справедливости, к которым стремилась императрица, и их применением на практике, при котором встречалось так много «неправильности и бесчестно-

сти», как выражалась она.

Екатерина приложила также много стараний и к тому, чтобы ускорить безнадежно медлительное русское судопроизводство. В 1769 году московский купец Попов, измученный бесконечной судебной волокитой, воскликнул в отчаянии во время заседания суда: «Нет правосудия в государыне!» Когда Екатерине доложили об этом, она велела вычеркнуть дерзкие слова Попова, занесенные в протокол, но при этом приказала, чтобы дело его было окончено в кратчайший срок «дабы он видел, что есть правосудие».

Старания императрицы были, бесспорно, похвальны, но, к сожалению, приносили мало пользы. Административная машина России была слишком громадна, чтобы рука одного человека, даже такая энергичная, как рука Екатерины, могла ускорить ход ее тяжелых колес. Французские судохозяева, которые потерпели убытки при первой турецкой войне, и которым русское правительство обязалось возместить их, еще и в 1785 году не могли добиться в Петербурге следуемых им денег. Граф Сегюр, взявшийся хлопотать за них, писал, что он мог для них сделать только то, что прежде их дело откладывали с недели на неделю, а теперь откладывают изо дня в день. Он прибавлял:

«Что касается лиц, имеющих здесь частные долги, то я, конечно, готов служить им, чем могу, но заранее обещаю и полный неуспех. И английский посланник и я, мы оба печальным опытом пришли к убеждению, что здесь невозмож-

но получить деньги по самому бесспорному обязательству, если должник не захочет платить. Законы против должника, но подкупность судей, бездеятельность судов, общие обычаи и примеры стоят за него. Императрица рассматривает в настоящее время дело господина Прори из Лиона, а должник во всеуслышание говорит, что если и возможно решить процесс не в его пользу, то зато совершенно невозможно заставить его заплатить. Эта непостижимая небрежность в исполнении указов, имеющих отношение к долгам, объясняется повальным разорением состоятельных людей этой страны: у них у всех расстроены дела, и они защищают мошенничество русских купцов, которые зато их поддерживают».

Своим правом верховного судьи Екатерина пользовалась нередко, чаще всего, чтобы смягчить крайнюю жестокость судебных приговоров того времени; мы уже указывали на это выше. Она любила хвалиться, что не подписала за все царствование ни одного смертного приговора. Это не помешало ей, впрочем, послать на эшафот Пугачева, а до него – Мировича. Но в этих случаях Екатерина прибегала к особой уловке: находя, что государственные преступления их обоих были прямым посягательством лично на нее, она отказалась от своей прерогативы верховного судьи для того, чтобы не быть, – как она говорила, – и судьей и заинтересованной стороной в одно время. Но в общем она всегда стремилась заменять ссылкой смертную казнь и даже розги и кнут. Впрочем, случалось, что она допускала наказание кнутом, и иногда не

в виде кары, но просто как средство понуждения, чтобы вырвать у преступника признание. А нужно знать, что представлял из себя этот род пытки. Кнут – это бич, заканчивающийся ремнем, кожа которого приготавливалась особым способом и совмещала гибкость резины с твердостью стального острья. В руках опытного палача, широко размахивавшего рукою, чтобы ударить с большей силой, этот ремень рассекал тело и каждый удар оставлял глубокую рану, проникавшую до кости. Сто ударов считались максимумом, дальше которого сопротивляемость, т.е. жизнь осужденного, даже одаренного исключительной силой, не могла держаться. Но обыкновенно после десяти-пятнадцати ударов несчастный терял сознание, и палач продолжал бить уже труп. Ловкость этого палача, которого так и называли заплечным мастером, состояла в том, чтобы кровавые рубцы на спине жертвы укладывались аккуратно один рядом с другим, не оставляя ни куска живого тела. Прежде, чем ударить, палач кричал: «поберегись!» – и эти слова звучали отвратительной иронией. В застенке же, где производились дознание и пытка, наказание кнутом соединялось обыкновенно с дыбой: осужденного били, вздернув предварительно на воздух, причем он висел на руках, связанных у него за спиной, что вызывало неизбежный вывих сочленений и нестерпимую боль.

Мы знаем, что Екатерина была горячим противником пытки. Однако во время процесса о поджогах, тянувшегося с 1765 до 1774 года, обвиняемых пытали три раза.

Существует предание, – проверить его мы не имеем возможности, – о том, как рассудила Екатерина одно дело, которое можно было бы назвать сенсационной, романической драмой. Оно было чрезвычайно сложно. Молодая крестьянка, дочь богатых родителей, полюбила бедного парня. Застигнутая отцом врасплох, она поспешила спрятать любовника под перину их общей семейной постели. В то время даже зажиточные крестьяне спали – и дети и родители – все вместе, вповалку, на одной кровати. Отец лег спать и задушил несчастного. В эту минуту пришел неожиданно сосед. Ему рассказали, в чем дело; он взялся скрыть труп и бросил его в море. Но за это он потребовал, чтобы девушка ему отдалась. У нее родился ребенок; он утопил и его. Потом он стал нуждаться в деньгах; чтобы достать их ему, она обкрадывала отца. Наконец он заставил ее пойти с собою в кабак, чтобы потешиться перед всеми ее позором. Она пошла, но, выйдя оттуда, подожгла трактир, который сгорел со всеми гостями. Ее арестовали. Она обвинялась в воровстве, детоубийстве и поджигательстве. Суд признал ее виновной. Но Екатерина ее помиловала. Она ограничила ее наказание церковным покаянием.

IV. Администрация. – Деятельность Екатерины. – Недостаток последовательности. – Препятствия, на которые наталкивалась воля царицы. – Как в Москве создавали боль-

ных чумою. — Донесение французского инспектора полиции Лонпре. — Пророчество Дидро.

Но наиболее энергической и до известной степени плодотворной была деятельность Екатерины в области административной, в тесном смысле этого слова. Здесь Екатерина входила положительно во все. Она оставила даже обширный труд об учреждении новых фабрик. Но при этом, в 1783 году занялась реформой костюма придворных дам и кавалеров, желая сделать его менее дорогим: и эта мера не могла быть в интересах владельцев мануфактур. Если верить рассказу графа Головина в его Записках, Елизавета запрещала красавице Нарышкиной носить фижмы, для того, чтобы стройность и грация ее стана не затмевали красоту самой императрицы. По менее личным побуждениям Екатерина тоже прибегала иногда к законам против роскоши, и великая княгиня Мария Федоровна, вернувшись из Парижа, принуждена была отослать, не распаковывая, все те чудеса, что приобрела себе у знаменитой *mademoiselle* Бертэн. В общем, несмотря на всю энергию и доброе желание Екатерины, ее деятельность по внутреннему управлению России носила характер той же непоследовательности, отрывочности, того же непонимания сущности явлений, своеволия, чего-то случайного, как и везде.

«В этой стране учреждают слишком многое за раз, — писал граф Сегюр в 1787 году, — беспорядок, связанный с поспеш-

ностью выполнения, убивает большую часть гениальных начинаний. В одно и то же время хотят образовать третье сословие, развить иностранную торговлю, открыть всевозможные фабрики, расширить земледелие, выпустить новые ассигнации, поднять цену бумаге, основать города, заселить пустыни, покрыть Черное море новым флотом, завоевать соседнюю страну, поработить другую и распространить свое влияние по всей Европе. Без сомнения, это значит предпринимать слишком многое».

К тому же Екатерине приходилось бороться с непреодолимыми препятствиями. В первый год своего царствования она обратила внимание на то, что в сенате, где разбирались самые сложные вопросы внутренней жизни страны, не было даже географической карты, так что судьба далеких городов решалась заочно, и сенаторы не знали иногда, где эти города стоят: вблизи Черного или Белого моря? Екатерина сейчас же послала в академию наук купить карту за пять рублей, которые дала от себя. Она всеми силами старалась бороться с бесчисленными и почти невероятными злоупотреблениями, встречавшимися одинаково во всех отраслях управления. В этом отношении Россия многим обязана Екатерине, хотя искоренить все зло оказалось все-таки не по силам ей. Однажды она отправила в Москву гвардейского офицера Молчанова для расследования дела о взяточничестве, о котором ей доложили. Чтобы выехать из Петербурга, Молчанову потребовался паспорт. Россия и во времена Екатерины

была классической страной паспортов. И пока офицер ходил из канцелярии в канцелярию, чтобы добиться необходимой бумаги, прошло целых три дня, и провинившиеся в Москве чиновники успели спрятать концы в воду. Цинический подкуп и взяточничество царили на всех ступенях административной лестницы. В 1770 году, когда в Москве свирепствовала чума, полиция вошла в особое соглашение с военными лекарями, чтобы обирать богатых купцов: намеченную жертву объявляли заболевшей чумою; для осмотра являлся врач и натирал купцу руки ляписом; вскоре на руках у купца появлялись, естественно, черные пятна, и мнимого чумного отправляли в карантин: если он не успевал откупиться, то отсутствием его пользовались, чтобы разграбить его дом. По достоверному свидетельству инспектора полиции Лонпре, присланного из Парижа в 1783 году по одному судебному делу, в Петербурге было то же вопиющее беззаконие: улицы или вовсе не охранялись, или охранялись плохо, пожары беспрестанно уничтожали в городе громадные кварталы и т.д. Около того же времени английский посланник Гаррис рассказывает про случай с одним из его соотечественников: вооруженные воры ограбили англичанина на большую сумму, и он тщетно старался заинтересовать своим несчастьем низших полицейских чинов; тогда он решился отправиться к самому полицмейстеру, но в семь часов утра застал его раскладывающим пасьянс засаленной колодой карт.

Из учреждений, основанных Екатериной, одним из са-

мых долговечных, благодетельных и хорошо задуманных был воспитательный дом для покинутых детей, открытый в 1763 году. Ему были дарованы исключительные привилегии и льготы: освобождение от податей и натуральных повинностей, право собственного суда и полицейского надзора, личная свобода всем его питомцам, а также всем служащим, посвятившим ему свои труды, монополия на лотереи, часть доходов с театров и т.д. На содержание воспитательного дома императрицей было пожаловано пятьдесят тысяч рублей, а громадные здания его были выстроены на счет филантропа Прокофия Демидова. Первым его директором был назначен Бецкий, отдавший ему все свое состояние (около 2 миллионов франков) и двадцать лет неусыпных забот. Изданное в 1775 году сочинение Бецкого под заглавием: «Собрание учреждений и предписаний касательно воспитания в России обоего пола благородного и мещанского юношества» дает возвышенное представление об этом создании Екатерины. Дидро, наблюдавший в Гааге за переводом и печатанием книги Бецкого, предпослал ей следующие строки: «Когда время и твердость этой великой государыни доведут их (эти учреждения) до степени совершенства, им доступной и уже достигнутой некоторыми из них, то Россию будут посещать, чтобы изучать их, как посещали прежде Египет, Македонию и Крит, но любопытство путешественника, смею я думать, будет на этот раз более обосновано и лучше вознаграждено».

За последнее время многие иностранцы действительно

приезжают в Россию. Правда, не совсем с той целью, о которой пророчествовал Дидро. Но, может быть, предсказание его еще исполнится в будущем.

V. Финансовая политика Екатерины. – Откуда брались деньги? Ассигнации и займы. – Невозможность банкротства или революции. – Кредит России безграничен. – Особенная экономическая теория. – Ее оправдание. – Ее результаты. – Опять Посошков.

В административной деятельности Екатерины была одна сторона, которая представляет загадку, не поддающуюся разрешению: это – ее финансовая политика. В каком состоянии были финансы России при восшествии Екатерины на престол, видно из ее дневника или записки, от которой уцелел, к несчастью, лишь отрывок:

«Я нашла сухопутную армию в Пруссии, за две трети жалования не получившею. В статс-канторе именные указы на выдачу семнадцати миллионов рублей не выполненные. Монетный двор со времени царя Алексея Михайловича считал денег в обращении сто миллионов, из которых сорок миллионов почитали вышедшими из империи вон. Почти все отрасли торговли были отданы частным людям в монополии. Таможни всей империи сенатом даны были на откуп за два миллиона... Блаженная памяти государыня Елизавета Пет-

ровна во время Семилетней войны искала занять два миллиона рублей в Голландии, но охотников на тот заем не явилось, следовательно кредита, или доверия к России не существовало. Внутри заводские и монастырские крестьяне почти все были в явном непослушании властей, и к ним начинали присоединяться местами и помещичьи...»

Это был режим, который застал еще Петр I, вступив на престол, но которого он не пытался изменить; режим этот зависел от целого ряда идей и преданий, завещанных России со времен татарского ига азиатскими обычаями: он заключался не только в выколачивании из мужика последней копейки, но в открытом грабеже всех народных богатств страны. Мы характеризовали его следующими словами в статье, написанной несколько лет назад и посвященной финансовому положению великого государства:

«Податью было обложено все, что только можно обложить ею, даже длинные бороды мужиков, которые должны были платить за право въезда за городскую заставу! Собирали эти подати огнем и мечом, при помощи военных экзекуций и утонченных пыток, выработанных опытом многих веков. Но так как казна оставалась все-таки пустою, то доходы ее были отданы на откуп, продавались или разыгрывались в лотерею. Как последнее отчаянное средство, решили за часть принять целое, облагаемый податью предмет за самую подать и учредили в 1729 году канцелярию конфискованных имений».

Как же отнеслась Екатерина к этому порядку вещей? Вна-

чале она пыталась помочь делу паллиативами. Она отдала в распоряжение государства «собственные комнатные деньги». Потом старалась исправить по возможности механизм государственного хозяйства. Главный недостаток его заключался в отсутствии единства: финансы империи находились в руках различных учреждений, независимых одно от другого, причем каждое считалось только со своими интересами, – они имели между собою лишь то общее, что все наперебой грабили казну. Екатерина по возможности объединила и централизовала эти ведомства. Отдельные реформы, уничтожение монополий и привилегий, принадлежащих некоторым купеческим обществам, отмена таможенного откупа, – все это немного увеличило доходы государства. Но в общем они стояли еще очень низко: они не превышали 17 миллионов рублей. А между тем этот доход должен был соответствовать политике Екатерины, которая стремилась к тому, чтобы Россия не уступала ни в чем великим европейским державам, ни Франции с ее бюджетом в полмиллиарда франков, ни Англии с бюджетом в 12 миллионов фунтов стерлингов. Впрочем, и это казалось Екатерине мало: она хотела не только сравняться со своими соперниками на Западе, но и превзойти их! Ей хотелось, чтобы ее многочисленные внешние предприятия, пышность ее двора, подарки, которые она щедрою рукой раздавала толпе своих поклонников в Европе, – а их было там так много, – золото, лившееся широким потоком на ее фаворитов, – чтобы все это затмило век ве-

ликого короля, Короля-Солнца, блистательное царствование которого не давало ей спать.

И ей почти удалось это! Одна первая турецкая война стоила ей 47 с половиной миллионов. А после небольшого промежутка в несколько лет великие войны следовали уже непрерывно одна за другой до самой смерти Екатерины: завоевание Крыма, вторая турецкая война, война со Швецией, раздел Польши, Персидский поход и т.д. Внутренняя жизнь государства требовала со своей стороны не менее расходов. На двор, при беспорядке и грабеже, царивших повсюду, уходили громадные суммы. Содержание одного петергофского дворца за время от 1762 до 1768 года стоило, как стояло в росписи расходов, – 180.000 рублей, но когда Екатерина приехала в Петергоф в июне 1768 года, то нашла дворец в полном запустении. Деньги, очевидно, пошли на что-то другое. В 1796 году Екатерине приходилось иметь дело с бюджетом уже около 80 миллионов рублей. И она сумела найти для него деньги! Она платила за все и всем: и за обучение Алексея Орлова во флоте Архипелага, и за безумства Потемкина, и за энтузиазм Вольтера. Золото так и таяло у нее в руках, а между тем она никогда не имела в нем недостатка, или, по крайней мере, делала вид, что оно у нее есть. Но как она достигла этого? Каким колдовством? Объяснить это легко, но для того, чтобы понять это объяснение, надо знать одну тайну, проникнуть в которую сумела Екатерина своим ясным умом или своим гениальным инстинктом. Было бы странно, если б

в борьбе с финансовыми затруднениями, о которых мы говорили выше, правительству России не пришло в голову средство, оказавшееся, правда, очень разорительным на практике Западной Европы, но которое должно было тем не менее сильно соблазнять умы. Действительно, вступив на престол, Петр III сейчас же издал указ об учреждении банка и о выпуске бумажных денег на 5 миллионов рублей. Эта идея императора вначале не понравилась Екатерине. Она не видела ничего хорошего в ассигнациях, в значении которых не отдавала себе вполне ясного отчета. Но в 1769 году турецкая война заставила ее подавить в себе эти сомнения. С тех пор и было найдено орудие финансового могущества Екатерины, та волшебная сила, которая с 1769 года создавала счастье и славу великой государыни, поддерживала колоссальную работу ее царствования и давала ей средства для расточительности. За двадцать семь лет Екатерина выпустила ассигнаций на 157.700.000 рублей. Если прибавить к ним еще круглые суммы в 47.739.130 и 82.457.426 рублей – внешние и внутренние займы, заключенные за это же время, – то получается общий итог в 287.896.556 рублей, т.е. около полутора миллиардов франков государственного долга. Вот откуда Екатерина доставала деньги.

Но у читателя, вероятно, уже мелькнула при этом мысль, что ведь система Екатерины – не исключительное явление в истории современной Европы. Бесспорно, не Петр III изобрел ассигнации, и не одна Екатерина пользовалась ими. Но

только всем известно, к чему привела эта система в других странах: банкротство, уродливое банкротство, о котором говорил Мирабо, было приговором над народными иллюзиями, скрепленными печатью правительства, а вскоре и само это правительство должно было предстать перед судом общества и признать себя несостоятельным перед надвигающейся революцией. А в России – в этом и заключается особенность, колдовство и таинственный секрет Екатерины, о котором мы говорили выше, – о банкротстве не было и речи ни в царствование самой императрицы, ни при ее приемниках. Да его и не могло быть по очень простой причине: оно произошло во Франции оттого, что злоупотребление кредитом привело к более или менее скорому, по роковому истощению наличного капитала и недвижимостей, служивших залогом для выпуска бумажных денег и для займов. А в России этого не случилось, как не может случиться и теперь, потому что этот залог, т.е. та единственная гарантия, на которую опирается и внутренний, и внешний кредит страны, в ней неистощим. Гарантия эта не имеет в России границ, по крайней мере материальных. И до сих пор казалось, что она не имеет их и в моральном отношении. Если России и приходилось переживать иногда трудные минуты, то это выражалось лишь в том, что источники, откуда черпает свои средства государство, временно сокращались, но они никогда не иссякали вовсе. Но что же служит в России этим волшебным залогом? Живший при Петре I полудиккий философ

Посошков, в необработанном, но очень глубоком уме которого уже вставали все эти проблемы, дает ему такое определение на своем образном языке. Он говорит, впрочем, не об ассигнациях, а о чеканке денег: «Мы не иноземцы, не медь цену исчисляем, но имя Царя своего величаем; нам не медь дорога, но дорого Его царское именование. Того ради мы не вес в них (монетах) числим, но исчисляем начертание на ней... И того ради мы не серебро почитаем, ниже медь ценим, но нам честно и сильно именование Его Императорского Величества; у нас столь сильно Его Пресветлого Величества слово, ащеб повелел на медной золотниковой цате положить рублевое начертание, то бы она за рубль и в торгах ходить стала во веки веков неизменно».

Вся теория общественного кредита, как она применялась в эпоху Екатерины, и как она применяется в России и в наши дни, заключается в этих словах. На ней была основана и финансовая политика Екатерины. И именно благодаря тому, что императрица усвоила себе эту теорию, сумела осуществить ее и пользовалась ею безгранично, рассчитывая на неизменную покорность своих подданных, — она и могла совершить великие деяния своего царствования. То слепое доверие, которым она пользовалась внутри своего государства, невольно передалось дальше, и кредит, не имевший за собой в сущности реального основания, перешел за пределы России; деньги привлекли новые деньги, и к поборам, собственным внутри страны, прибавились займы, взятые за гра-

ницей. В то же время эти искусственно созданные средства дали толчок производительности России и увеличили таким образом самые источники народного богатства.

«Было бы ошибочно, – писали мы в 1885 году, – смотреть на эту политику, как на результат случайной аберрации. Вернее считать ее присущей духу того народа, в котором она зародилась; во всяком случае она, несомненно, опиралась на нечто прочное и непреходящее, потому что до сих пор еще руководит финансовыми судьбами великой империи. Петр III одним почерком пера создал банк, не имевший ни основного капитала, ни металлического фонда, ни какого-либо другого обеспечения. Но банк обошелся без этого, как обходился без этого и впоследствии...» Но нужно признать, что в основании этой политики лежит не только идея безграничной власти монарха. Ведь государь, изображение которого выбито на обороте серебряного рубля или золотого империала, является представителем, державным воплощением народного богатства. И это богатство, которого никогда не измеряли и которое и измерить нельзя, тоже рисуется воображению народа, как что-то неисчислимое. Это оно, в сущности говоря, служит залогом под бумажные деньги и государственную ренту. Масса народа верует в него, как и во власть царя. И, благодаря этой вере, Россия и могла стать вне тех законов и условий развития, которым подчиняется везде экономическая жизнь как отдельных людей, так и целых народов. Финансовая политика России могла при этом не толь-

ко существовать и развиваться в указанном выше направлении, но и держаться на высоте, совершенно не соответствовавшей действительным силам государства. Опасность чрезмерного выпуска ассигнаций, вызвавшая во Франции банкротство Ло и заставлявшая парижан, любивших покушать, платить в III году первой республики по 3.000 франков за обед, – заключается в том, что общественное доверие к правительству может поколебаться. А в России это доверие не колебалось никогда. Оно не поколеблено и до сих пор, потому что его крепко сплели с верою в самую судьбу великого государства. Русское правительство обращалось, собственно говоря, не к доверию, а к легковерию общества, и потому-то оно и могло уклониться от законов, которые управляют операциями, основанными на кредите. Но чудовищные злоупотребления, вызвавшие небывалое накопление бумажных денег, заставили его все-таки считаться с другими законами, – которых, правда, было труднее избежать, – с законами, регулирующими отношение между спросом и предложением; ему пришлось иметь также дело – что было опаснее – и с вмешательством иностранных элементов, как с неизбежным последствием сношений с финансовыми системами соседних стран. Но народное доверие и тут не пострадало. Впрочем, правительство России сумело выйти из затруднения, изъяв из обращения часть накопившихся ассигнаций, но сейчас же выпустил новые. Народное доверие выдержало и это испытание. В 1843 году, когда ассигнации были заменены кредит-

ными билетами, стоило обратиться к обществу с воззванием и пустить в ход довольно искусно составленную рекламу, чтобы полиции пришлось сдерживать силою толпы народа, валившие в банки: все спешили выменять звонкую, Полновесную монету на пачки зеленых бумажек. В народе ходил слух, что золото и серебро потеряют теперь свою ценность, и что только бумажки сохранят ее. И такой слух встречал всюду полную веру!

«Приехав сюда, – писал граф Сегюр из Петербурга в 1786 году, – надо забыть представление, сложившееся о финансовых операциях в других странах. В государствах Европы монарх управляет только делами, но не общественным мнением; здесь же и общественное мнение подчинено императрице; масса банковых билетов, явная невозможность обеспечить их капиталом, подделка денег, вследствие чего золотые и серебряные монеты потеряли половину своей стоимости, одним словом все, что в другом государстве неминуемо вызвало бы банкротство и самую гибельную революцию, не возбуждает здесь даже тревоги и не подрывает доверия, и я убежден, что императрица могла бы заставить принимать, в виде монет, кусочки кожи, если бы она это приказала». Того же убеждения держался, как мы видели, и Посошков. В царствование Екатерины русским финансам пришлось пережить несколько очень тяжелых лет. В 1783 году, по случаю рождения внука, императрица подарила великой княгине Марии Федоровне 50.000 и великому князю Павлу 30.000

рублей, но когда их высочества послали получать деньги, то оказалось, что казна пуста. Гарновский, доверенный Потемкина, рассказывает в своих Записках, что когда в 1788 году его патрону потребовалась относительно небольшая сумма золотом для расходов в Крыму, то он выбился из сил и должен был обегать весь город, чтоб собрать 80.000 червонцев. Были минуты, когда курс бумажного рубля падал на 50%. В 1773 году, беседуя как-то с Екатериной, Фальконэ рассказал ей о предложении одного финансиста продать ей способ, как заработать 30 миллионов в четыре месяца без великого труда. Екатерина остроумно ответила на это: «Я имею обыкновение говорить изобретателям золота и проектов для добывания денег: господа, делайте деньги для самих себя, чтобы не быть вынужденными просить милостыню». Но она все-таки заинтересовалась, в чем состоит секрет финансиста. 30 миллионов были бы ей очень кстати! Впрочем, на Крым она спокойно истратила в то же время вдвое, а на вторую турецкую войну втрое больше, и эта война вдобавок еще почти ничего не принесла России.

VI. Армия. – Военный дух и фаворитизм. – Дезорганизация. – Екатерина портит дело, завещанное Петром I. – Полки, доставляющие доход своим командирам. – Русский солдат. – Победа дешевой ценой. – Заключение.

О положении армии в царствование Екатерины сказать почти нечего. Царствование это было очень воинственным, но оно не благоприятствовало развитию милитаризма и воинского духа. Воинский дух живет дисциплиной, чинопочтением и честолюбием. А назначая Алексея Орлова адмиралом флота и Потемкина главнокомандующим, Екатерина мало поощряла эти чувства. В 1772 году на Фокшанском конгрессе Григорий Орлов, никогда не видавший поля сражения, вздумал было обращаться, как с подчиненным, с победителем при Кагуле, Румянцовым, и командование армией действительно чуть было не перешло к всесильному фавориту. Вскоре Румянцову пришлось столкнуться с новым соперником и на этот раз уступить свое место заменившему Орлова временщику. И за то время, когда Румянцов уже ушел, а Суворов еще не явился, русская армия находилась в очень неумелых руках. Но все знают, как сражается доблестный и терпеливый русский солдат, в царствование Екатерины ему к тому же приходилось драться или с турками, которые, еще не вступая в бой, были, так сказать, выведены из строя европейской тактикой, или с поляками, которые, как и турки, с точки зрения военного искусства тоже отстали на два столетия. С дисциплинированными же войсками Западной Европы Екатерина старательно избегала столкновения. Когда она попробовала было помериться силами со Швецией – жалким противником в сравнении с громадной Россией, – то ей пришлось сильно пожалеть об этом. В остальных же войнах по-

беда доставалась ей дешевою ценою, по выражению принца Генриха Прусского. Но несомненно, что ее личная энергия и отвага немало помогли победам ее знамен.

Люди опытные и осведомленные обвиняли Екатерину в том, что в отношении своем к войсковой администрации она испортила дело, завещанное Петром Великим. Екатерина издала в 1763 году указ, по которому полковое хозяйство отдавалось всецело в руки командиров. Петр же назначал для заведывания довольствием армии особых инспекторов, бывших чиновниками или главного комиссариата, или центрального интендантского управления. Отменив этот порядок, Екатерина вызвала страшные злоупотребления. По расчету графа Сегюра, наличный состав русской армии равнялся в 1785 году приблизительно пятистам тысячам человек, из которых двести тридцать тысяч составляли правильное войско. Сегюр оговаривается однако, что беспорядок, царивший во всех военных канцеляриях, мешал ему навести более точные справки; русским же официальным цифрам доверять было невозможно. При этом он прибавлял: «Несколько полковников признались мне, что они каждый год получают от трех до четырех тысяч рублей дохода со своих пехотных полков, а кавалерийские полки дают командирам до 18.000». Граф Верженн около того же времени писал со своей стороны: «Русские эскадры не завоевывают себе славы, удаляясь от Балтийского моря. Та, что плавала последней в Средиземном море, оставила по себе добрую память. Ливор-

но жалуется особенно на офицеров, которые много тратили и мало платили».

Заканчивая главу о внутренней политике Екатерины, можно сказать, что она предприняла и начала здесь многое и ничего или почти ничего не довела до конца. По складу своего характера она смело шла вперед, никогда не оглядываясь на то, что оставляла за собой. А оставила она за собой много развалин.

«Еще до смерти Екатерины, – замечает один писатель, – большая часть памятников ее царствования представляла уже обломки».

В Екатерине сидел какой-то демон, который толкал ее вперед, все вперед, не давая ей ни жить настоящей минутой, ни даже наслаждаться достигнутым результатом, когда дело было ею случайно доведено до конца. Может быть, это был просто демон честолюбия, и честолюбия, бывавшего порой мелочным и ничтожным. Одобрив, например, план какого-нибудь строения и заложив здание, Екатерина обыкновенно сейчас же выбивала в ознаменование этого события медаль, но как только медаль эта была готова и положена у нее в кабинете, она переставала интересоваться постройкой. Так было и со знаменитым мраморным собором, начатым ею в 1780 году, да так и не законченным и через двадцать лет.

Глава третья

Внешняя политика

I. Общйй характер политики Екатерины. – Миротлюбивые намерения первых лет. – Причины, побудившие Екатерину от них отказаться. – Письмо графа Воронцова к Александру I. – Новые стремления императрицы. – Воинственная и завоевательная лихорадка. – Личная инициатива. – «У императрицы нет больше министров». – Влияние темперамента и пола. – Государыня и женищина. – Преобразование в устройстве иностранной коллегии. – Заключение.

Знаменитый немецкий историк Зибель писал в 1869 году: «До настоящего времени нельзя коснуться ни одного жгучего вопроса в истории Германии, чтобы не натолкнуться на следы политики Екатерины II».

Нам кажется, что слова Зибеля можно справедливо отнести не только к Германии, но почти ко всей Европе. Очень честолюбивая, очень женственная, порой немного ребячливая, внешняя политика Екатерины была политикой всемирного распространения. А между тем начало ее царствования предвещало, по-видимому, совсем иное.

Вступив на престол, Екатерина заявила себя убежденной сторонницей мира; она была готова мирно сидеть у себя до-

ма под условием, чтобы ей там не мешали, избегать всяких столкновений с соседями и посвятить себя всецело благоустройству своего государства, которое представляло достаточно широкое поле деятельности для ее предприимчивого ума. Впрочем, даже с точки зрения международных отношений, эта политика вполне отвечала честолюбию императрицы: не отказываясь ни от одного из своих прав, она хотела в то же время поразить мир своим великодушием. Екатерина писала графу Кейзерлингу, русскому послу в Варшаве:

«Скажу вам совершенно откровенно, что моя цель поддерживать дружбу со всеми державами, и даже вступать в оборонительные союзы, чтоб иметь право становиться на сторону того, кого притесняют всего сильнее, и сделаться таким образом третейским судьей в Европе».

Очевидно, она еще не помышляла тогда о разделе Польши. Всякая мысль о завоеваниях была ей неприятна. Даже Курляндия не соблазняла ее. «У меня достаточно народов, чтоб делать их счастливыми, – говорила она, – и этот уголок земли ничего не прибавит к моему счастью». Она хотела заключить с Турцией договор вечного мира, сокращала или не противилась сокращению своих войск, не торопилась наполнять опустевшие за разорительные войны предшествующих царствований русские арсеналы. Она повторяла, что прежде всего надо привести страну в порядок и поправить финансы.

Что же заставило ее так быстро и бесповоротно отказаться от этих благих первоначальных желаний? В виде ответа на

этот вопрос мы приведем ценное свидетельство одного русского человека, составлявшего гордость этой страны и своим откровенным словом ярко осветившего темную сторону чудесного царствования Екатерины. Свидетельство это говорит также о том, что некоторые чувства, которые вызывают теперь в России такое враждебное к себе отношение, были когда-то не чужды ее лучшим сынам. Несколько лет спустя после смерти Екатерины Великой Семен Воронцов писал Александру I, только что вступившему на престол:

«Покойная императрица желала мира и желала, чтоб он был прочным... Все было рассчитано для этого... Это Пруссия... склонила графа Панина уничтожить благотворные реформы конституции Польши, чтобы легче завладеть этой страной. Это она убедила того же министра потребовать, чтобы польские диссиденты получили право занимать все государственные должности, что было невозможно исполнить, не употребив против поляков мер крайнего насилия. Эти меры и были приняты, вследствие чего образовались конфедерации, число которых тщательно скрывали от императрицы. Епископов и сенаторов арестовывали прямо в семье и отправляли их в ссылку в Россию. Наши войска вошли в Польшу, разграбили все, преследовали конфедератов даже в турецких владениях, и это нарушение международного права вызвало войну, которую турки нам объявили... Со времени этой войны и берут свое начало государственные займы за границей и выпуск бумажных денег внутри импе-

рии, два бедствия, от которых стонет Россия».

Таким образом, это Пруссия, желавшая обеспечить себе сообщничество России в своих видах на Польшу, толкнула политику Екатерины на путь опасных и незаконных предприятий, которые вскоре как сети опутали ее. Только мы думаем, что рано или поздно, но это неизбежно должно было произойти и независимо от нашептываний Пруссии. Екатерина с первой минуты восшествия на престол создала себе такое преувеличенное представление о своей власти, что не могла не поддаться искушению испытать на деле эту власть. Свою же историческую роль, как русской императрицы, она ставила так недостижимо высоко, что не находила нужным считаться с сомнениями своей человеческой совести. Когда в октябре 1762 года Датский двор предложил ей отказаться от опеки над великим князем Павлом в его правах на герцогство Голштинское, она дала Дании такой характерный ответ:

«Может быть, это исключительный случай, чтобы суверенная императрица была опекуншей сына над вассальным владением империи, но еще страннее, чтобы государыня, которая имеет наготове пятьсот тысяч человек для защиты опекаемого, позволила бы, чтобы ей говорили, что она не должна иметь дело с Schwerdt, который едва может содержать триста человек».

Несомненно также и то, что, вступая на путь, который увел ее так далеко от былых мечтаний о мирном и плодотворном труде, Екатерина не сознавала, куда идет: первые

победы опьянили ее, и, не отдавая себе в том отчета, как будто и даже против своей воли, она шла все дальше вперед, дойдя в конце концов до лихорадочного состояния непрерывных войн, походов и завоеваний, состояния, напоминавшего временами какое-то безумие, когда она не сообразовалась уже со своими силами и не прислушивалась к голосу осторожности и... чести. Маркиз Верак писал графу Верженну в 1782 году: «Здесь хватаются жадно и не разбирая дела за все, что может дать новую победу государству и царствованию Екатерины II. Здесь находят излишним считаться со средствами; начинают с того, что все приводят в движение...»

Хлопотать, все равно – о чем, действовать, все равно – где, и заставлять о себе говорить, все равно – какой ценой, к этому, по-видимому, и сводилась вся внешняя политика Екатерины, начиная с первой турецкой войны. Вера в «счастье» перешла у нее мало-помалу в твердое убеждение, что все ее начинания приведут непременно к новой славе и величию ее империи. «Счастье, венчающее все предприятия русских, – писал граф Верженн в 1784 году, – окружает их, так сказать, ослепительным сиянием, дальше которого они ничего не видят». Впрочем, было бы бесполезно требовать от смелой царицы, чтобы она подчиняла свою политику какой-нибудь системе или общему направлению. Она ответила бы на это: «обстоятельства, предположения и случайности». Что же касается до того, чтобы согласовать свои внешние пред-

приятия с законами высшей морали, гуманности или хотя бы международного права, то она об этом не думала вовсе. «Так же бесполезно говорить здесь о Пуффендорфе или Греции, – писал из Петербурга в 1770 году английский посланник Маркартней, – как в Константинополе о Кларке или Тиллотсоне».

Кроме того, руководя лично внешней политикой России, Екатерина невольно придавала ей свой нервный, горячий характер. Она занималась ею чрезвычайно усердно, особенно в первые годы царствования. Все бумаги по дипломатической переписке она хотела диктовать лично. Правда, вскоре она заметила, что это ей не под силу и что дело страдает от этого. Тогда она решила оставить в своем ведении только наиболее важные дела, а черную работу передала министру, т.е. графу Панину. Она писала графу Кейзерлингу 1 апреля 1763 года: «В будущем, надеюсь, тайну будут соблюдать лучше, так как все, имеющее секретный характер, я не буду сообщать никому. В прежние царствования, докладывая депеши русских послов за границей, государю передавали обыкновенно их содержание лишь вкратце. Но Екатерина пожелала, чтобы ей представляли подлинные донесения послов. Она сама читала их и делала к ним примечания. Заметки эти любопытны. Так, на полях депеши князя Голицына, ее посла в Вене, который извещал ее о том, что Венский и Версальский дворы подстрекают Порту к вмешательству в польские дела, она написала; „Он не от мира сего, потому что не зна-

ет тою, что знают уличные дети, или он не договаривает того, что знает“. Другой раз князь Репнин писал ей из Варшавы, что прусский посланник барон Гольц сказал ему как-то в беседе, что находит распоряжения своего государя, короля Пруссии, несогласными с интересами его подданных, хотя и вполне отвечающими интересам самого монарха. Екатерина сделала на этом донесении такую пометку: „Значит, у него есть другая слава, кроме блага его подданных? Это странности, которые для меня непостижимы“. В 1780 году, впервые посетив императрицу, Иосиф II увидел, как она работает, и был поражен ее неутомимостью. Впрочем, до этой встречи, сыгравшей в истории Екатерины такую решающую роль, Панин, стоявший во главе иностранной коллегии, сохранял на внешнюю политику России громадное влияние. Исключительно благодаря ему, и вопреки всем, даже против воли самой государыни, – Россия не разрывала союза с Пруссией. Но появление Иосифа произвело перепорот во взглядах Екатерины. Она отстранила министра и самостоятельно заключила новый союз, открывавший ей блестящие горизонты со стороны Черного моря. Вскоре Панин потерял всякое значение. Екатерина пришла к убеждению, что ей достаточно иметь во главе иностранной коллегии просто чиновника, который слепо исполнял бы ее волю. И она нашла его в лице Безбородко. „Собственно говоря, у императрицы нет больше министра“, писал маркиз Верак в сентябре 1781 г.

Но эта личная политика, несмотря на всю силу ума и глав-

ное, воли, которую проявила в ней Екатерина, имела свои темные стороны. Екатерина отдавалась и здесь своим ничем необъяснимым страстным увлечениям, за которыми так же быстро следовало разочарование. Воображение и тут играло у нее первенствующую роль. Место государыни слишком часто занимала женщина: ведь только женщина, и притом забывшаяся в гневе, могла написать такую бумагу, как инструкция от 4—9 июля 1796 года представителю России в Стокгольме, графу Будбергу, чтобы образумить шведского короля, который хотел приехать в Петербург, не взяв на себя предварительно обязательства жениться на внучке императрицы. «Пусть он тогда остается у себя дома, этот невоспитанный принц! – писала Екатерина. – В Петербурге уже надоели бредни, затемнившие ему разум. Когда человек на что-нибудь решается, то не придумывает сам себе препятствия на каждом шагу...» Вся бумага – и бумага официальная, которая должна была пройти через государственную канцелярию, написана в этом тоне. Но разве можно назвать ее дипломатической нотой? Это скорее письмо интимному другу, с которым делятся, не стесняясь, тревогами и раздражением, чтоб облегчить душу. В довершение этого сходства с письмом, в инструкции Екатерины есть *post-scriptum*, – и даже не один, а целых четыре, из которых каждый противоречит другому, и смысл которых сводится в общем к тому, что императрица согласна на приезд короля без предварительных условий и обязательств, т.е. к тому, что она с таким жаром

отвергает в самом послании.

По временам Екатерина сама сознавала влияние своего вспыльчивого нрава на дипломатические сношения России и характер неуравновешенности, который это влияние им придавало. По поводу декларации о вооруженном нейтралитете, обнародованной Россией 28 апреля 1780 года, она писала Гримму:

«Вы скажете мне, что это нечто вулканическое; но не было возможности поступить иначе».

При этом она прибавляла, – нам уже приходилось встречать под ее пером такие же слова, указывавшие, что она не всегда забывала о своем немецком происхождении и даже кичилась им: «Denn die Deutschen hassen nicht so, als wenn die Leute ihnen auf die Nase spielen wollen; das liebte der Herr Wagner auch nicht». («Потому что немцы ничто так не ненавидят, как когда их хотят провести за нос; этого и г. Вагнер тоже не любил».)

Но мы думаем, что она сказала это просто для красного словца; а впрочем, Екатерина, может быть, и действительно не отдавала себе отчета в том, как переродилась и как неразрывно связала себя со своей новой родиной, потому что вся ее политика – и внешняя, и внутренняя – была чисто русской, как и весь склад ее мыслей и чувств, как весь ее гений... Только русские, но не немцы, так рассчитывают на собственную удачу даже в государственных делах и идут на авось. Только русские бросаются напролом, не разбирая пре-

пятствий на своем пути, и мечтают с открытыми глазами, не замечая действительности; только они не считаются ни с доводами разума, ни с осторожностью. А Екатерина всегда поступала так. И главным своим успехом, как и всеми своими неудачами, она и была обязана тому, что прибегала к этим приемам, несовместимым с духом немецкого народа. Холодный и методический немец не начал бы первой турецкой войны. «Армия, – писал граф С. Воронцов, – была сокращена, не укомплектована и рассеяна по всей империи. Приходилось заставлять ее переходить турецкую границу посреди лютой зимы и посылать пушки, мортиры, снаряды и бомбы почтою из петербургского арсенала в Киев». Дела обстояли еще хуже, когда разразились вторая турецкая и шведская войны. В 1783 году, ожидая разрыва с Портой, Екатерина приказала вызвать из Эстляндии драгунский полк, насчитывавший от 1200 до 1500 человек. Но на месте нашли только 700 солдат, 300 лошадей и ни одного седла! Но это не тревожило Екатерину. У нее была зато вера в свое счастье, которая презирает препятствия и допускает невозможное. И эта вера,двигающая горами и посылающая пушки за десятки тысяч верст с одного конца империи на другой, – сила, чуждая немцам.

В общем надо признать, что в области внешней политики Екатерина достигла очень многого при помощи очень незначительных материальных средств, – хотя, благодаря иллюзиям, в которых она вечно жила, она и была склонна придавать

им преувеличенное значение; но этот недостаток материальных средств возмещался большою нравственною силой.

Даже в смысле управления иностранными делами Россия в царствование Екатерины сильно шагнула вперед. Благодаря тому, что императрица лично руководила ими (из современных ей государей только один Фридрих не отказывался от этой работы или был способен к ней) и своему громадному авторитету, она придавала единство и общее направление прежде несистематической и разбросанной деятельности иностранной коллегии. В то же время она сумела внушить русским дипломатам необходимость избегать бесчестных и недостойных приемов, практиковавшихся в сравнительно недалеком прошлом. В июне 1763 года английский посланник Букингам, хлопотавший через канцлера Воронцова о заключении торгового договора с Россией, счел вполне естественным присоединить к своей просьбе денежную награду Воронцову в размере 2.000 фунтов стерлингов. Но канцлер ответил ему: «Предоставляю лицам, знакомым с позорными торгами, рассчитать, стоит ли продажа интересов моей государыни 2.000 или 200.000 фунтов». Бестужеву, канцлеру Елизаветы, был чужд подобный язык.

II. Союзы. – Система Петра III и система Екатерины. – Сходство и различие. – Дело, созданное лично Екатериной. – Северный союз. – Союз с Пруссией. – Медовый месяц. – Раз-

вод. – Толтый Ги. – Союз с Австрией. – Дело о Баварском наследстве. – Конгресс в Тешене. – Письмо Марии-Терезии к Екатерине. – Иосиф II едет в Могилев. – Проект раздела Турции. – «Медвежья шкура». – Императрица, увлекаемая императором. – Разочарование. – Союз с Англией. – Успех Гарриса в Петербурге. – Вооруженный нейтралитет. – Лига нейтральных держав. – Против кого будет она направлена? – Англия предлагает Екатерине Минорку. – Колебание императрицы. – «Невеста слишком хороша». – Отказ. – Очарование нарушено. – Угрозы войной. – Гибель союза с Англией.

Союз с Пруссией

В опубликованных в свое время примечаниях к книге Рюльера Людовик XVI замечает, что, с точки зрения иностранной политики, Екатерина в сущности только следовала системе, введенной Петром III. Но это мнение справедливо лишь наполовину. Система покойного императора, – начало ей положил его договор с Фридрихом от 19 июня 1762 года, – заключалась не только в разрыве с прежними союзниками России, Австрией и Бурбонским домом, но в открытой войне против Австрии и союзных ей государств, в войне с Данией, которую Россия хотела вести с согласия или при содействии прусского короля, затем в соглашении обоих государств относительно Курляндии, – ее должен был занять герцог Голштинский, – и в совместных действиях в Польше,

где оба монарха решили поддерживать интересы польских диссидентов. Политика же Екатерины значительно отступала от этой программы. Екатерина начала с полного нейтралитета. Главнокомандующий русской армией Чернышев, помощь которого уже давно учитывалась Фридрихом, получил приказ возвратиться с войсками домой. Тем не менее между Россией и Пруссией произошло сближение, скрепленное договором 11 апреля 1764 года. Но это не был союз, о котором мечтал Петр III. Положим, Англия вскоре тоже вступила в него, как того желал покойный император; но в союз вошла и Дания, что уже резко противоречило намерениям предшественника Екатерины. Это была Северная система, личное дело императрицы. Правда, при решении вопроса о Курляндии эта система привела в 1763 году к восстановлению в правах Бирона, и в 1764 году, при решении польских дел, к избранию Понятовского. А это было почти все, чего желал Петр III.

Но это было также и то, чего желал Фридрих и на что он едва ли мог надеяться при вступлении Екатерины на престол. В своем первом манифесте она называла его «самым своим злодеем». Но, по рассказу Дюрана, разбирая бумаги покойного мужа, Екатерина неожиданно нашла в них письмо Фридриха, где тот отзывался о ней в очень лестных выражениях. И это будто бы и изменило ее отношение к прусскому королю.

Договор о союзе с Пруссией возобновлялся Екатериной

несколько раз, между прочим в 1780 году, когда он был подписан на восемь лет, но не дотянул до этого срока. Союз с Австрией, заключенный 21 апреля 1781 года, сразу разрубил связи, еще соединявшие Россию и Пруссию, но начинавшие с некоторых пор уже ослабевать. Отношения между прежними старинными друзьями, Фридрихом и Екатериной, становились все холоднее, и за несколько лет до смерти короля были уже явно враждебны. Буря разразилась при преемнике Фридриха II. Можно с уверенностью сказать, что не было человека, к которому Екатерина относилась бы с таким отвращением и презрением, как к Фридриху-Вильгельму, Gu, толстому Gu, как она его называла (от имени Guillaume) в письмах к Гримму. Строки, которые она ему посвящала в своей переписке, были полны грубых и бранных слов. Это не помешало ей, впрочем, с наступлением 1792 года (года очень критического) заключить с Пруссией 7 августа новый союз. Правда, что перед тем, 14 июля, она успела подписать договор о союзе с Австрией. Вообще вся политика Екатерины по отношению к этим двум немецким державам, взаимное соперничество которых было в ее интересах, постоянно колебалась, то поднимаясь, то опускаясь, как чашки весов. Но и ее личные чувства играли здесь большую роль. Она искренне преклонялась перед Фридрихом, хотя и всегда отрицала, что подражает ему, откровенно ненавидела толстого Gu и совершенно убежденно считала Иосифа II великим человеком.

Союз с Австрией

Австрийский союз был тоже личным делом Екатерины. Даже в 1789 году, после горького разочарования второй турецкой войны, начатой совместно с Австрией, она не захотела изменить союзнику. Она писала Потемкину: «Каковы цесарцы бы ни были, и какова ни есть от них тягость, но она будет несравненно менее всегда, нежели прусская, которая совокупленно сопряжена со всем тем, что в свете может быть придумано поносного и несносного». Она прибавляла по-французски: «Я видела, к несчастью, слишком близко это иго и прыгала от радости – вы сами тому свидетель, – когда увидела только намек на возможность освободиться от него». Сближение обоих дворов произошло на Тешенском конгрессе, созванном по делу о Баварском наследстве, хотя Екатерина и заявила себя на нем решительной сторонницей Пруссии. Иосиф II, как известно, хотел воспользоваться смертью курфюрста Максимилиана-Иосифа, скончавшегося 30 декабря 1777 года, чтоб захватить в свои руки его владения. Но тут Фридрих стал в защиту неприкосновенности германской конституции. После долгих колебаний Екатерина признала, что он прав. Перед угрозой войны, «которую было бы слишком тяжело начинать в ее годы», Мария-Терезия переломила свою гордость: она написала Екатерине, прося ее посредничества. Это был первый шаг к сближению. Остальное сделал Иосиф, посетив Екатерину в России.

Почти все современные немецкие историки сходятся в

том, что находят русско-австрийский договор 1781 года особенно выгодным для России. Союз был направлен, главным образом, против Турции, – говорят они, – а здесь затрагивались интересы одной России. Но так ли это? Нам кажется, что в 1781 году у обоих союзников были одни и те же надежды. Единственная выгода, которую принес России союз, это моральная поддержка Австрии при оккупации Крыма, но об этом в договоре 1781 года не говорилось ни слова. В нем вообще вовсе не поднимался вопрос о Крыме; дело шло о разделе всей Оттоманской империи, и здесь Иосиф II рассчитывал получить свою долю. Екатерина находила его притязания даже непомерно большими, и это и было причиной первой размолвки между ними, которая дальше все обострялась и привела в конце концов к тому, что приостановила их совместные действия, направленные к общей цели. Фридрих предвидел это, говоря, что, как только придется делить «медвежью шкуру» – Турцию, интересы Австрии и России окажутся непримиримыми. Иосиф колебался начать кампанию, и Екатерина воспользовалась этим, чтобы сделать то, что она называла «самостоятельным ходом». Последовало присоединение Крыма, против которого Иосиф не осмелился возразить и, таким образом, невольно ему содействовал. Он возлагал свои надежды на теорию политического равновесия, бывшую в то время в большом почете в европейском международном праве, и по которой он рано или поздно должен был быть вознагражден. Он хотел предъявить

свои требования, когда они будут скреплены победой, и решил наконец на войну, надеясь, что красноречие пушек сумеет отстоять его права. Но победа не приходила. Война оказалась разорительной для обоих союз-пикон, но особенно для Иосифа, и с тех пор он был принужден молчать. Впрочем, о разделе Турции не могло уже быть и речи: лакомый кусок ускользнул.

Иосифа II постигла судьба всех неудачных завоевателей. Но в минуту заключения союза, в 1781 году, когда результатов войны нельзя было еще предвидеть, его манера держать себя ясно говорила, что он относится к делу совершенно хладнокровно и зорко следит лишь за собственной выгодой. Он нимало не был пленен открывавшимися ему перспективами и не выражал никакой готовности поступиться чем бы то ни было во имя дружественной державы – настолько даже, что договор о союзе не мог принять обычную форму дипломатической ноты, так как император не соглашался на альтернат, т.е. на то, чтобы подписи обоих государей занимали попеременно первое место в двух экземплярах договора, как того хотела Екатерина. Пришлось ограничиться обменом писем, заключавших взаимные обязательства. Из двух союзников плененной и даже как-будто потерявшей голову, – если только можно употребить в данном случае это фамильярное выражение, – была стремительная и пылкая Екатерина. Она не сомневалась, что дружба с Австрией откроет ей двери Константинополя; у Иосифа, – она верила в

это, – были «глаза орла». Даже пятнадцать лет спустя она писала Гримму: «У них был орел, и они его не признали!» Иосиф же на следующий день после своего свидания с императрицей в Могилеве писал Кауницу: «Надо знать, что имеешь дело с женщиной, которая заботится только о себе и так же мало думает о России, как и обо мне; поэтому необходимо щекотать ее самолюбие». Екатерина мечтала и шла наудачу; Иосиф наблюдал и взвешивал свои слова и поступки. Но в результате мечта победила расчет: история человеческой мудрости получала не раз такие уроки.

Англия

До 1780 года Россию сближал с Англией общий союз с Пруссией, кроме того, они были непосредственно связаны между собой торговым договором. Екатерина при всяком удобном случае подчеркивала свои добрые чувства к британскому народу и готова была во всем защищать его интересы. Может быть, здесь до известной степени играли роль воспоминания, которые оставил в уме и сердце императрицы кавалер Вильяме. Но этой дружбе пришлось пережить не одно испытание.

В 1779 году Англия, как известно, сражалась на три фронта: с американскими инсургентами, Францией и Испанией. В феврале 1780 года Екатерина не побоялась заявить открыто, что раздаст петербургским нищим милостыню, если получит радостное известие о том, что Родней разбил испан-

ский флот. Несколько дней спустя она дала у себя бал и сказала английскому посланнику Гаррису, что устроила праздник «в честь будущих побед Роднея». Она пригласила Гарриса ужинать за маленьким ломберным столом, где было накрыто лишь два прибора. А на следующий день появилась знаменитая декларация о вооруженном нейтралитете. Екатерина недаром любила театр: она сама была не прочь прибегать к театральным эффектам.

В первую минуту, правда, никто не понял неисчислимого значения этого акта. Сама Екатерина, по-видимому, не отдавала себе в нем полного отчета. Общественное мнение было обмануто, и все считали меру русской императрицы благоприятной для Англии; французский и испанский посланники в Петербурге взволновались; граф Панин, старавшийся, наперекор фавориту Потемкину, разбить симпатии Екатерины к Великобритании, так рассердился, что заболел. И действительно, императрица приняла свое решение после посягательства на свободу навигации со стороны Испании: русское торговое судно, шедшее в Малагу, было захвачено крейсерским отрядом под флагом испанского короля. Екатерина немедленно приказала тогда вооружить пятнадцать военных кораблей, подчеркивая этой демонстрацией ноту, посланную в Мадрид. Она объявила, что будет всеми средствами, при необходимости даже с оружием в руках, защищать права нейтральной державы. В этом и заключался первоначально весь смысл вооруженного нейтралитета.

Но за Екатериной остается все-таки та славная заслуга, что она формулировала в своей ноте принципы современного права морской войны и этим нанесла непоправимый удар владычеству Англии на море. В сущности принципы эти были уже установлены французским законом 1778 года. Но, чтобы войти в силу, им недоставало общего согласия других государств. И лига нейтральных держав, это естественное последствие политики Екатерины, завершившее начатое ею дело, скрепила их. Впоследствии Екатерина всегда приписывала исключительно себе честь создания вооруженного нейтралитета. Когда Денина осмелился сказать, что мысль о нейтралитете впервые явилась у Фридриха, она написала на полях его книги: «Это неправда, вооруженный нейтралитет родился в голове Екатерины II и ни в чьей другой». И, несмотря на это, – ведь в истории, особенно в истории женских царствований, бывают иногда подобные неожиданности, – лига нейтральных держав, ставшая со временем такой грозной преградой британскому честолюбию, едва не приняла другой формы и другого значения: была минута, когда она могла превратиться в коалицию, направленную против Франции и Испании, в которую вошли бы вслед за Россией Швеция, Дания, Пруссия, Австрия, Португалия и королевство обеих Сицилий...

И только ловкость, проявленная Версальским и Мадридским кабинетами, и высокомерная неподатливость, свойственная Лондонскому двору, придали вооруженному ней-

тралитету то значение, которое он получил впоследствии. Франция и Испания поспешили присоединиться к новой формуле международного права. Англия же надулась, замкнулась в себе, потом пошла на уловки и пропустила в конце концов благоприятную минуту. В течение того же 1780 года было, впрочем, еще одно мгновение, когда будущее опять могло принять неожиданный и счастливый для Англии оборот: по настояниям Гарриса, Лондонский кабинет решился на важный шаг. «Пусть ваш двор даст мне доказательство своего расположения ко мне, и я отплачу вам тем же», – сказала Екатерина как-то английскому посланнику. Лорд Стормонт, стоявший в то время во главе министерства иностранных дел, ответил на это, предложив Екатерине Минорку. В оплату за этот подарок он просил вмешательства России в текущую английскую войну, что побудило бы Францию и Испанию заключить немедленно мир на основании Парижского трактата 1762 г. В первую минуту Екатерина едва могла скрыть свое удивление и радость. Это было больше, нежели она смела мечтать, а ее ли мечты не шли далеко! Правда, недавняя декларация о нейтралитете была как-будто бы несовместима с предложением Англии. Но ничего! Дело можно было уладить, посоветовавшись с Гаррисом. Она действительно беседовала с ним по этому поводу и, между прочим, сказала ему: «Вооруженный нейтралитет, что это такое? Назовем его вооруженным ничтожеством, если хотите, и не будем больше о нем говорить». Но вскоре ее

охватили сомнения и тревога. Потемкин никогда не видел ее в таком возбуждении. Ей захотелось еще раз посоветоваться о деле, но на этот раз она обратилась за помощью уже не к Гаррису, а к фавориту. Разве возможно, чтобы ей отдавали такое сокровище, как Минорку, почти даром, ради простого дипломатического шага? Не было ли тут какой-нибудь западни? «Невеста слишком хороша, меня хотят обмануть», – говорила Екатерина. У Англии, наверное, есть невысказанное намерение втянуть ее в разорительную войну с Францией. Но этого она не желает!

Она тем менее желала этого, что в то время уже налаживалась ее дружба с Иосифом, и перед ней открывался сияющий горизонт Черного моря и его берегов. План другой, несравненно более выгодной для России войны начинал слагаться в уме Екатерины. А так как Франция успела между тем любезно предложить ей свои услуги, чтобы уладить испанский инцидент, то вооруженный нейтралитет получил прежнее веское значение в глазах императрицы. Дело тянулось так до марта 1781 года, когда Гаррису неожиданно объявили, что государыня решительно отказывается от всяких приобретений в Средиземном море и хочет сохранить за Россией положение нейтральной державы.

Это был полный разрыв. Англия никогда не могла забыть нанесенного ей оскорбления. Обиженная и разочарованная, она открыто высказалась против лиги нейтральных держав, принявшей в скором времени характер пристани, куда при-

зывались все государства, интересы которых гегемония Англии на море затрагивала или нарушала. В 1791 году Екатерине казалось неизбежным столкновение России с морскими силами Великобритании. Но она нашла в себе достаточно мужества, или слепой храбрости, чтобы не испугаться этого. Она писала Циммерману:

«Вы, вероятно, извините меня за то, что я до сих пор не ответила на ваше письмо от 29 марта: у меня было слишком много дела, особенно последние дни, когда я была занята приемом, который должна буду оказать грозному английскому флоту, собирающемуся навестить меня. Уверяю вас, что я сделала все, что в человеческих силах и в моей власти, чтобы встретить его прилично, и надеюсь, что этот прием будет совершенным во всех отношениях. Как только флот пройдет Зунд, думаю, что будет неудобно, чтобы вы писали мне... Поэтому сегодня прощаюсь с вами».

Но это была ложная тревога. Вмешательство Англии в пользу Османской империи осталось пустою угрозой, и нужно видеть, с какою радостью Екатерина сообщает эту добрую весть своему немецкому корреспонденту: в словах ее слышится словно вздох облегчения. Она прибавляет при этом, что всегда глубоко почитала английский народ и вспоминает даже свою особенную любовь к нему, «имевшую свое основание».

Но добрые чувства дружбы, связывавшей оба народа и пережившей несколько столетий, были убиты в царствование

Екатерины и никогда не воскресали вновь. Союз с Францией, заключенный вскоре после русско-австрийского союза, был как бы предвестием будущей политики России.

III. Союз с Францией. – Ненависть Екатерины к Франции. – «Нечестивые французы». – Да здравствует Корсика! – Портрет Паоли. – Французы в Петербурге. – Их плачевное положение. – Приключения кавалера де-Перрье-ра. – Слишком предприимчивый француз. – Добродетель крестьянской девушки. – Сын полномочного посла, избитый палкой. – Поворот к лучшему. – Пребывание в Петербурге герцога Шиме и виконта Лаваль. – Восшествие на престол Людовика XVI оказывает благоприятное влияние на чувства Екатерины к Франции. – Пристрастие Екатерины к правлению этого короля. – Влияние Вольтера и других поклонников императрицы. – Популярность Екатерины и русских в Париже. – Всеобщее увлечение. – «Эпидемия Екатерины». – Пребывание графа и графини Северных в Париже. – Любезность Марии-Антуанетты. – Все для России и все «по-русски». – Русские моды в Париже и парижские в Петербурге. – Портной, наживший себе состояние. – Разорение модистки. – Гнев 2-жи Бертэн. – Приезд графа Сегюра в Петербург. – Его личный успех. – Предложения России. – Франция отступает. – Разочарование. – Подписание торгового договора. – Граф Сегюр берет для этого перо у сво-

его коллеги, английского посла. – Последние попытки. – Петербургский кабинет и национальное собрание. – Мирабо. – Женэ в Петербурге и Симолин в Париже. – Дипломат-мученик. – Отъезд Симолина и изгнание Женэ. – Последнее свидание русского посла с Людовиком XVI и Марией-Антуанеттой. Необыкновенная миссия. – Россия и эмигранты. – Антиреволюционная политика Екатерины. – Великий князь-демократ. – Изгнание и инквизиция. – Указ 28 марта 1793 г.

Франция

«Даю вам слово, что я никогда не любила французов и никогда не буду их любить. Однако я должна признать, что они выказывали мне гораздо больше внимания, чем вы, господа». Так говорила Екатерина Гаррису незадолго до ее разрыва с друзьями-англичанами. Но увы! французским поверенным в делах, не раз сменявшимся за время царствования Екатерины, пришлось убедиться, что русская императрица чувствует к их родине не просто нелюбовь, а более острое чувство. В записке, составленной в июле 1772 года, один из них говорит: «У нее (Екатерины) нет и не будет другого конька, кроме желания, с ненавистью и не разбирая дела, поступать всегда наперекор тому, чего хочет Франция... Она нас ненавидит, как только можно ненавидеть: и как оскорбленная русская, и как немка, и как государыня, и как соперница, но, главное, как женщина». Он указывал, впрочем, на странное противоречие между этой открытой и ожесточен-

ной враждебностью Екатерины к Франции и ее искренней любовью к французской литературе, искусству и даже модам.

Но перед противоречиями Екатерина никогда не останавливалась, и ей было безразлично, что они бросались в глаза другим. Она продолжала ценить Вольтера и в то же время не упускала случая, чтобы проявить свою неприязнь к родине великого философа. Когда магистрат города Нарвы подал ей в 1766 году прошение на французском языке, она приказала, чтобы это никогда не повторялось больше; кто не знал русского языка, тот мог писать по-немецки! В 1768 году она особенно нападала на Людовика XV и его первого министра. Екатерина писала своему представителю в Лондоне, графу Чернышеву:

«Чрезвычайно много я смеялась аллегорической картине Амаде Ванлоева, когда я увидела, что все добродетели и качества составляют голову его христианнейшего величества; но Господь Бог у Ванлоо совета не спросил, сотвори оную, а я, не любя неправды и аллегии, не куплю сию хитрую выдумку; если же она была по вкусу Французов, то б ее не выпускали за границу. Я буду искать, чтобы можно было достать *le pendant* герцога Шоазель, изображенного во всех министерских качествах, как то: прозорливости, щедрости, несеребролюбия, великодушия, снисхождения, учтивости, добросердечия, незлопамятия и прочих качествах, кои он не имеет...»

Это письмо кончалось post-scriptum'ом: «Я нынче всякое утро молюсь: спаси, Господи, корсиканца из рук нечестивых французов».

Через несколько месяцев подготавливавшийся разрыв России с Турцией был уже совершившимся фактом. Екатерина сейчас же обвинила в этом Францию. Турки и французы казались ей чем-то неразделимым. Можно было думать, что она объявит войну не только султану, но и «христианнейшему» королю. И в то же время она по-французски писала опять Чернышеву:

«Туркам и французам вздумалось разбудить спавшего кота... и вот кошка будет гоняться за мышами, и вы вскоре что-то увидите, и о нас заговорят, и никто не ожидает звона, который мы поднимем, и турки будут побиты, и с французами будут всюду поступать, как с ними поступили корсиканцы...»

Екатерина исключительно потому говорила тогда так часто о корсиканцах, что надеялась, что они сумеют показать себя своим притеснителям. Выписывая в июле 1769 года портрет Паоли из Лондона, она замечала при этом: «Паолев портрет еще более бы мне веселил, если он сам продолжал проклятым нашим злодеям, мерзким Французам, зубы казать». И как она сама стремилась всюду повредить Франции, так и ей чудилось, что Франция везде строит против нее козни. Еще в 1784 году она писала Иосифу II: «Я вижу, что переговоры с курфюрстом баварским не подвигаются вперед

вследствие нерешительности его, которою, кажется, как фамильной болезнью страдает весь пфальцграфский дом; иные из них не смеют написать простого письма вежливости, не посоветовавшись с половиной Европы. Эти предосторожности, кажется мне, вызваны теми, кто действует на Шельде, кто мешает судам Вашего Императорского Величества выйти в море, кто посылает в Константинополь инженеров, инструкторов, мастеров, кто советует туркам держать большую армию недалеко от Софии и кто выбивается из сил, чтобы исподтишка вооружать против нас наших врагов с юга севера».

Участь французов, живших в то время в Петербурге, – их было, впрочем, не очень много, – была незавидной. Вот что писал по этому поводу в 1783 году французский инспектор полиции Лонпре:

«Английские подданные находятся под защитой своих консулов, которые пользуются в России значительным авторитетом; а французы брошены на произвол судьбы и несправедливости и не имеют никакой защиты.

Большинство из них ювелиры или владельцы модных магазинов. Первые продают довольно бойко русским вельможам свои изделия, но русские, чтоб избежать платежа, просят купца зайти к ним на следующий день, а товары оставляют у себя. Купец приходит, но слуги отвечают ему, что барина нет дома. И только после бесконечных хождений ему высылают часть денег, но если он француз и после этого возоб-

новит свои посещения и надоест сановнику, то тот велит сказать, что ему дадут пятьдесят палочных ударов. И выходит так, что несчастный купец должен ждать доброй воли своего должника, чтобы получить с него хотя бы половину стоимости того, что он продал; притом, выплачивая ему эту половину, ему говорят, что приходить за остальными деньгами бесполезно, потому что купленные вещи и не стоили больше, и купец должен быть доволен и тем, что получил. Вообще в русском дворянстве нет добросовестности. Я исключая, однако, из этого правила несколько семейств. Другие же наперебой стараются обмануть иностранца. Даже офицеры, вплоть до имеющих полковничий чин, не считают бесчестным вытащить у вас из кармана золотую табакерку или ваши часы. Если его поймают, то дело ограничивается тем, что его переводят в другой полк, в двухстах или трехстах верстах от того места, где он совершил кражу. Что касается портних и модисток, то дела их шли довольно хорошо до возвращения из путешествия ее высочества великой княгини. Они даже выписали много товару ко времени ее приезда, заплатив 30%, 40%, 50% и 60% пошлины, но как только ее высочество великая княгиня приехала в Россию, императрица издала указ, воспрещающий женщинам носить на платье отделку шире двух дюймов; кроме того, все должны носить теперь низкую прическу без перьев в волосах, отчего совершенно упала эта отрасль торговли... У тех немногих художников, которые попадают в Россию, дела идут не лучше. Приезжа-

ет артист, чтобы открыть мастерскую; его проект рассматривают очень тщательно, и если найдут выгодным открыть новый вид производства, то дают ему денег и место, чтобы выстроить заведение; за ним очень ухаживают, пока не откроют его секрет. Но как только тайна его производства становится известной, на него начинают сыпаться неприятности; его заставляют входить в долги, чтобы удержать его в России, и часто из прежнего хозяина он превращается в приказчика или даже просто рабочего... Поэтому следует останавливать французов, которые едут в Россию, чтобы открывать там торговлю».

Правда, – по свидетельству французского посольства и самого Лонпре, – поведение французов в Петербурге было далеко не безупречным. В 1776 году некто Шампаньоль, французский подданный, был «почти уличен» в том, что фабриковал фальшивые билеты русского императорского банка. А во время пребывания в Петербурге Лонпре случилось два других печальных события. Молодой человек, называвший себя кавалером де-Перрьер (дядя его, врач короля, носил, впрочем, более буржуазное имя Пуассонье-Деперрье-ра), приехал незадолго перед тем в Россию. Он имел офицерский чин и был прикомандирован к французскому министерству иностранных дел. Благодаря связям, ему удалось выхлопотать пособие в 10.000 ливров и командировку в Петербург для изучения русского языка. Французский полномочный министр маркиз Верак представил его официально

Екатерине, как члена посольства. Де-Перрьер знакомился с русским языком, посещая великосветские гостиные. Но, — вероятно, для того, чтобы еще больше усовершенствоваться в местном наречии, — он открыл у себя на квартире игру в банк, а золотая молодежь Петербурга охотно его посещала. Раз, отправившись на охоту, он имел несчастье проехать через деревню графа Шувалова, где дворняжки набросились на его охотничьего пса. Чтоб защитить своего пойнера, де-Перрьер выстрелил из ружья и ранил дробью какую-то старуху, стоявшую в соседнем поле. Вернувшись в Петербург, он написал графу Шувалову письмо, которое в Париже показалось бы, может быть, очень остроумным, но в России произвело впечатление дерзкого. По словам маркиза Верака, тон его был несколько фамильярен, но приличен. Граф Шувалов счел себя оскорбленным, и, чтобы отомстить за обиду, подал на виновного жалобу в суд, не предупредив даже о том французского посла. Маркиз Верак доложил о случившемся императрице. Но Екатерина выслушала его очень неблагоприятно. Она предложила, чтобы кавалер де-Перрьер выехал немедленно из Петербурга, так как иначе делу его будет дан законный ход. Посол должен был согласиться на первое, но написал в самых резких выражениях донесение в Версаль, жалуясь на несправедливость императрицы. А через несколько дней его ждала еще худшая неприятность. Его собственный сын, гулявший вместе со своим секретарем Роза и двумя русскими, князем Трубецким и Гар-

новским, доверенным лицом Потемкина, увидел в окне крестьянскую девушку, которая, как им показалось, улыбнулась им. Они всей компанией вошли в дом и несколько вольно стали ухаживать за красавицей. Отцу ее это не понравилось. Но, не обращая на него внимания, они начали расстегивать на девушке платье. Мужик поднял крик; сбежались соседи, и сына полномочного министра Франции больно отколотили палками. Дело дошло до императрицы. Но она не выразила маркизу Вераку никакого сочувствия: она-де не могла помешать бить тех, кто заслуживает быть битым, и если бы двум русским, сопровождавшим француза, переломали в схватке руки и ноги, то она была бы очень рада.

Но около того же времени в отношениях обоих государств и даже в личных чувствах Екатерины к Франции произошел большой переворот. Еще в 1776 году предшественнику Верака, маркизу Жюинье, казалось, что он видит в настроении императрицы перемену. «Я вовсе не нахожу, – писал он: – чтобы предубеждение Екатерины против Франции было чем-то непреклонным. Я думаю даже, что оно стало теперь слабее по отношению к нашему правительству и по другим важным пунктам. Она по-прежнему любит, положим, смеяться над нашим народом, но ей дает повод к этому поведение французов в России и неуместный тон, которым они говорили с нею в Петербурге». Он прибавлял при этом: «Но я должен отдать справедливость тем, которые приезжали в нынешнем году: они держали себя выше всякой похвалы...

Виконт Лаваль и принц Шиме завоевали общие симпатии общества и милость самой императрицы».

Новый французский король имел на эту перемену большое влияние. Екатерина глубоко презирала Людовика XV, но к его преемнику относилась с искренним уважением. Она писала в 1779 году: «Я считаю настолько хорошим все, что делается в царствование Людовика XVI, что мне хочется бранить тех, кто порицает его». В то же время и двадцатилетняя усиленная пропаганда горячих поклонников Екатерины, и бескорыстных и корыстных, которых у нее было так много во всех концах Европы, но особенно в Париже, – Вольтера, Дидро, Гримма, аббата Галиани и сотни других, – эта колоссальная реклама, созданная ими вокруг ее имени, сделала наконец свое дело. В общественном мнении французов неожиданно проявилось течение, – то же повторилось во Франции еще недавно, на наших глазах, – и неудержимо увлекло за собою все и всех: Россия, русские и Екатерина стали необыкновенно популярны на берегах Сены. Портной Фаго нашил состояние костюмом для детей, образец которого взял из письма Екатерины к Гримму: она набросала там пером свободную блузку изобретенного ею фасона, которую носил ее маленький внук, будущий император Александр I. Русскую аристократию встречали в Париже с распростертыми объятиями. На охоте в Булонском лесу, заметив экипаж графини Салтыковой, королева предложила ей следовать за собой, чтобы лучше видеть охотников. Граф Сер-

гей Румянцов был кумиром версальских дам. Весною 1782 года в Париж приехал и великий князь Павел вместе с женой, урожденной принцессой Вюртембергской: они путешествовали под именем графа и графини Северных. Мария-Антуанетта подавила в себе неприязнь к Екатерине и приняла их с чарующей любезностью. На Севрской фабрике внимание великой княгини обратили на чудный туалетный прибор темно-синего фарфора, отделанного золотом; это было настоящее произведение искусства: играющие амурчики служили рамой для зеркала, которое поддерживали фигуры трех граций. «Вероятно, это для королевы!» – воскликнула великая княгиня в восхищении, но когда она подошла ближе, то увидела свой герб на каждой из вещей: это был подарок ей от Марии-Антуанетты. Пример, особенно тот, что исходит сверху, всегда заразителен, и можно представить себе, какой прием оказало великому князю и великой княгине население Парижа, тем более, что оно руководилось искренним увлечением, а не соображениями высшей политики. Только такой грубый самородок, как Клериссо, мог пойти наперекор общему настроению.

Популярность самой Екатерины среди парижан Гримм называл эпидемической болезнью «Catharinen Sucht, oder nach Andern die Minerven Krankheit». Одними из наиболее интересных жертв ее были Монтин и маршал Ноайль. На сцене ставились пьесы с сюжетом из истории России или из современных русских нравов: «Scythes» Вольтера, «Pierre le

Grand» Дора, «Menzikof» Лагарпа; позже «Feodor et Lesinka» Дефоржа. В Париже появились вывески: «A l'imperatrice de Russie», гостиницы *Hotels de Russie*, рестораны *Cafes du Nord* и т.д. Одна модистка посвятила даже свой магазин «русским щеголям» – «*Au Russe galant*».

Сначала Екатерина относилась к этим демонстрациям очень сдержанно. «Французы увлекаются теперь мною, – писала она, – как новою прическою с пером; но подождем немного, это пройдет у них скоро, как всякая другая мода... Русские дамы должны быть очень польщены почестями и вниманием, которые им оказывают в Версале; их мне испортят, и когда они вернутся, то будут дамами с претензиями... Что касается г. Фаго, я нахожу, что он ловкий делец, но любопытно, что мода приходит с Севера, и еще любопытнее, что Север и особенно Россия теперь в почете в Париже. Как! и это после всего, что о ней думали, говорили и писали дурного!.. По крайней мере надо признать, что все это не отличается последовательностью... Надеюсь, что при получении моего письма *vertigo* уже пройдет». Мы говорили, какой прием приготовила императрица французским модам, привезенным в Петербург великой княгиней Марией Федоровной. Получив известие об этом несчастье в ту минуту, как она выходила из апартаментов Марии-Антуанетты, *mademoiselle* Бертэн не могла сдержать крика гнева.

«Она горячо защищала свои оборки», – рассказывал Екатерине Гримм. Но она выбрала, к сожалению, неудачную ми-

нугу: было как раз то время года, когда она представляла парижанкам свои счета, и те естественно нашли, что оборки вещь совершенно лишняя, и приняли сторону великой Екатерины против маленькой Бертэн.

Графу Сегюру было суждено произвести окончательный поворот в чувствах Екатерины к Франции и французам. Французская дипломатия наконец напала на человека, подходившего для роли представителя короля в Петербурге. Прибыв на место своего нового назначения 12 марта 1785 года, граф Сегюр уже 3 июня того же года писал: «Сегодня я ночью в Царском Селе, а завтра выезжаю вместе с императрицей. Дипломатический корпус столько же удивляется, как и завидует этой милости, и это путешествие, которое предпринимается только из любопытства и для развлечения, дает повод к бесполезным и безумным политическим спекуляциям». Но политические спекуляторы, о которых говорит Сегюр, не были совершенно неправы: путешествие Екатерины в обществе французского посланника было началом новой главы в истории Европы. Два года спустя, в ноябре 1787 года, первым министром Екатерины Безбородко было сделано графу Сегюру предложение о союзе с Россией, т.е. вернее о тройственном союзе, так как в него должны были войти Франция, Австрия и Россия. К несчастью, дело шло о том, чтобы напасть общими силами на Турцию, старинную союзницу Франции. В следующем году Петербургский двор еще настойчивее предлагал уже не тройственный, а четверной

союз: кроме названных выше держав, в него хотели включить и Испанию, и на этот раз он был направлен против Англии.

Но Франция отказалась. Как на официальные причины несогласия, она указывала на доводы, бесспорно законные, и на чувства, которые, если только они были искренни, не могли не внушать уважения своим рыцарским благородством. После взятия Очакова (в декабре 1788 года) Екатерина в третий раз возобновила свое предложение Версальскому кабинету, обещая ему в виде вознаграждения за союз деятельную помощь против Англии. В то же время она отказывалась от требования, на котором настаивала прежде, гарантии для конституции, введенной ею в Польше, – для роковой тунки Несса, надетой ею на несчастную республику. Для нее было достаточно молчаливого признания первого раздела Польши 1772 года. Сегюр не смел и мечтать о таких выгодных условиях. Но каково было его изумление и разочарование, когда, вместо ответа, он получил из Версаля приказ требовать отмены первого раздела! Ведь это значило издеваться над ним и над Россией. Да была ли эта мера в интересах самой Польши? Разве возвращение ее к прежним границам было теперь осуществимо? Неужели этому верили в Версале? И заботились ли об этом? Мы думаем, что там заботились только о том, чтобы не трогаться с места, оставаясь по возможности верными доблестным традициям старой монархии. Неужели можно было отнестись серьезно к поручению, данному Сегюру? Этот последний и не подумал поэтому исполнять его.

Он ничего не ответил Екатерине, так как не мог сказать ей ничего дельного.

И в конце концов Петербургу надоело иметь дело с немцами. Всесильный Потемкин, первый поднявший разговор о союзе с Францией, теперь искал сближения с Англией.

«Почему же нет? – сказал он с привычной ему грубоватой откровенностью, когда граф Сегюр в дружеской беседе спросил его об этом. – Разве такой опытный дипломат, как вы, станет этому удивляться? Когда я увидел, что Французское королевство превращается в епископство, прелат высылает из совета двух маршалов Франции и спокойно допускает, чтобы Англия и пруссаки отняли у вас Голландию без боя, то, признаюсь, я позволил себе шутку: я сказал, что посоветовал бы моей государыне вступить в союз с Людовиком Толстым, с Людовиком Молодым, с хитрым Людовиком XI, с мудрым Людовиком XII, с Людовиком Великим, даже с Людовиком Возлюбленным, но не с Людовиком Викарным.

Но фаворит не договаривал до конца своей мысли. Архиепископ Ломени де-Бриенн, присутствие которого в совете короля возбуждало в нем такое негодование, был смещен еще 5 августа 1788 года. Но не он один противодействовал предполагаемому союзу. В мае 1789 года, когда Неккер опять вернулся к власти, Мария-Антуанетта писала графу Мерси, что, кроме Монморена, все французские министры высказываются против союза с Россией. «Прежде всего, – говорила королева, – ясно, что при настоящем положении на-

ших дел мы не можем оказать никакой помощи ни людьми, ни деньгами, и ввиду этого было бы недобросовестно с нашей стороны заключать новый оборонительный союз».

Она откровенно указывала тут на главную причину, препятствующую союзу: на бессилие монархии, уже бившейся, как израненная птица, в когтях революционного коршуна.

Торговый договор (заключенный 11 января 1787 года) – вот все, чего мог добиться Сегюр. Между прочим рассказывали, что французский посол коварно подписал его пером своего английского коллеги Фиц-Герберта. Но этот анекдот правдив лишь наполовину. Потемкин совершенно неожиданно сделал Сегюру предложение о торговом соглашении во время путешествия вместе с императрицей на галере, в котором принимал участие весь дипломатический корпус. Желая немедленно подписать договор и не имея под рукою своего письменного прибора, запертого лакеем куда-то под ключ, Сегюр попросил перо у Фиц-Герберта, спокойно игравшего с Кобенцлем, австрийским послом, в соседней каюте в трик-трак.

Франция вела вплоть до 1789 года какую-то странную игру. Продолжая вести или делать вид, что ведет переговоры с Россией о союзе и посылая многочисленных волонтеров в ряды русской армии, она в то же время поставляла Турции своих офицеров и сапер. Присутствие этих последних в Константинополе сильно раздражало Екатерину. Она писала Потемкину: «Буде из французов попадет кто в полон, то прошу

прямо отправить к Кошкину (пермскому и тобольскому генерал-губернатору) в Сибирь в Северную, дабы у них отбить охоту ездить и наставлять турков».

Что касается волонтеров, то она едва терпела их в своих войсках и не выражала никакой признательности за их службу ни им, ни Франции. Она не доверяла им. Когда после взятия Очакова отличившийся при штурме граф Дамас хлопотал о том, чтобы быть назначенным флигель-адъютантом императрицы, она произвела его в полковники русской армии, но наотрез отказалась приблизить его к своей особе. Она не хотела иметь во внутренних комнатах «французского шпиона». Екатерина писала Гримму:

«Несмотря на то, что вы мне пишете, я глубоко убеждена, что там, где вы находитесь теперь (в Париже), охотнее вступили бы в союз, невзирая на неоднократно получаемые пощечины, с братом Ge или братом Gu и даже с чертом, но не со мной...»

Она была уверена, что, несмотря на недостаток в людях, die armen Leute (так она называла в то время обыкновенно французов) находят у себя солдат, чтобы помогать Фальстафу (шведскому королю), воевавшему с нею. Она делала все-таки новые попытки вступить с Францией в соглашение. Она даже Гримму дала что-то вроде дипломатической миссии:

«Это вполне верно, что если бы die armen Leute повысили тон с Голландией и не дали раздавить свою партию в этой республике, то бесконечно помогли бы мне этим. Мне хоте-

лось бы, чтобы вы имели по этому поводу дружественный разговор с Сен-При и чтобы вы вместе с ним посмотрели, нет ли средства убедить двор, при котором вы находитесь, сделать какой-нибудь шаг, который показал бы по крайней мере, что Франция еще существует среди значащих (sic) держав, и что, имея восемьдесят военных кораблей, она не обрела их к тому, чтоб они гнили в гаванях без всякой пользы для государства».

И кто знает, может быть, этот совет Екатерины был действительно тем единственным средством, которое могло еще спасти гибнущую французскую монархию?

«Значение этого двора совершенно уничтожается его бездействием. Меня никогда не обвиняли в большом пристрастии к нему, но мой интерес и интерес всей Европы требует, чтобы он занял опять место, которое ему подобает, и сделал бы это как можно скорее... Французы любят честь и славу: они сейчас же двинутся все, как только им покажут, чего требуют честь и слава их родины; всякий француз не может не признать, что их (честь и слава) нет в этом состоянии политического несуществования, в котором рождаются, развиваются, растут и накапливаются с каждым днем внутренние смуты. Пусть их усилия распространятся за пределы королевства, и они (смуты) перестанут грызть и подтачивать Францию, как черви корпус корабля...»

Но советов этих во Франции не слушали, или они пришли, может быть, слишком поздно: черви уже заканчивали

свою разрушительную работу. До 1792 года, впрочем, сношения между обеими странами не разрывались. После отъезда графа Сегюра представителем Франции в Петербурге был назначен Женэ; это был родной брат г-жи Кампан. Выступление его в литературе было плачевно, и в дипломатии ему тоже не удалось блеснуть. Он только что напечатал две неизданные оды Горация, которые были признаны апокрифическими. Но на новом поприще его ждали еще худшие злоключения. Правда, положение французских дипломатов было в то время вообще очень трудным. Представитель России в Париже Симолин остался на своем посту и сохранил права полномочного министра. В мае 1790 года вице-канцлер Остерман убеждал его вступить в сношения с влиятельными членами Национального Собрании. Симолин ответил, что это можно сделать при помощи денег, – на что Остерман согласился и просил только указать необходимую сумму. Дело шло все о том, чтобы «побудить Францию вооружиться, чтобы внушить страх Англии». В этом рассчитывали особенно на Мирабо. Симолин писал:

«Мирабо прекрасно вник во все, что ему было внушено, и дал понять, что национальное собрание не отнесется равнодушно к посылке английской эскадры в Балтийское море; по его мнению, тогда следовало бы вооружить все эскадры во французских портах. Старания этого депутата, который является душой дипломатического комитета, и мнение которого очень веско, могли бы оказать нам еще более действитель-

ную помощь, если бы мы имели возможность поощрить его способами, введенными в самое широкое употребление Англией и прусским евреем Ефраимом по отношению к членам якобинского клуба. Известно, что этот последний истратил со времени своего приезда в Париж 1.200.000 ливров... Не так легко определить сумму, израсходованную английским послом. Но что достоверно, это то, что деньгами можно добиться всего от патриотизма депутатов, управляющих Францией, что Мирабо не недоступен этой приманке, и что его приближенный [son entour (sic)], умнейший из людей и преданный мне, отдался бы всецело нашему двору, если бы я мог подать ему надежду что услуги его будут вознаграждены».

На полях этой депеши Екатерина написала: «Великолепно, если он не умер». В Петербурге уже знали, что жизнь великого трибуна в опасности. 4 апреля 1791 года, когда эти печальные ожидания оправдались, Симолин писал Остерману: «Этому человеку следовало бы умереть на два Г9да раньше или позже». Два года назад русский дипломат не знал еще хода к всемогущему депутату, к которому, как оказалось, было так удобно забегать с заднего крыльца. Симолин называл его тогда не иначе, как «современным Катилиной». Между тем Остерман настаивал на том, чтобы русский посол нашел в среде собрания другого такого же влиятельного и доступного члена, которым мог бы заменить Мирабо. Только сделать это было не так просто. Положение Симолина становилось все труднее: он должен был сохранять доб-

рые отношения и с национальным собранием и с королевским двором. В июне 1791 года ему пришлось, как известно, публично осудить поведение русской дамы, г-жи Корф, принявшей участие в заговоре, составленном шведским дворянином графом Ферзенем, чтобы дать возможность бежать королю. На следующий год Симолин увидел, что ему больше уже нечего делать в Париже. Он знал, что Екатерина со дня на день собирается отпустить из Петербурга Женэ. Он тоже представил свои отзывные грамоты, но прежде, чем уехать, решил переговорить конфиденциально с королем и королевой. Свидание произошло в полной тайне. Королева приняла его у себя в спальне, как частное лицо. Он был «во фраке и в плаще». Мария-Антуанетта сама заперла за ним дверь на задвижку, а потом в течение целого часа говорила ему о своих несчастиях и о своей благодарности русской императрице. Тут вошел король и принял участие в разговоре. Он подтвердил, что вся его надежда на Екатерину, «которая была всегда счастлива во всех своих начинаниях». После этого он ушел, но Мария-Антуанетта задержала Симолина еще на два часа, все говоря о чувствах, которые она и король имели к императрице, и жалуясь на «непостоянство своего брата». В конце концов она дала ему письмо к Екатерине и к австрийскому императору. Симолин обещал заехать в Вену, чтобы рассказать там о положении Франции и их величеств. По странной игре случая он превращался таким образом в посланника французской монархии при антиреволюционной

коалиции.

Жизнь же Женэ в Петербурге была непрерывным мучением. Екатерина отказывалась принимать его, министры едва с ним говорили. Привилегии и почет, связанные с его положением, перешли к толпе французских придворных, имевших более или менее официальное назначение при дворе Екатерины: среди них барон Бретейль, принц Нассау, маркиз Бомбелль, Калонн, граф Эстергази были представителями кто – графа д'Артуа, кто – графа Прованского, кто – самого Людовика XVI. Эту последнюю роль играл граф Сен-При, которого между тем представил ко двору поверенный в делах конституционного правительства Франции, т.е. Женэ. Другие прибегли к покровительству австрийского посланника. В сентябре 1791 года Женэ запретили являться ко двору, а в июле 1792 года вовсе изгнали из России. Екатерина не имела, впрочем, никаких иллюзий относительно тех дипломатов, что заменили его. В январе 1792 г., когда маркиз Бомбелль подал Остерману записку о «причинах несогласия между королем и принцами», она написала на полях его доклада: «Во всем этом я вижу только ненависть Бретейля к Калонну. Следовало бы прогонять вон таких советников, как барон Бретейль и Калонн, – также и потому, что он буквально ветреник». Калонн держал себя с таким высокомерием, что, если бы его положение и не было так двусмысленно, то и тогда оно могло бы показаться дерзким. Получая приглашения к обеду к министрам и даже к императри-

це, он позволял себе приезжать на час позже назначенного времени. В Царском Селе Екатерина принимала его запросто, и потому он и в Петербурге вздумал входить в личные покои ее величества без разрешения, тогда как вход в них был воспрещен строжайшим этикетом. Кавалергарды грубо вытолкали его оттуда. Кастера рассказывает, что все называли его обыкновенно «вором». А епископ Аррасский, сопровождавший в Петербург вместе с Дамасом, Эскарром и швейцарским полковником Роллем графа д'Артуа, получил прозвище «meneur». Сам граф д'Артуа играл довольно жалкую роль. Эстергази выставлял напоказ свою бедность и одевал маленького сына, которого Екатерина часто призывала к себе, в заплатанное платье, выпрашивая этим нищенским приемом пособия, хотя ему в них и не отказывали. Бомбелль, напротив, старался поразить всех своей роскошью и несуществующим богатством. Соперничество этих двух лжепослов забавляло весь двор. Только Сен-При, бывший прежде блестящим представителем Франции в Константинополе, сумел не казаться смешным. Екатерина вскоре дала ему тайную миссию в Стокгольм.

Но зато она искренне потешалась глупостью и чванливостью его коллег. Она заставляла маленького Эстергази петь революционные куплеты «Са іга» и «Карманьолу», вознаграждая по-царски его отца за доставляемое ей удовольствие. Эстергази, кроме денежных пособий, получил дом в Петербурге и земли в Вольни и Подолии. Принцам были то-

же выданы значительные субсидии. В июле 1791 года, благодаря императрицу за обещанное им содействие, они обратились к ней с льстивыми словами: «Нет ни одного вида славы, к которому бы не стремилось Ваше Величество. Вы разделяете с Петром Великим честь создания вашей громадной империи, потому что если он первый вывел ее из хаоса, то Ваше Величество, похитив с неба луч солнца, как Прометей, дали ей жизнь». Лесть Екатерина любила и охотно заплатила за нее: в следующий же месяц она выдала принцам 2 миллиона ливров. Но они единодушно нашли, что этого мало: им необходим был миллион рублей. «Тогда, – говорили они, – перейдя Рейн с десятью тысячами человек, мы будем вскоре иметь их уже 100.000; гений Екатерины поведет нас за собой». Но им хотелось, чтобы у этою гения были хорошо золоченые крылья. В Людовике XVI было больше достоинства, чем в братьях: при аресте короля Екатерина передала ему 100.000 ливров, которые имела во Франции, и предложила еще увеличить эту сумму по первому слову царственного пленника. Но Людовик отказался. Принцам же стоило большого труда заставить императрицу вынуть требуемый миллион из своих сундуков. После долгих упрашиваний она послала наконец половину этой суммы через Бомбелля, но к деньгам присоединила наставление, которое могло показаться очень оскорбительным: «Как отказать вам в поддержке, когда вы говорите, что, благодаря этой помощи, освободите вашу родину от жестоких притеснителей? Но зато это усло-

вие, исполнения которого вся Европа ждет от вас». Она не желала, чтоб ее деньги пропадали даром. И в то же время она не колеблясь согласилась признать в сентябре 1793 года графа Прованского регентом королевства, а после смерти маленького дофина наследником престола: «Я считаю постыдным не признавать Людовика XVIII, раз этот Людовик XVII умер», – писала она Гримму. Она всеми силами старалась убедить короля и его сторонников восстановить немедленно монархическое правление во Франции. Это казалось ей, впрочем, делом нетрудным:

«Я утверждаю, – говорила она: – что стоит завладеть только двумя или тремя ничтожными крепостями во Франции, и все остальные падут сами собой. . . Я уверена, как дважды два четыре, что две крепости, взятые открытой силой кем угодно, заставят всех этих баранов прыгать через палку, которую им подставят, с какой стороны захотят. . . Двадцати тысяч казаков было бы слишком много, чтобы расчистить дорогу от Страсбурга в Париж: двух тысяч казаков и шести тысяч кроатов будет довольно».

Неудача, постигшая экспедицию герцога Брауншвейгского, отступление при Вальми, расстройство (la «cascade», как Екатерина выражалась по-французски), вызванное им среди войск коалиции, наконец удивительный успех революционных армий, – все это не смущало ее. Она по-прежнему с огнем и страстью проповедывала энергичную борьбу с «якобинской чернью». Но – также по-прежнему – участвовала в

этой борьбе лишь словами и деньгами: ее же две тысячи казаков все что-то медлили занимать парижскую дорогу. И в последнюю минуту, подписывая уже составленный для них маршрут похода, Екатерина неожиданно отправила их в другое место: она послала их в Польшу. В сущности, как мы уже говорили, одна Польша и занимала ее во всей этой истории. Екатерина только ее и имела в виду, и то, что происходило на берегах Сены, служило для нее лишь удобным случаем, чтобы развязать себе руки на берегах Вислы. Но не она одна смотрела в эту сторону: ее товарищи по борьбе с революцией, прусский король и австрийский император, тоже обратили туда свои взоры, сперва с тревогой, а потом с твердой решимостью не давать Екатерине работать там одной во имя своих личных интересов в то время, как они должны сражаться во Франции за интересы французской и других европейских монархий. Таким образом хищное соперничество участников раздела 1772 года парализовало действия коалиции 1793 года. Польша расплатилась за Францию, и гибель вековой республики утвердила торжество республики юной, только что рожденной Революцией.

И лишь в 1796 году, когда второй и третий разделы Польши были закончены, Екатерина решила наконец послать во Францию своего победоносного генерала, восстановившего в Варшаве порядок на горах трупов: Суворов должен был помериться силами с революционной гидрой. Не во главе двух тысяч казаков, конечно: эти самонадеянные фразы Ека-

терина могла произносить, пока не принимала лично участия в борьбе. Теперь же шестидесятитысячная армия сопровождала победителя Польши. Екатерина хотела, чтобы сам Людовик XVIII присоединился к ее войску, «вместо того, чтобы притворяться мертвым в каком-нибудь немецком городе». Разве подобное поведение подобало королю Франции? «Дай Бог, чтобы это не было с его стороны просто трусость!.. С ней – далеко не уйдешь», – писала Екатерина. Выступив против революции, она уже не останавливалась ни перед какими соображениями или препятствиями. «Прусский король вооружается, что вы думаете об этом? – говорила она в письме к Гримму. – И против кого? Против меня. Чтобы доставить удовольствие кому? – цареубийцам, своим друзьям. Но если этими Вооружениями думают заставить меня остановить мои войска под командой фельдмаршала Суворова, то очень ошибаются. Я проповедую и буду проповедовать, что все монархи должны действовать сообща против разрушителей престолов и общества, несмотря на всех приверженцев презренной противоположной теории, – и мы еще увидим, кто одержит верх».

И в то же время она сама спокойно занималась тем, что разрушала соседний престол: она только делала при этом вид, что считает его созданием революционного духа. «Якобинский клуб» Варшавы, как она называла местную патриотическую партию, был ею затоплен в крови. Но ей приходилось бороться с революцией и у себя дома и, если верить

осведомленности несчастного Женэ, то даже в собственной семье. Женэ приводит в одной из своих депеш довольно странный разговор между великим князем Константином и французским художником Венеллем, которому было поручено написать портрет его высочества:

Великий князь. – Вы демократ, как мне говорили?

Венелль. – Ваше высочество, я очень люблю мою родину и свободу.

Великий князь (со свойственной ему пылкостью и резкостью тона). – Вы правы! Я тоже люблю свободу, и если бы был во Франции, то, право, сражался бы за нее от чистого сердца; но я не смею говорить этого здесь всем. Да и не стал бы говорить, черт возьми! А ваши пошлые эмигранты, ведь они почти все теперь разъехались от нас?

Венелль. – Да, ваше высочество.

Великий князь. – Я очень рад, потому что терпеть их не могу.

Женэ рассыпался при этом в похвалах к чувствам великого князя. Он называл его «горячим демократом».

Но особенно ревностно преследовала Екатерина революционеров среди французов, живших в России. Это видно по ее знаменитому указу от 8 февраля 1793 года.

Вот клятва, которую должны были торжественно принести соотечественники Женэ под страхом быть немедленно изгнанными из России:

«Я, нижеименованный, сею клятвою моею, пред Богом и

Святым Его Евангелием произносимую, объявляю, что был непричастен ни делом, ни мыслью правилам безбожным и возмутительным, во Франции ныне введенным и исповедуемым, признаю настоящее правление тамошнее незаконным и похищенным; умерщвление короля христианнейшего Людовика XVI почитаю сущим злодейством и изменою законному государю, ощущая все то омерзение к произведшим оное, каковое они от всякого благомыслящего праведно заслуживают; в совести моей нахожу себя убежденным в том, чтоб сохранять свято веру христианскую, от предков моих наследованную, NN исповедания, и быть верным и послушным королю, который по праву наследства получит сию корону; и потому, пользуясь безопасным убежищем от Ее Императорского Величества Самодержицы Всероссийской, даруемым мне в империи ее, обязуюся, при сохранении, как выше сказано, природной моей христианской веры, исповедания NN, и достодолжном повиновении законам и правлению, от Ее Величества учрежденным, прервать всякое сношение с одноземцами моими французами, повинующимися настоящему неистовому правительству, и оного сношения не иметь, доколе с восстановлением законной власти, тишины и порядка во Франции последует от Ее Императорского Величества Высочайшее на то разрешение. В случае противных моих сему поступков подвергаю себя в настоящей временной жизни казни по законам, в будущей же суду Божию. В заключение же клятвы моей целую слова и крест Спасителя

моего. Аминь».

«С.-Петербургские Ведомости» печатали в течение некоторого времени список лиц, подчинившихся этому акту. Их было около тысячи. Кроме того, были воспрещены всякие сношения с Францией, даже деловые и торговые, до восстановления в ней монархии. Французским судам не разрешалось заходить в русские порты: Екатерина объявила бойкот республике и революции. Но любопытно сопоставить эти меры с тем впечатлением, которое они произвели на некоторых подданных Екатерины, судя по свидетельству одного склонного к философскому мышлению русского, писавшего много лет спустя:

«Заря науки для нашего отечества начала пробиваться сквозь мрак невежества в конце осьмого десятка протекшего столетия. Сколько бы излиха ни вопияли: „Распинайте французов!“ но они одни гораздо более способствовали нашему научению, нежели совокупно вся Европа. Россия, по воле Петра Великого находившись более полувека под ферулою немецкою, даже и признаков не являла просвещения. Царствованию Екатерины принадлежит вся честь водворения в нашем отечестве полезных наук, которые разительнейшим образом начали иметь влияние на нравственность. Повторю паки: сколько бы старообрядцы, новообрядцы и все их отголоски ни вопияли: „Распинайте французов!“, но Вольтеры не Мараты, Ж.-Ж. Руссо не Кутоны, Бюффоны не Робеспьеры».

IV. Раздел Польши. – Политики Екатерины и панславизм. – Первый раздел был делом принцессы Цербстской, а не русской императрицы. – Роль Пруссии и Австрии. – Кому принадлежала мысль о разделе? – Идея, носившаяся в воздухе. – Австрия делает первый шаг. – Второй и третий разделы. – Роковые последствия преступления. – Одно преступление влечет за собой другие, – Добыча, брошенная псам.

Польша

Говоря о разделе Польши, мы не станем, конечно, возвращаться к тем волнующим и бесплодным спорам, которые столько раз и кстати и некстати поднимались и историей и дипломатией и, по нашему убеждению, никогда не приводили ни к чему. Русские историки круто, от книги к книге, меняли свой взгляд на этот щекотливый вопрос, то объясняя раздел Польши законами этнических группировок, то, проще, – законом права сильного. Это случилось и с самым знаменитым из них, с Соловьевым. Немецкие историки выбивались из сил, чтобы очистить память Фридриха II от обвинения в том, что он был зачинщиком этого дела. Но доводы их с успехом оспаривались в России. Одно только было недвусмысленно установлено и той, и другой стороной: недостойный характер этой политической сделки. Правда, ее старались оправдать соображениями пользы и выгоды для государства, т.е. тем, что называется государственной необходи-

мостью. Но, к несчастью – или к счастью для морали, смеем мы думать, – вопрос о том, отвечал ли раздел Польши интересам участников его, и особенно интересам России в то время, когда их оберегала Екатерина, – остается еще очень спорным. Только с этой точки зрения он и имеет, впрочем, отношение к настоящему очерку, в котором мы и коснемся его в беглых чертах.

Мы не будем останавливаться на соображениях чувства и справедливости. Все знают, что в делах политических они не имеют никакого значения. Есть ли на свете хоть одна великая держава, которая сложилась бы, не разделив кого-нибудь или чего-нибудь в свою пользу? Единственным исключением из этого правила является только одно государство, и именно Польша: она никогда не присоединяла к себе чужих областей, если они добровольно не отдавались ей. Но зато это необыкновенное государство и оказалось не жизненным. «Тот, кто не выигрывает, теряет», говорила Екатерина. Держава, ничего не отнимающая от своих соседей, утрачивает свой смысл. Соседи Польши доказали ей это, взяв ее себе всю, без остатка; и доказали, без сомнения, убедительно.

Мы не станем также касаться вопроса и с принципиальной точки зрения, хотя не может не быть опасным для государства идти вразрез с принципом, который лежит в основе его собственного бытия, составляет сущность его исторического предназначения. Панславизм, говорят его приверженцы, не Просто политическое учение: его неизбежное

осуществление в силу географических и этнических условий вопрос лишь более или менее отдаленного будущего. До семнадцатого века во главе славянских народностей могла стать Польша. Но она утратила эту возможность, и наследие польско-литовской монархии Ягеллонов законно перешло к России. И теперь преемники Екатерины взяли на себя роль защитников общеславянских интересов, борцов за права славянской расы и объединителей всего славянского родственного по духу. Допустим, что это так, и что и история прошлого и понимание настоящего подтверждают это нам, может быть, и неопровержимо. Но тогда как же совместить с этой панславистской программой, от которой Россия не может отказаться теперь, не потеряв значительно больше, нежели две или три провинции, – первый шаг, сделанный в 1772 году к ее осуществлению: известное число славян было тогда, правда, воссоединено (хотя они и не выражали к тому ни малейшего желания), но зато часть их, т.е. плоть от плоти своей, была отдана Россией общим врагам всей славянской расы, одному в числе 3 миллионов поляков, а другому в числе пяти миллионов? Заметим, что Галиция была населена при этом не только поляками; там были также и руссины греческого вероисповедания, настоящие русские, по современному этническому определению. И они до сих пор принадлежат Австрии, несут на себе немецкое иго, и никто не думает о том, чтобы освободить их. Даже софийские славяне, – болгары, а не русские, – и те оказались в этом отношении счастливее.

Но не будем настаивать на этой стороне дела. Есть другая, которая еще ярче обрисовывает его.

Увеличенная на треть Польши, Россия, несомненно, представляет могущественную державу. Но она была могущественна и до 1772 года, и имела зато более удобных соседей. Бессилие Пруссии, когда во главе ее стоял сам Фридрих, против России, когда ею управляла только Елизавета, было доказано Семилетней войной. Русский генерал спокойно, как на прогулке, вошел тогда в Берлин. А такая выходка вряд ли была бы теперь возможна. Другой русский генерал тоже едва не въехал победоносно в Константинополь. Сейчас же путь из Петербурга в столицу Турции очень удлинился: он проходит через Вену, и одним из главных преткновений на нем и служат именно те 7 миллионов славян, отданных в 1772 и следующих годах Габсбургской монархии.

Это еще не все. Положение вещей в Польше до первого раздела было таково, что естественно давало России верховную власть над ней, власть, которая, если бы и не привела рано или поздно к мирному присоединению всей Польши к России, как то полагают многие историки, – то во всяком случае стоила такого присоединения. Когда государство имеет возможность навязывать по собственному выбору для соседней страны правителя вроде какого-нибудь Понятовского, то ясно, что независимость опекаемого народа становится чисто фиктивной. Уже Петр I мог взять себе в окрестностях Вильны или даже Варшавы любую землю, какую бы

пожелал. Но он устоял против искушения, сознавая, что тот народ, которым он был призван управлять, должен уметь ждать. Екатерина не поняла этого в 1772 году. Может быть, тут сказало в ней ее происхождение. И она отнеслась к вопросу, как мелкая принцесса Цербстская или как ребенок, которому показали лакомый кусочек. «Груша была еще не зрелой», по выражению французской поговорки, но это не остановило Екатерину; аппетит ее все разгорался. Фридрих еще больше возбуждал его в ней: она решила попробовать грушу сейчас же, чуть не сломала о нее свои зубы и в конце концов должна была разделить ее с другими.

Что же касается того, кому именно принадлежала идея раздела и по чьему настоянию она была приведена в исполнение, то, во-первых, вопрос этот кажется нам довольно второстепенным, а, во-вторых, благодаря множеству уже давно опубликованных документов, совершенно ясным. Русское Историческое общество напечатало в одном из своих Сборников (LXXII) донесения прусских посланников при Петербургском дворе; но, на наш взгляд, они не дают ничего нового. И прежде было известно из Записок Фридриха, что он посылал в 1769 году в Петербург проект раздела Польши, составленный графом Линаром. Вот где была первоначальная идея раздела, и факт, что в издании Записок 1805 года строки о проекте Линара были пропущены, ясно показывает, что в Берлине понимали все историческое и политическое значение этого документа. Но зато из другого, тоже достоверного

источника мы знаем о совещании, происходившем в Петербурге еще задолго до приезда графа Линара, а именно в 1763 году; на нем председательствовала сама императрица. Граф Захар Чернышев развивал тогда в совете мысль о необходимости воспользоваться первым удобным случаем, например, смертью польского короля, которой тогда все ожидали, чтобы захватить у Польши стратегическую линию Двины, от Полоцка до Орши. Итак, ясно, что Петербург опередил Берлин. Но какая цена этому доказательству? Даже поверхностное знакомство с политическими веяниями той эпохи, с проблемами, занимавшими правительственные сферы в начале восемнадцатого века, и с теми дипломатическими тайнами, которые по справедливости можно было назвать секретами полишинеля, показывает, что ни Фридриху в 1769, ни графу Захару Чернышеву в 1763 году не приходилось напрягать своего воображения, чтобы породить идею... уже давно бывшую достоянием всех. Раздел Польши? Да ведь все о нем говорили после смерти последнего Ягеллона, скончавшегося в 1572 году. Весь вопрос сводится, значит, к тому, чтобы установить, кто сделал первый шаг и первый поднял руку на чужие владения. Была ли то Екатерина? Или Фридрих? Нет, ни он, ни она, – это тоже вполне точно установлено историей. Сделал это третий хищник – Австрия.

С первого же часа своего царствования, как только она вступила на престол, Екатерина начала заигрывать насчет Польши со своим другом, прусским королем. Положим, она

писала в то же время графу Кейзерлингу, представителю России в Варшаве: «Скажите моим друзьям и врагам, что я императрица всероссийская, и что никакая другая воля не может идти наперекор моей, если я чего захочу». Это был тон, котором и следовало говорить преемнице Петра I, на берегах Вислы; но рядом с этим она с нетерпением побуждала Фридриха принять участие в ее игре, чего Петр I, наверное, никогда бы не сделал даже для того, «чтобы освободить прусского короля из рук французов», как объясняла Екатерина свое поведение графу Кейзерлингу. Фридрих не мог, разумеется, желать ничего лучшего, и сейчас же стал искать подходящей арены для совместных с Екатериной действий: он остановился на диссидентах. Россия могла взять на себя защиту православных, а Пруссия – протестантов: таким образом, оба государства вмешались бы во все внутренние дела республики. Но этот выбор был неудачен для Пруссии: Фридрих вскоре убедился в этом. Протестантов в Польше было мало, а православных и униатов очень много. Почувствовав свою ошибку, Фридрих хотел остановить игру, но было уже поздно: Россия зашла слишком далеко. Тогда Фридрих решил смешать карты и, бросив диссидентов, заняться конституционными реформами Польши; но от этого отказалась Россия. Она упорно настаивала на своем праве защищать диссидентов, предоставляя полякам менять свою конституцию, как им угодно. Вот каково было положение дела к концу 1771 года, когда брат Фридриха, принц Генрих Прусский,

появился в Петербурге. Преимущество было на стороне Екатерины, но она напрасно вмешала третье лицо в партию, которую прекрасно могла бы сама довести до конца. Проиграв первую ставку, Фридрих рассчитывал теперь захватить главный куш. Это ему и удалось. И вот каким образом.

Миссия принца Генриха Прусского вовсе не состояла в том, как многие предполагали, чтобы столкнуться с Петербургским кабинетом насчет раздела польских владений. Это видно по инструкциям, данным ему, и по его переписке с братом. Вопрос шел не о дележе, а об умиротворении Польши, в которой слишком энергические действия русских вызвали сильное брожение. Фридрих хотел, чтобы на границах у него все жили в мире. Вообще он мечтал о мире, который дал бы ему возможность собраться с изнуренными силами. Да и на проект графа Линара еще недавно ответили явным несогласием: России, мол, достаточно земель, чтобы думать еще о чужих. Только раз в письме к брату принц Генрих слегка касается вопроса о «возмещении убытков», которого могла бы добиться Пруссия от Польши, но прибавляет, что заговорить об этом при русском дворе едва ли возможно. «Ну, что же, – ответил ему на это король: – не надо в таком случае об этом и говорить». И действительно, об этом так и не поднимали разговора, а беседовали о трудном положении Пруссии, как союзницы России, ввиду конфликта этой последней с Портой, в особенности, если бы Австрия, как она того, по видимому, хотела, вступилась вместе с Турцией за польские

вольности. Фридрих заявил и лично и через брата, что он не станет рисковать ссорой с Австрией и Францией «за соборную шкуру», как вдруг в первых числах января 1771 года в Петербург, точно снег на голову, свалилось неожиданное известие: Австрия заняла военным порядком два польских староства.

Это сразу наладило осложнившиеся было между Россией и Пруссией отношения и развязало им руки. Вот решающее событие этой печальной драмы, толкнувшее всех на путь преступления.

Легко понять волнение принца Генриха. Он бросился к императрице. Екатерина сделала вид, что смотрит на дело шутя. Она стала весело высмеивать ненасытную жадность австрийского дома, но, как бы невзначай, бросила фразу:

«Если они берут, то почему же и всем не брать?»

Смертный приговор над Польшей был произнесен.

Почему бы, в самом деле, не занять Пруссии со своей стороны Вармийского епископства? На этот раз вопрос предлагал принцу Генриху уже граф Захар Чернышев? А так как пруссак колебался, боялся выдать себя и даже ссылался на безупречную корректность брата, который только двинул войска на границы республики, но не позволял себе занять их, Екатерина спросила опять:

«А почему бы их и не занять?»

Впоследствии, беседуя с графом Сегюром, принц Генрих хвалился тем, что не только сумел ответить на эти наме-

ки императрицы, но даже сам их вызвал. Екатерина будто бы воскликнула после этого: «Какая блестящая идея!» Но принц напрасно приписывал себе честь этой блестящей идеи, что видно, впрочем, и по его переписке: идея исходила от самой Екатерины, а толчок ей был дан Австрией.

Отметим, что в первую минуту Фридрих отнесся очень холодно к мысли о разделе; он, положим, давно лелеял ее, но теперь она возвращалась к нему в новой форме и была далеко не так соблазнительна. Вармийское епископство? К чему оно ему? «Оно не стоит и шести пфеннигов». Он желает мира и не станет нарушать его из-за пустяков. «Приобретения Австрии? Польские староства? Такие же пустяки, как и епископство! Стоит ли об этом думать. Да это его и не касается».

Смеялся ли он над своим братом, когда писал и ему в том же тоне? Это возможно. Но вероятнее, что он просто выжидал и исследовал почву, потому что 20 февраля 1771 года он вдруг изменил свое мнение. В этот день он продиктовал своему представителю в Петербурге две депеши, на этот раз уже искренне передававшие его мысли. В одной из них были такие слова: «Ничего не забудьте, употребляйте все возможные для человека средства, чтобы добиться для меня какой-нибудь части Польши... хотя бы ничтожной». Другая была готовым проектом раздела.

С этой минуты он уже не выпускал добычи из рук. Теперь Россия хотела отступить. Граф Панин, к чести своей, указывал императрице на истинный интерес России. Но бы-

ло поздно. Опираясь на Австрию, Фридрих прижал свою союзницу к стене; она должна была выбирать: или общее приглашение трех держав для раздела, или союз Пруссии и Австрии для борьбы с русскими интересами в Польше и в Турции. Екатерине оставалось только подчиниться: но в сущности принудила ее к разделу Австрия, и Австрия была главной виновницей несчастья Польши. Мария-Терезия могла сколько угодно оплакивать тяжелую необходимость «обесчестить свое царствование»: за каждые вновь пролитые слезы она требовала себе только все новые и новые польские земли. Фридрих решил тоже, что его бесчестье выгоднее ему епископства Вармийского.

Екатерина же не плакала. Но зато в ее переписке с Фридрихом за 1771—1772 годы, несмотря на всю интимность тона, не было ни одного прямого указания на затеваемое ими вместе темное дело. Даже самое имя Польши никогда не проносилось, хотя речь шла постоянно о ней. О разделе говорили глухими намеками, как о позорной семейной тайне. Сам Фридрих, вопреки своему цинизму, подчинялся этому правилу. О новых границах несчастной, уже растерзанной на части республики упоминается в первый раз в письме императрицы от 1774 года. И это письмо, в виде исключения, написано не рукой Екатерины.

Второй и третий разделы были естественным последствием первого. Мы уже говорили об этом: одно преступление роковым образом влечет за собой другие. Граф Сегюр на-

прасно писал в 1787 году: «Что говорит вполне в нашу пользу, и в чем я уверен, это то, что императрица решила не допустить нового раздела Польши. Первый раздел, к которому она была принуждена, чтоб избежать войны в Германии, единственное деяние ее царствования, которое ее мучит и за которое она укоряет себя». Раскаяние Екатерины было, по-видимому, искренно, потому что она разрабатывала с Потемкиным проект, имевший целью не более, не менее, как положить конец старинным раздорам с несчастной Польшей и вознаградить ее за обиды, предложив ей земли между Днестром и Бугом. Эта мысль принадлежала фавориту. В феврале 1788 года императрица сообщала Потемкину о начале формальных переговоров с Польшей по этому поводу, о чем она, вероятно, говорила еще раньше с Понятовским во время своего свидания с ним в Каневе. 16 мая из Петербурга был послан в Варшаву проект оборонительного союза. Но Пруссия, успевшая плотно утвердиться в Польше, запротестовала и приняла меры, чтобы помешать миролюбивым планам Екатерины: 29 марта 1790 года ей удалось, опередив Россию, со своей стороны подписать с республикой тоже оборонительный союз. Екатерина все-таки не сдавалась. Но и соглашение с Пруссией оказалось для Польши капканом: на этот раз уже непосредственно из Берлина, Россия получила в 1793 году предложение о втором разделе. В ответ на него Екатерина написала Безбородко:

«Предложение ни с чем не сообразно, потому что, благо-

даря сему прекрасному предложению, мы навлекли бы на себя не только всю ненависть со стороны поляков, но, кроме того, поступили бы вопреки нашим собственным договорам и нашей гарантии, в особенности касательно Данцига. Я подаю голос за то, чтобы оставить это предложение без последствий».

Но проклятие содеянного зла, *der Fluch der bosen That*, как говорят немцы, лежало на ней. Безбородко стал доказывать ей, что, если остатки Польши не будут разделены между тремя державами, заинтересованными в том, чтобы подавить в ней якобинский дух, то революционная зараза, – благодаря сходству рас и языков, – свободно разольется из Польши по всей России. Записка Безбородко к генерал-губернатору Литвы, князю Репнину, показывает, что он подразумевал под якобинским духом: под это понятие он подводил между прочим и стремление польских панов освободить своих крестьян. Екатерина позволила убедить себя. Она, вероятно, уже поддалась в то время другому вредному влиянию: второй раздел Польши был не только политическим актом. Вызвав все эти мучительные для нас воспоминания, мы имеем зато право, думаем мы, говорить о них с некоторой откровенностью и хотя бы мимоходом назвать вещи своими именами: второй раздел Польши был прежде всего добычей, брошенной псам. В один день, по свидетельству самого Безбородко, Екатерина раздала 110.000 душ крестьян из присоединенных провинций, общей стоимостью в 11 миллионов

рублей, если считать по 10 рублей за душу.

Русские писатели уже признают теперь, что в бывших провинциях Польши со смешанным населением польский элемент усилился со времени присоединения к России, так как введение в них русского крепостного права сделало в глазах массы крестьян священным то прошлое, когда они имели личную свободу, еще более ценную для них, нежели свобода политическая.

Такова мораль этой истории.

V. Войны. – Первая турецкая война. – «Борьба слепых с кривыми». – Победа России. – Турция падает до положения второстепенной державы. – Кучук-Кайнарджийский мир – только перемирие. – Екатерина хочет взять Константинополь. – Греческий проект. – Присоединение Крыма. – Вторая турецкая война. – Отрицательный результат. – Война со Швецией мешает планам Екатерины. – Опасное положение России. – «Платья Екатерины становятся слишком широки ей». – Верельский и Ясский мир. – Счастье Екатерины. – Новые воинственные планы. – Индийский проект. – Персидский поход. – Заключение.

Турция. – Швеция.

Первая турецкая война была тоже следствием политики, принятой Екатериной в Польше, – политики, заставлявшей

русское влияние в этой стране служить интересам Пруссии. Порта видела, что распадение Польши неизбежно. А она хотела сохранить себе эту соседа. Она долго протестовала словесно, потом объявила войну. К этому Екатерина была совершенно не подготовлена. Мы уже говорили, что она вступала на престол с миролюбивыми намерениями. Наполовину распущенные и разоруженные, войска ее были неудовлетворительны во всех отношениях: полки не в полном составе, кавалерия без лошадей, артиллерия не обучена, управление войск в полном беспорядке, продовольствие и снаряжение – ниже всякой критики. Порох в большинстве случаев представлял смесь самых разнородных, но мало взрывчатых веществ. Екатерина была, кажется, единственным человеком в России, верившим в русское военное могущество. В Европе Вольтер тоже, по-видимому, один разделял или делал вид, что разделяет ее иллюзии. Но, как говорил впоследствии Фридрих, это была «война кривых со слепыми». Когда князь Голицын взял Хотин в сентябре 1769 г., Екатерина решила, что может теперь диктовать законы всему миру.

«Наверное, – писал Сабатье-де-Кабр герцогу Шуазелю, – у русской императрицы и ее приближенных вскружилась голова. Она только и мечтает, говорит и думает о том, чтобы взять Константинополь. Этот бред доводит ее до уверенности, что ее ничтожная эскадра (кое-как вооруженный флот, который должен был стать в Архипелаге под командование Эльфинстона) наведет ужас на столицу Оттоманской импе-

рии; что стоит только ее войскам появиться, чтобы обратить турок в бегство и занять их позиции; что диверсия в Грузии будет иметь самые страшные последствия в этих областях; что все отпавшие греки ждут, чтобы восстать, только помощи, которую она им посылает, и что все эти действия, вместе взятые, должны в будущем году раздавить турецкого султана и его империю, которой Екатерина II уже распоряжается в своем воображении, как своей собственной. Я не стану доказывать вам всю нелепость этих мечтаний, по которым можно лишь судить, как ошибались все, приписывая этой государыне талант к управлению и к политике: она пришла бы к менее безрассудным планам, если бы этот талант был бы так же действителен, как то можно было предполагать по нескольким остроумным фразам, сказанным ею писателям, по ее ловкому уму, способности к интриге и тому восхищению, с которым все беспричинно относились к очень заурядным событиям, возведшим ее на престол, и ее счастливой звезде, поддерживающей ее на нем».

Но Сабатье ошибся, и именно потому, что приписывал слишком мало значения этой чудесной «звезде» Екатерины. Константинополь, правда, не был взят, но после ряда блестящих побед, каких еще не знала русская армия, Кучук-Кайнарджийский мир (21 июля 1774 г.) довершил торжество России. Порта спустилась в число второстепенных держав. Христианское население Европейской Турции было поставлено как бы под покровительство России. Крым, ставший

независимым, был готов к завоеванию. Россия оставляла за собою обе Кабардии, Керчь, Еникале и Кинбурн. Прутский договор, стоивший так дорого в 1711 году самолюбию Петра I, был разорван, и Польша даже не упоминалась в новом соглашении. Порта должна была молчаливо признать ее первый раздел.

«Когда Румянцов имел счастье заключить Кайнарджийский договор, – писал впоследствии граф Монморен графу Сегюру, – то, как теперь известно, у него было с собою только 13000 наличного войска против армии более чем в 100.000 человек. Такая игра судьбы не повторяется два раза в течение века».

Действительно, ей не суждено было больше повториться. Но Екатерина не отказывалась от своих честолюбивых планов, которые, несмотря на удивительный успех русского оружия, осуществились лишь наполовину. Мысль поднять греческих подданных Турции, очистить себе, при их помощи, дорогу в Константинополь и воскресить древнюю монархию Палеологов не переставала неотступно преследовать ее и после заключения мира. Это был ее знаменитый греческий проект. Екатерина и накануне смерти продолжала мечтать о нем. Идея эта, впрочем, сама по себе не была новой. Еще в семнадцатом столетии серб Юрий Крижанич высказывал ее. В 1711 году Петр тоже был воодушевлен ею, когда начал кампанию против Турции. В 1736 году русский посланник в Константинополе Вешняков указывал на необхо-

димось подобной попытки в случае столкновения с Портой. В 1762 г. фельдмаршал Миних писал Екатерине: «Я могу доказать твердо обоснованными доводами, что с 1695 года, когда Петр Великий впервые осадил Азов, и до часа его смерти в 1725 году, в течение тридцати лет, его главным намерением и желанием было завоевать Константинополь, изгнать неверных, турок и татар, из Европы и восстановить таким образом греческую монархию». Побочная причина, не имевшая ничего общего с политикой, особенно привязала Екатерину к этой химере. В 1769 г., на одном из заседаний совета императрицы, фаворит Григорий Орлов неожиданно попросил слова, чтобы развить план экспедиции в Архипелаг, которая подняла бы окружные греческие племена против турок. Екатерина была поражена: Григорий Орлов очень редко подавал голос, когда дело шло о государственных интересах. Он открыто подчеркивал свое равнодушие к ним; невежество же его и так бросалось в глаза. Это сильно огорчало Екатерину; она упорно продолжала находить в своем любовнике необыкновенные способности и очень жалела, что он не применяет их во славу ее и свою собственную. Но на этот раз он был, по-видимому, хорошо осведомлен и горел желанием блеснуть своими знаниями. Екатерина не только удивилась, но и пришла в восторг. Секрет, впрочем, объяснялся просто. Грек Папазули, служивший у одного из Орловых, много говорил о своей родине и о том, что можно было бы сделать для ее освобождения. Кавалер Сен-Марк, французский офицер,

находившийся прежде на службе у Венецианской республики и потом перешедший в Россию, подтвердил рассказ грека и представил Орловым некоторые документы. Наконец, некто Тамара, по происхождению украинец, разработал план экспедиции с тремя братьями, Григорием, Алексеем и Федором Орловыми. Екатерина сейчас же согласилась с ними. Экспедиция в Архипелаг была вопросом решенным. Но Григорий Орлов должен был остаться в Петербурге.

Пугачевский бунт заставил Екатерину в 1774 году остановить на время исполнение этого плана. Но как только грозный самозванец был уничтожен, она опять вернулась к своей любимой мечте. В 1777 году она – уже вместе с Потемкиным – рассматривала проект завоевания Константинополя. Панин находил этот проект безумным. Но этим он вызвал лишь собственную опалу. А после свидания с Иосифом II Екатерина решилась окончательно. Она написала императору 10 сентября 1782 года:

«Я твердо убеждена, имея безграничное доверие к Вашему Императорскому Величеству, что если бы наши удачи в этой войне дали нам возможность освободить Европу от врагов рода христианского, изгнав их из Константинополя, Ваше Императорское Величество не отказали бы мне в содействии для восстановления древней греческой монархии на развалинах варварского правительства, господствующего там теперь, с непременною условием с моей стороны сохранить этой обновленной монархии полную независимость от

моей и возвести на ее престол моего младшего внука, великого князя Константина».

Иосиф не торопился ответить на это письмо. Он разделял, по-видимому, мнение маркиза Верака, который, извиняясь в 1781 году перед Верженном, что так долго не говорил с ним о любимом плане императрицы, объяснял это тем, что не находит эту идею «достойной ума Екатерины II». «Рожистое воспаление на голове», которым очень кстати заболел император, не позволяло ему довольно долгое время отнестись к предложению союзницы с должным вниманием. Он сделал это лишь два месяца спустя, и Екатерина вряд ли могла быть удовлетворена теми туманными фразами, которые он прислал ей в своем письме. Он находил, что только события войны могут осуществить намерения императрицы. Но в случае успеха, с ее стороны, разумеется, не встретится никогда препятствий к исполнению всех желаний ее величества, «если они соединятся с его собственными».

Тонкий льстец Гримм начал уже называть Екатерину «императрицей греков», хотя она и отрекалась от этого титула. Но это было просто кокетством с ее стороны: на следующий же день после рождения второго сына Павла, в 1779 г оду, она писала любимому поверенному своих тайн: «Этот нежнее старшего, и едва на него пахнет холодным воздухом, прячет носик в пеленки; он любит тепло... ну, да мы знаем с вами то, что мы знаем!..» В то же время она старалась уверить всех, что этот избранный ребенок был совершенно случай-

но назван Константином, и что благодаря такому же слепому случаю ему была назначена в кормилицы гречанка Елена: «Разве позволительно злословить по поводу каких-то имен!.. Следовало ли назвать великого князя А. и великого князя К. Никодимом или Фаддеем? Ведь должны же они были получить по имени? Первый назван в честь патрона того города, где он родился; второй в честь святого, память которого празднуется несколько дней спустя после его рождения; все это очень просто. Случайно имена эти звучны, но к чему злословить? Разве это моя вина? Я не отрицаю ничуть, что люблю благозвучные имена; последнее имя воспламенило даже воображение рифмоплетов... Я послала им сказать, чтобы они отправлялись пасти своих гусей, не занимались бы предсказаниями и оставили бы меня в мире, потому что, слава Богу, я держу теперь мир в руках... и не хочу, чтобы лепетали об идеях, которые не имеют никакого смысла».

Но не думала ли Екатерина положить конец досужему «лепету» тем, что приказала выбить в 1781 году медаль, на которой маленький Константин был изображен вместе с тремя христианскими добродетелями на берегу Босфора, причем Надежда указывала ему на звезду с Востока, а Вера хотела, по-видимому, вести к храму св. Софии. Русский посол в Константинополе, Булгаков, пересыпал в то же время свою дипломатическую переписку указаниями, собранными им из древних пророчеств, по которым пришествие Антихриста совпадало с близкою гибелью Оттоманской империи.

В 1878 году Потемкин поднял вопрос о формальном разделе Турции. Он беседовал об этом и с графом Сегюром, который потом писал в Версаль: «Мы так привыкли к тому, что Россия легкомысленно бросается в самые рискованные предприятия, и счастье при этом неизменно помогает ей, что рассчитать будущие действия этой державы по правилам политической науки невозможно». В 1789 году, после взятия Очакова, Екатерина сказала английскому посланнику Витворту: «Так как Питт хочет изгнать меня из Петербурга, то, надеюсь, он позволит мне удалиться в Константинополь».

В ожидании будущих блестящих побед, Екатерина в 1783 году завладела пока Крымом. План присоединения к России Таврического полуострова был составлен Безбородко, осуществил его Потемкин, но душой его была всецело Екатерина. Надо было видеть, как она одушевляла своих сотрудников, как побуждала их смело идти вперед, не заботясь о том, что будут говорить о них «ибо время благоприятно, чтобы многое сметь». Это она указала Потемкину на порт Ахтиар, превратившийся в Севастополь. Приемы, при помощи которых было приведено в исполнение это смелое предприятие, были, впрочем, не новы для русской политики. Они были еще раньше испробованы в Польше. В Крыму, как и там, у России была своя партия; эта партия выставила своего кандидата в татарские ханы, как и там свои возвели на престол Понятовского; этот кандидат Шагин-Гирей был избран вопреки оппозиции, воплощавшей, – опять как и в Польше, идею

народной независимости, а также и вопреки Турции, после чего Крым был у него куплен за деньги, как покупают теперь англичане владения индийских раджей. И дело было сделано.

Порта хотела протестовать; но союз Екатерины с Иосифом заставил ее до поры до времени придержать язык. Иосиф примирился с совершившимся фактом, надеясь, что в будущем возьмет свое. Но брат его Леопольд сильно взволновался: таким образом Екатерина завладеет теперь и Константинополем, когда пожелает, – говорил он. Но не он был хозяином Австрии. Великий князь Павел тоже был очень встревожен: а что, если Франция посмотрит на дело косо? – Ну, так что ж? – возразила ему на это императрица. Франция, действительно, ограничилась дипломатической демонстрацией: она предложила склонить Порту к признанию присоединения Крыма, под условием обязательства со стороны России не идти дальше и не держать флота в Черном море. Екатерина ответила на это решительным отказом, и тем дело и кончилось. В июне 1787 года Иосифу II, сопровождавшему императрицу в Крым, показали в Севастопольской бухте уже готовую к отплытию эскадру. При виде ее он не мог удержать крика восхищения. А Екатерина, ночуя в Бахчисарае, прежней столице татарских ханов, рассчитала, что отсюда до Константинополя было морем только сорок восемь часов пути. И она поделилась этим соображением со своим внуком Константином.

В эту минуту вопрос о второй турецкой войне был решен императрицей. Первый шаг сделала, правда, Турция, послав в июле 1787 года в Петербург свой ультиматум, очень походивший на вызов, и заключив Булгакова в Семибашенный замок (17 августа того же года). Но Екатерина и Потемкин сделали со своей стороны все, чтоб толкнуть Турцию на этот отчаянный шаг. Непрестанными требованиями, придирадками и унижениями они довели несчастную Порту до такого положения, когда уже не взвешивают шансов борьбы и даже самоубийство предпочитают бездействию. Иосиф II добросовестно подливал масла в огонь, рассчитывая извлечь из этой ссоры что-нибудь выгодное и для себя. Когда граф Сегюр почтительно указывал ему, что напрасно он поддерживает в императрице воинственное настроение, он ответил: «Чего же вы хотите? Эта женщина в исступлении, вы это видите сами; надо, чтобы турки уступили ей во всем. У России множество войска, воздержанного и неутомимого. С ним можно сделать все, что угодно, а вы знаете, как низко здесь ценят человеческую жизнь. Солдаты прокладывают дороги, устранивают порты в семистах милях от столицы без жалования, не имея даже пристанища, и не ропщут. Императрица единственный монарх в Европе, действительно богатый. Она тратит много и везде и ничего не должна; ее бумажные деньги стоят, сколько она хочет».

Относительно солдат Сегюр разделял мнение Иосифа II. Но оба они ошибались, и события не замедлили доказать это.

Войска, собранные Потемкиным в Крыму, годились только для парадов; севастопольский флот был выстроен из гнилого дерева. Алексей Орлов отказался командовать им. Война началась поражениями, и вскоре сам Потемкин пал духом. Он дошел до того, что предлагал эвакуировать Крым. Одна Екатерина держалась стойко. Она ответила фавориту советом взять Очаков: «Возьми Очаков... тогда увидишь, как осядутся, как снег на степи после оттепели, да поползут, как вода по отлогим местам». Она напрягла все свои силы для борьбы. Ей хотелось повторить в Средиземном море блестящие победы 1770 года. Весь юг Европы кишел русскими эmissарами; готовилась экспедиция под командой генерала Заборовского.

Война со Швецией помешала этому походу. Положение казалось в эту минуту совершенно безнадежным. Но Екатерина не теряла мужества. Впрочем, у нее не было выбора, как она говорила: она не могла идти теперь назад, не поступившись своей честью, а без чести ей не нужен был ни престол, ни жизнь.

Взятие Очакова в декабре 1788 года опять подняло в ней гордость и возбудило честолюбивые мечты. В январе следующего года она выражала уже уверенность, что Потемкин еще до конца лета будет в Константинополе. Если бы это случилось, «о том не вдруг мне скажите», – говорила она. Она продолжала думать об этом и в апреле, но неудачи ее союзников-австрийцев разбили эти преждевременные надежды.

И только успех ее собственного оружия немного утешал ее. Суворов и принц Кобургский победили турок при Фокшанах. Суворов, уже один, прославился при Рымнике. Потемкин взял Бендеры: это дело казалось Екатерине самым блестящим во всей войне. Когда же и стены Измаила пали перед русскими, то радость ее не знала границ, и энтузиазм был близок к бреду. Она находила, что все подвиги мировой истории были теперь превзойдены Россией! Но тут скончался Иосиф II (20 февраля 1790 г.), и прусско-австрийский конгресс в Рейхенбахе объявил отделение Австрии от русских интересов. Екатерина не владела собой от негодования. Она винила в измене главным образом прусского короля: отвратительный выскочка, дурак (*dumme Teufel*) называла она его. Когда прусский поверенный в делах Гюттель почувствовал как-то себя на приме во дворце дурно и, падая, поранил себе лицо, она сказала шутя, что Пруссия сломала себе нос на ступенях русского трона.

В марте 1791 года Фридрих-Вильгельм выразил намерение вступить за Турцию, и Екатерина должна была покориться. Воспользовавшись новой победой Репнина, она поспешила заключить перемирие. Но когда конгресс в Систове уже собрался, успех адмирала Ушакова на море опять вернул ее к прежним планам. «Теперь... доказано, что возможность есть идти прямо в Константинополь!» воскликнула она. Но этого мнения не разделяли ни Потемкин, бывший уже при смерти, ни, к счастью, Безбородко, заменивший его на Яс-

ской конференции. Мир был заключен 3 января 1792 года, и все, чего добилась Россия этой кровопролитной войной, было признание присоединения Крыма, в котором она не нуждалась. Впрочем, Россия получала также степи близ Очакова и здесь, между Бугом и Днестром, на месте маленькой разрушенной турецкой крепости Качибей, вырос вскоре русский город: этот город – была Одесса! В этом тоже сказалось удивительное счастье Екатерины.

Но отказалась ли она хотя бы теперь от своей мечты? Нет. 20 марта 1794 года будущий защитник Москвы и фаворит великого князя Павла, Ростопчин, писал русскому послу в Лондоне:

«Мне кажется, что война неизбежна для России, так как ее желает государыня, несмотря на умеренные и миролюбивые ответы Порты. Она настаивает на своей цели и хочет наполнить газеты вестью о бомбардировании Константинополя. Она говорит у себя за столом, что скоро потеряет терпение и покажет туркам, что так же легко войти к ним в столицу, как и совершить путешествие в Крым. Она даже обвиняет иногда князя Потемкина в том, что он по недостатку доброй воли не довершил ее намерения: потому что стоило бы только захотеть».

Екатерина, по-видимому, уже успела позабыть о том, что в течение этой второй турецкой войны, которую она хотела начинать сызнова, ей чуть было не пришлось бежать из своей столицы, так как неприятельская армия подступала к

стенам Петербурга. По словам одного очевидца, сто шестьдесят лошадей стояли всегда наготове в Царском, и императрица ложилась спать со своими драгоценностями в карманах. Эта неприятельская армия, доставившая ей столько тревоги, принадлежала противнику, очень презираемому ею, – шведскому королю.

Война со Швецией, совпавшая со второй Турецкой войной и заставшая Екатерину врасплох в то время, когда все ее военные силы были заняты в другом месте, была тоже результатом ее предвзятого, хорошо нам известного оптимизма. Если бы она выказала немного меньше высокомерия и немного больше осторожности, то легко могла бы избежать этого сюрприза до 1783 года отношения между обеими странами были наилучшими. Екатерина в то время особенно кокетничала со своим стокгольмским соседом. Она хотела сделать его одним из столпов Северного союза, о котором мечтала. Шведский посланник Нолькен, – она говорила с ним очень откровенно на этот счет, – был предметом ее исключительного внимания. Случалось, что он один из всего дипломатического корпуса получал приглашения на малые вечера в Эрмитаж. И как Фридриху – арбузы, так шведам Екатерина посылала стерляди и квас, оцененные ими при их посещении Петербурга. Но эти старания ни к чему ни привели: Густав III колебался разорвать связи, соединявшие его с Францией. Это послужило первым поводом к размолвке. Следующий повод дала вторая турецкая война. У Швеции еще с 1739 го-

да был заключен оборонительный союз с Оттоманской империей. Его можно было, правда, считать нарушенным, потому что в 1768 г. Швеция не шелохнулась и предоставила своей союзнице самой разбираться с Россией и вынести всецело на своих плечах всю тяжесть проигранной кампании. Но в 1788 году Густав нашел удобным вспомнить о том, о чем забывал прежде. Ввиду бессилия Франции, он рассчитывал теперь на поддержку Пруссии и Англии. Донесения Нолькена убедили его в том, что весь северо-запад России остался почти без защиты. В глубокой тайне он снарядил флот в Карлскроне, и шведская эскадра снялась с якоря 9 июня 1788 года.

«Императрица Анна Иоанновна в подобном случае велела сказать, что в самом Стокгольме камня на камне не оставит!»

Екатерина невольно воскликнула это, узнав о появлении неприятельского флота в виду Кронштадта. Но, к несчастью, теперь не могло быть и речи о том, чтобы идти в Стокгольм! Приходилось защищать собственную столицу. «Случайности этой войны и положение Петербурга были таковы, – писал граф Ланжерон в своих Записках: – что шведский король мог явиться туда без большого риска... Он мог быстро пройти те сорок верст, которые отделяли его от столицы; мог даже высадить свою пехоту... потому что императрица выставила против него лишь половину того войска, которым он располагал, и, если даже предположить, что ему не удалось бы перейти Неву, то он мог обстреливать дворец им-

ператрицы с противоположного берега. Не постигаю, как он не попытался этого сделать!» Если бы Густав пришел на четыре дня позже, то ему не пришлось бы обменяться даже выстрелом с русскими: Екатерина, вопреки мнению военного совета, упорно стояла на том, чтобы отправить в Средиземное море весь наличный состав русских военных судов. Впрочем, и суда-то эти едва держались на воде. Что же касается сухопутной армии, то через несколько недель ей удалось собрать около шестнадцати тысяч человек, переслав на почтовых часть полков, взятых Потемкиным для его операций на юге России.

К счастью, вместо того, чтобы действовать, Густав пустился в разговоры. Как Петр III когда-то, он начал чернильную войну, и на этой почве, разумеется, не мог ожидать ничего, кроме поражения. На его бахвальство и высокомерные декларации, в которых он требовал возвращения Финляндии и разоружения России, Екатерина отвечала французскими стихами и комической оперой на русском языке, где под прозвищем Горе-богатыря шведский король был выставлен на общее посмеяние. В то же время агенты императрицы, которых у нее было в Швеции много, и ее сторонники, – которых тоже было немало, – не теряли времени даром, и Густаву пришлось вскоре сражаться на два фронта: в Швеции вспыхнул бунт. Аньяльская конфедерация угрожала его престолу. Он считал себя уже погибшим и погиб бы неминуемо, если бы «слишком раздраженная, чтоб рассуждать здра-

во», по выражению Сегюра, Екатерина не сделала со своей стороны непоправимой ошибки: она раньше, чем следовало, стала праздновать победу и предложила противнику мир, под условием, чтобы мятежная финляндская армия заставила своего короля вернуть Швеции прежние привилегии. Это показалось слишком унижительным для национальной чести и гордости шведов. Густав сейчас же воспользовался высокомерием Екатерины, чтобы пробудить патриотизм в своих подданных. Он стал действовать энергически, сам укрепил Готебург, отразивший после этого нападение датчан, пославших, под видом нейтралитета, войска на помощь русским в силу оборонительного договора, подписанного с Россией в 1773 году. Он добился, кроме того, вмешательства Пруссии и Англии, и к концу 1789 года положение Екатерины было почти безвыходным.

Кампания 1790 года началась для императрицы опять несчастливо. 23 и 24 мая в Петербурге слышалась пальба шведских пушек. Приходилось прибегать к крайним мерам. Кто-то подал даже мысль сформировать отряд из караульных солдат, стороживших правительственные здания. Екатерина прибегала к чтению Плутарха, чтобы черпать в нем бодрость духа, изменявшую ей. Она находилась в непривычном для нее нервном возбуждении: от крайнего отчаяния переходила к радости и не совсем обоснованному самодовольству. Когда победа адмирала Чичагова позволила Нассау-Зигену запереть Густава с его гребной флотилией в бухте, Екатерина

поспешила выслать королю судно со съестными припасами и предложением капитуляции. Но она несколько поторопилась: Густав прорвался сквозь цепь русских судов и нанес в свою очередь Нассау-Зигену страшное поражение при Свенскзунде в день коронации императрицы. Испанский посланник Гальвес предложил тогда Екатерине свои услуги, чтобы начать со Швецией переговоры о мире, и она сейчас же дала ему свое согласие; мир был заключен 14 августа 1790 года на основании *statu quo ante*. Впрочем, одна из статей договора обязывала Россию отказаться от гарантии прежней шведской конституции, т.е., другими словами, признать новый строй, введенный Густавом в 1772 году, по которому он становился самодержавным королем, что, между прочим, и дало ему, вероятно, возможность отстоять свою родину. Это был очень важный пункт для шведского короля, и, таким образом, победителем являлся, несомненно, он. Да и сама Екатерина это понимала, но в письме к Потемкину, отправленном ему на следующий день после подписания мирного договора, она говорила: «Мои платья все убавляли от самого 1784 года, а в сии три недели начали узки становиться, так что скоро нам прибавить должно меру».

Опыт этой войны мог бы показать Екатерине, как опасно предпринимать слишком многое за раз и полагаться на свое счастье и на неудачу других. Но мы знаем, что этот урок не послужил ей на пользу. Не имея предлога возобновить войну с Турцией, о которой усиленно подумывали в Петер-

бурге в 1794 году, Екатерина решилась в 1796 году на персидский поход. Но какую он имел цель? В сущности, весь смысл его был в том, чтобы дать военную славу Платону Зубову, сменившему в 1789 году Потемкина на посту фаворита, и, несмотря на свои двадцать девять лет, желавшему занять его место и во главе военной коллегии. Зубов не имел представления о военном искусстве, видел маневры лишь на парадах, но ему посулили пост военного министра и чин фельдмаршала, если бы войска, командуя которым он числился, оставаясь в Петербурге, одержали где бы то ни было хоть какую-нибудь победу. Во главе армии стал Валериан Зубов, двадцатипятилетний брат временщика, сражавшийся простым поручиком в последней войне с Польшей и потерявший ногу в одной из передовых стычек. Ему дали три миллиона на первоначальные расходы, в которых не обязывали отдавать отчета. Это был обычай, вошедший в силу со времен Потемкина. И чин фельдмаршала, обещанный одному брату, и три миллиона, отданные бесконтрольно другому, – вот единственное, что было реального в этом предприятии. Остальное всецело относилось к области фантазии. У Платона Зубова был, положим, свой план, разработанный им в уборной государыни, которым он, как когда-то Потемкин своими, увлек воображение Екатерины. Но если планы Потемкина бывали тогда близки к безумию, то план Зубова был совершенно сумасшедший. Греческий проект был теперь оставлен: Зубов находил в нем тот непростительный

недостаток, что над ним работал когда-то его великий предшественник в милостях императрицы, и заменил его проектом индийским. Валериан Зубов должен был со своими 20.000 солдат пройти всю Персию до Тибета, оставить там гарнизон; затем, повернув назад, пересечь Анатолию, взять Анапу и отрезать Константинополь от Азии. К этому времени Суворов, перевалив через Балканы, соединился бы с ним под стенами Стамбула, а Екатерина, лично командующая флотом, подъехала бы к Константинополю морем.

Этой затее был дан ход. Валериан Зубов не прошел, правда, через всю Персию, а только приблизился к ней, но все-таки занял часть персидской территории и одержал несколько побед. Вместо Испагани, которую он должен был взять по плану брата, он овладел Дербентом и другими городами. Он посылал в Петербург репортажи, составленные в том же высокопарном тоне, как их писал несколько лет спустя Наполеон. При приезде курьера с театра войны брат его на расспросы окружающих отвечал пренебрежительно: «Пустяки, еще один город взят нами». Но по мере того, как экспедиция подвигалась вперед, положение ее становилось все труднее. Вначале, чтобы приписать себе славу победы при штурме, Валериан Зубов должен был принуждать туземцев защищаться под страхом быть поднятыми на штыки. Но вскоре он встретил уже действительно сопротивление. И он громко стал требовать денег и подкреплений.

Смерть Екатерины положила вовремя конец этой разори-

тельной и фантастической кампании.

Генералам, находившимся под командой Валериана Зубова, Павел послал приказ вернуться как можно скорее в Россию, хотя бы с остатком войска. Брат фаворита не был даже предупрежден об этой мере, и в один неожиданный день очутился без командования и без армии. Таков был конец последней политической мечты Екатерины.

Но судьбы этой императрицы и ее народа были неисповедимы, потому что наступил день, когда мечта эта, воскреснув вновь, получила действительное осуществление: денежные затраты и человеческие жертвы, погребенные ею в песках Закавказья, оказались небесплодными, и безумное предприятие импровизированного генерала, первого поднявшего русское знамя на этом далеком побережье, указало России путь для грандиозных завоеваний, несущих в себе, может быть, залог чудесного будущего.

Книга третья «Друг философов»

Глава первая Любовь к литературе, к искусству, к науке

1. Книги. – Библиотека Дидро. – Библиотека Вольтера. – Любила ли Екатерина литературу? – Две литературные эпохи: вторжение иностранных элементов и реакция в национальном смысле. – Державин и Новиков. – Роль Екатерины в этой борьбе. – Она была ничтожна или печальна. – Почему? – Литературные вкусы Екатерины. – Отчего она не любила Расина? – «Бесполезное испытание» Седена. – Бомарше не вызывает в ней смеха. – Литературная беседа с дворецким. – Екатерина охладевает к французской и увлекается немецкой литературой. – Станный выбор авторов. – Не Лессинг, не Гете, не Шиллер. – Она и в литературе ценит прежде всего политику. – Ее идеи в области литературной критики на целый век идут впереди ее эпохи. – Екатерина в роли мецената. – Русская академия.

Граф Гордт, швед, служивший в прусской армии и взятый в плен русскими, оставил о своем пребывании в Петербурге интересные записки. Первые пять месяцев он провел в тюрьме. Это было в царствование Елизаветы. Вступив на престол, Петр освободил его и пригласил к себе обедать.

– Хорошо ли с вами, по крайней мере, обращались во время вашего заключения? – спросил император. – Не бойтесь, говорите свободно.

– Очень дурно, – ответил швед. – Мне даже не давали книг.

В эту минуту кто-то сказал громко:

– Какое варварство!

Это был голос Екатерины.

В другом месте мы постараемся выяснить, что представляли отношения Екатерины с главными создателями ее популярности в Европе, отношения, о которых говорили много, но которые все-таки мало известны. Вольтер и его товарищи по прославлению и по воспеванию «Северной Семирамиды» требуют от нас отдельного труда. Здесь же мы будем говорить об одной Екатерине.

Она любила книги. Она доказала это. Известно, как она купила библиотеку Дидро. Дора воспел великодушие ее поступка в стихах, вошедших в его «Избранные сочинения» и украшенных виньеткой, на которой амуры, закутанные в меха, мчатся куда-то в санях. Дидро просил 15.000 ливров за свое сокровище. Екатерина предложила ему 16.000, но

с непременным условием, чтобы великий писатель оставался до конца жизни хранителем проданных книг. Таким образом, не покидая Парижа, Дидро сделался библиотекарем Екатерины в своей собственной библиотеке. Ему назначили за это жалованье в 1.000 ливров в год. Это было в 1765 году. Но на следующий год ему денег не заплатили. Такова была общая участь лиц, получавших пособия от монархов, и это происходило везде, не только в России. Но когда Екатерина узнала об этом через Бецкого, то просила его написать ее библиотекарю, что она не хочет, чтобы недосмотр ее чиновников мог принести какой-нибудь ущерб ее библиотеке, и что она передаст поэтому Дидро за пятьдесят лет вперед сумму, предназначенную ею для поддержания и пополнения ее книг, и что, по истечении этого срока, она отдаст вновь соответствующие распоряжения. К этому письму был приложен чек в 25.000 ливров.

Можно себе представить восторг в лагере энциклопедистов. Впоследствии библиотека Вольтера присоединилась в музее Эрмитажа к книгам Дидро. После смерти Фернейского старца Екатерина поручила Гримму купить их у г-жи Дени. Условия были такие: какая-нибудь сумма, по назначению самой императрицы, и статуя Вольтера в одной из зал ее дворца. Г-жа Дени рассчитывала на щедрость Екатерины, столь прославленную ее покойным знаменитым другом, а Екатерина, по словам Гримма, «желала отомстить память величайшего из философов за оскорбления, которые он терпел от

своей родины». Родственники Вольтера, особенно его внуки, Миньо и Орнуа, протестовали против этой сделки, которая, по их мнению, оскорбляла их права и права Франции. Г. Орнуа пробовал даже воздействовать на Екатерину дипломатическим путем. Но императрица на своем настояла. Книги Вольтера входят теперь в состав Императорской Публичной библиотеки, которой были уступлены музеем Эрмитажа. Им отведена отдельная зала. Посредине стоит статуя Гудона, копия той, что украшает в Париже фойе «Comedie Francaisey». Здесь собрано всего около 7000 томов; большинство их в переплетах с корешком из красного сафьяна. Нет почти ни одной книги, в которой не было бы собственноручных пометок Вольтера.

Когдаходишь в эту залу, то невольно, – для этого не надо быть французом, – испытываешь то неопределенное чувство, которое вызывают в нас вещи, поставленные не там, где им подобает быть: этим реликвиям и памятнику одного из величайших гениев, прославивших Францию, место, конечно, не здесь...

Но Екатерина обогатила не только этими двумя библиотеками громадную коллекцию книг и рукописей, которую завещала России. Король Станислав Понятовский был, как мы знаем, человек очень образованный. Вступив на престол, он стремился удовлетворить свои вкусы и внушал их и своим согражданам. Столица Польши много выиграла от этого. В ней и прежде была значительная библиотека, основан-

ная в 1745 году двумя выдающимися учеными и доблестными гражданами, братьями Залускими. Понятовский еще дополнил ее. Но, взяв Варшаву, Екатерина перевезла в Петербург развенчанного короля, а вместе с ним и его библиотеку. Лишив поляков политической свободы, русская императрица решила, по-видимому, что они не нуждаются больше и в книгах.

Так проявляла Екатерина свою любовь к книгам. Но любила ли она также литературу? Этот вопрос может показаться странным. Но он невольно напрашивается, как то будет видно из дальнейшего. Царствование Екатерины совпало со знаменательной эпохой в истории литературного развития России. Предшествующий этой эпохе период – его всецело заполняла громадная фигура Ломоносова – резко отличался от нее. При Елизавете и несколько лет спустя русская литература жадно воспринимала и перерабатывала иностранные элементы; европейская культура входила в дверь или, вернее, бесформенную брешь, прорубленную топором Петра Великого. Но это вызвало неизбежную реакцию в национальном смысле, вступившую в борьбу с западным влиянием. Русский народный гений, загнанный и угнетенный, требовал восстановления своих прав: он стал с открытой враждой относиться к господству иностранной литературы и науки. Главными деятелями этой освободительной кампании против чужеземного ига были поэт Державин и публицист-сатирик и мыслитель Новиков. Но какое участие при-

няла в ней Екатерина? Мы уже знаем что она сделала с Новиковым: она сломала его перо и жизнь; пятнадцать лет заключения в крепости были ее последней наградой за его труды. С Державиным она поступила еще хуже: она сделала из него чиновника и придворного льстеца.

Почему это произошло, объяснить не трудно. У Екатерины был ум, специально и исключительно одаренный для политики и для управления людьми. Принцесса ничтожного немецкого двора, она четырнадцати лет приехала в Россию с твердым намерением стать когда-нибудь всесильной владычицей этой необъятной страны и стала добросовестно готовиться к этой роли, не имевшей ничего общего – судя по тем примерам, которые она имела перед глазами, – с ролью литературного мецената. Поэтому все ее идеи, как и все ее вкусы, были всецело подчинены этому представлению о будущей власти и тем правам и обязанностям, которые с этой властью соединены. Она оценила в Вольтере, когда его слава и сочинения дошли до нее, не очарование его стиля, – была ли она даже способна понимать, что такое стиль? – но то подтверждение, которое она находила в его прозе, прекрасной или некрасивой, как и в его стихах, звучных или проникнутых чувством, или сухих и немзыкальных, безразлично, – своей политической программе, уже смутно слагавшейся у нее в уме. Гармония и даже область чувства, – вне несложных отношений семьи и любовных увлечений, – были для нее чужды. Было, правда, время в начале ее царствования,

когда под влиянием прочитанных ею книг, но главным образом под влиянием ее друга нескольких лет, княгини Дашковой, она хотела принять участие в литературном и научном движении, глухо зарождавшемся вокруг нее. Она даже отдалась ему с обычной ей страстью и стала писательницей и публицистом. Но мы знаем горестное банкротство ее либеральных идей. Та же участь постигла и ее артистические вкусы. Влечение ее к изящным искусствам погибло тогда, как и все ее прежние идеалы: даже бывшее поклонение Вольтеру не уцелело среди них.

Но вернемся пока к ее вкусам. Если выделить Вольтера, то французская литература, долгое время единственная, с которой она была хорошо знакома, далеко не привлекала ее в общем. Она относилась к ней очень разборчиво, предпочитая другим творения Лесажа, Мольера и великого Корнеля. Прежде, чем узнать и полюбить Вольтера, она находила удовольствие в чтении Рабле и даже Скаррона. Но они вскоре опротивели ей, и впоследствии она даже как будто стыдилась того, что познакомилась с ними. Что касается Расина, то она совершенно не понимала его. Он был для нее слишком литературен. Его творчество – искусство для искусства, а это было понятие, непостижимое для Екатерины. Когда она, в свою очередь, стала писать комедии и драмы, то вовсе не думала об их художественной красоте: она занималась в них критикой, сатирой и, конечно, политикой, но только не литературой: она нападала на предрассудки, на пороки, которые

замечала в нравах своих подданных, на идеи, даже на людей, не пришедшихся ей по вкусу, на мартинистов, и, при случае, как мы это видели, и на шведского короля. Ее литературные произведения служили или целям полицейским, или ее военному могуществу. Риторика у нее не существовало, она заменяла ее логикой и своим авторитетом самодержицы, управляющей сорока миллионами людей. Впрочем, среди трагедий Расина была одна, которая ей нравилась, в виде исключения: это «Митридат». Почему – легко догадаться.

Но боевым инстинктам Екатерины и ее склонности к морализированию приходилось постоянно сталкиваться со средой, в которой она жила. В этом отношении очень характерен ее случай с Седеном. Седен понравился ей безыскусственной веселостью и легкой игривостью своих куплетов, особенно выигрывавших под музыку Филидора. У этого ученика Монтескье и Вольтера была большая склонность к оперетке. В 1779 году Екатерина решила использовать для своих целей талант плодовитого и остроумного драматурга. Она предложила ему сочинить для театра Эрмитажа комедию вроде ее собственных сатирических произведений. Гримм и Дидро уговорили Седена согласиться. Он прислал Екатерине комедию «Бесполезное испытание». – «Скажите ему, – написала Екатерина сейчас же Гримму: – что если он напишет, вместо одной, двух или трех, сто пьес, то я все их прочту с жадностью. Вы знаете, что после патриарха я никого так не люблю, как Седена». Но Бецкий, читавший его пье-

су императрице вслух, отнесся к автору гораздо сдержаннее. Он дал понять Екатерине, что «эта комедия, представленная при дворе, произвела бы тягостное впечатление на присутствующих, и что главное лицо играет в ней неблагоприятную роль». Екатерина стала было возражать на эти робкие заявления; она хотела поставить пьесу на сцене, «хотя бы для того, чтобы показать, что она ей больше нравится, чем „Раймонд“». Но Бецкий не сдавался: он находил это второе „испытание“ не только бесполезным, но опасным, и в конце концов Екатерина согласилась с ним. Она велела сказать Седену, что находит его комедию „хорошей, очень хорошей“, заплатила ему за труды 12.000 ливров, но объяснила, что не может разрешить к представлению этот chef d'oeuvre „из осторожности“. „Бесполезное испытание“ не удостоилось даже чести быть напечатанным. Мы не знаем, сохранилось ли оно в рукописном виде.

А несколько лет спустя, когда на сцене появился новый полемист, уже другого несравненно более крупного калибра, нежели Седен, и общество, сначала удивленное и растерявшееся, встретило громом рукоплесканий его комедию, в первые минуты вызвавшую чуть было не скандал, Екатерина сама стала на сторону тех, кто находил это произведение оскорбительным, грубым и опасным.

«Что касается комедии, то, если я буду писать их, – говорила она в своем письме к Гримму, – „Женитьба Фигаро“ не будет служить мне образцом, потому что, после чтения

Jonathan Wilde le Grand, я никогда не чувствовала себя в такой дурной компании, как на этой знаменитой свадьбе. Вероятно, для того, чтобы подражать комедиям древних, они вернули театр к подобным вкусам, которые можно было считать очистившимися с тех пор. Выражения Мольера бывали вольны и происходили от столь же естественной, как и пылкой, веселости, но его мысль никогда не была порочной, тогда как в этой распространенной пьесе все двусмысленности совершенно негодны, и это продолжается три часа с половиной. Кроме того, это ряд интриг, где все придумано, и нет ни искры естественности, при чтении ни разу не улыбнулась».

Но действительно ли дурной тон и скабрёзность так коробили Екатерину в произведении Бомарше? Можно подумать, что она говорила это не совсем искренно, судя по ее собственному рассказу о том неловком положении, в которое она раз попала, благодаря своим литературным оценкам. В течение 1778 года ей чрезвычайно понравилась комедия Вейдмана, неизвестного немецкого автора, под заглавием «Die Schone Wienerin» (Прекрасная Венка). «Три дня подряд, – писала Екатерина Гримму, – я советовала всем пойти ее посмотреть. В конце концов, обедая за круглым столом и не зная, о чем говорить, я сказала Борману, моему дворецкому: – Как вам нравится „Die Schone Wienerin?“ Видели ли вы ее? – Да, aber Gott weiss, das ist zu grob (да, но, Боже мой, да чего это грубо). – Я хотела бы, чтобы у моего дворецкого был такой же тонкий вкус для кушаний, как

и для театральных представлений», – прибавила задетая за живое императрица.

С другой стороны, «Женитьба Фигаро» как раз опровергала обычные упреки Екатерины французскому театру того времени в том, что он, за исключением комедий Седена, нагонял на нее сон, «потому что он холоден, как лед, и манерен до гибели. Нет в нем ни нерва, ни соли». Но если она не любила спать в театре, то не любила там и плакать. По ее приказанию, на сцене Эрмитажа изменили развязку «Танкреда», так как Екатерина находила ее слишком мрачной: она не любила «бойни». Танкред в новой редакции до падения занавеса оставался жив и здоров и даже женился на Аменаиде. Но ведь и в этом отношении Бомарше должен был бы, по-видимому, удовлетворить ее? Поэтому мы думаем, что не отсутствие «нерва» и «соли», а, напротив, слишком острый и едкий язычок Фигаро оскорблял ее. Она начинала понимать, как опасны некоторые опыты, и как полезна порой осторожность. Вскоре над всей французской литературой ею был произнесен строгий приговор, почти равносильный проклятию. В 1787 году, беседуя с принцем де-Линь, она, положим, по-прежнему хвалилась тем, что считает себя «une Gauloise du Nord», но уже прибавляла при этом: «Я знаю только старый французский язык и ничего не понимаю в новом. Я хотела поучиться у ваших ученых господ и сделала опыт: я выписала нескольких сюда; писала другим; но они наскучили мне и не поняли меня, за исключением мое-

го доброго друга Вольтера». Она признавала теперь только Вольтера, который «произвел ее на свет», как она говорила, и «многому научил ее, забавляя», и еще Корнеля, «всегда возвышавшего ей душу». Об остальных, по ее мнению, не стоило и упоминать. К этому же времени относится первое знакомство Екатерины с немецкой литературой, которая, несмотря на происхождение бывшей ученицы Негг Вагнера, была для нее чем-то чуждым и варварским, – да, варварским, как ни странно такое определение по отношению к духовной родине Лессинга, Шиллера и Гёте. в особенности, если сравнивать ее с новой родиной ех-принцессы Цербстской. Но ех-принцесса Цербстская не знала и так и не узнала до своей смерти ни Лессинга, ни Шиллера, ни Гёте. Эти великие современники ее славы остались для нее неведомыми, хотя она и познакомилась с литературным движением, во главе которого они стояли: по-видимому, она не подозревала о самом их существовании. Это произошло потому, что она и тут интересовалась в сущности не литературой: выражаясь французской поговоркой, она искала только «воду для своей мельницы», в которой перемальывала по-своему и идеи и людей, когда то нужно было для ее честолюбия. Но, благодаря этому, ей удавалось делать в немецкой литературе интересные открытия. В 1781 году она напала на героикомическую поэму Морица Тюммеля «Wilhelmine», вышедшую в 1764 году и переведенную на несколько языков; вся Европа читала ее с любопытством. Это памфлет. В то же время Екатерина

читала и роман Николаи, которому подражал Тристан Шанди, «Leben und Meinungen des Magisters Sebaldu Nothanker». Это сатира. Если я найду много немецких книг в таком роде, – писала она по поводу этого романа, – то брошу французские (les plantanes francais du temps present, выражалась она образно по-французски) и составлю себе немецкую библиотеку, не в укор будь сказано его величеству прусскому королю и унижению, в котором он держит немецкую литературу». Она признавала, впрочем, что это Вольтер научил немцев писать. Но Николаи стал с тех пор ее любимым автором. Энциклопедию заменила «Allgemeine deutsche Bibliothek». «Ей-ей, если это не сокровище гения, разума и иронии и всего, что увеселяет ум и рассудок, то я ничего не понимаю, – говорила Екатерина. – Эта германская литература оставляет всех далеко позади себя и идет вперед гигантскими шагами». Немецкие фразы, которыми она и прежде пересыпала свою переписку с Гриммом, теперь встречались в ее письмах все чаще. В июле 1782 года она советовала ему прочесть сатирический роман – опять сатиру! – Виланда («Geschichte der Abderiten»). Кажется, этот роман был единственным произведением знаменитого поэта, на которое она обратила внимание. Да и то она заметила его не сразу, потому что книга Виланда появилась в 1773 г. «Die armen Leute», – говорила она по-немецки (мы знаем, кого она так называла), – не могут указать у себя ни на одну книгу, которая бы равнялась этой, с тех пор, как мой учитель умер».

Вот каковы были ее познания и суждения в области литературы. Она читала, впрочем, очень много, но никогда не заботилась о том, чтобы подчинить свое чтение известному порядку или системе. Выбор книг, был у нее обыкновенно чисто случаен. Она читала Корнеля и Шекспира, Мольера и Гиббона, Сервантеса и Дидро, аббата Галиани и Неккера, Монтескье и Палласа, Лагарпа после Пиндара и английские сказки Локмана после Плутарха. Но неужели все ее воззрения на литературу так и не имели никакой цены? Нет, этого нельзя сказать. В них было одно большое достоинство, которое, как мы уже говорили, составляло сущность ума Екатерины: свойственный ей здравый смысл. И этот здравый смысл порою делал чудеса. В 1779 году, после смерти Вольтера, она настаивала на том, чтобы творения «ее учителя» были изданы в хронологическом порядке, по мере того, как они выходили из его головы». По этому поводу у нее разыгралась острая ссора с Гриммом. Екатерина допускала даже необходимость расчленять отдельные произведения, если только они были написаны не сразу, а частями, «чтобы все появлялось из-под печатного станка, как из-под его пера. Иначе никто ничего не поймет». Таким образом она чуть ли не на целый век опередила свою эпоху, так как этот взгляд на издание полных собраний сочинений стал преобладать в области литературной критики лишь за последние годы.

Но заниматься критикой было не ее делом: она прежде всего должна была управлять Россией, а России того време-

ни нечего было и думать о том, чтобы вести за собой Европу по пути умственного и художественного прогресса; Россия могла только идти вслед за Западом, и то на громадном расстоянии, стараясь по возможности догнать его, однако, не подражая ему рабски, хотя и вдохновляясь созданными им образцами, развивать свой национальный литературный гений. Что же сделала Екатерина, чтобы облегчить эту задачу, как то приказывал ей ее долг, и как она мечтала о том в те светлые дни, когда приняла титул «Северной Семирамиды», и когда Вольтер говорил, что солнце, освещающее мир идей, перешло с Запада на Север? Мы думаем, что для монарха – лучший способ покровительствовать литературе – это дать ей произрастать в мире и не вмешиваться в ее дела. Но Екатерина думала иначе. В этой области, как и во всех остальных, она стремилась проявить свою личную инициативу и неограниченную власть. Напрасно она говорила, что у нее республиканская душа; свободная республика печати превратилась у нее в монархию, управляемую ее деспотической волей. Но создала ли она хоть одну литературную силу или славу, содействовала ли успеху какой-нибудь книги, которая могла бы идти в уровень с творениями писателей, так справедливо украсивших царствование Елизаветы? Нет. Рядом с Ломоносовым и Сумароковым, прославившимися еще в предыдущее царствование, ей некого было поставить. Екатерина только приняла это литературное наследство прошлого и сейчас же заставила его служить своим личным ин-

тересам, не имевшим ничего общего с целями искусства и литературы. Ломоносов, уже сильно постаревший, был для нее вывеской, а Сумароков – его подражания французскому театру она зло высмеивала – объектом для нападок. Пожалуй, у Державина был дар великого поэта, но она этого не подозревала и так обращалась с ним, что он сам перестал это подозревать. «Фелица», поэма, доставившая ему литературную известность, не что иное, как написанный по заказу памфлет, наполовину панегирический, наполовину сатирический. Панегирик относился, разумеется, к императрице; сатира – к некоторым из придворных, самолюбие которых Екатерина находила нужным пощекотать и которым она немедленно разослала экземпляры поэмы, подчеркнув в ней относящиеся до них места. К концу ее царствования Державин был уже просто шутком в передних фаворита Платона Зубова. Серьезными соперниками Ломоносова, боровшимися с иностранным влиянием, которому подчинялся и Сумароков, и Херасков, автор «Россиады», и Богданович, воспроизведший в своей «Душеньке» надоевшие всем до приторности эпизоды любви Психеи, можно назвать Княжнина, Фонвизина, Лукина, давших народному театру несколько интересных пьес. Княжнин написал «Хвастуна», комедию, оставшуюся классической в русской литературе; в «Вадиме Новгородском» он сделал первый опыт исторической драмы, взяв ее сюжет всецело из первоисточников народных преданий. Фонвизин, этот российский Мольер, осмеял в «Бри-

гадире» образование московских Триссотенов, почерпнутое из чтения французских романов; в «Недоросле» – воспитатель аристократической молодежи, которых за большие деньги выписывали из-за границы. Но этот национальный театр оставался для Екатерины чуждым. Она никогда его не посещала и только за последние годы, – по случайной ли прихоти, или из политических видов, – заинтересовалась постановкой русских исторических хроник.

В общем же она так мало покровительствовала литературе, и национальной и всякой другой, что сотрудники «Собеседника», периодического издания, основанного княгиней Дашковой, не решались подписывать своих статей, хотя сама императрица работала вместе с ними в этом журнале. И они были правы, потому что помнили судьбу князя Белосельского, написавшего изящное «Послание французам» и получившего от Вольтера лестный ответ, что лавры, «брошенные князем соотечественникам Фернейского философа, возвращаются к автору»: он призван Екатериной в Петербург и разжалован, – Белосельский служил посланником в Турине, – за то только, что был умен, что доказывал в своих депешах, и писал красивые стихи. Княжнин тоже испытал на себе, что значит писать русские исторические драмы. Его «Вадим Новгородский» был конфискован по приказанию императрицы и чуть было не сожжен рукою палача.

Академия, основанная в 1783 году по образцу французской и по внушению княгини Дашковой, – единственный

памятник, которым русская литература обязана государыне, давшей России так много во всех других отношениях. Этой академии было поручено выработать правила правописания, грамматики и просодии русского языка и поощрять изучение истории. Работа ее началась, разумеется, с составления словаря, и в этом труде сама Екатерина приняла участие.

II. Отношение Екатерины к искусству. – Недостаток знания и дарования. – Что она понимает в музыке? – Камерная музыка с девятью собаками вместо солистов. – Опера ее величества. – Паизиелло. – Екатерина как коллекционер. – Она не «любительница», она «жадна до ненасытности (glouton)». – Покупки и заказы. – Музей Эрмитажа. – Посторонние влияния. – Любовь к резным камням прекращается со смертью Ланского. – Мамонов тоже любит камни. – Платон Зубов любит только деньги. – Страсть к строительству. – Почему Екатерина ставила так низко французских архитекторов? – Она была совершенно лишена чувства прекрасного. – Екатерина и Фальконэ. – Екатерина и русские художники. – Смерть Лосенко. – Все только для показа.

«Трагедия ей не нравится, комедия для нее скучна, она не любит музыки, стол ее лишен всякой изысканности; игрой она занимается только для вида; в садах она любит одни

розы; она увлекается только строительством и управлением своего двора, потому что ее любовь царствовать над людьми и играть роль в мире – не любовь, а страсть».

Так нарисовал в 1773 году французский поверенный в делах Дюран портрет великой Екатерины. Он судил верно, особенно в том, что касалось искусства. Был ли это недостаток знаний у необыкновенной императрицы, или недостаток природных способностей? Вероятно, и то и другое. Она сама это сознавала. В 1767 году, когда Фальконэ представил ей эскиз статуи Петра Великого, она наотрез отказалась высказать о памятнике свое мнение: она ничего не понимала в скульптуре и отослала художника к суду его собственной совести и потомства. Но Фальконэ продолжал настаивать:

– Мое потомство – ваше величество. До другого мне нет дела.

– Нет! – возразила Екатерина. – Как вы можете полагаться на мою оценку? Я не умею даже рисовать! Может быть, это первая хорошая статуя, которую я вижу в жизни? Последний школьник понимает в вашем искусстве больше меня.

Когда дело шло об искусстве, она вообще часто ссылалась, и в разговоре и в письмах, на свое незнание и неумение судить, что шло вразрез с ее самостоятельным умом и нравом.

Она держала у себя оперу, актеров для которой набирала по всей Европе, платила громадное жалованье звездам, – а их требовательность и в те времена не знала границ, – но признавалась, что лично ей они не доставляют удовольствия.

«В музыке, – писала она, – я не подвинулась вперед сравнительно с прежним. Из звуков я различаю только лай девяти собак, которые поочередно имеют честь помещаться в моей комнате, и из которых я каждую издали узнаю по голосу; а что касается музыки Галлупи, Паизиелло, то я ее слушаю и удивляюсь звукам, которые они сочетают вместе, но я ее не понимаю».

Впрочем, некоторые комические оперы Паизиелло очень нравились ей. Она любила этот жанр. «Пульмония» привела ее в восторг, и она даже запомнила несколько мотивов, которые и напевала, когда встречалась с маэстро.

Но иногда ее деспотические инстинкты проявлялись даже в этой области, бывшей, по собственному ее признанию, ей чуждой; и тогда, словно чудом, она становилась изобретательной, и вдохновение ее не было лишено известного очарования. Взгляните на эти строки, написанные ею в годы ее первых побед над Турцией:

«Так как вы говорите мне о празднествах мира, то послушайте, что я вам скажу, и не верьте ни слову из того, что газеты рассказывают вам смешного. У нас составили прежде проект, походивший на все празднества: храм Януса, храм Вакха, храм дьявола и его бабки и аллегии, невыносимые и глупые, потому что они были слишком грандиозны; все это были гениальные затеи, но в них не было здравого смысла. Рассердившись на все эти прекрасные и великие проекты, которые мне не нравились, я призвала в одно прекрас-

ное утро Баженова, моего архитектора, и сказала ему: „Друг мой, в трех верстах от города есть луг; представьте себе, что этот луг – Черное море; что из города к нему ведут две дороги; так пусть одна из этих дорог будет Танаисом, а другая Борисфеном: в устье первого вы построите банкетную залу, которую назовете Азовом; в устье другого – театр, который назовете Кинбурном; вы начертите песком Крымский полуостров; поместите в нем Керчь и Еникале в виде бальных зал; налево от Танаиса устройте буфеты с вином и мясом для народа; напротив Крыма будет иллюминация, представляющая радость обеих империй по поводу восстановления мира; из-за Дуная вы пустите фейерверк, а на площадке, которая должна изображать Черное море, расставьте и рассеете лодки и иллюминированные корабли. И у вас получится празднество без воображения, но, может быть, такое же прекрасное, как многие другие, и зато гораздо более естественное“.

В этом плане праздника действительно много непосредственности, и непосредственности прелестной, – но в нем тоже много и политики, как и во всем, о чем думала или что делала Екатерина. Все ее стремления в области литературы и искусства вели туда. Она собирала в Эрмитаже большие художественные коллекции, но говорила откровенно, что делает это не из любви к тем прекрасным произведениям искусства, что наполняли у нее ряд галерей и кабинетов, специально выстроенных для них. Можно наслаждаться только тем, что понимаешь, а красота картин и статуй была чуж-

да Екатерине. Но она знала, что великим государям подобает иметь такие вещи у себя во дворцах. Все ее знаменитые предшественники, все монархи, славе которых она завидовала или которой добивалась, с Людовиком XIV во главе, покровительствовали искусству. Но, говоря о своих приобретениях, особенно частых в первую половину царствования, когда она выполняла заданную себе программу царственного великолепия, она сказала раз фразу, которая могла бы быть злой эпиграммой на нее, если бы не она сама ее произнесла: «Это не любовь к искусству, – говорила она: – это жадность. Я не любительница, я только жадна (*je suis glouton*)». В 1768 году она купила в Дрездене за 180.000 рублей знаменитую галерею графа Брюля, бывшего министра польского короля. В 1772 году она приобрела в Париже коллекцию Кроза. Дидро писал Фальконэ по этому поводу: «Ах, мой друг Фальконэ, как все у нас переменилось! Мы продаем наши картины и статуи во время мира, а Екатерина покупает их во время войны. Науки, искусства, вкус, мудрость поднялись к Северу, а варварство со своей свитой спускается к Югу. Я только что покончил важное дело: это приобретение коллекции Кроза, увеличенной его потомками и известной теперь под именем галереи барона Тьера. Здесь есть вещи Рафаэля, Гвиди, Пуссена, Ван-Дейка, Снейдерса, Карло Лотти, Рембрандта, Вувермана, Теньера и т.д., в числе около тысячи ста полотен. Они стоят Ее Императорскому Величеству 460.000 ливров. Но эти деньги не составляют и половины их настоя-

щей цены».

Обычное ее счастье и тут благоприятствовало Екатерине. Три месяца спустя только пятьдесят картин тех же мастеров были оценены в Париже в 440.000 ливров на распродаже галереи герцога Шуазеля. Сама Екатерина тоже купила тогда две картины Ван-Лоо через г-жу Жоффрен: «Испанский разговор» и «Испанское чтение» за 30.000 ливров. Правда, она сделала это, может быть, для того, чтобы угодить влиятельной француженке, выигравшей на этом торге в свою пользу две трети суммы. В 1771 году Екатерину постигло несчастье с купленной ею в Голландии коллекцией Браамкампа за 60.000 талеров: она погибла у берегов Финляндии вместе с судном, на котором ее везли. Но Екатерина жалела при этом, кажется, больше о деньгах, заплаченных за картины, нежели о них самих. Зато ей удалось купить все камеи герцога Орлеанского. Через Дидро и Гримма она делала французским художникам постоянные заказы: Шарден и Верне посылали ей свои пейзажи, Гудон – «Диану», которой отказали в чести быть помещенной в Лувре, так как нашли ее слишком раздетой; в Вене для нее писали плафон для большой лестницы Царскосельского дворца; живописец по эмали Майльи работал над художественным письменным прибором для Георгиевской залы; он требовал за него 36.000 ливров и долго не хотел выдавать работу. Чтобы принудить его к этому, пришлось прибегнуть к вмешательству дипломатии. В 1778 году Гунтербергер и Рейффенштейн делали для Екатерины

в Риме копии с ватиканских фресок Рафаэля: она отвела в Эрмитаже галерею с ложами подходящей для них величины, и так как они были написаны на полотне, то не пропали при перестройке дворца. Они находятся там и сейчас. В 1790 году, посылая Гримму свой портрет «в меховой шапке», она писала ему: «Вот вам еще кое-что, чтоб поместить в ваш музей; а мой, в Эрмитаже, состоит теперь из картин и лож Рафаэля, из 38.000 книг, четырех комнат, наполненных книгами и эстампами, из 10.000 камней, около 10.000 гравюр и из кабинета естественной истории, расположенного в двух больших залах. Все это соединено с прелестным театром, в котором все видно и слышно чудесно, и где удобно сидеть и нет сквозняков. Мой маленький уют таков, что, чтобы обойти его кругом из моей комнаты, надо сделать три тысячи шагов. Там я гуляю, но среди вещей, которые люблю и которыми наслаждаюсь, и эти зимние прогулки и поддерживают мое здоровье и бодрость».

Этот музей был создан исключительно ею. Чтобы наполнить Эрмитаж, ей приходилось бороться с большими трудностями, потому что, как ни легко она творила деньги, все-таки могущество ее в этом отношении было бесконечно только в пределах ее собственного государства, а за границей русские ассигнации много теряли в цене. Поэтому в 1781 году ей пришлось приостановить свои покупки. Она писала тогда Гримму: «Повторяю вам вновь мое решение не покупать больше чего бы то ни было, ни картины, ничего; мне

больше ничего не нужно, и поэтому я отказываюсь от Корреджио „божественного“. Но это была клятва „жадной“, равносильная зароку пьяницы! С этой минуты в душе Екатерины поднялась жестокая борьба между ее любовью к коллекционерству, превратившейся у нее в сильную страсть, и сознанием, что надо быть экономной. И в большинстве случаев первая побеждала второе. Письмо к Гримму, которое мы приводили выше, было помечено Екатериной 29 марта, а уже 14 апреля мы читаем в письме императрицы к ее другу и комиссионеру следующие строки: „Если господин „божественный“ (Рейффенштейн) пришлет нам сюда, прямо в Петербург, несколько прекрасных-распрекрасных античных камней в один, два или три цвета, вполне хорошо гравированных и сохранившихся, то мы были бы бесконечно обязаны тем, кто бы их нам доставил. Это не называется покупать, но как быть?“ 23 апреля Екатерина писала опять: „Постойте, что бы вы ни говорили, как бы ни бранились, мне нужны два экземпляра раскрашенных эстампов по списку, который я вам только что составила“.

«Господь мой, могу сказать, что добрые намерения Твоей помазанницы очень не тверды!» – заметил на это лукаво Гримм в своем ответе. Он, впрочем, прекрасно знал, что вызвало этот новый приступ «жадности» в Екатерине. Коллективное «мы» было употреблено ею и письме не только в виде шуточного оборота речи. «Жадных», о которых она говорила, было в то время действительно двое. Фаворита Корсако-

ва, неотесанного и грубого, сменил в конце 1780 года красавец Ланской, человек утонченного воспитания и вкусов. Ланской страстно любил камеи и эстампы. Засыпая новыми поручениями Гримма в июле 1781 года, Екатерина объясняла ему, что все эти покупки делаются не для нее, «а для жадных людей, ставших жадными оттого, что они часто со мною бывают». Деньги платила, положим, она, или, вернее, Россия. В 1784 году она было опять пришла к решению ничего не покупать больше, потому что стала бедна, как церковная мышь. Но Ланской послал тогда от себя Гримму 50.000 ливров «на покупку картинной галереи» и обещал прислать вскоре еще большую сумму. Так дело шло довольно долго. Правда, в том же 1784 году всякие покупки вдруг резко прекратились на время: Екатерина не хотела видеть камей, ни всего напоминавшего их. Ланской умер, а вместе с ним умерла и любовь императрицы к вещам, в которых она, смело в том признавалась, не понимала толку. Но с апреля 1785 года все вернулось к прежнему порядку. Екатерина просила опять Гримма приобрести для нее, и как можно скорее, знаменитую в то время коллекцию камей барона Бретейля. Что же случилось? А то, что место Ланского занял Мамонов, унаследовавший вместе с новым положением и художественные вкусы покойного фаворита. И только в 1794 году этой перемежающейся лихорадке был положен решительный конец. «Я не куплю больше ничего, – писала Екатерина 13 января. – Я хочу расплатиться с долгами и копить деньги; поэто-

му отказывайтесь от всех предложений, которые вам будут делать». В это время в сердце Екатерины царил уже Платон Зубов, любивший из гравированных вещей только золотые червонцы с изображением своей августейшей подруги.

Но Екатерина не только собирала коллекции; она занималась также и строительством, и можно сказать, что занималась им по преимуществу. Притом она строила исключительно для своего удовольствия, как на это указывал в 1773 году и Дюран. Мы помним, как судил принц де-Линь о познаниях императрицы в области архитектуры. Но если у нее не было ни вкуса, ни чувства пропорции, то было много увлечения. Художественное чутье она заменяла пылкостью, и качество – количеством. «Знайте, – писала она в 1779 году, – что строительная страсть сильнее в нас, чем когда бы то ни было, и ни одно землетрясение не разрушало столько зданий, сколько мы их возводим». Она прибавляла при этом меланхолическое размышление на немецком языке: «Строительная горячка – дьявольская вещь; она поглощает деньги, и чем больше строишь, тем больше хочешь строить; это болезнь, как пьянство».

Около этого времени она выписала из Рима двух архитекторов. Джакомо Тромбара и Джеронимо Кваренги. Она объясняла Гримму, почему ее выбор остановился именно на них: «Я хотела иметь двух итальянцев, так как у нас есть французы, которые знают слишком много и строят дома уродливые и внутри и снаружи, потому что слишком мно-

го знают». Опять ее высокомерное презрение к знанию и ее склонность к импровизации! Впрочем, это не мешало ей часто обращаться и К ученому Клериссо, который посылал ей планы дворцов в римском вкусе. Перронэ составил для нее проект моста через Неву; Буржуа – план маяка для Балтийского моря. В 1765 году она заказала Вассэ залу для аудиенции в 120 футов длины и 62 ширины.

Но при всем том покровительствовала ли она вообще художникам, все равно, были ли они архитекторами, живописцами или скульпторами? Фальконэ лучше было бы не спрашивать об этом, когда он вернулся из Петербурга: ответ его был бы слишком горек. Мы расскажем в другом месте, чем было его пребывание в столице России, в этом городе Петра Великого и Екатерины, обязанном ему своим лучшим украшением. Мы постараемся тогда выяснить, как сложились первоначально и во что превратились впоследствии его отношения к государыне, бывшие сперва со стороны Екатерины более чем любезными и кончившиеся хуже, чем равнодушием. Скажем здесь, что, лишенная совершенно чувства прекрасного, Екатерина не была способна понимать и душу артиста. Фальконэ понравился ей в первую минуту самобытным и немного парадоксальным складом ума и главным образом причудливостью своего нрава; но вскоре он надоел ей и кончилось тем, что он стал ее раздражать. Он был слишком художник, на ее взгляд. А она несколько своеобразно рисовала себе роль тех людей таланта, которых при-

зывала для украшения своей столицы. Она наивно говорила в одном из своих писем к Гримму: «*Si il signor marchese del Grimmo volio mi fare* (вместо *vuol farmi*) удовольствие, он будет так добр написать божественному Рейффенштейну найти для меня двух хороших архитекторов, итальянцев по происхождению и искусных по профессии, которых наняли бы на службу к Ее Величеству русской императрице по контракту на столько-то лет и отправили бы из Рима в Петербург, как пакет инструментов». Они и были для нее именно инструментами, которые употребляют, пока они годны, и выбрасывают в окно, когда они иступятся, или когда найдутся лучшие или более удобные под рукою. Так она поступила и с Фальконэ. Но вернемся к ее письму к Гримму. Она продолжает: «Пусть он (Рейффенштейн) выберет людей честных и рассудительных, не таких сумасбродов, как Фальконэ, и которые ходили бы по земле, а не по воздуху». Она не хотела чтоб они парили в вышине. «Микель Анджело, – сказал справедливо один французский историк, – не остался бы и трех недель при дворе Екатерины».

И, чтобы остаться при этом дворе в течение двенадцати лет, надо было иметь незаурядную силу воли Фальконэ и его искреннюю страсть к начатому им делу, в которое он вложил всю душу. Но зато, когда он уехал из Петербурга, он был разбитым человеком... Если не считать Фальконэ, Екатерину окружали только посредственности из иностранных художников: Бромптон, английский живописец, ученик

Менгса, Кениг, немецкий скульптор, пользовались ее милостями. Бромптон писал аллегии, восхищавшие императрицу, потому что это были аллегии политические. «Он сделал портреты двух моих внуков, и это прелестная картина: старший забавляется тем, что хочет разрубить Гордиев узел, а другой – дерзко надел себе на плечи знамя Константина». Кениг удачно вылепил бюст Потемкина. Г-жа Виже-Лебрен, приехавшая в Петербург в 1795 году, имея за собой уже европейское имя, была везде встречена с большим почетом; но Екатерина обошлась с ней холодно. Императрица находила ее общество неприятным, а картины настолько слабыми, что «только тупой человек мог бы писать таким образом», – говорила она.

А русские художники, – как она относилась к ним? Искала ли она среди них самородков, поощряла ли их таланты, ценила ли их? Произвести подсчет русским знаменитостям в этой области за время царствования Екатерины нетрудно. Это был, прежде всего, Скородумов, гравер, изучавший свое искусство во Франции; в 1782 году она выписала его к себе на службу из Парижа. Один путешественник-иностранец (Фортия де-Пиль) нашел его несколько лет спустя в пустой мастерской за полировкой медной доски для жалкого рисунка, заказанного ему по случаю какого-то торжества. Скородумов объяснил итальянцу, что в Петербурге не было подмастерья, способного заменить его в этой черной работе, и очень удивлялся, что нашелся человек, который интересу-

ется его делом: он уже примирился со своим приниженным положением. Затем скульптор Шубин, которого тот же путешественник застал в узкой студии, без моделей, без учеников и почти без заказов: он работал над бюстом кого-то адмирала, обещавшего заплатить ему за труды 100 руб., тогда как одного мрамора должно было пойти на бюст рублей на восемьдесят. Наконец, художник Лосенко. Вот что говорил о нем Фальконэ:

«Этот бедный, честный юноша, униженный, голодный, мечтавший поселиться где-нибудь вне Петербурга, приходил ко мне поговорить о своих несчастьях; потом он отдался пьянству с отчаяния и был далек от того, чтобы подозревать, что ждет его после смерти: на его надгробном памятнике написано, что он был великим человеком!»

Екатерине был нужен великий художник, чтобы дополнить ее славу, и она получила его дешевою ценой. Когда Лосенко умер, она охотно присоединила его апофеоз к своему величию. Но она не сделала ничего, чтобы дать ему возможность жить. Все ее заботы об искусстве сводились в сущности к чисто показной стороне. И с этой точки зрения «божественный» Рейффенштейн, имя которого было известно всей Европе, стоил в ее глазах, конечно, дороже, нежели безвестный Лосенко, хотя оба они были только хорошими копировальщиками, а не творцами. В общем национальное искусство обязано Екатерине только несколькими моделями Эрмитажа, послужившими для изучения и подражания рус-

ским художникам. Но, кроме этих моделей, она не дала ему ничего: даже куска хлеба.

III. Знаменитые ученые в царствование Екатерины были все иностранцы. – Отсутствие русских имен. – Чья в том вина? – Роль, отведенная Екатериной науке. – Маяк или глухой фонарь? – Официальная наука. – Две эпохи царствования. – Либерализм и реакция. – Покровительство историческим изысканиям. – Князь Щербатов. – Болтин. – Голиков. – Татищев. – Личные экскурсии Екатерины в области истории. – Удивительные открытия. – Салический закон – закон славянский. – Почему Хильперик был лишен престола? – Как искусства зародились в Сибири. – Переписка по этому поводу с Бюффеном. – Екатерина разочаровывается в науке и ученых. – Ее последние труды. – Доктор и магистр виттенбергского университета.

Екатерина любила выдавать себя за покровительницу наук и ученых. В 1785 г. она повторила с Палласом свой великодушный поступок по отношению к Дидро. Когда она предложила ему купить его коллекцию по естественной истории, он спросил за нее 15.000 рублей, чтоб дать их в приданое своей дочери. Но Екатерина ответила ему, что насколько он сведущ в естественной истории, настолько мало понимает в делах, и заплатила ему 21.000 рублей, предостав-

для ему пользоваться своей коллекцией до конца жизни. Но была ли то вина императрицы, что среди ученых, с которыми ей приходилось иметь дело, мы встречаем только иностранные имена: Эйлера, Палласа, Бемера, Шторха, Крафта, Миллера, Бакмейстера, Георги, Клингера? Мы должны признать, что ни в обязанностях, ни во власти великой государыни было создать из ничего местную науку и ученых, русских по происхождению и воспитанию. Она выписала раз из Германии для кадетского корпуса четырех профессоров: математики, естествознания, философии и литературы. Но когда эти господа приехали в Россию, то искренне поразились, узнав, что их будущие ученики не умеют даже читать ни на одном языке! Но зато странно, что пребывание в Петербурге всех этих ученых, германские имена которых мы только что перечислили, не принесло России решительно никакой пользы, хотя на родине они сумели заслужить себе известность своими трудами. За исключением знаменитых путешествий Палласа, исторических изысканий трудолюбивого Миллера и некоторых работ по естественным наукам, эта группа ученых, собранная за большие деньги, чтобы светить маяком в черной ночи русского невежества, не дала даже ни одной книги, которая украсила бы царствование Екатерины. Впрочем, может быть, Екатерина хотела, чтобы они играли роль не маяка, а другую? «Она любила науки, – было сказано про нее: – лишь поскольку они казались ей годными, чтобы распространять ее славу: она хотела держать их в ру-

ке, как глухой фонарь, и пользоваться их лучами, направляя их лишь туда, куда ей было угодно». Это верно: топографические и статистические труды изящного Шторха могли бы иметь большую ценность, если бы были напечатаны в той полноте, как он их писал. А в том виде, как его картина Петербурга была завещана потомству, она стоит портрета Екатерины, исправленного Лампи по указаниям императрицы. Изображения Георги богаты, главным образом, ненужными подробностями. Граф Ангальт составил в том же духе описание кадетского корпуса, директором которого состоял: в этой книге можно найти подробнейший перечень лестниц, окон, дверей и печей заведения на радость любому трубочисту. Клиндер, чтобы избежать компромиссов, оскорбительных его совести ученого, должен был печатать в Германии то, что было написано им в России. Так же впоследствии поступал и Коцебу. Екатерина оказывала покровительство только официальной науке; другой она не допускала в пределах своего государства. Рядом с каждой проблемой философии, истории и даже географии она ставила вопрос государственного порядка и за спиной всякого ученого – полицейского агента. А от такой стерилизованной науки и нельзя было ждать ничего, кроме напыщенной лести и высокопарных нелепостей.

В этом отношении тоже видна резкая разница между первыми годами царствования Екатерины, по которым пробежал освежающий поток ее либеральных идей, и последовав-

шим за ним печальным временем реакции. 1767 год был выдающимся в умственной жизни «ученицы Вольтера» по тому острому любопытству, с которым она следила за всем, что страстно увлекало тогда Европу в области знания и мысли. Вместе со всеми Екатерина интересовалась прохождением Венеры перед солнцем: оно ожидалось астрономами в 1769 г., и везде для его наблюдения делались большие приготовления. Екатерина выразила желание, чтобы и ее академия приняла участие в изучении этого феномена и представила бы ей о том доклад. Около того же времени она хотела привлечь из Берлина в Петербург знаменитого Галлера, перекинув ему из Германии в Россию золотой мост. Но великий физик отнесся к этому приглашению с недоверием. Беккария, которого Екатерина тоже соблазняла приехать в Россию, предлагая ему, «что он пожелает, тысячу червонцев и больше» для путешествия и выгодные «условия» по приезде, последовал примеру немецкого ученого. Можно только представить себе, какую роль пришлось бы ему играть в Петербурге после неудачи, постигшей законодательные начинания Екатерины, в которых он, сам того не подозревая, принимал такое видное участие.

Но была одна отрасль науки, которая действительно процветала в царствование Екатерины и при этом благодаря личной инициативе государыни. В одном из Сборников Императорского Русского Исторического общества, которому мы обязаны опубликованием таких ценных документов,

член его Бычков по праву сказал, что изучению русской истории было положено начало при великой императрице. Под ее покровительством была исполнена громадная работа по историческим исследованиям и экзегетике. Обнаруженные в большом числе старинные летописи позволили Шлёцеру исполнить свой полный глубокой эрудиции труд. Были изданы рукописи, остававшиеся прежде неизвестными, например, единственный экземпляр «Слова о полку Игореве», открытый Мусиным-Пушкиным. По желанию императрицы, Штриттер изучал византийских писателей, и его изыскания послужили материалом для замечательных работ Болтина, которые можно назвать первым трудом по исторической критике, появившимся в России; впрочем, сама Екатерина положила им начало, написав свои «Записки касательно Российской истории» и «Антидот». На основании архива Петра I, впервые разработанного князем Щербатовым, этим последним была написана «История Российская», а Голиковым – двенадцать томов «Деяний Петра Великого». Замешанный в каком-то политическом процессе и помилованный в день открытия памятника работы Фальконэ, Голиков выразил этим свою благодарность.

Без сомнения, русская история, в том виде, как ее писали Щербатов и Голиков у подножия императорского трона, невольно бросавшего свою тень на их труды, – напоминала только очень отдаленно храм, воздвигнутый истине. Да и в истории Петра Великого, написанной самим Вольтером

по материалам, «приготовленным» для него по приказанию Екатерины, старому Миллеру было нетрудно найти предлог к насмешкам. «Этому немцу, – ответил на них Фернейский старец, – я желаю побольше ума и поменьше согласных букв». Но этой выходкой он доказал только, как трудно французу, хотя бы и самому остроумному на свете, но имеющему за собой только ум, бороться с немцем, вооруженным знанием. Но какова бы ни была научная ценность этих исторических трудов, за ними было то неоспоримое достоинство, что они первые проложили путь, по которому современная Россия ушла теперь так далеко вперед. Журнал, издававшийся Новиковым под покровительством Екатерины и скромно озаглавленный «Повествователь Древностей Российских», превратился впоследствии в «Древнюю Российскую Вивлиофику», в которой были собраны самые драгоценные памятники русской старины. И еще при жизни Екатерины появился уже более самостоятельный историк России, Татищев.

Сама Екатерина всегда отрекалась, как мы это знаем, от всяких исторических знаний. «Что касается меня, – писала она Гримму: – то как только дело коснется какой-нибудь науки, я закутываюсь в мой плащ неведущей и молчу. Я нахожу это для нас, монархов, чрезвычайно удобным». Однако она иногда распахивала этот плащ, и даже чаще, нежели то было бы желательно для ее репутации. В период 1783—1785 гг. она с особенною страстью отдавалась изысканиям за ко-

которые берутся обыкновенно ученые с громадною специальною подготовкой. А после смерти Ланского в 1784 году она ушла в них вся с головою: она искала в них утешения в своем горе. Дело шло о составлении словаря сравнительного языкознания. Этот труд привлекал ее еще в то время, когда она была великой княгиней, и когда под ее покровительством пастор английской фактории в Петербурге Дюмареск издал *Comparative Vocabulary of the Eastern Languages*. В 1785 году она вступила по этому поводу в переписку с Циммерманом, просила сотрудничества Палласа и Арндта. Она делала извлечения из филологического труда Кур-де-Жибелена, вышедшего с 1776 по 1781 год в восьми больших томах. Ухватившись за его идею, что все наречия должны были произойти от одного источника, она стремилась найти ей подтверждение, несмотря ни на какие препятствия, встречавшиеся на ее пути. Гримму, которому она обыкновенно первому сообщала об этих своих лингвистических подвигах, приходилось, вероятно, переживать минуты, когда его преклонение перед гением его государыни, как он называл Екатерину, подвергалось жестокому испытанию. Основным наречием, породившим все производные, был, по мнению Екатерины, разумеется, русский, или «славянский» язык. Другого бы она не согласилась признать. И, черпая материал из самых разнообразных источников, заставляя всех волей-неволей помогать себе в этой работе, и берлинского писателя и книгоиздателя Николаи, и Лафайета, и аббата Галиани, и гра-

фа Кирилла Разумовского, которому она поручала наводить справки у его крепостных, и своего посла в Константинополе, обращавшегося от ее имени к патриархам антиохийскому и иерусалимскому с просьбой перевести двести восемьдесят шесть русских слов на абиссинский и эфиопский языки, – она делала положительно необыкновенные открытия. Вот образчики их:

«Я собрала множество сведений о древних славянах и вскоре буду иметь возможность доказать, что они дали названия большинству рек, гор, долин, округов и областей во Франции, Испании, Шотландии и других местах».

А несколько недель спустя она писала:

«Говорю это вам одному, потому что это не достаточно исследовано: дело в том, что салинцы салического закона, Хильперик I, Хлодвиг и весь род Меровингов были славяне, как и вандалские короли Испании. Их выдают их имена а также их поступки».

Например, имя Людовик, по ее толкованию, состояло из двух славянских корней: люд от люди, и двиг от двигать. «Это имя как бы значит – управлять людьми, приводить их в движение».

«Не удивляйтесь же теперь, – прибавляла Екатерина: – что короли Франции приносят присягу на славянском евангелии при своем короновании в Реймсе. Хильперик I был свергнут с престола, потому что хотел, чтобы галлы, которые получили от римлян латинскую азбуку, прибавили к ней три гре-

ко-славянские буквы, а именно Th или ч, X, она произносится, как шер (cher-sic) иф, произносящаяся, как пси... Не показывайте этих заметок ни Байльи, ни Бюффону, это не для них, хотя они первые указали на существование народа, которого, может быть, и не собирались открывать».

Остальные изыскания Екатерины были достойны этих. И хотя она сомневалась в том, что Бюффон сумеет оценить ее научные находки, но еще в 1781 году послала ему золотые медали и роскошные меха в благодарность за его теорию, по которой он старался установить в своих «Эпохах природы», что искусства появились впервые в Сибири, на берегах Иртыша. Отметим, что, получив эти подарки от императрицы, знаменитый ученый не пытался доказать ей, что с ее точки зрения вовсе не заслуживает их. Екатерина писала ему при этом:

«Медали, выбитые из металла, добываемого в этих областях, могут когда-нибудь послужить доказательством того, упали ли искусства там, где они зародились».

Бюффон же, заметив на этих медалях изображение императрицы, ответил на это:

«Моим первым движением после того, как я пришел в себя от удивления и восхищения, было прикоснуться губами к прекрасному и благородному изображению самого великого лица в мире... Затем, обратив внимание на великолепие этого дара, я подумал, что это скорей подарок государя государю, но что если это подарок гения гению, то и тогда я стою

гораздо ниже этой божественной головы, достойной управлять всем миром».

Удивляться ли после этого, что «божественная голова», перед которой так раболепно преклонялся один из величайших ученых Европы, невольно могла вскружиться в опьяняющей атмосфере этого фимиама. Оптимизм Екатерины по отношению к своему народу и всему, касающемуся его, тоже отрывал ее, в свою очередь, от холодной действительности, увлекая в мир галлюцинаций и мечтаний. Ее «Записки касательно Российской истории», печатавшиеся в «Собеседнике», почти безумны по смелости. Она изобретала в них «финляндских королей», никогда не существовавших на свете, женила их на не менее фантастических новгородских княжнах, все это покрывала именем Рюрика и приходила в восторг, что ей удалось так ясно установить происхождение древней Руси.

Но эта этнологическая и филологическая горячка оказалась быстротечной, как и все увлечения Екатерины. В Императорской Публичной библиотеке хранится целая коллекция рукописей Екатерины, в которых она завещала потомству плод своих работ в этой отрасли науки. Но в один прекрасный день она призвала Палласа и поручила ему продолжение своего словаря. Ей самой надоело заниматься все одним и тем же. К концу царствования ее научный пыл все остывал и наконец совсем потух. Она разочаровалась в философии и в философах. Они рисовались ей в виде академи-

ков, спокойно и скромно рассуждающих об очень интересных предметах, делающих порою даже открытия и устанавливающих принципы, но никогда не выходящих из области теории: и вдруг она увидела, что они опасные революционеры, которые хотят применить к жизни то, что открыли, и перевернуть весь мир. Она сперва огорчилась, потом встревожилась и наконец искренне рассердилась. В 1795 году, обратив внимание на то, что Вольно-Экономическое общество в Петербурге получает от нее 4000 рублей в год на свои издания, – она находила их «одни глупее других», – Екатерина вышла из себя, назвала председателя и членов его «мошенниками» и прекратила субсидию. И в то же время на содержание стола одной из племянниц Потемкина она выдавала ежегодно что-то около 100.000 рублей!

Последние два года жизни Екатерина увлекалась работой, в которой, как и в ее запоздалой любви к немецкой литературе, сказалось ее германское происхождение. Она задалась широкой задачей установить «систематические классификации». Один день она в течение нескольких часов занималась разрядами обстоятельств, на следующий – категориями средств. Ей очень нравилась эта работа. Она постоянно обдумывала новые ее главы. Ей случалось, – как она говорила, – составлять их даже во сне. Правда, может быть, ей было это и не трудно делать, так как еще с 1765 года она числилась доктором и магистром свободных искусств виттенбергского университета, нашедшего, что ему недостает ее для его сла-

вы, как недоставало Мольера для славы французской академии. Но, к счастью для своей памяти, Екатерина имела за собой не только это ученое звание перед судом потомства.

Глава вторая

Екатерина, как писательница: драматург – романист – баснописец – публицист – поэт

1. Екатерина с пером в руке. – Страсть к писательству. – Императрица, не умеющая диктовать. – Мысль и стиль. – Принадлежали ли Екатерине ее письма к Вольтеру? – Сотрудничество Андрея Шувалова. – Письма Екатерины к Гримму. – Французский язык императрицы. – Грамматика и правописание. – Образчик описательного стиля.

Перечисляя любимые занятия Екатерины, Дюран, несомненно, сделал один важный пропуск. Он забыл сказать, что Екатерина страстно любила писать. Мы думаем даже, что ничто другое не доставляло ей такого удовольствия. Писать – служило ей не только развлечением, но было для нее потребностью и потребностью почти физической. Самая возможность держать в руке перо, которое через минуту свободна загуляет по чистому листу бумаги, вызывала в ней чувство

не только духовного, но словно чувственного наслаждения. Она писала как-то Гримму, что при виде нового пера у нее начинают «чесаться руки». Поэтому она никогда не диктовала. «Я не умею диктовать», говорила она. Все, что она писала, было написано ею собственноручно, а чего только она не писала? Не говоря об ее очень деятельной политической корреспонденции и частной переписке, достигавшей, благодаря громадным «плакатам», аккуратно посылавшимся ею Гримму, совершенно необычных размеров; не считая обязательного для нее подписывания массы казенных бумаг, – она нередко покрывала их сплошь своими пометками, – не считая драматических и других произведений, она еще очень часто писала для себя, для собственного удовольствия, без всякого определенного повода и цели, если не считать той потребности унять «зуд в пальцах», о которой мы говорили выше. Она делала из старинных летописей выписки, относившиеся к житию преподобного Сергия, хотя вряд ли сильно интересовалась подробностями его жизни; переписывала тексты на древне-славянском церковном языке, который ей было вовсе не обязательно знать, несмотря на ее положение православной царицы. Она не могла прочесть книгу, чтоб не исписать ее поля своим крупным, размашистым почерком. Она составляла программы празднеств и концертов. Подобно тому государственному деятелю современной истории, который мог думать только тогда, когда говорил, она, по-видимому, тоже не умела мыслить иначе, как с пером в

руках. И как тот пьянел от своих слов, так она опьянялась чернилами. Мысли начинали тесниться в ее голове и постепенно улетали из области реального в мир фантазий. Екатерина сама сознавала это. Она писала Гримму:

«Я собиралась было сказать вам, что буду писать вам, как только захочу, и сколько мне вздумается, когда вспомнила, что я – здесь, а вы – в Париже. Я вам советую диктовать, потому что мне сто раз давали этот совет: счастлив тот, кто может следовать ему; что касается меня, то мне кажется невозможным говорить всякий вздор пером другого человека... Если бы я сказала другому то, что выходит из-под моего собственного пера, он часто отказывался бы писать то, что я ему бы говорила».

Но когда она успевала писать все это? Мы знаем, что для того, чтоб беседовать по душе и вволю со своим любимым конфидентом Гриммом, она вставала в шесть часов утра. Но, даже принимая в расчет эту трудолюбивую привычку, вопрос остается для нас неясным. 7 мая 1767 года, во время путешествия императрицы по России, ее застигла на Волге «страшная» буря. И она воспользовалась остановкой в пути, чтобы написать длинное письмо Мармонтелю, незадолго перед тем приславшему ей своего «Велизария». Положительно удивляешься, как она умудрялась найти время для своих писем. Не надо забывать при этом, что мыслить и писать было для нее одно и то же, а заранее обдумывать письма она была совершенно неспособна, и поэтому в важных случаях ей

приходилось иногда переписывать их по несколько раз. Сохранились, например, два черновика ее ответа Берлинской академии, избравшей ее в 1768 году своим почетным членом. Случалось, что она не ограничивалась и двумя черновиками, так как не любила помарок. Если какое-нибудь выражение или фраза в ее письме не нравилась ей, она бросала весь лист – она писала обыкновенно на золотообрезных листах очень большого формата – и начинала снова.

Как же писала Екатерина? Что представлял ее стиль, ее литературный талант? Аббат Мори находил, например, что ее письма к Вольтеру стоят в художественном отношении выше, нежели ответы самого философа. Допустим что эта оценка справедлива: но здесь приходится принимать в соображение побочные обстоятельства. Известен ответ Жорж-Занд одному блестящему собеседнику, который, встретив ее где-то в гостиной, слишком откровенно выдал перед нею свое разочарование.

– Вы приходите сюда работать, – ответила она ему: – я прихожу отдыхать.

А переписка с Екатериной была для Вольтера даже меньше, чем отдых, и наверное он не стремился в ней блеснуть. Для Екатерины же ее письма к «учителю» были средством подтвердить ту репутацию всемирного гения, которую Фернейский патриарх и ее другие друзья с Запада хотели создать ей. Через голову Вольтера она обращалась к суду всей Европы. Но и это еще не все. Возникает вопрос: сама ли Екате-

рина писала эти письма? Его поднимали в печати не раз и приходили к разноречивым заключениям. Но вот что говорит по этому поводу один тонкий знаток дела:

«Из всех писем Екатерины II, составляющих ее переписку с Вольтером, я уверен, нет ни одного написанного этой государыней. Только тот, кто никогда не видел других ее сочинений, может подумать, что эти письма принадлежат ей. Екатерина владела французским языком не вполне свободно; она говорила на нем неправильно, – хотя в живом разговоре эти ошибки должны были быть менее заметны, нежели на бумаге, – если судить по собственноручным письмам императрицы, которые мне приходилось читать. Ошибки правописания, грамматики, неверные выражения – все это в них можно найти: в них нет только того остроумия, глубины мысли и прекрасного стиля, которыми мы так восхищаемся в письмах к Вольтеру, приписываемых Екатерине II. Это особенно бросилось мне в глаза, когда я читал инструкции, данные русской императрицей графу д'Артуа (впоследствии Карлу X), когда он приезжал в Петербург, и написанные ею лично. Екатерина указывала в них, как затушить в самом зародыше революцию, только что вспыхнувшую во Франции. Сущность этих наставлений была так же нелепа, как и грубо выражена. О неправильности стиля я уже и не говорю».

Но кто же при дворе Екатерины мог заменить ее в этой переписке, обратившей на себя внимание всего мира. Ответить на это нетрудно: это был, по-видимому, Андрей Шувалов.

лов, автор знаменитой «Epitre a Ninon», которую в свое время приписывали самому Вольтеру; Шувалов был учеником, корреспондентом и другом Фернейского философа и в совершенстве усвоил и форму, и дух французского языка. Екатерина не могла бы сделать лучшего выбора. Впоследствии она также прибегала к помощи Храповицкого для своих писем на русском языке. И во всяком случае можно с уверенностью сказать, что ее послания к Вольтеру были написаны не самостоятельно. Чтобы судить об ее стиле, остроумии, а также о тех познаниях, которые сохранились в ее памяти от уроков mademoiselle Кардель, надо обратиться к другой ее переписке – к ее письмам к Гримму. Их она писала безусловно сама. Она вылилась в них вся, со своим правописанием, грамматикой и синтаксисом, с обычным ей складом мыслей, с ее оборотами речи, манерой понимать, ценить и чувствовать вещи, с ее умом, характером, темпераментом, одним словом, со всей ее сущностью. Эту переписку сравнивали в письмами г-жи Севинье. Но мы думаем, что это сходство слишком лестно для писания Екатерины. Один русский писатель провел недавно несравненно более правильную параллель между ее письмами и образцом, которым она, по всей вероятности, не только могла, но должна была вдохновляться. Ее переписка с Гриммом удивительно похожа на письма ее матери к Пуйльи, опубликованные недавно Бильбасовым.

Но хорошо ли знала Екатерина французский язык? Те

неправильности, которые так часто встречаются в ее письмах и придают случайно то неточный, то извращенный смысл ее словам, не могут иметь в этом вопросе решающего значения. Они объясняются обычной Екатерине манерой писать и ее глубоким пренебрежением к форме. Она никогда не заботилась о том, чтобы слова верно выражали ее мысль и красиво сочетались между собой. Даже явные несообразности не пугали ее. Она писала, что «elle a un mal de tete qui ne se mouche pas du pied», или «cinquieme roue au carrosse ne saurait rien gater a l'omelette». Находили, что образность ее речи напоминает порою Монтэня и, в подтверждение этого, указывали на ее фразу в письме к Гримму: «Ma visiere a la minute passe comme une fusee et s'enfuit dans l'avenir, quelquefois ne voyant qu'un trait caracteristique». Но из тех трех языков, на которых Екатерина постоянно говорила, французский был ей безусловно ближе других. Она владела им свободно, пожалуй, не находя нужным считаться с правилами синтаксиса и грамматики, выдумывая новые обороты речи и собственного изобретения слова. Она говорила: girouetterie, toupillage, rancarter, souffre – douleurien. Говоря о новом издании сочинений ее «учителя», вышедшем под редакцией Бомарше, она называла его «du Voltaire figaroise». В одном из ее писем к графу Кейзерлингу от 25 сентября 1762 года есть такая фраза: «Я пишу вам по-французски, но, если это вас стесняет, буду писать впредь на таком же скверном немецком языке, на котором имею обыкновение говорить». Ее немецкий

язык, по мнению одного современного критика, напоминал язык «Frau Rath», Матери Гете, с теми же устаревшими выражениями, грамматическими ошибками и частыми вульгаризмами, в которых чувствовалось все-таки (это утверждает Гиллебранд) очень верное понимание духа языка. Сама же Екатерина любила хвалиться – хоть и не очень убедительно – знанием другого языка, того, который ее научил любить Вольтер: «Заметьте, – писала она по-французски кн. Черкасской, – что, хотя я пишу (*quoique j'ecris* вместо *ecris*) хуже вас, но зато лучше соблюдаю правописание» (*ortographie* вместо *ortographe*). Можно догадываться, что же представляло в таком случае правописание кн. Черкасской. Во второй половине царствования Екатерина стала пренебрегать французским и немецким языками в пользу русского. Она находила, что все, что она пишет, выходит у нее очень нескладным, если оно напечатано на каком-нибудь другом языке, а не по-русски. Но еще в 1768 году ее русский диалект был далеко не чист: в нем встречались на каждом шагу грубо русифицированные французские выражения, вроде тех, которыми пестрит слог современных немецких писателей, и особенно публицистов.

На каком бы языке она ни писала – по-французски ли, по-немецки или по-русски, – в ее стиле был всегда один недостаток: неправильность, отрывистость, шероховатость, – и одно достоинство: ясность. Впрочем, последнее относится лишь к тому, что Екатерина писала лично или под руководством

Андрея Шувалова и Храповицкого. Но когда она составляла свои письма и бумаги сообща с сановниками, на совете, то получалась в большинстве случаев полная неразбериха.

«В ее стиле, – писал принц де-Линь, – больше ясности, нежели легкости; ее серьезные труды глубоки, но ей недостает оттенков, очарования мелких подробностей и колоритности». В данном вопросе принц де-Липь был, бесспорно, компетентным судьей; по он, вероятно очень бы изумился, когда имеешь дело с женщинами, даже менее одаренными, чем Екатерина, надо быть, впрочем, всегда готовым к подобным сюрпризам, – если бы прочел такой отрывок из письма Екатерины к Гримму (Екатерина находилась в то время в подмосковном селе Коломенском и сидела возле окна, собираясь писать своему «souffre douleur»):

«Но как тут писать? Том Андерсон требует, чтобы я его накрыла; он сидит против меня в кресле; моя правая рука и его левая лапа опираются на раскрытое окно, которое можно было бы принять за церковные двери, если бы оно не находилось в третьем этаже. Из этого окна сэр Андерсон любитя Москвой-рекой, извивающейся змеей и делающей на наших глазах до двадцати поворотов; он беспокоится, лает: он видит судно, которое поднимается по реке; нет, нет, кроме судна, он видит еще десятка два лошадей; они переходят реку вплавь, чтобы попастьсь на зеленых, усыпанных цветами лугах, которые составляют противоположный берег реки и тянутся до холма, покрытого свежевспаханнми поля-

ми, принадлежащими трем деревням, тоже заметным вдали. Налево стоит маленький монастырь, выстроенный из кирпича и окруженный рощей, а дальше идут повороты реки и дачи, и тянутся до столицы, виднеющейся на горизонте. Справа взорам г. Тома Андерсена открываются холмы, поросшие густым лесом, между которым видны колокольни, каменные церкви и снег в расщелинах холмов. Г. Андерсон, по-видимому, устал любоваться таким прекрасным видом, потому что вот он закутывается в свое одеяло и собирается спать...»

В письмах Екатерины встречаются также нередко меткие выражения, образно и ярко передающие ее мысль. Отвечая в 1778 году отказом на предложение упавшего духом Потемкина эвакуировать Крым, она писала: «Когда кто сидит на коне, тогда сойдет ли с оно́го, чтобы держаться за хвост». Но зато в ее переписке, особенно с Гриммом, есть обороты речи, где откровенность и свобода ее мысли и языка доходят порою до распушенности и становятся почти грубыми. Екатерина не только пересыпала свой неправильный французский язык немецкими или итальянскими словами и фразами, но часто писала на чисто-бульварном жаргоне. Она ставила «sti-la» вместо «celui-la», «ma» вместо «mais». Возможно, что она и говорила так. Некоторая тривиальность была ей не чужда. Мы не рискуем воспроизвести здесь те пикантные замечания, – впрочем, «пикантны» ли они? – которые вырвались у нее в минуты шуточного настроения, и уверены, что прибаутки, оживлявшие ее эпистолярный стиль, показались

бы читателю очень плоскими и, пожалуй, пошлыми.

Правда, Екатерина писала так только в своей интимной переписке, как частное лицо. Но посмотрим, как она писала, обращаясь не к друзьям, а к широкой публике.

II. Научные труды Екатерины. – «Антидот». – Аббат Шапп д'Отрош. – История римских императоров.

Мы говорили уже о научных трудах Екатерины. Из них был напечатан только один: «Антидот» или «Examen du mauvais livre intitulé: „Voyage en Sibirie“. Это опровержение на слишком откровенное сочинение о России Шапп-д'Отроша. Ученый аббат, член парижской академии наук, приехал в Россию в 1761 году по приглашению петербургской академии для наблюдения за прохождением Венеры перед солнцем, которое ожидалось в этом году. (Следующее должно было произойти через 8 лет, в 1769 г.). В то время царствовала еще Елизавета. Она встретила путешественника очень милостиво и подарила ему 1000 рублей на дорожные расходы; но не в ее власти было смягчить грустное впечатление, которое произвела на него Сибирь. К своим астрономическим наблюдениям он прибавил еще и другие: о природе, нравах и законах страны, по которой проезжал, и издал свой труд в Париже в 1768 году в трех томах in-quarto с рисунками и географическими картами. Эта книга вызвала в Рос-

сии такое же острое негодование, как „Russie“ маркиза Кюстина в 1839 году, и Екатерина решила ответить сейчас же на оскорбление, нанесенное русскому национальному чувству. Она начала с того, что поручила своей академии найти и указать астрономические ошибки, которые этот негодный человек, говоривший так дурно о России и об управлении ее, не мог не сделать в своем сочинении. Она поставила чтим петербургских ученых в жестокое затруднение. Видя, что от них нечего ждать, Екатерина обозвала академиков глупцами, не стесняясь высказывала это вслух, и сама взялась за перо, чтобы как следует отделать аббата. Но, раз начав писать, она уже не могла остановиться. Ею были исписаны целые горы больших золотообрезных листов. Астрономию Шаппа государыня, конечно, оставила в стороне: она нападала на то, что касалось ее ближе: на политическую, статистическую и историческую часть его труда. Как смел, например, написать Шапп, что Сибирь лишена растительности! Чтобы доказать противное, Екатерина сейчас же послала Вольтеру орехи сибирских кедров. Она была твердо убеждена, что сочинение Шаппа инспирировано герцогом Шуазелем, чтобы унижить лично ее и ее государство. Поэтому ей очень хотелось, чтобы какой-нибудь французский писатель отразил это нападение министра. Но, к ее печали, ни Фальконэ, ни Дидро не могли подыскать никого подходящего для этой роли. Одна княгиня Дашкова предложила Екатерине свои услуги. И их совместные размышления и были занесены на бумагу бойким

пером императрицы. Но в таком виде опровержение грозило принять еще более объемистые размеры, нежели само сочинение, глупость и низость которого оно стремилось доказать. Две первые части его вышли в роскошном издании; было обещано продолжение, – конца же нельзя было еще так скоро предвидеть. Но, по обыкновению, эта работа вскоре наскучила Екатерине. Турецкая война и Пугачевский бунт обратили ее мысли в другую сторону. В 1773 году она известила свою приятельницу г-жу Бельке, что продолжение „Антидота“ не выйдет, потому что автор его убит турками. И вопрос о Шапп-д'Отроше и его книге никогда уже не поднимался больше. Екатерина, впрочем, никогда не признавалась в том, что этот „убитый“ автор – она сама. Ее сочинение долго приписывалось поэтому различным лицам и, между прочим, графу Пушкину, который, по свидетельству Сабатье-де-Кабра, не подозревал даже о самом существовании аббата Шаппа и еще меньше о его книгах. Оригинал „Антидота“ утрачен. Та рукопись, что хранится в Петербурге, в государственном архиве, написана рукою статс-секретаря Г. В. Козицкого. Но зато в бумагах Екатерины удалось найти несколько автографических отрывков „Антидота“, которые не оставляют сомнений насчет их августейшего автора. Что же касается ценности этого произведения, то по этому поводу никогда не возникало серьезных споров: это просто неудачный пасквиль. Репутация Шаппа не могла от него пострадать в глазах потомства. В его книге встречаются, прав-

да, несколько смелые заключения и даже совершенно вымышленные факты, но в ней также много неоспоримой правды. А между тем Екатерина стремилась опровергнуть именно эту правду. Но во всяком случае она выказала при этом очень большую горячность.

Тьебо говорит в своих «Воспоминаниях» о другом научном труде императрицы. Его принес ему во время его пребывания в Берлине какой-то русский – имени его он не называет – и просил напечатать «en breloque» в числе пятидесяти экземпляров в самой глубокой тайне. Это была «История римских императоров». Вот подробности, которые дает Тьебо об этой книге. «Все содержание ее сводилось к тому, чтобы сказать нам, почти в одной фразе: что тот-то был убит тем-то, а этот убил, в свою очередь, того-то, и т.д. И этот перечень убийств, совершенных для того, чтобы занять императорский трон, превратился... в произведение самое удивительное, оригинальное и смелое, как и самое короткое, какое только можно себе представить». Больше он ничего не говорит об этом сочинении Екатерины, и мы о нем тоже ничего не знаем.

III. Драматические произведения. – Антрепренер наживает на комедиях Екатерины состояние. – Общий характер ее комедий. – Тенденциозные пьесы. – Борьба с духовидцами и масонами. – Юмор Екатерины. – Писала ли она свои

комедии вполне самостоятельно? – Новиков. – Исторические драмы императрицы. – Подражательница Шекспира. – Екатерина, как автор комических опер. – Театр Эрмитажа. – Романы и басни. – Стихотворные опыты.

Екатерина пробовала свое перо во всех литературных жанрах. Но больше всего она писала для театра.

«Вы меня спрашиваете, почему я пишу столько комедий. Отвечу вам, как г. Пенсэ, по трем причинам: primo, это меня забавляет; secundo, я хотела бы поднять русский театр, который, за недостатком новых пьес, был несколько заброшен, и tertio, потому, что следовало щелкнуть по носу духовидцев, которые начинали его задирать. „Обманщик“ и „Обольщенный“ имели необыкновенный успех... Что забавнее всего, это то, что на первом представлении вызывали автора, который... сохранил полное инкогнито, несмотря на свой громадный успех. Каждая из этих пьес дала в Москве антрепренеру по 10.000 рублей за три представления».

Как видно, не только драматурги простые смертные рисуют себе прием, который им оказывает публика, в слишком привлекательном виде, – от этой маленькой слабости не спасает иногда и царский венец.

В «Обманщике» и «Обольщенном» Екатерина хотела выставить Калиостро и одураченных им русских. Вообще большая часть ее пьес представляла комические или сатирические произведения на философские, социальные и религи-

озные темы. Она в них смело нападала на идеи, вкусы, нравы и даже на отдельных людей, которые ей не нравились или мешали ей. Эти комедии – лучшее из всего, что было написано ею. Но понимания и чувства театра в Екатерине не было во все. Ее комедии, как и драмы, лишены драматического элемента в прямом значении этого слова: в них нет ни умения вести интригу или производить нужный эффект, нет ни одного типа, – вообще никакого творчества; но зато в них попадаются иногда меткие замечания; видно глубокое знание местных обычаев и нравов, есть остроумие, юмор, большая наблюдательность. Идейное их направление – в духе философии Вольтера, несколько смягченной, впрочем, для русских в отношении к религиозному чувству, нападать на которое было бы совершенно немислимо в той среде, где жила Екатерина. Предметом ее нападков служило, главным образом, мистическое направление, начинавшее проникать в верхние слои русского общества, – вследствие природных склонностей славянской души оно находило здесь очень благодарную почву. Особенно доставалось от Екатерины франкмасонам и мартинистам. В одной из пьес она сравнивала масонов с сибирскими шаманами, которых старалась изобразить в смешном и отталкивающем виде, обвиняя их в том, что они корыстно вымогают деньги от своих недалеких и слишком доверчивых приверженцев. Эта тема повторяется в трех ее комедиях: в «Шамане Сибирском», написанном на основании одной из статей Энциклопедии (Теософ), затем в «Об-

маншике» и в «Обольщенном». Но Екатерина нападала и на другие заблуждения и пороки: в ее комедии «О время!» (переведенной на французский язык под заглавием «O temps! о mœurs!») одно из действующих лиц, г-жа Ханжахина, собирается положить перед образом пятьдесят земных поклонов, когда в ее комнату входит крестьянин и, поклонившись ей в ноги, молча подает ей какую-то бумагу. Ханжахина в негодовании: как он смел нарушить ее молитвенное настроение! – «Поди ты, сатана, вон! – кричит она ему. – О бессмысленная тварь! О демонское наваждение!..» Она смотрит на бумагу и видит, что это просьба о разрешении жениться: без согласия своей помещицы крепостной не смел вступить в брак. И с такою ничтожною просьбою он имел дерзость помешать ей молиться! Г-жа Ханжахина хочет возвратиться к своим поклонам, но в сердцах сбивается со счета. Она решает тогда класть их сызнова, но зато приказывает высечь мужика, посланного ей самим сатаною, и «положить женитьбу ту ему на спине». И, конечно, пока она жива, он у нее не получит позволения жениться.

Эта сцена делает честь уму и сердцу Екатерины; в ней много истинного комизма. Но существует предположение, что и этот юмор, и те благородные и возвышенные идеи, которыми были проникнуты ее комедии, принадлежат не ей. Сравнивая их с тем, что было написано ею до комедии «О время!» и после нее, например, с тяжеловесною сатирой «Всякая всячина», некоторые критики пришли к убеж-

дению, что невероятно, чтоб Екатерина могла писать в одно время так хорошо, в смысле и формы и содержания, а в другое – так слабо. По-видимому, у нее был анонимный сотрудник для комедий, и именно Новиков. Период драматической деятельности императрицы, действительно, совпал со временем ее сближения с этим выдающимся человеком, когда она стала работать в его журналах. Идеи ее комедии безусловно принадлежали Новикову. Но принадлежала ли ему также и их талантливая разработка? Ответить на это трудно. Достоверно только то, что до своей дружбы с Новиковым (возникшей между ними как раз в то время, когда она закрыла его периодическое издание «Трутень») Екатерина не писала комедий. И она перестала их писать после своей ссоры со знаменитым публицистом. Правда, она еще продолжала работать для сцены, но уже в другом роде и со значительно меньшим успехом. Длинные исторические хроники, которые она писала в последние годы царствования, интересны только с точки зрения идей, выраженных в них; но это отнюдь не драматические произведения. Это скорее исторические или политические диссертации, написанные на тему о том, какое громадное значение имеют на земле цари, господствующие над людьми. Эти цари – так, как их понимала Екатерина, – пользуются всевозможным могуществом и всяческой властью, вплоть до права менять по своему желанию идеи, обычаи и даже нравы своих подданных. Они своего рода философы – даже когда их зовут Рюриком или Олегом – и па-

рят на недостижимой высоте над бессмысленной массой народа. Народ же, в представлении Екатерины, являлся сборищем детей, хотя и не злых, но наивных, глупых и непокорных и требующих поэтому, чтоб их вели за собою твердою рукой. Впрочем, Екатерина с искренним доброжелательством изображала в своих драмах эти низшие существа. Она интересовалась их манерой жить, говорить, их верованиями, поэзией; охотно рисовала их живописные деревенские сценки, пляски, песни. С другой стороны, избранники, призванные управлять толпою, выходили в описании императрицы какими-то идеальными лицами, кроткими, великодушными, доступными, любящими правду, снисходительными, хотя и строгими в пресечении зла. И если этот воображаемый параллелизм не совсем совпадал с действительностью, то, по обыкновению, это не тревожило Екатерину. В драмах ее, как и везде, торжествовал ее непоколебимый оптимизм, не останавливавшийся ни перед какой неправдоподобностью. Так, в первом акте герой драмы Олег закладывал Москву; во втором он женил и возводил на киевский престол своего воспитанника Игоря; в третьем – въезжал в Константинополь, где император Лев, принужденный заключить с ним мир, устраивал ему великолепную встречу; и, наконец, в последнем акте Олег присутствовал на олимпийских играх и прибавил свой щит к колонне в память своего пребывания в столице Восточной империи. Эта манера писать историю и драму напоминает несколько те балаганные представления, которые

дают для народа на масленице. Но Екатерина под заглавием драмы «Начальное управление Олега» смело подписала: «Подражание „Шекспиру“». Винить ли ее за это? Ведь она делала это безусловно в простоте души, и ее Олеге чувствуется зато искренний патриотизм, который значительно искупает прочие недостатки этого „исторического представления“. Ее же „Горе-богатырь“, о котором мы уже говорили, – он был написан и дан на сцене в 1789 году по случаю шведской войны, – в полном смысле слова нелепость. Музыка Мартини не могла скрыть убожества и пошлости этого грубого произведения, содержание которого было взято Екатериной из народной сказки (Фуфлыга-Богатырь).

Мы должны быть, впрочем, тем снисходительнее к литературным опытам императрицы, что она сама никогда не придавала им значения. Она говорила о них просто, без всякого ложного самолюбия. Ее комедии и драмы казались ей превосходными, как и все, что она делала, – в то время, пока она работала над ними. Но как только они были окончены, и пыл творчества в ней остывал, к ней возвращались обычные для нее справедливость суждения и здравый смысл, и она оценивала свои произведения по заслугам, сознавая, что у нее нет литературного дарования. Она, не обижаясь, выслушивала критические замечания, которые позволял себе делать ей Гримм, и писала ему:

«Итак, вы думаете, что от моих драматических произведений ничего не осталось, не правда ли? Ничуть не быва-

ло. Я утверждаю, что они достаточно хороши! раз, что нет лучших, и так как на них все сбегаются, смеются, и они охладили, по-видимому, сектантскую горячку, то эти пьесы, несмотря на свои недостатки, имели желательный для них успех. Пусть пишет, кто может, лучшие, и когда этот человек найдется, мы писать перестанем, а будем забавляться его комедиями».

По-видимому, – и это предположение имеет за собой довольно веские основания, – Екатерина писала большую часть своих комедий по-немецки. Относительно «Горе-богатыря» это можно сказать почти с полной достоверностью. Найти русского переводчика Екатерине было не трудно. Эту работу часто исполнял для нее даже Державин. Когда же она хотела, чтобы ее пьеса была представлена по-французски на сцене Эрмитажа, то тоже не полагалась обыкновенно на свои познания в этом языке: так, француз Леклерк, домашний доктор гетмана Разумовского, перевел ее комедию «О время!» Этот перевод был издан в 1826 году парижским Обществом библиофилов, в количестве лишь тридцати экземпляров. Затем известный сборник «Theatre de l'Ermitage» содержи! шесть драматических произведений императрицы и большое число других, принадлежащих перу графа Шувалова, графа Кобенцля, принца де-Линь, графа Строганова, фаворита Мамонова и д'Эста, француза, причисленного к кабинету ее величества. В Национальной библиотеке в Париже хранится еще театральный сборник 1772 года, где три пьесы

приписываются Екатерине и напечатаны на русском языке.

Екатерина писала, кажется, и романы. В третьем томе своей «Истории немецкой литературы» Курц называет ее в числе немецких писателей восемнадцатого века, как автора восточного романа «Обидаг», написанного ею, по его догадкам, в 1786 году. Он приписывает ей еще другие повести, тоже на ее родном языке, но заглавия их не приводит.

Среди литературного наследства, оставленного Екатериной, есть также несколько побасенок и сказок. Но сказки эти – с первой из них Гримм познакомил в 1790 году читателей своей «Correspondance», – хоть и написаны ею для внуков, не годятся для детей. «Царевич Хлор» так же, как и «Царевич Февсй» – философские сказки вроде вольтеровских, с аллегориями, нравоучениями и научными терминами, совершенно недоступными детскому пониманию. А между тем Екатерина хорошо знала душу ребенка и умела становиться на уровень молодого, свежего и наивного детского ума; к тому же искренне любила детей. Но когда она брала в руки перо, ей случалось забывать даже то, что было ей близко и дорого. С другой стороны, в ее сказках нет ни воображения, ни оригинальности, ни даже самостоятельности замысла. Идея их, как почти всегда у Екатерины, заимствована ею у других, – а именно у Жан-Жака Руссо и Локка.

Наконец, Екатерина бывала изредка даже поэтом. Страсть к стихотворству проявилась в ней, впрочем, очень поздно. «Представьте себе, – писала она в 1787 году Гримму – пла-

вая на моей галере по Борисфену, он (граф Сегюр) хотел научить меня слагать стихи. Я рифмоплетствовала в течение четырех дней, но на это требуется слишком много времени, а я начала слишком поздно». Однако год спустя она просила Храповицкою достать ей словарь русских рифм, если таковой существует.

Не знаем, каким успехом увенчались поиски ее секретаря, но, начиная с 1788 года, императрица рифмоплетствовала довольно часто то на русском, то на французском языке. В августе 1788 года она написала грубоватые стихи на шведского короля и сочинила французскую комедию «Voyages de Mme Bontemps», которую хотела разыграть в виде сюрприза в апартаментах фаворита Мамонова в день его именин. В январе 1789 года она послала Храповицкому два русских четверостишия на взятие Очакова. Одно из них замечательно по силе мысли и некоторым выражений. Что же касается их поэтической формы, то она ускользает от нашей оценки:

О пали, пали с звуком, с треском,
Пещец и всадник, конь и флот,
И сам, со громким верных плеском,
Очаков, силы их оплот.

Расторглись крепь днесь заклепны,
Сам Буг и Днестр хвалу рекут,
Струи Днепра великолепны

Шумные в море потекут.

А вот французское четверостишие, написанное Екатериной в виде эпитафии, по случаю смерти И.И. Шувалова, который с 1777 года имел чин обер-камергера:

SI GIT
MONSEIGNEUR LE GRAND CHAMBELLAN
A CENT ANS BLANC COMME MILAN;
LE VOILA QUI FAIT LA MOUE
VIVANT IL GRATTAIT LA JOUE.

Думаем, что этих примеров достаточно.

Кроме всего перечисленного, Екатерина занималась еще и переводом «Илиады». В государственном архиве сохранились три листа перевода, исполненного ею собственноручно. Несомненно – она бралась за многое.

IV. Екатерина – редактор журнала. – Ее полемика с «Трутнем» Новикова. – Решающий аргумент. – «Трутенъ» запрещен. – Положение печати в России. – Временное сближение Екатерины с Новиковым. – Журнал княгини Дашиковой. – Сотрудничество в нем Екатерины. – Ее полемика с Фонвизиным. – Императрица начинает сердиться. – Покорный противник. – Нападки Екатерины на княгиню Дашикову и Академию Наук. – Гнев княгини Дашиковой. – Разрыв. –

Екатерина отказывается от работы в журнале. – Конец «Собеседника». – Мысли Екатерины об искусстве писать.

Екатерине трудно было бы не увлечься публицистикой в эпоху, когда периодическая печать начинала играть выдающуюся роль в европейской жизни. Но Екатерина больше, чем увлекалась ею; она отдалась ей всей душой: она ничего не умела делать наполовину. Пекарский доказал, что она не только принимала деятельное участие в журнале «Всякая Всячина», который стал выходить с 1769 года, но состояла его главным редактором. Главную цель этого журнала была борьба с «Трутнем» Новикова. «Трутенъ» нападал на некоторые стороны русской жизни, бесспорно, достойные осуждения, и скептический и немного мрачный склад ума его издателя отражался на его критических статьях. Особенно Новиков преследовал повальное взяточничество, царившее среди чиновников. Екатерина отвечала ему на это тоном веселой насмешки. Неужели нужно непременно плакать и видеть все в черном свете? Ей хотелось, чтобы все были веселы и смотрели на жизнь легко. Взяточничество, бесспорно, скверная и даже отвратительная вещь, но ведь у несчастных чиновников столько соблазнов! Неужели же осуждать их безжалостно, не допуская даже для них никаких смягчающих обстоятельств? Вообще к чему быть таким непреклонным и требовать от человечества совершенства, которое ему недоступно? «Наш полет по земле, – говорила „Всякая Всячина“: – а не на воз-

духе, еще же менее до небеси». – «Сверх того, – прибавлял журнал, – мы не любим меланхолических писем». Новикову было, конечно, нетрудно возразить на это. Но у Екатерины был зато против него такой аргумент, с которым он был уже бессилён бороться: в один прекрасный день она заставила его замолчать, закрыв его журнал: «Трутень» был запрещен в 1770 году.

Вследствие странной случайности, в это время между властной императрицей и гонимым публицистом и завязались отношения, которые стали вскоре очень близкими и привели к полной солидарности их идей и усилий, направленных к служению общему благу. Новиков сделался издателем Екатерины: она отдавала ему свои исторические сочинения. Через некоторое время она разрешила ему открыть новый журнал, «Живописец», в котором сама стала принимать участие. Между этими двумя людьми, по-видимому, как мало сходными, чтобы понимать друг друга, установился обмен взглядов и влияний. Новиков согласился с императрицей, что резкая критика, язвительность и желчность не всегда являются лучшими средствами для исправления людей; что смягчать нравы надо не скучною и строгою моралью, а живым, увлекательным, добрым примером. Он отказался от своей едкой и беспощадной сатиры. Екатерина, в свою очередь, написала в течение 1772 года комедии «Именины г-жи Ворчалкиной» и «О время!», в которых явно отразились любимые идеи Новикова. Она осмеивала французоманию, гос-

подствовавшую в то время среди русских, и, хотя и сдержаннее своего нового друга, старалась все-таки пролить свет на горестное положение русского крестьянства.

Но этот неестественный союз не мог просуществовать долго. Императрица начала вскоре находить, что ее сотрудник заходит слишком далеко в борьбе за общечеловеческие права и особенно в горячей защите закрепощенных крестьян. В 1775 году он был обвинен во франкмасонстве, имевшем в России немало приверженцев. Это послужило поводом к его разрыву с Екатериной. «Живописец» был, в свою очередь, запрещен; за этим последовали новые гонения и в конце концов привели несчастного публициста в Шлиссельбургскую крепость.

Русская пресса замерла на несколько лет. Только в 1779 году появился «С.-Петербургский Вестник». Он просуществовал всего два с половиной года и разделил участь своих предшественников. Но в 1783 году место прежних журналов занял «Собеседник Любителей Российского Слова» и сразу завоевал себе небывалый успех и влияние. Он печатался в академии наук под руководством ее президента, княгини Дашковой. Вскоре стало известно, что императрица состоит членом редакции, просматривает чужие рукописи и, кроме того, пишет сама в журнале. В «Собеседнике» появились ее «Были и Небылицы», одно из самых любопытных сочинений Екатерины. Это был ряд отрывочных статей, связанных только общим направлением: веселым, но нравоучительным

высмеиванием современных нравов. Екатерина обнаружила в них удивительное знание быта и жизни русского народа, почерпнутое ею, вероятно, из общения с ее приближенными, нередко выходившими из самых низших классов. Она проявила в них также много заразительной веселости и такую свежесть мыслей и чувств, которая поражает в женщине ее возраста: ей было тогда уже больше пятидесяти лет! Но сотрудничество в «Собеседнике» совпало с самой блестящей эпохой ее жизни: то было время мирного завоевания Крыма и фаворитизма Ланского. Она была на вершине славы, личного счастья и радостей. Все ей удавалось, все улыбалось ей, все казалось ей прекрасным. Вот начало этих ее статей:

«Предисловие. Великое благополучие! Открывается поле для меня и моих товарищей, зараженных болячкою бумагу марать пером, обмакнутом в чернила. Печатается „Собеседник“ – лишь пиши да пошли, напечатано будет. От сердца я тому рад. Уверяю, что хотя ни единого языка я правильно не знаю, грамматики и никакой науке не учился, но не пропущу сего удобною случая издать „Были и Небылицы“, хочу иметь удовольствие видеть их напечатанными».

Все остальное было написано в том же игривом, нарочито наивном тоне. Екатерина начала «Были и Небылицы» с портретов-шаржей, первым оригиналом для которых послужил бывший гофмейстер ее двора Чоглоков, а за ним последовали другие видные сановники. Можно подумать, что она подражает в этих своих сатирических статьях Стерну. По еѳ

примеру, она на каждом шагу употребляла и злоупотребляла скобками и NB. Все, что она писала, доставляло ей громадное удовольствие, и она искренне верила, что его разделяют и ее читатели. Она писала Гримму: «Знайте, что вот уже четыре месяца, как в Петербурге выходит русский журнал, в котором NB и заметки могут часто уморить со смеху. Вообще этот журнал смесь очень забавных вещей».

Оригинальной особенностью «Собеседника» было то, что он открыл свои страницы для полемики между сотрудниками и читателями. Редакция обязалась печатать все критические замечания публики па появляющиеся в журнале статьи. Их присылали немало, особенно по адресу автора «Былей и Небылиц». Это произвело большой переполох. Разве можно было допустить, чтобы первый встречный свободно высказывал свое мнение самодержице всероссийской? Редакция старалась дать понять читателям, с кем они имеют дело, не открывая в то же время имени анонима, так как на этом особенно настаивала Екатерина. Среди прочих читателей попал впросак и Фонвизин, приславший неизвестному автору ряд нескромных вопросов. Ответы на них Екатерины очень характерны:

«Отчего, – спрашивал Фонвизин, – многих добрых людей видим в отставке?»

«Многие добрые люди вышли из службы, вероятно, для того, – отвечала императрица: – что нашли выгоду быть в отставке».

«Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а ныне имеют и весьма большие?»

Этот вопрос открыто метил на Льва Нарышкина, личного друга Екатерины, который, разыгрывая при дворе роль паца, занимал высокое положение и был осыпан наградами и орденами. Екатерина ответила сперва не совсем понятной фразой, значение которой нам неясно:

«Предки наши не все грамоте умели», – эти слова не имеют, по-видимому, никакого отношения к делу. Затем раздражение взяло в Екатерине верх, и она прибавила: «NB Сей вопрос родился от свободоязычия, которого предки наши не имели».

Это было предупреждение, но Фонвизин не нашел нужным считаться с ним:

«Отчего, – продолжал он, – знаки почестей, долженствующие свидетельствовать истинные отечеству заслуги, не производят по большей части к носящим их ни малейшего душевного почтения?»

Суховатый ответ императрицы:

«Оттого, что всякий любит и почитает лишь себе подобного, а не общественные и особенные добродетели».

Наконец роковой вопрос:

«Отчего в век законодательный никто в сей части не помышляет отличиться?»

«Оттого, что сие не есть дело всякого».

На этот раз Фонвизин, вероятно, заметил, что зашел

слишком далеко, а, может быть, ему просто открыли глаза на опасность этого диалога. Во всяком случае он поспешил прислать в редакцию «Собеседника» письмо с извинениями: он не понял своего положения читателя, предлагающего вопросы; теперь он навсегда отказывается от этого права и, если от него потребуют, то никогда больше не возьмет пера в руки. Письмо это было напечатано в «Собеседнике» под заглавием: «Добровольная исповедь кающегося». Но вскоре между августейшим сотрудником «Собеседника» и его главным редактором разразилась более крупная ссора. Перебрав в своем сатирическом обозрении всех известных при дворе и в городе лиц, императрица дошла наконец до княгини Дашковой с ее академией наук. Екатерина не решилась, впрочем, напасть на княгиню открыто. Лев Нарышкин взялся разыграть вместо нее эту рискованную шутку и под псевдонимом Каноника послал в «Собеседник» соответствующую статью. Вот как рассказывала об этом сама Екатерина Гримму:

«Чтобы позабавить вас, я хотела бы прислать вам несколько переводов шуток, которые печатаются в нашем журнале-смеси: между прочим, там есть одно общество Незнающих, разделенное на две палаты; первая с чутьем, т.е. с обонянием или сметливостью, потому что русское слово „чутье“ обозначает обоняние охотничьих собак; можно было бы сказать: собак с тонким носом: вторая палата – без чутья. Обе палаты судят обо всем вкривь и вкось; вторая судит по здравому смыслу о делах, которые первая ей представляет; и все

это делается так серьезно и так похоже, что читатель может лопнуть со смеху, и есть некоторые выражения, которые войдут в поговорку».

От этой статьи сохранился рукописный отрывок, который не оставляет сомнений в том, что она была написана Екатериной. Но княгиня Дашкова не померла от смеху, читая ее: она пришла в искреннее негодование. Статью она напечатала, но посоветовала автору ее – она поверила сначала, что это Лев Нарышкин, – не писать больше: он был для этого совершенно бездарен. Тут, в свою очередь, оскорбилась Екатерина. Она приказала вернуть ей продолжение «Былей и Небылиц», которые было уже послала в редакцию. Державин еще подлил масла в огонь, рассказав императрице, что княгиня вообще позволяет себе очень неуместные замечания и шуточки насчет сочинений Екатерины и иногда высмеивает их даже при посторонних. Несчастливая редакторша сделала все от нее зависящее, чтобы поправить дело, успокоить гнев императрицы и спасти журнал. Но все было напрасно. Год спустя Екатерина писала Гримму:

«Этот журнал не будет теперь уже так хорош, потому что его шутники поссорились с издателями; но те от этого только потеряют; он был развлечением города и двора».

Екатерина продолжала, впрочем, еще некоторое время сотрудничать в «Собеседнике», но отказалась от юмористического жанра «Былей и Небылиц», бывших главной приманкой журнала. Она заменила прежние статьи «записками

касательно русской истории». Но хоть она и уверяла, что очень довольна ими, и писала Гримму, что они имеют полный успех, и что только скромность не позволяет ей говорить о них более подробно, читатели на этот раз, видимо, не разделяли ее восторгов. Журнал влачил жалкое существование до июня 1784 года. В это время смерть Ланского остановила надолго перо императрицы, и в сентябре «Собеседник» совсем перестал выходить.

В заключение «Былей и Небылиц», – уже решив не продолжать их больше, – Екатерина изложила свой взгляд на искусство писать, в виде особого завещания. Эти замечания ее послужат эпилогом для настоящей главы.

Глава третья

Екатерина в роли педагога

1. Положение народного образования в России при восшествии Екатерины на престол. – Преобразования Екатерины. – Генеральное учреждение 1764 года. – Влияние Локка и Жан-Жака Руссо. – Затруднения, встреченные императрицей при применении ее педагогической программы. – Идеи Жан-Жака Руссо не соответствовали взглядам Новикова. – Что думал в 1785 году заведующий учебными заведениями в России о пользе школ вообще. – Недостаток в учителях. – Суфлер, исполняющий обязанности инспектора классов. –

Кадетский корпус. – Недостаток необходимых знаний для составления учебной программы. – Екатерина взывает к философам.

Учреждения, созданные Екатериной в целях народного образования, и ее педагогические взгляды и сочинения занимают такое крупное место в истории ее царствования, а также в истории духовного развития России, что мы не можем обойти их молчанием в этом очерке, как ни коротки будут строки, которые мы им посвятим. Достигнув власти, Екатерина поняла, какой твердой опорой было для нее в той борьбе, из которой она вышла блестящей победительницей, ее высокое умственное развитие и относительно богатые и разнообразные познания. Кроме того, она по личному опыту знала, чего стоит в России – даже на ступенях престола – добиться хотя бы неполною образования. И наконец, самая практика управления показала ей, как безжалостно разбиваются лучшие намерения монарха о невежество и косность его поданных. Преобразовать или, вернее, положить почин народному просвещению в России было поэтому одною из самых ранних и первых ее забот. Здесь ей все или почти все приходилось начинать с начала. Крестьянство, разумеется, не шло в счет, среднее сословие – тоже, потому что его почти не существовало, и весь вопрос сводился в сущности к тому, чтобы поднять умственный уровень высших классов. Этот уровень был изумительно низок. Дети дворян воспи-

тывались или крепостными, или иностранными гувернерами. О том, что могли им дать первые, не стоит и говорить; что касается вторых, то легко догадаться, чем были люди – по большей части французы – которых могла соблазнить карьера домашнею учителя в далекой варварской России. Меге-Латуш рассказывает случай с гувернанткой, которую родители ее будущих учеников спрашивали, умеет ли она говорить по-французски: – «Sacredie, – ответила она им, – ведь это мой родной язык». И они удовлетворились этим, не требуя от нее дальнейших рекомендаций. Но только за ней как и осталось с тех нор имя Mademoisell Sacredie.

Как всегда, Екатерина задумала дело очень широко и хотела, чтобы оно осуществилось быстро, почти мгновенно. Уже на второй год ее царствования Бецкий, избранный ею в сотрудники по делу народного просвещения, получил приказание выработать проект новой воспитательной системы, которая послужила бы основанием для целого ряда предполагавшихся к открытию училищ и школ. Результатом работы Бецкого явилось Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества, опубликованное в 1764 году. Бецкий не скрывал, что идеи, положенные в основание этого «учреждения», принадлежат самой императрице. Они были очень смелы, хотя и неоригинальны: Екатерина заимствовала их у Локка и у Жан-Жака Руссо, в особенности у последнего, несмотря на то, что ставила невысоко его гений. Дело шло о том, чтобы создать «новую породу людей», не имею-

щих ничего общею с теми, что существовали прежде в России, и для этого с малолетства вырвать их из родной почвы и семьи и пересадить, в искусственную атмосферу оранжерей-училищ, специально созданных для них. Детей должны были помещать в эти учебные заведения пяти-шести лет и держать там совершенно замкнуто и вне всякого постороннего влияния до восемнадцати-двадцати лет.

Екатерина искренне и серьезно задалась целью провести эту программу в жизнь. И если это ей не удалось – по крайней мере в тех границах и размерах, о которых она мечтала, т.е. по отношению ко всему делу народного воспитания и образования, – то лишь потому, что она встретила громадные затруднения и у нее не хватило терпения, настойчивости и неутомимости, чтобы превозмочь их. Камнем преткновения на ее пути стали не только ее приближенные, люди, большею частью очень невежественные и потому равнодушные или даже враждебные ко всему, имеющему отношение к просвещению, но и передовые русские умы, в которых она могла бы найти неофициальную поддержку своим начинаниям. Так, Новиков и круг его читателей, подчинявшийся влиянию этого выдающегося публициста, не разделял вовсе идей Жан-Жака Руссо. А между тем Новиков и его друзья были бесспорно, цветом русской интеллигенции. У Новикова были свои, совершенно противоположные Руссо, педагогические взгляды: он придавал громадное значение местному духу, обычаям, преданиям и нравам страны в деле народ-

ного образования и восставал против произвольного введения в него иностранных, чуждых элементов. Те же лица, которые были призваны Екатериной для того, чтобы непосредственно руководить просвещением народа, сомневались – не более, не менее, как в пользу всяких школ вообще. В 1785 году, на вечере у императрицы, в ответ Потемкину, говорившему о необходимости открыть новые университеты, стоявший во главе недавно открытых начальных училищ Завадовский заметил, что Московский университет, со времени своего основания, не создал ни одного выдающегося ученого. «Это потому, – возразил ему Потемкин: – что вы не дали мне возможности закончить учение, а выгнали меня вон». Фаворит говорил фактическую правду: он был выключен из числа студентов и принужден поступить на военную службу, что и послужило началом его карьеры. Но он забывал прибавить, что это наказание было заслужено им по справедливости за его леность и распущенное поведение. Но тут заговорила сама Екатерина: она сказала, что лично многим обязана университетскому образованию, потому что с тех пор, как у нее служат лица, учившиеся в Московском университете, она начинает кое-что разбирать в записках и бумагах, которые ей представляют для подписи. Вследствие этого разговора и было решено открыть университеты в Нижнем Новгороде и Екатеринославе. Впрочем, прежде надо было еще создать этот последний город, существовавший пока только на бумаге.

Вторым большим препятствием, встреченным Екатериной, была невозможность найти подходящий учительский персонал. Открыв кадетский корпус. Бецкий назначил директором его бывшего суфлера французского театра, а инспектором классов – камердинера покойной матери Екатерины. Один из учителей, Фабер, служил когда-то лакеем у двух других преподавателей корпуса, французов Пиктэ и Маллэ, и стал таким образом из слуги их коллегой. Но когда французы рискнули указать Бецкому, что это как будто не совсем удобно, то гот ограничился тем, что дал Фаберу чин поручика русской армии и этим уладил дело. В кадетском корпусе была еще должность инспектрисы, обязанности которой мы в точности не беремся указать: это место заняла г-жа Зейц, жена одного из приближенных Петра III, особа весьма сомнительной нравственности. Но генеральша Лафоне, начальница другого учебного заведения, находившегося под особым покровительством императрицы, и пользовавшаяся поэтому почти неограниченной властью в педагогическом мире, должна была г-же Зейц довольно крупную сумму и нашла вполне возможным расплатиться с ней, выхлопотав ей место в корпусе. Наконец полицмейстером заведения был назначен некто Ласкари, совершенно темная личность: впоследствии он занял место директора корпуса с чином подполковника.

В этой военной школе царствовала большая свобода нравов, если верить свидетельству Бобринского, побочного сы-

на Екатерины, воспитывавшегося там: в ней широко применялись идеи Жан-Жака Руссо.

Педагогические задачи Екатерины, благодаря этому, сильно осложнялись: прежде, чем думать об учениках, приходилось учить учителей. Екатерина должна была посылать в Оксфордский университет, в Туринскую академию и в немецкие школы молодых людей, которые готовились там к ответственной преподавательской деятельности. Но чтобы создать народные школы, Екатерине не хватало прежде всего необходимых знаний и понимания дела. Она наивно признавалась в этом Гримму.

«Послушайте-ка, господа философы, – писала она ему: – вы были бы прелестны, очаровательны, если бы имели милосердие составить план учения для молодых людей, начиная с азбуки и до университета включительно. Мне говорят, что нужны школы трех родов, а я, которая нигде не училась и не была в Париже, не имею ни образования, ни ума, и, следовательно, не знаю вовсе, чему надо учить, ни даже чему можно учить; и где ж мне все это узнать, как не у вас, господа? Мне очень трудно представить себе, что такое университет и его устройство, гимназия и ее устройство, школа и ее устройство...»

Но при этом Екатерина сама указывала средство, временно избранное ею, чтобы выйти из этого затруднения:

«Пока вы соблаговолите или не соблаговолите исполнить мою просьбу, – писала она, – я знаю, что сделаю: я перели-

стаю Энциклопедию. О! здесь наверное набреду на то, что мне надо, и на то, чего не надо».

А так как философы остались на мольбу Екатерины глухи, то очевидно, что все те меры, которые были приняты ее универсальным гением в области народною просвещения, и были почерпнуты ею из французской Энциклопедии.

II. Учреждение специальных училищ. – Die Universalnormalschulmeisterin. – Мечта Екатерины. – Смольный монастырь. – Екатерина в роли настоятельницы. – Подделка под Сен-Сир. – Плоды подобного воспитания. – Нетвердость педагогических взглядов Екатерины. – Несообразность в них.

Эти мероприятия, за исключением одного, оказались бесплодными. Несколько учебных заведений ведут, правда, свое начало со времени великого царствования Екатерины, но все это специальные училища, как, например, артиллерийская и инженерная школа, основанная в 1762 г., коммерческое училище в 1772 г., горный институт в 1773 г. и Академия художеств в 1774 году. В 1781 г. был поднят вопрос о народных школах, и через два года Янковичу было поручено создать несколько начальных училищ по образцу австрийских. Их было открыто в Петербурге сразу десять, и через несколько месяцев они насчитывали уже около тыся-

чи учеников. Это привело Екатерину в большой энтузиазм, и она писала Гримму: «Знаете ли вы, что мы поистине делаем весьма хорошие вещи и быстро подвигаемся вперед, но не в воздухе (потому что, из страха пожаров, я раз навсегда запретила всякие аэростатические шары), но внизу, по земле, распространяя просвещение». В ответ на это Гримм пожаловал Екатерину титулом *Universalnormal-schulmeisterin*.

Но все это было, однако, очень далеко от того воспитания в духе Локка и Жан-Жака Руссо, о котором мечтала императрица, и которое, на ее мнению, должно было бы возродить Россию. Их педагогическая система была применена ею в сущности только в одном учреждении, основанном ею в 1764 г. для воспитания молодых девушек, — а именно так называемом Смольном монастыре. Это было любимое создание Екатерины, которому она с редким для нее постоянством оставалась верна до конца царствования. Величественное здание его на берегах Невы и теперь останавливает на себе восхищенное внимание иностранцев, и русские «благородные девицы» продолжают получать здесь свое образование; еще не так давно в стенах его выросли дочери князя Черногогорского и тоже были свидетельницами того, как русская императрица, подобно своей великой предшественнице, нередко приезжала в институт, зорко следя за успехами и учением воспитанниц и интересуясь их детскими играми. Совершенно замкнутая жизнь в течение почти десяти лет, полная оторванность от всяких внешних, даже религиозных, влияний, но

особенно от влияния семьи, – одним словом, все основные черты «Генерального учреждения» Бецкого были проведены Екатериной в воспитательный и учебный план этого заведения. Зимой воспитанницы никогда не имели отпусков: они выезжали только ко двору, куда императрица часто призывала своих любимиц. Летних каникул у них тоже почти не было. Раз в полтора месяца родители могли видеть дочерей, присутствуя на публичных экзаменах, которые позволяли им судить о степени достигнутых детьми успехов: и это было все. Учительницы, – не монахини, конечно, а женщины общества, – говорили своим ученицам о Боге, о диаволе только в самых общих выражениях, что исключало возможность всякого прозелитизма; духовенство допускалось, положим, в этот своеобразный монастырь: оно даже обучало девиц Закону Божьему, но ограничиваясь строго необходимыми сведениями. Это был монастырь с настоятельницей-императрицей, увлекавшейся философией, и иноческая жизнь, сообщавшаяся с великолепием и соблазнами императорского дворца: что-то вроде французского Сен-Сира, но без всякого религиозного оттенка; мы говорим при этом, конечно, не о суровом и угрюмом христианстве г-жи Ментенон, но о христианстве вообще. Священник появлялся иногда в стенах института, но христианского духа в нем не было вовсе. Ему противоречило самое устройство этого воспитательного учреждения, – его разделение на две обособленные половины. В институте было всего около пятисот воспи-

танниц, но часть их была дочерьми дворян, а часть – мещанки. И они не имели между собою ничего общего ни в образе жизни, ни в образовании, которое им давали, ни даже в costume. У одних было тонкое белье, изящное платье, удобное помещение и вкусный стол, – в их обучении большое место занимали живопись, музыка и танцы. А у других платье было из грубой материи, кушанье простое, – их учили шитью, стирке, стряпне. Цвет одежды у всех был, положим, одинаков, но благородным девицам полагался элегантнѣй «лиф», а мещанкам «кофта» и фартук, указывающій на их низкое происхождение. В основе всею этого лежал очень языческий взгляд на людские отношения; он замечался, впрочем, и в учебной программе института, в которую Дидро хотел включить полный курс анатомии, и в образе жизни воспитанниц, имевших доступ к легкомысленному и развращенному двору императрицы.

Как на это указывали не раз. Екатерина первая из русских венценосцев обратила внимание на женское образование. Она положило ему начало с тою полнотою замысла и великолепием исполнения, отпечаток которѣй мы видим на всем созданном ею. Но в основание его были положены принципы, значение и ценность которых были, к несчастью, недостаточно продуманы ею: и они принесли свои плоды и сыграли большую роль в истории умственного и нравственного развития русской женщины, – роль, которую вряд ли можно назвать вполне благотворной.

По собственным признаниям императрицы Гримму, видно, что представляли, после пятнадцати лет царствования, воззрения Екатерины на дело воспитания: они сложились в ней совершенно случайно. Она отовсюду черпала идеи для своих учебных планов, точно собирала солдат для новых завоеваний. И в многочисленных педагогических сочинениях, завещанных ею потомству, здравые и глубокие мысли чередуются поэтому с парадоксальными утверждениями вроде того, что «языки и знания суть меньшая часть воспитания» или «здоровое тело и умонаклонение к добру составляют все воспитание». Идея просвещенного деспотизма, выраженная в слепом подчинении ученика наставнику, как-то странно сплеталось в ее писаниях и мыслях с необходимостью развивать в детях самостоятельность, укрепляя душу ребенка. В общем получалась полная несообразность. Екатерина отчетливо сознавала, что воспитание русской молодежи, практиковавшееся в ее время, не приносит никакой пользы ни самим юношам, ни России, и твердо верила в необходимость его преобразования, считая это основным условием народного прогресса. Это убеждение ясно и непреклонно установилось в ее уме, и нужно признать, что в ее век и на том престоле, который она занимала после Анны, Елизаветы и Петра III, и оно было большим шагом вперед сравнительно с недавним прошлым. Но все-таки славу и почетное звание основателя народного просвещения в России потомство присудило не Екатерине, а имени несравненно более скромно-

му, нежели ее. Потомство увенчало имя человека, которого Екатерина считала врагом и вознаградила тюрьмой и цепями за его труд на благо России. Начало народному образованию в том виде, как оно существует теперь в России, было положено учебными заведениями, открытыми в Петербурге Новиковым.

III. Педагогические сочинения Екатерины. – Александрo-Константиновская библиотека. – Образец «гражданского начального учения». – План светского образования. – Екатерина и 2-жа Эпинэ. – Les Conversations d'Emilie. – Бабушка и учительница. – Инструкция для воспитания великих князей Александра и Константина Павловичей. – Екатерина передает это воспитание в руки Лагарпа. – Она охлаждает к мысли о необходимой реформе и распространении образования. – Ее последний взгляд на просвещение народа.

Среди педагогических сочинений Екатерины первое место занимают посвященные ее внукам. Уже в 1780 году, когда старшему из них было 3 года, а младшему два, Екатерина деятельно занималась их воспитанием. Она хотела составить для них маленькую библиотечку из произведений собственного пера, и написала для них первый сборник, состоящий из азбуки, из ряда наставлений, вроде небольшого нравственного катехизиса, и из двух сказок, которые мы называли вы-

ше. Эта «Александро-Константиновская библиотека» очень занимала Екатерину. Детский сборник предназначался ею, впрочем, для более широкого круга читателей: Екатерина хотела распространить его по всей России. Она дала своему катехизису название, которое имело бы в настоящее время громадный успех во Франции: «Гражданское начальное учение», и таким образом за сто лет вперед положила начало внерелигиозному воспитанию конца девятнадцатого века. Она писала по этому поводу Гримму: «Все, видевшие этот сборник, чрезвычайно его хвалят и говорят, что он годится и для малых, и для больших. Начинается он с того, что ребенку говорят, что он родился на свете голым и слабым и ничего не знает; что все дети рождаются так; что по рождению все люди равны; но что по своим знаниям они бесконечно отличаются один от другого». Она не без гордости возвещала при этом, что за две недели в Петербурге разошлось до 20.000 экземпляров ее сборника. Чтобы усовершенствовать свою педагогическую систему, Екатерина отовсюду собирала сведения. Прежде, чем написать Инструкцию для воспитания великих князей, она собственноручно переписала наставление Фридриха-Вильгельма Прусского, данное им в 1729 году полковнику фон-Рохову, когда он поручал ему непокорного юношу, превратившегося впоследствии в Фридриха Великого. В 1781 году Гримм прислал Екатерине «Conversations d'Emilie», и она пришла в восторг и от книги, и от изложенных в ней правил поведения, и от автора, который в это вре-

мя был ей еще незнаком. Она писала Гримму: «Пожалуйста, примите как можно любезнее от моего имени автора книги „Conversations d'Emilie“; я применяю его метод со старшим из моих внуков, и это мне очень удается». Этим автором была, как известно, г-жа Эпинэ, а «Emilie» живое существо из плоти и крови: Эмилия Бельсэнс, ее внучка.

С тех пор Екатерина начала интересоваться этой семьей, ставшей впоследствии названным семейством ее «souffredouleur». Мы еще вернемся к этому в другом месте, когда будем говорить об отношениях Екатерины к лицам, состоявшим с ней в переписке.

Екатерина была, как мы уже не раз указывали на то, самой нежной и любящей бабушкой. С 1780 до 1784 года она положительно несла обязанности учительницы своих внуков и часто, руководствуясь, вероятно, чувством глубокой любви к ним, – нападала на очень верные взгляды и приемы воспитания. Когда Гримм высказал ей как-то свои сомнения относительно того, чему следует и чему не следует учить детей, она ответила ему на это: «Что касается великого князя Александра, то его надо предоставлять самому себе. Почему вы хотите, чтобы он думал и знал совершенно так же, как думали и знали до него другие? Учить не трудно, но нужно, по-моему, чтобы способности ребенка были достаточно развиты прежде, чем забивать ему голову старой чепухой, и из этой чепухи надо знать, что выбирать для него: Боже мой! (это написано по-немецки) чего природа не сделает, того ни-

какое учение не сумеет сделать, но зато учение часто душист природный ум». Два года спустя Екатерина опять возвратилась к этой мысли, но, к сожалению, доводя ее по своему обыкновению до крайности. «В голове этого мальчика (будущего императора Александра I), – написала она, – зарождаются удивительно глубокие мысли, и притом он очень весел; поэтому я стараюсь ни к чему не принуждать его: он делает, что хочет, и ему не дают причинять вред себе и другим».

В Инструкции, о которой мы говорили выше и которую Екатерина раздавала всем приходившим к ней, – у нее на письменном столе всегда лежало несколько ее экземпляров, – тоже встречаются прекрасные мысли. Следить за воображением ребенка и поощрять его во время его игр, чтобы открыть его истинные склонности; не давать детям лениться ни духом, ни телом; возбуждать в них любовь к ближнему и чувство жалости; избегать насмехаться над ними; внушать им, напротив, доверие к себе; не заставлять их бояться старших, чтобы не сделать из них трусов, – все это прекрасно и указывает на очень тонкое и верное психологическое чутье.

Но в 1784 г. катастрофа в личной жизни Екатерины остановила ее нежные и умные попечения о маленьких великих князьях, в которых лежала для нее вся будущность России. Павел ею не принимался в расчет, а если и принимался, то только как помеха или опасность. Эта катастрофа была – увы! опять – смерть Ланского. Бабушка и воспитательница исчезли. Осталась только женщина – пятидесятилет-

няя женщина, оплакивающая смерть своего молодого любовника! Правда, она вскоре утешилась, и к ней вернулась былая веселость. Но преемник Ланского, красивый, подвижный Мамонов, внес именно слишком много веселья, рассеяния и безумных, непрерывных празднеств в жизнь Екатерины, чтобы у нее осталось время еще и для педагогики. Бабушку заменил поэтому наставник. Это был, к счастью, Лагарп.

К этому времени Екатерина заметно охладела и к делу народного просвещения. Князь Долгоруков утверждает в своих Записках, что видел у внука графа Петра Салтыкова, московского генерал-губернатора, письмо Екатерины к этому последнему, где по поводу присланного ей проекта начальных школ она писала: «Незачем учить простой народ; когда он узнает столько, сколько мы с вами знаем, генерал, то не захочет нас слушаться, как слушается сейчас». Подлинность этого письма кажется нам очень сомнительной. Петр Салтыков скончался в 1773 году, когда воззрения Екатерины не отвечали этой теории официального обскурантизма, выраженной притом так цинически. Но мы не посмеем утверждать, чтобы Екатерина не высказывала подобных мыслей в последние годы своего великого царствования, мыслей, глубоко противоречивших его славе, но звучавших в тон с ожесточенной борьбой, которую она объявила против революции.

Книга четвертая

«Екатерина в частной жизни»

Глава первая

Екатерина у себя дома

1. День Екатерины. – Утренний выход ее величества. – Завтрак. – Опасная чашка кофе. – Утренняя работа. – Туалет государыни. – Обед. – Чтение. – Часы отдыха. – Вечерние приемы. – Игра императрицы. – Неприятные партнеры. – Екатерина ложится спать.

Попробуем описать один из дней этой удивительной и так разнообразно-наполненной жизни, какую являлась жизнь великой императрицы; мы возьмем какой-нибудь рядовой будничный день. Представим себе, что дело происходит зимой, в половине великого царствования, например, в 1785 году, т.е. в мирное время. Императрица живет в Зимнем дворце. Ее личные покои в первом этаже очень невелики. Поднявшись по маленькой лестнице, мы входим в комнату, где стол со всем необходимым для письма ждет секретарей и других лиц, состоящих при особе ее величества. Рядом нахо-

дится уборная с окнами на Дворцовую площадь. Здесь императрицу причесывают перед небольшим кругом ее приближенных высших сановников, получивших утреннюю аудиенцию: это – место малого выхода, большого же выхода в обыкновенные дни не бывает вовсе. В уборной две двери: одна ведет в так называемую Брильянтовую залу; другая – в спальню Екатерины. Спальня сообщается в глубине с маленькой внутренней уборной, куда вход для всех воспрещен, а налево с рабочим кабинетом императрицы. За ним идет зеркальная зала и другие приемные покои дворца.

Шесть часов утра. В это время государыня обыкновенно просыпается. Рядом с ее кроватью стоит корзина, где на розовой атласной подушке, обшитой кружевами, покоится семейство собачек, неразлучных спутников Екатерины. Это английские левретки. В 1770 году доктор Димсдэль, которого императрица выписала из Англии, чтобы привить себе оспу, преподнес государыне пару этих собачек. Они стали вскоре родоначальниками громадного потомства, настолько многочисленного, что представителей его можно было встретить через несколько лет во всех аристократических домах Петербурга. Кроме того, при самой императрице их оставалось всего около полудюжины, а то и больше. Как только звонарь дворца пробьет шесть часов, первая камер-юнгфера императрицы Мария Саввишна Перекусихина входит в спальню Екатерины. В прежние времена государыня вставала одна, сама одевалась, а зимою даже собственно-

ручно топила камин. Но годы изменили эту привычку. Сегодня императрица что-то заспалась. Она легла вчера спать позже обыкновенного. Интересная беседа в Эрмитаже задержала ее до одиннадцатого часа. Мария Саввишна без дальнейших церемоний ложится тогда на диван против кровати ее величества и пользуется случаем, чтобы вздремнуть немного. Но тут просыпается Екатерина; она встает с постели и в свою очередь будит уже уснувшую Марью Саввишну. А теперь скорее в уборную. Немного теплой воды, – чтобы прополоснуть рот, и немного льда, чтобы натереть лицо, – вот все, что нужно в настоящую минуту ее величеству. Но где же Екатерина Ивановна, молодая калмычка, которая должна держать наготове эти принадлежности несложного утреннего туалета императрицы? Вечно она опаздывает, эта Екатерина Ивановна! Как, уже четверть седьмого! Императрица не может сдержать, своего нетерпения. Она нервно топает ногой. Но вот наконец и калмычка. Екатерина вырывает у нее из рук золоченую чашку и быстро умывается. Она говорит при этом ленивице:

– Что, Екатерина Ивановна, ты думаешь, что дело всегда будет идти так, как теперь? Ведь ты выйдешь замуж, уйдешь от меня, а твой муж, поверь, на меня походить не будет. Он тебе покажет, что значит опаздывать. Подумай об этом, Екатерина Ивановна.

Та же сцена повторится неизменно и завтра. Пока же императрица быстро проходит в свой рабочий кабинет; за ней

идут ее собаки, успевшие уже подняться со своего сладострастного ложа. Это время завтрака. Кофе уже на столе, – Екатерина довольна. Но достаточно ли он крепок? На пять чашек у императрицы должно выходить не меньше фунта кофе: иначе она не может его пить. Раз один из ее секретарей Козмин, явившись с докладом, весь дрожал от холода. Императрица позвонила. «Подайте скорее кофе!» – приказала она. Она хотела, чтобы он выпил залпом горячий напиток. Но что это? Козмину дурно! У него началось страшное сердцебиение: еще бы! ему подали кофе, приготовленный для ее величества. Никто не думал, что государыня спрашивает кофе для своего секретаря и разделит завтрак с таким ничтожным чиновником. Обыкновенно Екатерина угощает только своих собак. Кофе императрицы их, разумеется, не интересует, но зато тут же подаются густые сливки, сухари, сахар. И левретки добросовестно очищают всю сахарницу и корзину с печеньем.

Теперь ее величеству больше никого не нужно. Если ее собаки захотят прогуляться, она сама откроет им дверь. Она желает, чтобы ее оставили одну и не мешали ей заняться работой или перепиской до девяти часов. Но где ее любимая табакерка, которая всегда лежит на письменном столе? Портрет Петра Великого, изображенный на ее крышке, напоминает Екатерине, по ее словам, что она должна неуклонно продолжать дело великого царя. Екатерина часто нюхает табак, но никогда не носит при себе табакерки. Зато, по ее приказа-

нию, они разложены на виду по всем комнатам дворца. Употребляет императрица особый табак, который культивируют для нее в Царском Селе. Пока она пишет, она почти не отрывает от лица табакерку. Она звонит. «Пожалуйста, будьте так добры, принесите мне табакерку», – говорит она вошедшему лакею. – «Пожалуйста», «прошу вас»... обычные выражения, с которыми она неизменно обращается к слугам, даже самым скромным.

В девять часов Екатерина возвращается в спальню. Здесь она принимает с докладами. Первым входит обер-полицмейстер. На ее величестве в эту минуту белый гродетуровый капот с широкими, свободными складками. На голове белый тюлевый чепец, съехавший набок в пылу работы или эпистолярной беседы с Гриммом; цвет лица у императрицы – яркий, глаза блестят; однако, для того, чтобы прочесть бумаги, поданные ей для подписи, Екатерина надевает очки.

– Верно, вам еще не нужен этот снаряд? – сказала она как-то улыбаясь своему секретарю Грибовскому. – Сколько вам от роду лет?

– Двадцать шесть.

– А мы в долговременной службе государству притупили зрение и теперь должны очки употреблять.

Входя, Грибовский отвешивает императрице низкий поклон. Она отвечает ему легким наклоном головы, после чего с любезной улыбкой протягивает ему руку. В эту минуту секретарь замечает, что у Екатерины не хватает одного пе-

реднего зуба, хотя другие сохранились хорошо. Он склоняется, чтобы поцеловать руку государыни, руку белую и полную и чувствует, что эта рука отвечает ему легким пожатием. После этого раздается сакраментальное: «садитесь», это значит: пора приступить к работе. Но занятия с секретарем прерываются каждую минуту. Государыне докладывают о министрах, генералах, сановниках, а она не любит заставлять их ждать. Вот вводят генерала Суворова. Не взглянув на императрицу, он направляется, налево кругом марш, в угол, где горит неугасимая лампада перед Казанской Божьей Матерью, и кладет перед нею три земных поклона, ударяя лбом в землю. Затем круто поворачивается, словно на параде, и с четвертым коленопреклонением опускается к ногам царицы. «Помилуй, Александр Васильич, как тебе не стыдно это делать!» – замечает вполголоса Екатерина. Она усаживает его рядом с собой, предлагает ему два-три вопроса, на которые он отвечает тоном рядового, рапортуящего своему капралу, и через две минуты отпускает его. Суворова сменяют новые лица. Но вдруг императрице что-то докладывают на ухо; она делает знак головой, и все выходят: это фаворит – Потемкин, Ланской или Мамонов – желает ее видеть. Для них двери ее величества всегда открыты, но зато с их появлением все другие исчезают.

Так время идет до полудня или до часа, судя по тому, обедает императрица в час или в два. Отпустив секретаря, Екатерина уходит в свою маленькую уборную, где одевает-

ся; здесь же ее причесывает ее старый парикмахер Козлов. Костюм государыни в будние дни чрезвычайно прост: открытое, свободное, так называемое «молдаванское» платье с двойными рукавами: внутренние из легкой материи собраны сборками до кисти руки, а верхние очень длинные, из той же материи, что и юбка, слегка приподняты сзади. Платье обыкновенно из лилового или «дикого» шелка, на нем нет никаких драгоценностей, ничего, указывающего на высокое положение императрицы, башмаки широкие, с низкими каблуками. Только в прическе Екатерины замечается некоторая изысканность: волосы зачесаны у нее кверху, с двумя стоячими буклями за ушами, и широкий, хорошо развитой лоб, которым она, по-видимому, гордится, совершенно открыт. Волосы у Екатерины очень густые и длинные; когда она садится перед туалетом, то они падают до земли. В парадных же случаях высокую прическу, сооруженную искусными руками Козлова, украшает небольшая корона, вместо шелкового платья Екатерина надевает тогда красное бархатное: оно называется «русским» платьем, хотя и сшито почти тем же свободным фасоном, что и «молдаванское». Русское платье обязательно при выходах и причиняет немало огорчения петербургским красавицам, которые не смеют явиться при дворе в парижских модных туалетах.

Затем Екатерина переходит в официальную уборную, где ее кончают одевать, – это время малого выхода. Число лиц, присутствующих при нем, ограничено, но все-таки вся ком-

ната набивается битком. Здесь находятся, прежде всего, внуки императрицы, которых приводят здороваться с бабушкой, затем фаворит, несколько близких ее друзей вроде Льва Нарышкина; тут и придворный шут, лицо, впрочем, очень разумное. Должность эту, совмещая ее с обязанностями доносчицы, исполняет Матрена Даниловна. Она забавляет государыню своими шутками, и через нее Екатерина узнает обо всем, что делается и говорится при дворе и в городе, и о всех новых сплетнях, циркулирующих со вчерашнего дня в Петербурге, вплоть до самых сокровенных семейных тайн. Матрена Даниловна все видит и все знает и имеет все инстинкты и слабости полицейского. Раз она сильно напала в присутствии императрицы на обер-полицмейстера Рылеева. Екатерина призвала его после этого к себе и дружески посоветовала ему послать Матрене Даниловне кур и гусей к Светлому празднику. Прошла неделя. «Ну, что Рылеев?» – спросила императрица у кумушки, собиравшейся выложить ей свой запас сведений. Матрена Даниловна стала рассыпаться в похвалах на его счет, тогда как неделю назад не знала, что придумать, чтобы очернить его. «Вижу я теперь, что жирные утки и гуси Рылеева очень вкусны», – сказала Екатерина.

Войдя в уборную, императрица садится к туалету – великолепному туалету из массивного золота. Ее окружают ее четыре камер-юнгферы. Это четыре старые девы, находящиеся при ней со времени ее восшествия на престол и вместе с нею пережившие пору любви. Они были, впрочем, всегда чрез-

вычайно уродливы. Одна из них, Марья Степановна Алексеева, сильно румянится. Все они русские. Екатерина держала у себя только русских слуг, подавая этим еще небывалый прежде пример своим подданным, которому те однако не следовали. Марья Степановна подносит государыне на блюде кусок льда; Екатерина натирает им себе при всех щеки, как бы в доказательство того, что не нуждается в косметических средствах, к которым прибегает ее камеристка; старая Палакучи прикалывает ей к волосам маленький тюлевый чепчик, который сидит теперь уже совершенно прямо на ее волосах; сестры Зверевы передают ей шпильки, и туалет ее величества окончен. Вся церемония продолжается в общем около десяти минут, и за что время Екатерина успевает обратиться к кому-нибудь из присутствующих со словом.

Теперь она идет к столу. До 1788 года государыня обедала обыкновенно в час. Но во время шведской войны она была до того завалена делом, что должна была перенести время обеда на час позже, с тех пор стала обедать в два. В будни к столу ее величества приглашалось человек двенадцать: прежде всего фаворит, сидевший по ее правую руку; затем несколько ближайших лиц свиты: граф Разумовский, фельдмаршал князь Голицын, князь Потемкин, граф Ангальт, братья Нарышкины, дежурный генерал-адъютант, граф Чернышев, граф Строганов, князь Бярятинский, графиня Брюс, графиня Браницкая, княгиня Дашкова; а позже, в последние годы царствования: генерал-адъютант Пассек,

граф Строганов, фрейлина Протасова, вице-адмирал Рибас, правитель волынского и подольского наместничества Тутолмин и два представителя французской эмиграции: граф Эстергази и маркиз Ламберт. Обед продолжался около часа. Он был очень прост. Екатерина никогда не заботилась об изысканности своего стола. Ее любимым блюдом была вареная говядина с солеными огурцами. Как напиток, она употребляла смородинный морс. Впоследствии, по совету доктора, она стала пить за обедом рюмку мадеры или рейнвейна. За десертом подавали фрукты, по преимуществу яблоки и вишни. Среди поваров Екатерины один готовил из рук вон плохо. Но она этого не замечала, и когда через много лет ее внимание наконец обратили на это, она не позволила рассчитать его, говоря, что он слишком долю служил у нее в доме. Она справлялась только, когда он будет дежурным, и, садясь за стол, говорила гостям: «Мы теперь на диете, надобно запастись терпением; зато после хорошо поедим».

Два раза в неделю, по средам и пятницам, императрица ела постное, и тогда приглашала к столу только двух-трех человек.

Но надо заметить, что для того, чтобы получить более вкусный обед, незачем было выходить даже за пределы императорского дворца. В то время, как стол ее величества был так прост, и Екатерина требовала, чтобы расходы на него не превышали определенных ею, очень небольших размеров, на столе фаворита Зубова, его покровителя, графа Н.И. Салты-

кова, и графини Браницкой, племянницы Потемкина, живших на счет императрицы, шло в 1792 году ежедневно по 400 рублей, не считая напитков, которых, вместе с чаем, кофе и шоколадом, выходило каждый день тоже рублей на двести.

После обеда Екатерина несколько минут беседовала с приглашенными; затем все расходились. Екатерина садилась за пядьцы – она вышивала очень искусно, – а Бецкий читал ей вслух. Когда же Бецкий, состарившись, стал терять зрение, она никем не захотела заменить его и стала читать сама, надевая очки. Так проходило около часа; затем ей докладывали о приходе секретаря: два раза в неделю она разбирала вместе с ним заграничную почту. В другие дни к ней являлись должностные лица с донесениями или за приказаниями. В это время при императрице часто находились ее внуки, с которыми она играла в минуты перерыва в делах. В четыре часа кончался ее рабочий день, и наступало время заслуженного отдыха и развлечений. По длинной галерее Екатерина проходила из Зимнего дворца в Эрмитаж, это было ее любимое местопребывание. Ее сопровождал Ланской или Мамонов, или Зубов. Она рассматривала новые коллекции, размещала их, играла партию в бильярд, а иногда занималась резьбой по слоновой кости. Шесть часов, – и императрица возвращалась в приемные покои Эрмитажа, уже наполнявшиеся лицами, имевшими проезд ко двору. Екатерина медленно обходила гостиные, говорила несколько милостивых слов и затем садилась за карточный стол. Она играла в вист по 10

рублей робер, в рокамболь, пикет, бостон. Играла всегда но маленькой. Ее обычными партнерами были: граф Разумовский, фельдмаршал граф Чернышев, фельдмаршал князь Голицын, граф Брюс, граф Строганов, князь Орлов, князь Вяземский и иностранные послы. Екатерина отдавала предпочтение двум первым, потому что они играли осторожно и скупно и не старались ей проигрывать. Сама же она вела игру с большим старанием и увлечением. Камергер Чертков, тоже изредка бывавший ее партнером, каждый раз страшно на нее сердился, упрекал ее в неправильных ходах и наконец в сердцах бросал ей карты в лицо. Но она никогда на это не обижалась, защищала, как могла, свой способ игры, ссылаясь на присутствующих. Однажды, когда она попросила рассудить ее с Чертковым двух французских эмигрантов, участвовавших в партии, он воскликнул:

– Хороши свидетели, ну кто им поверит, когда они своему королю изменили?

На этот раз Екатерина заставила замолчать забывшегося Черткова. Вообще ей стоило большого труда поддерживать при своем дворе подобающий тон. Играя другой раз в вист с графом Строгановым, генералом Архаровым и графом Штакельбергом, она все время обыгрывала Строганова. Тот наконец не выдержал и, забыв всякие приличия, с шумом встал, бросил игру и с пылающим лицом, задыхаясь от гнева, зашагал по Брильянтовой зале, давая волю своему раздражению:

– Я этак все деньги спущу!.. Вам-то ничего не значит проигрывать!.. А каково мне?.. Скоро я останусь нищим!..

Находя, что Строганов переступает дозволенные границы, Архаров хотел остановить его, но Екатерина сказала:

– Оставьте! Вот уже пятьдесят лет, что я его знаю таким. Вы ни его, ни меня не переделаете.

Игра кончалась обязательно в десять часов, и ее величество удалялась во внутренние покои. Ужин подавался только в парадных случаях, но и тогда Екатерина садилась за стол лишь для виду. Вернувшись к себе, она сейчас же уходила в спальню, выпивала большой стакан отварной воды и ложилась в постель. День ее был кончен.

II. Легенда и история. – Удовольствия и развлечения Екатерины. – Ее любовь к детям. – Маленькие воспитанники. – Марков. – Рибопьер. – Эстергази. – Любовь к животным. – Собаки. – Семейство Андерсон. – Другие домашние животные. – Где же Мессалина?

Вот удивительно правильный образ жизни, – скажет читатель, – и картина, которую мы набросали здесь в общих чертах, может быть, не совпадет с той, что рисовалась в его воображении на основании легенд о великой Екатерине, легенд, правда, очень распространенных и ставших общеизвестными. А между тем мы пользовались для нашего очерка

самыми достоверными источниками. Но мы понимаем, почему историю и предание разделяет в данном случае такая пропасть. Предание вдохновлялось, во-первых, тем, что действительно заслуживало в личной жизни императрицы полного осуждения и оправдывало худшие предположения, — мы коснемся этого вопроса ниже, — а, во-вторых, теми короткими периодами, когда Екатерина жила более рассеянно, но которые носили всегда временный и случайный характер; так это было, например, в первые месяцы ее сближения с Мамоновым после приступа отчаяния о погибшем Ланском. Жизнь Екатерины является вообще совсем в ином свете, если забыть на время об этой интимной стороне, которая, впрочем, никогда не нарушала ни гармоничного равновесия способностей Екатерины, ни точно выполняемой программы ее занятий и не мешала другим ее развлечениям, носившим очень мирный и очень невинный характер. Есть люди, которые представляют себе эту жизнь, как сплошную оргию, но они не могли бы указать ни одного достоверного факта в подтверждение своего взгляда. История, по крайней мере, такого факта не знает. Правда, может быть, история нехорошо осведомлена? Может быть, за той более или менее назидательной картиной частной жизни императрицы, которую мы только что набросали, скрывались другие, позорящие подробности? Не было ли в Зимнем и в Царскосельском дворцах и в Эрмитаже укромных уголков, закрытых от всех глаз, где Екатерина предавалась запретным наслаждениям?

Мы думаем, что – нет, и думаем так по причинам, основанным на самом характере Екатерины, и на всем складе ее жизни: с известной точки зрения жизнь ее действительно можно назвать скандалом официальным, циническим, если хотите, но откровенным. Впрочем, сама императрица блестяще опровергла – не словом, но делом – те оскорбительные обвинения, которые еще при жизни позорили ее. Англичанин Гаррис писал в январе 1779 года: «Императрица ведет жизнь, с каждым днем все более невоздержную и рассеянную, и ее общество состоит из того, что есть самого низкого среди ее придворных; здоровье ее величества, расшатано...» И когда Foreign Office пришло, на основании этого донесения, к заключению, что Екатерине, истощенной развратом, осталось жить лишь несколько дней, вся Европа узнала, что, напротив, императрица жива и здорова и никогда не чувствовала себя лучше ни в физическом, ни в нравственном отношении.

Екатерина была, без сомнения, чувственна; пожалуй, даже развратна, но ее ни в каком смысле нельзя было назвать вакханкой. Ненасытно влюбленная и бесконечно честолюбивая, она, несмотря на это, умела подчинять и свои увлечения, и свое честолюбие известным правилам, которых никогда не преступала. Фавориты занимали, безусловно, очень видное место при ее дворе и во всей ее и материальной, и нравственной, и политической жизни. Но они никогда не могли вытеснить оттуда императрицу, и, как это ни странно на пер-

вый взгляд, и семейную женщину с ее тихими привычками и привязанностями.

Екатерина страстно любила детей; ей доставляло искреннее и большое удовольствие играть с ними: это было одно из ее любимых времяпрепровождений. В письме к Ивану Чернышеву, написанном в 1769 году, она рассказывает ему, как вместе со своими друзьями того времени, Григорием Орловым, графом Разумовским и Захаром Чернышевым, братом Ивана, она забавлялась с маленьким Марковым, взятым ею во дворец, резвилась, каталась по полу и хохотала «до усталости». Маркова, прозванного Оспенным, – ему было в то время шесть лет, – заменил впоследствии сын адмирала Рибопьера. Но этого было труднее приручить; он вбил в свою детскую головку всякие ужасы и, между прочим, то, что его зовут во дворец, чтобы казнить его смертью. Но Екатерина сумела завоевать его доверие. Она вырезала ему картинки, делала игрушки. Раз она оторвала ленточку от своего воротника, чтобы сделать из нее вожжи для кареты, вырезанной ею из картона. Рибопьер сидел у нее в комнатах целыми часами; она отсылала его, только когда к ней приходили с делами, но потом опять призывала к себе. Пяти лет он был уже назначен офицером ее гвардии. Впрочем, не он один пользовался такими привилегиями: последней чести удостоились вместе с ним оба маленькие Голицыны, четверо внучатных племянников Потемкина, сын фельдмаршала графа Салтыкова, сын гетмана Браницкого, молодой граф Шувалов, сопровождав-

ший впоследствии Наполеона на остров Эльбу, и маленький Валентин Эстергази. Рибопьер рос в покоях императрицы до одиннадцати лет. Отпустив его тогда, Екатерина пожелала, чтобы он переписывался с ней, и на его первое послание ответила ему собственноручно. Но в ее письме оказалось, на этот раз, против обыкновения, столько помарок, что она дала переписать его своему секретарю Попову, который вручил впоследствии Рибопьеру и самый оригинал. Екатерина цитирует в этом письме стихи:

«...dans les ames bien nees
La valeur n'attend pas le nombre des annees»,

приписывая их Вольтеру.

В своих Записках Рибопьер говорит о портрете Екатерины, подаренном ему ею, когда ему было девять лет. Императрица спросила его как-то, есть ли у него ее портрет, и когда он огорченно покачал головой, воскликнула:

– А ты еще уверяешь, что меня любишь!

Она сейчас же приказала принести один из своих портретов, тот самый, внизу которого граф Сегюр написал в 1787 году известные стихи. Мальчик хотел сейчас же увезти свое сокровище к себе домой. Ему подали придворную карету. Он с серьезным лицом поставил портрет на переднее место, а сам сел напротив. Этот поступок очень тронул Екатерину.

Положению маленькою Рибопьера при дворе сильно зави-

довали, и как только его место освободилось, оно стало предметом непрестанных домогательств и соревнований. Зубов хотел ввести к Екатерине сына эмигранта Эстергази. Но императрица вскоре заметила, что мальчик только повторяет перед нею заученные – хоть и не всегда твердо – уроки. Он рассказывал вопиющие подробности о нищете в доме своих родителей, жаловался, что принужден носить рубашки из грубого холста. Раз он издал при Екатерине произвольный звук:

– Наконец-то, – сказала она, – я слышу нечто естественное!

Валентин Эстергази не имел в общем успеха своих предшественников.

После детей, – мы не решаемся сказать «прежде» них, хотя, может быть, это было бы более точно, – собаки и другие животные занимали тоже большое место в привязанностях Екатерины. Семья сэра Тома Андерсона имела при дворе, бесспорно, более прочное положение, нежели какое бы то ни было другое семейство в империи. Вот перечисление его членов, сделанное самой Екатериной в одном из ее писем:

«Во главе стоит родоначальник, сэр Том Андерсен, его супруга, герцогиня Андерсон, их дети; молодая герцогиня Андерсон, господин Андерсон и Том Томсон; этот устроился в Москве под опекой князя Волконского, московского генерал-губернатора. Кроме них, уже завоевавших себе положение в свете, есть еще четверо или пятеро молодых особ, ко-

торые обещают бесконечно много: их воспитывают в лучших домах Москвы и Петербурга, как, например, у князя Орлова, у гг. Нарышкиных, у князя Тюфякина. Сэр Том Андерсон вступил во второй брак с m-elle Мими, которая с этого времени получила имя Мими Андерсон. Но до сих пор у них нет потомства. Кроме этих законных браков (ведь надо говорить о недостатках так же, как и о добродетелях, когда излагаешь чью-нибудь историю), у г. Тома было еще несколько незаконных привязанностей: у великой княгини есть несколько хороших собачек, которые сводят его с ума; но пока побочных детей еще не появлялось, и, по-видимому, их нет; если же о них и говорят, то это клевета».

В другой раз, сообщая Гримму о своем горе по поводу кончины великой княгини, первой супруги Павла, Екатерина кончает письмо следующими строками, которые рядом с первой его частью производят довольно странное впечатление:

«Я всегда любила зверей... животные гораздо умнее, чем мы думаем, и если было когда-нибудь на свете существо, имевшее право на речь, то это, без сомнения, сэр Том Андерсон. Общество ему приятно, особенно общество его собственной семьи. Из каждого поколения он выбирает самых умных и играет с ними. Он их воспитывает, прививает им свои нравы и привычки: в дурную погоду, когда всякая собака склонна спать, он сам не ест и мешает есть менее опытным. Если же, несмотря на его предостережения, они рас-

строят себе желудки, и он увидит, что у них началась рвота, то он ворчит и бранит их. Если он найдет что-нибудь, что может их забавить, то предупреждает их; если найдет какую-нибудь траву, полезную для их здоровья, то ведет их туда. Это все явления, которые я наблюдала сто раз собственными глазами».

Затем она пишет:

«Ваш № 29» (Екатерина ввела для своей переписки с Гриммом особую нумерацию, необходимую, чтоб разобраться в этих бесчисленных письмах) «пришел на два дня позже перчаток» (Гримм делал также мелкие покупки для ее величества), «которые с той минуты, как их принесли ко мне в комнату, валялись у меня на большом турецком диване, где бесконечно забавляли внуков сэра Тома Андерсона и в особенности лэди Андерсон, которая представляет настоящее маленькое чудо; ей пять месяцев, и в этом возрасте она соединяет в себе все добродетели и все пороки всей своей знаменитой расы. Уже теперь она рвет все, что находит, бросается и кусает за ноги тех, кто входит в мою комнату, охотится за птицами, мухами, оленями и другими животными, в четыре раза более крупными, нежели она сама, и производит больше шума, чем все ее братья, сестры, тетка, отец, мать, дед и прадед, взятые вместе. Это полезная и необходимая мебель в моей комнате, потому что она схватывает все ненужное, что можно было бы унести, не нарушая обычного хода моей жизни».

Но одних собак было для Екатерины мало. В 1785 году она привязалась к белой белке, которую растила сама и кормила из рук орешками. Затем у нее появилась обезьяна, и она часто потешалась ее проказам и умом. «Расскажу вам, – писала она Гримму, – об удивлении, которое я увидела раз на лице принца Генриха (брата прусского короля), когда князь Потемкин впустил ко мне в комнату обезьяну, и я стала с ней играть вместо того, чтобы продолжать возвышенный разговор, начатый нами. Он широко раскрывал глаза, но напрасно: проделки обезьяны одержали над ним верх».

У нее была также кошка, подарок князя Потемкина. «Это из всех котов кот, – писала она: – веселый, забавный, совсем не упрямый». Она получила его в благодарность за сервиз севрского фарфора, заказанный ею во Франции для фаворита, причем она приказала сказать на фабрике, что этот сервиз предназначается лично для нее, «чтобы его сделали лучше». Но на семействе Андерсон эти новые привязанности не отзывались. «Вы простите меня, – замечает императрица в одном из своих писем, – за то, что вся предыдущая страница очень дурно написана: я чрезвычайно стеснена в настоящую минуту некоей молодой и прекрасной Земирой, которая из всех Томассенов садится всегда как можно ближе ко мне и доводит свои претензии до того, что кладет лапы на мою бумагу».

Приведем еще следующий отрывок из Воспоминаний гжи Виже-Лебрень: «Когда императрица возвратилась в го-

род, я каждое утро видела, как она открывала форточку и кормила хлебом сотню воронов, слетавшихся за своим пропитанием в определенный час. Вечером, около десяти часов, когда залы дворца были освещены, я видела ее опять: она, вместе со своими внуками и некоторыми придворными, играла в жгуты и в прятки».

Г-жа Виже-Лебрень занимала во время своего пребывания в Петербурге дом, стоявший против императорского дворца. Впоследствии предание переделало в голубей ворон, которых кормила государыня; но в данном случае и история, и легенда единодушно говорят о вкусах и привычках Екатерины, совершенно несовместимых с характером Мессалины. Наша оговорка остается при этом, разумеется, в силе. Ведь то, что мы знаем о жизни Екатерины, вместе с Орловым или Потемкиным, в каком-нибудь дворце, может быть, – не полная, не «правдивая» правда, как говорят итальянцы? Сомнение – первая добродетель историка, это мы помним. Но, как мы уже говорили, Екатерина никогда не была лицемерной; она жила открыто и, из гордости ли, или из цинизма, выставляла напоказ такие стороны своей жизни, где ее невольно оставляет и наше уважение, и преклонение перед ней.

III. Выезды. – Прогулка в санях. – Маскарады на масленице. – Екатерина в гостях. – В Таврическом дворце. – В Царском Селе. – Деревенские вкусы. – Плантомания. – Нелюбез-

ный петербуржец. – Записки графа Сегюра. – Приемы в Эрмитаже. – Правила. – Штрафы. – Игры. – Доля правды и вымысла. – Обмен записочек с бароном Бретейлем.

Вне дома жизнь императрицы давала очень мало материала для молвы, доброй ли, или злой, – безразлично. Если не считать больших путешествий Екатерины, составивших эпоху в ее истории, как, например, ее путешествие в Крым, то можно сказать, что она запиралась в своих громадных, роскошных дворцах. Иногда на масленице, в ясные, солнечные дни, она делала, впрочем, длинные прогулки. В трех больших санях, запряженных десятью-двенадцатью лошадьми, она выезжала из дворца вместе со своей свитой. К саням были привязаны веревками салазки, в которых размещались – где кто хотел придворные дамы и кавалеры, и эта странная кавалькада уносилась галопом: ездили обедать за город, в Чесменский дворец; другой раз переезжали Неву к Горбилевской даче императрицы, где были устроены ледяные горы, и возвращались в Таврический дворец к ужину. Во время одной из таких поездок, пообедав и заняв место в парных санях, где она сидела одна, Екатерина спросила у сопровождавшего ее шталмейстера, накормили ли также кучеров и лакеев. Он ответил, что нет. Императрица сейчас же вышла тогда из саней. «Эти люди так же хотят есть, как и мы», – сказала она. А так как об их обеде никто заранее не позаботился, то она терпеливо выждала, пока для них сва-

рили кушанье и они утолили свой голод.

Но такие поездки бывали редко. Государыня не любила показываться иначе, как во дворце, в той декоративной обстановке, которая ее там окружала; она точно боялась уронить свой престиж, показываясь запросто в народе. Раз как-то у нее сильно заболела голова, и ей очень помогла прогулка на свежем воздухе; когда же головная боль повторилась у нее и на следующий день, то ей посоветовали применить то же лекарство. «Что сказал бы обо мне народ, когда бы увидел меня два дня сряду на улице?» – возразила Екатерина. Два раза зимою она ездила в маскарады. Лица, которых она приглашала сопровождать ее, находили во дворце уже готовые костюмы и маски. Обыкновенно, чтобы лучше скрыть свое инкогнито, Екатерина садилась в чужую карету. Она любила надевать мужской костюм и интриговать хорошеньких женщин, ухаживая за ними. Ее несколько грубоватый голос очень помогал ей при этом. Раз она так воспламенила своими речами воображение какой-то красавицы, что та в порыве увлечения сорвала маску с таинственного кавалера. Екатерина очень рассердилась, но ограничилась тем, что упрекнула даму за несоблюдение маскарадных обычаев.

Приглашения Екатерина редко принимала. Великолепный князь Тавриды, граф Разумовский, фельдмаршал князь Голицын, оба Нарышкины, графиня Брюс и г-жа Матюшкина – вот почти единственные лица, удостоившиеся чести видеть у себя императрицу. Обыкновенно Екатерина не позво-

ляла о себе докладывать, забавляясь замешательством, которое производил ее неожиданный приезд.

Весной она переезжала из Зимнего дворца в Таврический, когда это роскошное жилище, выстроенное ею для Потемкина, было вновь куплено ею у фаворита. Здесь она проводила Вербное воскресенье и говела на Страстной. Затем в мае она отправлялась в Царское Село. Это место ее летнего пребывания, заменившее Петергоф и Ораниенбаум, связанные для нее со слишком мучительными воспоминаниями, было ей особенно по душе. Здесь не было ни приемов, ни придворного церемониала, ни скучных аудиенций. Екатерина отдыхала здесь даже от дел, занимаясь ими лишь в случае крайней необходимости.

Императрица вставала в Царском в шесть или семь часов и начинала день прогулкой. Одета легко, с тросточкой в руках, она проходила по своим садам. Ее сопровождала только верная Перекусихина, камердинер и егерь. Но семейство Андерсон, разумеется, тоже принимало участие в прогулке; и о присутствии императрицы можно было всегда узнать издали по веселому лаю собак, носившихся по лужайкам. Екатерина с увлечением занималась садоводством, и плантомания, как она называла эту страсть, была в ней почти так же сильна, как и любовь к строительству. Впрочем, она следовала в данном случае общей моде.

«Я люблю до безумия в настоящее время, – писала она в 1772 году, – английские сады, кривые линии, покатые скло-

ны, пруды вроде озер, группы островов из твердой земли, и глубоко презираю прямые линии. Я ненавижу фонтаны, которые мучают воду, заставляя ее бить в направлении, противном природе; одним словом, англомания господствует в моей плантомании». Пять лет спустя она писала опять: «Я часто привожу в бешенство моих садовников, и не один немец-садовник сказал мне в своей жизни: *Aber, mein Gott, was wird das werden!* Я нахожу, что большинство из них просто рутинеры и педанты; отклонения от рутины, которые я им часто предлагаю, приводят их в негодование, и когда я вижу, что рутина берет верх, то прибегаю к помощи первого рабочего, которого найду под рукою. Никого моя плантомания так не смешит, как графа Орлова. Он подсматривает за мною, подражает мне, насмехается надо мной и критикует меня, но кончил тем, что, уезжая, поручил мне свой сад на лето, где я буду в нынешнем году распорядиться по-своему. Его земля рядом с моей; я очень горжусь, что он признал мои заслуги по садоводству».

Царскосельский парк был открыт для публики. Однажды, сидя на скамейке вместе с Перекусихиной, Екатерина обратила внимание на петербуржца, который, заметив двух старух и не узнавая императрицы, взглянул на них с пренебрежением и насвистывая прошел мимо. Перекусихина была возмущена, но Екатерина остановила ее: «И то сказать, Марья Саввишна, устарели мы с тобою, а когда бы были помоложе, поклонился бы он и нам».

Окончив прогулку к девяти часам, государыня садилась работать, и до шести часов день ее шел почти так же, как в городе, за исключением того, что к ней не являлись должностные и официальные, скучные для нее лица, и свита ее состояла из более ограниченного числа человек. К обеду приезжал иногда кто-нибудь из Петербурга. В шесть часов императрица опять шла гулять, но уже в большом обществе, хотя по-прежнему непринужденно. Внуки ее бегали взапуски у нее на глазах, а граф Разумовский решал, кто из них выиграл. В дождь Екатерина собирала свое общество в знаменитой стеклянной галерее с колоннадой, где стояли бюсты великих людей древности и настоящего времени, перед которыми она особенно преклонялась.

Иностранные послы тоже получали иногда приглашение погостить на даче у императрицы. Граф Сегюр вспоминает в своих записках о пребывании в Царском Селе:

«Екатерина II была так добра, – говорит он: – что показывала мне сама все красоты этого великолепного загородного дома; прозрачные воды, прохладные рощи, изящные павильоны, благородная архитектура, драгоценная мебель, комнаты, выложенные порфиром, лапис-лазурью, малахитом, походили на феерию и напоминали путешественнику, любовавшемуся ими, дворцы и сады Армиды... Но по полной свободе, веселью и отсутствию всякой скуки и стеснения, царившим тут, можно было бы думать, – закрыв глаза на внушительное величие Царскосельского дворца, – что на-

ходишься в деревне у каких-нибудь простых и очень любезных хозяев... Кобенцель блистал здесь своей неистощимой веселостью, Фиц-Герберт тонким, изысканным умом, генерал Потемкин оригинальностью, благодаря которой он всегда казался новым и своеобразным, даже в нередкие минуты тоски или мечтательности. Императрица запросто беседовала обо всем, кроме политики; она любила слушать сказки, сама сочиняла их; а когда разговор случайно замирал, то обер-шталмейстер Нарышкин своими выходками, носившими несколько шутовской характер, вызывал неизменно хохот и шутки. Екатерина работала почти все утро, и каждый из нас мог тогда писать, читать, гулять, одним словом, делать что угодно. Обед, при ограниченном числе блюд и приглашенных, был вкусный, простой, но без всякой роскоши; послеобеденное время проходило в играх и в разговорах. Вечером императрица удалялась в свои покои рано, и мы собирались тогда – Кобенцель, Фиц-Герберт и я – или у одного из нас, или в помещении князя Потемкина».

В прелестном Царском Екатерина отдыхала от утомительных обязанностей, связанных с ее высоким положением, особенно от необходимости появляться на всех празднествах и придворных церемониях, что представляли эти празднества, и какой блеск она умела придавать им, мы попытаемся рассказать в другой раз. Теперь же мы скажем только несколько слов о ее знаменитых вечерах в Эрмитаже.

По своим крупным размерам и великолепию внутренней

отделки дворец этот не отвечал своему названию. Ряд галерей и зал вел в круглый театр – уменьшенную копию античного театра в Виченце. Приемы в Эрмитаже были большие, средние и малые. На первые приглашалась вся знать и весь дипломатический корпус. Балы сменялись спектаклями, в которых участвовали все знаменитости того времени: Сарти, Чимароза, Паизиелло управляли оркестром; Биотти, Пуниани, Диц, Люлли, Михель, играли каждый на своих инструментах; пели Габриелли, Тоди, баритон Маркези, тенор Мажорлетти; в пантомиме блестели имена Пика, Росси, Сантини, Кануччйани. После концертов и итальянских опер стали давать и русские комедии и драмы; здесь подвизались первые русские актеры: Волков, Дмитревский, Шумский, Крутицкий, Черников, Сандунов, Троепольская. Разыгрывали французские комедии и оперы – произведения Седена, Филidora, Гретри, которые тоже находили себе превосходных исполнителей: среди них был и знаменитый Оффрен. На балу у каждой дамы было по два кавалера, которые ужинали с нею. После ужина танцевали еще полонез и расходились по домам до десяти часов.

Средние собрания отличались от больших только тем, что приглашенных на них было меньше.

Но совсем иной характер носили малые приемы. Их всегдашними были только члены императорской фамилии и лица, особенно близкие императрице: в общем собиралось не больше двадцати человек. Приглашение на эти вечера счи-

талось знаком исключительной милости Екатерины, и ему придавали громадное значение. В оркестре сидело во время спектаклей – ими почти всегда начинались малые приемы – иногда три-четыре музыканта, не больше: Диц со своей скрипкой, Дельфини с виолончелью, Кардон с арфой. После спектакля каждый делал что хотел. В залах, открытых для гостей, не было «даже намека на императрицу», как говорит Гримм в своих, впрочем, очень неточных и, по-видимому, даже не подлинных Записках. На стенах висели правила: запрещалось, между прочим, вставать перед государыней, даже если бы она подошла к гостю и заговорила бы с ним стоя. Запрещалось быть в мрачном расположении духа, оскорблять друг друга, говорить о ком бы то ни было дурно. Запрещалось помнить о прежних распрях и ссорах: их надо было оставлять в передней вместе со шпагой и шляпой. Запрещалось также лгать и говорить вздор. Виновные наказывались штрафом в десять копеек, которые бросали в кружку для бедных. Роль казначея исполнял Безбородко. Один из посетителей этих вечеров, говоривший нелепости на каждом шагу, постоянно заставлял кассира подносить ему копилку. Раз, когда он уехал с вечера раньше обыкновенного, Безбородко сказал императрице, что следует воспретить ему вход в Эрмитаж, так как иначе он разорится на штрафы. «Пусть приезжает, – ответила Екатерина: – мне дороги такие люди; после твоих докладов и докладов твоих товарищей, я имею надобность в отдыхе, мне приятно изредка послушать и вра-

нье». – «О, матушка-императрица, если тебе это приятно, то пожалуй к нам в первый департамент правительствующего сената: там то ли услышишь!»

Всякие игры пользовались на этих собраниях громадным успехом. Екатерина была запевалой, возбуждала во всех веселость и разрешала всякие вольности. Фанты бывали такие: выпить залпом стакан воды, продекламировать не зевая отрывок из «Телемахиды» (Тредьяковского) и т.д. Вечер кончался за картами. Часто, во время игры, императрицу прерывали, напоминая ей, что она еще не исполнила своего фанта. «Что ж присуждено мне делать?» спрашивала она покорно. – «Велено вам сесть на пол!» – «Для чего ж нет?» и она сейчас же садилась.

Все это очень непохоже на оргии, о которых повествовали некоторые современники Екатерины. С известной точки зрения она, впрочем, подавала повод к этим рассказам, омрачившим ее славу. У нее, с восшествия на престол и до самой кончины, был способ действовать и говорить, совершенно несвойственный монархам. Так, в 1763 году, покидая свой пост, барон Бретейль получил от нее записку, составленную в выражениях, которые не могли не поразить дипломата, привыкшего к официозному, придворному стилю:

«Барон Бретейль будет так добр отправиться в хижину, о красоте которой он обещал хранить вечную тайну, в воскресенье в одиннадцать часов утра и, если пожелает, останется там до ужина под предлогом отдать визит графу Орлову».

Эта записочка была без числа и без подписи, но написана собственной рукою императрицы. Хижиной же, о которой шла речь, был загородный дом, только что выстроенный Екатериной под Москвой. Бретейль ответил императрице в следующих выражениях:

«Барон Бретейль возобновляет клятвы о том, что сохранить ненарушимую тайну о хижине, где ему делают милость принять его публично в воскресенье в одиннадцать часов. Он отправится туда, полный благодарности и уважения, и воспользуется лестным позволением остаться там на весь день, но граф Орлов, вероятно, разрешит ему не прибегать к предлогу ответного визита».

Можно подумать, что эти строки написаны под диктовку жены Бретейля. Но если она видела в приглашении государыни какое-нибудь оскорбительное для себя намерение, то очень ошибалась, и муж ее понял это впоследствии, когда узнал, в чем было дело.

Глава вторая

Семейная жизнь. – Великий князь Павел Петрович

1. Мать и сын. – Причины размолвки. – Различные объяснения. – Мать и императрица.

Екатерина никогда не проявляла большой привязанности к родителям, ни к своему отцу, ни к своей матери; она точно забывала, что у нее есть брат; с мужем она жила дурно, если и не участвовала косвенно ли или прямо, – в его трагической кончине; наконец, сын, единственный из ее законных детей, оставшийся в живых, не мог похвалиться ее отношением к нему, если даже и не верить тому, что она, как то предполагали многие, хотела лишить его престола. Все это факты. На основании их выводят обыкновенно заключение, что Екатерина была лишена всякого семейного чувства, и что даже то из них, которым одарены существа, стоящие на самой низкой ступени морального развития, и все животные, инстинкт материнства, был чужд ее холодной душе, развращенной честолюбием или пороком. Но такое заключение спорно.

О том, что представляли отношения Екатерины к мужу, мы уже говорили. Ее же отношения к наследнику престола историки толковали очень различно. Одни утверждали, что они были превосходны до первого брака Павла. Но молодая жена его рассорила мужа со свекровью, как это часто случается во многих семьях. Кроме того, в первый же год после свадьбы Павла, в 1774 году, был раскрыт заговор, имевший целью возвести на престол великого князя и низвести оттуда его мать: главою или главною вдохновительницей этого заговора была невестка Екатерины, великая княгиня Наталия Алексеевна, рожденная принцесса Дармштадтская. Один из секретарей Панина Бакунин открыл тайну императрице, но

Екатерина бросила в огонь список заговорщиков, среди которых прочла имя своего первого министра рядом с именем своего прежнего преданного друга, княгини Дашковой.

Но этот рассказ, основанный на семейном предании, кажется многим неправдоподобным. И действительно, он вызывает большие сомнения. Заговоров, истинных ли, или предполагаемых, составленных с целью возвратить сыну Петра III его неоспоримые права, было очень много за царствование Екатерины. В своей депеше от 26 июня 1772 года (опубликованной в «Сборнике Русского Исторического общества», том LXXII) граф Сольмс доносил Фридриху об одном из них, возникшем среди унтер-офицеров Преображенского полка, но при этом упоминал и о наказании плетьюми, и об отрезанных носах и ушах заговорщиков, как того требовал по тем временам естественный порядок вещей. Существует еще иное объяснение, почему прежняя близость и любовь Екатерины к сыну сменились почти открытой враждою: этот переворот относят к другому событию, а именно к заграничному путешествию Павла с его второй супругой, великой княгиней Марией Федоровной. Отпустив сына из России почти против воли, Екатерина желала, чтобы он, по крайней мере, не останавливался в Берлине. Она была уже готова разорвать связи, соединявшие ее с Прусским двором. Но Павел не нашел нужным считаться с этим. Он охотно принял великолепные празднества, устроенные в его честь Фридрихом, и когда появился в Вене, то все с удивлением заме-

тили, что он ничего не знает или делает вид, что не знает о новом союзе, заключенном между Россией и Австрией. Великий князь, впрочем, везде открыто и строго осуждал политику матери. Во Флоренции, беседуя с Леопольдом, братом Иосифа, он без всяких стеснений высказывался о главных сподвижниках Екатерины, князе Потемкине, Безбородко, даже о Панине, заявляя, что все они без исключения продались императору. «Я уничтожу их всех», – повторял он с гневом.

Мы находим эту вторую версию такой же произвольной, как и первую, и думаем, что обе они ошибочны в своем основном положении: ведь надо было бы прежде доказать, что Екатерина действительно любила когда-нибудь сына, все равно до свадьбы ли цесаревича, или после его путешествия по Европе. Правда, в письмах к г-же Бельке от 1772 года государыня рисует в самых привлекательных красках свою жизнь с Павлом в Царском Селе, но мы знаем уже, чего стоила эпистолярная искренность Екатерины. Правда также, что в сентябре того же года прусский посланник граф Сольмс указывал на то, как возросла с некоторых пор нежность императрицы к великому князю. «Она не может сделать теперь без него шагу», – писал он. Но это было время опасного для Екатерины кризиса, когда она разорвала с первым фаворитом и этим вооружила против себя могущественный род Орловых: она не могла не опасаться тогда за прочность своего престола. «Я знаю из достоверного источника, – прибав-

лял Сольмс: – что великий князь не слишком убежден в силе привязанности к нему его матери». Еще бы! Около того же времени в письме к сыну – сохранилось два черновика этого письма, – Екатерина обращалась к нему с такими словами:

«Мне показалось, что вы были огорчены или недовольны сегодня днем; и то, и другое опечалило бы меня, как мать; но что касается вашего недовольства, то, признаюсь, я на него не стану обращать внимание, ни как мать, ни как императрица».

Она разорвала этот лист и написала снова:

«Мне показалось, что вы были огорчены или недовольны сегодня днем; что касается вашего огорчения, то оно опечалило бы меня; что же до вашего недовольства, то предоставляю вам самому судить, какое значение я могу придавать ему».

Но первая редакция выражала, вероятно, ее мысль более точно, и, как нам кажется, она свидетельствовала не об очень дружелюбных чувствах. Екатерина предполагала, что огорчение или недовольство великого князя, о котором шла речь, вызвано ее отказом допустить его в ее совет, и этот отказ уж сам по себе не мог служить знаком доверия или привязанности. Да притом еще в 1764 году Беранже доносил из Петербурга герцогу Пралену:

«Этот молодой принц (Павел) обнаруживает мрачные и опасные наклонности. Известно, что мать не любит его во все, и что с тех пор, как она царствует, она отказывает ему

до полного неприличия в нежности и внимании, которыми окружала его раньше... Он спрашивал несколько дней назад (Беранже узнал эту подробность от камердинера великого князя), почему убили его отца и отдали матери престол, который принадлежит ему по праву. Он прибавил, что когда вырастет, то сумеет потребовать отчет во всем этом. Говорят, ваша светлость, что этот ребенок слишком часто позволяет себе подобные речи, чтобы они не дошли до императрицы. А никто не сомневается в том, что государыня не остановится ни перед какими мерами, чтобы предотвратить взрыв...»

Возможно однако, что путешествие, предпринятое Павлом против воли матери, и его поведение при европейских дворах усилили недовольство императрицы сыном и толкнули ее дальше по пути, на который она вступила при своем восшествии на престол, т.е. другими словами, когда насильственно захватила законные права сына.

Но никакой близости и любви не существовало между ними и значительно раньше. Эти чувства были несовместимы со взаимным положением этих двух существ, из которых одно узурпировало права другого. Да была ли вообще Екатерина когда-нибудь привязана к Павлу? Могла ли она любить сына, отнятого у нее через несколько минут после рождения, которого она никогда не кормила, не воспитывала и видела только через очень редкие промежутки времени? Ласкала ли она его и прежде, как о том писал Беранже? Может быть, —

да, но тогда, когда она сама еще не была императрицей, и этот ребенок, как сын Петра, должен был стать впоследствии ее императором и господином. И если и было событие, резко изменившее чувства матери, то это было 5 июля 1762 года, как на то, впрочем, и указывает рапорт французского поверенного в делах; это объяснение кажется нам наиболее правильным.

II. Граф и графиня Северные. – Путешествие в Европу. – Берлин. – «Россия превратится в прусскую провинцию». – Пребывание Павла в Париже. – Впечатление Марии-Антуанетты. – Вспыльчивый архитектор. – Клериссо. – Влияние путешествия на отношения Екатерины с сыном.

Мы говорили не раз о путешествии графа и графини Северных. Их отъезд 5 октября 1781 года произвел в Петербурге большую сенсацию. Народ окружил карету наследника престола с плачем, стенаниями и всеми знаками самой искренней привязанности. Несколько энтузиастов бросились даже под колеса экипажа, чтобы не дать ему ехать. Уж этого одного было достаточно, чтобы возбудить неудовольствие Екатерины. Однако в первую минуту, когда она узнала о почестях, оказанных Павлу в Берлине, она была скорее польщена, нежели рассержена. Но разговор с сыном после его возвращения в Россию изменил в ней это чувство. Только

тогда она стала находить, что Фридрих уж слишком обласкал Павла. А так как великий князь не считал нужным скрывать ни своих мнений, ни симпатий, то она вышла из себя и воскликнула в гневе, что после ее смерти «Россия превратится в прусскую провинцию».

Великий князь во время путешествия соблюдал полное инкогнито. Их высочества отказывались от помещений, которые заранее приготавливали для них, и останавливались в гостиницах («en garni») вместе со своею свитой, довольно значительной, по-видимому, потому что на почтовых станциях для нее требовалось до шестидесяти лошадей. Но Павел и его супруга приняли приглашение провести несколько дней в Версале, где произвели довольно благоприятное впечатление на королевское семейство. «Великий князь, – писала Мария-Антуанетта на следующий день после их отъезда, – кажется человеком пылким и страстным, но который сдерживает себя... Король не заметил, чтобы у него были слишком крайние мнения». В Трианоне был задан в честь гостей мифологический и аллегорический праздник, на котором их особенно поразила молодая Геба. То была – сердце невольно сжимается при этих воспоминаниях! – Елизавета. Король тоже хотел показать августейшим путешественникам французское гостеприимство. В Мусо (sic), в садах герцога Шартрского, «проследовав по тысяче извилистых тропинок под тенью кленов, сирени, ломбардских тополей и множества индийских кустарников, надышавшись свежим воздухом и от-

дохнув на лужайках, усыпанных тимьяном и богородицьиной травкой, посетив хижины и готические замки в развалинах, граф и графиня Северные разделили скромный обед пастухов, возвращавшихся со своих полей...».

В Париже приезд их высочеств совпал со взрывом симпатий ко всему русскому, о котором мы рассказывали выше, и был почти сплошным торжеством. Великого князя и великую княгиню окружали самым предупредительным и лестным вниманием. Мы говорили уже, какой приятный сюрприз ожидал графиню Северную на Севрской фабрике. Павла встречали с тою же любезностью.

В королевской библиотеке, указав ему на ряд русских сочинений, находивших здесь, вероятно, не много читателей, библиотекарь Дезольнэ протянул великому князю книгу: она научила французов, – сказал он, – уважать принца, которого они теперь научились любить. Это был молитвенник, составленный для Павла митрополитом Платоном. Их высочества, со своей стороны, старались не оставаться в долгу.

После смотра гвардейского полка маршала Бирона великая княгиня написала этому последнему письмо в самых любезных выражениях и приложила десять банковых билетов, по 1.200 ливров каждый, для солдат, «чтобы они выпили за здоровье своего командира». Все помнили еще, какую скупость, положим, вынужденную, проявил Павел в 1776 году в Берлине, когда ездил жениться на принцессе Вюртембергской: суровые приказы из Петербурга сковали тогда руки ве-

ликого князя, от природы щедрого. Об этом в свое время много говорили даже в Париже, и теперь тем более оценили разницу в поведении Павла. Но пребывание его в Париже омрачилось все-таки неприятным случаем с Клериссо. Павла, по его приезде в столицу наук и искусств, сейчас же окружила свита литераторов и художников, которым его мать оказывала покровительство. Ему было очень трудно удовлетворить требовательность и щепетильность всех этих господ. И если бы Петербург не отделяло от Парижа такое громадное расстояние, то, пожалуй, и сама Екатерина не сумела бы угодить им. Г-жа Оберкирх рассказывает в своих Записках сцену, разыгравшуюся у Реньера, в том доме, что занимает теперь артистический клуб. Реньер был богатейший откупщик, и дом его, отделанный лучшими французскими мастерами, считался одним из чудес Парижа. Павел выразил желание посетить его. За несколько дней до того ему представили Клериссо, и он обошелся с ним не очень приветливо. Так это показалось, по крайней мере, строптивому архитектору; Клериссо написал тогда князю Бярятинскому, флигель-адъютанту великого князя, письмо, — в очень достойных выражениях, по свидетельству Гримма, — но где он, однако, осмелился сообщить, что доложит русской императрице о приеме, оказываемом ее сыном людям, которых она удостоивала своего уважения. После этого художник и великий князь встретились в столовой дома Реньера. Эта комната была шедевром Клериссо. На пороге ее Павел увидел человека, ко-

торый молча ему поклонился. Он ответил на поклон, но тот загородил ему дорогу.

– Что вам угодно, милостивый государь? – спросил великий князь.

– Вы не узнаете меня, ваша светлость!

– Я прекрасно вас узнаю; вы господин Клериссо.

– Почему же вы в таком случае ничего не говорите мне?

– Потому что мне нечего вам сказать.

– Вы, значит, и здесь будете обращаться со мной, как и у себя, ваша светлость, не признавать меня, как незнакомца, – меня, архитектора императрицы, состоящего в переписке с ней! Я писал вашей матушке, чтобы пожаловаться на тот недостойный прием, который вы оказали мне.

– Напишите также моей матушке, в таком случае, что вы мешаете мне пройти, милостивый государь! Она наверное вас поблагодарит за это.

Версия Гримма – он излагает инцидент в письме к Екатерине – значительно отличается от рассказа г-жи Оберкирх. Она кажется нам более правдоподобной. Павел, по-видимому, первый подошел к Клериссо, чтобы загладить свою вину перед ним, и стал напоминать ему очень любезным тоном те похвалы, которые расточал ему во время их первого свидания. Но Клериссо резко оборвал эти запоздавшие излияния:

– Граф, возможно, что вы имели намерение сказать мне все это, но я этого не слышал.

– В таком случае у вас нет ни слуха, ни памяти, – возразил

ему нетерпеливо Павел.

Эти слова и вмешательство присутствовавших положили конец неприятному разговору. «Никогда со мной так дурно не обращались, – сказал смеясь великий князь: – меня всего даже бросило в жар». Великая княгиня пыталась было потом поправить дело; но Клериссо остался непреклонным и в конце концов стал даже груб. Графиня Северная просила его прислать ей модель и рисунки салона его работы, которым она очень восхищалась, но он ответил на это сухо:

– Я пошлю эту модель и эти рисунки моей августейшей благотворительнице, у которой графиня может их видеть.

Екатерина, разумеется, не взяла сторону архитектора против наследника своего престола: она слишком высоко ставила для этого престиж своего сана и царского достоинства. Но это столкновение само по себе не могло не произвести на нее тяжелого впечатления: она еще более укрепилась во мнении, что ее сын и наследник не умеет обходиться с людьми. Ее письма к нему и к невестке во время их путешествия были, впрочем, полны материнской заботливости и любви. Продолжительная разлука с сыном как будто смягчила и умиротворила Екатерину. Но, возвратившись и живя у нее на глазах, Павел опять стал для нее угрозой и причиной неумолчной тревоги. Разве не ходили прежде в народе слухи, что императрица только ждет его совершеннолетия, чтобы восстановить его права, т.е. вернуть ему престол, который она занимала?

III. Эти отношения обостряются. – Разномыслие между Павлом и Екатериной. – Павел составляет оппозицию. – Денежные затруднения молодого двора. – Гневное чтение бумаг одного банкира. – Догадки о последней воле Екатерины. – Будет ли Павел лишен престола? – Все ждут манифеста. – Предполагаемое завещание Екатерины.

После заграничного путешествия отношения Павла с матерью еще обострились. Он и великая княгиня жаловались на то, что императрица отнимает у них детей. Даже отправляясь в Крым, Екатерина хотела увезти с собою маленьких великих князей Александра и Константина Павловичей. Но на этот раз родители так горячо восстали против этого, что она не решилась пойти против их воли. Кроме того, и вопросы чисто государственного характера играли большую роль в этой ссоре матери и сына, становившейся изо дня в день все более ожесточенной. В июле 1783 года маркиз Верак, французский посланник в Петербурге, много раз предлагавший Екатерине услуги Версальского двора, чтобы уладить враждебные отношения между Россией и Турцией, писал о равнодушном, даже пренебрежительном приеме, оказанном ему императрицей и ее министрами, но в то же время указывал на антагонизм между Екатериной и Павлом, в котором видел в будущем надежду для Франции: «Великий князь

решительный противник политической системы императрицы; этот принц, воспитанный в мудрых принципах покойного графа Панина, думает со смертельным огорчением о бедственном состоянии, до которого будет доведено его государство безграничной расточительностью его матери. Он смотрит на план нападения на турок, как на проект, который вызовет полное разорение России, и лично крайне возбужден против императора, так как считает его зачинщиком этого дела».

Когда разразилась война, Екатерина не позволила великому князю принять в ней участие. «Это была бы для вас новая обуза», – писала она Потемкину. А во время шведской войны она хотя и разрешила Павлу отправиться в Финляндию, но Кнорринг, командовавший одним из корпусов действующей армии, получил – как он уверял впоследствии – приказ не сообщать его высочеству планов военных операций. В 1789 году, когда поднялся вопрос о разрыве с Пруссией, положение Павла приняло угрожающее для него сходство с положением Петра в последние годы царствования Елизаветы. По Петербургу пошли мрачные слухи. Знаменитый греческий проект императрицы был тоже поводом к постоянным столкновениям между нею и сыном: Павел относился к нему с нескрываемым несочувствием. И наконец, видя постоянные смены временщиков, Павел отказывал иногда матери в сыновнем уважении, а фавориты, со своей стороны, не считали нужным щадить великого князя. Раз за обедом,

когда цесаревич согласился с какою-то мыслью Зубова, тот спросил громко: «Разве я сказал какую-нибудь глупость?»

У молодого двора часто бывали большие денежные затруднения. В 1793 году Екатерина просматривала вместе со своим секретарем Державиным счета придворного банкира Сэтерланда, дела которого были настолько плохи, что он со дня на день мог прекратить платежи, Перечисляя его актив, Державин дошел до суммы, которую банкиру должно было «одно высокое лицо, не очень любимое государыней». Екатерина сейчас же догадалась, о ком идет речь. «Вот как мотает! – воскликнула она: – на что ему такая сумма!» Державин позволил себе тогда напомнить императрице, что покойный князь Потемкин имел обыкновение заключать еще более крупные займы; он указал на некоторые из них среди долгов Сэтерланду. Екатерина промолчала, и Державин стал читать дальше. Дошли до второго долга «высокого лица». – «Вот опять!» вскричала в гневе Екатерина: – мудро ли после этого сделаться банкротом». Державин, желая подвести нового фаворита, Платона Зубова, который, по его мнению, платил ему за его преданность слишком скупно, обратил внимание императрицы на громадную сумму, недавно взятую Зубовым у банкира. Ничего не отвечая, Екатерина позвонила. «Нет ли там кого в секретарской комнате?» спросила она. – «Василий Степанович Попов, ваше величество». – «Позови его сюда». Попов вошел. «Сядьте тут, – сказала ему Екатерина, – да посидите во время доклада; этот

господин, мне кажется, меня прибить хочет...»

Великий князь жил с женой в Гатчине или в Павловске, совершенно отдельно от матери и разлученный со своими детьми, находившимися при императрице; он не видал их иногда месяцами. Для свидания с ними ему необходимо было испрашивать разрешение у графа Салтыкова, их воспитателя. Мы говорили уже о том, что в последние годы царствования Екатерины при дворе и в обществе сложилось убеждение, что она лишит сына престола. Многие горячо желали этого. Все ждали манифеста, который бы выяснил этот важный пункт. Думали, что он появится 1 января 1797 года. По одной версии манифест будто бы уже был составлен, и в нем обещалось дать России конституционный строй с воцарением Александра, так как характер Павла был несовместим с такой формой правления. В Записках же Энгельгардта и в отрывке Записок Державина, дошедшем до нас, говорится тоже о подобном завещании императрицы, но без загадочного и сомнительного упоминания о конституционализме, так мало совместимом со взглядами Екатерины в те годы. Ода, написанная Державиным на восшествие на престол Александра I, тоже намекает на это, как и любопытное сочинение под заглавием «Разговоры в царстве мертвых Екатерины Великой с Петром Великим, Фридрихом II, королем Прусским, и Людовиком XVI, королем Французским», ходившее по рукам после смерти Екатерины. Государыня упрекает в нем Безбородко, которому было вверено вышеупомя-

нудное завещание, за то, что он наказал ее страну царствованием Павла.

Достоверно во всяком случае то, что, когда Екатерине случалось говорить в своих письмах о будущем, ожидавшем Россию после ее смерти, она умалчивала о царствовании сына. Она всегда указывала на Александра, как на своего преемника. И, по-видимому, она даже приняла в последние минуты решительные меры, чтобы предотвратить возмущение законного наследника.

Мать и сын виделись теперь только на официальных приемах. Они писали друг другу церемонные письма. Во время своего короткого пребывания в финляндской армии, когда великий князь сразу заметил, что ему там нечего делать, он почти ежедневно обменивался письмами с императрицей. Эти послания очень напоминают переписку испанского короля с Марией Нейбургской в той версии, которую дал ей Виктор Гюго. Вот образец их:

«Любезная матушка, письмо Вашего Императорского Величества доставило мне чувствительное удовольствие, и слова Ваши тронули меня бесконечно. Прошу Ваше Величество принять выражение моей признательности, а также уважения и преданности, с которыми пребываю...»

Ответ Екатерины:

«Я получила, любезный сын, ваше письмо от 5 сего месяца с выражением ваших чувств, на которые отвечаю взаимностью. Прощайте, будьте здоровы».

И так письма чередуются одно за другим почти без вариантов.

IV. Чья вина? – Характер Павла. – Его портрет, сделанный принцем де-Линь. – Свидетельство графа Ростопчина. – Любимцы и любовницы великого князя. – Другие, более благоприятные показания. – Сердце и ум Павла. – Болезненные явления. – Предполагаемые причины. – Любовник, отравляющий мужа своей подруги сердца. – Граф Андрей Разумовский. – Нервность и впечатлительность Павла. – Коронование Петра III.

Но кто был виновником этой ссоры, так жестоко разлучившей два существа, тесно связанные природой? Сохранилось много описаний Павла – и с внешней и с духовной стороны. Некоторые из этих портретов лестны для него; но таких очень мало. Известно его изображение, сделанное принцем де-Линь; кажется, оно наиболее искреннее:

«Работоспособный, слишком часто меняющий свои мнения и своих фаворитов, чтоб сейчас же взять нового фаворита, советника или любовницу; быстрый, пылкий, непоследовательный, – он станет когда-нибудь, может быть, опасным. Он мыслит ложно, но сердце у него прямое; суждения его совершенно случайны. Он недоверчив, подозрителен, в обществе любезен, в деловых сношениях невыносим, страст-

но предан чести, но, увлеченный своею вспыльчивостью, не всегда умеет разбирать правду. Он разыгрывает недовольного, угнетенного, хотя ею мать ничего не имеет против того, чтобы за ним ухаживали и давали ему возможность развлекаться, сколько он пожелает. Горе его друзьям, врагам, союзникам и подданным! Притом он чрезвычайно изменчив; но за то короткое время, когда он хочет чего-нибудь в душе, или когда любит или ненавидит, то отдается чувству со стремительностью и упорством. Он презирает свой народ и говорил мне в былое время в Гатчине такие вещи, которых я не смею повторить».

Впрочем, может быть, преклонение перед Екатериной составляло очаровательного принца сгущать на своей палитре одни темные краски? Послушаем свидетельство другого лица, более беспристрастного в данном вопросе и наверное самого авторитетного из всех. Среди придворных Екатерины у Павла был друг и поверенный тайн, который должен был стать всемогущим после смерти императрицы. Великий князь выказывал ему постоянно свою привязанность и даже уважение и осыпал его милостями: он не скрывал, что хочет сделать его своим первым министром. То был граф Ростопчин. И вот что он говорил о своем привилегированном положении и о великом князе, сделавшем его своим избранником. Он писал графу Воронцову, русскому послу в Лондоне: «Для меня нет ничего в свете страшнее после бесчестия, как его благосклонность». В других письмах он горько осуж-

дал будущего императора, как человека, вечно со всеми препиравшегося, изо всех делавшего себе врагов и стремившегося подражать печальной памяти Петру III, разыгрывая по его примеру прусского короля с вверенным ему небольшим гарнизоном. Ростопчин писал: «Великий князь находится в Павловске постоянно не в духе, с головою, наполненною призраками, и окруженный людьми, из которых наиболее честный заслуживает быть колесованным без суда». Он прогнал Александра Львовича Нарышкина, бывшего искренне ему преданным; жестоко оскорбил князя А. Куракина, которого еще накануне называл «своею душой». Он преследовал своими ухаживаниями Нелидову, и та, чтобы спастись от них, просила у императрицы позволения покинуть двор и уйти в монастырь.

Нелидова, фрейлина великой княгини, – если верить Рибопьеру, она была «мала ростом, дурна, черна, но очень умна», – имела нескольких предшественниц в милостях великого князя: прежде всего фрейлину Шкуруину, тоже выразившую желание постричься и действительно выполнившую его; говорили, что Шкуруина была дочь придворного истопника, находившегося в очень близких отношениях с Екатериной еще в бытность ее великой княгиней. Ее сменила Лопухина. Все эти привязанности не были, по-видимому, чисто платонического характера, как чувство Павла к Нелидовой. Так, ходили слухи, что у кн. Чарторыйской, вышедшей вторым браком за графа Григория Разумовского, был от Павла

сын, которого называли Семеном Великим.

Но ни одна из этих женщин не любила Павла. По рассказу Ростопчина, Нелидова открыто издевалась над ним и презирала его. Порвав с ним, она осталась при дворе, где ее успех «бесил его» и делал его смешным.

Но письма самого Павла, сохранившиеся для потомства, рисуют нам его в совершенно ином свете. Те, что он писал за 1776—1782 гг. барону Карлу Сакену, одному из своих воспитателей, можно считать почти откровением: мы видим в них нежную, любящую, благодарную душу, возвышенный ум и даже известную долю здравого смысла. Барон Карл Сакен был русским послом в Копенгагене. Павел писал ему:

«Вы видите: я не бесчувствен, как камень, и мое сердце не так черство, как то многие думают. Моя жизнь докажет это».

«Я предпочитаю быть ненавидимым, делая добро, нежели любимым, делая зло».

«Если я когда-нибудь заслужу что-либо хорошее, то знайте, что это благодаря вам, как и всем тем, кто старался смягчить мою сухую природу».

«Все блестящее несвойственно мне; становишься только неловким, стремясь быть тем, чем не можешь быть».

Павел не был лишен, по-видимому, и острого природного ума. Во время его пребывания в Париже, на обеде, который ему давали представители литературы, Лагарп удивился, услышав, что великий князь называет «превосходительством» (Excellence) своего врача Шеффера. Павел объяснил

ему, что этот титул соответствует чину Шеффера. Лагарп сказал на это:

– Но если врачи имеют в России генеральский чин, то какое же положение занимают там литераторы?

– Если бы моя матушка была тут, – ответил Павел: – она наверное называла бы вас «высочеством».

В другой раз граф д'Артуа предложил ему одну из английских шпаг, которыми Павел любовался:

– Я лучше попрошу у вас ту, – сказал великий Князь: – которой вы возьмете Гибралтар.

Как известно, граф д'Артуа готовился идти на юг Испании во главе экспедиции, оказавшейся, впрочем, неудачной.

Правда, не следует, может быть, придавать веры всем этим анекдотам: ведь наследники императорских престолов так легко находят себе поклонников. Но каковы бы ни были природный ум и сердце Павла, их омрачала его крайняя нервно-ность, по поводу которой носились различные и зловещие толки. Уже в октябре 1770 года Сабатье доносил герцогу Шуазелю, что у великого князя «бывали страшные конвульсии и совершенно недвусмысленные признаки очень сильного припадка падучей». Сабатье объяснял болезнь великого князя тем, что, как ему рассказывали, маленького Павла сильно испугали при свержении Петра III, сказав ему, что отец хочет его убить: ему сообщили это грубо и без всякой осторожности, не щадя ребенка, и это так поразило Павла, что на всю жизнь потрясло его здоровье. Аллонвиль приво-

дит в своих Записках другую версию со слов эллиниста Виллуазона, «серьезного человека, имевшего долгие и постоянные сношения с великим князем»: умственные способности Павла пострадали будто бы от больших доз опия, которые он принимал при очень своеобразных условиях: «граф, а впоследствии князь Разумовский, его близкий приятель, но связанный еще более интимной дружбой с великой княгиней, рожденной принцессой Дармштадтской, ужинал каждый день один с августейшими супругами и не нашел иного способа, чтобы превращать трио в уединение вдвоем».

Самый факт слишком большой близости между графом Разумовским и первой супругой Павла установлен почти с достоверностью. Согласно депеше Дюрана графу Верженну, в октябре 1774 года Екатерина решила открыть глаза сыну, но безуспешно. И только после смерти великой княгини Павел узнал правду, найдя в бумагах покойной жены компрометирующую переписку. Разумовский получил тогда приказание выехать за границу. Но играл ли в этой придворной интриге какую-нибудь роль опий, — трудно сказать.

Душевное здоровье Павла еще с малолетства внушало большие опасения. Когда 1781 г., проезжая через Вену, он должен был присутствовать на придворном спектакле и решено было дать «Гамлета», актер Брокман отказался исполнить эту роль, сказав, что не хочет, чтобы в зале было два Гамлета. Иосиф послал ему 50 червонцев в благодарность его за его такт. Павел был всегда нервен, раздражителен и

крайне впечатлителен. В 1783 году маркиз Верак писал из Петербурга, что, узнав о внезапной кончине графа Панина, великий князь потерял сознание. Впрочем, уж одна та мрачная церемония, которую он разыграл при своем восшествии на престол, думая реабилитировать этим память отца, достаточно характерна, чтобы подтвердить подозрения в безумии, висевшие над головою Павла при его жизни и не утихшие и после его безвременной кончины. Рассказ о том, что он приказал вынуть из гроба останки Петра III и посадить покойного императора на престол в знак коронования, вымышлен. В гробу несчастного императора, – тело его не было набальзамировано, – через тридцать четыре года не оставалось ничего, кроме скелета. И сын Екатерины удовольствовался тем, что возложил на алтарь Петропавловского собора уродливый череп, который и увенчал царской короной.

Все знают также историю краткого правления наследника Екатерины, на которого она естественно смотрела с гневом и боязнью. И не простительно ли было бы поэтому с ее стороны желание спасти свой народ от его печального царствования? Но зато, если рассудок ее сына и был омрачен, то разве не была виновницей его безумия сама Екатерина, так равнодушно и невозмутимо погубившая его здоровье? Ведь мучительный бред больной души Павла мог быть вызван кровавою тенью Ропшинского дворца...

V. Другой сын Екатерины. – Бобринский. – Равнодушие и заброшенность. – Нехорошая мать и лучшая из бабушек. – Воспоминание внуков. – Нежность к ним Екатерины. – Немецкие принцессы съезжаются дюжинами. – Из этой массы выбирают супруг для великих князей.

Тяжким свидетельством против Екатерины в этой грустной и не вполне выясненной истории ее отношений к Павлу, так омрачившей ее блестящее и великое царствование, служит ее обращение с другим сыном, который не мог тревожить ни ее честолюбия, ни ответственности перед Россией. Как мы знаем, у Екатерины был побочный сын, названный Бобринским. Любила ли она его? По-видимому, нет. Заботилась ли она по крайней мере о нем? Она давала ему средства для жизни, позволяла путешествовать за границей и даже сорить деньгами, но когда он стал злоупотреблять этим последним правом, то отнеслась к нему с удивительным, по своей непринужденности, равнодушием.

«Что это такое, эта история с Бобринским? – писала она Гримму. – Этот молодой человек необыкновенно беспечен... Если бы вы могли узнать о положении его дел в Париже, то доставили бы мне удовольствие... Впрочем, он имеет полную возможность расплатиться сам: он получает 30.000 годового содержания...»

Два года спустя она писала опять:

«Очень жаль, что г. Бобринский входит в долги; он знает

свои средства; они вполне приличны. Но, кроме них, у него нет ничего».

Она давала таким образом понять, что не станет платить долгов сына; сверх того относительно умеренного содержания, которое было назначено ему, он и его кредиторы ни на что больше не смели рассчитывать. И она сдержала слово. К концу 1786 года у молодого Бобринского было уже несколько миллионов долгу в Париже, не говоря о его кредиторах в Лондоне, от которых ему удалось бежать. Между прочим он подписал вексель в 1.400.000 ливров на имя маркиза Феррера. Екатерина все не принимала никаких мер, чтобы остановить безумства молодого человека. Но тут она решилась: она выписала его в Россию и поместила в Ревель под строгий надзор. Но при этом она не выказала ни малейшего желания видеть его и узнать его ближе. Только бы он оставил ее в покое, не требовал у нее денег и не заставлял говорить о себе: вот все, что ей от него было нужно.

Это безусловно цинично. Но неужели же голос материнства молчал в бесчувственном сердце Екатерины? Отрицать это трудно. Но так же нелегко утверждать это. Если она была холодна к своим сыновьям, то зато как нежно она любила внуков. С 1779 года ей каждый день в половине одиннадцатого приводили маленького Александра. «Я вам уже говорила и опять повторяю, – писала она Гримму: – что я без ума от этого мальчугана... Мы ежедневно делаем с ним новые открытия, т.е. из каждой игрушки устраиваем десять

или двенадцать новых и стараемся перещеголять друг друга в изобретательности... После обеда мой мальчуган приходит ко мне опять, когда пожелает, и проводит у меня в комнате часа три-четыре». В том же году она стала учить азбуке великого князя Александра, «хотя он еще не умеет говорить, и ему только полтора года». Она заботилась также и об его костюмах: «Вот как он одет с шестого месяца своей жизни, – писала она Гримму, посылая ему образец детского платьица, скроенного по ее указаниям. – Все это сшито вместе, одевается сразу и застегивается сзади четырьмя или пятью маленькими крючками... Здесь нет никаких завязок, и ребенок не подозревает даже, что его одевают: ему просовывают незаметно руки и ноги в это платье, вот и все; это гениальное изобретение с моей стороны. Шведский король и принц Прусский просили и получили от меня образец костюма великого князя Александра». Затем идут неизбежные рассказы, которые можно найти в письмах всех матерей: в них повествуется изо дня в день о всех проделках маленького чуда, свидетельствующих об его уме, необыкновенном для его возраста. Однажды, когда гениальный ребенок был болен и дрожал от лихорадки, Екатерина нашла его в дверях своей спальни, закутанного в длинный плащ. Она спросила его, что это означает. «Я часовой, замерзающий от холода», – ответил Александр. Другой раз он стал приставать к горничной императрицы, прося, чтобы она сказала ему, на кого он похож. – На вашу мать, – ответила ему камер-юнгфера: – у

вас все ее черты, нос, рот. – Нет, не то, – сказал Александр; – а на кого я похож характером? – Ну, этим вы скорее похожи на бабушку. – В ответ на это маленький великий князь бросился на шею к старой деве и стал горячо ее целовать. «Вот это я и хотел, чтобы ты мне сказала!»

Этот последний анекдот отчетливо показывает взаимное положение Павла и Екатерины по отношению к его детям, которыми всецело завладела властная императрица. Приведем еще один отрывок из письма Екатерины к Гримму, где речь опять идет об обожаемом ею ребенке: «По-моему, из него выйдет превосходнейший человек, если только la secondaterie не замедлит мне его успехи». Secondat, secondaterie – это были своеобразные выражения, под которыми Екатерина разумела сына и невестку, а также взгляды на воспитание и политику, господствовавшие в Павловске и совершенно противоположные ее собственным воззрениям, по крайней мере в то время, так как прозвище Павла и его жены было, очевидно, заимствовано ею у барона «Secondat» Монтескье.

Маленький Константин не пользовался вначале благоволением бабушки в равной степени с братом. Екатерина находила, что он слишком хрупок и тщедушен, чтобы быть внуком императрицы. «Что касается второго, – писала она после восторженных похвал Александру: – то я не дала бы за него десяти копеек; возможно, что я очень ошибаюсь, но думаю, что он не жилец на свете». Но вскоре и младший внук

завоевал сердце Екатерины. Он вырос, окреп; в это время на южном горизонте России в воображении императрицы стала рисоваться Византийская империя, и вместе с этими мечтами в ней проснулась нежность к ребенку, вскормленному гречанкой Еленой.

Увы! мы должны признать это: даже в теплой привязанности к внукам политика играла у Екатерины не только большую, но, пожалуй, главную роль. Политика! Можно быть уверенным, что найдешь ее во всем, что касается Екатерины: и в ее чувствах, и в мыслях, и в увлечениях, как и в ее антипатиях, и даже в ее любви к младшему поколению своей семьи. Все, что кажется непонятным и загадочным в ней, объясняется, думаем мы, этим словом. Мы не хотим, конечно, сказать, что сердце этой женщины, заслуживавшей, с одной стороны, всевозможного осуждения, а с другой – всяческой похвалы, было совершенно бесчувственно, как то утверждали многие, или глухо, извращено и отзывчиво только на низкие инстинкты. Оно было на одном уровне с ее умом, никогда не достигавшим большой высоты, как мы уже указывали на это. Она умела любить, но подчиняла любовь, как и все другие чувства, великой руководящей идее своей жизни – идее исключительно сильной и непоколебимой в ней: политике и ее интересам. Она полюбила однажды красавца Орлова за его красоту, но и за то, что он был готов сложить свою голову, чтобы достать ей царский венец, и был способен сдержать это слово. Она была холодна и даже враждебна

к Павлу, отчасти потому, что ей не удалось развить в себе материнское чувство, – ребенка отняли у нее с колыбели, – но главным образом потому, что он был ей опасным соперником в настоящем и жалким наследником в будущем. И она страстно привязалась к маленькому Александру под влиянием таких же побуждений, относящихся к той же категории чувств и идей.

Письма, которые она писала внукам при разлуке с ними, например, в 1783 году, когда она некоторое время жила в Москве, и в 1787 году, во время крымского путешествия, полны теплоты, нежности и ласки. Невозможность взять их с собою на феерически разукрашенные дороги Крыма причиняли ей искреннее огорчение. Переговоры между Петербургом и Павловском по этому поводу все затягивались, и, из-за денежным соображений, Екатерина должна была положить им конец, пожертвовать своим удовольствием: каждый день замедления стоил ей 12.000 рублей. По этой цифре можно судить, во что обошлось все это путешествие, вызывавшее справедливое удивление Европы.

В воспитании Александра и Константина Павловичей Екатерина применила полностью свои педагогические взгляды. Но результаты, достигнутые ею, были, по-видимому, далеко не блестящи. Только она одна приходила в восхищение от успехов, сделанных ее учениками. Другие же – и среди них Лагарп – думали об этом иначе. Лагарп Каловался не раз на дурные инстинкты и недостатки старшего велико-

го князя. Он указывал на некоторые довольно некрасивые его поступки. В 1796 году, при приезде шведского короля, при дворе невольно проводили параллель между молодыми людьми, оказавшуюся не в пользу внуков Екатерины. А между тем она приложила большие старания к тому, чтобы сделать их лучше, и, не давая воли своей любви к ним, применяла к ним, когда нужно, даже строгость. Так, она раз заметила, что при смене часовых, стоявших у императорского дворца, солдат задерживают дольше обыкновенного: это был спектакль, который задавали маленьким великим князьям, смотревшим из окошка. Екатерина сейчас же вызвала их гувернера и сделала ему строгое внушение: государственная служба, особенно военная, – сказала она, – создана не для забавы детей. А если бы великие князья заупрямились, то им следовало сказать, что бабушка этого не позволяет. Это был, бесспорно, очень мудрый принцип. Но вся воспитательная система Екатерины не держалась на его высоте.

Екатерина взяла также исключительно на себя заботу о браке своих внуков и внучек. Мнение родителей при этом не спрашивалось. Впрочем, мнения Павла не спрашивали даже тогда, когда вопрос шел о его собственной женитьбе. В Петербург было вызвано в общем около дюжины немецких принцесс, чередовавшихся одна за другими. Императрица хотела, чтобы ее сыну, а затем внукам было среди кого выбирать. И выбор, действительно, был богатый: три принцессы Дармштадтские, три принцессы Вюртембергские, две прин-

цессы Баденские и три принцессы Кобургские, Принцессы Вюртембергские не поехали, впрочем, дальше Берлина, так как галантный к женщинам Фридрих потребовал, чтобы Павел сделал хотя бы полдороги навстречу своей невесте. Этот брак был устроен стараниями принца Генриха Прусского, приехавшего в 1776 году в Петербург. Старшая из принцесс была еще прежде помолвлена с Принцем Дармштадтским, но было решено, что он откажется от нее, если «в нем есть хоть малейшая честность», – как писал принц Генрих своему брату, если «он не захочет разрушать счастье двух держав». Принц Дармштадтский, действительно, показал себя «честным». Так как старшая сестра ускользала от него, он решил удовольствоваться младшей: «ведь в сущности это было одно и то же». Кроме того, как Фридрих и предвидел это, отец принцессы не стал ждать его согласия, чтобы «ударить по рукам, раз его дочери представлялась более выгодная партия». Затруднение было встречено только в выборе лютеранского пастора, достаточно «просвещенного», чтоб доказать будущей великой княгине, что она делает вещь, угодную Богу, изменяя вере отцов. Но в виду того, что Петербургский двор прислал 40.000 рублей на путешествие принцесс, «истинный бальзам», по выражению их матери, для расстроенных финансов их дома, то это маленькое препятствие оказалось преодолимым.

Через несколько лет принцессы Дармштадтские приехали уже в самый Петербург. Их сменили две принцессы Ба-

ден-Дурлахские. Они были сироты, и за ними послали графиню Шувалову, вдову автора «Epitrea Ninon», и некоего Стрекалова, который будто бы вел себя в пути, как казак, похищающий грузинских девушек. Но в то время германские дворы не были очень щепетильны. По приезде принцесс императрица пожелала видеть их приданое. Осмотрев его, она сказала: «Милые мои, я не была так богата, как вы, когда приехала в Россию». Старшая принцесса осталась в Петербурге и вышла замуж за великого князя Александра; младшая возвратилась домой: она не понравилась Константину. Ей было только четырнадцать лет, и она была еще не сформирована. Впоследствии она вышла замуж за шведского короля. Празднества, сопровождавшие свадьбу Александра, были последним блестящим и радостным торжеством в царствование Екатерины. Ко дню свадьбы была сложена между прочим следующая эпиталама:

«Ni la reine de Thebes au milieu de ses filles,
Ni Louis et ses fils assemblant les families,
Ne formerent jamais un cercle si pompeux.
Trois generations vont fleurir devant Elle,
Et c'est Elle toujours qui charmera nos yeux.
Fiere d'etre leur mere et non d'etre immortelle:
Telle est Junon parmi les dieux!»

(Ни царица Фив среди своих дочерей,

Ни Людовик и его сыновья, окруженные семействами,
Не представляли такого блестящего зрелища.
Три поколения будут процветать перед нею,
Но по-прежнему она очаровывает наши взоры,
Гордая тем, что она их мать, а не тем, что бессмертна:
Такова Юнона посреди богов!)

На следующий год приезд принцессы Саксен-Кобургской с тремя дочерьми прошел уже менее заметно. Но на этот раз Екатерина нашла, что багаж их высочеств очень тощ. Они превзошли ее собственную бедность при ее приезде в Россию. Надо было освежить гардероб всей семьи прежде, чем показать их при дворе, и Константин опять показал себя слишком требовательным. Но в конце концов он все-таки остановил свой выбор на младшей из принцесс.

Итак, Екатерина решительно освободила себя от некоторых семейных привязанностей и долга, вопреки голосу природы или хотя бы приличиям, и заменила их другими чувствами, которым отдалась так же открыто и смело. Мы старались в свое время дать объяснение этой психологической загадке, но сознаем, что оно может вызвать не одно возражение. Но когда приходишь к крупным историческим фигурам, обычные людские мерки к ним неприменимы, и тайна их побуждений и поступков часто остается не понятой и не раскрытой.

Глава третья

Интимная жизнь

Екатерины. – Фаворитизм

1. Легенда и история. – История и характер фаворитизма в России. – Размеры, которые он принял при Екатерине. – Государственное учреждение. – Первый фаворит. – Его преемники. – Число их все растет. – Ненасытная чувственность или страстность натуры? – Доля рассудка. – Осложнение любовных увлечений чувством материнства. – Воспитанники Екатерины. – Фаворит – основатель школ.

Вокруг любовной жизни Екатерины сложился ряд легенд. Мы постараемся заменить их здесь несколькими страницами истории. Рассказывая о первых шагах, сделанных Екатериной на пути любовных увлечений еще до ее приезда в Россию, Лаво писал, бесспорно, не как историк: по его словам, у Екатерины будто бы еще в Штеттине был любовник, граф Б..., который думал, что женат на ней, но брак этот был фиктивным, так как во время венчания Екатерину заменила перед алтарем одна из подруг ее, скрытая под вуалью. Это просто глупая сказка. Мелкие немецкие дворы не были, разумеется, образцами добродетели; но принцессы их все-таки не предавались разврату с четырнадцати лет. Впоследствии,

в Москве и в Петербурге, Екатерина, по словам того же Лаво, отдавалась почти что первому встречному в доме некоей графини Д..., причем ее бесчисленные любовники не знали, с кем имеют дело; Салтыков уступил место какому-то скормороху Далолио, венецианцу по происхождению, и тот тоже устраивал своей августейшей любовнице на несколько дней новые знакомства в доме Елагина. Лаво повторяет здесь рассказы, не имеющие за собою даже тени фактического основания. Послушаем, что говорит Сабатье де-Карб, свидетель прекрасно осведомленный и вполне беспристрастный. В записке, составленной им в 1772 году, мы читаем: «Не будучи безупречной, она (Екатерина) далека в то же время от излишеств, в которых ее обвиняют. Никто не мог доказать, чтобы у нее была с кем-нибудь связь, кроме трех всем известных случаев: с Салтыковым, с польским королем и с графом Орловым».

Приехав в Россию, Екатерина застала здесь общество и двор, не более, но и не менее развращенные, чем все придворные круги Европы, и наверху общества, на самых ступенях трона, ту форму разврата, примеры которого можно было видеть почти на всех престолах Запада, в том числе и во Французском королевстве, – а именно фаворитизм. После смерти Петра I русский престол непрерывно занимали женщины; у них были любовники, как у Людовика XV любовницы; и избранник русской императрицы Бирон пользовался в России тою же властью, что и любимица короля мар-

киза Помпадур – во Франции. Как Людовик XIV тайно женился на г-же Ментенон, так Елизавета вышла замуж за Разумовского. Разумовский был сыном крестьянина-малоросса и начал свою карьеру певчим в императорской капелле; но и вдова Скаррона не могла похвалиться очень родовитым происхождением. Шубин, предшественник Разумовского, был простым гвардейским солдатом: он был достоин Дюбарри. И еще раньше, когда возле колыбели Людовика XIV Францией правили женщины, положение синьора Мазарини при французском дворе должно было производить на людей, готовых всему удивляться, не менее странное впечатление, чем роль Потемкина при Екатерине полтора столетия спустя. Впрочем, к чему вызывать такие далекие воспоминания? Ведь Струэнзе, Годой, лорд Актон были современниками фаворитов Екатерины II.

Фаворитизм был в России тем же, что и в других странах. И только вследствие своего необыкновенного развития при Екатерине, он получил в ее царствование особый оттенок. На этот раз во главе государства стала женщина страстная и безудержная. У нее были фавориты, как и у Елизаветы Петровны и у Анны Иоанновны, но по самому своему темпераменту и нраву, по склонности все делать широко, она придала этому традиционному на русском престоле порядку – или, если хотите, беспорядку – вещей невиданные прежде размеры. Анна сделала из конюха Бирена только герцога Курляндского, а Екатерина возвела Понятовского на престол Польского

королевства. Елизавета ограничилась двумя официальными фаворитами: Разумовским и Шуваловым; Екатерина насчитывала их десятками. Но это еще не все: она не только всегда и во всем преступала общепринятые границы; но ее властный, самодовлеющий, презрительный к установленным правилам морали ум стремился возводить в закон собственную волю, желание или даже каприз. При Анне и Елизавете фаворитизм был не больше, как прихотью их; при Екатерине он стал почти государственным учреждением.

Однако он принял такой характер не сразу. До 1772 года Екатерина отдавала часть своего времени любви, как то делали предшествовавшие ей императрицы, и об ее увлечениях говорили, как и об увлечениях Елизаветы, не находя в них ничего исключительного. Даже напротив. Хотя граф Сольмс и писал Фридриху про Григория Орлова, что «можно было бы найти ремесленников и лакеев, сидевших с ним недавно за одним столом», но прибавлял при этом: «в России так привыкли к фаворитизму, так мало удивляются быстрому возвышению неизвестного прежде лица, что все приветствуют выбор этого кроткого и вежливого молодого человека, который не выказывает ни гордости, ни заносчивости, остается на той же дружеской ноге со своими прежними знакомыми, узнает их даже в толпе, не вмешивается вовсе в государственные дела, а если и делает это иногда, то только для того, чтобы замолвить слово за кого-нибудь из своих приятелей». Григорий Орлов, правда, не долго удовлетво-

рялся этой скромной и незаметной ролью, или, вернее, ею не удовлетворялась для него Екатерина; граф Сольмс вскоре писал опять: «Страсть ее величества все усиливается, и она пожелала, чтобы он (Орлов) принял участие в делах. Она ввела его в комиссии, учрежденные для преобразования государства». И только тут, если верить прусскому посланнику, и разразилось общественное недовольство. Гетман Разумовский и граф Бутурлин, оба генерал-адъютанты, находили несовместимым со своим достоинством, чтобы офицер, еще недавно стоявший неизмеримо ниже их, считался бы теперь им равным. Другие русские сановники, князья и генералы, которым приходилось ожидать в передних временщика минуты его пробуждения, чтобы присутствовать потом на его утреннем выходе, сильно на это негодовали. Обер-камергер граф Шереметьев, один из самых именитых и богатых русских вельмож, и первые чины двора, по своему положению обязанные эскортировать экипаж императрицы, были оскорблены тем, что Орлов сидел развалиясь рядом с Екатериной в то время, как они верхом шлепали по грязи возле дверей кареты...

Впрочем, и в этом не было ничего нового, и старики, помнившие царствование Анны и ненавистную всем бироновщину, находили теперешний режим, сравнительно с прошлым, вполне терпимым. Притом у Григория Орлова не было никаких поползновений пользоваться ради личных выгод тем значением, которое, немного против его воли, навяза-

ла ему Екатерина в деле управления страной. Вспышки честолюбия бывали у него редко и быстро проходили. Вмешиваясь в политику, он в большинстве случаев только повиновался воле императрицы и то с недовольным, угрюмым лицом. Он старался стушеваться, уйти от дел. Это был сладострастный, ленивый и добрый человек. На той головокружительной высоте и в опьяняющей атмосфере, куда неожиданно вознесла его судьба, он жил словно в полусне, не сознавая реального мира, который все более ускользал от него, пока совсем не исчез, и Орлов не погрузился в глубокую тьму безумия.

Но увлечение Екатерины Орловым было понятно и даже окружено известным ореолом: этот человек рисковал для нее жизнью, и она любила его – или думала, что любит, не только чувственной любовью. Расставаясь с ним, она страдала глубоко и сильно, и когда он умер, оплакивала его искренними, горькими слезами.

Скандалная хроника императрицы началась в сущности лишь после опалы первого фаворита. С Васильчиковым в 1772 году в жизнь Екатерины влилась струя материальной, грубой и бесстыдной чувственности. А с появлением Потемкина в 1774 году Екатерина стала делить свою императорскую власть со случайными любовниками и придала этим новый характер своему царствованию. Фавориты теперь быстро чередовались один за другим: в июне 1778 года англичанин Гarris отмечает возвышение Корсакова, а в ав-

густе говорит уже об его соперниках, которые стараются отбить у него милости императрицы; их поддерживают: с одной стороны Потемкин, с другой – Панин вместе с Орловым; в сентябре Страхов, «шут низшего разбора», одерживает над всеми верх; четыре месяца спустя его место занимает майор Семеновского полка, некто Левашев; молодой человек, покровительствуемый графиней Брюс, Свейковский, пронзил себя шпагой в отчаянии, что ему предпочли этого офицера. Корсаков опять на минуту возвращается к прежнему положению; он борется теперь с каким-то Стояновым, любимцем Потемкина, но все они должны уступить дорогу Ланскому; Ланского сменяет Мамонов; у Мамонова временно отбивают место Милорадович и Миклашевский, и т.д. и т.д. Это какой-то безудержный поток: и в 1792 году, в шестьдесят три года, Екатерина опять начинает с Платоном Зубовым, и, по-видимому, и с его братом Валерьяном, главу романа, прочитанную ею прежде с двадцатью другими предшественниками.

Была ли это с ее стороны только чувственная распущенность, против которой, вместе с ее целомудрием и достоинством, не мог устоять и ее светлый ум гениальной женщины? Мы думаем, что нет. Мы имеем здесь, по-видимому, дело с древней, как мир, но всегда новой проблемой, которая в наши дни вызывает большие споры и страстные требования. Вопрос отношения Екатерины к ее фаворитам – это вопрос отношений двух полов и с физической и духовной точки зре-

ния; и в жизни великой императрицы он получает – полагаем мы – бесспорное разрешение в ярком свете исторического опыта. Вот исключительная женщина – исключительная и в умственном, и в моральном, и даже в физическом отношении; исключительно свободная, по своему сану, от рабства, которое налагает на женщину ее пол, и имеющая за собою полную независимость и всяческую власть – власть самодержавную. И что же? Нет, не только ненасытная и неодолимая чувственность бросала Екатерину в объятия Зубова или Потемкина. В любовной одиссее, перипетии которой были только что рассказаны нами, мы видим иную потребность, другой категорический императив. Как ни была сильна воля Екатерины, как ни был тверд ее ум и высоко то представление, которое она составила себе и сохранила до конца жизни о своих способностях и дарованиях, она находила, что они все-таки недостаточны, и сами по себе, и для служения ее государству: она считала необходимым укрепить их силою мужского ума, мужской воли, хотя бы этот ум и воля и стояли в отдельном случае ниже ее собственных. И она этого не скрывала! Когда она говорила Потемкину, что она без него «как без рук», то это не была пустая фраза в ее устах. В 1788 году, когда фаворит был в Крыму, письма, которые писал ему его доверенный человек Гарновский, остававшийся в Петербурге, полны упреков и настойчивых требований, чтобы Потемкин возвращался скорее, так как его отсутствие вредно отзывалось на делах и на настроении императрицы,

«смущенной в духе, подверженной беспрестанным тревогам и колеблющейся без опоры». В этом и лежит разница в исторической роли завоевателя Тавриды и его соперников и теми примерами женского фаворитизма, которые мы видели на Западе. Людовик XV только терпел влияние своих любовниц и допускал по слабоволюю их вмешательство в правительственные дела; Екатерина этого вмешательства требовала и просила.

И это еще не все. Ланскому и Зубову исполнилось едва двадцать два года, когда они были призваны занять место Потемкина. И на замечание Николая Салтыкова, позволявшего себе говорить с Екатериной без стеснения и удивлявшегося тому, что ее выбор остановился на Зубове, бывшем на сорок лет моложе императрицы, она ответила ему словами, которые невольно вызывают улыбку, но указывают на другую неоспоримую черту *des ewig Weiblichen*: «Я делаю и государству не малую пользу, воспитывая молодых людей». И она искренне верила тому, что говорила! В ее ревностном старании посвятить этих своеобразных учеников в управление государственными делами, в заботливости, с которой она следила за их успехами, была действительно известная доля материнства. И таким образом неисцелимая слабость женской природы, с одной стороны, а с другой – возвышенное стремление принести пользу своему народу заставили гордую и властную самодержицу искать опору в мужчине.

Без сомнения, – иначе, впрочем, Екатерина и не была бы

сама собой, – она и в своей интимной жизни преследовала отчасти политический расчет, как ни кажется это странным. Но это подтверждается фактами: и так необычайна судьба этой великой руководительницы людей, что факты эти даже оправдывают ее в известном отношении: воспитанный и смягченный ею, прошедший ее строгую политическую школу на всех ступенях административных и военных должностей – хотя и поднимаясь по ним, правда, чрезвычайно быстро – Потемкин стал в конце концов крупной фигурой в роли всемогущего министра. Зорич был незаметным гусарским майором, когда по воле императрицы поселился на несколько месяцев в особых апартаментах, сообщавшихся потайной лестницей с внутренними покоями Екатерины. А впоследствии он занял видное место среди деятелей, работавших для народного просвещения России! Мы ничего не выдумываем: Зорич первый создал план военной школы по образцу заграничных. В его великолепном поместье Шклове, расположенном недалеко от Могилева и пожалованном ему при его отставке, он основал училище для сыновей бедных дворян, которое было с течением времени преобразовано в кадетский корпус и переведено в Москву в виде первой военной гимназии этого города.

Екатерина, разумеется, не могла бы достигнуть этих чудес, если бы ей не помогала та историческая рамка, в которой ей приходилось действовать, и вне которой и ее собственное славное царствование было бы немислимо. С Зоричем,

Потемкиным, Мамоновым и десятками других имен ее двор действительно походил на Герольдштейн, но Герольдштейн, в котором комический, грубый элемент сочетался с серьезным и который создал одну из самых оригинальных страниц в летописях мира. Россия до сих пор остается самобытной страной, стоящей как бы вне Европы, и Екатерина была тоже совершенно незаурядной женщиной. Только соединение этих двух условий и могло превратить героев оперетки в главных действующих лиц человеческой драмы, разыгравшейся на одной из величайших сцен мира. И благодаря этому, к истории России того времени, истории, подобной сказочной феерии, и не приложимы мерки, которыми судят обыденные события.

Наконец и еще с одной точки зрения фаворитизм в том виде, какой придала ему Екатерина, не был результатом большой чувственности, ищущей все новых наслаждений. В безумии Гамлета была известная методичность; а в жилах Екатерины текла отчасти кровь датчанки. Мы уже указывали на это: она создала из фаворитизма правительственное учреждение.

II. Безумие и разум. – Фаворитизм становится частью правительственного механизма. – Организация его. – Выбор избранных. – Их помещение во дворце. – Первый дар любви. – Золотая клетка, которую зорко стерегут. – Фаво-

риты и случайные любовники. – Число избранников. – Как фавориты теряли свое положение. – Различные взгляды. – Мнение графа Сегюра. – Мнение Сент-Бева.

В депеше Корберона, посланной им графу Верженну из Петербурга 17 сентября 1778 года, мы читаем следующие строки:

«В России замечается по временам род междуцарствия в делах, которое совпадает со смещением одного фаворита и появлением нового. Это событие затмевает все другие. Оно сосредоточивает на себе все интересы и направляет их в одну сторону; даже министры, на которых отзывается это общее настроение, приостанавливают дела, пока окончательный выбор временщика не приведет всех опять в нормальное состояние и не придаст правительственной машине ее обычный ход».

Итак, фаворитизм был в России основным колесом ее государственного механизма. Как только оно останавливалось, вся машина переставала работать. Впрочем, такие междуцарствия бывали обыкновенно непродолжительны. Только одно из них длилось несколько месяцев – после смерти Ланского (в 1784 году) до возвышения Ермолова. В большинстве же случаев дело решалось в двадцать четыре часа, и самый ничтожный министерский кризис вызывает в наше время большой переполох. В кандидатах никогда не было недостатка. Место было хорошее, и о нем мечтало не одно често-

любимое сердце. В гвардии, этой традиционной поставщице временщиков, было всегда два или три красивых Офицера, которые упорно смотрели в сторону императорского дворца с более или менее скрытым желанием и надеждой. От времени до времени один из них появлялся при дворе, представленный каким-нибудь крупным сановником, который пытал счастье провести к императрице своего человека и поставить его на пост, служивший источником всяческого богатства и почестей. В 1774 году племянник графа Захара Чернышева, князь Кантемир, молодой и беспутный малый, весь в долгах, но прекрасный собой, упорно бродил несколько недель вокруг императрицы. Два раза, точно по ошибке, он входил в личные покои государыни. В третий раз он проник к ней, упал к ее ногам и умолял ее привязать его к своей особе. Она позвонила; Кантемира арестовали. Екатерина приказала посадить его в кибитку и отвезти к дяде, поручая сказать Чернышеву, что просит его образумить племянника: сама она к такого рода безумствам относилась очень снисходительно. Между прочим, Потемкину удалось почти такой же дерзкой выходкой обратить на себя внимание императрицы. Но обыкновенно пост временщика достигался ценою сложных интриг. Перейдя с 1776 года на положение почетного фаворита, Потемкин стал представлять Екатерине прошедших у него школу и находившихся под его влиянием молодых людей, предоставляя одного из них ее выбору. Но и избранныкам и ему стоило громадных усилий удержать за со-

бою завоеванное место: короткого отсутствия, болезни, минутной слабости было достаточно, чтобы погубить все дело. Самое название фаворита, так образно звучащее по-русски – временщик, – указывало баловням судьбы, как призрачно их быстротечное и невозвратное, как время, счастье. В 1772 году, отправившись в Фокшаны для заключения мирного договора с Турцией, Григорий Орлов узнал, что Васильчиков занял так неосторожно оставленный им пост. Орлов сейчас же помчался в Петербург; почти без отдыха, как курьер, он проехал одним духом три тысячи верст, не останавливаясь ни для сна, ни для обеда. И все-таки он приехал слишком поздно. В 1784 году Ланской заболел и, боясь впасть в немилость, стал прибегать к искусственным возбуждательным средствам, погубившим его здоровье и сведшим его в могилу. Иногда же случалось, что, взлетев в одно мгновение на головокружительную высоту, соседнюю с царским престолом, фавориты начинали забываться: Зорич считал все для себя дозволенным, даже измену той женщине, которая вывела его из ничтожества. Мамонов хотел, чтобы она позволила ему делить любовь между нею и ее фрейлиной, в которую он влюбился. Но этого было довольно: на ближайшем вечернем приеме все замечали, что императрица пристально смотрит на какого-нибудь неизвестного поручика, представленного ей лишь накануне или терявшегося прежде в блестящей толпе придворных; на следующий день становилось известно, что он назначен флигель-адъютантом ее величества. Все понимали,

что это значит. Днем молодого человека коротким приказом вызывали во дворец: здесь он знакомился с лейб-медиком государыни, англичанином Роджерсоном. Затем его поручали заботам графини Брюс, а впоследствии фрейлины Протасовой; щекотливые обязанности этих дам не поддаются более точному определению. После этих испытаний его отводили в особое помещение фаворитов, в котором временщики сменялись чаще, чем французские министры в министерских отелях. Апартаменты стояли уже пустыми и были готовы для вновь прибывшего. Его ожидали здесь всевозможная роскошь и комфорт, полное хозяйство, громадный штат слуг, и открыв письменный стол, он находил в нем сто тысяч золотом, первый дар императрицы, за которым должны были последовать другие бесчисленные дары. Вечером перед собравшимся двором Екатерина появлялась, фамильярно опираясь на его руку; и когда было десять часов и она кончала игру и удалялась к себе во внутренние покои, новый фаворит проходил вслед за нею один...

Теперь он уже не мог выйти из дворца иначе, как в сопровождении своей августейшей подруги. Он был птицей, запертой в клетку, – клетку, правда, прекрасную, но которую зорко стерегли. Императрица принимала свои меры против возможных и неприятных случайностей, проученная горьким опытом предшествующих лет. Вот почему также все рассказы о том, будто двери Екатерины были широко открыты чуть ли не первому встречному, надо считать басней. Без

сомнения, альков императрицы не был неприступной святыней, но проникнуть туда было однако очень не легко; это не был проходной двор. В начале царствования Екатерина сделала, правда, несколько больших неосторожностей, имевших для нее очень неприятные последствия. В 1762 году офицер Хвостов, которому было поручено составить инвентарь гардероба покойной императрицы Елизаветы, был арестован под подозрением, что утаил драгоценностей на двести тысяч рублей. Вещи, принадлежавшие покойной государыне, нашли у городской дамы, одной из бесчисленных любовниц фаворита Григория Орлова, но находившейся также в связи и с Хвостовым. А этот последний, по свидетельству Беранже, был с некоторых пор очень близок к новой царице, а может быть еще и в бытность ее великой княгиней уже пользовался ее милостями.

С тех пор Екатерина стала осторожнее: малейшие поступки временщика должны были подчиняться непреложным правилам и бдительному надзору. Он ни у кого не бывал, не принимал ничьих приглашений. За все время, пока Мамонов был «в случае», он только раз получил разрешение отправиться на обед к графу Сегюру. Но и тут Екатерина не могла скрыть своей тревоги: выйдя из-за стола, французский посол и его гости увидели карету императрицы, медленно проезжавшую назад и вперед перед окнами посольства, точно государыня не находила себе места даже при этой минутной разлуке с любовником. Год спустя тот же фаворит едва

не потерял своего положения из-за вполне естественного и очень невинного нарушения этой суровой дисциплины, связывавшей его по рукам и ногам. В день своего ангела императрица соблаговолила принять от него в подарок серьги, которые, впрочем, сама прежде для себе купила за 30.000 рублей. Великая княгиня увидела эти сережки и пришла от них в восторг. Екатерина сейчас же подарила их ей. На следующий день Мария Федоровна призвала к себе Мамонова, чтобы поблагодарить его, как виновника, хоть и невольного, так неожиданно полученной ею милости от государыни. Временщик хотел отправиться к ней, считая себя не в праве отказать от приглашения, исходившего от супруги наследника престола; но Екатерина, которую предупредили об этом, страшно рассердилась; она резко упрекала своего друга, а великой княгине послала сказать, чтобы она никогда не позволяла себе впредь ничего подобного! Павел хотел помочь горю, подарив фавориту золотую табакерку, усыпанную бриллиантами; Екатерина разрешила Мамонову пойти поблагодарить его, но в сопровождении доверенного лица, выбранного по ее указанию: Павел отказался принять Мамонова на таких условиях.

Но надо признать, что и фавориты, со своей стороны, тоже защищались, как умели, от возможной неверности Екатерины, хотя бы и случайного характера, так как она могла повлечь за собою их опалу и победу соперника. Все свое влияние, – а оно было у них громадно, – они употребляли на то,

чтобы следить за Екатериной так же зорко, как она следила за ними. За то время, когда фаворитом был Потемкин, – он считался им и после того, как уступил свое место в спальне императрицы избираемым им лично молодым людям, – т.е. в течение пятнадцати лет, с 1774 по 1789 год, он своею властною волей ставил неодолимые препятствия малейшему любовному порыву Екатерины. Он был способен употребить при случае даже насилие против этой женщины, которая, раз отдавшись ему, сделала себе из него настоящего господина.

И наконец надо принимать в расчет еще одно обстоятельство, которое показывает, что Екатерина не была так неразборчива в своих увлечениях, как то многие говорили: ее фавориты, все без исключения, были людьми в полном расцвете сил и в большинстве случаев богатырского сложения. Старея, Екатерина выбирала их себе все более молодыми. Братьям Зубовым было одному двадцать два года, а другому восемнадцать лет, когда она остановила на них свое внимание. Мы знаем возраст Ланского и знаем также причину его преждевременной смерти.

Но сколько же именно фаворитов было с восшествия Екатерины на престол и до ее кончины, т.е. с 1762 до 1796 года? Определить их число вполне точно – не так легко. Только десятеро из них занимали официально пост временщика со всеми его привилегиями и обязанностями: Григорий Орлов с 1762 до 1772 года; Васильчиков с 1772 до 1774 года; Потемкин с 1774 до 1776 г.; Завадовский с 1776 до 1777 г.;

Зорич с 1777 до 1778 г.; Корсаков с 1778 до 1780 г.; Ланской с 1780 до 1784 г.; Ермолов с 1784 до 1785 г.; Мамонов с 1785 до 1789 г. и Зубов с 1789 до 1796 года. Но при Корсакове в жизни Екатерины был временный перелом, когда она увлекалась сразу очень многими молодыми людьми и один из этих ее вздыхателей, Страхов, несомненно, был близок к ней, – это установлено почти с полной достоверностью, – хотя и никогда не занимал помещения, отведенного во дворце фаворитам. То же могло, конечно, повторяться и с другими. Осматривая Зимний дворец несколько лет спустя после смерти Екатерины, один путешественник был поражен убранством двух маленьких гостиных, расположенных рядом со спальней императрицы: стены одной из них были сверху донизу увешаны очень ценными миниатюрами в золотых рамах, изображавшими сладострастные и любовные сцены: вторая гостиная была точной копией первой, но только все миниатюры ее были портретами – портретами мужчин, которых любила или знала Екатерина.

Среди этих избранников ее сердца многие отплатили черной неблагодарностью государыне, осыпавшей их всех неизменно своими благодеяниями. Но Екатерина никогда не преследовала их за это и никогда не давала чувствовать им своего гнева или мести – даже тогда, когда они изменяли ей или пренебрегали ею. Да, любовники обманывали ее и бросали ее, как и всякую заурядную женщину: ни ее могущество, ни очарование, ни власть, которую она дарила им вместе со сво-

ей любовью, не могли спасти ее от горестей, бывших от начала мира уделом всех женских любящих сердец, будь то сердце императрицы или простой гризетки. В 1780 году Екатерина застала Корсакова в объятиях графини Брюс. В 1789 году Мамонов сам отказался от государыни, чтобы жениться на ее фрейлине. Так что в общем Екатерина была, пожалуй, даже менее непостоянной, нежели те, которых она любила. Говоря об отъезде Мамонова, поселившегося с молодой женой в Москве и вскоре разочаровавшегося в семейном счастье, граф Сегюр писал графу Монморену:

«Можно снисходительно закрывать глаза на ошибки великой женщины, – потому что она даже в своих слабостях проявляет столько самообладания, столько милосердия и великодушия. Редко бывает, чтобы при самодержавной власти ревность оставалась сдержанной, и подобный характер может осуждать неумолимо только человек без сердца и государь, не знающий увлечений».

Может быть, граф Сегюр судил Екатерину слишком снисходительно? Но зато и Сент-Бев был слишком строг к ней, когда ставил ей в вину именно этот ее миролюбивый способ расставаться с возлюбленными, когда они переставали нравиться ей, – способ, так резко отличающий ее от Елизаветы Английской и Христины Шведской. То, что она осыпала бывших фаворитов подарками вместо того, чтобы убивать их, и казалось Сент-Беву оскорбительным, так как «в этом, – по его словам, – ярко выразалось ее презрение к

людям и народам». Но этот суровый приговор несправедлив прежде всего своей фактической стороной; ни Корсаков, ни Мамонов не переставали нравиться Екатерине в ту минуту, когда она узнала об их измене. Она старалась вернуть их себе, особенно последнего, и при расставании с ними страдала не только ее гордость. Ее увлечения часто, слишком часто, объяснялись тем, что она была одной из женщин, которые стремятся брать свое наслаждение там, где его находят; но английский дипломат, написавший: «She was stranger to love», мало понимал, думаем мы, в женской психологии.

III. Доля чувства. – Григорий Орлов. – Тяжелое расставание. – Попечение Екатерины о прежнем любовнике. – Странный договор. – Корсаков. – «Прихоть ли это?» – Потемкин. – Ссора влюбленных. – Любовная переписка. – Любовник и друг. – Удивительные компромиссы. – Потемкин и Мамонов. – Они делят милости императрицы. – Появление Зубова. – Смерть красавца Ланского. – Горе возлюбленной.

Прежде, чем разойтись с Григорием Орловым, Екатерина вытерпела от него то, что редкая женщина была бы способна перенести. Уже в 1765 году, за семь лет до окончательного разрыва между ними, Беранже доносил из Петербурга герцогу Пралену:

«Этот русский открыто нарушает законы любви по отно-

шению к императрице. У него есть любовницы в городе, которые не только не навлекают на себя гнев государыни за свою податливость Орлову, но, напротив, пользуются ее покровительством. Сенатор Муравьев, заставший с ним свою жену, чуть было не произвел скандала, требуя развода; но царица умиротворила его, подарив ему земли в Лифляндии».

Но наконец чаша терпения переполнилась, Екатерина воспользовалась отсутствием фаворита, чтобы разорвать связывавшие ее с ним цепи. В то время, как Орлов мчался к ней из Фокшан на почтовых, надеясь вернуть себе утраченные права, его остановил в нескольких стах верстах от Петербурга приказ императрицы: ему предписывалось отправиться в свои имения и не выезжать оттуда. Но Орлов все еще не считал дела проигранным; он то умолял, то грозил, прося, чтобы ему хоть на минуту позволили свидеться с Екатериной. А ей стоило сказать тогда только слово, чтобы навсегда освободиться от отверженного фаворита: Потемкин стоял уже у власти, и охотно стер бы с лица земли всех ненавистных ему Орловых, вместе взятых. Но этого слова, которого в конце концов, видя настойчивость первого временщика, все стали даже требовать от нее, Екатерина не произнесла. Она вместо этого вступила с Орловым в переговоры и предложила бывшему любовнику, наказанному за прошлое, полное измен, только изгнание, тогда как он мог бы потерпеть от нее несравненно более жестокую кару, – особое соглашение. Это письмо Екатерины – оно было посла-

но брату Орлова, Ивану, – настоящая поэма женского всепрощения: Екатерина просила графа Григория Григорьевича забыть прошлое, ссылалась на его совесть, голос которой должен был избавить их от взаимно-тягостных объяснений, указывала на необходимость временной разлуки, и писала все это бесконечно кротким, почти смиренным, умоляющим тоном. Пусть Орлов возьмет отпуск, поселится в Москве или в своих имениях, или где-нибудь в другом месте, где пожелает. Его ежегодное содержание в 150.000 рублей будет ему сохранено; кроме того, он получит еще 100.000 р. на покупку дома. Пока же он может занять любую подмосковную дачу императрицы, пользоваться, как и раньше, придворными экипажами, оставить при себе прежних слуг в императорской ливрее. Вспомнив, что она обещала ему 4.000 душ крестьян за Чесменскую битву, в которой он, между прочим, не принимал никакого участия, Екатерина прибавила к ним еще 6.000 душ, которых он мог выбрать себе в одном из казенных имений. И, как будто боясь, что и этого еще мало, что она недостаточно отблагодарила его, Екатерина осыпала его сверх всего царски щедрыми подарками: он получил парадный серебряный сервиз, другой «для ежедневного употребления», затем дом у Троицкой пристани, всю мебель и вещи, украшавшие в императорском дворце апартаменты фаворита, «о коих сам граф Гри. Гри. Орлов о многих не знает»... Взамен Екатерина просила у него только год отсутствия. Через год бывшему фавориту будет легче обсудить свое поло-

жение. Что же касается чувств самой Екатерины, то она писала: «Я никогда не позабуду, сколько я всему роду вашему обязана, и качества те, коими вы украшены и поелику отечеству полезны быть могут». Она желала только покоя: «Я же в сем иного не ищу, как обоюдное спокойствие, кое я совершенно сохранить намерена».

Возможно, что императрицей руководил при этом отчасти страх навлечь на себя гнев могущественных братьев Орловых, которым она сама создала первенствующее значение в государстве; но разве не слышится в ее письме и теплое чувство прежней любви, еще не угасшей в ней?

Одиннадцать лет спустя, узнав о смерти первого временщика, Екатерина писала:

«Потеря князя Орлова так поразила меня, что я слегла в постель с сильнейшей лихорадкой и бредом: мне должны были пустить кровь...»

Печальное известие пришло к ней в июне 1783 года, а два месяца спустя, отправляясь в Фридрихсгам, навстречу шведскому королю, она заранее поставила условием, чтоб Густав не касался в разговоре кончины Орлова, так как мысль о ней до сих пор переворачивает ей душу. Она, впрочем, первая заговорила с ним об этом, делая над собой страшное усилие, чтобы скрыть свое смущение и волнение, которое неизменно охватывало ее при этом уже далеком воспоминании. А между тем еще при жизни Орлова у нее было несколько его заместителей, которые должны были бы, по-видимому, вытес-

нить его из ее сердца. Ведь не пустая прихоть, как то думал Гримм, бросила ее, например, в 1778 году в объятия Корсакова.

«Прихоть? Прихоть? – ответила она на вопрос об этом. – Знаете ли вы, что эти слова вовсе не подходят, когда речь идет о Пирре, царе Эпирском» (прозвание, данное ею новому фавориту), «который приводит в смущение всех художников и в отчаяние скульпторов? Не прихоть, милостивый государь, а восхищение, восторг перед несравненным творением природы! Все красивые вещи, созданные людьми, падают и разбиваются, как идола, перед творениями Господа, перед тем, что создано Великим. Никогда Пирр не делал жеста или движения, которое не было бы полно благородства и грации. Он сияет, как солнце, и разливает свой блеск вокруг себя. В нем нет ничего изнеженного; он мужественен и именно таков, каким бы вы хотели, чтобы он был: одним словом, это Пирр, царь Эпирский. Все в нем гармонично; нет ничего, что бы выделялось: такое впечатление производят дары природы, объединенные в своей красоте; искусство тут ни при чем; о манерности и говорить не приходится...»

Допустим, что чувство, говорившее здесь в Екатерине, и не глубоко, и не тонко. Но Корсаков и был просто красивым мужчиной, не больше. Но вот на сцену появляется другой герой сердечной драмы Екатерины – гениальный Потемкин. Прочтите эти строки, написанные фаворитом во время короткой размолвки с императрицей. Екатерина ответила ему

на них по пунктам, на полях его же письма, и, примирившись, они заключили между собою как бы договор вечной любви:

Письмо Потемкина. [*Приписки, сделанные рукой Екатерины*]

«Позволь, голубушка, сказать последнее, [*Дозволяю.*] чем, я думаю, наш процесс и кончится. [*Чем скорее, тем лучше.*] Не дивись, что я беспокоюсь в деле любви нашей. [*Будь спокоен.*] Сверх бесчисленных благодеяний твоих ко мне, поместила ты меня у себя в сердце. [*Рука руку моет. Твердо и крепко.*] Я хочу быть тут [*Есть и будешь.*] один преимущественно всем прежним для того, что тебя никто так не любил; [*Вижу и верю.*] а как я дело твоих рук, то и желаю, чтоб мой покой был устроен тобой, [*Первое удовольствие. Само собою придет.*] чтобы ты веселилась, делая мне добро; чтоб ты придумывала все к моему утешению и в том бы находила себе отдохновение по трудам важным, коими ты занимаешься по своему высокому званию. [*Дай успокоиться мыслям, дабы чувства действовать свободно могли; они нежны, сами съищут дорогу лучшую.*] Аминь [*Аминь*]».

Нельзя не согласиться, что это обмен чувств далеко не банальных, и что когда два существа, поставленные на высоте человеческого могущества, говорят таким языком о своей любви, то их не назовешь людьми, предающимися грубому

разврату. Мечтательный, беспокойный, властный ум Потемкина весь сказался в этом письме, как и рассудительная и в то же время экзальтированная натура Екатерины. Спокойным размышлением императрица всегда брала верх над фаворитом, но зато он часто побеждал ее пылкостью своего темперамента. Большая часть их переписки опубликована. Эта переписка поразительна, она единственна в своем роде, не только по высокому положению и по взаимным отношениям возлюбленных: во второй половине восемнадцатого века, может быть, не всякая куртизанка решилась бы на те свободные и фамильярные выражения, которыми пестрят письма Екатерины, особенно в первые счастливые годы ее союза с Потемкиным. Мы не говорим уже о таких фразах, как: «Обнимаю вас тысячу раз, мой друг...», «Простите, если надо-едаю вам, душа моя...», «Я вас, ваша светлость, очень, очень и очень люблю...», как ни неожиданны подобные нежности в письме императрицы. Но вот записочка, которая кончается словами: «Прощай, мой котик...»; «Прощай, соколик...», — читаем мы в другой; или еще: «Прощай, батенька». Любовники часто ссорились: у Потемкина был тяжелый характер; он мог из-за пустяка раздражиться и выйти из себя. Тогда Екатерина писала ему: «Я хотела тебе вчерась сказать, голубчик, буде ты не будешь ласковее давешнего, то... то... то.., право, обедать не буду...» В другом ее письме, где дело идет, по-видимому, о желании строптивого любовника удалиться в монастырь, она писала (по-французски): «Ваш план, кото-

рый вы составляли в течение четырех или пяти месяцев (о нем, NB, знают весь город и предместья), вонзит кинжал в сердце вашей подруги, которая любит вас больше всего на свете и думает только о вашем действительном и неизменном счастье: разве такой план может делать честь уму и сердцу того, кто его составил и приводит его теперь в исполнение?»

Фаворит, естественно, не оставался перед Екатериной в долгу и тоже изощрялся в образном и нежном языке любви. Но все-таки, несмотря на весь свой пыл, – и это очень характерно для его удивительной идиллии с Екатериной, – он никогда не забывал громадного расстояния, отделяющего его от августейшей подруги. В его словах, еще более трепетных и страстных, чем у императрицы, всегда звучала известная торжественность, чуждая ее фамильярному тону: «Я получил ваше милостивое писание. Сколь мне чувствительны онаго изъяснения, то Богу известно. Ты мне паче родной матери...» Вот его обычный стиль. Он говорил ей «ты» только в той форме возвания, обращаясь к государыне, «делом рук» которой называл себя, как обращаются к Богу. Сохранились другие образчики его любовной переписки. Он виртуозно владел в ней пером; богатство восточной фантазии, мечтательность Севера и изящество тонких и грациозных образов, примеры которых дает Запад, своеобразно сочетались в ней: «Жизнь моя, душа общая со мною! Как мне изъяснить словами мою к тебе любовь... Приезжай, сударушка, пора-

нее, о мой друг! утеха моя и сокровище бесценное, ты, ты дар Божий для меня... Матушка-голубушка! дай мне веселиться зрением тебя, дай мне радоваться красотою лица и души твоей; мне голос твой приятен!.. Целую от души ручки и ножки твои прекрасные, моя радость!»

Но здесь Потемкин обращался к другой женщине, а не к Екатерине. Она тоже была для него матушкой, но непременно и государыней, перед которой он падал ниц, даже когда говорил ей о любви своей; и никогда он не назвал бы ее сударушкой или сударкой.

Заняв пост фаворита в 1774 году, Потемкин уступил его два года спустя Завадовскому. Он перестал быть любовником, но остался другом, и договор любви, заключенный между ним и Екатериной, сохранил таким образом свою силу. Этот договор был нарушен только много лет спустя, почти накануне смерти великолепного князя Тавриды, когда Зубов, завладев и апартаментами фаворитов в императорском дворце, и сердцем государыни, решил вытеснить оттуда старого временщика, который хотел когда-то царствовать в этом сердце один. Но до этой роковой для него перемены, и если он не был уже близок к ней, как к женщине, то новых любовников она принимала из его рук и не только осыпала его богатством и почестями, но и недвусмысленно давала ему понять, что ее любовь к нему неизменна:

«Прощайте, мой друг, – писала она ему: – будьте здоровы. Саша тебе кланяется».

Это было написано 29 июня 1783 года, и Саша – это был Ланской, новый фаворит и креатура Потемкина.

«Сашенька тебе кланяется и тебя любит, как душу, и часто весьма о тебе говорит», – читаем мы в другом письме Екатерины от 5 мая 1784 года.

В сентябре 1777 года Потемкин получил в дар от императрицы 150.000 рублей. В 1779 году ему выдали авансом его годовое содержание в 75 тысяч за десять лет вперед – итого 750.000 рублей. В 1783 году Екатерина послала ему 100 тысяч, чтобы закончить постройку начатого им дворца, который она затем купила у него за несколько миллионов и тут же сейчас опять ему подарила. Он был фельдмаршалом, первым министром, князем, имел все чины, ордена, всяческие почести и власть. При присоединении Крыма и во время второй турецкой войны он распоряжался делами бесконтрольно, как диктатор. Он поступал, как ему вздумается, по собственному капризу, и Екатерина держала себя перед ним, точно маленькая девочка, подчинившаяся гениальной воле. В течение месяцев он оставлял ее без известий, не удостоивал ее письма ответом. Тогда она жаловалась, но робко, почти смиренно:

«Я все это время была ни жива, ни мертва, оттого, что не имела известий... Для самого Бога, для меня, имей о себе более прежнего попечение, ничто меня не страшит опричь твоей болезни...» Дальше она прибавляла по-французски: «Вы теперь, мой дорогой друг, не частное лицо, которое жи-

вет, как хочет, и делает, что ему нравится: вы принадлежите государству, вы принадлежите мне».

Ласковые слова и, между прочим, обращение «папа» встречаются опять в письмах прежней любовницы. Но зато она умела говорить с ним и как императрица в те нередкие минуты, когда он при малейшей неудаче падал духом. В сентябре 1787 года, после нападения турок на Кинбурн, он просил у нее позволения сейчас же сложить с себя командование. Но Екатерина не хотела об этом и слышать: «Ободритесь и будьте уверены, что вы одолеете все, если будете иметь немного терпения; это истинная слабость с вашей стороны, чтоб, как пишешь ко мне, низложить свои достоинства и скрыться: отчего?» (Последняя фраза написана Екатериной по-русски.)

Через несколько недель после этого буря уничтожила часть севастопольского флота. На этот раз Потемкин хотел не только оставить армию, но и эвакуировать Крым:

«Если сие исполнишь, – писала ему Екатерина, – то родится вопрос, что же будет и куда девать флот севастопольский... Я надеюсь, что сие от тебя писано было в первом движении, когда ты мыслил, что весь флот пропал... Я думаю, что всего бы лучше было, если б можно было сделать предприятие на Очаков, либо на Бендеры, чтоб оборону, тобою самим признанную за вредную, оборотить в наступление... Сколько буря была вредна нам, авось либо столько же была вредна и неприятелю, ни уже что ветер дул лишь на нас?..

Прошу ободриться и подумать, что бодрый дух и неудачу поправить может; все сие пишу к тебе как лучшему другу, воспитаннику моему и ученику, который иногда и более еще имеет расположения, нежели я сама, но на сей случай я бодрее тебя, понеже ты болен, а я здорова... Я нахожу, что вы нетерпеливы, как пятилетний ребенок, тогда как дело, порученное вам теперь, требует непоколебимого терпения». (Последние слова по-французски.)

Екатерина прибавляла, что разрешает ему приехать на некоторое время в Петербург. Но неужели, – писала она ему, – он просит ее об отпуске из армии потому, что боится, что кто-нибудь интригует во время его отсутствия против него: «Ни время, ни отдаленность и никто на свете не переменят моего образа мыслей к тебе и об тебе».

Эта манера предоставлять полную свободу лицам, облеченным ее доверием, и смотреть сквозь пальцы на способы, которыми они добивались для нее славы, отвечала, впрочем, политической системе Екатерины, как мы о том говорили выше. Но когда ее власть или личное вмешательство могли оказать непосредственное влияние на ход дел, она сейчас же проявляла свою самодержавную волю. На этой почве между нею и Потемкиным часто происходили столкновения, и тут ни любовь, ни дружба к нему не могли остановить Екатерину, когда она желала, чтобы он подчинился ее авторитету императрицы. Фаворит давал ей тогда чувствовать свой непокладистый нрав, и отвечал ей то резким, то оскорблен-

ным тоном: «Я вам указываю вашу пользу, – писал он ей: – а там делайте, как знаете...» – «Полно сердиться, – возражала Екатерина: – должен ты признать, что права я».

Поводы к подобным размолвкам бывали иногда очень щекотливого свойства. Однажды Потемкин выразил желание назначить инспектором в действующую армию одного из придворных императрицы. Но Екатерина восстала против этого выбора, находя, что временщик руководится в данном случае не совсем благовидным побуждением. Вот как она сама объясняла дело. Строки, напечатанные курсивом, написаны в ее письме по-французски:

«Позволь сказать, что рожа жены его, какова ни есть, не стоит того, чтобы ты себя обременял таким человеком, который в короткое время будет тебе в тягость: правда, она очаровательна, но, ухаживая за ней, нельзя ничего добиться. Это всеми признано, и бесчисленное семейство следит за ее репутацией. Друг мой, я привыкла говорить вам правду. Вы тоже говорите мне ее, когда представится случай. Доставьте же мне удовольствие выбрать на эту должность лицо, более подходящее для дела и которое знало бы службу, чтобы одобрение общества и армии увенчало ваш выбор и мое назначение. Я люблю доставлять вам удовольствие и не люблю отказывать вам, но я хотела бы, чтобы по поводу назначения на такой ответственный пост все бы говорили: вот прекрасный выбор; а не говорили бы: вот недостойный выбор человека, не имеющего представления об обязанностях, которые

ему поручают. Заключайте мир, после чего вы приедете сюда и будете тогда развлекаться, сколько вам угодно».

Екатерина забывала только прибавить при этом, что и она развлекалась теперь со своей стороны, даже не посоветовавшись на этот раз со своим другом насчет выбора новой «забавы». На горизонте показался Зубов и сразу проявил себя опасным соперником Потемкину не только в милостях императрицы, но и в той дружбе, которую она дарила по-прежнему могущественному временщику. Задержанный войной на противоположном конце России, Потемкин был вне себя от бешенства; он писал, что приедет вскоре в Петербург «выдернуть зуб», который причиняет ему боль. Но это не удалось ему. Он прибыл только для того, чтобы присутствовать при окончательном торжестве своего врага. Он возвратился на юг, стараясь скрыть обиду, но пораженный в сердце, и вскоре смерть спасла его от последних унижений опалы. Но надо сказать, что Екатерина сделала все от нее зависевшее, чтобы примирить его с ее новым избранником, и письма, которые она посылала ему с этой целью, одни из самых любопытных в ее замечательной переписке с ним. Она передавала своему старому другу, уже пожертвованному ею во имя торжествующего любовника, комплименты, знаки внимания и тонкую лесть от «ребенка» и «новичка», как она называла нового фаворита по свойственной ей привычке, не оставившей ее и в старости, давать любимому человеку ласкательные прозвания. «Дитя, – писала она, – находит, что вы умнее,

остроумнее и любезнее всех, кто вас окружает; но держите это в тайне, потому что он не знает, что мне это известно».

Но Потемкин лести не поддавался. Он видел, что престиж его падает в глазах императрицы; и чувствовал, что его место занято невозвратно не только в помещении дворца, смежном с покоями ее величества, которое он и прежде спокойно уступал другим, но и в привязанности государыни, клявшейся сохранить ему дружбу до конца жизни, а теперь изменившей ему. Это было ему тяжело!

Впрочем, и до Зубова еще Потемкину пришлось пережить раз очень тревожное время. Среди фаворитов был один, которого Екатерина любила так, как она никогда никого не любила ни до, ни после него. По-видимому, этой необыкновенной женщине было суждено исчерпать всю длинную гамму чувств и ощущений в области страсти и любви. Ее любовь к Ланскому не походила ни на ее привязанность к Потемкину, ни на какое другое ее увлечение, которыми была так полна ее богатая переживаниями жизнь. Но Ланской не был честолюбив, и Екатерине не дано было надолго сохранить его при себе. 19 июня 1784 года молодой человек, в течение четырех лет составлявший все ее счастье и радость, на котором сосредоточились все ее помыслы, желания и мечты, которого она холила и нежила, как ни одного из прежних фаворитов, заболел какою-то необъяснимою болезнью. Доктор Вейкард был спешно вызван из Петербурга в Царское Село. Это был типичный немецкий ученый, прямолинейный и грубоватый,

неспособный смягчать правду и щадить чувства людей. Сидя на постели больного, Екатерина со страхом спросила его:

– Что у него?

– Злокачественная лихорадка, ваше величество, он от нее умрет.

Вейкард настаивал на том, чтобы императрицу удалили из комнаты больного. Он считал болезнь Ланского заразной: насколько можно догадаться, это была тяжелая форма ангины. Но Екатерина не колебалась ни минуты между этими благоразумными советами и голосом сердца. Вскоре и у нее появились тревожные симптомы – боли в горле. Но она не обратила на это никакого внимания, и через десять дней Ланской умер у нее на руках. Ему был двадцать шесть лет. Горе Екатерины было беспредельно:

«Когда я начала это письмо, я была в счастье и в радости, и мои мысли проносились так быстро, что я не успевала следить за ними, – писала она Гримму. – Теперь все переменялось: я страшно страдаю, и моего счастья нет больше: я думала, что не переживу невозвратимую потерю, которую понесла неделю назад, когда скончался мой лучший друг. Я надеялась, что он будет опорой моей старости: он тоже стремился к этому, старался привить себе все мои вкусы. Это был молодой человек, которого я воспитывала, который был благодарен, кроток, честен, который разделял мои печали, когда они у меня были, и радовался моим радостям. Одним словом, я, рыдая, имею несчастье сказать вам, что генерала

Ланского не стало... и моя комната, которую я так любила прежде, превратилась теперь в пустую пещеру; я еле передвигаюсь по ней, как тень: накануне его смерти у меня заболело горло и началась сильнейшая лихорадка; однако со вчерашнего дня я уже на ногах, но слаба и так подавлена, что не могу видеть лица человеческого, чтобы не разрыдаться при первом же слове. Я не в силах ни спать, ни есть, чтение меня раздражает, писание изнуряет мои силы. Я не знаю, что станет теперь со мной; знаю только одно, что никогда во всю мою жизнь я не была так несчастна, как с тех пор, что мой лучший и любезный друг покинул меня. Я открыла ящик, нашла этот начатый лист, написала на нем эти строки, но больше не могу...»

Это было 2 июля 1784 года. И только два месяца спустя Екатерина возобновила свою переписку с Гриммом:

«Признаюсь вам, что все это время я была не в состоянии вам писать, потому что знала, что это заставит страдать нас обоих. Через неделю после того, как я вам написала последнее письмо в июле, ко мне приехали Федор Орлов и князь Потемкин. До этой минуты я не могла видеть лица человеческого, но эти знали, что нужно делать: они заревели вместе со мною, и тогда я почувствовала себя с ними легко; но мне надо было еще немало времени, чтобы оправиться, и в силу чувствительности к своему горю я стала бесчувственной ко всему остальному; горе мое все увеличивалось и вспоминалось на каждом шагу и при всяком слове. Однако не поду-

майте, чтобы вследствие этого ужасного состояния я пренебрегла хотя бы малейшей вещью, требующей моего внимания. В самые мучительные минуты ко мне приходили за приказаниями и я отдавала их толково и разумно; это особенно поражало генерала Салтыкова. Два месяца прошли так без всякого облегчения; наконец наступили первые спокойные часы, а затем и дни. На дворе была уже осень, становилось сыро, пришлось топить дворец в Царском Селе. Все мои пришли от этого в неистовство и такое сильное, что 5 сентября вечером, не зная, куда преклонить голову, я велела заложить карету и приехала неожиданно и так, что никто не подозревал об этом, в город, где остановилась в Эрмитаже, и вчера в первый раз я видела всех и все меня видели; но, по правде сказать, это стоило мне страшного усилия, и когда я вернулась к себе в комнату, то почувствовала такой упадок духа, что всякая другая на моем месте, наверное, лишилась бы чувств... Я должна была бы перечитать ваши последние три письма, но положительно не в силах этого сделать... я превратилась в очень грустное существо, которое говорит только отрывочными словами... Все меня угнетает... а я никогда не любила внушать жалость...»

Один английский оратор, лорд Камельфорд, сказал, что Екатерина украшала престол своими пороками, как английский король (Георг III) бесчестил его своими добродетелями. Это сказано несколько сильно, но вряд ли кто-нибудь решится заклеить неумолимым презрением пороки Екате-

рины, находившие порою такое трогательное выражение, как эта скорбь ее о безвременной кончине Ланского.

IV. Неудобства фаворитизма. – Быстрое повышение временичков. – Как был назначен один посланник. – Что стоит фаворитизм. – Общий итог в 400 миллионов. – Развращающее влияние. – Школа порока. – Мораль Екатерины. – Целомудренность и стыдливость. – Позорящие обвинения. – Искупление.

Фаворитизм в царствование Екатерины имел большие неудобства. 1 декабря 1772 года французский полномочный министр в Петербурге Дюран доносил герцогу Эгильону, что по сведениям, дошедшим к нему из дворца, «императрица так исключительно поглощена делом г. Орлова, что в продолжение двух месяцев не занимается ничем другим, ничего не читает и почти не подписывает бумаг». Прошло еще два месяца, но кризис все еще продолжался. «Эта женщина ничего не делает, – писал Дюран. – Пока будут поддерживать партию Орловых и заниматься ими, нам остается сидеть сложа руки». А подобные остановки в делах бывали часты. В феврале 1780 года английский посланник Гаррис явился к князю Потемкину, чтобы спросить его о судьбе важной записки, поданной им незадолго до того императрице. Но Потемкин ответил ему на это, что он выбрал неудачную мину-

ту: Ланской был болен, и страх, что он умрет, так мучил государыню, что она была неспособна сосредоточить свое внимание на чем-либо постороннем. В такие минуты она забывала обыкновенно и свои честолюбивые мечты о славе, и политические интересы страны, и даже чувство собственного достоинства и отдавалась всецело тревоге о любимом человеке. При этом князь Потемкин выразил Гаррису опасение, что граф Панин может воспользоваться для своих намерений временной апатией императрицы и придать новое направление иностранной политике России. Три года спустя болезнь самого князя повергла Екатерину в полное отчаяние; маркиз Верак, собиравшийся уехать из Петербурга, не мог добиться при дворе прощальной аудиенции. Лица, близкие к императрице, увидев ее искаженное страданием лицо и красные заплаканные глаза, посоветовали ей не показываться в таком виде на людях. И аудиенцию отложили.

А в спокойное время, если фаворитизм и не останавливал правительственных дел, то отдавал их в руки людей, совершенно неспособных стоять во главе управления: какому-нибудь Мамонову, Зубову. И при этом не только сами фавориты, благодаря быстрому повышению, в один день превращались в генералов, фельдмаршалов и министров; но за ними тащилась длинная свита покровительствуемых ими ничтожеств. Затем каждый из них имел врагов, которых стремился отеснить от дела. Так поступил Потемкин со знаменитым Румянцовым, отняв у России ее лучшего воина. При-

дворные партии со своей стороны тоже выдвигали иногда на сцену какого-нибудь честолюбца, чтобы через него погубить временщика. В 1787 году Мамонову показалось очень подозрительным появление при дворе молодого князя Кочубея, и он сумел устроить так, что Кочубея назначили послом в Константинополь. Что и говорить – это был своеобразно обоснованный выбор посланника! Но даже и после опалы короткие дни могущества фаворита не проходили бесследно. После смерти Потемкина секретарь его Попов был поставлен на место своего прежнего начальника во главе Екатеринославской губернии. Попов стал сейчас же самовластно всем распоряжаться при помощи магических слов: «Таковы были предположения покойного князя!» Он выдавал себя за хранителя воли и за покорное орудие своего «создателя», как он называл Потемкина. А между тем граф Ростопчин, знавший толк в людях, утверждал, что хотя Попов и управлял почти всей Россией еще при жизни Потемкина, прикрываясь его именем, но ничего не понимал в делах. У него было зато много посторонних занятий. В общем Ростопчин знал за ним только одно достоинство: железное здоровье, позволявшее ему проводить напролет все дни и все ночи за карточным столом. Несмотря на это, Попов имел большие чины, ордена и занимал должности, дававшие ему одного жалованья до пятидесяти тысяч в год. В феврале 1796 года Ростопчин писал опять: «Никогда преступления не бывали так часты, как теперь. Их безнаказанность и дерзость достигли

крайних пределов. Три дня назад некто Ковалинский, бывший секретарем военной комиссии и прогнанный императрицей за хищения и подкуп, назначен теперь губернатором в Рязань, потому что у него есть брат, такой же негодяй, как и он, который дружен с Грибовским, начальником канцелярии Платона Зубова. Один Рибас крадет в год до 500.000 рублей».

Фаворитизм стоил дорого. Кастера вычислил, во что обошлись России десять главных его представителей; он присоединяет к ним еще какого-то неизвестного Высоцкого.

Получили:

Пять братьев Орловых – 17.000.000 рублей.

Высоцкий – 300.000 »

Васильчиков – 1.100.000 »

Потемкин – 50.000.000 »

Завадовский – 1.380.000 »

Зорич – 1.420.000 »

Корсаков – 920.000 »

Ланской – 7.260.000 »

Ермолов – 550.000 »

Мамонов – 1.880.000 »

Братья Зубовы – 3.500.000 »

Расходы фаворитов – 8.500.000 »

Итого: 92.500.000 рублей

Или, другими словами, 400 миллионов франков по курсу того времени. Приблизительно такую же цифру называет

и английский посланник Гаррис. По его расчету, семейство Орловых получило с 1762 по 1783 год от 40 до 50 тысяч душ крестьян и 17 миллионов рублей деньгами, дворцами, драгоценностями и посудой. Васильчиков за неполных два года: 100.000 рублей серебром, 50.000 р. золотыми вещами, дом с полной обстановкой стоимостью в 100.000 р., сервиз в 500.000 р., годовая пенсия в 20.000 р. и 7.000 душ. Потемкин за два года: 37.000 душ крестьян и драгоценностями, дворцами, пенсией, посудой около 9.000.000 р. Завадовский за полтора года: 6000 душ в Малороссии, 2000 душ в Польше, 1.800 душ в русских губерниях, 80.000 р. драгоценностями, 150.000 р. деньгами, сервиз в 30.000 р. и пенсию в 10.000 р. Зорич за год: имение в Польше ценою в 500.000 р., другое в 100.000 р. в Лифляндии, 500.000 наличными деньгами, 200.000 р. драгоценностями и командорство Мальтийского ордена в Польше, приносящее доходу до 12.000 рублей в год. Корсаков за шестнадцать месяцев: 150.000 рублей и при своем отъезде: 4000 душ в Польше, 100.000 р., чтобы расплатиться с долгами, 100.000 р. на первое обзаведение и 20.000 р. в месяц для путешествия за границей.

Эти цифры не требуют комментариев. В июле 1778 года кавалер Корберон писал из Петербурга графу Верженну:

«Новый фаворит Корсак (таково, по-видимому, первоначальное имя этого лица) только что произведен в камергеры. Он получил 150.000 рублей, и время его возвышения, которое вряд ли продолжится, будет по крайней мере бле-

стящим для него и разорительным для государства. Это бедствие, от которого так страдает Россия, повторяется очень часто и вызывает ропот и недовольство в обществе, что могло бы иметь опасные последствия, если бы Екатерина II не была сильнее и предусмотрительнее всех, кто ее окружает. Все ропщут глухо, но она продолжает царствовать, и в силе ее духа – ее спасение... На днях в одном русском семействе вычисляли, что стоил фаворитизм в настоящее царствование: общий итог достиг 48 миллионов рублей».

Но от фаворитизма страдала не только казна России. Князь Щербатов в полных достоинства выражениях указывал на развращающий характер этого учреждения, поставленного во главе общества и подававшего ему как бы пример. Рассуждая отвлеченно, временщики Екатерины, правда, соответствовали фавориткам Людовика XV, но к практической морали, как и к политике отвлеченные понятия обыкновенно не приложимы, и различие полов до скончания веков, думаем мы, будет придавать глубоко неодинаковый характер одним и тем же поступкам, смотря по тому, совершены ли они мужчиной или женщиной. И если Марии-Антуанетте пришлось многому удивляться и пережить не одну неприятную минуту при дворе тестя, то положение Марии Федоровны, второй супруги Павла, когда она соприкоснулась при своем приезде в Петербург с официальным скандалом двора императрицы, было несравненно тягостнее. Да к тому же любовницы Людовика XV никогда не влияли на

судьбы Франции.

Один из товарищей Костюшкина, Немцевич, рассказывает в своих Записках, что, посетив в 1794 году дома, выстроенные для Екатерины при ее проезде в Крым, в 1787 году, он заметил, что спальни государыни были везде устроены по одному образцу. Возле ее кровати висело большое зеркало, которое поднималось и опускалось на особой пружине: оно скрывало вторую кровать – кровать Мамонова. А Екатерине было в то время пятьдесят девять лет! Возвести беззастенчивость до такой откровенности, разве это не значило учить других разврату?

Очевидно, эта властная женщина просто не понимала, что она, как и все, подчинена непреложным законам женственности. Ведь сознательного, а тем более бравирующего цинизма в ней не было вовсе: нравственное чувство в ней не было убито, и ум не был извращен. Если оставить в стороне фаворитизм со всеми его последствиями, то Екатерина была скорее даже строга в области морали и вообще сдержанна и стыдлива. Целомудренность она ставила очень высоко и в разговорах никогда не позволяла себе ни одного двусмысленного выражения. Однажды по пути в Киев она просила графа Сегюра, сидевшего вместе с ней в экипаже, сказать ей какие-нибудь стихи. Он повиновался и стал читать стихотворение, по его словам, «немного легкомысленного и веселого содержания, но настолько приличное, что оно заслужило в Париже похвалы герцога Нивернэ и принца Бо-

во, а также дам, добродетель которых равнялась их любезности». Но Екатерина нахмурила брови, перебила неосторожного посла каким-то не относящимся к делу вопросом и переменяла разговор. В 1788 году адмирала Поля Джонса, приглашенного на русскую службу из Англии, обвинили в том, что он оскорбил молодую девушку, причисленную ко двору Екатерины. Императрица сейчас же отказала ему от места, как ни велик был в то время в России недостаток в людях, способных к командованию флотом. За подобный же поступок английский посланник Макартней тоже должен был оставить свой пост. В 1790 году, беседуя со своим секретарем о событиях, разыгравшихся во Франции, Екатерина обвиняла французских актрис, как она выражалась, «девок театральных», в том, что они развратили нравы всего народа «Оттого и погибла Франция, – сказала она, – *qu'on tombe dans la crapule et les vices*; опера Буфф всех перековеркала. *Je crois que les gouvernantes francaises de vosfillessont des m...* Смотрите за нравами!»

Она искренне не замечала при этом, что сама давно впала в разврат и содействовала падению нравов в России. Ей казалось вполне естественным писать Потемкину про его преемника Мамонова: «Сашенька тебя любит и почитает, как отца родного». Она без всякого смущения расспрашивала сына и невестку о короле Понятовском, которого они видели при проезде через Варшаву: «Я думаю, – писала она им: – что его величеству польскому королю было очень трудно при-

помнить мое лицо таким, каким оно было двадцать пять лет назад, по портретам, которые вы ему теперь показали».

«Никто не смел, – говорит принц де-Линь, описывая Екатерину, – осуждать перед императрицей Петра I или Людовика XVI или позволить себе малейшее замечание насчет религии или нравов. Только иногда можно было сказать при ней что-нибудь рискованное, но непременно очень тонкое, что вызывало в ней улыбку. Сама же она никогда не говорила ничего двусмысленного ни о ком.»

Забываясь об общественной нравственности, она издала указ, обязывающий содержателей публичных бань устраивать отдельные помещения для мужчин и женщин и пускать на женскую половину только тех мужчин, присутствие которых было необходимо по делам службы, и врачей. Но при этом она делала странное исключение для художников, которые пожелали бы изучать женское тело по живым моделям.

Екатерину не раз обвиняли, имея в виду преимущественно последние годы ее жизни, в позорных наклонностях и привычках. Говорили, что, помимо малых приемов в Эрмитаже, там собирался иногда более интимный кружок, в который входили два брата Зубовых, Петр Салтыков и несколько женщин, – их имена мы предпочитаем умолчать. По поводу этих вечеров произносили имя Лесбоса, и к другим мифологическим обожествлениям великой Екатерины прибавлялось название Северной Цибелы. Нам претит разбираться в этих отвратительных осуждениях. Но мы не смеем утвер-

ждать, чтобы Екатерина не заслужила их: разве эта грязь, поднятая вокруг ее имени после ее смерти, не была достойным для нее искуплением за совершенное ею зло?

Внезапная смерть Екатерины, – она скончалась неожиданно в своей гардеробной, – была, может быть, ее другим искуплением. Уже давно, как мы это знаем, носились слухи, что излишества, которым предается императрица, подточили ее крепкое здоровье. В мае 1774 года Дюран расспрашивал одного придворного о причине некоторых симптомов, тревоживших лейб-медиков ее величества; тот ответил ему, что «эти потери вызваны прекращением периодических очищений или истощением ослабевшего органа». В другой депеше, говоря об опасениях, которые внушало фавориту состояние здоровья императрицы, французский поверенный в делах писал:

«Ему известно то, чего, однако, почти никто не знает, а именно, что императрица упала на днях в обморок перед тем, как сесть в холодную воду, и этот обморок продолжался более получаса; что, по словам ее самых преданных слуг, у нее замечаются с некоторых пор странные подергивания и движения; что вследствие злоупотребления холодными ваннами и табаком она по временам точно теряет сознание и у нее появляются идеи, противоречащие ее характеру. Заключение, которое я вывожу из всего этого, то, что она страдает истерией».

В 1774 году эти предложения были преждевременны, но

через двадцать лет они оправдались.

Мы просим наших читателей и особенно читательниц простить нас за то, что мы приподняли завесу, которую время и забвение набросило на все эти подробности. Нами руководило при этом только одно желание, – и пусть оно послужит нам извинением, – вложить, за неимением других достоинств, как можно больше правдивости и искренности в этот очерк, который, несмотря на все препятствия и затруднения, неизбежные при его выполнении, глубоко привлекал нас удивительным и, может быть, единственным в своем роде разнообразием, сложностью и оригинальностью своих строго исторических данных, способных поспорить с измышлениями самого богатого и пылкого воображения, – и мы надеемся, что он заинтересует тем же и других.

Заключение

Нам остается теперь показать Екатерину в той среде, где она царствовала и жила с блестящей свитой ее сподвижников и товарищей, и в ослепительной рамке, созданной ею для своей славы. Мы надеемся исполнить когда-нибудь этот дополнительный труд. Пока же, заканчивая временно этот очерк, мы считаем своей обязанностью подвести ему краткий итог.

Екатерина была существом привилегированным. Среди прочих преимуществ она имела за собою то, что вокруг ее имени были исчерпаны всевозможные похвалы и всяческие поношения. В устах своих поклонников или хулителей она являлась поочередно то славой, то позором своего пола. Мы постарались примирить эти крайние мнения, сглаживая неточности, противоречия и заблуждения истории и предания; мы стремились начертать возможно ближе к истине нравственный и физический облик государыни и женщины, которую Вольтер называл «Catherine le Grand», а бесчисленные памфлетисты клеймили именем «Мессалины». И вот приблизительно к чему мы пришли.

Екатерина была принцессой ничтожного германского двора, и родители предназначали ее в жены какому-нибудь мелкому владетельному князю; ее француженка-гувернантка, m-lle Кардель, и дала ей соответствующее воспитание

и образование. Но случай привел Екатерину в Россию, и здесь, в силу непредвиденных обстоятельств и своих выдающихся дарований, она заняла положение, на которое по рождению не могла рассчитывать. Поставленная между наследником престола, странности и пороки которого делали его решительно неспособным к царствованию, и императрицей, управлявшей Россией с грехом пополам, Екатерина почувствовала, что призвана сыграть в своей новой родине не только декоративную или династическую роль. Честолюбие влекло ее дальше. К осуществлению этих мечтаний о власти она сумела приложить редкую энергию и настойчивость – совершенно исключительные для ее возраста и пола. Стремясь привлечь на свою сторону как можно больше людей, она хотела показать себя достойной их преданности и доверия. Она занялась своим перевоспитанием. Упорной работой она усвоила себе и гений этого народа, которым надеялась в будущем управлять, и западную культуру, внесенную в Россию стараниями Петра I. Она изучала русский язык на уроках Ададунова и в беседах со старыми придворными дамами, приставленными к ней, и знакомилась с историей и политикой, читая Вольтера и Монтескье. Она читала, кроме того, и Брантома и Бейля и извлекла из них сведения, послужившие большой опорой ее честолюбивым планам, хотя, может быть, и в ущерб морали. Таким образом, она еще при жизни Елизаветы стала головою выше всех окружающих, возбуждая в них тревогу, надежды, ревность и опасе-

ния. Муж называл ее то «Madama la Ressource», то «ехидной», которую хотел раздавить. Елизавета смотрела на нее с завистью и ужасом. Но государственные люди, министры и иностранные послы стояли за нее, и наконец армия – эта сила, не имевшая себе равной в громадной и варварской России, свергавшая и низводившая на престол императоров и императриц, – обратила на нее свои взоры. Екатерина стала политической союзницей Бестужева и Вильямса и подружкой нескольких прекрасных собой гвардейских офицеров. Ее молодость и пылкий темперамент восставали против ненавистного мужа, не очень, впрочем, настаивавшего на своих правах на нее, и против придворного этикета, тоже не слишком строго, и Екатерина смело отдалась любви и не вполне законным наслаждениям. Сладострастная атмосфера двора, который по свободе нравов не уступал Западу, захватывала ее все сильнее. Но, по небывалому в истории счастью, она сумела согласовать свои интересы со страстями и любовь с политикой и среди избранников своего сердца или чувственности нашла себе могущественных помощников для достижения грядущего величия. Так, она сблизилась с красивым Сергеем Салтыковым, с изящным Понятовским и с удалым Григорием Орловым. Ко времени смерти Елизаветы все было уже готово, чтобы привести вопрос о престолонаследии в надлежащий порядок и поставить молодую женщину на место, по закону доставшееся ее мужу. Несколько смельчаков рискнули произвести один из тех придворных переворотов,

к которым Россия почти привыкла за последнее время: на сцену появились Орловы, и Петр III «позволил свергнуть себя с престола, как ребенок, которого отсылают спать».

Екатерина прибыла в Россию пятнадцати лет, а когда это событие совершилось, ей было тридцать три года. Слухи о красоте ее, так красноречиво воспетой в сложившихся о ней легендах, историей почти опровергаются. Но у нее было то, что ценнее красоты, – очарование. «Я нравилась, и в этом была моя сила», – говорила она про себя. Правда, с годами ей пришлось прибегать к иным средствам, чтобы нравиться, и, конечно, не обаянием своего лица она пленила в 1789 году Зубова, когда ей было почти шестьдесят лет.

О духовном облике Екатерины можно было бы судить по характеристике ее, составленной ею самой, но многие черты этого самоописания далеко не точны. Екатерина отдает в нем дань истине, отказывая себе в «творческом уме», но говорит слишком снисходительно о кротости своего нрава и добродетельной стойкости своих принципов; нам кажется, что она принадлежала к избранной породе великих честолюбцев, которых отличает их холодная, обдуманная, но готовая идти на всякий риск смелость, их властный ум, самоуверенность и способность не останавливаться ни перед чем для достижения своих целей. Фаталистическая вера, вдохновлявшая впоследствии Наполеона, жила в великой русской императрице.

У нее тоже была своя звезда. Но ей эта звезда не изме-

няла, как Бонапарту, а только тускнела по временам. Поэтому Екатерина и могла остаться до конца жизни «непоколебимой». Она была оптимисткой до мозга костей. Она была также очень тщеславна. Она считала, что ее власть и могущество совершенно безграничны, – любила, чтобы другие были в этом так же твердо убеждены, как и она, и высказывали бы ей это открыто. Самые преувеличенные похвалы и лесть казались ей естественными и законными, когда были обращены к ней. А между тем она охотно подчеркивала в себе отсутствие самолюбия и кокетства. Она признавала, что может казаться вполне заурядной вне своего императорского сана. Она не обиделась на Лафатера, когда он пришел к такому заключению. Если она требовала себе почестей, то только как самодержице Всероссийской. Об этом августейшем титуле она составила себе чрезмерное представление, далеко превосходившее действительность, и ловкой политической сумела в течение тридцати лет внушать эту иллюзию и Европе. В этом и заключалась тайна ее обаяния как императрицы. Впрочем, разве не принадлежит мир, согласно новейшей теории, именно людям сильной веры и даже галлюцинатам? А лучезарная галлюцинация, которую видела перед собою Екатерина и на которую зачарованными глазами смотрел вслед за ней и весь Запад, создалась не только обманом чувств: наряду с фантастическими грезами в ней было также и много реального, и среди этого реального громадное место принадлежало личным качествам самой импе-

ратрицы и прежде всего ее исключительной силе воли, которую однако ослабляла женственная непоследовательность ее ума, низводившая в Екатерине «великого человека» до обычного уровня ее пола. Екатерина всегда желала сильно, но слишком часто меняла свои желания. По ее собственному выражению, она «умела только начинать, ничего не доводя до конца». Но, по-видимому, России того времени и не требовалось ничего иного. Даже после Петра I в этой необъятной стране еще многое оставалось нетронутым. И Екатерина сыграла для своего народа роль побудительной силы, с необыкновенной настойчивостью и энергией неустанно двигавшей его вперед. Она не знала, что значит физическое и нравственное утомление, упадок духа или уныние, и большим самообладанием возмещала в себе природный недостаток хладнокровия и крайнюю живость характера. Трудоспособность ее была очень велика. По выражению одного поэта, она была «часовым, который вечно на часах». Неисчерпаемая веселость, вошедшая у нее в привычку и ставшая для нее как бы нравственным законом, помогала ей переносить всю тяжесть ее разнообразных трудов. В шестьдесят пять лет она охотно играла с детьми, и жмурки сохранили для нее свою прелесть. Ее моральное здоровье было превосходно. В общении с людьми у нее было столько терпимости и снисхождения, столько простоты, любезности и приветия, что самые строгие судьи находили ее обворожительной. Она говорила, что сердце у нее от природы доброе и чувствительное, но

жаловалась на то, что в силу политической необходимости не всегда может давать волю своим влечениям. Возможно, что она судила о себе справедливо. Но политика слишком рано завладела всеми ее чувствами и даже привязанностью к семье и в конце концов совершенно поглотила и ум и сердце Екатерины. В ее истории есть страницы, где мы не видим даже и тени доброты или отзывчивости. Щедрость ее вошла в поговорку: она и тут не знала меры. Она дарила много, но не умела толком дарить. Все, впрочем, служили ей охотно. Свою прислугу она баловала. Вопреки излишествам, которым она предавалась, в ее живом, сангвиническом, пылком темпераменте не замечалось никакого органического недостатка. Она не была истерична. Любовь была для нее естественным отправлением. Все же другие ее склонности и вкусы указывали на полную – и физическую, и моральную уравновешенность ее натуры. В ней не было ничего чудовищного, но было зато многое, – если не все то, что составляет женскую прелесть.

Главная сила Екатерины заключалась в ее характере. Ум же ее был относительно невысок. Самобытность, которою она так любила хвалиться, проявлялась скорее в ее способе действовать, нежели в мышлении. Вы тщетно стали бы искать в ее сочинениях хотя бы одну оригинальную идею. Много здравого смысла и богатое воображение составляли, дополняя одно другое, сущность ее ума. Тот же громадный престиж, которым она, между тем, пользовалась, именно бла-

годаря этому уму, образовался искусственно под обаянием ее повелительной воли, ее тонкого умения вести взятую на себя роль и ее блестящего, разнообразного, живого разговора. Однако на остроумие она никогда не претендовала. В ее островах сказывалось ее германское происхождение, и шутки ее были тяжеловесны. Ум Екатерины был по преимуществу ум практический, с большим запасом юмора и молодой жизнерадостности. Она сознавала, что полученное ею образование и не основательно и не разносторонне, и любила, напротив, выставлять на вид свое невежество. Она читала много: слишком много и неправильно, чтобы усвоить прочитанное. Знания ее, как отчасти и вся ее правительственная деятельность, представляли, по ее собственному выражению, «смесь чего-то отрывочного». Ее же научные опыты могут вызвать только улыбку. Она говорила и писала довольно нескладно на тех трех языках, которые употребляла обыкновенно. Но если она не изучила в совершенстве русский язык, то сумела зато понять самую душу русского народа и сделать эту душу своей.

Воззрения и понятия Екатерины отмечены тем же недостатком, что и ее поступки, – непоследовательностью. У нее было очень мало твердых и постоянных принципов и идей. Хотя и немка, она относилась с пренебрежением к доктринам и доктринерству. Склад ума ее был чисто эмпирический. Единственная идея, которой она оставалась неизменно верна, – это представление о собственном величии, неразрывно

сливавшееся у нее с представлением о величии той страны, которую она была призвана управлять.

Кроме того, у нее была политическая мечта, которую она тоже лелеяла всю свою жизнь: это была великая идея ее царствования, греческий проект, т.е., другими словами, завоевание Константинополя. Все же остальные ее воззрения и планы представляли полный хаос и противоречили одни другим. В политике – она не раз говорила о своей «республиканской душе» и признавала в то же время, что лучшая из форм правления – самодержавие. В философии – она называла себя всегда другом Вольтера, а иногда иезуитов. Ее идеи или, вернее, симпатии, сложившиеся у нее под влиянием воспитания и общения с философскими и освободительными тенденциями века, значительно изменились к концу ее царствования. Первый порыв ее либеральных стремлений сейчас же столкнулся с практикой власти, и она с удивлением увидела, в какую форму выливаются иногда гуманитарные идеи при осуществлении их в жизни. Это сперва поразило ее, а потом она испугалась. И кончилось тем, что ей пришлось огнем и мечом душить народное движение, поднятое Пугачевым во имя воли, а французская революция нашла в ней непреклонного врага.

В искусстве царствовать Екатерина была виртуозна. Ей не мало помогало, конечно, и счастье: самые рискованные ее предприятия почти всегда кончались успешно, но многим она была обязана и лично себе. Ее выдержка, решительность,

самообладание и власть над собой и над другими, ее высокомерная ясность духа в минуты самых жестоких испытаний – положительно не знают себе равных в современной истории. Ее умение управлять людьми было исключительно, так как она ввела в него все те приемы и средства, к которым прибегают женщины, чтобы покорять мужчин. Это была странная обольстительница, императрица-Цирцея. Но выбирала она людей не всегда удачно. Впрочем, она брала от них зато всю ту долю труда, энергии и талантливости, на которую они были только способны. Она сама служила им примером. В минуты кризисов она проявляла изобретательность, неутомимость и находчивость, граничившие почти с чудом. Кроме того, она ввела в политику несколько невиданных прежде и новых приемов: с первых шагов царствования она стала приводить в смятение всех дипломатов смелостью своих решений и намеренной резкостью и откровенностью речей, подобно сошедшему в могилу великому государственному деятелю современной Германии; как и он, она охотно прибегала к силе, которая в наши дни почти вершит судьбы мира, – к общественному мнению: она заставила служить себе печать, пользовалась рекламой, положила в некотором роде почин политическому журнализму. Она не брезгала, впрочем, и старинными приемами власти: у нее была своя тайная канцелярия. Но, несмотря на это высокое искусство управлять страной, и ей случалось иногда делать ошибки. Виной тому был ее оптимизм: она не только жила химерами, не за-

мечая действительности, но часто намеренно закрывала на нее глаза, когда эта действительность не совпадала с ее мечтами. Во время ее знаменитого путешествия в Крым, походившего на прекрасную сказку, она не видела, сколько горя и нищеты пряталось за роскошными декорациями блестящей феерии, созданной на миг, чтобы пленить ее воображение. Но, благодаря ее большой личной энергии и умению вдохновлять других, правление ее достигло в общем больших результатов и в области внутренней, и внешней политики.

Внутри империи ей пришлось прежде всего защищать престол от покушений, более или менее сходных с тем переворотом, помощью которого она сама достигла когда-то власти. Из этой борьбы она вышла победительницей. Иван Антонович был убит в своей тюрьме, а Лже-Петр III привезен в клетку в Москву и предан казни. В своих законодательных начинаниях Екатерина была менее счастлива. Великая комиссия, призванная ею, чтобы выработать для России новое уложение, которое должно было превзойти все европейские своды законов, потерпела полную неудачу. Императрица, умевшая «только начинать», на этот раз долго не замечала, что для того, чтобы ее реформа увенчалась успехом, ей надо было «начать сначала», т.е. с уничтожения крепостного права. Но когда она поняла это, то сейчас же отступила назад. Ей не было дано разрубить этот Гордиев узел.

Она несколько усовершенствовала судебное ведомство, понизила степени наказаний, бывших до нее непомерно же-

стокими, но не уничтожила плети. Ее деятельность оказалась более плодотворной в области чисто административной. Здесь Россия обязана ей первыми попытками ввести правильное, систематическое внутреннее управление. Финансовая политика Екатерины заслуживает меньше похвалы. В сущности говоря, это была политика изворотливости: Екатерина постоянно нуждалась в деньгах и для войны, и для роскоши, которую любила окружать себя, и для удовлетворения своих прихотей; и она не задумываясь доставала их, делая займы за границей и фабрикуя ассигнации у себя дома. Она положила этим начало режиму, который со времени ее смерти все дальше и больше развивался в России. Но России всегда приходилось платить дорого за свою славу.

Результаты внешней политики Екатерины у всех на глазах: она навсегда разбила могущество Оттоманской империи, завоевал Крым и несколько важных гаваней на Черном море и произвела раздел Польши. Но во всех своих предприятиях, приведших к этим результатам, она, несомненно, руководилась скорей своим безудержным и безграничным честолюбием, нежели соображениями справедливости, чести или хотя бы истинным пониманием интересов своего государства. Она прежде всего стремилась утолить свою беспокойную и почти болезненную потребность удивлять мир, заставляя говорить о себе, находиться в постоянном движении и шуме. К счастью для нее, первая турецкая война превратилась в ряд блестящих побед, а не поражений, кото-

рые, между тем, легко могли быть следствием беспечности и непредусмотрительности императрицы. Это была «война кривых со слепыми». При первом разделе Польши Екатерина сыграла роль орудия в руках Фридриха. Ко второму же и третьему разделу она была уже вынуждена, потому что захотела слишком многое предпринять сразу. Но при этом она потеряла, и потеряла, пожалуй, безвозвратно, возможность создать мирно и постепенно верховенство России над большою семьею славянских народов, отданных ею на растерзание честолюбивым соседям, – а приобрела только печальную славу участницы и чуть ли не зачинщицы бесчестного дела, которое опозорило ее век. Ее происки в сторону Польши и Турции естественно отдалили ее от Франции. Но зато, разорвав вековые связи, соединявшие Россию с Великобританией, она поставила этим первые вехи на пути сближения, создавшего франко-русский союз. И, как бы предчувствуя будущее, час которого еще, впрочем, не пробил, она мечтала сломить мощь своей соперницы Англии, напав на нее в Индостане. В общем она оставила своему преемнику наследство, увеличенное почти на половину. Население империи возросло за время ее царствования с 20 до 37 миллионов, и соответственно этому раздвинулись и границы России к западу и югу.

Екатерина была другом Вольтера и всех философов вообще. Ей нравилось, – или она делала вид, что ей нравится, – общество писателей, ученых, художников. Она любила

– или думала, что любит, – книги, произведения живописи, ваяния и архитектуры. Она купила библиотеку Дидро, библиотеку Фернейского патриарха, и поставщики ее музеев, Гримм и Рейффенштейн, выбивались из сил, чтобы удовлетворить всем ее требованиям. А между тем русская литература, наука и искусство мало чем обязаны ей. По отношению к Западу она играла роль Мецената, главным образом потому, что это служило ей рекламой. На зарождающуюся же духовную жизнь России, на первые робкие попытки развить самобытный русский гений, она смотрела или как равнодушный зритель, или как подозрительный жандарм. И в то же время она находила в писательстве искреннее удовольствие, до страсти любила строить и с большим увлечением отдавалась изучению русской истории. В этой области она тоже была инициатором, побуждающим к движению вперед дремлющие вокруг нее силы.

Екатерина писала и исторические сочинения, и комедии, и драмы, и повести, и сказки, и комические оперы; но больше всего она написала писем. Ее переписка с Гриммом любопытный памятник, оставленный ею потомству. Она была, кроме того, и публицистом, и поэтом, и педагогом. Учрежденные ею школы стоят выше ее стихов: некоторые из них сохранились до сих пор. Но слава основателя народного образования в России принадлежит, однако, не ей, а ее современнику Новикову, которого она жестоко преследовала как врага.

Частная жизнь Екатерины, как ни скандальна она была с известной точки зрения, не отвечала тем картинам сладострастных оргий, которые связывались с ее именем в воображении ее современников и потомков и давали легендам и людскому злоречию богатую пищу. Большую часть этой жизни она посвящала труду и тихим радостям домашнего очага: она добросовестно выполняла свои сложные обязанности императрицы, – чувство долга всегда было в ней неизменно и твердо, – и находила удовольствие в невинных развлечениях. Она рано вставала и ложилась спать и отдыхала от работы или за чтением, или просматривая свои коллекции в Эрмитаже, или играя с детьми, которыми всегда любила окружать себя. Она увлекалась садоводством и украшением своей любимой летней резиденции – Царского Села, созданного всецело ею. Ее приемы в Эрмитаже, на которые допускалось только ограниченное число лиц, показывают, сколько в ней было простоты, непосредственности, веселья и приветливости в обращении с людьми.

Семейная жизнь Екатерины омрачилась в самом начале несчастным браком, ставшим ей вскоре ненавистным и приведшим к кровавой драме. Сын был отнят у нее с колыбели, и чувство материнства не успело развиваться в ней, а впоследствии совершенно исчезло. Честолюбие и политика, толкнувшие ее посягнуть на права мужа и сына, убили в ней любовь к ним, вопреки голосу природы и нравственности. Но не доказано, чтобы она принимала участие в смерти мужа;

и также не доказано, чтобы она хотела лишиться своего сына престола. Зато вполне достоверно, что она была лучшей из бабушек.

Приехав в Россию, Екатерина застала здесь на ступенях трона форму царственного разврата, подобного тому, что господствовал и при других европейских дворах. Деля власть с рядом императриц, чередовавшихся одна за другою после Петра I и по странной случайности свободных от брачных уз и высокомерно презирающих требования морали, — на русском престоле царил мужской фаворитизм.

Достигнув этого престола при помощи нескольких влюбленных в нее смельчаков, Екатерина стала вести на высоте его ту же жизнь, что и ее предшественницы, — но только в более крупных и широких размерах. Она продолжала поддерживать своеобразный союз, доставший ей власть, соединять политику с любовью. Отчасти это удалось ей: завоеватель Крыма был ее фаворитом и первым министром. Она искренно любила его. Она так же любила и Ланского, может быть, так же Мамонова, и еще многих других. Любили ли они ее? Ответив на это утвердительно трудно. Но и отрицать этого тоже нельзя. Но если она и не внушала им любви, то всегда, до конца жизни, умела внушать уважение.

Это была необыкновенная женщина и великая императрица. Как первая она доказала, что женщина может стоять на высоте самых трудных, самых ответственных обязанностей и долга; как императрица она сделала для величия Рос-

сии столько же, сколько и Петр Великий. Не тем, – как утверждали некоторые, – что ввела Россию в лоно европейской культуры: в России и теперь так же мало европейского, как и двести лет назад. Это не Европа и не Азия, а шестая часть света, – сказал кто-то справедливо. Но этой самобытной России, которая, вероятно, останется таковою и впредь и, входя в круг европейских интересов, идет в то же время своим путем, подчиняясь своим, особенным законам развития, и вдохновляясь западной культурой, не дает ей поглотить себя, – этой России, созданной Петром I, Екатерина II дала сознание ее силы, ее гения и ее исторического предназначения.

2 августа 1892 года.